Юрий Оклянский



ЮРИЙ
ОКЛЯНСКИЙ

ОСТАВШИЕСЯ В ТЕНИ

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ О ПИСАТЕЛЯХ

МОСКВА
«ИЗВЕСТИЯ»
1987

ББК 83.3(0)6
О-50

Оклянский Ю. М.

О 50 Оставшиеся в тени: Биографические повести о писателях.— М.: Известия, 1987.— 640 с.

Книга Юрия Оклянского «Оставшиеся в тени» впервые объединяет под одной обложкой две биографические повести, получившие широкое признание читателей. Главных героинь «Шумного захолустья» и «Повести о маленьком солдате» роднят незаурядность натур и тот вклад, который они внесли в историю литературы и события эпохи. Частичная доработка произведений, осуществленная автором в настоящем издании, отобразила документальные материалы последних лет.

О $\frac{4700000000—072}{074(02)—87}$—82—87 ББК 83.3(0)6

Художник Н. АБАКУМОВ

Юрий Михайлович Оклянский

ОСТАВШИЕСЯ В ТЕНИ

Биографические повести о писателях

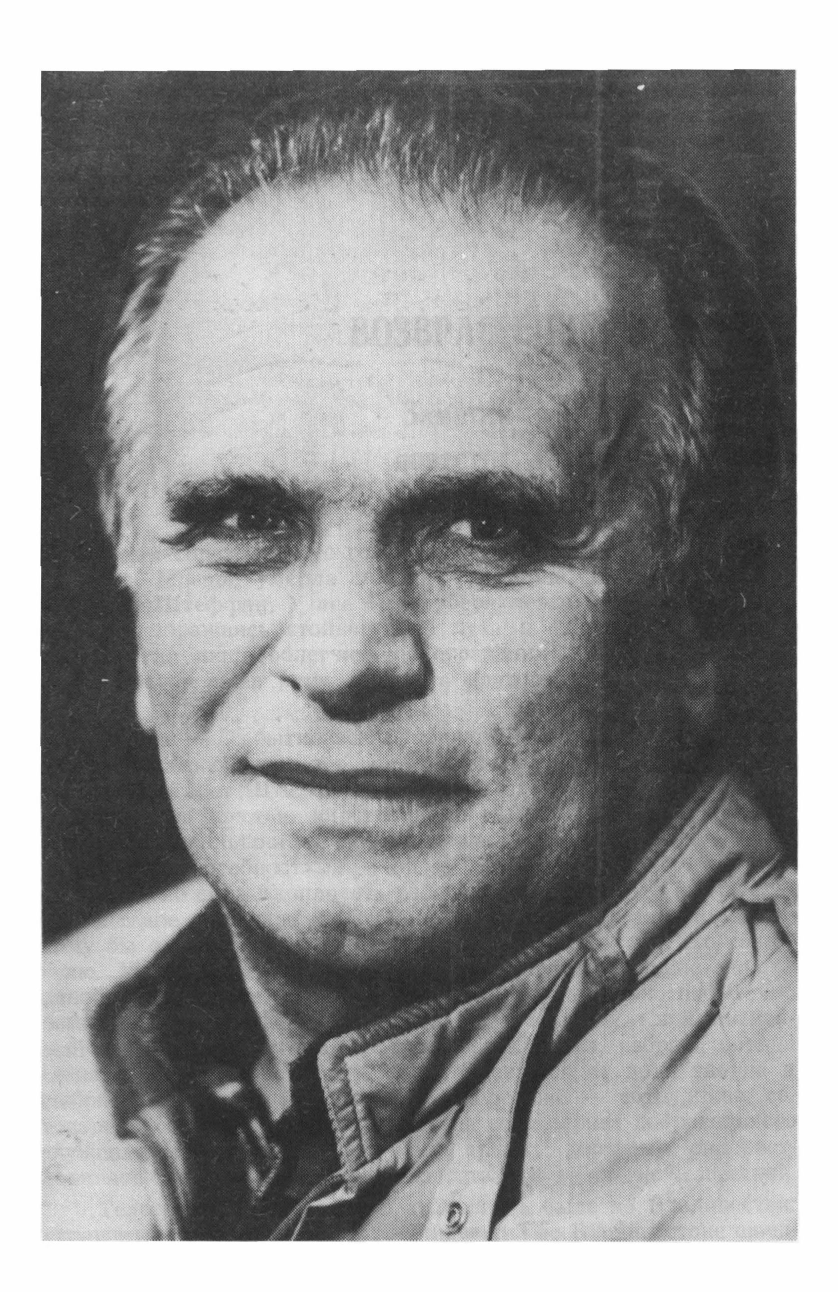
Редактор Е. Абрамович
Художественный редактор И. Смирнов
Технический редактор А. Гинзбург
Корректор С. Розенберг

ИБ № 1163.

Сдано в набор 23.03.87. Подписано в печать 21.08.87. Б00896. Формат 84x108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура школьная. Печать офсетная. Печ. л. 20,0+0,5печ. л. вкл. Усл. печ. л. 34,44. Усл. кр.-отт. 34,44. Уч.-изд. л. 38,2.Тираж 50 000 экз. Заказ 1615. Цена 2 руб. 80 коп.

●

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР» 103791, ГСП, Москва, Пушкинская пл., 5. Типография издательства «Советская Кубань», г. Краснодар, ул. Шаумяна, 102.



ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ТЕНИ

Заметки о биографических повестях Юрия Оклянского

Летом сорок первого года, за восемнадцать дней до начала войны, в Москве умерла молодая женщина, немка, по имени Маргарет Штеффин. У нее был туберкулез в последней стадии, и врачи, поражаясь стойкости ее духа и страстному желанию жить, могли лишь облегчить ее страдания — до той минуты, когда, крепко сжав руку лечащего доктора, она перестала дышать.

Смерть — событие всегда скорбное, тем более когда речь идет о человеке, которому дано было много талантов, но мало — жизни. Маргарет Штеффин, дочь каменщика с берлинской окраины, владела шестью иностранными языками, обладала врожденной музыкальностью, несомненными артистическими и литературными способностями — иными словами, ей, вероятно, было вполне по силам воплотить свое дарование в нечто значительное, в такое произведение либо драматургии, либо поэзии, которому бы оказалась суждена жизнь более долгая, чем его создателю. Между тем мы не вправе предъявлять горькие упреки одной лишь судьбе, наделившей Маргарет не только избыточно богатой одаренностью, но и тяжелейшим недугом. Свой жизненный и творческий путь Штеффин избрала сама, избрала вполне сознательно, по собственной воле отрекшись от доли творца и выбрав для себя участь **сотворца,** скорее же — сотрудника, сотоварища, соделателя. Она надела на себя вериги добровольного служения таланту более мощному, яркому, дерзкому, она растворилась в нем и в нем навсегда осталась — почти безвестной.

Телеграмма о ее кончине отправлена была во Владивосток: «транзитнику Брехту». Брехт, ожидавший во Владивостоке шведский пароход, чтобы отплыть в Соединенные Штаты Америки, отозвался письмом на имя заместителя председателя Иностранной комиссии Союза писателей СССР М. Я. Аплетина. В письме были такие слова: «Потеря Греты — тяжелый удар для ме-

ня, но если уж я должен был ее оставить, то не мог бы это сделать нигде, кроме как в Вашей великой стране».

Мой генерал пал
Мой солдат пал
Мой ученик ушел
Мой учитель ушел
Моего опекуна нет
Нет моего питомца.

В этих брехтовских стихах из подборки «После смерти моей сотрудницы М. Ш.» выражено не только чувство, вызванное кончиной близкого человека; в них дана точная оценка места, которое Маргарет Штеффин занимала в жизни Брехта, ее значения в творчестве замечательного немецкого драматурга, прозаика и поэта — значения столь своеобычного, что для определения Брехту пришлось прибегнуть к словам, почти противоположным по смыслу. Но именно так и было на деле: Брехт сыграл огромную роль в становлении личности Маргарет Штеффин и поэтому вполне мог назвать ее своим питомцем; он приобщил ее к своему искусству — вот почему он по праву считает Маргарет «моим учеником»; она шла за ним по нелегким путям его творчества — и, таким образом, служила ему, как верный солдат. Вместе с тем он так высоко ставил глубину и меткость ее суждений, ее художественное и нравственное влияние, ее вклад в его творчество, что имел все основания назвать Маргарет Штеффин своим генералом, учителем и опекуном.

Почти десять лет продолжалось ее сотрудничество с Бертольтом Брехтом. На обороте титульных листов шести пьес Б. Брехта, вошедших в состав изданного у нас собрания сочинений писателя, мелким шрифтом набрано: «В сотрудничестве с М. Штеффин». Это прежде всего — «Жизнь Галилея», затем «Карьера Артуро Уи», «Страх и отчаяние в Третьей империи», «Горации и Куриации», «Винтовки Тересы Карар», «Допрос Лукулла». Кроме того, по мнению литературоведа из ГДР Ганса Бунге, то, что Маргарет Штеффин внесла в «Трехгрошовый роман» и «Дела господина Юлия Цезаря», неотделимо от написанного Брехтом. Ее вложения в творческий капитал знаменитого писателя этим не исчерпываются. Она участвовала в создании других пьес Брехта, переводила вместе с ним «Воспоминания» Мартина Андерсена-Нексе, была непременным и усерднейшим помощником в издательских делах, требующих кропотливого и неблагодарного труда. Она, наконец, не один год была настоящей связной двух культур, пропагандируя в Советском Союзе Брехта как замечательное явление немецкого революционного искусства.

Эти же десять лет по количеству сделанного ею для себя дают итог, не сопоставимый с тем, что сделано для Брехта. Детская пьеса «Ангел-хранитель» и, может быть, еще одна-две пьесы для детей, несколько рассказов, стихи — все! Правда, вряд ли могло быть иначе. Огромная нагрузка, связанная с творческими

заботами Брехта, год от года подтачивающая силы болезнь, крайне непростые обстоятельства личной жизни — с учетом всего этого можно лишь подивиться стойкости Маргарет Штеффин, ее мужеству, терпению и воле.

«Только солдат добудет счастье», — пишет Бертольт Брехт своей верной сотруднице; она отвечает ему той же фразой. Эта маленькая, хрупкая женщина оказалась настоящим солдатом в том высоком значении слова, которое вкладывали в него они оба: Брехт и она. И хочется верить, что наперекор всему она добыла свое трудное, свое мучительное счастье...

Судьбе Маргарет Штеффин и посвящена одна из двух повестей, составляющих книгу Юрия Оклянского,— «Повесть о маленьком солдате». Как она родилась — эта повесть и эта книга? Разумеется, в одном случае можно сослаться на удачное стечение обстоятельств, благодаря которому в руках Ю. Оклянского оказались «три тонкие папки из порыжелого картона», хранящие письма Б. Брехта и Маргарет Штеффин; в другом — на обнаруженный в Куйбышеве архив А. Н. Толстого, сберегший до наших дней более пяти сотен неизвестных ранее материалов — письма выдающегося русского советского писателя, первые издания его книг с дарственными надписями, фотографии, переписку родителей Алексея Николаевича, дневники и произведения его матери — А. Л. Бостром. Подобного рода свидетельства минувшего поистине бесценны, кто спорит; но их надо уметь выслушать, в них надо увидеть лики живой, страстной, переменчивой жизни, уловить неоднозначность заключенного в них содержания, определить многоразличные связи с другими событиями того времени — ибо только так приобретает писатель ответственное право на свое слово о тех, чьи дни и труды стали достоянием былого.

Думается, что такой подход к материалу вполне естественно выработался у Юрия Оклянского, начинавшего в литературе прежде всего с жанра документального — с очерка. Уже затем, вполне испытав в нем свои силы, выпустив две очерковые книги, он приходит в область для себя сравнительно новую — литературоведение, которым, впрочем, занимался всегда. Его работы, однако, не стали литературоведением в классическом, так сказать, смысле; они возникли из счастливого сочетания глубокого и стойкого интереса к литературе с не менее глубоким и серьезным желанием узнать и понять жизнь писателя, из плодотворного стремления объяснить не только творчество — судьбой, но и судьбу — творчеством. Ибо если справедливо, что всякого рода житейские обстоятельства оказывают мощное воздействие на творчество писателя, то и само творчество, оказавшись фактом биографии, приобретает подчас определяющее значение в судьбе художника.

Это взаимодействие и взаимовлияние судьбы и творчества и стало, по сути, главной темой Юрия Оклянского, заявившего себя последователем традиций биографической прозы, замеча-

тельные образцы которой дали Леонид Гроссман, Корней Чуковский, Виктор Шкловский... Так появились выдержавшие несколько изданий повести «Шумное захолустье» (1965; 1969; 1982) — о писательнице А. Л. Бостром, матери А. Н. Толстого, о детских и юношеских годах автора «Петра I»; «Повесть о маленьком солдате» (1978; 1983) — о соратнике и сотруднике Бертольта Брехта Маргарет Штеффин; вышедшая в серии «Жизнь замечательных людей» в 1986 году повесть о Константине Федине; документальные повести и очерки о Юрии Трифонове, Вере Пановой, Юхаие Смууле, вместе с другими работами Юрия Оклянского составившие книгу «Биография и творчество» (1986), и другие книги этого автора.

В чем их особенности? Что придает им то «лица необщее выражение», которое есть главный признак самостоятельного писательского почерка?

Ю. Тынянов заметил однажды: «Там, где кончается документ, там я начинаю». Ему же принадлежат следующие, не менее замечательные слова: «Есть документы парадные, и они врут, как люди. У меня нет никакого пиетета к «документу вообще». Тут нет и малейшего пренебрежения к документу — да и смешно было бы подозревать в этом писателя, пришедшего в литературу из науки. Речь о другом — о документе как об отправной точке поиска; о минувшей действительности, которая достаточно прихотливо, не без лукавства, а подчас не без намеренного искажения запечатлела себя в письмах, протоколах, дневниках и прочих официальных и неофициальных бумагах; и, если хотите, о священном долге писателя неуклонно стремиться к истине, с какими бы трудностями ни было сопряжено ее постижение.

Повести Ю. Оклянского, кажется мне, и родились из такого стремления — к истине судьбы и к истине творчества. Само собой, их замысел проклюнулся благодаря знакомству с документами; однако вся дальнейшая работа писателя, его пристальное, прилежное изучение места и времени, его встречи со спутниками своих героев, его настойчивые вопросы к живым и его искреннее желание понять ушедших — все это позволяет нам определенно утверждать, что факта, даже самого значительного, Ю. Оклянскому недостаточно. Факт как бы намекает на полноту жизни, на ее радостное и трагическое богатство, на скрытые в ней события; он отчасти напоминает окошко, заглянув в которое можно увидеть широкие просторы еще неведомого мира. Вот почему, натолкнувшись, к примеру, на неизвестную переписку Б. Брехта и М. Штеффин, писатель использует ее как повод для того, чтобы рассказать нам не только о достаточно непростых отношениях выдающегося драматурга и его преданной помощницы, но и о тех, кто был рядом с ними, кто так или иначе был вовлечен в их творческие и житейские заботы и без кого — постепенно убеждаемся мы — повесть о маленьком солдате оказалась бы попросту неполной. Точно так и с «Шумным захолустьем» — тот же широкий взгляд, вбирающий в себя мир

старой Самары, семейную драму родителей А. Н. Толстого, первые литературные опыты будущего писателя и взыскательное отношение к ним неутомимой литературной труженицы — Александры Леонтьевны Бостром.

В недавно вышедшей книге Юрия Оклянского «Биография и творчество» есть «короткая биографическая повесть» (так определил ее сам автор) о Ю. В. Трифонове. Написана она с высоким уважением к памяти замечательного прозаика, содержит немало тонких наблюдений о художественных особенностях трифоновских повестей и рассказов и, кроме того, позволяет лучше оценить значительность личности писателя, его беспощадно-точный анализ глубинных процессов бытия, его преданное — до последних дней — служение русской литературе. «Они,— пишет, в частности, Ю. Оклянский о персонажах «городских» повестей Юрия Трифонова,— словно бы одержимы азартом охоты, погони, достижения близкой и ускользающей добычи, столь же предметной, сколь и неуловимо-расплывчатой,— взять свое, получить причитающуюся им долю разнообразных жизненных благ. За всей этой толкучкой, сумятицей, колготней повседневности не до прошлого. Такие персонажи плохо, мало, если не сказать ничего не помнят».

Ю. Оклянский верно почувствовал, быть может, главное устремление трифоновской прозы — к великим проблемам памяти и времени, поставленным в тесную связь с горестно-краткой человеческой жизнью. В самом деле: целостное бытие возможно лишь в том случае, если человек нашел в себе нравственные силы противостоять разрушительной работе времени, если он обрел надежную опору, позволяющую ему утвердиться в потоке дней, месяцев и лет. Такой опорой, таким источником высокой духовности может быть (в том числе) и **память,** связывающая отдельного человека с человечеством и помогающая ему преодолевать мучительное ощущение своего одиночества, своей затерянности в громадном и подчас пугающе-чуждом мире. Ибо стоит лишить нас корней, стоит отобрать у нас наше прошлое или вместо нашей подлинной истории подсунуть **нам** более или менее искусно смастеренную ее подделку — как мы неизбежно окажемся послушными, терпеливыми исполнителями чужой воли. Подобное состояние нам, к несчастью, знакомо. Вот почему творчество всякого истинного художника есть по сути еще одна попытка **правдой о человеке** вернуть человеку сознание его достоинства и чести и ощущение собственной неповторимости.

В этом — весь Трифонов или, по крайней мере, тот, который начался с «городских» повестей и который, отмечает Ю. Оклянский, с таким пристальным вниманием вглядывался в наше прошлое. Ю. Оклянский вспоминает в связи с этим не только «Нетерпение», исторически и художественно точную повесть о деятелях «Народной воли», попытавшихся, по выражению Ю. Оклянского, подтолкнуть «медлительный и скрипучий механизм прогресса», снабдить его «лучшей смазкой и лучшим горючим, заправить живой кровью — своей и врагов», но и не-

большую по размеру статью Юрия Трифонова «Через шесть веков», посвященную годовщине Куликовской битвы, Ю. Оклянский пишет: «Историческую заслугу Дмитрия Донского и поднятого им воинства писатель видит в том, что доблестные русские витязи навсегда разбили и развеяли уже успевший обосноваться в душах многих поколений русских людей страх перед якобы вековечным порядком иноземного рабства, перед будто бы неколебимой силой того, что получило название татаро-монгольского ига». Иначе говоря, и в повести, и в газетной статье Юрия Трифонова Ю. Оклянскому прежде всего важно стремление писателя сказать свое слово о минувшем, поделиться с читателями своим пониманием **духа** того или иного исторического события.

В творчестве любимого писателя профессиональный литератор всегда отметит черты, ему наиболее близкие. Мне кажется, что в своем, так сказать, роде и жанре Ю. Оклянский исповедует то же внимательно-чуткое отношение к истории, которое отличало прозу Юрия Трифонова. В противном случае в повести о Маргарет Штеффин вряд ли появились бы запоминающиеся страницы о трагической судьбе Марии Остен, а в «Шумном захолустье» — глава о «веселом праведнике» Якове Львовиче Тейтеле. И в том, и в другом случае, расширяя рамки повествования, вводя в него людей, как будто бы не имеющих прямого отношения к главным героям, Ю. Оклянский в итоге добивается результата чрезвычайно важного: рассказ о биографии он превращает в рассказ о времени.

В самом деле: разве не в духе времени был поступок блестящей журналистки Марии Остен, которая в начале тридцатых годов из поездки в Саар привезла в Москву «низкорослого веснушчатого пионера-немца» — привезла, чтобы поселить Губерта в стране его грез? Частичка нетерпения, сжигавшего героев Юрия Трифонова, была, несомненно, присуща и Марии Остен, и многим людям ее времени и поколения. «Маленький саарский житель,— пишет Ю. Оклянский,— мгновенно перенесясь из одного мира в другой, должен был своими глазами увидеть движение истории». Прошло несколько лет. Мария Остен выпустила книгу «Губерт в стране чудес (Дела и дни немецкого пионера)» — книгу, как отмечает Ю. Оклянский, не столько о впечатлениях мальчика, не знающего ни языка, ни обычаев «страны чудес», сколько о собственном восторженном восприятии жизни Страны Советов, которую она, Мария Остен, объявила своей второй родиной и в честь которой назвалась Остен — Восточной.

Книга появилась, вызвала разноречивые толки, мало-помалу забылась — мальчик жил, осваивал новый язык и нравы и пристальным практическим взглядом всматривался в жизнь, в которую его пересадили и в которой ему предстояло расти и благоденствовать.

Конечно, в поступке Марии Остен было много блеска и мало сердца, но тысячу раз прав Ю. Оклянский, утверждая, что

даже в своих заблуждениях она оставалась до конца искренней. Она, вероятно, не могла и вообразить, что привезенного ею в «страну чудес» мальчика постигнет столь непостижимое в своей жестокости превращение, что он отменно усвоит самые страшные уроки, которые преподнесет ему окружающая действительность,— уроки лжи, низости и страха, и что маленький Губерт, став взрослым, окажется способным на большую подлость.

У пасхальной сказки, придуманной Марией Остен,— неожиданный и горький конец.

Воскрешенное Ю. Оклянским звучание голосов того времени было бы чрезвычайно далеко от истинного, если со страниц «Повести о маленьком солдате» мы не услышали бы голос Губерта: «Для комсомольца общественный интерес — выше личного... Пятнать свое имя не буду!.. Сын за отца не отвечает... Зря ничего не делается...» Так ответил приемный сын Марии Остен, вскоре вслед за Михаилом Кольцовым вернувшейся из Испании в Москву, чтобы спасти любимого человека или разделить с ним его участь. Губерт отрекся от опасного родства — заодно узаконив свои права на квартиру.

В «Повести о маленьком солдате» мы читаем: «...у изголовья М. Штеффин последних дней ее жизни дежурила далеко уже не прежняя Мария, искрометный вершитель дел и судеб, но смягченная, помудревшая женщина, отзывчивая к чужой боли и беде, сама предложившая себя на роль сиделки...» Мария Остен ненамного пережила свою подругу — участь Михаила Кольцова стала и ее участью.

«Шумное захолустье» можно назвать повестью о, так сказать, прадетстве Алексея Николаевича Толстого, о его отрочестве и юности — иными словами, о мире, в котором он рос и мужал, о людях, так или иначе влиявших на будущего писателя в пору формирования его личности. Нужен ли был в связи с этим подробный, насыщенный многими интереснейшими, но, казалось бы, вовсе не имеющими отношения к А. Н. Толстому фактами рассказ о Якове Львовиче Тейтеле, следователе при мировом судье 4-го участка Самарского уезда, «веселом праведнике» (как назвал его А. М. Горький), «докторе Гаазе наших мест» (слова Н. Г. Гарина-Михайловского)? Нужно ли было, к примеру, до конца прослеживать судьбу Я. Л. Тейтеля — вплоть до тех дней, когда он, основатель провинциальных «ассамблей», отчаянный либерал, в доме которого бывал молодой В. И. Ленин, страстный поборник демократии, пришел в смятение от грозовой действительности гражданской войны и уехал за границу? По собственному признанию, на чужбине он кладет «заплаточки, стараясь забыть себя; но ничто не помогает...»

Я совершенно уверен, что и в этом случае мы не вправе упрекнуть Ю. Оклянского в неумении овладеть материалом, подчинить его главной теме своей повести, выстроить в стройную и строгую композицию. Дело не только в том, что в доме Тейтеля часто бывала Александра Леонтьевна Бостром, что, как сказа-

но в повести, «именно завсегдатаи тейтелевского «клуба» и были первыми писателями (помимо матери), которых знал в своей жизни А. Н. Толстой», и что, кроме того, глава о Тейтеле есть, по сути, новая страница литературно-общественной жизни русской провинции 90-х годов минувшего столетия. Дело, повторяю, не только в этом. Дом Тейтеля и судьба его хозяина дают нам замечательную возможность глубже почувствовать и понять само время, вне которого попросту невозможно осмыслить многие стороны творчества Алексея Николаевича Толстого. И даже эмиграция Я. Л. Тейтеля и сопутствующая ей острая тоска по оставленной родине бросают какой-то неожиданно новый отсвет на непростой жизненный путь выдающегося русского советского писателя.

Время — вот, мне кажется, неназванный, но главный герой обеих повестей Ю. Оклянского. На его фоне отчетливей и резче проступают фигуры Маргарет Штеффин и Бертольта Брехта, Александры Леонтьевны Бостром, жадно впитывающего жизнь юного Алексея Толстого...

Я не случайно назвал «Шумное захолустье» повестью не только об отрочестве и юности, но и о прадетстве писателя. Ибо семейная драма родителей А. Н. Толстого, драма, предшествовавшая его появлению на свет, оказала громадное, может быть, определяющее влияние на всю дальнейшую судьбу автора «Петра I» и «Хождения по мукам». (Тут, по-моему, самое место отметить одну из привлекательнейших черт повестей Ю. Оклянского — их бесспорную увлекательность. Что бы ни говорили о литературе вообще, все-таки самый никудышный ее жанр — скучный... Но разве могут оставить читателя равнодушным мучительно-трудные отношения Николая Александровича Толстого и Александры Леонтьевны? Сильное чувство, связавшее ее с Алексеем Аполлоновичем Бостромом и побудившее в конце концов к шагу большого мужества и беспримерной жертвенности? Или подробности всколыхнувшего Самару судебного процесса, последовавшего за выстрелом графа Толстого в соперника? С неослабным вниманием читается и «Повесть о маленьком солдате», где — как, впрочем, и в «Шумном захолустье», — наше внимание прочно удерживает предпринятый автором почти детективный поиск: свидетелей, документов, воспоминаний... Но об этом несколько позже.)

Так вот — в данном случае вполне уместен вопрос типа: «что было бы, если?..» В самом деле, что было бы, если Александра Леонтьевна осталась бы все-таки графиней Толстой? Была бы у нее в этом случае возможность столь же плодотворно заниматься литературной деятельностью? Была бы она столь же тесно связана с кругом писателей и общественных деятелей, хранивших верность идеалам народничества? Смогла бы, наконец, она в той же мере способствовать становлению удивительного дарования своего сына? Короче говоря, стала бы она вполне той **писательницей Бостром**, имя которой существует в рус-

ской словесности само по себе, вне зависимости от имени Алексея Николаевича Толстого?

Течение любой жизни в известном смысле непредсказуемо. Это тем более верно, когда речь идет о личностях не только одаренных, но и обладающих сильной волей, целеустремленных, решительных, личностях, в которых порыв и страстность прекрасно дополняются стойкостью чувства и верностью избранному пути. Именно такой предстает перед нами со страниц «Шумного захолустья» Александра Леонтьевна Бостром, и, наблюдая за ней, мы понимаем, что этой незаурядной женщине удалось вполне осуществить свое предназначение — удел, который выпадает далеко не каждому.

Ибо даже ее первое замужество, вызванное, отмечает Ю. Оклянский, главным образом, «чудными мечтаниями» спасти Н. А. Толстого от пагубы дурных привычек и осветить ему путь истины, любви и добра,— даже первое замужество, несмотря на трех рожденных в браке с графом детей, кончившееся, как известно, револьверным выстрелом и судебным процессом, нельзя, вероятно, отнести в разряд абсолютных жизненных неудач. Марина Ивановна Цветаева с удивительной мудростью заметила однажды, что сильнее всего душа растет от боли. Из пережитой ею семейной драмы Александра Леонтьевна вышла человеком, готовым не только любить, но и отстоять свое право на любовь, человеком духовно зрелым и твердо намеревающимся осуществить свое призвание в жизни как личной, так и творческой.

Почти на четверть века — до последнего своего вздоха — она стала опорой для Алексея Аполлоновича Бострома. «...Только вместе и рядом с нею,— пишет Ю. Оклянский,— он чувствовал, что среди служебных крахов, человеческой низости, фатальных невезений его собственная жизнь не теряет осмысленного течения, некой независимой значимости, убеждения не рушатся, а мечтаниям по-прежнему нет отбоя». Она неутомимо трудилась, возделывала свою литературную полоску и прилежно сочиняла романы, повести, рассказы, пьесы, очерки... В «Шумном захолустье» есть глава о ее творчестве — может быть, единственное в своем роде исследование, посвященное писательнице Александре Бостром. Ю. Оклянский отмечает: «По своему призванию Александра Бостром была прежде всего очеркисткой и писательницей для детей, а по размерам дарования — одним из тех тружеников литературы, так называемых писателей средней руки, которые часто пишут гладко, порой очень скверно, но способны иногда и к настоящим творческим взлетам. Общим итогом двадцати пяти лет литературной работы Александры Бостром, считая посмертные издания, явилось около двадцати книг разных названий...» Но, несомненно, главный итог ее творчества — писатель Алексей Толстой, которому она была первый наставник и первый судья.

Вопрос, имеющий довольно общее и чисто литературное значение,— о соотношениях и взаимосвязях литературы, так

сказать, «большой» и литературы «малой», Ю. Оклянскому пришлось решать на конкретном жизненном и творческом материале. Читатель от этого только выиграл, ибо вместо **рассуждений по поводу**, зачастую весьма банальных, он получил возможность наблюдать развитие крупного таланта, который — совсем как подрост в лесном сообществе — сначала набирал силу, укрытый заботливыми ветвями, а затем вымахнул из-под них высоко и мощно. Ю. Оклянский с бережливой внимательностью воссоздает процесс р о с т а — от детских писем Алексея Николаевича с их наблюдательностью, меткими словечками и замечательной живостью до зрелых вещей в художественном отношении, и в то же время нерасторжимо связанных с впечатлениями и воспоминаниями детских и отроческих лет.

Александра Леонтьевна не могла не сознавать истинных масштабов своего творчества. И с тем большей настойчивостью, рано заметив одаренность сына, она принялась терпеливо и бережно пестовать в нем писателя. Под ее прямым влиянием, рассказывает Ю. Оклянский, десятилетний мальчик корпел над своими первыми сочинениями; она, по сути, была первой, кто разглядел в «беспомощных виршах» юноши проблески настоящей художественности, и она же, отмечает Ю. Оклянский, «с поражающей нас теперь прозорливостью... писала... А. А. Бострому: «...Я очень осторожно стараюсь обращаться с его творчеством, ничего не говорю, как делать, а только критикую или одобряю. Увидишь, его творчество будет сильнее моего, и мне со временем придется перед ним преклоняться, что я и сделаю с великой радостью!» Но это ее наверняка сокровенное и страстное желание нисколько не умаляло требовательности Александры Леонтьевны, ее строго-взыскательного отношения ко всему, что выходило из-под пера сына. Она всегда была самым горячим его доброжелателем — и самым нелицеприятным судией.

Из тени, отброшенной крупной фигурой Алексея Николаевича Толстого, «Шумное захолустье» выводит на свет писательницу куда менее значительного дарования, ныне совершенно или почти совершенно забытую — Александру Леонтьевну Бостром. Мы познакомились с ее жизнью и творчеством, с тем неоспоримым влиянием, которое — и в идейном, и в художественном плане — она оказала на своего сына. И вправе ли мы теперь утверждать, что большая река без следа вобрала в себя поток?

Несомненно одно: в добровольном служении Александры Леонтьевны, в ее отношении к литературным занятиям сына все озарено радостью, все совершается в высшей степени естественно и гармонично. Птенец вылетел из гнезда и поднялся высоко — и более всех счастлива этим мать.

Завершенность и полнота жизни Александры Леонтьевны Бостром (несмотря на то что она умерла всего пятидесяти одного года от роду) становится особенно очевидна в сравнении с какой-то мучительной недосказанностью жизни Маргарет Штеффин. Ю. Оклянский тактично и осторожно касается глав-

ной тайны этой судьбы и без крайней надобности не произносит слова, без которого какое бы то ни было объяснение отношений Маргарет Штеффин и Брехта выглядело бы недостаточным. Тайна и отправная точка заключены в слове «любовь»; Штеффин любила Брехта, и ее верное, буквально до гробовой доски литературное служение ему, ее война за Брехта, ее пропаганда Брехта, ее бескорыстное участие в его романах, пьесах и переводах явились, надо полагать, во многом лишь средством выражения ее любви. «Когда оказалось,— пишет Ю. Оклянский,— что обстоятельства не дают возможности связать свою судьбу с любимым человеком, она с тем большим рвением и беззаветностью погрузилась в работу, которая их объединяла,— в служение антифашистскому революционному искусству».

Она любила Брехта; но вот что важно: это ее сильное, стойкое, искреннее чувство родилось, выросло и окрепло на фоне другой всепоглощающей, может быть, даже отчасти фанатической страсти — беззаветной преданности мировой революции и безусловной веры в ее грядущее торжество. Всю силу своей мучительной любви к Брехту она перенесла в любовь к революции, и, став его солдатом, она еще больше ощутила себя солдатом революции. Нам сейчас может показаться странным, как бы искусственным, и, так сказать, вполне головным подобное совмещение в одном женском сердце сокровенно-личного со столь необозримо-социальным. Тем не менее, здесь нет ровным счетом никакого преувеличения, никакой натяжки и позы — для людей той эпохи это естественно, а для пылкой, романтической, со склонностью к самопожертвованию женщины — тем более.

Ну а Брехт? Как всякий крупный писатель, он принадлежал своему творчеству и своей идее в гораздо большей степени, чем даже, может быть, сознавал это сам. Только такая поглощенность творчеством может породить действительно значительные произведения; но она же может внушить писателю — как это случилось, вероятно, с Брехтом,— что поставленная им перед собой высшая цель дает ему право владеть жизнью другого человека, всецело подчиняя ее своим задачам. В конечном счете, Брехт был полководцем, Штеффин — солдатом, самоотверженно выполняющим полученные приказы. «Брехт,— сказано в повести,— любил такое уподобление — измерять истинность человеческих отношений их грузоподъемностью, нагрузкой, которую они способны принять. Что можно сказать в данном случае? Мимо шло судно большой грузоподъемности, но и глубокой ватерлинии. Оно не гудело, не поднимало ложных тревог, не било зря в склянки. И неприметно скрылось в даль времени».

Конечно, столь сложное психологическое явление нельзя объяснять однозначно — исключительно как добровольную жертву или, если хотите, как чистосердечный дар во имя огромной любви. Присмотревшись внимательней, мы увидим, что перед нами добровольность, отчасти вынужденная, а чистосердечие

несет оттенок мученичества. И дело тут вовсе не в принуждении со стороны; тут принуждение куда более суровое, идущее изнутри, от угнетающего сознания громадной несоразмерности дарований. Зачем свеча, когда светит солнце? — судя по всему, именно таков был и итог размышлений Маргарет Штеффин о собственном творчестве. И если она время от времени все-таки бралась за перо — не для Брехта, а для себя, то это, скорее, был жест отчаяния, тщетная попытка добиться независимости и доказать и самой себе, и ему свое право на самостоятельную жизнь в литературе.

Художественное творчество всегда было, есть и будет сопряжено с частицей непознанного — с тем, что, собственно, и делает его творчеством. Достаточно, к примеру, перелистать дневники братьев Гонкур, чтобы убедиться в неисследимой глубине источников, питающих акт творчества. Или вспомним Пушкина (в передаче А. О. Смирновой): поэт стоит не выше, чем окружающие его люди, до того момента, когда заговорит божество. Поэт вдохновенен, это несомненно». И как бы ни демократизировал Бертольт Брехт процесс творчества, как бы ни говорил об искусстве «как о разновидности дела, оружии в классовой борьбе, причем занятии коллективном...» (цитирую «Повесть о маленьком солдате») — весь опыт мировой литературы утверждает иное: аристократизм творчества — в том смысле, что оно, главным образом, остается уделом мужественных одиночек. В конце концов и самому Брехту лишь подавали кирпичи и замешивали глину — ваял и строил он все-таки сам. Говорю это к тому, что область психологии творчества требует от исследователя осторожного и тонкого анализа. Ю. Оклянский достойно справляется с этой задачей. «Писатель,— говорит он,— как бы ни был слаб его голос, испытывает внутреннюю потребность писать до тех пор, пока живет ощущение единственности, неповторимости его «я», пока он уверен, что обязан говорить, потому что такое, как он, не скажет никто. Когда же достижением общей цели вдохновляются слишком неравнозначные духовные силы, преобладание и главенство крупного таланта может приводить при определенных условиях к попутной ассимиляции, усвоению и перенастройке на свой лад другого творческого сознания...» И далее: «Трудно мыслить и видеть по-своему, когда даже в часы уединения за твоим письменным столом незримо стоит великая тень!..»

Повести Ю. Оклянского вызвали живой отклик критики. Были рецензии в газетах, журналах — причем не только в наших. «Повесть о маленьком солдате» привлекла естественное внимание критиков ГДР; положительные отзывы о ней появились в венгерской печати. Фигура героини, история ее отношений с Бертольтом Брехтом, сложная личность самого Брехта — человека подчас противоречивого и не всегда гуманного по отношению к преданным ему людям — вот над чем размышляли критики. Очень точно, на мой взгляд, высказался Леонид Зорин,

из опубликованной в журнале «Юность» рецензии которого я хочу привести следующие строки: «...Брехт неистовый и одновременно целеустремленный, неостановимый в своем упрямом, не признающем преград движении. Он не обращает внимания на свою внешность, он прост, доступен, он прирожденный демократ, но он ни на миг не усомнится ни в своем праве, ни в своей правоте, ни в своей исторической роли...»

Я уже отмечал, что особенную увлекательность и жизненную достоверность этой книге сообщает включенный на равных в фабулу обеих повестей п о и с к. Автор не скрывает его, напротив — он знакомит читателей с ходом поиска, приобщает нас к своим встречам, находкам, обретениям — и благодаря такой открытой, честной установке оттенок репортажности вдруг, как будто против всех литературных норм и правил, сообщает повестям особенную ценность и долговременность. В Ленинградской публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина Ю. Оклянский читает «Адрес-календари», содержащие «роспись начальствующих и должностных лиц по всем управлениям Российской империи»; в старых газетах столетней давности находит подробности процесса над Н. А. Толстым; наконец, по скрипучей, едва освещенной лестнице поднимается на второй этаж старого самарского дома, в квартиру № 4 — для того, чтобы выслушать рассказ человека, хорошо знавшего Алексея Аполлоновича Бострома и почти четыре десятилетия хранившего семейный архив А. Н. Толстого... А в поисках новых сведений о «доме веселого праведника» и его хозяине Ю. Оклянский обнаруживает в Куйбышеве нескольких Тейтелей; знакомится с Евгенией Дмитриевной Тейтель и в конце концов, идя, так сказать, по цепочке, оказывается в доме на Ленинском проспекте в Москве — у доктора химических наук Руфины Владимировны Тейс. «И вот тут,— со сдержанным ликованием сообщает Ю. Оклянский,— меня ждал сюрприз. Специалист по одной из новых отраслей химии, «доктор изотопов» Р. В. Тейс оказалась обладательницей единственной в своем роде коллекции старинных фотографий. Содержащиеся в ней снимки (в подавляющем большинстве до того не известные) не только характеризуют «дом» Я. Л. Тейтеля конца прошлого века, тогдашнюю общественно-литературную среду, но часть фотографий и прямо дополняют недавнюю куйбышевскую находку — архив А. Н. Толстого».

Вообще это добросовестнейшее стремление пройти **до конца**, это острое и беспокойное чувство, заставляющее писателя вновь и вновь перечитывать архивные документы, листать старые подшивки, стучаться в самые разные двери, это страстное желание непременно отыскать всех, кто еще мог бы пролить свет на дела давно минувших дней,— все это в полной мере присуще Ю. Оклянскому. Установленный им для самого себя высокий уровень профессионализма в работе ни разу не позволил ему остановиться на полпути, прервать поиск, удовлетвориться достигнутым. Я более чем уверен, что тут сказывается очерковая

закваска, ставшая второй натурой привычка докапываться до сути, соединение благородной страсти умудренного исследователя с неуемным азартом юного репортера.

У нас не было бы «Повести о маленьком солдате», если бы не было предпринятого Ю. Оклянским поиска. И диву даешься — сколько замечательных людей открыл и обрисовал нам писатель, прослеживая судьбу Маргарет Штеффин! Михаил Яковлевич Аплетин, по праву называвший себя другом Маяковского, Алексея Толстого, Ромена Роллана, Федина, Жоржи Амаду,— человек, вместивший в себя, по словам Ю. Оклянского, «отрезок истории»... Сестра Греты — нашедшая счастье в семейной жизни Гопхен, Герта Ганиш, с которой писатель встретился сначала в Берлине, а затем в деревушке Фредерсдорф, в маленьком, нарядном, как игрушка, домике, которая не знала потрясений, но узнала вдоволь труда и забот и простая, чистая, честная судьба которой поневоле побуждает нас вновь и вновь обращаться к трудной, бурной и страстной судьбе Маргарет Штеффин... «Красная Рут», «Пылающая Рут» — Рут Берлау (Лунд), датская писательница и журналистка, одна из ближайших сотрудниц Брехта и соперница Греты, которая в дни революционных праздников вывешивала из окна свое персональное красное знамя... Знаменитый певец и актер Эрнст Буш... И, быть может, самая поразительная из встреч — с лечащим врачом Маргарет Штеффин Рахиль Савельевной Шатхан.

Передавая ее воспоминания ничем не прикрашенной прямой речью, Ю. Оклянский достигает удивительного художественного впечатления. Опытный врач, мудрый человек, Рахиль Савельевна рассказывает о последних днях М. Штеффин, и мало-помалу нами овладевает сильное, скорбное чувство соприсутствия при кончине маленького, но чрезвычайно мужественного солдата... «Когда у нее бывало кровохарканье,— передает Ю. Оклянский слова Р. С. Шатхан,— а оно начиналось часто, смотрела на меня умоляюще, потом долго еще не давала уходить и держала замком за руку, знаете, как делают дети. А в то же время необыкновенная воля. Мгновенно могла перебороть настроение, воспрянуть, преобразиться. Она с трудом поднималась с кровати, но всегда пыталась это сделать сама, без посторонней помощи. А был короткий момент, когда ее чуть отпустило, глядишь, уже зашуршала бумагами... Очень ей не хотелось умирать. А умерла спокойно, крепко держала за руку, позвала: «Доктор, доктор!» И все».

«Сколько лет прошло,— сказала Юрию Оклянскому Рахиль Савельевна,— а не забылось. Почему — не знаю...»

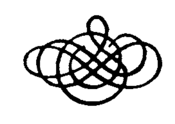
Человеческая память избирательна. Труд писателя — это, по сути, та же память, но достигшая высокого совершенства благодаря сознательному волевому усилию: не дать исчезнуть, оставить нетленным, не позволить времени смыть и унести в Лету

Такова задача, которую решал и решил своими биографическими повестями Юрий Оклянский.

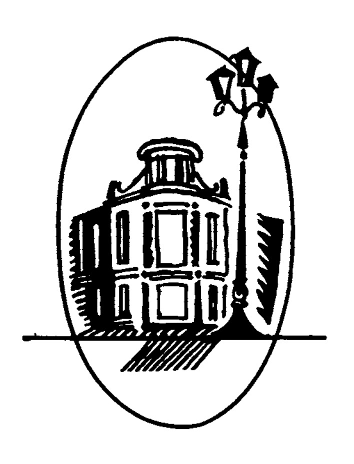
Александр НЕЖНЫЙ

Памяти моей матери
Калашниковой Анастасии Михайловны,
простой русской женщины,
учившей меня мужеству.

Автор



ШУМНОЕ ЗАХОЛУСТЬЕ



ИЗ ЖИЗНИ ДВУХ ПИСАТЕЛЕЙ







...Увидишь, его творчество будет сильнее моего, и мне со временем придется перед ним преклоняться...

Александра Бостром — А. А. Бострому, письмо без даты. Куйбышевский архив.

Я не знаю до сих пор женщины более возвышенной, чистой и прекрасной.

Алексей Толстой. Автобиография, 1913 г.

Глава первая

ТУРГЕНЕВСКАЯ ЖЕНЩИНА ПЕРЕД СУДОМ САМАРСКИХ ПРИСЯЖНЫХ

Гримасы провинциальной Фемиды

22 января 1883 года на заснеженную площадь под высокие окна окружного суда, казалось, сходилась и съезжалась вся Самара.

Обогнув площадь и поднимая на раскате снежный вихрь, к подъезду подлетали наемные кибитки; степенной трусцой, позванивая бубенцами, подкатывали запряженные парами тяжелые кареты. Тянулись с разных сторон пешеходы...

По распоряжению председательствующего действительного статского советника Смирнитского в зал пропускали по заранее розданным билетам.

За деревянным барьером, отгораживающим преступника от публики, сидел всесильный предводитель дворянства Самарского уезда граф Николай Александрович Толстой, обвиняемый в покушении на убийство земского служащего Бострома.

Тридцатитрехлетний граф, плечистый, по случаю чуть бледный, с грустными глазами и драгунской выправкой, был известен в Самаре как самодур и кутила, однако не лишенный ума и фантазии. Последние качества были отлично знакомы его соперникам по дво-

рянским выборам, где граф составил себе репутацию ловкого интригана.

Обстоятельства дела были таковы. В мае истекшего 1882 года двадцатисемилетняя графиня Александра Леонтьевна Толстая, умная, красивая женщина, начинающая писательница, во второй раз и теперь уже бесповоротно ушла от Толстого к мелкопоместному дворянину Алексею Аполлоновичу Бострому. Молодую женщину не остановила необходимость расстаться с тремя малолетними детьми. Не возымели действия ни угрозы мужа, ни уговоры родни — местных скудеющих помещиков Тургеневых, ни увещевания духовника и других священнослужителей, вплоть до специально посетившего ее на дому протоиерея самарской церкви.

20 августа в поезде, только что отошедшем от Безенчука в сторону Сызрани, произошла случайная встреча: лакей донес графу Толстому, что на этой станции в вагон второго класса сели Бостром с «ее сиятельством».

Через несколько минут в их купе послышались крики, раздался выстрел. Бостром был ранен. Сбежавшимся пассажирам он отдал револьвер, который успел отнять у графа.

Для того чтобы представить себе истинный размер сенсации, какой был для тогдашней Самары сам факт, что граф Толстой оказался на скамье подсудимых, достаточно знать, что представлял собой Самарский уезд, где Николай Александрович был бессменным предводителем дворянства чуть ли не всю свою жизнь.

В тогдашней Самаре значилось 68 329 жителей. Попечение уездного предводителя обнимало «жителей обоего пола» втрое больше — 207 710. Штаб-квартира уезда размещалась в губернском центре. И влияние уездного начальства в значительной мере затрагивало Самару.

В своем уезде предводитель дворянства был бог и царь. Граф Толстой был одновременно председателем уездных присутствий по крестьянским делам, по воинской повинности, председателем совета по дворянской опеке, председателем уездного училищного совета, почетным мировым судьей. Сверх того, за Николаем Александровичем значился еще ряд губернских постов и должностей.

Впрочем, все эти чины и звания были лишь внешним выражением богатства. Граф Толстой был одним из крупнейших земельных магнатов губернии.

Сладкую жуть, точно от полета во сне, испытывал сидящий в зале городской обыватель, видя на позорной скамье подсудимых столь могущественного человека. Грудь теснило — неизвестно даже, от чего больше: от предвкушения видов графской спальни? от подозрения подвоха? или от смиренной гордости за себя: «О господи! Узлом связаны — большая честь и бесславие!»?

Помимо тех, чьим «иждивением» и «трудами» жила тогдашняя Самара — купцов, мещан, владельцев промыслов, почетных горожан,— в зале, конечно, был почти весь «свет», самарский «бомонд». Губернские дамы с мужьями, окрестные помещики с семействами, ввиду такой громкой оказии вылезшие из своих родовых гнезд, священники, гарнизонные офицеры.

Находилась в зале суда и публика демократическая — мелкие чиновники, врачи, учителя. Самара в то время была местом политической ссылки, и именно среди этой разночинной публики находились лица, «не одобрявшие» государственное устройство в России...

Вольнодумцы, занесенные в Самару заботами полиции, хорошо понимали всю относительность сенсации, взволновавшей захолустный городишко. Для России граф Толстой не был столь видной и могущественной фигурой. А с точки зрения юридической суд рассматривал довольно банальное покушение («даже» не убийство!), в результате которого, как писал казанский еженедельник «Волжский вестник», потерпевший «был ранен пулею в ногу и теперь уже совершенно здоров».

Подлинную остроту дела они видели вовсе не в той «клубничке», которую смаковал падкий на пересуды обыватель. Быть может, более всего их занимало лицо, не явившееся на процесс,— графиня Александра Леонтьевна Толстая.

Нарушив незыблемость и святость одного из главных общественных институтов — семьи, молодая графиня повторила пример своей трагической литературной современницы Анны Карениной. Но она тем более не могла ждать пощады от официальной морали, что поступила «еще хуже».

Жизненная ситуация остротой могла поспорить с

изображенной в романе, которым пять или шесть лет назад начала зачитываться русская образованная публика. Не говоря уже о трех оставленных детях и о том, что Александра Леонтьевна «оскорбила» общественное приличие, уходя от мужа беременной, она вдобавок выбрала не аристократа, человека «своего круга», каким для Анны был Вронский, а какого-то земского служащего, то есть поступила «безвкусно» и нерасчетливо. А это было уже не просто нарушением неписаной кастовой морали, это было оплеухой всему «бомонду».

Во имя любви она разом порвала все многочисленные моральные путы, связывающие даму ее круга. Резонанс от этого поступка молодой женщины был громче, чем выстрел, раздавшийся в вагоне поезда, шедшего на Сызрань.

Все передовое меньшинство в зале прекрасно понимало, что, хотя на скамье подсудимых сидел граф Толстой, фактически должен был свершиться также публичный суд над бунтом против устоев официальной морали, поднятым молодой русской женщиной, к тому же не в привычном к потрясениям Петербурге, а среди сонной одури дворянско-купеческого захолустья.

Имелось еще одно обстоятельство, которое, в зависимости от умонастроения, должно было либо всерьез беспокоить, либо только забавлять сидящего в зале ссыльного народовольца или поднадзорного радикала.

Истерический выстрел графа поставил власти в затруднительное положение, вынудив их к принятию мер. В результате закон и официальная мораль разошлись между собой. Буква закона усадила графа на скамью подсудимых. Но сочувствие господствующей морали было целиком на стороне графа, защищавшего «семейные устои» и свою «честь» против «греховных и стыдных» поступков жены и ее возлюбленного.

Как должен был выкарабкиваться из этого щекотливого положения суд?

На памяти был нашумевший несколько лет назад на всю Россию случай, когда суд присяжных в Петербурге в «пику властям» оправдал революционерку Веру Засулич, которая в январе 1878 года ранила из револьвера петербургского градоначальника Трепова, надругавшегося над честью ее товарища.

«Но если суд присяжных в Петербурге показал

свою независимость в столь трудном политическом деле, то неужто не найдут в себе капельки самостоятельности самарские присяжные? Пусть отважатся хотя бы на простой судейский педантизм в соблюдении закона. И графу тогда из-за барьера скамьи подсудимых прямым ходом отправляться за решетку!..» — примерно так рассуждал про себя радикальный самарец.

Но, может быть, как раз в эту минуту его взгляд останавливался на нескольких угрюмых и выжидающих физиономиях, выделявшихся среди оживленной и принаряженной публики в зале.

Здесь был кое-кто из постоянной челяди графа Толстого, так называемых панков. Это были дворяне-однодворцы, которым правительство отвело землю в Самарском уезде. У большинства панков от предков остались только древние родовитые фамилии — Шаховские, Трубецкие, Ромодановские и т. д. В Самаре они были известны главным образом тем, как ловко использовал их хозяин уезда. В день дворянских выборов всю эту голытьбу, часть из которых была даже неграмотна, привозили на графских лошадях в Самару. Наряжали в выданные напрокат фраки, и они, явившись в благородное собрание, единодушно голосовали за «хозяина».

Из панков состояла также известная округе толпа графских приживальщиков и телохранителей, его «лейб-гвардия», частью представленная и ныне в зале то ли для вящего напоминания и острастки забывчивым, то ли на какую непредвиденную крайность.

Короче говоря, зал судебного заседания представлял в миниатюре всю тогдашнюю «образованную Самару». И Самара эта перед открытием заседания бурлила, жаждала подробностей, сплетничала, сочувствовала и негодовала...

Читатель, знакомый с биографией Алексея Николаевича Толстого, конечно, уже понял, что сидящий на скамье подсудимых граф — это отец будущего писателя, графиня Александра Леонтьевна — мать, а Алексей Аполлонович Бостром — отчим. Сам будущий писатель, которому тогда не исполнилось еще от роду и одного месяца, в день суда находился на руках матери в доме Бострома, за несколько десятков верст от Самары.

Как и все, кто интересуется писательской судьбой Алексея Толстого, об этой истории я слышал давно, еще до начала 60-х годов, когда затеялась книга. И тогда же она чем-то задела меня. Даже по беглым упоминаниям в биографиях писателя чувствовалось, что она не походила на заурядную семейную драму. Поиски материалов подтвердили догадки. Теперь я знаю, что об этой необычной и героической истории следовало бы рассказать даже в том случае, если бы она не была связана с обстоятельствами рождения будущего писателя.

Откуда же взялись материалы?

Из обширной литературы об А. Н. Толстом, к сожалению, удалось почерпнуть немного. Литературоведы до сих пор почти не касались обстоятельств и хода этого нашумевшего в свое время судебного процесса, если не считать кратких упоминаний о нем. Однако сведения копились. В монографиях В. Щербины «А. Н. Толстой. Творческий путь» (М., «Советский писатель», 1956) и Ю. Крестинского «А. Н. Толстой. Жизнь и творчество» (М., Изд-во АН СССР, 1960) названы два разысканных ими источника, в которых содержится, по словам В. Щербины, «чрезвычайно интересный, еще не использованный литературоведами материал». Это большие статьи о деле графа Толстого, появившиеся одновременно, в воскресенье 30 января 1883 года, в двух столичных газетах,— в петербургской «Неделе» и «Московском телеграфе».

Конечно, я прочел эти статьи.

Соблазнительно было разыскать само судебное досье. В Куйбышевском областном государственном архиве я перелистал несколько пухлых томов, страницы которых испещрены витиеватыми почерками целых поколений судейских писцов,— записи о деле графа Толстого не оказалось. Значит, не было и самого досье.

— До революции в окружном суде был пожар, тогда многое погорело! — сказала хранительница архивов. И, подумав, добавила: —Впрочем, можно еще попробовать... Поищите в архивах Казанской судебной палаты, куда входил Самарский окружной суд и постановлением которого граф Толстой был предан суду...

Я поджидал оказии на поездку в Казань, когда стало известно, что в Куйбышеве обнаружен совершенно уникальный семейный архив А. Н. Толстого.

Это было, может, одно из самых счастливых приоб-

ретений нашего литературоведения конца 50-х — начала 60-х годов. Неизвестный доселе архив хронологически охватывал более полувека — с 1867 года (письмо 12-летней гимназистки Саши Тургеневой к матери) до 1921 года (письмо А. Н. Толстого отчиму, относящееся к августу — сентябрю 1917 года, и последние документы самого А. А. Бострома). Архив содержал большую переписку родных Алексея Николаевича, в том числе письма графа Н. А. Толстого жене, первоначальный набросок его завещания, большую многолетнюю переписку Александры Леонтьевны с Бостромом, письма деда писателя Леонтия Борисовича Тургенева к дочери, множество тетрадей с записями, дневников, рукописей произведений Александры Леонтьевны, некоторые издания ее книг. Одних писем разных лет Алексея Николаевича Толстого к матери и отчиму около ста! А кроме того, были первые издания книг А. Н. Толстого с дарственными надписями, многочисленные фотографии с автографами писателя, записки, документы. И все это новое, абсолютно неизвестное!

Начались страдные недели и месяцы. С утра я появлялся в белом двухэтажном особнячке Куйбышевского литературно-мемориального музея имени А. М. Горького. Хранительница фондов Маргарита Павловна Лимарова, оставив меня наедине с очередной порцией старых тетрадей и писем (часто еще не читанных даже сотрудниками музея), уходила. И для меня мгновенно исчезало все — поверхность стола, стены, комната, даже я сам. Терялось ощущение времени.

Старые письма были частичкой исчезнувшего бытия... Глубоко личные, не предназначавшиеся для постороннего глаза страницы, с взволнованно набегающими одна на другую строчками, с вычерками, помарками, с передышками раздумий и размашистой скорописью найденных слов, хранили трепетность и откровение минуты. Начинало казаться, будто они вовсе не давние, будто их принесла вчерашняя почта.

Я поднимал глаза. По соседству с комнатой, где я сидел, за изгибом тихого узкого коридорчика, была еще одна слепая полуподвальная клетушка. Я ее хорошо знал. Там стояла одинокая железная кровать, покрытая серым одеялом, был столик с несколькими книгами, чернильница и перо. Там в конце прошлого века ютился высокий худой человек, носивший широкополую шляпу и темную накидку. Там ночами писал свои

очерки и рассказы фельетонист «Самарской газеты» Иегудиил Хламида — молодой Горький. В этой комнатке, остановившись, застыло то же самое время...

Казалось, что стоит выйти на улицу, пройти по городу несколько кварталов до кирпичного островерхого костела — и на деревянном крыльце спрятавшегося подле него домика увидишь красивую женщину, чьи письма и дневники я читал, а рядом — ее сына, озорного, розовощекого подростка в форменной куртке самарского реалиста, прозванного за полноту и неповоротливость Ленькой-Квашней... И быть может — чем черт не шутит! — как раз в этот момент мимо проскачет, отвалившись в коляске, сам дворянский предводитель граф Толстой.

А между тем в Куйбышевский музей имени А. М. Горького через несколько месяцев, а иногда с перерывами и в год с лишним, продолжали поступать разысканные новые материалы. Историю этой интереснейшей находки я расскажу позже. И об архиве в целом, большая часть которого до этой книги еще никогда не публиковалась и не описывалась, речь тоже впереди... Теперь же вернусь к судебному процессу.

Некоторые из обнаруженных в Куйбышеве материалов, относящиеся к 1881—1883 годам, дали мне как раз то, чего до сих пор не хватало. Восстанавливались не только недостающие звенья в событиях, но, главное, ярче стал виден нравственный накал борьбы в зале суда и за его стенами, отчетливей вырисовывались теперь и те далеко идущие последствия, которые имели эти события не только для их непосредственных участников.

Однако это не значит, что больше уже не потребовалось никаких поисков.

Нельзя понять многих скрытых пружин, действовавших на процессе, не зная обстановки в тогдашнем Самарском суде, не имея никаких сведений о людях, кому было поручено свершить правосудие над всесильным волжским помещиком. Но как это узнать? В переписке и дневниках куйбышевского архива на сей счет ничего не нашлось... Где же разузнать подноготную о чиновниках, подвизавшихся в провинциальном суде почти сто лет назад?

Как ни парадоксально, на этот раз меня безотказно выручил... баснословный российский бюрократизм. В Ленинградской публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина передо мной на столе взгромоздились роскошно изданные фолианты с темными кожаными корешками, с золотыми гербовыми двуглавиями и серебряными обрезами страниц. Это любопытные книги. В них не только представлены все до единого из сотен и тысяч управлений и ведомств, отделов и департаментов, но с инвентарной тщательностью учтен и описан каждый, даже самый ничтожный, человеческий «винтик» государственной машины, вселенской паутины, простиравшейся по Российской империи. И никто не ускользал от всевидящего начальственного ока! Уж коли сидел даже за тридевять земель, в самых темных канцелярских закоулках, некий Акакий Акакиевич, жалкий коллежский регистратор, которого и сослуживцы-то за человека не считали, то, будьте уверены, в этих книгах были его фамилия, имя-отчество, чин-должность, оттиснутые с такой королевской пышностью и на такой бумаге, которая самому Акакию Акакиевичу привидеться могла только во сне.

Называются эти фолианты «Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и должностных лиц по всем управлениям Российской империи на... [такой-то] год. Санкт-Петербург. Типография Правительствующего сената».

Просматривая адрес-календари по годам, многое узнаешь о Самарском окружном суде, о всех выдвижениях и задвижениях, о сменах начальства, о наградах, о судьбах чиновников, иногда от самого появления их на службе и до смерти. Но это еще не все. Такие же адрес-календари, но только потоньше и победней, издавались ежегодно и в губерниях. Но зато тут все было расписано еще подробней, чуть ли не до сторожа, охранявшего судейское здание.

Адрес-календари Самарской губернии, которые аккуратно выходили в начале декабря истекающего года, рассказывают, и какой очередной чин получил господин прокурор Владимир Ромулович Завадский, и кто был в числе присяжных поверенных, и кто определен приставом или околоточным, и на каких улицах следует разыскивать «камеры» и присутствия. И сколько населения «обоего полу» и по раздельности в Самаре и по уездам, и какие должности и звания имел в по-

следние десятилетия жизни уездный предводитель граф Николай Толстой, и в каких благотворительных обществах состояла впоследствии его вторая супруга, и когда был в гласных городской думы и губернского земского собрания дед будущего писателя Леонтий Борисович Тургенев, и какой общественный вес имела остальная самарская родня Толстых и Тургеневых. Позднейшие адрес-календари сообщают, кто из учителей и какие предметы преподавал в разные годы в Самарском реальном училище имени императора Александра Благословенного, когда там учился Алексей Толстой, по адрес-календарям получаешь почти исчерпывающие справки о семьях знакомых и друзей юности А. Н. Толстого...

Словом, при внимательном чтении эти бюрократические гроссбухи дают если и не кладезь сведений, то во всяком случае отправные ориентиры, данные, которые потом, при обращении к архивам, к старым газетам и воспоминаниям, легко обрастают многими живыми подробностями.

Итак, что представлял собой Самарский окружной суд? По сравнению с другими такими же российскими судами он должен был считаться либеральным. Накладывало отпечаток своеобразие Самары как места политической ссылки.

Вероятно, далеко не каждый адвокат взялся бы защищать графа Толстого. К Самарскому окружному суду было приписано восемь присяжных поверенных. Но публика эта, с точки зрения графа, в основном была едва ли надежной.

Был, например, в ее числе один из крупнейших тогдашних адвокатов Поволжья коллежский секретарь Карл Карлович Позерн, тот самый, который после окончания Московского университета «был вынужден покинуть Москву по прикосновенности к Нечаевскому делу». Народник по убеждениям, заядлый театрал, любитель литературы, сам пописывающий рассказы, Позерн впоследствии выступал с бывшей женой графа Александрой Леонтьевной Бостром на музыкально-литературных вечерах в Самаре. В 1895—1896 годах его дом часто посещал молодой Горький.

Людьми передовых взглядов были также кандидат прав Андрей Николаевич Хардин, присяжный поверенный Самарского окружного суда, у которого в начале 90-х годов был помощником молодой В. И. Ленин, и

близкий Хардину Григорий Александрович Клеменц, старший брат известного народовольца, напечатавший уже после революции интересные воспоминания о В. И. Ленине.

Но, пожалуй, больше всего ореолом либеральности Самарский окружной суд был обязан одиозной фигуре, стоявшей во главе его. В то время председателем суда уже ряд лет был сын известного декабриста Владимир Иванович Анненков, очень гордившийся этим фактом своей биографии и всячески его подчеркивавший. По воспоминаниям Я. Л. Тейтеля, «в кабинете Анненкова лежал громадных размеров альбом с портретами и автографами почти всех декабристов, а на стене висели кандалы, снятые с его отца по отбытии последним каторжных работ» («Из моей жизни за сорок лет». Изд-во Я. Поволоцкий и К°, 1925, с. 40).

Легко представить себе оторопь, охватывавшую посетителя, когда он «в те годы дальние, глухие» видел впервые — и где?! — в кабинете самого господина председателя окружного суда эти символы крамолы! Как было после этого сомневаться в слухах о либеральности Самарского суда!

Однако ни прогрессивность большинства самарской адвокатуры, ни знаменитые декабристские кандалы в кабинете председателя Анненкова не совлекли разбирательство по делу графа Толстого с того русла, по какому оно потекло бы, видимо, в любом другом суде Российской империи.

Едва летом 1882 года было заведено дело на графа Толстого, как в суд полетело прокурорское представление о его прекращении.

Теперь обвинение против подсудимого поддерживал тот же прокурор, из канцелярии которого недавно исходил протест против самого возникновения «дела». Либеральный Анненков каким-то образом оказался в стороне, вместо него вел процесс «товарищ председателя» Смирнитский, настроенный к подсудимому более чем благожелательно.

Графу Николаю Александровичу Толстому оставалось опасаться одного — как поведут себя присяжные заседатели? Это был первый случай в его жизни, когда его судьба зависела — «черт бы побрал эти либеральные реформы!» — от каприза каких-то купцов и мещан.

По поведению графа во время процесса мы видим,

что, несмотря на уверенность в благожелательности суда, он трусил. И для того чтобы повлиять на присяжных, выбрал самую верную тактику: оставаться графом, перед которым это судившее сейчас его «мужичье» привыкло сгибаться. Он решил показать им, что он человек тонких чувств и благородного поведения, «комильфо», а Бостром — мужлан, быдло, осквернитель святыни, черный негодяй, презревший всякие понятия о добродетели, нравственности и правилах хорошего тона.

Граф Николай Александрович очень удачно (хотя, повторяю, и слегка труся) разыгрывал перед присяжными ходячего добродетельного героя из тех бульварных книжек, которые, может быть, только и читали сидевшие на скамьях заседателей купцы и мещане.

Если верить его показаниям, «дорожное происшествие» выглядело примерно так.

Оказывается, граф, заставший Александру Леонтьевну одну в купе (после того как поезд тронулся, Бостром ушел переговорить с кондуктором), вовсе не угрожал ей револьвером. Нет, он самым светским образом приглашал ее перейти к нему в 1-й класс, «так как ей, графине, не пристало ехать во 2-м классе». Когда же во время этого галантного щебетания кавалера с дамой в купе неожиданно вошел Бостром, он, граф Толстой, вовсе не направлял ему в грудь револьвера. Он лишь, в соответствии с правилами «бомонда», «повернулся к нему», чтобы походя, одной репликой восстановить нарушенную учтивость момента, сказать, что «это верх наглости с его стороны входить, когда я тут».

А что же Бостром? Вместо того чтобы, не роняя своего достоинства, с легким поклоном удалиться и ждать за дверью с вызовом на смертный поединок, он ведет себя как невоспитанный мужлан, как обуянный ревностью каннибал, незнакомый даже с начатками образованности. «Но Бостром тотчас же... бросился на меня и стал кусать левую руку» (Фи! Ни с того ни с сего кусаться!). Но граф и тут не потерял хладнокровия и величия духа. «Защищаясь, я дал Бострому две пощечины и вынул из кармана револьвер, который всегда и везде носил с собой, с целью напугать Бострома и заставить его уйти, а никак не стрелять в него...»

Разумеется, в возвышенной декламации графа Николая Александровича не удостаиваются упоминания

«пустяки», которые к тому же имели многих свидетелей. Вроде случая, как за несколько недель до встречи в вагоне он составил «шайку», чтобы насильно увезти жену, жившую в доме Бострома в другом городе («Неделя»), или — о происходившем уже после ранения Бострома.

«Графский титул Толстого... дал ему полную возможность издеваться над ними в поезде. И железнодорожные служащие, и жандармы вместо ареста помогали графу проделывать всевозможные вещи с потерпевшим и графиней. Так, он несколько раз врывался к ним в купе и дерзко требовал, чтобы графиня оставила Бострома и уехала с ним; в последний раз его сопровождал даже начальник станции. Такое беспомощное положение вынудило свидетеля дать телеграмму прокурору о заарестовании графа, так как другого средства избавиться от преследования графа не было» («Московский телеграф»).

Николай Александрович был достаточно наделен пылкостью фантазии, внутренне неустойчив и фальшив, чтобы, выдумывая себя на суде, минутами и на самом деле забывать, каков он в жизни. Он даже с неподдельной страстью уверял присяжных — купцов и мещан, что ему, аристократу «голубой крови», чуждо все низменное (а значит, и сама мысль о покушении на убийство), что каждый свой шаг он, граф Толстой, совершает не иначе как согласовав его прежде с буквой этикета и правил хорошего тона. Этой же цели служат оглашенные по просьбе обвиняемого документы — письменный вызов Бострому на дуэль, которым тот пренебрег (как и прочими велениями дворянской чести, написавши в ответ: «...Я соглашусь вас убить только тогда, когда вынужден буду к тому ради самозащиты, иначе убить вас ни нравственный, ни государственный законы мне не позволяют»), долговая расписка Бострома и т. п.

Однако, разыгрывая на подмостках суда эту роль, граф Толстой заранее принял ряд закулисных мер, в которых не только нет и тени рыцарства, но которые, напротив, поражают самой неразборчивой низменностью замысла и приемов. Это тот способ действий, о котором принято говорить — любые средства хороши.

Если Бостром еще до принятия присяги обратился к председательствующему на суде с вопросом, не мо-

жет ли он «совсем отказаться от показаний», так как не намерен обвинять графа; если вторая главная свидетельница обвинения Александра Леонтьевна, которая при желании «топить» графа нашла бы возможность присутствовать на суде, предпочла сослаться на нездоровье, то соревноваться в великодушии Николай Александрович отнюдь не собирался.

Напротив. Еще на предварительном следствии он так изложил свою версию событий: «...Я не помню... кто выстрелил из револьвера, я ли нечаянно или Бостром; но последний еще в начале борьбы, когда он начал отнимать у меня револьвер, всячески старался направить дуло револьвера мне в грудь и говорил при этом принимавшей участие в борьбе моей жене, указывая на собачку: «вот где вся суть». Придя в себя, я заметил, что у меня контужена рука и прострелено верхнее платье» («Московский телеграф»).

Траектория выстрела при таком объяснении могла быть одна: направленная в грудь графу пуля, скользнув по его руке, нечаянно пробила ногу Бострому... Это означало, что не он Бострома, а Бостром его хотел убить из револьвера, который Николай Александрович вытащил, чтобы только «постращать».

Такой версии мешало наличие по крайней мере двух свидетелей — помимо Александры Леонтьевны, еще и купца Ванюшина, который тоже видел конец схватки в вагоне. Пулевую контузию в руку отказалась подтвердить даже благосклонная медицинская экспертиза. Из доказательств у Николая Александровича оставалась только продырявленная рукой накидка. А то неизвестно, как бы еще повернулось...

Уже в подборе свидетелей видна предвзятость суда, делавшего все, чтобы помочь подсудимому оправдаться.

Так, среди присутствовавших на процессе почему-то не оказалось единственного свидетеля, самостоятельно выставленного обвинением. Того самого купца-пассажира Ванюшина.

Когда Александра Леонтьевна уже прикладывала компрессы к ране Бострома, это он подошел к ней и восторженно потрепал за плечо: «Ну, молодец, барыня! — и потом, обратившись к Бострому, добавил: — Кабы не она так вцепилась, укокошил бы он тебя» («Московский телеграф»).

Такой свидетельский голос остался лишь в письменном пересказе, приложенном к делу.

Зато судьи благосклонно выслушивали свидетелей защиты, вроде графского лакея Сухорукова, который плел рассчитанные на дам и присяжных душеспасительные россказни: де, мол, «они [граф] были так огорчены поступком графини, что дней по десяти пищи не принимали».

Сиятельный обвиняемый может изображать из себя святейшую добродетель, показания его могут быть шиты какими угодно белыми нитками — никто из состава суда и не подумает вмешаться. Тут самарская Фемида бесстрастна, как бронзовая статуэтка этой богини.

Но вот начинаются показания единственного оказавшегося в активе обвинения свидетеля (он же потерпевший) Бострома — и «бронзовое изваяние» оживает.

Защитник Ященко задает Бострому явно провокационный вопрос — «посещал ли он графиню, когда та проживала в Петербурге с мужем?» Потерпевший Б. спрашивает председателя г-на Смирнитского, обязан ли он отвечать на вопросы, не идущие к делу. Председатель, вместо того, чтобы заметить защитнику о неуместности вопроса, сказал потерпевшему Бострому: «На все, что клонится к вашему обвинению, вы можете не отвечать» («Неделя»).

Это была уже не первая подобная оговорка. Председательствующему г-ну Смирнитскому, при всем его годами тренированном чиновном бесстрастии, все-таки не удавалось скрыть, кого на самом деле он предпочел бы видеть на скамье подсудимых.

Однако особенно рьяно выгораживал подсудимого главный обвинитель — прокурор Завадский. Так, например, прокурор увидел основную трудность, препятствующую установлению виновности, «в том, что мы имеем дело не с убийством, а только с покушением». Выходило, что представитель государственной справедливости сожалеет, что потерпевший остался в живых.

Перечислив и другие обстоятельства, колеблющие «улики обвинения», прокурор пустился в рассуждения о святости моральных устоев и о том, что «Бостром, отняв у графа жену, совершает преступление». Свою «обвинительную речь против графа Толстого» господин

Завадский заключил издевательским резюме, что он лишь «совершенно беспристрастно» изложил суть дела.

После такой прокурорской речи нечего уже было добавить ни председательствующему, ни самому защитнику.

Как отметил наблюдавший за состязанием сторон репортер,— «защитнику подсудимого ничего не оставалось более, как только обратить внимание присяжных на то обстоятельство, что граф Н. А. Толстой принадлежит к сословию, господствующему в империи, что почтенный защитник подсудимого г. Ященко, между прочим, и сделал в своей речи» («Московский телеграф»).

Напрасно граф Николай Александрович нервничал и по поводу позиции присяжных. То ли на них произвел впечатление разыгранный судом спектакль, то ли еще большую роль сыграло понимание побудительных причин, двигавших «актерами», но дебаты в совещательной комнате были недолгими.

Не успели еще судьи после ухода присяжных дойти до своего кабинета, как прозвенел звонок, требовавший в зал. Не оставаясь наедине и одной минуты, присяжные вынесли оправдательный приговор.

Так закончился этот судебный фарс, который, с точки зрения тогдашних губернских верхов, был простой инсценировкой, «данью закону».

Что именно таков был взгляд губернских верхов, лишний раз подтверждает поведение местной печати.

Казалось бы, где и искать более подробные сведения об этом нашумевшем на всю страну процессе, как не в периодике Самары и соседних с ней губернских центров? Так я думал, начав в библиотеках Куйбышева, Москвы и Ленинграда просматривать ставшие сейчас редкостью комплекты довольно многочисленных тогдашних волжских газет.

Стремясь завоевать подписчиков, провинциальная периодика того времени наперебой потрафляет вкусам обывателя. В частности, судебный отдел во всех без исключения газетах является ведущим, а главная пища для него черпается из дел окружных судов.

Чего только не находишь, например, на страницах начавшей издаваться с 1 января 1883 года ежедневной

газеты «Самарский вестник», листая ее подряд, из номера в номер! «Дело о нанесении крестьянину Киргизову мелких побоев», заметка о покушении бывшего студента Фельдмана на мелкого фотографа Фельзера, «Убийство женщины с нанесением 45 ран», «Мышь, проглоченная во время сна ребенком», «Столетняя роженица», «Двойное самоубийство», заметка о 19-летней француженке-оригиналке («вполне здоровая и прекрасно сформированная, которая вот уже восемь лет питается только молоком и кофе, ко всем же остальным сортам пищи имеет непреодолимое отвращение») и т. д. и т. п. То есть перед нами обычная духовная пища русского обывателя конца XIX века, которой одинаково потчевали его нередко похожие, как близнецы, провинциальные газеты.

Кажется, трудно в таком случае сыскать более лакомое блюдо, чем дело графа Толстого. Однако напрасно искать в газете «Самарский вестник» хотя бы одну заметку — на процесс она не откликнулась ни единым словом. «Самарские губернские ведомости» и «Ежедневные прибавления к Самарским губернским ведомостям» — органы официальные — поместили только обязательное объявление о предстоящем слушании дела.

Ни слова не проронил о скандальном суде в Самаре и «Саратовский листок». Лишь в казанском еженедельнике «Волжский вестник», издававшемся профессурой университета, в номере от 23 января 1883 года в разделе «Местно-областная хроника» я нашел короткую заметку с изложением существа дела, которое должно было «вчера рассматриваться в окружном суде». Журнал заранее объявляет, что это должен быть «весьма любопытный и несколько РОМАНТИЧЕСКИЙ (выделено «Волжским вестником».— *Ю. О.*) процесс».

Однако ни в очередном номере от 30 января 1883 года (когда поместили свои статьи «Неделя» и «Московский телеграф»), ни в дальнейших номерах «Волжского вестника» никаких материалов по поводу рекламированного авансом события не появилось.

Всему этому, разумеется, были свои причины. Провинциальная печать, зависящая от мнений губернских верхов, частью не хотела, а в большинстве и не смела позволить себе то, что позволяла более независимая столичная пресса. Редакторы прекрасно понимали,

против кого будет направлен даже отчет с судебного заседания, без комментариев.

Оправдательный вердикт, вынесенный присяжными графу Толстому, означал вместе с тем оформленное на бумаге осуждение официальной моралью поступка Александры Леонтьевны и Бострома. Теперь против дерзких любовников была глухая стена — от губернского «бомонда» до суда и газет. Сочувствовала им только горстка передовой публики, на которую, по словам «Недели», ход процесса произвел «крайне тяжелое впечатление».

А через несколько месяцев решение суда мирского было подкреплено еще и судом духовным. В сентябре 1883 года Самарская церковная консистория, рассматривавшая дело о расторжении брака Толстых, высказалась по этому поводу совершенно недвусмысленно, определив: «за нарушение святости брака прелюбодеянием со стороны Александры Леонтьевой» оставить ее «во всегдашнем безбрачии» и предать «семилетней эпитимии под надзором приходского священника».

Отныне это была официальная формула, документ гражданского состояния, который заменил для Александры Леонтьевны другой возможный вид о семейном положении.

С него снимались копии, для светского употребления составлялись сокращенные версии, он предъявлялся в официальных инстанциях. Это срамная бумага, «паспорт блудницы»!..

Одно из таких отношений Самарской духовной консистории фигурирует в делах Самарского дворянского депутатского собрания уже за 1897 год, когда в связи с поступлением четырнадцатилетнего сына Алексея в среднее учебное заведение начались хлопоты о необходимых бумагах (Куйбышевский областной государственный архив, ф. 430, д. 1861).

Суть решения, правда, теперь изложена кратко, детали опущены или заменены ссылкой на статью устава. Но, как говорили тогда, каменной остается просвира.

«...Определением епархиального начальства,— читаем там,— состоявшимся 19 сентября 1883 года, заключено:

1. Брак поручика Николая Александровича Толстого с девицею Александрой Леонтьевной, дочерью действительного статского советника Леонтия Тургенева,

совершенный 5 октября 1873 года,— расторгнуть, дозволив ему, графу Николаю Толстому, вступить, если пожелает, в новое (второе) законное супружество с беспрепятственным к тому лицом.

2. Александру Леонтьевну, графиню Толстую, урожденную Тургеневу, на основании 256 ст. Уст. Дух. Консистории, оставить во всегдашнем безбрачии. Определение это утверждено Указом Святейшего Синода от 16 апреля 1884 года за № 1185».

У графа Николая Александровича довольно скоро нашлись заботники и жалельщики. Через пять лет он и брачными узами закрепил давние привязанности к нему прежней общей знакомой состоятельной вдовы Веры Людвиговны (Львовны) Городецкой.

Отношения же Александры Леонтьевны с Бостромом так и остались неузаконенными до конца дней.

История одной любви

Быть может, как раз в те неспокойные и одинокие январские вечера 1883 года, после отъезда Алексея Аполлоновича Бострома на тяжелое судебное разбирательство в Самару, графиня Александра Леонтьевна решила привести в порядок свою переписку.

Она перечитывала бережно сохраненные каждым из них до малого листка письма последних полутора-двух лет. Заново переживая все, разглаживая страницы, складывала по датам и подшивала. Получились тетрадки, день за днем рассказывающие о еще не отболевшем прошлом, об истории их любви, о мучительном периоде внутреннего разлада, о трудно выстраданном счастье.

У Алексея Бострома была характерная внешность. Высокий открытый лоб, густая русая борода, закрывавшая щеки, при его молодости (Бострому было тогда 29 лет) делали его похожим на разночинца-шестидесятника, какими представляла их портретная традиция. Но в лице Алексея Аполлоновича вовсе не было сурового вдохновения или непреклонности борца. Напротив, у него было тонкое, а если поприглядеться, слегка изнеженное лицо. Он был красив — сухой нос, круто изогнутые струнки бровей, проницательные, то задумчивые, то с дружелюбным юмором монгольского разреза синие глаза.

От шестидесятников в нем были смелость сужде-

ний, начитанность сочинениями Добролюбова, Писарева, преклонение перед Некрасовым, свежесть взгляда на вещи, какими бы традициями они ни были освящены. Бостром бывал смел и неутомим в отстаивании своих мнений, но при всей горячности спорить умел воспитанно и приятно. Не меньше, чем принципиальные споры, любил поимпровизировать в одиночестве на пианино. И на званых вечерах, по просьбе присутствующих, охотно пел дуэтом с кем-нибудь из барышень или дам.

Алексей Аполлонович был убежден, что на человека можно повлиять только одним — добротой. Но, как впоследствии было суждено убедиться Александре Леонтьевне, сам часто бывал не только мягким, но и мягкотелым...

Впрочем, эти недостатки Алексея Аполлоновича открылись молодой женщине много позже. А при своем появлении блестящий красавец земец, ничего не имевший, кроме небольшого отцовского хутора, но не унывающий, веселый в своей бедности, одержимый проектами невероятных новаторских переустройств, Алексей Бостром слишком выделялся среди помещиков-степняков, составлявших окружение графа Толстого.

У встретившихся однажды молодых людей оказалось много общего. Алексей Аполлонович читал тех же Бокля, Спенсера и Огюста Конта, что и находившая себе единственное прибежище в книгах порывистая и волевая графиня. Мысли у них часто совпадали...

Однако все это было уже потом. А начиналось не так...

«Она воспитывалась в местной женской гимназии,— писал о невольной виновнице последующих событий газетный корреспондент,— которая обставлена по отношению к «благонадежности» крайне благоприятно. Семь старых дев и столько же бездетных вдов охраняют священный огонь в этом храме весталок. Семейство Тургеневых всегда отличалось отменной набожностью... И с этой стороны воспитание было крайне благонравное» («Неделя»).

Отец Александры Тургеневой, Леонтий Борисович Тургенев, был энергичным общественным деятелем, одним из основателей и председателем первой земской управы в России, открытой в Самаре. Когда его двою-

родный дядя Николай Иванович Тургенев *, известный публицист и деятель декабристского движения, эмигрировал и был заочно приговорен к смертной казни, Леонтий Борисович безбоязненно взялся быть его опекуном. В то же время это был строгий христианин, почти аскет, предпочитавший другим книгам чтение «Апостола».

Слабые стороны характера деда впоследствии отразил в своих произведениях заволжского цикла Алексей Толстой. Тем не менее, как писала сама Александра Леонтьевна, отцу она была «обязана всеми семенами лучших альтруистических чувств, которые потом выросли» в ее душе.

Еще она была многим обязана книгам. Властителем девичьих дум Александры Тургеневой был ее знаменитый однофамилец — писатель И. С. Тургенев. Особенно нравились Саше тургеневские героини — самоотверженные идеалистки, романтики, характеры страстные и свободолюбивые.

И сама Саша начала свою сознательную жизнь, как и подобает тургеневской девушке, по юности лет находившейся еще в плену восторженно-книжных представлений о жизни.

---

* Во многих работах, посвященных А. Н. Толстому, совершенно безосновательно увеличивается степень родства матери писателя с известным деятелем декабристского движения. На сей счет уже выросла едва ли не легенда. Часто без всяких оговорок Александру Леонтьевну называют «внучкой Николая Ивановича Тургенева» (М. Чарный. Путь Алексея Толстого. М., 1961, с. 6; К. А. Селиванов. Русские писатели в Самаре и Самарской губернии. Куйбышев: Кн. изд-во, 1953, с. 107). Или пишут так: «По материнской линии Алексей Толстой — потомок декабриста...» (И. И. Векслер. Алексей Николаевич Толстой. М.: Советский писатель, 1948, с. 12; Т. Т. Веселовский. Творчество А. Н. Толстого. Л., 1958, с. 7), что также ненужная натяжка. На самом деле родство было не только крайне далеким, но и боковым. Как о том писал сам А. Н. Толстой в случае, когда требовалась документальная точность,— дед его матери «Борис Петрович Тургенев приходился декабристу двоюродным братом» (ИМЛИ, инв. № 214/153), то есть Александра Леонтьевна была декабристу, в сущности, «седьмой водой на киселе» — двоюродной внучатой племянницей (см. также: В. В. Руммель и В. В. Голубцов. Родословный сборник русских дворянских фамилий. Т. II. Спб. 1887, с. 550—551). По разветвленным за столетия геральдическим древам знатных дворянских фамилий кто и кому только не приходился в конце концов дальним родственником!

Шестнадцатилетней барышней она пишет свою первую повесть «Воля», посвящая ее положению «прислуги в старом барском доме, сознавшей в себе человека». А три года спустя выходит замуж за гибнущего «в пучине порока» помещика графа Н. А. Толстого.

Об этом повороте в жизни героини, которой не исполнилось тогда девятнадцати лет, тот же осведомленный петербургский корреспондент писал: «В то время в Самаре появился молодой граф Н. Толстой, уже по одному своему званию составлявший весьма выгодную партию для любой красавицы. Он посватался к барышне Тургеневой, которая, кажется, уже в то время стала автором повести «Воля». Молодую красавицу барышню увлекла высокая идея гуманности и христианского одухотворения: ее уверили, что ей предстоит достойная миссия обуздать и укротить пылкий нрав графа, что она сможет переродить его и отучить от многих дурных привычек» («Неделя»).

Это были «чудные мечтания».

Незнание жизни, незнание людей, незнание себя — вот корень ошибки, за которую ей впоследствии было назначено мучиться и страдать чуть не до конца дней. Идеализм очень благороден, но не от него рождаются дети.

Чувство было во многом головным, но девушка искренне верила, что любит. Уже зрелой женщиной, оглядывая восемь лет прожитой жизни, в канун окончательного разрыва, она писала мужу: «Во-первых, ты ошибаешься: не одна жалость возбудила тогда любовь. Жалость послужила только к тому, что я не оттолкнула тебя. Я полюбила тебя, во-первых и главное потому, что во мне была жажда истинной, цельной любви и я надеялась встретить ее в тебе. Если бы я не думала, что ты сильно любишь меня, я не вышла бы за тебя замуж. Я не стану говорить, как эта потребность возбудила во мне нежное, сильное, почти не эгоистическое чувство, как, не встречая в тебе ответа, а, напротив, одно надругание над этим чувством, я ожесточилась и возмущенная гордость, заставив замолчать сердце, дала возможность разобрать шаткие основы любви.

Я поняла, что любила не потому, что человек подходил мне, а потому только, что мне хотелось любить. Я обратилась к жизни сознания, к жизни умственной... В то время, когда ты жил изо дня в день, я много работала над собой, анализируя, познавая себя. Я поня-

ла, что мне было нужно, чего недоставало» (Н. А. Толстому, около 1 марта 1882 года) *.

Жертва девушки-идеалистки не была оценена.

Слабохарактерный и вздорный, Николай Толстой истолковал благородство жены как слабость, дающую право издеваться над ней. О святых клятвах невесте, о планах, которые радужным фейерверком возникали перед свадьбой, теперь не было и речи. Не прошло и года, а пьяные дебоши графа вновь развернулись настолько, что однажды он оскорбил губернатора и был выслан из Самары. Другой раз он в слепой ярости стрелял в жену, ожидавшую ребенка.

Литературные занятия Александры Леонтьевны, ее умственные интересы считали в доме мужа блажью, ухищрением, при помощи которого хочет выказать свой «норов» эта гордячка.

Старая графиня, спесивая и властная старуха, родом из московской купеческой семьи Устиновых, старалась искоренить в ее душе то, с чем не удавалось сладить одному сыну. Заходило так далеко, что мужики барской деревни, ездившие в город, и те рассказывали по Самаре, как «плохо живется молодой графине».

В пору, когда она уже стояла «на краю пропасти скептицизма... не верила ни в людей, ни в себя, не доверяла своим инстинктам», встреча с Бостромом не только воскресила в ней способность любить. Вернее, способность к любви потому и ожила в ней с такой силой, что в своем чувстве Саша увидела возможность осуществления своего нравственного идеала. Путь был ясен — уйти к давно грезившейся духовной и чистой жизни, а не разлагаться в свинском болоте.

Что же на этом пути было самым трудным?

Часто нам лишь кажется, что мы скованы тысячей внешних обстоятельств. Тогда как главное в том, что мы не свободны внутренне. Подавить в себе инстинкт, оберегающий от «лишних» невзгод и страданий, вытравить рабскую оглядку на заведенный порядок вещей, если надо, даже отсечь от себя кусок живого, но дей-

---

* Из фондов Куйбышевского литературно-мемориального музея имени А. М. Горького (КЛМ). В дальнейшем ссылки на место хранения даются только в случаях, когда используются рукописные материалы из других архивных источников и частных собраний.

ствовать всегда только по своему убеждению и чувству — это и означает стать свободным. Зато и требуется тут не одно эффектное усилие, а повседневный, незримый посторонним, внутренний героизм.

Первый раз, когда она уезжает к Бострому в ноябре 1881 года, это порыв страсти, слепое бегство, без расчета сил. Бурление сплетен и всеобщее осуждение ее не пугают. Но внутренне она еще не подготовлена к другому. И поэтому, когда натягиваются разом все связывающие ее канаты, когда ее охватывает одновременно и тоска по оставленным детям, и страх за жизнь любимого человека, которому угрожает граф, и сострадание к родным (мать, потрясенная, лежит чуть ли не при смерти), и терзания от «эгоистичности» своего поступка, от своего дезертирства в исполнении «долга», понимание которого укоренено строго христианским воспитанием отца, она не выдерживает.

Граф Толстой увозит ее в Петербург. Там, махнув на все рукой, чтобы только удержать жену, он издает на свои средства законченный к тому времени ее роман «Неугомонное сердце». И именно там для нее довершается период «страшной умственной и нравственной ломки».

Первый же читатель «повести» о любви (куда можно отнести найденные в Куйбышеве тетрадки писем, дневник Александры Леонтьевны и другие материалы) обнаружит любопытную деталь. Активным началом в любовном романе является отнюдь не герой, а героиня. Конечно, Бостром тоже горячо любит и страдает. Но он чаще теряет веру, падает духом, больше нуждается в подбадривании и утешениях, чем находящаяся в условиях несравнимо более трудных Саша. Она же является и главным «философом» их любви. Бостром, обожающий и на все готовый, чаще всего одобряет или покоряется тому, что уже продумала, взвесила, предприняла она.

Одного в жизни Александра Леонтьевна не умела совершенно — притворяться. И даже во время наибольшего примирения с мужем не лукавила перед ним. В глаза самодуру, взятому за живое, и хныкающему «отцу семейства», и заискивающему мужлану, и беснующемуся ханже она говорит одинаково, что продолжает любить Бострома, что чувство это «сделалось частью меня самой. Вырвать его невозможно, заглушить его — так же, как невозможно вырезать из живого

человека сердце» (Письмо Н. Толстому, начало марта 1882 года).

Передумывая в эти мучительные месяцы всю свою жизнь, она вырабатывает для себя целую нравственную теорию, которую противопоставит вскоре суждениям о себе фарисейской официальной морали.

В соответствии с ее строгим пониманием «долга» один из героев романа «Неугомонное сердце», готовившегося тогда к печати, следующим образом противопоставляет понятия «счастья» и «наслаждения»: «Наслаждение забывается, как только перестает удовлетворять ту потребность, которая его вызвала»; «счастье же — цель в отдаленном будущем» («Неугомонное сердце. Роман в двух частях. Сочинение графини А. Л. Толстой». Спб., 1882, с. 381). Люди мелкие, живущие только потребностями минуты, ищут в жизни одних наслаждений. И уже тем самым они запутываются во лжи. Настоящее же человеческое счастье всегда идейно, оно основывается на стремлении к нравственному идеалу, без отклонений от правды.

Такие рассуждения могут показаться несколько отвлеченными. Но для нее эти общие категории «добра» и «зла» имели вполне конкретные обличия, окрашивались иногда едва ли не собственной кровью. «Боже, что мне делать, как жить по правде с мужем, этим человеком, который нарочно закрывает глаза, чтобы не видеть правды! Мы с Колей (Шишковым, родственником и единомышленником Александры Леонтьевны. — *Ю. О.*) говорили об этом, о разнице между теми людьми и нами. Я, например, стремлюсь узнать правду, какова бы она ни была, они прячут голову от правды, если она неприятна. Я, если вижу, что мое счастье основано на иллюзии, скорее разобью его, стараясь узнать истину, они, напротив, стараются построить иллюзию. Потому что они ищут только наслаждения» (Дневниковая запись от 21 февраля 1882 года).

Она снова и снова вглядывается в себя, стараясь, чтобы от ее беспощадного внутреннего взора не укрылась никакая частица сил, способных помочь ей выполнить долг перед детьми. Она умоляет мужа помочь, предлагает ему жизнь на дружеских основах — она продолжает любить Бострома, но больше не встретится с ним. «Да, я желаю устроить себе жизнь, в которой могла бы спокойно заняться воспитанием детей, а такая жизнь может быть только при вполне самостоя-

тельной жизни с дружеским чувством к тебе. Не думай, что я отталкиваю тебя, нет, у тебя будет теплый угол в семье и моя дружба и уважение и всегда дружеское участие и совет».

С материнским ясновидением она до мельчайших подробностей представляет, что произойдет в противном случае, как все начнется. Восьмилетняя «Лили вчера окончательно сразила бабушку и уложила ее в постель таким вопросом: «Бабушка, скажи, не мучай меня, где мама? Верно, она умерла, что о ней никто ничего не говорит». Ее испытующие глазенки во всем и у всех ловят ответ на ее вопрос...». В таких словах ей будет описывать драму в семье в следующие дни после ее окончательного ухода к Бострому отец Леонтий Борисович (Письмо Л. Б. Тургенева от 26 мая 1882 года). А она уже сейчас слышит, как будут плакать и звать «мама» трехлетний Саша и совсем еще малышка Стива. Как самой ей захочется прижать к себе их маленькие головки, а этого не будет, никогда не будет. И дети, когда вырастут, никогда не простят ей этого, потому что она будет для них хуже, чем чужая,— она будет мать, предавшая их, когда они были беззащитными и слабыми, не откликнувшаяся на их голос, когда они ее звали. Двухлетний Мстислав слегка косолапит — кривые ножки, рано начал ходить, легко простужается, чуть что — бронхиты. Кто проследит за ним? А кто поговорит по душам с черноглазой пытливой мордашкой — с дочуркой Лилей? Она так любит эти серьезные беседы с матерью. Нет, только не это! Не это! Отболит же когда-нибудь сердце, уснет для личного счастья!

Как часто бывает в трагическом положении, ее последняя надежда основывается на иллюзии. Поскольку главное в их отношениях с Бостромом — духовная близость, она просит графа не посягать только на это... Словно забывая, с кем она говорит, она наделяет мужа качествами, которыми обладают они с Бостромом. Она утешает мужа, что сознание выполненного долга даст ему «великое наслаждение в сознании своей правоты и честности, оно вознаградит тебя за все те страдания, которые ты переживаешь, отказываясь добровольно от преследования прежней цели — любви моей». Кончается письмо заклинанием: «Коля, Коля, не делай и себя и меня несчастными, дай мне возможность выполнить свой долг перед детьми, не поставь меня в не-

обходимость и на этот раз уже бесповоротно отказаться от исполнения его» (Письмо к мужу от 5 марта 1882 года, цит. по дневнику А. Л. Толстой).

Ближайшие же недели, после того как граф, получив это письмо в ответ на посланные вдогонку одно за другим несколько своих писем, примчался из деревни в Петербург, показали всю иллюзорность последней надежды измученной и отчаявшейся Саши. Все смято, опоганено. Чужой ей человек с разнузданностью грубого собственника попирает чувства измученной, тоскующей, почти больной женщины.

С того дня, когда она вняла вроде бы голосу рассудка, вернулась к детям, началась нескончаемая пытка. Она обрекла себя на заклание у семейного очага по своей воле. И выдержать старалась изо всех сил.

Короткая нравственная передышка (во время отъезда графа из Петербурга в деревню по достигнутому уговору). Затем снова излом, опустошение, тупик.

Душевные муки усугубляются тем, что она проявила слабость, не сдержала принятого на себя обета. Да ведь и то — она человек, не святая. Женщина, двадцати семи лет, пылкая, любящая, страстная. За время отсутствия мужа она встречалась с Бостромом.

Это кривда, фальшь, ложь!.. Все кругом лгут, и она туда же!.. Впрочем, Алексей Аполлонович теперь уехал, надолго занедужил. Конец зимы и первые месяцы весны 1882 года (ту самую пору, которую впоследствии не раз будут день за днем перебирать чужие взоры в связи с установлением отцовства) они живут в разлуке. Но после того как рухнули иллюзии, пали обеты, положение стало еще более мучительным и ложным.

Тогдашние недели и дни запечатлены в уцелевшей переписке.

«Жизнь, непрерывно, ставит мне неразрешимые вопросы...— писала она А. А. Бострому (13 февраля 1882 года).— Бедные дети! Опять разрывать их на части. Опять выбор между тобой и ими... Алеша, я теряюсь. Что делать, что делать... Я спрашиваю себя, что заставило меня согласиться стать в лживое положение. Тут были два стимула: первое — желание исполнить свой долг перед детьми, второе — жалость к слабому человеку. Тут была страшная ошибка. Я была убеждена, что буду жить одна с детьми, что не буду женой своего мужа, а при таком положении, ка-

кое ему дело до моих отношений, до моей совести. Я страшно ошиблась... Ясно вижу я намерения мужа — опять овладеть мной, опять сделать меня вполне своей женой. Борьба открытая возможна, но эта мелочная, каждодневная... эти ежечасные отпоры, жестокость, его униженный, угнетенный вид — все это невыносимо... Проклятая, проклятая жалость! Проклятая способность жертвовать собой для того даже, кто не стоит никаких жертв».

Нелюбовь дополняется тем, что муж — человек духовно чуждый, которому нельзя верить. Даже в житейской прозе, в текущих делах. Николай Александрович клялся, что впредь не будет принимать серьезных решений без взаимного согласия и совета, что у него нет ничего затаенного от жены. Но не успел он отбыть в деревню, как посыпались доказательства обратного.

«Едва успел он уехать,— продолжает Александра Леонтьевна в письме,— как приходит на его имя телеграмма. Распечатываю: «Можете немедленно заложить Путиловку за девяносто тысяч по 1369-й статье. Ященко»*. Я не имею никакого понятия о том, что он хочет заложить Путиловку. В деньгах же он не нуждается...»

Другой отголосок чуждой, закулисной жизни не лучше первого: «Дня три тому назад... приходит полицейский, спрашивает Ник[олая] Александровича и показывает пакет на его имя. Я смотрю: штемпель С. Петерб[ургской] сыскной полиции. Какие у него дела с сыскной полицией?.. Кто может мне сказать? Страшное недоверие, боязнь остаться в дурах и потом укоры совести за то, что так низко думаю о нем».

Разные планы, выходы, намерения мелькают в голове. И представляются теперь один несбыточней другого: «Снова бежать?.. но как дети?! — смириться, притерпеться, существовать, как все?.. но откуда достать сил?! — выйти из схватки, покончить с собой?.. Кажется, единственное, что остается...»

Трудно выстрадать последнее решение. Из писем рвутся настоящие вопли:

«Сказать тебе правду, Алеша, ты меня теперь не

---

* Присяжный поверенный Леонид Нестерович Ященко, защитник Н. А. Толстого на последующем январском процессе 1883 года, еще прежде, как видим, был посвящен в имущественные интересы клиента, вел денежные дела графа.

уговаривай, не представляй никаких причин, не говори о долге, о благоразумии, все равно ничего не пойму. Это будет все равно, как если стоять над кричащим больным и уверять в том, что крик усилит его болезнь, а он не может не кричать. Кричит не он, а его боль. Я тоже кричу: больно, больно и теряю даже сознание того, что причинило боль, я мечусь по сторонам и желаю одного — прекратить страдание. Невыносимо...

Прежняя, обыденная, рутинная жизнь захватила меня в свои тиски, я задыхаюсь, чувствую, что лечу в какую-то пропасть и не имею сил удержаться. Она овладевает детьми, единственный смысл моей жизни здесь — теряется. Я путаюсь, мучительно краснею, когда он говорит о тебе — и не имею сил поставить себя так, как хотела. Я жалка и ничтожна, добей меня, Алеша.

Когда он приехал и после ненавистных ласок я надела на себя его подарок и смотрела на свое оскверненное тело и не имела сил ни заплакать, ни засмеяться над собой, как думаешь ты, что происходило в моей душе. Какая горечь и унижение; я чувствовала себя продажной женщиной, не смеющей отказать в ласках и благоволении. Я считала себя опозоренной, недостойной твоей любви, Алеша, в эту минуту, приди ты, я не коснулась бы твоей руки.

Жалкая, презренная раба! Алеша, если эта раба не вынесет позора... если она уйдет к тому, с кем она чувствует себя не рабой, а свободным человеком, если она для этого забудет долг и детей, неужели в нее кинут камнем? Кинут, знаю я это, знаю.

Что может хорошего сделать для детей мать-раба, униженная и придавленная?» (3 апреля 1882 года).

Однако все это не было еще последней каплей в чаше страданий. Она забеременела. Петля, добровольно надетая, захлестывалась намертво.

Тогда они с Бостромом, узнавшим из письма о случившемся, принимают окончательное решение. Теперь не помогут уже больше ни заклинания отца Леонтия Борисовича жизнью больной старухи матери, ни призывы взглянуть в «невинные глаза ребенка», ни ссылки на людскую молву, ни даже отцовские полуугрозы-полупророчества, когда «любовь шаткая» пройдет (кем она будет тогда?). Не поможет ничто.

Она уходит к Бострому и 21 мая 1882 года пишет

из Николаевска письмо мужу, в котором навсегда отвергает эти и любые возможные в будущем доводы:

«...Целую зиму боролась я, старалась сжиться вдали от любимого человека с семьей, с вами. Это оказалось выше моих сил. Если бы я нашла какую-нибудь возможность создать себе жизнь отдельно от него, я бы уцепилась за эту возможность. Но ее не было. Все умерло для меня в семье, в целом мире, дети умерли для меня. Я не стыжусь говорить это, потому что это ПРАВДА, которая, однако, многим может показаться чудовищной... Я ушла второй раз из семьи, чтобы никогда, никогда больше в нее не возвращаться. Теперь пробовать уже нечего. Я твердо знаю единственно возможную для меня жизнь, и никто ничем не заставит меня пойти по иной дороге, чем та, которую я выбрала. Я на все готова и ничего не боюсь. Даже вашей пули в его сердце я не боюсь. Я много, много думала об этой пуле и успокоилась лишь тогда, когда сознала в себе решимость покончить с собой в ту минуту, когда увижу его мертвое лицо. На это я способна. Жизнь вместе и смерть вместе. Что бы то ни было, но вместе. Гонения, бедность, людская клевета, презрение, все, все только вместе. Вы видите, что я ничего, никого не боюсь, потому что я не боюсь самого страшного — смерти...»

Каждая строчка здесь дышит правдой. А с «пулей» Александре Леонтьевне через считанные недели пришлось столкнуться и доказать свои слова делом.

Едва заметив в руке Николая Александровича револьвер, она кинулась первой — отбила выстрел от груди любимого человека...

Возмездие

Когда раны слишком сильны и невыносимы, у человека может пропадать чувствительность к боли. Все болит настолько, что в первый момент боль даже не ощущается.

Только в разрушительной горячке освобождения, в боли разрыва, когда отпадает разом столько живых органов и соединительных тканей, могла она выкрикнуть (и собственноручно подарить адресату!) эти правдивые ужасные слова: «дети умерли для меня».

Отныне это была реальность. Логическое последст-

вие совершенного поступка, точное понимание сложившихся обстоятельств, ясное провиденье будущего. Правда, беспощадная прежде всего к ней самой.

Все это она заранее пережила, выстрадала, до мельчайших проблесков и лазеек надежды ощупала материнским сердцем, облетала в тупиковых полетах горячечной фантазии, вымерила рассудком. Подвал был, темница, сплошной тупик! Теперь оставалось только сухое отчаяние, желание поскорее кончить, поставить точку.

Этим прощальным чувством продиктовано тогда же отправленное письмо к свекрови — старой графине Александре Васильевне Толстой, в московском доме которой находились дети. Они должны были теперь воспитываться там.

Письмо начинается со слов: «Не ждите меня, я ушла навсегда и никогда более не вернусь». Она высказывает только два пожелания. Остерегать от произвольных выходок сына, впрочем, ради его же собственного блага («Мне бояться нечего, я уже все потеряла, что только можно терять»). И вторая просьба — по мере возможности щадить чувства детей, не чернить в их глазах память матери.

«Вы будете бранить и проклинать меня, — пишет Александра Леонтьевна,— опять умоляю вас не проклинать меня перед детьми. Это говорю не ради меня, а ради них. Для них это будет вред непоправимый. Скажите, что я уехала куда-нибудь, а потом со временем, что я умерла. Действительно, я умерла для них.

Прощайте. Желаю вам счастья.

Гр. А. Толстая».

Сделать, казалось бы, самое разумное и простое — взять детей с собой — неверная жена не имела права. На стороне закона были и собственные моральные представления, привитые с детства. Нравственное чувство противилось тому, чтобы вовсе обездолить отца, каким бы он ни был. Сама же она признавалась в письмах, что питала и жалость, и угрызения совести к тому, кто вовсе этого не стоил. Виновницей разрыва была она — и она должна была нести всю тяжесть последствий.

Как-то столковаться с Николаем Александровичем на взаимоприемлемых и деликатных основах было нельзя. Это был не тот человек. События ближайших же недель все заново выставили наружу. Он и саму-

то Александру Леонтьевну (еще до истории с выстрелом) разными путями, будто беглую турчанку из гарема, силой пытался вернуть под семейную кровлю. Можно представить, что поднялось бы, покусись она взять хотя бы одного ребенка!

Но если вообразить даже, что дети каким-то чудом, вопреки воле отца и статьям закона,— остались при матери, у Александры Леонтьевны все равно не было средств, чтобы содержать и воспитывать их, как полагалось.

Все это она сознавала с самого начала. «Детей я вам оставляю потому, что я слишком бедна, чтобы их воспитывать, а вы богаты»,— написала она мужу в письме от 21 мая 1882 года. И эти неосторожные строки вместе с признанием трагического факта «дети умерли для меня», перетолкованные, поданные в прямом и плоском их смысле, были обращены впоследствии в семейном окружении графа в отказной лист.

Подрастающим детям были известны эти последние письма Александры Леонтьевны. Их показывали, как трофей, собственноручное свидетельство, что порочная мать добровольно отреклась от беспомощных малолетних сирот.

...Шли годы. Врачевались раны. Свое материнское чувство Александра Леонтьевна отдала сыну. Любила большеголового карапуза, удивленно глядящего на мир карими глазами, кажется, за всех остальных, с учетверенной нежностью и страстью. Испытывала даже суеверный трепет.

Хотя умела держать себя в руках, не покидали видения и страхи.

Когда родился и двумя неделями позже был крещен сын, в метрической книге Предтеченской церкви города Николаевска осталась запись: «...[1882 года] Декабря 29 дня рожден. Генваря 12 дня 1883 года крещен **Алексей**; родители его: Гвардии поручик, граф Николай Александров Толстой и законная его жена Александра Леонтьева, оба православные...»

Что написано пером, не вырубишь топором.

Получить иную запись, на имя Бострома (Алексей Аполлонович, конечно, не возражал бы) она не хотела и не могла. Это шло вразрез с истиной и совестью. Было бы самоуправным насилием над будущностью

сына, который навсегда мог остаться незаконнорожденным. Да и полностью не ладилось с документами, какими она располагала.

На радостях, при свете праздника, лучившегося и переливавшегося, как снег под солнцем, в этот погожий январский день, несколько строк в старинных размашистых загогулинах, ловко и со вкусом выведенных церковным служителем в метрической книге, представлялись, впрочем, малозначащей формальностью, сугубым достоянием бумажной рутины здешнего прихода. По крайней мере, на долгую череду лет вперед, а там будет видно.

Но вскоре затем Александра Леонтьевна с ужасом все более начала сознавать, что попала на крючок, допустила опасную опрометчивость. Невинная запись в старой церковной книге была ловушкой! С ее помощью те же общественные порядки, неумолимые и всепроникающие щупальца закона, недавно оторвавшие от нее троих детей, при охоте могли нащупать и отнять четвертого ребенка. Только что рожденного, ей одной принадлежащего.

Часто вспоминала она теперь эту большую продолговатую книгу, в твердых черных корках переплета, тугую беленую бумагу и касаниями туши летящую по ней церковнославянскую вязь. Запись № 5 в разделе о родившихся. Горели и прыгали в ночных видениях слова: «...родители его: Гвардии поручик, граф Николай Александров Толстой...»

Позже душила ярость. Что за гадкая дрожь, холопье покорство, рабья робость! Да скорее она умрет, исчезнет, за границей сгинет, а ребенка, Алешу, не отдаст. Довольно троих, которыми заплатила за свою любовь.

С Алексеем Аполлоновичем перебирали ответные ходы, если Николай Александрович заявит права на сына. Потом отлегало, успокаивалась. До первого случая. То ли мысль в голову придет, то ли кто из знакомых передаст о намерениях графа, в близком кругу обсуждавшихся, или только о циркулирующих по Самаре слухах, будто он собирается забрать сына... И снова пароксизм прежних кошмаров.

Так и жила, в страхе и в трепете, постоянно начеку. И не месяц, не год в судорожном состоянии, а даже пять-шесть лет спустя после разрыва.

Захватывала и точила тоска по оставленным детям.

Иногда до невыносимой боли доходило. Кажется, только бы раз глянуть. Срывалась тогда и ехала в Москву. На противоположной стороне той улицы, где дом старой графини, часами высиживала в укрытии, чтобы издали посмотреть. Тайно, как воровка. Вот какие они, как вышагивают, гуляют, двигаются. Прежние и новые уже, отдельные от нее, сами по себе... Пила жадно короткие мгновения, до гулкого стука в ушах...

Нанести внезапный удар, разворошить детские души — объявиться, подойти и заговорить — не решалась. Ведь она сама себя похоронила для них, и возврата с того света быть не могло.

Своими переживаниями Александра Леонтьевна делилась с сестрой, М. Л. Тургеневой, которая была тремя годами младше. Некоторые моменты развития этой трагической коллизии любви и материнства отобразились в мемуарах М. Л. Тургеневой, над которыми она работала уже в 20-е годы. Рукопись хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства в Москве.

Здесь и далее мы будем пользоваться первой частью «Воспоминаний», воспроизводящих среди прочего жизнь родителей А. Н. Толстого и его самого в самарский период (ЦГАЛИ, ф. 494).

После решающих потрясений в жизни старшей сестры впервые им привелось свидеться не скоро, может быть, не раньше 1889 года, то есть шесть лет спустя.

Нынешнее семейное счастье, которым светилась Александра Леонтьевна, радость взаимной любви и духовной общности с новым спутником жизни, заметные во всем ее облике перемены к лучшему и — нескрываемые признаки неутихающей боли, прежних незаживающих ран — так можно охарактеризовать впечатление, которое она производила.

Поверяя бумаге наблюдения былых лет, Мария Леонтьевна передает главное, что вынесла из встречи в самарской гостинице, где, по обыкновению, поселились гости из Сосновки.

Вошедшей в комнату предстала такая картина:

«Первое, что я увидела, — маленькое, худенькое существо, а голова большая и два глаза, как вишни, смотрели на меня с дивана. Бросилась к Алеше, но по пути меня обняла Саша, радостная, сияющая, похорошевшая. Тут был и А[лексей] А[поллонович], сред-

него роста, с красивыми голубыми глазами. Мы с ним дружески поздоровались...

Услыхала я от Саши следующее, что боится, что граф отнимет Алешу, что уже были такие намерения. Что Саша очень тоскует о детях, которые живут с графиней в Москве. Что Саша с детьми не видалась: ездила в Москву и просиживала часами на той улице, где они жили, чтобы хоть издали увидеть детишек, когда они гуляют».

Посещала Мария Леонтьевна затем сестру и в Сосновке. Передавая свои впечатления, она подчеркивает ощущение как бы незримой осады, в которой долго пребывало маленькое сосновское семейство: «Саша... рассказала, как трудны были эти годы, а главное — это страх, что отнимут у нее Алешу, что она никуда не выезжает, а сидит в Сосновке».

Наиболее мучительным и сложным было, пожалуй, материнское чувство к дочери.

Сыновья, когда она покидала дом, были совсем малышками, а Лиле исполнилось восемь. И уже заметно становилось, как она походила на мать, всеми признаками была из «тургеневского рода», того же ответвления растущая женщина, какой помнила себя Александра Леонтьевна.

Тот же «дичок непривитый» — замкнутость при пылкости чувства, безжалостное правдолюбие, ум, характер, решимость, а вместе с тем душевная грациозность, тонкость натуры, буйная фантазия, легко обряжающая реальность в желаемые одежды.

Перед крутым и страстным судом этой своенравной девочки и пришлось первой держать ответ Александре Леонтьевне.

Едва Лиля достигла возраста самостоятельности, она разыскала мать.

Суд, по-видимому, был тем более жестоким, что Лиля мстила за пыл своей прежней неразделенной дочерней любви.

«...В один из моих приездов в Самару,— вспоминает М. Л. Тургенева,— Саша рассказывала, что виделась с Лилей, которой было 16 или 17 лет. Свиделись они в церкви. Лиля непременно хотела видеть мать. Такого желания два сына не выражали. Свидание было тяжелое. Лиля выговаривала ей, что не взяла детей с собой. Саша после этого свидания болела...»

Довершающим нравственным ударом для Алек-

сандры Леонтьевны стала весть, что Лиля, ее перечеркнувшая, идет тем не менее ее дорогой. Взялась за писательство, публикует рассказы в московском журнале. И притом — что за рассказы!.. Словно бы в глаза тычет и мстит сразу — и выбором интереса, и неожиданно блеснувшим дарованием (вот, мол, без тебя, а могу не хуже!..), и самими сюжетами рассказов.

Тут совсем крохотное отступление, далеко не уводящее.

Если нервно-физиологические предпосылки художественного таланта, подобно другой биологической наследственности, в какой-то мере наделены свойством дальнейшей передачи, прямо или через голову поколений, то весьма любопытно в этом смысле родственное окружение будущего писателя А. Н. Толстого по материнской линии. Это россыпь людей, литературно одаренных.

Нравственно-религиозные книги сочинял дед, Леонтий Борисович Тургенев. Сочным образным слогом написаны сохранившиеся его письма. Хорошо владела пером как детская писательница и мемуаристка тетка, Мария Леонтьевна Тургенева. О творчестве Александры Бостром речь впереди.

В двадцать два года заявила о себе в литературе и Елизавета Толстая, сестра будущего писателя.

Некоторые ее сочинения обнаружили в последнее время сотрудники Куйбышевского литературно-мемориального музея имени А. М. Горького. Это два рассказа, сказка и очерк, напечатанные на страницах московского журнала «Русское обозрение» в 1896—1897 годах.

Появились они за подписью: гр. Е. Н. Толстая.

Кроме того, не исключено, что Лилей сочинен нравственно-бытовой роман «Лида», опубликованный под буквенным псевдонимом «гр. Е. В. Т.» в журнале «Вестник Европы» за 1898 год. Подпись в таком случае завуалирована средней буквой «В».

Несомненная принадлежность Елизавете Толстой подписи «гр. Е. Н. Толстая» и вероятность, что ею же написан роман «Лида», основываются, помимо содержания, на свидетельствах ближайших осведомленных лиц. Об этом говорят запись в дневнике Александры Леонтьевны, ее письмо А. А. Бострому от 9—10 марта 1898 года, а также мемуары М. Л. Тургеневой,

По воспоминаниям С. И. Дымшиц-Толстой, в пред-

революционные годы Елизавета Толстая «писала стихи».

Известные нам теперь ее прозаические сочинения отмечены психологической наблюдательностью, живостью картин и описаний.

Журнал «Русское обозрение», где выступила двадцатидвухлетняя дебютантка, принадлежал к числу солидных «толстых» литературно-художественных и общественно-политических изданий. Выходил в типографии Московского университета в расчете на образованного читателя. Публикацию на его страницах в столь короткое время сразу четырех вещей можно расценить как явное поощрение подающего надежды новичка.

Для нас произведения гр. Е. Н. Толстой интересны своей автобиографической основой.

Образ автора — и это немалое достоинство вымышленных сочинений — открывается читателю. Это тонко чувствующая, духовно развитая молодая женщина с сильным характером. В семейно-бытовой сфере и отношении к природе она ищет нравственной цельности, гармонии, общности и красоты. Мечтаниями об этом овеяны в значительной мере «Голубое пространство. Сказка о беспокойном кузнечике», очерк «Вечерний звон», рассказ «Молчальник» да и другие произведения.

Главная коллизия, однако,— столкновение грез и реальности. Почти неизбежно возникают носители эгоистических страстей, разрушители гармонии, губители согласия. Один из сквозных повторяющихся мотивов — предательство близких людей. Это всегда трагедия. Особенно когда жертвой родительского эгоизма становятся дети.

Примечателен в этом отношении рассказ «Самоубийца» («Русское обозрение», 1896, № 2).

Достоверно обрисована в нем психология тринадцатилетней девочки-подростка из титулованной дворянской семьи (ее отец — обрусевший барон). Мими, так зовут девочку, настоящее имя которой Маша,— натура нервная, тонкая и впечатлительная. У нее два малолетних брата, которые, как и она, воспитываются в Москве...

Броских автобиографических деталей много в произведении. Лишь слегка переиначены и закамуфлиро-

ваны в нем семейные роли, от которых отталкивается рассказчик.

Мими страстно любит и обожает отца и, напротив, с матерью они люди духовно чуждые.

Отец — родной по духу. С ним согласие, любовь, единственная подлинная дружба. Но отец, сорокапятилетний красавец, слишком занят собой. У него увлечение на стороне. Порывая с женой, он не озабочивается тем, чтобы взять с собой девочку.

С того дня жизнь для Мими становится невыносимой. Она совершенно одинока среди чуждых ей людей, донимаемая грубостями и бестактностями домашнего воспитания. Девочка затравлена, как зверек. Разочаровавшись в том, кто был для нее идеалом, в людских отношениях и нравах, она решается на крайность.

Подслушав случайный разговор с доктором, Мими крадет у матери и выпивает смертельную дозу лекарства с черепом и косточками на этикетке...

Самоубийством из-за предательства близкого человека кончается и рассказ «Молчальник». («Русское обозрение», 1896, № 11).

В дневнике Александры Леонтьевны есть короткая запись от 14 января 1897 года:

«Читала рассказ дочери, Лили, «Молчальник»...»

Что ей стоили эти чтения, описывает в своих воспоминаниях М. Л. Тургенева: «...Когда я ей сказала, что прочла два Лилиных рассказа, с ней сделался обморок. После мы сговорились с Алексеем Аполлоновичем не упоминать об Лиле при Саше».

Да, за свою любовь она заплатила сполна.

Но из всех вервий и пут, что держали ее, из всех питающих сосудов, что соединяли с прежней жизнью, делая рабой, мешая обратиться в свободного человека, самым немыслимым и кровавым преодолением было это — порушенное материнство.

Что в сравнении было все остальное?!. Институт брака, собственные колебания, жалость, давление родных, громы и молнии оскорбленного супруга. Даже публичное бесчестие и гражданская казнь, устроенная обществом. Последующая бедность и нищета. Все, в конце концов, было преодолимо. Все мгновение, миг.

Подлинная нравственная кара была тут — в детях. Это было самое неотразимое, нутряное.

Да, если человеку и не даровано, может быть, суда

небесного, то земное возмездие за ошибки и проступки все-таки существует. Оно в прошлом человека, в нем самом, в прожитой жизни, которую ни перекроить, ни изменить нельзя. В тех преследующих, настигающих и неотвратимых последствиях, которые из этого прошлого вытекают. От всего можно увильнуть и отвертеться, а от этого нельзя. Прошлое всегда в тебе, внутри. Кару человек носит в самом себе. А уж кто станет окончательным орудием исполнения — общество? родные? обычаи? закон? случай?..

Так произошло и с Александрой Леонтьевной. Мечом карающим считали себя граф Николай Александрович и ополчившиеся с ним заодно церковь, суд и общество, а может быть, самый прицельный и чувствительный удар нанесла когда-то крохотная черноглазая любимая дочь Лиля...

Никто бы, никогда так не сумел. При всех стараниях подобного эффекта ни разу не добивался Николай Александрович...

Пора, однако, пристальней всмотреться в лицо, которое незаслуженно пребывало пока на периферии повествования.

Глава вторая

ОТЦЫ И ДЕТИ

Граф Николай Александрович

До сих пор мы в основном стремились сосредоточиться на том способе поведения, какой Николай Александрович Толстой избрал в развернувшейся драме, когда она стала выходить за рамки семейного происшествия и переросла в конфликт с обществом.

По отношению к счастливым возлюбленным он принял на себя функцию социальной мести.

Но Николай Александрович был живым человеком. И, как всякому, жизнь отводила ему много разных ролей. Он был влюбленным мужчиной, обманутым мужем, отцом семейства, честолюбивым общественным деятелем и т. п. Разные стороны натуры и черты характера составляют единство, именуемое человеческой личностью.

Мы не знаем, была ли произнесена когда-либо у Николая Александровича с сыном Алексеем хотя бы пара незначащих слов, случалось ли им, живя в одном городе, столкнуться невзначай на улице лицом к лицу или только издали любопытствующим взглядом провожать один другого. Но поступки и действия отца даже и через пятнадцать и более лет после семейного разрыва влияли на судьбу сына. Отголоски былой драмы не затихали, продолжали жить в воздухе, в душах, в общественной атмосфере. Память же о ней как об одной из самых глубоких отметин детских и юношеских дней Алексей Николаевич сохранил до конца жизни. И фигура отца было той частью самоощущения его писательской личности, которая не остается бесследной для творчества.

Да и сам по себе Николай Александрович был человеком примечательным. Весьма колоритным типажом владетельного помещика-степняка, задававшего тон в своем кругу, характерного для среды и обстановки тех мест, которые А. Н. Толстой живописал затем в произведениях заволжского цикла.

Определенные грани общественно-психологической драмы остались бы скрытыми от нас, не попытайся мы вглядеться в духовный мир этого заглавного ее участника.

Да и несправедливо было бы это. Оставался бы вопрос: не слишком ли мы строго обошлись с ним? С человеком, которого по-своему обуревали страсти, который мучился, страдал, которого отвергли, покинули с тремя малолетними детьми. Тоже ведь не лучшая участь!

На одном из начальных поворотов своей семейной драмы, когда еще была надежда на возвращение Александры Леонтьевны домой, Николай Александрович стал намекать в близком кругу, что собирается покончить жизнь самоубийством и что подготовил уже завещание.

Завещание действительно было им написано. Причем не без некоторой надежды на прижизненное действие и использование. Иначе трудно объяснить дальнейшее.

Во-первых, завещатель не предпринял практических шагов и не «умер от этой любви», как обещал; во-вторых, текст даже еще не оконченного завещания был каким-то образом переправлен главной виновнице возможной трагедии.

Подлинник этого более чем интимного (до определенной поры все же лишь для собственных глаз предназначенного) документа оказался в бумагах Александры Леонтьевны, где хранился и откуда был впоследствии извлечен среди других материалов куйбышевского архива.

Это вовсе не значит, что писавшим руководил один сухой расчет или интрига не очень благородного свойства. Отнюдь нет! Николай Александрович был человеком пылкого темперамента и умел вгонять себя в такую стадию экзальтации, в такой транс, что сам уже терял представление, где фантазия, где реальность.

Вполне возможно, что, сидя за столом, на котором лежал продолговатый большой лист плотной бумаги, стояла склянка чернил, и провожая взглядом прыгавшие с пера слова, тянувшиеся ряды строк ясного убористого почерка, Николай Александрович, и в самом деле, верил, что пустит себе затем пулю в лоб.

Только где-то на самом краю сознания, в затаенном его уголке, слабо брезжил луч надежды, запасной выход, побочное намерение. И этот косой боковой свет, пробивавшийся, как сквозь щель в сарае, печатью ложился на содержание прощального документа.

Окончить завещание означало бы тут же взяться за пистолет. Поэтому оно почти готово, но оборвано на последних фразах, на полуслове...

Ведь оставалась еще слабая надежда, конечная попытка. И кто же осудит человека, приговорившего себя к смерти, что он пробует напоследок окольные пути. Тем более — кто упрекнет его, что он раздумал и пожелал остаться в живых. Никто, разумеется, уж во всяком случае, не мы...

Так или иначе, перед нами документ необычный, редкий, единственный в своем роде.

Ощущая себя в действительности или лишь в мыслях стоящим одною ногою в могиле, человек поднимается на известную духовную высоту. Свидетельствует с той возможной для него искренностью и объективностью, на какую способен.

Не знаю, в какой степени допустимо называть завещание самоубийцы духовным, но завещания так звались недаром. В сжатых характеристиках близких лиц, имущественных и иных распоряжениях бумаге вверялась так или иначе итоговая картина прожитой жизни, проходившей перед мысленным взором пишущего. Вольно или невольно это был и последний самопортрет человека, навсегда покидающего земные пределы, последний снимок собственной души.

Нет, если мы хотим изнутри понять этот характер, этого человека, оглядеть панораму событий теми идеальными его глазами, какими бы он хотел их видеть, почти отлетая уже в небесные выси (не без тайной надежды, впрочем, вернуться!), лучшего документа не сыскать.

Вот почти полный текст, с сохранением особенностей подлинника.

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь,— пи-

сал Николай Александрович.— Пишу я эту мою последнюю волю в твердом уме и памяти. В смерти моей не виню никого, прощаю врагам моим, всем сделавшим мне то зло, которое довело меня до смерти. Имение мое, все движимое и недвижимое, родовое и благоприобретенное, завещаю пожизненно жене моей, Графине Александре Леонтьевне Толстой, с тем, однако, условием, чтобы она не выходила замуж за человека, который убил ее мужа, покрыл позором всю семью, отнял у детей мать, надругался над ней и лишил ее всего, чего только может лишиться женщина. Зовут этого человека Алексей Аполлонов Бостром. Детям своим завещаю всегда чтить, любить, покоить свою мать, помнить, что я любил ее выше всего на свете, боготворил ее, до святотатства любил ее. Я много виноват перед ней, я виноват один во всех несчастьях нашей семьи. Прошу детей, всей жизнью своей, любовью и попечением, загладить, если возможно, вины их отца перед Матерью.

Жену мою умоляю исполнить мою последнюю просьбу: разорвать всякие отношения с Бостромом, вернуться к детям, и если Богу угодно будет послать ей честного и порядочного человека, то благословляю ее брак с ним. Прошу жену простить меня, от всей души простить мои грехи перед ней, клянусь, что все дурное, что я делал,— я делал неумышленно; вина моя в том, что я не умел отличать добра от зла. Поздно пришло полное раскаяние... Прощайте, Милая Саша, милые дети, вспоминайте когда-нибудь отца и мужа, который много любил и который умер от этой любви...»

Когда Александра Леонтьевна называла мужа в письмах слабым человеком, то имела в виду подобного свойства выходки, вроде этой распубликованной наперед заявки на самоубийство.

За любовь, впрочем, многое можно простить. Во всех видах чувства, называемого этим словом, всегда есть хотя бы частичка истинного, высокого.

Вот какими письмами забрасывал Николай Александрович петербургский адресат из деревни, когда супруги после первого разрыва и последующего примирения договорились жить раздельно.

«Сердце сжимается, холодеет кровь в жилах,— писал он жене,— я люблю тебя, безумно люблю, как никто никогда не может тебя любить! Ты все для меня: жизнь, помысел, религия... Люблю безумно, люблю все-

ми силами изболевшегося, исстрадавшегося сердца. Прошу у тебя, с верою в тебя, прошу милосердия и полного прощения; прошу дозволить служить тебе, любить тебя, стремиться к твоему благополучию и спокойствию. Саша милая, тронься воплем тебе одной навеки принадлежащего сердца! Прости меня, возвысь меня, допусти до себя» (Н. А. Толстой — А. Л. Толстой, без даты. ИМЛИ, инв. № 6317/1).

Хорошо известно и что было затем — когда Николай Александрович, выговорив себе письменным шквалом, мольбами и нескрываемым провозглашением отчаянных намерений (куда входило, очевидно, и недатированное завещание) право находиться рядом с женой, примчался в Петербург.

«Вот ты приезжаешь в П-бург, — подводила итог Александра Леонтьевна спустя месяц в одном из писем. — Я — больная, слабая, тоскующая, почти без сил. Чуть ли не с первых дней у нас сцена (помнишь, когда я еще лежала после дифтерита), вместо деликатного молчания я встречаю намеки на будущее, намеки на вымогательство моей любви; вместо понимания и уважения моего чувства — стремление вырвать это чувство из сердца и заменить его другим. Потом все эти мелочи, просьбы спать в одной комнате, надеть кольца, потом поцелуи при посторонних, явное желание, чтобы другие увидели, что мы в супружеских отношениях... И во всем этом я подозревала одно — стремление овладеть мною, сделать из меня то же, что я была прежде.

Предоставляю тебе самому судить о том, что я пережила в этот ужасный месяц, о котором не могу вспоминать без содрогания...

И это, Коля, не тогда, когда ты был прежним, безнравственным человеком, а когда ты отрекся от своего прошлого, проклял его и решился идти по новому пути. В чем же новый путь отличается от старого. И там и тут ты был палачом и мучителем, но страшная разница в том, что прежде ты не понимал, не любил меня, а теперь говоришь, что любишь и понимаешь» (Н. А. Толстому, около 1 марта 1882 года.)

И все же, пускай воспылав чувством от полученного удара, перед угрозой неминуемой потери, Николай Александрович любил жену. Как мог, как умел. Пусть даже и узко, эгоистично, сложной смесью грубого влечения с растравленным самолюбием и воспаленным

воображением. Даже и это достойно было бы похвал, если бы...

Вернемся к недописанному завещанию. И задумаемся только, что за документ сочинял Николай Александрович, мысленно косясь, быть может, на лежащий в ящике пистолет. Ведь в основе своей это рожденный буйной фантазией проект загробной мести.

Некоторые эпитеты, относящиеся к жене, недаром написаны с большой буквы. Автор, добровольно загнав себя, мечется в плену ненатуральных представлений, гипербол и красок. Все строится на контрастах, на черном и белом. Причем роли строго расписаны.

«Алексей Аполлонов Бостром» — черный негодяй и убийца. Александра Леонтьевна — святая, у которой, однако, отнято все, «чего только может лишиться женщина». Сам пишущий — грешный праведник, оступавшийся исключительно по неведению («клянусь, что все дурное, что я делал,— я делал неумышленно»), принимающий ныне тяжкое искупление и всех прощающий.

Прощающий?

Этот экстаз святости, возвышающий приступ самоотречения и ухода от мирской юдоли, не столь уж бескорыстен, каким стремится прикинуться. За головным всепрощением четко вырисовывается вполне земная цель. На великодушие может быть лишь один ответ — еще большее великодушие. Облачение святости способно наделять его носителя, пока тот твердо стоит на своем, особой непреоборимой силой, буравящей и жесткой, как алмазное сверло.

Позволю себе небольшой экскурс в область литературы, сравнивая, разумеется, не действующих лиц по существу, а лишь некоторые элементы избранных ими жизненных позиций.

Речь пойдет об «Анне Карениной» Л. Толстого, социально-нравственной эпопее из жизни тогдашнего русского общества, романе, впервые появившемся в 1877 году.

Перекличка жизненной коллизии и отдельных связанных с нею психологических ситуаций, получивших отражение в сюжетной канве романа, с внутренними мотивами и всеми дальнейшими поворотами самарского происшествия подчас разительна. Заметить это не трудно.

Но касается это не только поднявших нравственный

бунт героинь женщин, но и тех, кто им противостоит и изыскивает внутренние и внешние способы отпора.

Сходство недугов порождает сходство лекарств.

Когда читаешь завещание графа Николая Александровича, то так и вспоминается его коллега по несчастью, жена которого сделала выбор в пользу настоящего чувства и пошла на разрыв с семьей и обществом.

На определенном повороте событий этого человека тоже посетило нравственное просветление, он тоже пережил сходный психологический взлет, хотя и без мыслей о самоубийстве.

Но то, что у Николая Александровича было движением слепой души в борении противоречивых метаний и крайних порывов, этот персонаж со свойственной ему методичностью и мозговой страстью обратил в линию всего своего дальнейшего поведения, стратегию и тактику вместе.

Экстаз святости он сделал постоянной позицией, с высоты которой ничтожны стали земные радости счастливых возлюбленных, и ту же свою благородную святость обратил в неотразимое орудие повседневной казни неверной супруги. То и другое он делал тонко, изощренно, долго, как святой паук, как вампир. Он мучительствовал и мучался сам, пока все это не кончилось...

О великая сила великих созданий искусства! Они умеют говорить не только то, что было, но и что произойдет. При определенных условиях, соотношении жизненных обстоятельств, лиц и общественных явлений, при данной расстановке фигур на шахматной доске. Они дают нам зоркие нравственные ориентиры, вручают безошибочный компас. Благодаря им лучше можно распознавать загадки человеческой натуры, извивы психологии, тайный смысл иных душевных движений и намерений. Они учат нас жить.

Убийственная сила головного всепрощения, идущего вразрез с подлинными движениями сердца, экстаза святости, может быть, даже искреннего интеллектуально, но не отвечающего скрытым желаниям и натуре данного человека, глубоко прослежена Л. Толстым в «Анне Карениной». От возникновения этого психологического состояния, замешанного на чувстве порушенной собственности, оскорбленных привязанностей, униженного достоинства и распаленной фантазии,— до конечных и крайних его последствий...

Вы помните, у постели лежащей при смерти Анны Алексей Александрович Каренин тоже, кажется, вроде бы всех простил. Но только после этого, возвратясь домой, Вронский стрелял себе в сердце. А Анна, выздоровев, расхотела жить, потеряла интерес и вкус к окружающему.

В романе есть такой эпизод.

Смирившиеся было перед высотой нравственной позиции Алексея Александровича любящие решают покориться судьбе, расстаться. Они поверили. На великодушие, как уже сказано, ответ может быть только один — еще большее великодушие, хотя в жертву требуют отдать самую основу, самую сладость, корень жизни.

Перед тем как на неизвестный срок отбыть в знойный Туркестан, Вронский, чудом оставшийся в живых после недавнего выстрела из-за Анны, хочет проститься с ней.

Анна колеблется, боится самой себя. «Я тоже полагаю, что так как он едет, то и нет никакой надобности графу Вронскому приезжать сюда»,— помимо воли вырывается у Каренина, хотя он по-прежнему вроде бы пребывает на высотах своей всепрощающей святости.

«Никакой надобности,— в сердцах думает про себя Анна,— приезжать человеку проститься с тою женщиной, которую он любит, для которой хотел погибнуть и погубить себя и которая не может жить без него. Нет никакой надобности!»

Скрытая цель, тайный смысл, а вместе с тем и черствая мстительность подобного так называемого всепрощения обнаруживаются тут как на ладони.

В дальнейшем мстительное его жало станет еще более очевидным.

Каренин, не взявший назад своего прощения и после того как Анна, взбунтовавшись, вторично уехала с Вронским, оставаясь на избранных нравственных высотах, не разрешал тем не менее видеться матери с сыном (вы помните — знаменитое «воровское» ее свидание с Сережей!). И ни под каким видом не давал развода, что обрекало женщину на невыносимое положение изгоя в обществе и подготовляло медленно последующую трагическую развязку.

Предавая полному забвению прошлое, он мстил; милуя, он казнил; прощая, он убивал.

Не таким ли в сущности был и проект Николая Александровича, выраженный им в завещании, а затем,

как мы знаем, навязываемый Александре Леонтьевне в качестве единственно возможного для нее способа существования. Порвать навсегда с человеком, которого она любила, не видеться с ним, не встречаться, не выходить замуж за того, без кого она не могла жить, расстаться с ним навсегда. То есть растоптать себя, добровольно лечь в гроб и захлопнуть крышку. Хороши были нравственное прозрение, всепрощение, благая милость!

И все же... Завещание, писанное в состоянии раскаяния и боли от постигшего несчастья, несомненно, документ душевного взлета.

К сожалению, мы хорошо знаем, что было дальше.

Когда исчерпанными оказались все способы личного обаяния, подручных увещеваний и воздействий, Николай Александрович обратился к посредникам — к молве общества, к церкви, к закону и даже к грубой силе... Как скоро иногда дух человеческий от зенита валится в бездну!

Чтобы лучше понять логику этих превращений, взглянем на сохранившийся портрет * примерно той поры, о которой идет речь.

Николай Александрович был человек не выше среднего роста и не очень крупного телосложения. Внешне красивый — нежного овала лицо, с рано наметившимися залысинами над приятным лбом, живо посматривающие черные глаза, слегка удивленно торчащий нос, чувственный рот с небольшими аккуратными усиками над ним, капризно и своенравно раздвоенный подбородок.

Но было в этой внешней привлекательности лица что-то игрушечное, конфетное. Может, мелковатыми были сами черты и к тому же каждая подробность жила раздельно, не проникнутая основательностью одного природного естества, не исполненная стойкой мыслью или внутренней силой. Лицу словно бы чего-то недоставало.

---

* Разысканный сравнительно недавно портрет Николая Александровича Толстого находится в настоящее время в Куйбышевском музее имени А. М. Горького. Принадлежность изображенного на нем лица тщательно установлена. Этот портрет, о котором пишу далее, напечатать в книге, к сожалению, не представилось возможным.

Это был тот случай, когда о мужчине говорят не «красавец», а «красавчик».

Возможно, зная за собой этот недостаток, Николай Александрович внутренне надувался, выпячивал грудь колесом. Прежде всего он был гвардии кавалерийский офицер, который хотел бы гарцевать по жизни на белом коне, мчась сквозь праздники и будни. То был жизнелюб, актер, позер, однако, как уже сказано, не лишенный ума и переменчивых страстей, человек сам по себе не злой и даже расположенный к добрым порывам.

Болезненное самолюбие и излишняя податливость натуры, к несчастью, очень мешали. Ломали выдержку, замыслы, планы, подсекали намерения. Не позволяли часто, как бы того хотелось, сыпать разящие сабельные удары в заданном направлении. И тогда Николай Александрович мог стремглав заворачивать белого скакуна и тем же аллюром гнать его в противоположную сторону.

Этими свойствами натуры и можно объяснить резкие перепады и крайности в некоторых его действиях и поступках.

Так, спустя совсем недолгий срок после рождения на свет завещания не без участия того же самого пера возник документ уже совершенно иного свойства.

Произошло это через несколько дней после того, как Александра Леонтьевна, приняв окончательное решение, во второй половине мая 1882 года уехала в Николаевск, к А. А. Бострому.

Тогда-то и было сделано Николаем Александровичем официальное заявление, возбуждено ходатайство.

И каков же его дух? Героиня, которая прежде называлась «святой», до которой Николай Александрович только умолял себя «допустить» для служения ей, здесь уже именуется «душевнобольной». И требуется ни много ни мало, как с помощью полицейской силы отобрать ее у Бострома и содействовать принудительному ее возвращению под домашнюю кровлю, к законному владельцу.

Еще недавно, в покаянном просветлении, Николай Александрович находил, что все его вины перед Александрой Леонтьевной проистекали из-за того, что он «не умел отличать добра от зла». Думал ли он теперь об этих различиях?

Столь крутое требование было необычным даже для


М. В. Д.

НИКОЛАЕВСКАГО

УѢЗДНАГО

ИСПРАВНИКА.

17 июня 1882 г.

24

№ [illegible]

Г. Николаевскъ

Самар.

Его Превосходительству

Господину Начальнику Самарской

Губернии,

Рапортъ

Во время отсутствия моего по деламъ службы

изъ г. Николаевска — полученъ былъ помощникомъ моимъ

отъ [illegible] Дворянина [illegible] № 52,

со [illegible] письма на мое имя, въ которомъ [illegible]=

Начальная страница рапорта николаевского уездного исправника (июнь 1882 года) после расследования на месте официальных обращений графа Н. А. Толстого оказать полицейское содействие в возвращении домой «насильственным образом» увезенной жены.

случавшейся в глухих провинциальных углах патриархальной вседозволенности.

Алексей Аполлонович Бостром был в Николаевске лицом видным — председателем уездной земской управы. Здешние блюстители порядка оказались людьми грамотными в законах, добросовестными.

Этим и объясняется позиция, занятая полицейской властью, а с ней и губернской администрацией. Ходатайство Николая Александровича успеха не имело. Памятником же ему остался полицейский рапорт, выдержки из которого приведем (опять-таки с сохранением орфографического колорита подлинника).

17 июня 1882 года николаевский уездный исправник докладывал по инстанции:

«Конфиденциально. Его Превосходительству Господину Начальнику Самарской Губернии.

РАПОРТ

Во время отсутствия моего по делам службы из г. Николаевска — получен был помощником моим от

Предводителя Дворянства г. Акимова пакет № 52, с вложением письма на мое имя, в котором излагалось следующее: «Дворянин, отставной Штаб Ротмистр Граф Толстой заявил, что жена его, беременная и душевнобольная, Александра Леонтьевна графиня Толстая увезена из Самары в Николаевск насильственным образом и содержится под замком у Председателя Уездной земской Управы Бострома, который всех посланных от графа Толстого встречает с револьвером в руках и таким образом лишает возможности взять графиню обратно и доставить ей медицинскую помощь как душевнобольной, и что в виду этого необходимо принять законные меры к охранению ее, и надобности, чтобы она никуда не скрылась из Николаевска».

При этом в письме присовокуплялось, что «об этом происшествии посланы телеграммы Вашему Превосходительству и Г. Министру Внутренних дел».

Итак, официальное заявление предводителю дворянства. Телеграммы губернатору и министру внутренних дел...

Помешанная жена, беременная к тому же (обратите внимание!), отторгнута от законного супруга... Душевнобольная, увезенная насильственным образом, удерживается взаперти злодеем-похитителем чуть ли не под дулом револьвера...

В такую фантастическую картину разрастаются в свидетельстве Николая Александровича реальные обстоятельства дела, и в частности тот узнанный им факт, что под влиянием угроз и покусительств на вторжение в квартиру Бостром действительно первое время вынужден был носить в кармане револьвер.

Однако жилище возлюбленных никак не походило на тюрьму или осажденную крепость.

«Помощник мой, желая убедиться в справедливости сделанного заявления,— продолжает свой рапорт уездный исправник,— на другой же день (7 июня) отправился в квартиру г. Бострома, где никаких признаков, сохраняющих графиню, он не видел, хотя входная дверь квартиры,— по заведенному порядку в Николаевске,— была изнутри заперта на крючок, отомкнутый лично Бостромом, без револьвера в руках. Просидевши у него более часу,— помощник мой ничего особенного не заметил, что бы указывало на стеснение свободы Графини, которая сидела в соседней комнате. Принимать какие-либо меры и воспрепятствовать вы-

езду ее из Николаевска он считал неудобным и неуместным».

Конечно, в рапорте губернскому начальству местный исправник не может уклониться и от изложения собственной позиции. Тем более что хотя он и отсутствовал во время получения «пакета № 52», но зато, как оказывается, проявил должную расторопность. Не мог он не заметить столь неординарного факта! Пусть и тени сомнения не мелькнет в вышестоящих головах, будто он чего-то не предусмотрел, а во время, когда заворачиваются такие события во вверенном ему округе, предпочитает находиться в отъездах, хотя бы даже и «по делам службы».

Из дальнейшего изложения видно, что пишет служака тертый, понимающий, что матка-истина — часто тот самый параграф инструкций, которого лучше всего держаться, чтобы тебе же потом в горячке и паре мутного этого дела не намылили шею. К тому же и к Бострому он, по-видимому, относится неплохо.

«Со своей стороны,— рапортует дальше исправник,— я должен заявить, что в последних числах мая месяца (28 или 29-го) я лично был у г. Бострома и беседовал с графиней Толстой несколько часов сряду... Я застал графиню в зале читающей газеты, в совершенно спокойном состоянии... Все время графиня была в хорошем расположении духа; сказать что-либо о причиняемых ей стеснении и душевной ее болезни — я положительно считаю себя не вправе, по убеждению моему, никаких данных к тому не имеется».

Одним словом, затея Николая Александровича с привлечением на помощь полиции окончилась конфузом.

Тут случилась промашка. Да и то сказать, средство было слишком грубым. Столь разбойных действий по отношению к спутнице жизни литературный сотоварищ по несчастью Алексей Александрович Каренин, разумеется, никогда бы не допустил. За рамки благопристойности и порядочности он не выходил.

Нас интересуют, однако, не казусы и крайности, которые с такой причудливой изобретательностью всегда плодит жизнь, а существо дела, принцип. То основное и главное, что объединяет, казалось бы, совершенно разных и непохожих людей.

Союз с законом и самой консервативной частью общественной морали, чтобы править чувствами спутни-

цы жизни, использование господствующих религиозных, нравственных и юридических институтов для самоутверждения и сведения личных счетов в той сфере, где выбор, как известно, по природе своей — дитя свободы, и вместе с тем предоставление себя на роль орудия социальной мести по отношению к бунтующим за право любить,— вот то типовое, что при различии темпераментов и характеров соединяет не только Николая Александровича, а всех ему подобных, с книжным родоначальником, проницательно и глубоко запечатленным в творении русского классика.

По сути именно так поступал Николай Александрович, стараясь удержать жену, навязывая неприемлемую ей больше форму личной жизни.

Так поступал он и в дальнейшем, когда прямой выгоды, кроме разве морально-психологического удовлетворения, быть не могло.

В неприязни и ненависти к матери воспитывались старшие дети. В одночасье она оказалась отрезанной от них навсегда.

Последствия того же поступка во всем, что могло от него зависеть, Николай Александрович попытался распространить и на судьбу младшего сына.

Нет, он не стал отбирать Алешу, как долго боялась Александра Леонтьевна. После разных и противоречивых, по-видимому, соображений на этот счет он решил использовать мстительную руку закона по-другому.

Мать навсегда была обречена нести клеймо и тяготы безбрачия. А сын, ее сын, последний всплеск их ненависти и любви, что ж... Его тоже можно было припечатать клеймом навсегда...

Приспеет срок, решающим станет его слово, главы рода, отца. Пусть тогда от сына, ею вскормленного, выслушивает о себе все, что положено, когда того прихлопнет и больно прищемит законом.

Она сама пошла против порядков. Она этого хотела. Пусть же получит...

Дворянские книги

Поколения канцелярских сидельцев, кряхтя, позевывая и стараясь, день ото дня трудились над составлением текучей этой летописи внутрисословного дворянского быта.

Скопища конторских книг и записных журналов

разных назначений, целей и надобностей образовывали в совокупности как бы один движущийся дневник самооценок, происшествий и отношений внутри замкнутого круга людей, избранного сообщества, носившего звание «самарское дворянство».

Первому сословию империи дарованы были не только сторонние привилегии, но исключительно влиятельное самоуправление. Четкие уставы поддерживали сословную мораль. Губернское дворянство было главным подразделением на местах. И обязано было вглядываться в себя, радеть о себе купно, сообща решать важнейшие дела.

Скрытая от непосвященных повседневная жизнедеятельность эта и запечатлевалась писцами.

Из какой канцелярской сухотки состоят вроде бы все эти конторские книги, специальные журналы! Формулярные списки, справки, протоколы, рапорты, назначения, отношения... Только факты, деловые записи... А вчитайтесь — и вы увидите, как исчезают куда-то выцветшие строки каллиграфических почерков и на их место нередко являются живые лица, обрисовываются человеческие фигуры, встают картины, возникают конфликты, столкновения, кипят страсти... Таково уж, видимо, свойство долговременных поденных записей!

Со страниц этих конторских книг неожиданно открывается взору и отстоящий на интервал почти в пятнадцать лет второй акт семейной драмы, столь бурно протекавшей в 1881—1883 годах.

Но прежде несколько замечаний об общем содержании документальных источников.

Преподаватель Куйбышевского университета кандидат филологических наук Лариса Александровна Соловьева, занимаясь темой литературного народничества, провела основательные раскопки в фонде Самарского депутатского собрания (так он называется), находящемся ныне в государственном архиве Куйбышевской области (ГАКО). При просмотре долголетних напластований этого фонда № 430 она заметила среди прочего и документы, имеющие отношение к интересующей нас теме. Сведениями, полученными от Л. А. Соловьевой, мы обязаны открывшейся возможности впервые использовать их в книге.

В самом деле, чего только не встретишь в поденных чиновных записях! О ком там только не идет речь!

Вот, например, «Формулярный список о службе де-

путата дворянства Николаевского и Новоузенского уездов Бострома» (отца Алексея Аполлоновича).

Формуляр составлен в октябре 1856 года. Из него видно, что Аполлон Яковлевич хотя и не был баловнем фортуны, не преуспел особенно ни в служебной карьере, ни в имущественном состоянии, да и вообще (как и сын впоследствии) удачливостью и везением не отличался, дворянской значительностью все же того превосходил.

Судя по тому, что имение было родовое, в здешних краях Поволжья Бостромы жили давно. Почти ровесник Отечественной войны (род. в 1813 году), православного вероисповедания, Аполлон Яковлевич учился в Московском университете, но курса не кончил. Около десяти лет служил по департаментам министерства государственных имуществ (обратите внимание, откуда тянутся, быть может, дальние нити будущих интересов сына, либерала-реформатора и рьяного приверженца земств,— к общественной собственности!).

Детей своих (включая Алексея, которому на момент подготовки формуляра было четыре года) Аполлон Яковлевич, надо полагать, воспитывал в здешнем родовом имении Николаевского уезда, где осел, оставив службу «по семейным обстоятельствам». А оно, именьице это, было все же не последним: 168 душ и 1 825 десятин земли...

Особых чинов Аполлон Яковлевич не нажил, знаков отличия не имел. Но все-таки окрестные дворяне избирали его губернским депутатом. А однажды, в 1855 году, «по случаю увольнения в отпуск Николаевского и Новоузенского предводителя дворянства» Аполлон Яковлевич пять месяцев кряду даже исполнял должность уездного предводителя...

А вот протокольная запись в журнале постановлений дворянского губернского депутатского собрания, касающаяся другого лица. Название делопроизводства — «Журнал присутствия Самарского дворянского депутатского собрания».

Запись от 24 мая 1889 года кратка:

«**Слушали**: Прошение Графа Николая Александровича Толстого, коим он просит причислить к роду его, Графов Толстых, жену его...»

Новая супруга должна получить титул графини и фамилию мужа.

Как видно из записи, брак со вдовою штаб-ротмист-

ра Верой Людвиговной (Львовной, как она тут же названа) Городецкой состоялся 19 февраля 1888 года. Заявитель представил свидетельство Самарской духовной консистории № 2609. И вслед — легкий, скользящий росчерк, как и положено,— о том, что слушали вполуха и решили заведомым согласием: «**Постановили**: о причислении В. Л. Толстой к роду мужа».

Николай Александрович пожелал, по-видимому, все бумажные дела по «родословному столу» покончить скопом. Почти сразу за предыдущей в журнале следует другая запись, датированная неделей позже, 1 июня 1889 года.

Она тоже не обременена подробностями. Дело ясно, как божий день:

«**Слушали**: Гвардии поручик граф Николай Александрович Толстой поданным прошением просит Двор. Деп. Собрание причислить к роду его сыновей: Мстислава, родившегося 8-го октября 1880 года, и Александра, родившегося 13 августа 1878 года...

Постановили: Мстислава и Александра Николаевичей причислить к роду отца их, графа Ник. Ал. Толстого, и на детей выдать ему дворянские свидетельства».

Перенесемся на десятилетия вперед... Еще один, позднейший документ — «Дело о службе самарского уездного предводителя дворянства графа М. Н. Толстого. 1908—1917 гг.» — того самого Стивы, брата писателя.

Как рассказывает формулярный список, Мстислав Николаевич имел в Самарском уезде 21 100 десятин земли. Надо думать, что главным образом это было наследство, доставшееся от отца (сколько на одной этой выделенной ему доле могло бы разместиться, например, поместий отца Бострома!). После учебы, вернувшись в родные края, Мстислав Николаевич вскоре перенял в свои руки и долголетне закрепленный за покойным родителем выборный пост — здешнего уездного предводителя.

Впрочем, это был уже человек несколько иной формации. После образовательных классов кадетского морского корпуса Мстислав Николаевич четыре года штудировал науки на агрономическом отделении Рижского политехнического института. Сидеть на земле предпочитал цепко, грамотно, а не по-дедовски. Практические его начинания даже были отмечены высочайше установленным знаком «За труды по землеустройству».

Немалую активность проявлял и на других поприщах. Помимо все тех же общественных должностей, постов и званий по Самарскому уезду, что носил его отец (непременно включая сюда и почетного мирового судью!), многократно и подолгу замещал губернского предводителя дворянства. В 1908 году был пожалован званием камер-юнкера императорского двора. Из Самары Мстислав Николаевич переехал совсем незадолго до начала революционных событий.

Как показывает справочник «Весь Петербург», 1917 год застал его уже в столичном городе на Неве, на посту вице-губернатора...

До генеральских чинов, судя по другим сведениям, дослужился к той поре и пошедший по военной стезе старший брат Александр Николаевич.

Из фонда 430 мы прочитали на выбор только три-четыре дела (оп. 1, д. 2009; д. 1842; д. 2139). А там их, что называется, тьма-тьмущая. За россыпями манящих к себе частностей, слепящих и переливающихся разноцветными красками фактов, искрящихся деталей, которые без конца можно черпать тут горстями и по отдельности, почти как сокровища в пещере Аладдина, не забудем же про цель, не уклонимся от главного предмета...

...Сосновскую троицу действующих лиц мы однажды наблюдали в момент, когда Александра Леонтьевна горячо излагала навестившей их в самарской гостинице сестре Марии Леонтьевне Тургеневой свои соображения на тот счет, что делать, если граф Николай Александрович примется отбирать Алешу.

Эти опасения, как вполне реальная возможность, тяготели над маленьким дружным семейством в течение ряда лет.

Сам Алеша Толстой в истинные обстоятельства своего происхождения был посвящен позже. Взрослые щадили и оберегали впечатлительного ребенка.

Сокрытию от маленького сына тяжелой семейной драмы способствовала и относительно уединенная жизнь на степном глубинном хуторе. Друзьями и сверстниками были крестьянские ребятишки, далекие от того, о чем судачила и пустомельничала господская Самара.

Добавочные старания, чтобы отодвинуть болезненные для ребенка переживания, судя по многим

признакам, прилагала Александра Леонтьевна. Она сознательно предпочитала держать сына первые годы в деревенском уединении. Равно оберегала его как от людской молвы, так и от возможных поползновений и покусительств извне. Совместный выезд в Самару около 1889 года, о котором вспоминает М. Л. Тургенева, был едва ли не первым.

Но и после, вполне уже успокоившись относительно намерений графа, Александра Леонтьевна предпочитала не отпускать сына от себя. Вот в немалой степени почему, сколь ни накладно это было для семейного бюджета, для Алеши на первых порах была избрана домашняя форма образования.

Вначале Александра Леонтьевна занималась с сыном сама, пользуясь (вероятно, с 1891 года) услугами самарской частной школы А. Ю. Масловской: заочные консультации, программные советы, периодические циклы уроков и т. д. Обстановка в таких небольших школах была домашняя. Не исключено, что весь педагогический штат состоял из самой А. Ю. Масловской, с которой Александра Леонтьевна поддерживала близкие отношения. На уроки сюда во время наездов и жительств в Самаре ходил Алеша Толстой.

Когда мальчик подрос, с лета 1894 года, в Сосновку был приглашен постоянный учитель Аркадий Иванович Словохотов, определенные черты которого приданы одноименному персонажу в повести А. Н. Толстого «Детство Никиты». После него с осени 1896 и до весны следующего года репетитором для подготовки к поступлению в реальное училище был Н. П. Забельский...

Конечно, меры предосторожности отнюдь не означали, что какие-то отголоски сведений не достигали вездесущих детских ушей. И однако можно утверждать, что во всяком случае до десяти-одиннадцати лет тайну от ребенка удавалось сберечь.

По неокрепшей душе не было нанесено преждевременного рассекающего удара, детство ничем не было омрачено. Алеша пребывал в счастливом неведении, в полной гармонии, считая себя сыном Бострома.

Алексея Аполлоновича он называл «папа». Несколько его писем родителям и одно из домашних сочинений тех лет подписано: «Алеша Бостром». Так подписал мальчик и свою первую «стихотворную оду» от 3 ноября 1895 года — «А. Бостром».

Имеется подтверждение и от семейного окружения мальчика. Это письмо деда Леонтия Борисовича Тургенева от 15 сентября 1893 года Александре Леонтьевне, где впрямую обсуждается деликатная проблема. Картина положения оттуда видна.

«...Благодарю тебя за известие о тебе и твоих,— писал Л. Б. Тургенев,— особенно за твое полное описание Лешиных занятий. Мне нравится, что вы решили подготовить его дома, и хорошо, что в деревне: ему выгоднее поступить в общественное училище сколь возможно позднее, когда он поболее окрепнет умом и когда ему возможно будет как-нибудь объяснить его прозвание по метрическому свидетельству. Этот вопрос для него будет очень тяжел, и я не без страха ожидаю для него этого удара. Дай бог, чтобы он ему послужил в пользу серьезного, но и снисходительного взгляда на людей. Да, для него откроется трудная задача к решению, когда он узнает свое официальное имя. Затем я думал бы его в Самаре не помещать, ни в гимназию, ни в реальное училище...» (ЦГАЛИ, ф. 494, оп. I, д. 3).

Однако помимо нравственно-психологических соображений, заставлявших медлить с определением Алеши в учебное заведение, был к тому не менее веский мотив, впрочем, связанный с предыдущим.

«Официальное имя» надо было еще завоевать. Александра Леонтьевна не обладала главным юридическим подтверждением дворянского звания сына.

Ведь Толстым Алеша значился только по метрическому свидетельству о рождении. Но чтобы иметь право на поступление под этой фамилией в казенное училище, ребенок должен был располагать свидетельством о дворянстве. Для этого он должен был быть приписан к роду отца. Делало это губернское депутатское собрание. Постановлением наподобие того, что легко и походя было проголосовано 1 июня 1889 года о братьях Мстиславе и Александре.

Но метрик для этого было недостаточно. Требовалось согласие главы рода, графа Николая Александровича.

До того момента, пока постановления депутатского собрания не было, юридически мальчик, собственно говоря, и не был Толстым. У него не было дворянского свидетельства, разрешающего носить эту фамилию.

Но точно так же «Алеша Бостром» не был и Бостромом. К роду отчима его могло бы приписать то же губернское депутатское собрание. Но отчим был неофициальный.

Сам того не подозревая, ребенок жил, как птичка божья на карнизе. Он был лицом без фамилии и звания.

Полу-Толстой, полу-Бостром. Сын графа, но не дворянин. Не крестьянин, не купец, не мещанин. Человек вне сословия. Некто. Никто.

Конечно, подрастающий мальчик скоро должен был осознать ложное свое положение, из которого не легко было найти выход.

Трудности с поступлением в общественное училище были только началом неприятностей, которые ожидали его на жизненном поприще. На протяжении весьма неопределенного времени он оказывался, по существу, в положении незаконнорожденного, бастарда.

Свидетельство о дворянстве требовалось всюду. Допустим, в среднее учебное заведение ребенка удалось бы пристроить обходными путями, дав письменное обязательство, что необходимое свидетельство будет представлено позже. Поступить так можно было еще тогда, когда Алеше было, скажем, десять-одиннадцать лет. Но, во-первых, это бы лишь приблизило нежелательный момент, с какого мальчик оказывался в двусмысленном положении среди учащихся. Во-вторых, не решало проблемы. Аттестата об окончании все равно бы не выдали.

Вот почему Александра Леонтьевна медлила, обдумывала, выжидала.

Летом 1897 года, когда уже началась навязанная ей прямая борьба в губернском депутатском собрании, она так излагала в одном из писем документальную сторону дела с поступлением сына в реальное училище: недостающий документ, вероятно, удастся обойти — «...(можно ограничиться подпиской, что представим нужную бумагу, когда она будет выдана Деп[утатским] собранием), но для окончания курса это **необходимо**, так как иначе не выдадут удостоверения об окончании курса. Стало быть, нужно во что бы то ни стало добиваться этой бумаги и спешить, пока предводителем порядочный человек» (А. А. Бострому, 15 июля 1897 года).

Неопределенность гражданского статуса сына дав-

но занимала взрослую часть семейства и в более широком смысле.

Можно представить себе, сколько скрытых от ребенка советов с глазу на глаз держалось на эту тему по вечерам, когда мирно спал ничего не подозревающий Алеша, под завывание вьюги, в занесенной снегами Сосновке.

По-видимому, одной из первых и самых ранних по времени (когда ребенок не знал еще, кто его действительный отец) была идея усыновления.

Попытавшись его добиться, Алексей Аполлонович мог бы приписать мальчика к своему роду и дать ему свою фамилию.

Если же попытка натолкнулась бы на возражения отца, обозначенного в метриках, Николай Александрович официально лишил бы себя возможности возражать против записи Алеши в дворянские книги к роду Толстых.

В обоих случаях цель была бы достигнута.

О существовании такого плана косвенно свидетельствует одна из записей в книге постановлений Самарского дворянского депутатского собрания от 23 июня 1892 года.

Расценить ее можно как начальный этап, как подготовку почвы.

А. А. Бостром хлопочет «о записании его в надлежащую часть Самарской дворянской родословной книги» вместо такой же книги Тамбовской губернии, где до этого без малого шестьдесят лет преспокойно значились все — и отец «Аполлон Яковлевич Бостром и род его».

Своих детей Алексей Аполлонович не имел, продолжения и пополнения рода у него не намечалось. Зачем же понадобилась теперь эта геральдическая канитель почти сорокалетнему Бострому?

Если помнить, чьи родословные дела составляли предмет постоянных дум и забот маленького сосновского семейства, то настойчивое желание А. А. Бострома переписаться в Самарскую дворянскую родословную книгу заставляет полагать, что за подготовительным шагом последовал бы и главный.

Но лучше бы не браться за это дело Алексею Аполлоновичу! Только наклад, одно расстройство получилось из того, где для другого бумажная процедура исполнилась бы почти сама собой.

То ли дополнительно кто-то ножку подставил, то ли уж само так вышло. Но только полностью проявилось одно из тех человеческих качеств энергичного ходатая, которому он сам горестно удивлялся всю жизнь. Поразительная непрактичность и почти фатальная невезучесть Алексея Аполлоновича.

Что же оказалось? Выяснилось, что еще отец Аполлон Яковлевич пять с лишним десятков лет назад, удовлетворившись утверждением в дворянстве своего рода Тамбовским губернским собранием, не удосужился проследить, было ли послано постановление на сей счет в Петербург, на утверждение Правительствующему сенату.

Сенатского постановления о дворянстве Бостромов в бумагах не оказалось. Значит, вопрос этот, спустя почти шестьдесят лет, надо было поднимать заново.

Это — раз. Другое дело, сам Алексей Аполлонович, начав хлопоты о переписке в Самарскую родословную книгу еще весной 1888 года и получив положительное решение, тоже не озаботился, ушло ли это определение на утверждение сенату. Все ждал извещений, выписок. А оказывается, его отправление в Петербург то ли специально хитрым каким-то местным крапивным семенем (с чьей-то подсказки?), то ли по недосмотру «было упущено».

Дважды, таким образом, в бумагах просителя было проявлено однотипное грубое нарушение порядка, наводящее на мысль о непочтении к сенату. То, на что один раз еще и можно было бы, пожалуй, взглянуть снисходительно, повторенное, обращалось почти что в вызов. У всякого уважающего себя чиновника в Петербурге такие бумаги должны были возбудить недоумение и начальственный гнев. Кто, собственно говоря, такой был он, этот проситель? Дворянской рачительностью никогда не отличался. А чего хотел? Родословные книги? Да был ли еще дворянином его родитель — надо посмотреть!..

Между тем Самарское депутатское собрание определением от 23 июня 1892 года (не исключено, что специально?) послало всю кипу запутанных бумаг А. А. Бострома на рассмотрение сената. Да еще в тот отдел, где сидели самые крючкотворы и блюстители буквы,— в департамент геральдии.

На деле есть пометка, сделанная карандашом: «Отклонено указом сената».

При этом и остался Алексей Аполлонович.

Собственно говоря, после такого указа сената он и сам-то мог считаться дворянином лишь условно, пока не трогали.

Вариант провалился. Что оставалось делать?

Ребенку нужна была фамилия. Может, приемлемым будет компромисс?

16 марта 1896 года Александра Леонтьевна подает прошение «о внесении в надлежащую часть Самарской Дворянской родословной книги сына ее Алексея». При этом в приложенных к прошению метриках «по забывчивости» не указано, что отец ребенка — граф.

Можно ли столковаться на полумере? Официальный ответ не заставил себя ждать:

«...Так как Собранию известно, что Николай Александрович Толстой имеет графский титул, а в метрическом свидетельстве этот титул не написан, то представленная метрика возвращена просительнице Тургеневой для исправления, а рассмотрение... прошения приостановлено».

Если только графский титул при упоминании отца в метрике был упущен сознательно (забывчивость по отношению к такой «мелочи» маловероятна), то план был благороден, но трудно осуществим. Требовалась особая снисходительность закона и взаимное желание сторон.

Фамилия и сословное звание были неразделимы. В самых началах, определявших судьбу любого человека в Российской империи, на первом месте, даже еще прежде вероисповедания, стояло сословное звание. Всякий подданный должен был быть приписан к определенному сословию, а уж в качестве такового (мещанина, дворянина и т. д.) носил фамилию отца. Так что быть Толстым Алексеем Николаевичем и не быть графом Толстым было бы казусом почти невероятным.

Но, с другой стороны, вся история была экстраординарной. Получалась ситуация...

Без звания Алеша не мог иметь фамилии. Звания не мог иметь без титула. Без того же, другого и третьего мальчик был никто, не человек в любых случаях, который мог претендовать на нормальный прием и прохождение курса в императорском среднем учебном заведении...

Вот что готовилось, что ждало Алешу. Пока он, не

задумываясь о дальнейшей своей судьбе, «слонял слоны» с деревенскими мальчишками по Сосновке; сладко грезя, валялся на солнышке в траве; стоял на скирду, принимая вилами солому; помогал молотить рожь; упиваясь свистом ветра в ушах и мельканием уходящей земли, мчался через степь верхом на коне; трясся сверху воза на ярмарку в Пестравку; занимался арифметикой и географией с учителем Аркадием Ивановичем; выспрашивал сказки и бывальщины у деревенских стариков и старух; катался с гор на санях; брал снежные крепости; дрался «стенка на стенку» и засыпал зимними вечерами, уютно свернувшись под теплым одеялом, слушая завывание далекой вьюги и свист ветра в печной трубе...

Между тем время подпирало. Мальчику шел уже пятнадцатый год, по возрасту надо было поступать не меньше чем в четвертый класс.

Порочный круг требовалось как-то разорвать.

Неизбежным становилось прямое столкновение, открытые боевые действия. И они начались...

Почти через год, срок для обдумывания немалый, 14 января 1897 года, Александра Леонтьевна вторично подала прошение в дворянское депутатское собрание. На сей раз она приложила исправленные метрики, по всей форме. Как констатировал писец, из них видно, что сын Алексей рожден «...от законного супружества его отца Гвардии Поручика Графа Николая Александровича Толстого с Александрой Леонтьевной».

Делать было нечего.

«Господином Самарским Губернским Предводителем Дворянства,— перелагает дальнейшие события канцелярский летописец,— при письме от 24 января 1897 года за № 25 были сообщены Николаю Александровичу Графу Толстому копии с упомянутых прошений дворянки Александры Леонтьевны Тургеневой, с приложением копии метрического свидетельства, представленного при прошении».

И что же граф? Ответ он вынашивал давно, копил и лелеял все эти годы. Готовил и оттачивал фразы.

Убийственный этот ответ, на его взгляд, мог быть только одним: он знать ничего не знает, ведать не ведает. И впредь просит избавить его от домогательств сомнительных особ...

Тут было уже, конечно, не до проблем нравственности и былой заинтересованности в отличиях «добра от зла». Но как позволено будет обойтись с юридической стороной дела? С известными многим фактами?

Все же ведь расстались они с женой не за два с половиной года до развода, как, не моргнув глазом, утверждал теперь Николай Александрович, а за несколько месяцев до рождения ребенка и сын появился на свет еще почти за год до расторжения брака, что устанавливалось при самом беглом просмотре бумаг.

Никаких внутренних сомнений в том, кто был отцом, у Николая Александровича быть не могло.

Конец зимы — весна 1882 года были им же вымоленной и навязанной жене попыткой принуждения к совместной жизни. Бостром в те месяцы находился вдали от Петербурга.

В письмах того же года Николай Александрович не только признавал факт отцовства, но и настаивал на обсуждении будущности ребенка*.

По закону для подтверждения отцовства требовалось лишь одно — чтобы факт рождения ребенка, появившегося в законном браке, не был скрыт от отца.

Если бы Александра Леонтьевна даже и не располагала собственноручными письмами Николая Александровича, то подобные признания могли быть извлечены и из архивов официальных учреждений. Может, не ходя далеко, в том же депутатском собрании.

---

*Впоследствии, когда, завязавшись, дело деликатного свойства стало предметом публичного рассмотрения в разных инстанциях, Александра Леонтьевна вынуждена была отыскать эти письма Н. А. Толстого и держать их наготове. Факт их тогдашнего существования подтверждают упоминания в сохранившейся переписке.

«Коля (Шишков.— *Ю. О.*) меня спросил,— сообщает Александра Леонтьевна А. А. Бострому 9—10 марта 1898 года,— есть ли у меня доказательства в том, что графу было известно рождение сына (на всякий случай), и, когда я сказала о письмах, он сказал: «больше ничего не нужно» (ИМЛИ, инв. № 6311/79). В другой раз, запрашивая документы, которые могут понадобиться при прохождении дела в депутатском собрании, Александра Леонтьевна просит А. А. Бострома: «... Пожалуйста, привези мне: 1) мой вид, 2) три письма графа...» (15 июля 1897 года).

Сохранился летний ответ 1882 года Александры Леонтьевны на одно из таких писем Н. А. Толстого: «Вы говорите, что я не хочу говорить о будущем ребенке, я и о нем буду говорить, но только тогда, когда встречу серьезный этот вопрос не в куче ни к чему не ведущих разговоров» (ИМЛИ, инв. № 6311/2).

Сам ведь Николай Александрович, например, летом 1882 года просил дворянского предводителя оказать содействие в возвращении ему «беременной» жены. Телеграммы об этом пошли тогда даже начальнику Самарской губернии и министру внутренних дел.

Словом, доказательств и подтверждений при желании можно было набрать и извлечь сколько угодно.

Только деликатностью истицы вместе с четким осознанием истины, что «палка о двух концах» и, возбудив тяжбу раньше срока, можно получить дворянство для сына, но, пожалуй, лишиться ребенка, объясняется факт, что средства эти прежде в движение не приводились.

Даже загадочным и по-своему величественным на этом фоне может показаться поведение Николая Александровича.

Для порядка он, правда, потянул. Полгодика выждал. Затем, в язвительном тоне, с широко открытыми глазами, будто видит заявительницу впервые в жизни, ответил.

«Граф Николай Александрович Толстой,— гласит документ,— письмом от 1 июля сего года уведомил г. Губернского Предводителя Дворянства, что настойчивое домогательство Тургеневой о внесении ее неизвестного ему сына в родословную его семьи вынуждает его сделать следующее заявление.

Как при оставлении семьи г. Тургеневой, бывшей его первой женой, так и при расторжении два с половиной года спустя их брака, других детей, кроме тех трех, которые у него есть (два сына и дочь), не было и по сю пору нет, и потому домогательства г. Тургеневой он находит не подлежащими рассмотрению и удовлетворению, и что, кроме его, как отца, при жизни его, никакое другое лицо не вправе ходатайствовать о занесении его детей в дворянскую родословную книгу, так как по духу Российского законодательства отец считается главой семьи...» (ГАКО, оп. 1, ф. 430, д. 1861).

Почему же столь безразличен был Николай Александрович к действительным обстоятельствам дела? Почему так мало трогали его все эти собственноручные росписи, неопровержимые доказательства и бесспорные улики?

Прежде всего, конечно, характер. Что факты, когда горит душа! Но и в совершенном безрассудстве Нико-

лая Александровича обвинить было нельзя. Он знал, что делал.

Дворянское собрание было не суд и в прямое рассмотрение доказательств по родословным делам не входило. Достаточно было словесных утверждений, благородного слова. Кроме того, в руках было верное орудие. Если Николай Александрович и не мог рассчитывать на обязательную поддержку всего депутатского собрания, то в данном случае этого и не требовалось. А может быть, так даже было и лучше. Предводитель крупнейшего Самарского уезда зато всегда располагал там тем контрольным количеством голосов, какое было надо (больше одной трети). А при таком положении на ближайшие обозримые годы дело с мертвой точки сдвинуться не могло.

Пока же дворянское депутатское собрание не вынесет окончательного определения по родословному делу, заявитель не вправе был обращаться дальше. Ни в сенат, ни в суд, последнее в данном случае место рассмотрения. Тянуться же это могло бесконечно.

Первое голосование в депутатском собрании состоялось 18 сентября 1897 года.

Перед этим от Александры Леонтьевны потребовалась новая аргументированная контрбумага, объяснение на ответ графа,— новое прошение. В нем (5 августа) она повторила настойчивую просьбу занести ее сына «в родословную книгу, так как документ о его принадлежности к дворянскому сословию необходим для поступления в среднее учебное заведение» (ГАКО, ф. 430, д. 1861).

Сочувствие большинства сидящих в зале было на стороне заявительницы. Но противоположного мнения твердо держалась часть депутатов, стоявших на том, что «ввиду заявления Графа Толстого, что ему до подачи прошения не было известно о том, что у него есть, кроме трех его детей, еще сын, то и следует Депутатскому Собранию в этом смысле сделать свое определение и воздержаться от внесения этого лица в родословную книгу к роду Графа Толстого».

Результаты баллотирования оказались немногим лучше тех, на которые с самого начала делал ставку Николай Александрович: «...большинство баллов хотя и получилось за причисление А. Ник. Графа Толстого к роду Н. А. Графа Толстого, но не составило двух

третей претендентов... решение этого вопроса отложить...».

Все же такой результат по крайней мере давал право взять в дворянском депутатском собрании форменную справку, что дело решается.

По такому «временному удостоверению» Алеша Толстой, по-видимому, и был проведен в состав учеников Сызранского реального училища, куда в самом конце августа 1897 года выдержал вступительные испытания в четвертый класс.

Самый мудрый педагог — время. А оно было выиграно.

Новая учебная жизнь началась для почти пятнадцатилетнего Алеши в отдаленной, занятой собой Сызрани. (Более подходящий в других отношениях выбор — Самарское реальное училище, к сожалению, осуществить не удалось: еще в мае растерявшийся с непривычки, немало одичавший в деревенском уединении подросток «срезался» там на испытаниях почти по всем предметам.) В Сызрань перебралась и поселилась вместе с сыном и сама Александра Леонтьевна.

Так что опасения и страхи насчет предстоящего мальчику психологического «удара», имевшие реальные основания несколько лет назад, ушли в прошлое. Из материалов той поры мы ничего не знаем о переживаниях Алеши Толстого на этой почве, кроме разве глухого упоминания, что кто-то из учеников приступал к нему с расспросом, «граф ли он Толстой или только по фамилии». Но любопытство могло быть и вполне безобидным...

Предметом забот оставалось будущее. Если мысли о нем, быть может, и не терзали излишне пятнадцатилетнего реалиста, то неотступно занимали родителей. Алеша мог позволить себе видеть иные события в легком свете, потому что чувствовал надежное укрытие матери.

Губернским предводителем дворянства был Александр Александрович Чемодуров. Не дослужившийся в прошлом до больших чинов (титулярный советник), человек порядочный и даже либеральный, он появлялся иногда на журфиксах в самарском доме Якова Львовича Тейтеля, где при всякой возможности быва-

ла Александра Леонтьевна. Относился к ней с симпатией. Вероятно, не без участия губернского предводителя больше половины депутатского собрания проголосовало в поддержку прошения.

Было ясно, однако, что, пока граф Николай Александрович располагает в собрании поддержкой более трети депутатов (а это будет всегда), дело дальше не двинется. Помочь в этом Чемодуров был бессилен.

Зато родилась идея.

Требовалось нанести удар с той стороны, откуда граф меньше всего ожидал. Подыскав формальную зацепку и подобрав статью закона, умело склонить разумно настроенную часть депутатов на очередном витке проголосовать заодно с враждебной партией. Проиграть, чтобы получить шанс выиграть! При наличии предыдущего решения чисто процедурный смысл такого отказа, не отвечающего истинному мнению большинства депутатского собрания, был бы ясен. Появилась бы надежда на положительное рассмотрение в последующих инстанциях.

Действовала Александра Леонтьевна, проживая в Сызрани, через родственника и испытанного друга Николая Шишкова, вхожего ко многим депутатам.

Второе голосование по прошению состоялось 11 января 1898 года.

В начале марта в Сызрани проездом в Петербург остановился Шишков, чтобы обговорить среди прочего результаты, которые в принципе Александра Леонтьевна знала.

9—10 марта она писала А. А. Бострому из Сызрани:

«Коля рассказал мне о Лелином деле. Он ведь был на депутатском собрании, когда дело решалось, и с Чемодуровым вдвоем дали такой оборот делу, что мне было отказано большинством двух третей голосов, чтобы мне можно было жаловаться в сенат... Коля очень удивился, когда я сказала, что ничего еще не сделано мною по этому поводу».

Мягко намекнув Бострому, что вынуждена медлить потому, что тот все забывает привезти необходимую справку, Александра Леонтьевна продолжает: «Мне следовало бы съездить в Самару и посоветоваться с Хардиным или Львовым (здешними присяжными поверенными. — *Ю. О.)*... Коля убеждал меня действовать немедленно, что дело поставлено хорошо для жалобы

и Сенат решит непременно в мою пользу...» (ИМЛИ, инв. № 6311/79).

Оптимизм, однако, был преждевременным.

Ходы и выходы Николай Александрович знал не хуже своих противников.

Опереть отказ в бесспорном по существу деле на формальную статью закона было нелегко по самой идее. Как ни старался Чемодуров, все-таки (по словам Александры Леонтьевны в том же письме) «основали постановление... на неподходящей статье закона», «постановление Депутатского собрания было совершенно незаконное».

Это и определило последующую волокиту.

Алеша заканчивал уже Самарское реальное училище, куда перевелся после Сызрани. Намечалось поступление в институт, а дело о его звании по-прежнему рассматривалось.

Только в 1900 году, 8 февраля, рапорт Самарского депутатского собрания и соответствующая жалоба Александры Леонтьевны на двукратные отказы в записи сына в родословную книгу были препровождены в сенат.

Это дало возможность тому же А. А. Чемодурову подготовить новое «временное удостоверение» для А. Н. Толстого. Подлинник его сохранился. Выдано оно на все случаи жизни — «для представления куда будет следовать». В «Удостоверении», как оно озаглавлено с большой буквы, лишь кратко перелагаются обстоятельства рассмотрения «жалобы» г-жи Тургеневой и сказано, что оная при рапорте Самарского депутатского собрания представлена в сенат, «но из Сената разрешения по этой жалобе еще не получено».

Датировано «Удостоверение» 2 июня 1901 года. По нему-то восемнадцатилетний юноша А. Толстой и поступал в Петербургский технологический институт в конце лета 1901 года.

Между тем жизнь играла и полнилась разнообразием красок.

Не одни родословные бумаги занимали, разумеется, и Николая Александровича все эти годы — от нового супружества вплоть до кончины. Имеющиеся материалы позволяют представить картину его жизни.

На рубеже 60—70-х годов неутомимый энтузиаст

литературно-краеведческих раскопок М. П. Лимарова, много сделавшая для расширения документальных фондов Куйбышевского литературно-мемориального музея имени А. М. Горького, разыскала Татьяну Степановну Калашникову, престарелую жительницу Куйбышева, которая еще девочкой попала в дом второй жены Н. А. Толстого — В. Л. Толстой и долгие годы служила горничной. Ее воспоминания были записаны.

Всякие дополнительные сведения, если они несут зерно истины, должны быть приняты в расчет. Эти же интересны тем, что исходят от человека, близкого к новому семейному окружению Николая Александровича, явно к нему расположенного. Таких источников нам, пожалуй, недоставало.

Домашний служилый люд, конечно, воспринимал события по-своему, давал им собственные оценки. Причины семейной драмы барина и разрыва с ним Александры Леонтьевны, например, объяснялись так: «В доме говорили (прислуга), что муж не любил стихи, а Бостром любил их».

Зато в чем-то наивный, быть может, взгляд доносит до нас живые черточки бытового уклада, психологии среды, характеров людей.

На отношения Николая Александровича к обслуге и домочадцам, согласно этому свидетельству, пожаловаться было нельзя. «Граф не был жестоким. Никогда никого в доме не обижал».

По сведениям воспоминательницы, Николай Александрович страдал от разрыва с Александрой Леонтьевной. «После ухода жены Николай Александрович продал 1 000 десятин земли, не стал жить в том доме, где жил с ней [в родовом имении], потому что все напоминало ее... Выстроил новый дом, развел сад. Всю жизнь он любил Александру Леонтьевну, а Веру Львовну только уважал».

Новой супруге, склонной к общественной деятельности, занимавшей посты в благотворительных организациях города и ставшей одной из видных дам губернского центра, удалось завести в доме четкие порядки. Николай Александрович им следовал. «...Она была очень строгих правил. Он мог приехать из гостей выпивши, но обычно разувался и в носках потихоньку проходил в свою комнату. Граф ее уважал как приемную мать своих детей, они ее звали «мамой»... Сыновей она держала очень строго».

Т. С. Калашникова сохранила добрую память о былых привязанностях. Однако из сообщаемых деталей и подробностей подчас встает образ не того человека, какой, может быть, представлялся ей самой.

Так, рядом передается факт, оказавшийся важным для всей дальнейшей жизни Николая Александровича. Воспоминательнице он кажется только диковиной домашней хроники, а между тем он вызывает другие чувства.

Событие это случилось года через два после громкого судебного процесса в Самаре и предшествовало новой женитьбе Николая Александровича.

У Веры Львовны тогда еще был жив муж, штаб-ротмистр Григорий Городецкий. Он болел тяжелой формой туберкулеза и, как бывает у чахоточных, отличался вспыльчивостью и горячностью.

«Вера Львовна начала встречаться с графом,— рассказывает воспоминательница,— еще при жизни мужа, зная уже, что дни его сочтены. Однажды, когда Городецкий узнал, что его жена Вера Львовна находится в одной из гостиниц в Симбирске вместе с графом, Городецкий вызвал Николая Александровича на лестничную площадку. Граф стоял спиной к лестнице. Городецкий его внезапно толкнул. Николай Александрович пролетел два лестничных пролета, отшиб себе печень. После каждый год ездил лечиться за границу. И в конце концов все-таки умер от рака печени».

Давайте вдумаемся в это свидетельство. Ввиду шумного характера происшествия и долголетних тяжких последствий оно не могло остаться тайной в городе, а тем более в доме. Т. С. Калашникова же вдобавок пользовалась особым расположением и близким доверием Веры Львовны.

По мудрому библейскому изречению, никто бы, конечно, не бросил камня... Но перед нами больше чем бытовое происшествие. Сальто-мортале на лестничной клетке проделал не просто человек, но носитель принципа.

Татьяна Степановна Калашникова не догадывалась об этой стороне дела, но мы-то ведь ее знаем.

Можно было бы только посочувствовать в горестном этом приключении, если бы не постигло оно особого вида борца в защиту супружеской верности. Того, кто из отстаивания чистоты и святости семейных устоев сделал для себя жизненную и общественную позицию,

форму поведения и социальную позу. Причем вошел в роль совсем незадолго перед тем (лишь за два-три года!) и действовал в этом духе чуть ли не до скончания дней. Кто за отход от буквы этих понятий неотвязно настигал и карал неверную супругу даже с помощью полиции, суда и дворянского собрания...

Такое вот соединение в одном лице стойкого семейного принципа и головоломного полета через лестничную площадку от рук оскорбленного мужа, согласитесь, случай все-таки необычный!

Конечно, как всякий живой человек, Николай Александрович был неоднозначен, разнообразен, переменчив. Но куда, как, до каких пределов? В этом вся суть.

Присмотримся еще к одной из психологических метаморфоз. В рукописных мемуарах М. Л. Тургеневой, хранящихся в ЦГАЛИ, есть эпизод, где она со свойственным ей чувством справедливости вспоминает благородный поступок графа Николая Александровича последнего периода жизни.

Так сошлись обстоятельства, что Мария Леонтьевна в качестве поверенной сестер Тургеневых по общему владению вынуждена была обратиться к Николаю Александровичу, который в числе прочих постов и званий был членом учетно-ссудного комитета по сельскохозяйственному кредиту губернского отделения Государственного банка. Дело было имущественное, для заинтересованной стороны, не вылезавшей из долгов, чувствительное, а обязана она была ехать именно к нему.

Понятны все волнения сестры бывшей жены. Однако они оказались напрасными. Николай Александрович назначил деловую встречу у себя дома, принял просительницу, не помнящую, на каком она свете, даже очень благожелательно. «Все ему рассказала и просила повлиять,— пишет Мария Леонтьевна.— Он, видимо, был польщен и говорит: «Непременно, непременно, будьте уверены, что все сделаю, что смогу».

Николай Александрович даже приглашал М. Л. Тургеневу остаться обедать, от чего та уклонилась. «...Мой визит был полезен, и дело скоро уладилось. Вот именно эту черту его я и подчеркиваю,— обобщает Мария Леонтьевна,— на все обвинения, что он был мстителен. Как было легко подставить ножку, а он этого не сделал».

В описании этого эпизода, перелагавшегося не

меньше чем три десятилетия спустя, допущена, однако, ошибка памяти. Как пишет Мария Леонтьевна, перед деловым визитом она советовалась с сестрой. Воспроизводится и ответ Александры Леонтьевны: «Машечка, ты ведь знаешь, как трудно мне было провести Алешу в дворянские книги. Все это враждебное давление графа мне тормозило».

Основной конфликт и тогдашняя баталия между сторонами — вокруг родословной записи сына — представлены здесь вполне исчерпанными. Но, как мы знаем, было не так. Николай Александрович делал все от него зависящее, чтобы решающий выигрыш в неправедных усилиях остался за ним.

Только безвременная кончина Н. А. Толстого изменила обстановку, создав перелом к последующему благоприятному исходу дела, во многих отношениях жизненно важному для А. Толстого. Да и то положительное заключение Самарского депутатского собрания состоялось лишь 19 декабря 1901 года.

Самого Николая Александровича к тому времени уже почти два года не было в живых.

Мария Леонтьевна могла или не знать всех перипетий былой ожесточенной борьбы или же спустя десятилетия запамятовать прежний ее накал, преувеличивая в то же время значение отложившегося в памяти из-за своей необычности случая. Только так можно объяснить слишком расширительный вывод из него, который она делает, с великодушной легкостью отводя настойчивые представления о Николае Александровиче, «что он был мстителен».

Между тем факт сам по себе вовсе не противоречит этим представлениям. В жизни то и другое существовало рядом, совмещаясь в одном лице. Ведь как раз в то время Николай Александрович вел более широкую мстительную игру. И видеть вместе с тем противную сторону униженной, просящей, выбросить ей то, что, может быть, для нее и важно, но пустяк для него, даже поднимало в собственных глазах, льстило самолюбию. Это было в его характере.

Документальные источники передают и последние всплески метаний и буйства необузданной этой натуры.

В 1897 году все Поволжье скандализировал ультиматум графа Н. А. Толстого земству прекратить деятельность ветеринарных врачей в Самарском уезде (после того как ветеринары заподозрили сап на одном

из графских конных заводов). Поднялся газетный шум. В ответ Николай Александрович направил губернатору просьбу об отставке с поста уездного предводителя дворянства, которая, впрочем, осталась «без движения»...

Рискованными, мягко говоря, были и любовные похождения под боком у строгой супруги, связанные с посещением «знаменитой Аришки», ублажавшей своих клиентов даже и четырнадцатилетними девочками, за что прокурорский надзор «давно зубы точил» (Архив КЛМ). Это была уже крайняя степень нравственного падения. Утрачивая прежнюю мечтательность и показное гусарство, Н. А. Толстой все больше превращался в открытое воплощение пороков, свойственных ему с молодости.

Курс регулярного лечения Николай Александрович принимал на этот раз во Франции, в Ницце. Там он и умер 9 февраля 1900 года.

Гроб с телом был привезен в Самару, и 27 февраля состоялись похороны.

На них присутствовала и Александра Леонтьевна с сыном. «Саша и Алеша, — вспоминает М. Л. Тургенева,— были в церкви, но никто к ним не подошел, ни графиня, ни дети».

Писать так можно, только не подозревая, какие чувства в тот момент закипали на противоположной стороне. О порывах, которые вызвало там публичное появление на погребальной церемонии двух выходцев из предшествующей биографии покойного, бесхитростно рассказывает Т. С. Калашникова: «Александра Леонтьевна приходила в Иверский монастырь проститься с телом мужа. Сыновья, особенно Стива, хотели ее прогнать. Но Вера Львовна не разрешила, сказала, что Александра Леонтьевна просит прощения у мужа».

Выдержанно и по-своему благородно повела себя Вера Львовна и в дальнейшем. Решив, наконец, разрубить давний семейный узел.

Это отвечало желанию обеих сторон.

Начался письменный обмен мнениями. Посыльной во враждебный стан ходила та же Т. С. Калашникова. Придана была ей и частичная роль доверенного лица, которое, не принимая ответственности, призвано устно добавлять и развивать то, что на бумаге написать было нельзя или не хотелось...

Например, первоначальную версию, что граф чуть

ли не банкрот и Вера Львовна выкупила-де его имения на свои деньги ради старших сыновей.

По позднейшим воспоминаниям, Александра Леонтьевна на это ответила:

«— Пусть она публично признает, что граф промотал свое имение и оно теперь выкуплено и принадлежит Вере Львовне. Тогда только я откажусь от пая на сына...

Узнав об этом, Вера Львовна сказала, что пусть она лучше возьмет эти деньги, чем вся округа узнает, что отец банкрот и позор ляжет на сыновей» (Т. С. Калашникова).

Впрочем, Александра Леонтьевна дала лишь понять, что за себя постоять сумеет.

Втягиваться в очередную тяжбу, имея за спиной прежнюю, начинать новый тур походов по различным присутствиям и отдавать годы судебной волоките она не собиралась. Хотя при удачном повороте это и сулило долю от главного богатства — земли.

Примирительная позиция и скромность притязаний в том, что волновало других наследников, решили все.

О достигнутой договоренности сообщает в своих воспоминаниях М. Л. Тургенева: «Графиня... первая сделала предложение о выдаче Алеше деньгами, боясь, как рассказывал ее поверенный Саше, что Саша наравне с другими детьми потребует выдела для Алеши. Саша не стала возбуждать никаких исков и удовлетворилась тем, что дали, хотя все говорили, что это мало против других детей».

О таком способе получения наследства А. Толстой говорил позднее, что ему «выбросили собачий кусок». Хотя сам по себе он был немалым: около 30 тысяч рублей...

Это меняло многое — житейские условия, перспективу на образование.

Отцовское наследство А. Н. Толстой получил почти на два года раньше, чем определился его гражданский статус в составе подданных Российского государства.

О женщинах толстовского Заволжья

Семейная драма матери, последствиями своими также сильно затронувшая собственную жизнь А. Н. Толстого, в конце концов, немало в ней опре-

делившая, факт такого масштаба, что было бы странно, если бы он остался вне его писательского зрения.

Свое толкование событий А. Толстой давал прежде всего в автобиографических статьях и высказываниях разных лет.

И вот что интересно. Шли годы. Не однажды круто менялась жизнь, окружавшая писателя бытовая и общественная среда. Время остужало прежние страсти, сводило с былыми недругами, дарило новых друзей, порождало врагов и примиряло с памятью тех людей, с которыми, прежде казалось, примирения быть не может.

Процессы превращения прошлого в настоящее всегда волновали исторически мыслящего художника. А тут жизнь наделяла сведениями вдобавок о том, что близко касалось,— о родословной, его занимавшей, об истории семьи, о событиях, начавшихся до него, но влиявших на судьбу. Возникали новые «ракурсы» зрения. И все же... Общая оценка семейной драмы, составившей также и часть собственной ранней биографии А. Толстого, оставалась устойчивой.

В семейном конфликте матери, в истории ее любви и разрыва с окружающей бытовой и общественной средой А. Толстой неизменно подчеркивал духовно-нравственную основу, глубокие побудительные причины, приобретшие социальный резонанс.

Мотивы эти звучат даже в беглых упоминаниях. «Моя мать ушла от страшной, как кошмар, жизни с отцом... Я рос с матерью и вотчимом в разоряющейся усадьбе Самарской губернии. Вотчим считался красным в уезде...» («О себе», 1929).

Все, что А. Толстой говорил прежде о существе давней семейной драмы и ролях ее участников, вылилось затем в емких и отточенных формулах «Краткой автобиографии», последняя дата под которой поставлена писателем за год до смерти.

Перечитаем теперь выдержку:

«Я вырос в степном хуторе верстах в девяноста от Самары. Мой отец Николай Александрович Толстой — самарский помещик. Мать моя, Александра Леонтьевна, урожденная Тургенева, двоюродная внучка Николая Ивановича Тургенева, ушла от моего отца, беременная мною... Моя мать, уходя, оставила троих маленьких детей — Александра, Мстислава и дочь Елизавету. Уходила она на тяжелую жизнь,— приходилось

порывать все связи не только в том дворянском обществе, которое ее окружало, но и семейные. Уход от мужа был преступлением, падением, она из порядочной женщины становилась в глазах общества — женщиной неприличного поведения. Так на это смотрели все, включая ее отца Леонтия Борисовича Тургенева и мать Екатерину Александровну.

Не только большое чувство к А. А. Бострому заставило ее решиться на такой трудный шаг в жизни,— моя мать была образованным для того времени человеком и писательницей. (Роман «Неугомонное сердце» и повести «Захолустье». Впоследствии ряд детских книг, из которых наиболее популярная «Подружка»)».

Далее А. Н. Толстой, быть может, даже с излишней односторонностью подчеркивает темные стороны социальной жизни Самары той поры: «Самарское общество восьмидесятых годов,— продолжает он,— до того времени, когда в Самаре появились сосланные марксисты,— представляло одну из самых угнетающих картин человеческого свинства. Богатые купцы-мукомолы, купцы-скупщики дворянских имений, изнывающие от безделья и скуки разоряющиеся помещики-«степняки»,— и общий фон,— мещане, так ярко и с такой ненавистью изображенные Горьким...

Люди спивались и свинели в этом страшном, пыльном, некрасивом городе, окруженном мещанскими слободами... Когда там появился мелкопоместный помещик — Алексей Аполлонович Бостром, молодой красавец, либерал, читатель книг, человек с «запросами»,— перед моей матерью встал вопрос жизни и смерти: разлагаться в свинском болоте или уйти к высокой, духовной и чистой жизни. И она ушла к новому мужу, к новой жизни — в Николаевск.

Алексей Аполлонович, либерал и «наследник шестидесятников» (это понятие «шестидесятники» у нас в доме всегда произносилось, как священное, как самое высшее), не мог ужиться со степными помещиками в Николаевске, не был переизбран в управу и вернулся с моей мамой и мною... на свой хутор Сосновку.

Там прошло мое детство...».

Такова смысловая оценка, данная этим событиям самим писателем.

Нравственный их пафос много значил и для Толстого-художника. Если так можно выразиться, это была героическая страница «семейных хроник» (писание

которых составило целую полосу в его творчестве). Но и не только их одних. Отголосками встречаются вдруг сходные детали, фабульные подробности там, где действуют совсем другие герои...

У Алексея Толстого есть рассказ «Любовь» («Искры»), написанный в 1916 году, о том, как два красивых душой человека, прошедших длинную дорогу к своей любви, были убиты покинутым мужем, моральным ничтожеством, на перроне вокзала за две минуты до отхода поезда. Трудно судить, возник ли сюжетный мотив рассказа — нелепая смерть «за две минуты» до счастья — непосредственно из воспоминаний о случае, происшедшем с матерью и отчимом в поезде в августе 1882 года. Но вполне возможно, что при написании произведения этот эпизод стоял у Толстого перед глазами. Любовь, оплаченная всем, что только может отдать человек, сверкнувшая искрой в глухой провинциальной ночи, тогда тоже чуть не была растоптана слепым, раздосадованным карликом.

Впрочем, коли стоит перекинуть мостик от рассказанных выше событий к творчеству А. Н. Толстого, то отнюдь не для выискивания прямых сюжетных откликов и совпадений. Потому что даже любопытнейшие сюжетные аналогии сами по себе еще мало что дают.

Известно, что одной из ведущих тем всего дореволюционного А. Толстого была тема одухотворенной, облагораживающей, а часто и всеисцеляющей любви. «Я был уверен в одном, что есть любовь. Теперь я уверен, что в любви рождаются вторично. Любовь есть начало человеческого пути...» — так писал об этом сам Толстой в первой автобиографии 1913 года. Чувство, в котором расцветает и обновляется человек, было для писателя в те годы средоточием его гуманистических идеалов, с высоты которых он обрушивался на свинеющих и заживо гниющих в своих усадьбах последышей дворянского быта, вроде памятного Мишуки Налымова, и приходящих им на смену рыцарей чистогана. Идеал любви давал светлые и жизнеутверждающие краски таланту писателя, изображавшему в те годы довольно мрачные стороны российской действительности.

Известно также, кто является в ранних произведениях Толстого олицетворением этих светлых поэтических начал. Прежде всего — героини, женские персонажи. Таковы Вера Ходанская («Мишука Налымов»), Сонечка Репьева (роман «Чудаки»), Катя Волкова (ро-

ман «Хромой барин»). В этих благородных, но пока, увы, сплошь неудачливых мечтательницах, привлекающих свежестью и чистотой чувства, а также в героинях ряда других предреволюционных произведений уже намечены некоторые черты, видны как бы подступы Толстого к самому поэтическому из его созданий в галерее женских характеров — к образу Даши Телегиной.

Не расходятся литературоведы и в том, чьи традиции в изображении русской женщины продолжает в данном случае молодой Толстой. Конечно же, в первую очередь — И. С. Тургенева, с его возвышенными, опоэтизированными героинями.

Но вот вопрос: имел ли Толстой основания, давала ли ему жизнь достаточный материал, чтобы в среду разложившихся обитателей помещичьих усадеб «пересадить» вдруг... преемниц тургеневских женщин?

А. Толстой реалистически изобразил деградацию дворянства между двумя революциями. Острый взгляд писателя увидел в первом сословии империи переживших себя чудаков, зловещих анекдотических тупиц, у которых под дворянской фуражкой с красным околышем обозначались на лицах трупные пятна вырождения. Изображенные сильно и красочно, эти черты персонажей писателя делали его произведения новым словом в русской литературе. Но не изменило ли реалистическое чутье в другом случае? В какой мере обладали жизненной достоверностью положительные героини раннего Толстого? Или, быть может, это лишь книжно-романтические повторения «под Тургенева», выражающие идеалы автора, но далекие от живой тогда современности и тенденций ее развития?

Существует, оказывается, похожая точка зрения.

В своей интересной в целом книге «Путь Алексея Толстого» критик М. Чарный так, в частности, характеризует дореволюционные произведения писателя, посвященные последышам старого дворянского быта: «В этой обстановке распада выделяются только женские образы. И в «Чудаках», и в «Мишуке Налымове», и в других рассказах, а потом и в «Хромом барине» Толстой рисует образы женщин, которые с очарованием душевной простоты сочетают благородство чувства и постоянную готовность принести себя в жертву...

Легко заметить, что Толстой в женских образах продолжает традицию лучших русских писателей, и

прежде всего Тургенева. Но не кажутся ли героини А. Толстого занесенными в общество Налымовых откуда-то с иной планеты? В тургеневских дворянских гнездах эти благородные поэтические создания были родственны по духу Рудиным и Лаврецким. Очень многое изменилось за те пятьдесят-шестьдесят лет, которые отделяют героев Тургенева от дворянских героев Алексея Толстого; Толстой увидел и запечатлел эти изменения прежде всего в образах мужчин. И потому создается иногда такое впечатление, точно рождались Сони и Веры не от своих отцов, точно они люди другого рода. Частичное объяснение этому можно найти в том, что даже в среде господствующего класса женщины были неравноправной, угнетаемой частью общества» (М. Чарный. Путь Алексея Толстого: Очерк творчества. М.: ГИХЛ, 1961, с. 22).

Таким образом, критик, хотя и очень деликатно, высказывает серьезные сомнения в том, насколько появление преемниц «тургеневских девушек» в раннем творчестве Толстого соответствовало фактам из жизни тогдашних помещичьих усадеб. Установление жизненности или нежизненности (хотя бы «частичной») женских образов Толстого тотчас влечет за собой другую проблему, которую волей-неволей придется затронуть,— о характере наследования А. Толстым тургеневских традиций. Словом, мы должны быть благодарны М. Чарному за то, что он вынес на обсуждение эти интересные вопросы.

Первый из них разрешается сравнительно просто. Женщин, нравственно красивых, даже сильнее характером, чем те, что выведены в ранних произведениях писателя, было совсем немало в тогдашней дворянской среде, в том числе и в близком окружении Толстого. Нравственный пример матери не был единственным.

Если Лиля (Е. Н. Толстая) и не сумела разобраться в сложных обстоятельствах семейной драмы, то сама отличалась свободой и решительностью чувств. Об одном ее смелом поступке сообщает найденное письмо.

«...Свадьба Лили была в Саратове,— пишет Александра Леонтьевна 19 мая 1898 года А. А. Бострому.— Рахманинов — это тот самый, которого она любит пять лет и из-за которого стрелялась (этого последнего никто не знает). Граф свадьбы признавать не желает, и он, и бабушка на свадьбе не были. Значит, Лиля отстояла

таки себя и свою любовь. Я этому очень порадовалась...»

Не в пример братьям Лиля тянулась впоследствии к Алексею Николаевичу. По воспоминаниям С. И. Дымшиц-Толстой, она навещала младшего брата в Петербурге в 1912 году. «Елизавета Николаевна была высокая, красивая женщина, любила литературу и сама писала стихи,— сообщает мемуаристка.— Она жила с мужем в Новом Петергофе и чувствовала себя очень сиротливо в армейско-офицерской среде».

Заезжала она и позже к А. Н. Толстому, в Москву. Об этом рассказывается в письме Марии Леонтьевны Тургеневой А. А. Бострому от 22 февраля 1914 года: «...свиделись и сразу установились душевные отношения. Могу сказать, что такой женщины не видела — и хороша царственно, и прелестна — сразу все сердца взяла... Алеша так был светел и счастлив, что у него есть сестра и что она пришла».

Произведения Толстого, посвященные быту разоряющегося дворянства, называют еще «семейными хрониками», потому что многие сюжетные линии и образы их навеяны действительными случаями, происходившими с многочисленными родственниками писателя. Например, прототипом поэтического образа чистой и милой Верочки Ходанской («Мишука Налымов») в значительной мере является рано умершая любимая сестра Александры Леонтьевны — Ольга Леонтьевна, «Леля», которой посвящен ее роман «Неугомонное сердце».

Преимущественную направленность писательского интереса в том, что касалось женских характеров, можно определить словами мемуаристки, близко наблюдавшей молодого А. Н. Толстого.

Говоря о художественных запечатлениях в прозаическом цикле той поры облика тетки — Марии Леонтьевны Тургеневой, С. И. Дымшиц-Толстая пишет: «Тетя Маша отразилась во многих произведениях Толстого, в таких его ранних рассказах, как «Неделя в Туреневе», «Заволжье», «Неверный шаг»; Алексей Николаевич любил ее не только как родного человека,— справедливо подчеркивает она,— но и как женский тип, как образ чистой и талантливой женщины, своим личным благородством резко выделявшейся в окружающей ее среде вымирающего дворянства» («Воспоминания об А. Н. Толстом». М., Советский писатель, 1973, с. 69).

Наверное, еще больше подобных примеров можно было бы указать и не среди родственниц писателя, не в его окружении. Но дело, в конце концов, не в количестве случаев. Много ли было в жизни «тургеневских девушек» в те времена, когда И. С. Тургенев за несколько лет ввел в русскую литературу целую галерею своих положительных героинь? Если верить современникам — очень мало. На это указывал Добролюбов, характеризуя героиню романа «Накануне» Елену Стахову. А Лев Толстой уже в 1901 году говорил: «Тургенев сделал великое дело тем, что написал удивительные портреты женщин. Может быть, таковых, как он писал, и не было, но когда он написал их, они появились. Это — верно, я сам наблюдал потом тургеневских женщин в жизни» (Цит. по кн.: Н. Л. Бродский. И. С. Тургенев. М., 1950, с. 58—59).

Вообще количественные категории редко являются решающими в искусстве. Гораздо интересней разобраться в другом — в характере наследования А. Толстым тургеневских традиций при создании женских образов.

Но тут не обойтись без нескольких предварительных замечаний.

А. Н. Толстой-художник выступил как живой посредник между русской классикой и литературой наших дней. В работах о Толстом высказано уже немало интересного о наследовании художником традиций Гоголя, Гончарова, Л. Толстого, Чехова и других русских классиков. В общем русле этих исследований, бесспорно, большее внимание стоит уделить традициям И. С. Тургенева, властителя дум писательской молодости, в творчестве которого А. Толстого так многое влекло и впоследствии отталкивало. Значение этой темы явно недооценивается.

Приведу пример. Обратимся к книге «А. Н. Толстой. Семинарий» (Л.: Учпедгиз, 1962), являющейся по самой задаче изданий такого рода как бы зеркалом сделанного литературоведением за предшествующий период. В специальной главе «Семинария» имеются разделы о традициях многих лучших писателей XIX — начала XX в. в творчестве А. Толстого (от Пушкина до Александра Блока включительно). Каждый из разделов снабжен иногда скудной, но иногда и обнадеживающей библиографией литературоведческих работ. Раздела «И. С. Тургенев и А. Н. Толстой» в книге по-

просту нет. Авторов «Семинария» И. Рождественскую и А. Ходюка если и следует упрекнуть, то не забывая никак о трудностях предприятия: наблюдения над традициями Тургенева в работах о Толстом не так уж часты.

Между тем история менявшихся отношений А. Н. Толстого к этому художнику и мыслителю, к его разностороннему вкладу в национальную культуру и развитие русского литературного языка, история плодотворной учебы у И. С. Тургенева и полемики с ним — один из лейтмотивов всего писательского пути А. Толстого. От восторженного отношения к И. С. Тургеневу в молодости, когда поиски сосредоточивались преимущественно на моральных идеалах, до критического пересмотра отдельных сторон наследия Тургенева зрелым А. Толстым.

Например, в 30-е и в начале 40-х годов А. Толстой считал, что в определенном отрыве нормативного литературного языка от народного, в некоторой искусственности литературного языка по сравнению с народной речью «очень повинен И. С. Тургенев, который ввел очень красивый, очень хорошо сделанный, с придаточными предложениями, очень хорошо скомпонованный полупереводной язык» (А л е к с е й Т о л с т о й. О литературе: Статьи, выступления, письма. М., 1956, с. 212).

Высказывания такого рода настойчиво повторяются: «Многие считают язык Тургенева классическим. Я не разделяю этого взгляда. Тургенев — превосходный рассказчик, тонкий и умный собеседник... Он подносит мне красивую фразу о предметах вместо самих предметов» (с. 114—115). Или: «Тургенев — великий русский писатель, он грешил тем, что был далек от народного языка. Он писал на блестящем языке, но это был переводной язык, переводной язык, построенный по законам французской речи...» (с. 391). Примеры можно было бы множить.

Когда читаешь такие филиппики по поводу языка Тургенева, создается впечатление, что А. Толстой мечет стрелы прежде всего не столько в реального И. С. Тургенева, сколько в средоточие книжно-беллетристических языковых норм, накопленных вековым развитием литературы, разросшихся, отвердевших и приобретших самостоятельную значимость. Художник хочет оттолкнуться от них, вырваться и уйти в открытое море жи-

кой разговорной речи, в океан русского национального языка.

Это отвечало давним и исконным устремлениям А. Толстого, поддержку и опору которым он черпал когда-то и в творческой практике И. С. Тургенева. Соответствовало тяготениям писателя к фольклорной образности, обостренной чувствительности и пристальному вниманию к самобытным истокам русской национальной речи, письменности и литературы, оформившейся у него к тому времени теории «языкового жеста».

Но было бы, конечно, легкодумием утверждать, что в своей полемике 30-х — начала 40-х годов А. Толстой не имеет в виду и некоторых сторон реальной творческой практики классика русской литературы, в чьей стилевой манере, на его взгляд, воплотились черты такой языковой книжной инерции. Творческий спор затеян художником по большому счету, и оппонента он себе избрал достойного. Былой ученик оспаривал учителя.

В литературе об А. Н. Толстом есть подходы к осмыслению проблемы. Назову, например, раздел «Единого слова ради... В роли оппонента И. Тургенева» в монографии В. Баранова «Революция и судьба художника» (М., 1967, с. 425—434). Попытка объяснить позднейшее изменение отношения А. Толстого к языку и творчеству Тургенева сделана также в моей статье «Художник и отчизна (О литературно-эстетических взглядах А. Н. Толстого)», являющейся предисловием к объемистому сборнику «А. Н. Толстой. О литературе и искусстве. Статьи. Выступления. Беседы. Заметки. Записные книжки. Письма» (М., Советский писатель, 1984, с. 29—30). Проблема действительно почти драматической остроты — ведь писатель вместе с тем постоянно подчеркивал, что «был воспитан на Тургеневе» и целую полосу творческого развития шел за ним.

Связь с творчеством Тургенева у А. Толстого была давней и глубокой. С малых лет Александра Леонтьевна привила сыну свою любовь к Тургеневу. Как пишет А. Толстой в «Краткой автобиографии», с детства «любимым писателем был Тургенев. Я начал его слушать (чтение родителей вслух.— *Ю. О.*) в зимние вечера лет с семи». Сохранилось школьное сочинение Толстого, относящееся, по-видимому, к 1900 году, на тему «Кто мой любимый писатель?». Семнадцатилетний А. Тол-

стой называет Тургенева и подробнейшим образом объясняет, чем тот привлекает его.

Весьма метко определяет автор своеобразие любимого писателя: «...Это реалист с примесью романтизма, но романтизма юношеского, то есть такого, где действительность не искажена...— И тут семнадцатилетний самарский сочинитель прямо говорит, чем ему милы тургеневские женские образы.— Тургенев выставляет природу действительную, истинную и прекрасную... Он не описывает падших женщин, не останавливается на них, а выставляет девушку во всей красоте, дав ей лавровый венок за самоотвержение, за великий подвиг, за смягчение мужчин и наталкивание их на благородные дела и мысли... Как у Лермонтова в «Герое нашего времени» проводится один тип — Печорина, так и в романах Тургенева... тип девушки чистой, гордой, с сильной волей, с возвышенными стремлениями: возьмем Елену, Лизу, Машу, Ольгу, они одна прекраснее другой, и, несмотря на общее сходство,— в них столько разнообразия, столько жизни, что никогда не пресыщаешься одним типом, но снова и снова живешь с ним одной жизнью» (ИМЛИ, инв. № 3/3).

Не пройдет и десяти лет, как тургеневские традиции в изображении характера русской женщины продолжит сам А. Толстой.

Думаю, что здесь нет необходимости в повторении общих мест — обращение к тем или иным традициям зависит, конечно же, не только от заложенных с детства нравственных или эстетических симпатий, от воспитанных литературных привязанностей. В конце концов, у каждого из нас в юные годы бывало много самых разных учителей и наставников, но то, к чьему опыту мы обращаемся, делая шаги на самостоятельном поприще, зависит от окружающей обстановки, от задач, которые выдвигает жизнь. «Кончив учебу, будем учиться»,— так заметил еще один мой товарищ после окончания университета. У кого учиться? Применительно к литературе — это зависит прежде всего от позиций писателя, от его идейных и эстетических устремлений. И если я несколько акцентирую внимание на истоках обращения Толстого к тургеневским традициям, то делаю это для того чтобы яснее обрисовать те устои духовного мира, какие он имел к началу самостоятельного пути.

Особый интерес дореволюционного Толстого к Тур-

геневу был вызван и теми идеалами облагораживающей любви, к которым пришел тогда писатель, и темой вымирания «дворянских гнезд», захватившей его; этот интерес был результатом всего тогдашнего идейного развития Толстого.

Вглядывается он в то же время и в изображение дворянства у других классиков — от Пушкина, Гоголя и Гончарова до Чехова.

Но у молодого писателя не всегда еще хватало сил и мастерства, чтобы уйти от подражания литературным предшественникам. Так возникали у А. Толстого внешние параллели с произведениями классиков. Удаляется в монастырь Сонечка Репьева в финале первой редакции романа «Две жизни» («Чудаки»), напоминая судьбу Лизы из тургеневского «Дворянского гнезда» (в последующих изданиях романа А. Толстой переделал концовку). В горестном раздумье бродит по комнатам брошенного господского дома Катя Волкова (роман «Хромой барин»), «спрашивая, где кабинет князя, где спальня, где больше всего любил он сидеть»,— и снова улавливаешь вариацию знакомого настроения: бродила по дому Онегина и отвергнутая пушкинская Татьяна. Проглядывает литературный первоисточник — сюжетная канва «Мертвых душ» Гоголя — и в странствиях предприимчивого героя «Приключений Растегина» по скудеющим помещичьим усадьбам...

Однако, несмотря на некоторую дань великим книжным образцам, в решающем и главном молодой Толстой не был ни копиистом, ни подражателем. Новым словом в литературе стали и женщины толстовского Заволжья, унаследовавшие многие духовные качества лучших героинь русских писателей, но ближе всего связанные с тургеневской традицией.

И у Веры Ходанской, и у Сонечки Репьевой, и у Кати Волковой общими чертами являются цельность, нравственная чистота и поэтичность натуры, способность к большой самоотверженной любви. Это роднит их с «тургеневскими девушками». Но есть и существенная разница. Тургеневские героини — натуры деятельные, активные. Они «всегда сторонятся пошлости, внутренней ничтожности и слабости в людях, стремятся к сильному, смелому, богатому духом и характером человеку». Для них сама любовь «почти всегда связана со стремлением к деятельности и к высоким идеалам»

(С. Петров. И. С. Тургенев: Творческий путь. М., 1961, с. 557).

Совсем не то уже — толстовские положительные героини заволжского цикла. При всех своих высоких нравственных качествах это натуры пассивные, созерцательные, склонные подчиняться воле обстоятельств. Всю в белом, одиноко и задумчиво сидящей на скамеечке у пруда,— в такой позе, пожалуй, легче всего представить себе девушку Толстого. И это уже не просто излюбленная поза, а душевное прибежище, сладкий сон наяву, в котором Вера Ходанская или Сонечка Репьева охотно остались бы навсегда, если бы и в последнее это прибежище не вторгалась бесцеременно грубая действительность.

Тургеневские девушки отвергали благородных и блестящих Рудиных, чувствуя в них душевную вялость. Героини дворянского Заволжья начала XX века безропотно становятся супругами полуюродивых вроде Никиты Репьева («Мишука Налымов»), или того хуже — добычей оскотинившихся дельцов вроде Смолькова («Чудаки»), или салонных развратников и изощренных садистов вроде выродившегося потомка «лишних людей» князя Краснопольского («Хромой барин»). Это — белые лебеди, жертвы дикости окружающей их жизни.

Выше я говорил о матери Толстого, о сестре Лиле, о других «смутьянках» или «полусмутьянках» в затхлой среде помещичьего быта. Активностью характеров персонажи заволжского цикла уступают некоторым из этих женщин столь же заметно, как и тургеневским героиням. Случайно ли? Думаю, что не случайно.

Писатель-реалист А. Толстой обратился к теме разложения дворянства, не сумевшего приспособиться к новым буржуазным условиям. Общее оскудение этой части помещичьего класса не могло не отразиться и на тех, кто был высшим достижением его морали и быта,— на лучших из лучших его женщинах, в ком (в девичьих светелках, в искусственном уединении с книгой на природе) сохранялись качества некогда передовой культуры прошлого. Поэтому, даже любуясь своими героинями, Толстой, однако, нигде не наделяет их такими чертами, которые не позволяли бы им больше оставаться в пределах родной среды. Нравственный пример матери или других женщин, пошедших дальше, поднявшихся до морального разрыва со своей средой, учитывался, по-видимому, Толстым лишь в той ме-

ре, в какой это соответствовало его художнической задаче.

Вот почему совершенно не прав критик М. Чарный. Толстовские героини, при всем их очаровании, вовсе не кажутся «рожденными не от своих отцов» или занесенными «откуда-то с иной планеты». Во всяком случае, за таковых их можно принять с основанием ничуть не большим, чем тургеневских девушек по сравнению с их папà, мамà и «сродственниками». В конце концов не так уж велика разница между крепостником Стаховым, отцом Елены из романа «Накануне», и помещиком Волковым, родителем Катеньки («Хромой барин»). А вот различие между главными героинями этих романов, одинаково выросшими на книгах, в дворянских теремах, но в разное время, различие между Еленой Стаховой, бросившей все и пошедшей за болгарским революционером Инсаровым, и Катей Волковой, покорно ожидающей возвращения блудного мужа, своего «хромого барина»,— эта разница и ярче, и показательней.

Вольнолюбивые тургеневские героини были передовыми женщинами своего времени. Можно привести немало свидетельств русских революционеров (В. Фигнер, Кропоткина и других) о том, какое значение для них в пору молодости имели эти образы Тургенева. «Наталья и Елена вдохновляли на подвиг служения народу»,— как говорила Вера Фигнер. Конечно, героини толстовского Заволжья уже не могли играть такой роли в период после революции 1905 года.

Сам Толстой говорил впоследствии, что он писал произведения об «эпигонах дворянского быта». Эпигонами в этом смысле были не только разновидности дворянских последышей, но и еще живший кое-где остатками в их среде типаж положительной героини.

Как видим, изменения в жизни дворянства «за те пятьдесят-шестьдесят лет, которые отделяют героев Тургенева от дворянских героев Алексея Толстого», запечатлелись в образах его героинь по-своему не менее точно, чем в образах мужчин.

Однако ограниченность положительных персонажей раннего Толстого не должна вызывать упрощенческой недооценки их значения в литературе и в творческом пути писателя.

После поражения первой русской революции книжный рынок захлестывал мутный поток мещанского любовного примитива и эротики. Созданная Толстым в

то время галерея женских образов, написанных в высоких традициях русской классики, помогала в борьбе литературных пристрастий и взглядов демократическому лагерю. Душевная простота и свежесть, благородство и внутренняя грациозность, присущие толстовским женщинам, делают их близкими и современному читателю.

Поиски Толстого на путях к тому совершенству характера русской женщины, которое выразительно воплотилось в Даше Телегиной, какой мы знаем ее по трилогии «Хождение по мукам», были долгими и сложными. Были на этих путях и «эскизы» и «угаданные» в других женщинах черты будущей любимой героини писателя. Немаловажна роль в этих поисках и толстовских женщин дворянского Заволжья.

И много лет перед Толстым в качестве образца женщины стоял нравственный облик его матери.

В той же автобиографии 1913 года, где Толстой говорил о единственной тогдашней вере в облагораживающую силу любви, он писал о матери, давно уже умершей: «Я не знаю до сих пор женщины более возвышенной, чистой и прекрасной».

Глава третья, самая короткая, которая могла бы быть первой

ОТКУДА БЕРУТСЯ АРХИВЫ?

Было это теперь уже в дальние времена, в конце 50-х годов...

Маленькая лампочка, свешиваясь с потолка, еле освещает скрипучую деревянную лестницу, ведущую на второй этаж. Вот и квартира № 4. Дверь, обитая дерматином, а рядом ржавая дощечка с полустершимися словами: «Доктор Гуревич Я. С.».

Кто-то долго возится с запорами.

Сквозь лестничное окно видны деревянные домики в сумраке вечерней улочки. Тут, в самом центре большого волжского города, почти в неприкосновенности уцелел «островок» прошлого — закуток старой Самары. И за этими дверьми — одна из тайн недавней куйбышевской находки.

Открыл сам хозяин, Яков Самуилович Гуревич. В коридоре тоже полутемно, и мы получаем возможность рассмотреть друг друга, только очутившись, наконец, в уютных, обставленных по-старинному комнатах. Гуревичу уж восемьдесят лет. Это сгорбленный, но почти без седины человек с мохнатыми черными бровями и тоже черными живыми глазами. Для своего возраста он энергичен и подвижен.

Яков Самуилович выслушивает мою просьбу со стариковской сдержанностью. Но, начав рассказывать, понемногу оживляется...

— Весной... да, весной тысяча девятьсот пятнадцатого года я, тогда военный врач, был переведен в Самарский гарнизон. Встали мы с семьей на квартиру в доме Алексея Аполлоновича Бострома. Это возле польского костела. Как вы знаете, его супруги Алек-

сандры Леонтьевны тогда уже не было в живых. Нашему домовладельцу было лет шестьдесят. Жил он вдвоем с приемной дочерью Шурой, кажется, гимназисткой, которая и помогала ему вести нехитрое хозяйство... Что вам сказать про Алексея Аполлоновича? Хотя мы и квартировали у него всего восемь месяцев, но подружились. Общительного был нрава человек, непоседа. Через край, бывало, переполнен всякими политическими новостями, городскими и служебными происшествиями. Но, понимаете ли, за внешней шумливостью был в нем какой-то душевный надлом. Вдруг ни с того ни с сего замкнется в себе, грустит. Тогда из его комнаты часами доносятся мелодии Грига. Мы уже знали — Алексей Аполлонович, играя на пианино, ищет забвения... Да!.. Интересный был мужчина... Вот, не угодно ли? — Яков Самуилович, порывшись в ящике комода, достает кусок картона, писанный маслом.

На портрете — знакомое лицо. Редеющий седоватый зачес назад, высокий лоб, на сухощавых щеках — легкий стариковский румянец, синие насмешливые глаза...

Под взглядом смотревшего с портрета Бострома я жду, когда Яков Самуилович перейдет к главному. И расскажет неизвестную мне часть истории семейного архива А. Н. Толстого, хранившегося у Гуревичей почти сорок лет. Но Яков Самуилович не торопится, очевидно, погруженный в воспоминания.

В 1915 году стареющий красавец либерал вызывал жалость у военного доктора Гуревича. Очень уж он был неприспособлен к жизни! Часто конфликтовал с начальством («чуть ли не с самим губернатором»), а дом был уже перезаложен, домовладелец сам колол дрова и перекладывал печи. Скудных доходов старику вдовцу и дочери Шуре еле хватало, чтобы свести концы с концами. Изредка Бостром получал письма и другую корреспонденцию с воинскими штемпелями — от своего приемного сына с фронта. Алексей Толстой был уже известным писателем. Гуревичу доводилось читать его военные статьи и очерки, печатавшиеся тогда в «Русских ведомостях».

Знакомство с Бостромом не оборвалось и после того, как Гуревичи съехали на другую квартиру.

Вскоре затем начался круговорот революционных событий... Где-то за границей, в эмиграции, мыкался

Алексей Толстой. А Алексей Аполлонович стал сторожем яблоневых садов за Самарой. Завел козу да там, в сторожке, и жил. В городе он появлялся редко. С бородой чуть не до пояса, в длинной домотканой рубахе, с палкой в руках. Его сопровождала ставшая ручной коза... Умер он в голодном 1921 году в городской больнице от воспаления легких...

Из дальнейшего рассказа Якова Самуиловича получалось, что, умирая, Бостром все свое нехитрое имущество оставил приемной дочери Шуре — Александре Алексеевне Первяковой, двадцатидвухлетней девушке, которая работала воспитательницей в детском доме. Был там и большой ящик с бумагами, какими-то книгами, старыми письмами, фотографиями, с лежавшим там же потрепанным портфелем, где держали документы. Словом, с реликвиями, которые многие десятилетия накапливались и бережно хранились семьей.

Осенью 1923 года А. Первякова переезжала из Самары в Баку. По старой памяти завезла и оставила на время этот ящик у Гуревичей. Ящик со всем содержимым был водворен в сарай, завален какой-то рухлядью. И все про него забыли...

По редкому стечению обстоятельств «погребение» толстовского семейного архива почти совпало с другим событием — 1 августа 1923 года, сойдя с парохода, ступил на родную землю вернувшийся из эмиграции Алексей Николаевич Толстой.

— На старый ящик с бумагами мы наткнулись только в начале войны, когда готовились к возможной эвакуации,— продолжает свой рассказ Яков Самуилович.— Знал ли я о приезде Толстого в Куйбышев зимой тысяча девятьсот сорок второго года? И об архиве уже знал, и о приезде Алексея Николаевича! Но война тогда была, война... Как помнится, в те дни в областной газете «Волжская коммуна» печатались заметки о Толстом, о его выступлениях, беседы с корреспондентами. Вот я и решил встретиться с ним, потолковать... Не поверите, у меня уже и пригласительный билет был на генеральную репетицию Седьмой симфонии Шостаковича, которая впервые исполнялась оркестром Большого театра у нас в Куйбышеве. Сказали, что на ней будет и Алексей Николаевич. Он и был и на следующий день великолепную статью о симфонии напечатал! И наверняка состоялась бы встреча в театре... Но не повезло мне. Бывает же — захворал! А когда по-

правился, он уже уехал. И больше в Куйбышеве не бывал. А сам я стар, в Москву не езжу... Так и пролежали у нас все эти письма до недавних пор...

Тут я прерву нашу беседу с Яковом Самуиловичем. Следует уточнить, кем был «забыт» куйбышевский архив, историю которого я сейчас рассказываю. О нем не знала литературная общественность, о его существовании не подозревали даже в узком кругу специалистов. В этом смысле найден действительно забытый большой архив Толстого. Однако и помимо Гуревичей были люди, которые знали и помнили о злополучном ящике со старыми письмами... В первую очередь хочу назвать «законную владелицу» архива.

В опубликованных теперь воспоминаниях А. А. Первякова поведала среди прочего о том, как в 1899 году была удочерена Александрой Леонтьевной и А. А. Бостромом. Происходила она из семьи самарских простолюдинов. «...Родилась я в земской больнице,— излагает события А. Первякова.— Мать после родов умерла от водянки. У отца, кроме меня, осталось еще двое детей: сестра Настя 8 лет и брат Павел 6 лет. Священник, отпевавший мою мать, был близко знаком с Александрой Леонтьевной. Он рассказывал ей о том, что в земской больнице умерла от родов женщина, оставив младенца. На другой день Александра Леонтьевна поехала посмотреть на меня и, желая помочь, наняла кормилицу, которая оставила меня спустя три месяца. Ей нужно было возвращаться в деревню. А. Л. Толстая взяла меня к себе. Так я попала в семью Алексея Аполлоновича Бострома». (Сборник «Алексей Толстой и Самара».— Куйбышев: Кн. изд-во, 1982, с. 338). Постоянная доброта Александры Леонтьевны привела в дом приемную дочь...

Возможно, было это и кстати: Лелька взрослел, ему было уже шестнадцать, того и гляди покинет родительский кров, а пожилой любящей паре хотелось иметь общего ребенка, особенно девочку... Но в 1906 году Александра Леонтьевна умерла, а с А. А. Бостромом Шура Первякова прожила вместе до самой его кончины, в 1921-ом, и потом еще два года оставалась в Самаре, покуда не перебралась в Баку...

В начале 60-х годов Александра Алексеевна жила в собственном домике в поселке Кара-Чухур, что в двадцати минутах езды на электричке от Баку. Но дома ее не всегда можно было застать. Несмотря на преклон-

ный возраст, по нескольку месяцев в году — и уже на протяжении многих лет так — она плавала судовой фельдшерицей на нефтеналивных танкерах, совершающих рейсы между Баку, Махачкалой, Красноводском и Астраханью. Пожилая плавмедик Первякова—это приемная сестра Алексея Толстого, та самая Шура, которой, кстати, посвящено несколько теплых писем самого Алексея Николаевича, найденных теперь в куйбышевском архиве.

Мы разговаривали с Александрой Алексеевной по телефону. Кроме того, она разрешила использовать письма, присланные ею в Куйбышевский музей имени А. М. Горького. В итоге возникло несколько дополнений и уточнений к тому, что я узнал от Я. С. Гуревича. Впрочем, они относятся только к периоду после осени 1923 года, когда Александра Алексеевна уже поселилась в Баку.

— Через некоторое время после отъезда из Самары,— рассказывала А. А. Первякова,— я стала просить Гуревичей выслать мне фотокарточки и письма, так как я очень скучала. Но жена Гуревича в своих ответах почему-то обходила молчанием мои просьбы... Я решила, что Гуревичи отмалчиваются неспроста, что, возможно, с бумагами что-то случилось, и перестала им писать... В Куйбышеве после тысяча девятьсот двадцать третьего года снова побывать мне так и не пришлось... В тысяча девятьсот тридцать восьмом году я работала в госпитале в Баку, и у нас лежал писатель (фамилию его я забыла), близко знакомый с Алексеем Николаевичем. Через него я направила письмо специально об архиве. Но, по-видимому, оно или не дошло или затерялось у самого Алексея Николаевича, потому что он так ничего и не предпринял... А беспокоить его второй раз по этому поводу я не стала...

Первым, кто принялся за поиски литературных материалов на родине А. Н. Толстого, были Людмила Ильинична Толстая, не только по долгу памяти, но и по призванию — собиратель наследия писателя, пропагандист его творчества — и литературовед Юрий Александрович Крестинский.

К вдове писателя на московскую квартиру как-то заехала по-родственному Александра Алексеевна Первякова. Они давно не виделись. По ходу разговора Людмила Ильинична поинтересовалась мнением гостьи, не могло ли уцелеть в Куйбышеве что-нибудь из домаш-

ней обстановки или вещей семейства Бостромов, о которых любил вспоминать Алексей Николаевич,— со временем они заняли бы место в музее писателя. (На московской квартире тогда сохранялась, например, подаренная позже Куйбышевскому музею имени А. М. Горького «мамина конторка» из красного дерева, в которой некогда держала свои бумаги и рукописи Александра Леонтьевна.) И А. А. Первякова, уйдя мыслями в прошлое, рассказала вдруг почти неправдоподобную для постороннего слуха историю с семейным архивом. Сама она давно уже потеряла всякую веру в сохранность архива, а тем самым и интерес к нему. Да и многие подробности сгладились в памяти за прошедшие годы.

В настоящий момент достоверным оставалось лишь одно: если семейный архив сохранился, то он должен был находиться у самарского старожила доктора Гуревича. Ни его адреса, ни имени-отчества Первякова к тому времени уже не помнила. Не было даже известно, жив ли он; а если жив, то за прошедшие двадцать пять лет мог ведь переехать — недавняя война стольких людей смешала и разбросала по самым неожиданным местам!

Всю историю, как она ее узнала, Людмила Ильинична передала Ю. А. Крестинскому. С этими скудными сведениями в 1949 году в качестве представителя Института мировой литературы имени А. М. Горького ученый и отбыл из Москвы.

Как рассказывал сам Юрий Александрович, оказалось, что в Куйбышеве проживает 38 однофамильцев — Гуревичей. Разыскать нужного среди них удалось не сразу. Зато результат превзошел все ожидания. Потребовалось два чемодана, чтобы уложить новые материалы архива А. Н. Толстого. Только собственноручных писем Алексея Николаевича там было сто с лишним. Ученый-энтузиаст уезжал из Куйбышева, убежденный, что «выскреб все до донышка».

Однако прошло восемь или девять лет, и автору этих строк в качестве собственного корреспондента «Литературной газеты», постоянно жившего в Куйбышеве, довелось сообщать на ее страницах, что Куйбышевский литературно-мемориальный музей имени А. М. Горького приобрел у Гуревичей новый большой архив Толстого. На сей раз он составлял более трехсот неизвестных доселе ценных материалов. И среди них

опять-таки примерно столько же писем самого А. Толстого (около ста), а кроме того — тетради рукописей, книги с дарственными надписями и прочее-прочее, о чем уже говорилось.

В 1959 году Гуревичи передали Куйбышевскому музею еще девять писем, телеграмм, автографов стихотворений А. Толстого, а также более ста писем его родителей.

Наконец, ряд материалов, в том числе несколько важных для нас писем Александры Леонтьевны и самого А. Н. Толстого, поступили в музей в 1961 году. Общее число новых приобретений, таким образом, перевалило за пятьсот...

Архив передавался в музей беспорядочно. Некоторые письма оказались «разорванными»: начало — в Москве, а конец — в Куйбышеве или наоборот.

— Понимаете,— объяснял Яков Самуилович,— когда уж, не помню, мы весь этот архив вынули из ящика и часть его смешалась с нашими бумагами, которых за долгую жизнь, слава богу, накопилось не меньше... До сих пор, случается, роешься где-нибудь в чулане среди бумажных завалов, и вдруг выглянет из постороннего конверта или из старой книги письмо Алексея Толстого. А то что-нибудь в диванах обнаружишь, вроде этого портрета Бострома...

На этом, пожалуй, можно и закончить историю куйбышевского архива, если пренебречь частностями, которые в рассказах А. А. Первяковой и Я. С. Гуревича порой не согласуются друг с другом. Но меньше всего я собирался вести расследование. Важно в конце концов, что большой семейный архив писателя не погиб и стал теперь достоянием народа. Активную роль сыграли в этом работники Куйбышевского музея имени А. М. Горького. Нельзя не назвать научного сотрудника Альбину Евгеньевну Иогман, бывшего директора музея Евдокию Николаевну Бутакову и нынешнего директора Маргариту Павловну Лимарову. Благодаря им архив избежал дальнейшего дробления, и значительная часть его бережно сохраняется теперь в родных местах писателя — в городе Куйбышеве.

Однако и поныне нет уверенности, что собрано и разыскано все. А главное — все ли уцелело? Может статься, что некоторые документы утрачены безвозвратно. Приведу один из примеров. Не найдены письма

Горького к Александре Леонтьевне, хотя есть основания думать, что они были.

Среди материалов, обнаруженных в Куйбышеве, есть письмо К. П. Пятницкого, издателя писательского товарищества «Знание», душой и фактическим руководителем которого, как известно, был А. М. Горький. В письме идет речь о сборнике деревенских рассказов Александры Леонтьевны, переданном ею в декабре 1903 года в «Знание». «Некоторые рассказы,— пишет Пятницкий,— могли бы выйти отдельными книжками для народа». И перечисляет затем адреса издательств, в которые следует обратиться. «У нас,— пишет он,— вопрос о Вашей книге решался Ал. Макс. Пешковым. Если бы Вы захотели знать его мнение, можно писать ему на «Знание», так как он постоянно меняет место жительства. Письмо будет ему немедленно доставлено» (ИМЛИ, инв. № 6402).

Это не единственный случай, когда литературные дороги приводили писательницу — мать А. Н. Толстого — к Горькому. Около двух лет спустя в письме от 8 ноября 1905 года она, например, сообщает Бострому по поводу своих пьес: «...Надо подождать ответа от Горького, кот[орому] я послала «Жнецы» и дала свой адрес в Петербурге до 19-го... [Пятницкий] мне посоветовал для скорости послать прямо Горькому, кот[орый] находится теперь в Москве и потом уедет в Крым. Я тотчас заклеила пьесу бандеролью, написала письмо и отвезла в почтамт. Прошу его, ввиду того, что пьеса едва ли в наст[оящее] время пройдет в цензуре — напечатать ее в сборнике или вместе с двумя другими, или отдельной книжкой. Что-то он скажет?» (ИМЛИ, инв. № 6311/147).

Зная всегдашнюю обязательность Горького в таких случаях, можно предположить, что он отозвался на присылку «Жнецов». Тем более что другие произведения А. Л. Бостром он читал, а самого автора мог помнить по общему кругу знакомых в Самаре (Тейтели, Н. Гарин-Михайловский и другие) и одновременному сотрудничеству в «Самарской газете» в середине 90-х годов. Интересны для нас были бы также письма или черновики писем Александры Леонтьевны Горькому. Но где все это? Сейчас, конечно, можно только гадать. В московском архиве А. М. Горького, где учтена вся известная горьковедам корреспонденция Алексея

Максимовича, нет даже косвенных следов этой переписки...

А кто поручится, что в сарайном или чуланном мусоре не сгинули за десятки лет письма Н. Гарина-Михайловского, который не только арендовал одно время родовое имение матери А. Толстого — Тургенево, но и не раз помогал Александре Леонтьевне устраивать ее литературные дела в Петербурге; или ответы К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко на запросы писательницы по поводу ее пьес, переданных Художественному театру; или другие письма (помимо найденных) от известного издателя И. Д. Сытина, у которого Александра Леонтьевна печатала свои книги... Да мало ли еще что могло быть или не быть на бросовых лоскутках старой бумаги, о чем остается только гадать и сокрушаться!

Глава четвертая

За эту книгу отдам все свои предыдущие романы и пьесы! Русская книга и написана русским языком...

А. Н. Толстой

НИКИТИНО ДЕТСТВО

О запасливости таланта

...Утонул в снегах отчий хутор Бострома Сосновка. Пригоршня домишек, нахлобучив белые шапки, отсыпается от летних трудов праведных. Если встать на взгорье спиной к пруду, обросшему столетними ветлами, и смотреть вдаль, то кажется, что нет больше на земле ни лесов, ни городов, ни людей — одна только белая, с оранжевым от поднимающегося солнца, степь. Коль и случится что за целый месяц, то разве такое: «На хутор днем забежал волк. Пробежал двором, садом и убежал...» (А. А. Бостром — А. Л. Толстой, 6 марта 1898 года). Кого потянет без особой крайности слать из этакой глухомани письма? Да и о каких-таких событиях в них рассказывать?

Но один мальчуган, непоседа и озорник, тут проявлял неожиданное прилежание. Письма у него получались так: «Я, мамуня, потому расписался вчера, потому что я сижу — думаю, и вдруг рука у меня как заходит-заходит по бумаге, я индо испужался — вот и накатал тебе целый лист...» (А. Н. Толстой — матери, 14—15 января 1895 года).

В Сосновке, где посторонний глаз не заметил бы никаких особых событий, 12-летний Леля был полон впечатлениями через край. Он торопится рассказать матери и о том, что «ночью шел совсем летний дождик и снегу осталось мало», а «нынча ужасный ветер гудит и завывает» и «под вечер прошел не то снег, не то крупа, не то маленький град»; и о том, как, несмотря на ветер и гололедь, он бегал на свою соору-

женную «третьеводни» снежную крепость «Измаил»; и о том, что по рассеянности кухарки «приготовили вместо гусака индейку... потом пошли, посмотрели и распознали...»; и о том, как утром «у нас на столе поет самовар» и т. д.

В письме к отчиму (26 марта 1892 года) девятилетний Алеша описывает поездку с матерью на лошадях из Сосновки до соседнего сельца Утевки. Мальчик захвачен своими наблюдениями — «пашни оголились и маленькие речки тронулись, а в Сосновке снега гигантские и почти непролазные», и вообще вся эта поездка «по глубокой воде» — «необыкновенное приключение». Алеша явно ищет краски для передачи своих впечатлений. «Стоят, мамутя, у нас такие холода, что вчера весь пруд покрылся льдом и к обеду не растаял. Он очень толстый, индюшку удержит, пожалуй. Утром выпадает мороз; работники молотят в шубах, зипунах; которые сверх шубы чапан надевают... Мы из Самары заезжали на хутор к Михайловскому (писателю Н. Г. Гарину-Михайловскому.— *Ю. О.*) и оттуда привезли поросенка белого да курносого» (1896 год, октябрь — ноябрь). У созревших на поле подсолнухов «...шляпки так есть больше тарелки, а самые семена величиной с черных жуков...» (1896 год, 22 июля). И в этом многообразии увиденных мальчиком красок, услышанных звуков, в густоте идущих на него неприметных для других событий и проявлялась уже подлинная незаурядность сочинителя писем, написанных с таким фантастическим пренебрежением к правилам грамматики и с такой простодушной путаницей в сведениях из школьных учебников, что иной педант от педагогики, не задумываясь, предсказал бы их маленькому автору самое мрачное будущее.

С Сосновкой у Толстого связано пятнадцать детских и отроческих лет. Не удивительно, что в бумагах, хранившихся у самарских старожилов, немало оказалось именно неизвестных «сосновских» материалов. Обнаружены также и юношеские письма Толстого периода ученичества в реальном училище и затем — в Петербургском технологическом институте. Все это писано в 1890—1907 годах, то есть до выхода первой книги. Любопытность этих новых музейных приобретений очевидна. Но представляют ли они более серьезный интерес?

Оказывается, в определенном отношении эти ранние

материалы поучительны совсем не меньше, чем найденные одновременно с ними многие письма Алексея Николаевича того периода, когда он стал уже «третьим Толстым» в русской литературе. Отчего — так?

Говорят, что впечатления детства самые сильные. Но какими бы яркими и живыми ни западали они в душу каждого, и тем более в чуткое от природы писательское сердце,— такая «густота» накопленных сызмала наблюдений и, в результате, столь интенсивное использование их в последующем творчестве, как у А. Толстого, случай в литературе не частый. Недаром исследователи Толстого даже называют значительный начальный отрезок его писательской работы «периодом воспоминаний» (хотя, разумеется, это очень условное название). Наблюдения детских и юношеских лет, слышанные тогда рассказы матери и родственников были зерном, из которого разрослась существенная часть написанного Толстым до революции.

Впечатления детства, кроме того, способствовали возникновению ряда произведений автобиографических: «Логутка» («Страница из жизни»)— 1912 год; «Детство Никиты» — 1920 год; «Необыкновенные приключения Никиты Рощина» — 1921 год и др. Но и после этого не иссяк чудесный источник! Уже в 1938 году, раскрывая молодым писателям один из «секретов» работы над романом «Петр I», Толстой подчеркивал особую роль, которую сыграли «запасенные» в детстве наблюдения. Они помогли ему описать петровскую Русь. «Каким образом люди далекой эпохи получились у меня живыми? — говорил Толстой.— Я думаю, если бы я родился в городе, а не в деревне, не знал бы с детства тысячи вещей — эту зимнюю вьюгу в степях, в заброшенных деревнях, святки, избы, гадания, сказки, лучину, овины, которые особым образом пахнут, я, наверное, не мог бы так описать старую Москву. Картины старой Москвы звучали во мне глубокими детскими воспоминаниями. И отсюда появлялось ощущение эпохи, ее вещественность.

Этих людей, эти типы я проверял потом по историческим документам. Документы давали мне развитие романа, но вкусовое, зрительное восприятие, идущее от глубоких детских впечатлений, те тонкие, едва уловимые вещи, о которых трудно рассказать, давали вещественность тому, что я описывал».

Но и это еще не все. «...Читая и перечитывая «Хож-

1 февраля 1895 г.

Милая мамулечка

Я опять одын пишу уехал въ самару. Вчера вечеромъ напали на меня тоски ужасныя. Мамуня уже 1 февраля а ты еще все не едешь. Чай ты удивишься когда получишь конвертъ съ моей подписью. Папа говоритъ что у меня рука переменилась къ лучьшему. По десятичнымъ дробямъ мы уже проходимъ какъ уменьшать или увеличивать напр 5,85 уменьшить на сто и получиться = 0,585. Мы мы, мы гуси Рима спасли. Я съ дуру началъ подпилкомъ точить перо да и изгадилъ его. Выучилъ Анчаръ Пушкина. Ма съ Аркадiемъ Ивановичемъ занима-

Страница одного из детских писем Алеши Толстого.

дение по мукам», мы не можем не заметить, что и здесь те же впечатления детства являются животворным источником бесконечного количества художественных ассоциаций, образов, деталей, пейзажных картин» (М. Чарный. Путь Алексея Толстого, с. 205).

Высоким достижением Толстого был его «алмазный» народный язык. Ранние письма будущего писателя обнажают самые истоки его привязанности к слову, в частности к народным речениям. Сосновские письма густо насыщены просторечиями и фольклорными выражениями: «Ты, мамуличка, ладь, пожалуйста, свои дела поскорее, а то терпеньюшка нету»; «с французским незнай как и быть»; «у нас все время стоят жары...». Свои кожаные рукавицы Алеша не назовет иначе как «голички». Скучая по матери, он свободно переходит в письме на народное песенное присловье, слегка переиначивая его:

Ох, хо-хо, хохонюшки,
Скучно жить Афонюшке
На родной сторонушке
Без родимой матушки...
(А. Н. Толстой — матери, 29 августа 1896 года.
ИМЛИ, инв. № 6315/1).

Кстати, много лет спустя этот стишок, уже совсем по-иному, скорбно зазвучит под пером писателя. Толстой вспомнит его в 1921 году в Париже и первые три его строки (теперь уже в переделке — «на чужой сторонушке») с обозначением: «Народная песня» — поставит эпиграфом к написанному тогда рассказу «Настроения Н. Н. Бурова», которым начнет большой цикл своих произведений о белой эмиграции.

Конечно, в детстве Толстой усваивал народный язык безотчетно. В реальном училище он даже стыдился своей «неправильной» речи. Недаром и письма Алексея Толстого с переездом из Сосновки в Самару, а затем в Петербург становятся более гладкими и книжными по языку. А на его ранних произведениях, по собственным словам писателя, сказалось влияние «неточного, приблизительного, неверного» языка декадентской литературы. Пройдет время, прежде чем Толстой от книжной выспренности, характерной для его ранних стилизованных рассказов и символистских стихов сборника «Лирика», вернется — но теперь уже не безотчетно, а как

ищущий художник! — к живой стихии народной речи. И «запас» родных с детства слов, ощущений фольклорной образности будет помогать Толстому в труднейшей работе по поискам «алмазного» языка.

Обнаруженные теперь в большом количестве детские и юношеские письма Толстого, прозаические и стихотворные опыты тех лет, какими бы наивными они порой ни были,— самые полные и достоверные свидетельства многих из его тогдашних наблюдений и переживаний, оставивших глубокий след в творчестве писателя. В этом их значение. Но материалы эти не только дополняют представления о творческой истории ряда произведений. Как река с истоков, понятней становятся некоторые черты дарования Алексея Толстого.

Рано развившаяся зоркость глаза и высокая избирательность художнической памяти были сильными сторонами таланта Толстого. Ненасытная «губка» — его память не уставала втягивать в себя многообразие красок, цветов и звуков.

Вот одна деталь, характерная именно для А. Толстого. Известно, какое значение придают многие литераторы записным книжкам. Вести их систематически — это едва ли не первейший из советов, которыми напутствуют молодых авторов с различных «трибун творческого опыта» («Незаписанная мысль — потерянный клад!»). Толстой, в особенности зрелый, скептически относился к записным книжкам. В 1927 году, отвечая на вопросы журнала «30 дней», он заявлял прямо: «О ЗАПИСНОЙ КНИЖКЕ. Вздор. Записывать нужно очень мало». В 1929 году: «Много лет я веду записные книжки, но записываю мало, главным образом — фразы. Раньше записывал пейзажи, случаи, которые наблюдал, и пр., но это мне ни разу не пригодилось: память (подсознательная) хранит все, нужно ее только разбудить» («Как мы пишем»). Несколькими годами позже: «Я пробовал заводить записные книжки и подслушивать фразы. Когда я вклеивал их затем в ткань рассказа, получалось почти то же, как если бы живописец приклеил к портрету нос, отрезанный у покойника» («О драматургии», 1934).

Конечно, говоря о приемах работы, о психологии творчества, художнику трудно не быть субъективным. И в данном случае Толстой несколько категорично ратовал лишь за то, что больше всего отвечало дарованию такого склада, каким было его собственное.

Литература знает примеры, когда наделенные сильной впечатлительностью и художнической памятью писатели не избегали соблазна «фотографии», с легкостью выплескивая на бумагу скопившиеся наблюдения. Иные из них имели успех, но лишь минутный, «сезонный». Таков предел, которого могут достичь попытки взять темой — только необычностью материала или яркостью подробностей. Среди литераторов его поколения плодовитость, с какой работал А. Толстой, вошла в поговорку. В две недели он мог написать пьесу, в несколько месяцев — роман. Кроме Горького и Маяковского, в советской литературе нет, пожалуй, других примеров столь интенсивной и многожанровой писательской работы. Пятнадцать томов Полного собрания сочинений А. Толстого далеко не объемлют всего написанного им.

Правда, отдаваясь натиску впечатлений, А. Толстой порой спешил, облекал их в покровы невысокой беллетристики, публиковал произведения поверхностные и малопережитые. Но это были все же эпизоды в том огромном труде, которым постоянно был захвачен А. Толстой. Живой, властный мир лучших его книг рожден органичным сочетанием зоркого наблюдателя с художником смелой фантазии. Это единство проще всего прослеживается в тех произведениях (автобиографические, заволжский цикл и др.), где многие герои как будто бы близко списаны А. Толстым с натуры.

Творческий поиск вел А. Толстого к углубленному осмыслению действительности. Заставлял развивать, изощрять художническую фантазию. Это были разные стороны одного и того же процесса: развитие и углубление миропонимания, реалистического анализа и все большая свобода фантазии. Творческий вымысел А. Толстого в период расцвета мастерства преображал жизненный материал еще основательней, его фантазия поднималась от реальных фактов и событий к художественным обобщениям еще стремительней и путями более разнообразными, чем в начале писательской работы, когда такое восхождение нередко бывало «одролинейным»: через осмысление какого-либо главного конкретного прототипа — к художественному образу.

Именно так надо понимать и авторские самопризнания. Отвечая на вопрос, часто ли прототипами действующих лиц являются для него существующие люди, зрелый Толстой с некоторым полемическим преувеличением говорил даже так: «Нет, никогда. Лишь какая-ни-

будь поразительная черта, лишь особенно яркая фраза, лишь отчетливая реакция на обыкновенные явления. Тогда от этой особенности и яркости (живого человека) начинается выдумка моего действующего лица. Я загораюсь, почувствовав в человеке ТИПИЧНОЕ...» («Как мы пишем», 1929).

При редкой впечатлительности и эмоциональной памяти А. Толстого ищущая мысль, воображение являлись для него теми подлинными «крыльями творчества», на которых он поднимался к наиболее значительным своим художественным открытиям.

Два детства Алексея Толстого

...В свое время я был в деревне Винновке, у знаменитого Гончаровского обрыва. На захватывающей дух крутизне волжского берега стоит архитектурный памятник литературным героям А. И. Гончарова. Он очень прост. Это — круглая белокаменная беседка с лепными карнизами и легкими колоннами. Но выполнена она так, что чудится присутствие где-то рядом изящной, утонченной Верочки, которая, по преданию, прибегала к этому месту на свидания с «нигилистом» Марком Волоховым. Беседка вся из эпохи романа, вся в девятнадцатом веке. А под Гончаровским обрывом теперь играет волной безбрежное Куйбышевское море.

Возможно, кроме места действия, автор «Обрыва» все остальное «придумал» — и Верочку, и нигилиста Марка, и беседку их встреч. Но придумал так, что для людей стало необходимым, чтобы беседка существовала. И земляки — поклонники А. И. Гончарова — воздвигли ее на собственные средства, по подписке.

Поистине удивительна эта привязанность к героям любимых книг, которая есть в каждом народе. В США известны памятники Тому Сойеру и Геку Финну, в Испании и Мексике— Рыцарю печального образа Дон-Кихоту и его верному оруженосцу Санчо. В парке небольшого итальянского городка высится на пьедестале фигура веселого деревянного человечка Пиноккио, которому под именем Буратино дал вторую жизнь Алексей Толстой в своей талантливой переделке повести К. Коллоди. На памятнике надпись: «Бессмертному Пиноккио — благодарные читатели в возрасте от четырех до семидесяти лет». На берегу Женевского озера сооружен монумент герою старинного народного предания

и драмы Шиллера — вольному стрелку Вильгельму Теллю. А в Лондоне посетители почтительно осматривают «экспонаты» в музее вымышленного Шерлока Холмса...

Придуманные писателями герои существуют для нас как живые. С тем только, пожалуй, различием, что они не подвержены общему для всего живого закону. Даже погибнув в романе, они не умирают. Они не старятся, но, незаметно меняясь вместе с нами, остаются и такими, какими мы их встретили впервые. В этом одно из чудесных свойств Книги, достигаемое силой художественного обобщения.

Но сила эта бывает лукавой. Мастерский вымысел рождает иллюзию доподлинности описанного. А когда в основу произведения положены в той или иной мере действительные события, да еще происходившие как будто на глазах современников, гипнозу художественного вымысла поддаются порой даже специалисты-исследователи.

За примерами незачем ходить далеко. Стоит вам подумать о детстве А. Н. Толстого — и перед глазами сами собой возникают картины «Детства Никиты». Иной раз сталкиваешься и в прямой форме с легендой, будто знаменитая повесть — это близкое к действительности изображение подлинного детства писателя.

Даже по словам авторитетного исследователя, «Детство Никиты» — это «повесть, почти лишенная художественного вымысла,— одно из наиболее значительных и ярких свидетельств о детстве писателя» (Ю. А. Крестинский. А. Н. Толстой. Жизнь и творчество, с. 8).

«Детство Никиты», — пишет другой автор в коллективном сборнике,— повесть автобиографическая. Читаешь ее и чувствуешь, веришь, что здесь ничего не выдумано» («Русские писатели в Саратовском Поволжье». Саратов, Приволжское книжное издательство, 1964, с. 202).

Всяческими легендами полнятся литературные места, связанные с чтимым тут произведением. Одно из таких немалочисленных в Союзе мест — деревня Павловка (Сосновка — ее часть) Куйбышевской области — «страна Никитиного детства».

В начале 60-х годов в сквере, наискосок от колхозного правления, открывали памятник А. Толстому. На открытие среди других пришли престарелые сверстни-

ки Алексея Николаевича, кого, по убеждению селян, писатель «изобразил» товарищами маленького героя. Павловцы уверены, что в «Детстве Никиты» от начала до конца описана «сущая правда».

В Павловку тогда свершалось подлинное паломничество. Мне самому, даже еще до установления памятника А. Н. Толстому, приходилось видеть туристские группы, направлявшиеся к ней через районный центр Колдыбань. Им объясняли, что от хутора ничего не сохранилось, кроме места, где была усадьба Бостромов, да старой парковой аллеи. Но они все-таки шли. Куйбышевская областная газета сообщала, что в гостях у одного только товарища детских лет А. Толстого, престарелого павловского пчеловода и шорника С. И. Скопинцева, «побывали студенты, научные работники, учителя, рабочие Москвы, Ленинграда, Саратова, Куйбышева, колхозники нашей и соседних областей» («Друг Алексея Толстого».— «Волжская коммуна», 1962, 7 января).

Какова же на самом деле мера автобиографичности в повести «Детство Никиты»? «Сосновская часть» нового архива, и в первую очередь большое количество обнаруженных писем будущего писателя, позволяет полнее и глубже увидеть высокую силу художественного обобщения, отличающую это замечательное произведение.

Родители Алеши Толстого часто выезжали. Писательница-мать — в Петербург и Москву, отчим — по своим хозяйственным делам в Самару и т. д. И каждый из таких случаев тотчас обнаруживал пристрастие мальчика к перу и бумаге. Не было тягостной обязанности писать письма, не было даже надобности делать это чуть ли не каждый вечер, а что-то подталкивало Алешу на их сочинение. Ему словно нравилось складывать день за днем летопись своего деревенского житья-бытья. Эта часть куйбышевского архива в соединении с обнаруженными ранее письмами будущего писателя — поистине «эпистолярный дневник» детских лет А. Толстого, который до сих пор был известен нам лишь в отрывках.

Вчитайтесь хотя бы в это, взятое наудачу, письмо из числа найденных в Куйбышеве:

«...Какой нынче денек был! Ясный, морозный, просто прелесть,— пишет Алеша Толстой матери зимой 1895 года.— На верхнем пруду прекрасное катание.

Мы уже два дня катаемся. Копчик поправился. Червончик тоже. У Подснежника натерли рану на плече. Иван стал к нему подходить, а он как ему свистнет в губу... Поросята наши сытехоньки бегают по двору. Марья придет к ним с помоями, а они ее и свалят. Телята страсть веселые. Папа им сделал особые корытца. Третьего дня папа читал мужикам «Песню про купца Калашникова»... Мишка во время чтения заснул. Я его нынче спрашивал, зачем он заснул, а он говорит: «Вы только слушали, а я и поспал и послушал...».

И дальше в этом письме детское щебетание с «мамуничкой» то и дело перебивается скороговоркой мальца, которому — ну, совершенно обо всем! — хочется рассказать сразу:

«Мне купили варежки в Утевке — чистые чулки. У нас часовщик починил часы, а они не пошли. Назар не будь прост — пустил их. Назар наступил ногой на иглу, и она, воткнувшись, обломилась. Ну вытащили. Папуля... ни разу на меня не посердился серьезно. Вчера у папули болел живот, и я ему читал из Лермонтова. У меня сейчас идет кровь, и я заткнул нос ватой. Целуй тетю Машу крепко.

Целую тебя. Твой мальчик».

Читая это письмо двенадцатилетнего подростка,— не правда ли? — так и вспоминаешь сразу живого, охваченного постоянным любопытством ко всему окружающему героя повести «Детство Никиты». Там тоже описаны чудесные катания в зимние дни и тоже выведен Никитин сверстник, но уже по-взрослому рассудительный пастушонок Мишка Коряшонок и либеральный, немного смешной барин, который в письме читает зевающим мужикам «Песню про купца Калашникова», а в книге то собирается разводить в своих прудах лягушек, чтобы вывозить их во Францию и разбогатеть, то «по случаю, очень выгодно» покупает на ярмарке партию ненужных для хозяйства верблюдов и т. д.

В письмах Алеши Толстого представлены и другие люди, а также многие факты, события, которые встречаются потом в «Детстве Никиты». В них неоднократно фигурируют учитель Аркадий Иванович, друзья детства Коля и Володя Девятовы (одноименные персонажи есть в главе «Дети Петра Петровича»). В письмах рассказывается о постройке снежной крепости «Измаил», о драке с сосновскими мальчиками «стенка на

стенку», сообщается об Алешиной лошади Копчике (в повести «Клопик»). И уже поистине с изумлением обнаруживаешь «совпадения» самые мелкие: салазки-скамейку, на которой Алеша катался с гор, и даже перочинный ножик со многими лезвиями, подаренный отчимом взамен маленького потерянного... Казалось бы, чего уж больше!

И все-таки повесть — это отнюдь не повторение картин действительного детства писателя. Если бы возможно было хоть на минутку представить себе это поэтическое на грани сказочности произведение чем-то вроде «беллетризированных воспоминаний» А. Толстого о своем детстве, писатель предстал бы перед нами в поистине странной роли. Обнаружилось бы, что многие факты в повести «перепутаны» и «искажены». События, которые, судя по письмам, происходили с самим автором в разные годы и, следовательно, каждый раз были связаны с совершенно определенной возрастной психологией ребенка, Толстой подает как случившиеся с десятилетним мальчиком в один год. В результате от многих событий остаются лишь самые общие очертания, детали и частности. Но даже и тут — уйма «неточностей». Отец многодетной семьи волостной писарь Василий Родионович Девятов стал в повести купцом бакалейной лавки Петром Петровичем. Учитель Аркадий Иванович, человек добрый, но малокультурный (Александра Леонтьевна вынуждена была, например, сама заниматься с сыном русским языком, а в дневнике записывала об А. И. Словохотове: «Кажется, что в голове у него какая-то паутина, обволакивающая его мозг и сквозь которую мысли никак не могут проступить. Что-то есть в мозгу, но что? Он и сам хорошенько не сознает...»),— этот семинарист известен теперь читающему миру как застенчивый от мечтательности, слегка рассеянный, но безусловный интеллигент...

Но в «Детстве Никиты» мы сталкиваемся не только с переосмыслением, или, как принято выражаться, «художественным претворением» автобиографических фактов. Фактическая основа повести и по своему существу значительно отличается от той истинной социально-бытовой обстановки, в которой рос Толстой. Среди исследователей эту «непохожесть» произведения на раннюю биографию самого писателя отмечал В. Щербина («А. Н. Толстой. Творческий путь», с. 185—187). Одна-

ко его наблюдения в ту пору могли быть лишь частичными.

Писатель вовсе не случайно ставил на первых изданиях своего произведения название «Повесть о многих превосходных вещах». Автор в соответствии со своим художественным замыслом «вспоминает» только о светлых и приятных событиях своего детства, а о других, иногда очень важных, «умалчивает».

Действие повести, если исходить из того, что мальчику неполных десять лет, начинается где-то на рубеже 1892—1893 годов. Эти годы венчали собой бедственное трехлетие голода и холеры, охвативших Поволжье из-за продолжительных хронических неурожаев. Вот как выглядел в то время губернский центр: «Нищих в Самаре все прибывает,— сообщала в одном из писем Александра Леонтьевна,— так что становится невыносимым ходить днем по улицам, я стараюсь не ходить по Дворянской (главная улица города.— *Ю. О.*), подашь одному, другому, а за тобой еще десяток увяжется. Что будет к весне?..» (А. А. Бострому, 11 ноября 1891 года). Только за четыре летних и осенних месяца 1892 года в Самаре, где, как мы знаем, далеко не было и 100 тысяч жителей, от недоедания и холеры умерло почти 3500 человек (см.: «Что сделано городом в борьбе с холерой в 1892 году».— «Самарская газета», 1893, 28 февраля). В Поволжье вспыхивали голодные бунты и холерные беспорядки. В той же «Самарской газете» печатались такие, например, «объявления» министра внутренних дел Дурново: «...Сим объявляется, что все беспорядки и насилия будут неуклонно прекращаться военною силой и оружием, а виновные в поджогах, насилиях и убийствах будут судимы военным судом по законам военного времени» («Самарская газета», 1892, 4 июля).

Надо думать, что немногим лучше было и в Сосновке. В 1912 году А. Толстой написал рассказ «Логутка», посвященный эпизоду голодных лет, которые, впрочем, не раз случались в Поволжье и раньше. Рассказ автобиографичен, в нем действуют те же герои, что и в повести. «Логутка» справедливо считается одним из подготовительных «этюдов» к повести. Но, работая над «Детством Никиты», Толстой не только не включил в повесть «Логутку» (например, в качестве главы), но и не использовал ничего подобного из происходившего на его глазах в детстве.

Жили хозяева Сосновки в целом беднее того среднего помещичьего достатка, который нарисован в «Детстве Никиты». Хорошо сказано об этом у самого же Ю. А. Крестинского: «Маленький хутор в степном районе Поволжья, где засуха периодически сжигала урожай, приносил незначительный доход. Мелкопоместная усадьба уходила в прошлое... Хутор закладывался и перезакладывался... Каждая копейка была на счету... Знатным гостинцем из города был витой белый калачик. Кутежом считался обед с бутылкой лимонада в самарской гостинице «Россия». Роскошными покупками — сапоги, пояс и шапка для мальчика» («А. Н. Толстой. Жизнь и творчество», с. 8). Полны фактов о материальных лишениях и письма Александры Леонтьевны. Из Воронежа в Киев эта помещица, недавняя графиня, едет в общем вагоне, спит на лавке, наслушавшись «...комплиментов, вроде: «Эта-то чего разлеглась!» (А. А. Бострому, 13 июля 1896 года). «Одно, что меня огорчает, это то, что еда дорого стоит,— сокрушается она в другом письме в Сосновку,— стараюсь есть меньше...» (6 февраля 1896 года). И еще: «Ем я один раз в день... Все пустой чай. Варенья не смею себе купить» (1 августа 1896 года). Не правда ли — это горестное «безваренье», затягивавшееся иногда на многие месяцы, не очень соответствует той, хотя и прерываемой иногда вздохами, но в общем-то лучезарной и безбедной жизни, которую ведут владельцы деревеньки в «Детстве Никиты»?..

Не отразились в повести и социальные антагонизмы, которые иной раз и активно вспыхивали в захудалом и разоренном поместье. Об их проявлениях мы узнаем даже из детских писем Алеши Толстого. «Я присматриваю за бабами, чтобы работали»,— сообщает матери тринадцатилетний подросток. В другом письме, относящемся к августу того же 1896 года, Алеша с наивной горделивостью юного хозяйчика описывает следующий неприглядный эпизод: «...У нас тут на днях был бунт с бабами, папа их усмирял и которых прогонял, а я стоял в виде пограничного стража с вилами и обыскивал контрабанду. Бунт был ночью, начинался два раза...» (ИМЛИ, инв. № 6315/14). И отношения с деревенскими ребятишками, детьми недовольных баб, не всегда, конечно, были такими равными и приятельскими, как это описано в «Детстве Никиты». Социальная рознь проявлялась и между детьми. В то же лето

сосновские мальчишки устроили «облаву» на молодого «барчонка». «...В поле я заезжал на стан, там на меня устроили ребятишки облаву,— признается Алеша матери 18 июля 1896 года,— стали в круг с кнутами и махали ими, а Николай, который косилкой «пустил кровь верблюду», как махнет шубой, а моя-то лошадь скинула меня...»

Оговорюсь, другие такие случаи прямой вражды нам неизвестны. Все они, как мы видели, относятся к одному времени, к лету 1896 года, когда Бостром, не зная удержу, хозяйствовал в Сосновке по своему усмотрению. Александра Леонтьевна, имевшая на этот счет свои строгие убеждения, вероятно, подобного бы не допустила. Но она чуть ли не весь этот год, с самой зимы, впроголодь сидела в Киеве, распутывая юридические заковыки в деле о доставшемся ей скромном наследстве. Впрочем, даже при всегдашней гуманности и справедливости Александры Леонтьевны устранить «острые углы» в отношениях с крестьянами, конечно, не могла и она.

Однако в «Детстве Никиты» вы не найдете и тлеющих угольков классовой неприязни. Вообще ничего тяжелого или мрачного нет в повести — ни убожества дворянской хуторской жизни, ни голода, ни смертей, ни страданий. К этим своим наблюдениям А. Толстой неоднократно обращался в других произведениях, в том числе автобиографических, суровый реализм которых известен.

Повесть создавалась в 1919—1920 годах. Но даже в эмиграции Толстой чувствовал кровную близость с русской землей, верил в ее будущее. Уже упоминалось — у писателя и раньше были «эскизы» по событиям и впечатлениям своего детства. Но только в 1919 году, во время работы над очередным детским рассказиком для третьеразрядного эмигрантского журнала, перед ним вдруг «раскрылось окно в далекое прошлое», и он ощутил настоятельную потребность сесть за большое произведение. Находясь на чужбине, Толстой вложил в свою повесть все лучшее, поэтическое, что было связано для него с далекой родиной. Так возникло одно из самых светлых, пронизанных солнцем и ощущением счастья произведений русской литературы.

В 1962 году исследователь зарубежных взаимосвязей советской литературы В. А. Лазарев опубликовал

ПРОДАЕТСЯ

ИМѢНІЕ

Николаевскаго у. при дер. Сосновки. Отъ Самары 65 верстъ, отъ Безенчука 37. Удобной земли 1107 десят., при рѣкѣ Чагрѣ. Усадьба съ плодовымъ садомъ и прудами. Улучшенная порода рабочихъ лошадей и коровъ. Верблюды, быки и полный инвентарь. На имѣніи долгъ дворянскому банку. Дорога отъ Самары черезъ Каменный бродъ. Письма адресовать на Марьевскую станцію Алексѣю Аполлоновичу Бостромъ.

1043—3—1

Объявление в «Самарской газете» о продаже разорившимися хозяевами хутора Сосновка.

среди многих других новых архивных материалов восемь небольших писем А. Н. Толстого, оригиналы которых хранятся в Чехословацком Национальном музее письменности (см.: В. А. Лазарев. Из истории литературных отношений первой четверти двадцатого столетия: Публикация архивного материала.— В кн.: «Ученые записки Московского областного педагогического института имени Н. К. Крупской». М., 1962, т. CXVI, с. 91—187). Это краткие и деловитые письма А. Н. Толстого к немецкому переводчику его произведений А. С. Элиасбергу, относящиеся к 1921—1923 годам. Некоторые из них касаются «Детства Никиты».

Показательна настойчивость, с какой писатель по-

вторяет А. Элиасбергу, что именно эту повесть ему «особенно хочется» видеть переведенной. А. Толстой по праву считал «Детство Никиты» лучшим из всего, что им было написано до тех пор. Но это было не только высшее художественное достижение, сверкание всех красок таланта, наиболее гармоничное, цельное и естественное из созданий его писательской музы. В определенной степени повесть можно считать «переломной» в идейно-творческом развитии А. Толстого.

В этом произведении, по видимости столь далеком от суровой реальности 1919—1920 годов, впервые с такой стихийной полнотой выразили себя духовные силы, которые подготовили затем возвращение писателя из эмиграции на родину и определили во многом его дальнейший путь. Очень важное признание самого А. Н. Толстого на этот счет приводит Франтишек Кубка в своей книге «Голоса с Востока» (Прага, 1960). В конце 1935 года, находясь с группой советских писателей в Чехословакии, А. Толстой так рассказывал об истории создания повести.

«Блуждал по Западной Европе, по Франции и Германии,— говорил А. Толстой,— и, поскольку сильно тосковал по России и русскому языку, написал «Детство Никиты»... За эту книгу отдам все свои предыдущие романы и пьесы! Русская книга и написана русским языком...

Это русский язык, на котором говорят в самарской деревне. Русский язык манил меня домой к большевикам. Политически я был далек от них. Но был исполнен огромным желанием работать с ними...» (Цит. по указанной публикации В. А. Лазарева, с. 168, 169.)

Вот вкратце при каких обстоятельствах создавалась повесть.

Подлинная жизнь мальчика и подростка Алеши Толстого в Сосновке известна нам теперь не только во внешних подробностях, но и с его тогдашними мыслями, настроениями, со всем отношением к происходившему. Вопреки всему общий душевный настрой этого безудержного озорника и фантазера, энергия которого плескалась через край, был радостным, бодрым. Мотив счастья, полноты жизни звучит и в значительном количестве его писем, вроде приведенного выше, где и погода «прелесть», и «поросята сытехоньки бегают по двору», и «телята страсть веселые» и т. д. Этот-то мотив, как игру неведомой флейты, зовущей к творчеству, и

«услышал» писатель в 1919 году. Чувство безотчетно поднимало из глубин памяти впечатления. Мысль отбирала. В этом секрет определенной автобиографической насыщенности повести.

Но, ра́сполагая «эпистолярным дневником», архивными материалами, отчетливей видишь теперь не только сам принцип этого «отбора», но и то, насколько далеко по мере работы отошел А. Толстой даже от этих действительных событий и переживаний своего детства. Ибо на каждой странице повести происходит такое, чего никогда не было и не могло быть ни в какой действительности.

«Детство Никиты» — это мир, который могла создать только фантазия художника. Весь он снопы солнечного света, зовущего счастья и радости. Тени почти нет. Вспомните-ка: «Никита проснулся от счастья»; «Только в зачарованном царстве бывает так странно и так счастливо на душе». И даже кукушка, чье дело подсчитывать кому-то остатний срок жизни, кукует здесь о другом. «Живите, любите, будьте счастливы, ку-ку. А я уж одна проживу ни при чем, ку-ку...»

А часто ли в действительности встретите вы такой подбор взрослых? Это люди с разными характерами, но связанные духовным родством. Все они добры, немного забавны, каждый со своей «чудинкой». И если дети в повести нередко ведут себя как взрослые, то взрослые тут — это большие дети. Таковы и фантастический неудачник отец Василий Никитич, и тучная Анна Аполлосовна Бабкина, разговаривающая басом, и дворовые мужики, играющие в «носики», и т. д.

В «Детстве Никиты» — произведении в равной мере для взрослых — много едва уловимой сказочности. Все тут полно манящей таинственности. Сны сбываются наяву, и сама действительность является продолжением счастливых снов и исполнением задуманных желаний. Недаром о долгожданной перемене погоды еще прежде барометра сообщает обитателям Сосновки скворец Желтухин. Птицы и животные здесь такие же действующие персонажи, как и люди,— они думают, рассуждают. И это воспринимается как нечто естественное в этом волшебном царстве счастливого детства. Ни одна мрачная черточка не чернит светлого фона. Все здесь кончается благополучно. Даже бедняка Артема сажают

в клоповку не взаправду, это как бы игра, которую ведут взрослые: сажают и выпускают. И даже заволжский суховей в решающую минуту словно передумывает — и дождь вдосталь поливает иссохшуюся землю...

Почему же все эти «невероятности» кажутся настолько правдоподобными, что люди видят в них чуть ли не «документальное описание» событий, происходивших какое-то количество лет назад в Сосновке? Потому что все они подчинены скрытым от глаз читателя художественным законам. И главный «законодатель» этой страны безоблачного детства — маленький Никита. Какие же это «законы»?

Случалось ли вам наблюдать, как полуторагодовалый ребенок впервые оказывается летом на зеленой лужайке? Трава, которую привычно топчут взрослые, представляется ему чем-то вроде джунглей. Он смотрит на нее опасливо, ступает несмело. Он впервые в жизни открывает для себя траву... Любой ребенок по самой своей природе — первооткрыватель. Он открывает заново все — землю, огонь, деревья, воду, времена года, рождение, смерть. В каком-то возрасте этот процесс происходит наиболее интенсивно, но в целом он длится многие и многие годы, до тех пор, покуда в человеке сохраняется одна из важнейших способностей поэзии — видеть новыми, изумленными глазами первоосновы жизни.

Художественная находка Алексея Толстого в «Детстве Никиты» состояла в том, что общее для всех детей психологическое свойство он сгустил, сконцентрировал, заставив своего маленького десятилетнего героя на протяжении какой-нибудь сотни страниц, а хронологически — за неполный год сделать столько крохотно-огромных открытий, которых всякому другому ребенку с избытком хватило бы на долгие годы.

Уже в этом, конечно, есть большая мера условности, без которой не обходится подлинное искусство. Но «Детство Никиты» — не только произведение о начинающейся жизни, о ребенке и русской природе. Это — поэма А. Толстого о счастье непрерывного открывания мира. И именно безотчетный настрой на эти «условия», когда мы властью писательского таланта оказываемся в волшебной стране счастливого детства, и заставляет нас забыть о мелких будничных мерках и воспринимать невероятное как вполне естественное...

О «сопернике» прозаика А. Толстого и истории с волшебным колечком

Казалось, все, что можно было почерпнуть из новых источников о повести «Детство Никиты», было почерпнуто... Но, пересматривая архивные материалы, я обнаружил вдруг такие сюрпризы, о которых следует рассказать особо.

Оказывается, за пятнадцать лет до Алексея Толстого повесть «о том же самом», что и знаменитое «Детство Никиты», собирался написать другой прозаик — Александра Бостром.

Среди куйбышевских бумаг Александры Леонтьевны есть толстая тетрадь в черном клеенчатом переплете, озаглавленная «Материалы и наброски». Это одна из нескольких ее рабочих тетрадей, которые так или иначе ведет каждый писатель. Там есть записи, сделанные 11 июля 1905 года. Сначала шло следующее.

«Детство Леши

Описание. Приключение с гуслями, «кулачок не дурачок». Терпеливость в физичес. отношении. Ожоги и порезы. Друзья: кот и собаки. Как он отгадал, кто кричит в пруду. Товарищи мальчика. Битва снежками, битва арбузами и яблоками. Фейерверк. Спектакль в саду. Лошадка. Езда верблюдом. Гоняние табуна верблюдов. Катание на масленице на верблюдах. Поездка на почту верхом. Торговля яблоками. Лодка. Учитель Арк. Ив. Работа в кузнице. Работа на молотьбе. На подсолнухах. Хорошенькая дерев. девушка. Уроки с матерью и отцом. Елка в деревне и литер. вечер. Мишка беленький и Мишка черненький. Сашок, драка с Сашком. Спанье на открытом воздухе. Ночевка в поле на работе... Провал под лед. Купанье. Первое ружье и первая ворона. Школа в городе. Саратов. Школа. Возвращение в деревню. Немка и привидения. Поездка к родст[венникам]... дети и гувернантка... Стог сена, ночь и беседа о звездах...»

Вслед за планом, который я привел почти целиком, несколько страниц в тетради занимают записи эпизодов.

Перед нами, конечно, самые первоначальные, только вчерне оформленные наброски предполагавшегося произведения, повести— по размаху плана. Но и по ним уже можно сделать определенные выводы.

Бросается в глаза, что из событий детства А. Толстого Александра Бостром тоже берет для себя только одну сторону, связанную с поэзией деревенской жизни. Правда, причина здесь в корне иная, чем в «Детстве Никиты». Она определяется общей романтико-моралистической направленностью детских произведений А. Бостром.

Сразу ниже наброска плана она помечает любопытную деталь: «Он был великий исследователь и наблюдатель». Вероятно, эта сторона предполагаемого характера (в эпизодах вместо Леши появляется уже другое сентиментальное имя — «Ортя-бедокурка») тоже казалась А. Бостром одной из наиболее существенных.

Вот один из соответствующих эпизодов — «Как Ортя поступил со своей карт[онной] лошадью». Зная, что каждое животное должно кушать, мальчик попробовал накормить ее травой, то есть разорвал ей рот и напихал внутрь травы. Затем, решив, что лошадь теперь хочет пить, стал лить в нее воду. Эпизод доведен до появления матери, которая застает маленького «исследователя» над останками игрушки, пытающегося разобраться — почему «у игрушечных лошадей размокает живот, когда заботливый хозяин решит их напоить».

История с лошадкой подлинная. Почти совершенно в таком же духе она рассказана в воспоминаниях М. Л. Тургеневой, хранящихся в ЦГАЛИ.

В куйбышевском архиве есть фотография, на которой Алеша Толстой изображен верхом на игрушечной лошадке (возможно, на той самой, злополучной!). Таким образом, события, к которым обращается Александра Бостром, разного времени, когда герою их было от 3—5 до 12—13 лет.

Осуществи писательница замысел в том виде, как он представлен в тетради,— и мы имели бы, возможно, прикрашенное, но зато полное беллетризированное жизнеописание детства А. Н. Толстого.

В черновом наброске А. Бостром подлинность большинства событий бесспорна. Отталкиваясь от некоторых из них, отмеченных также и в плане писательницы-матери, А. Толстой создал в «Детстве Никиты» ряд глав (сравните: «Битва снежками, битва арбузами и яблоками» у А. Бостром — глава «Битва» у А. Толстого, «Поездка на почту верхом» — глава «Письмецо», «Торговля яблоками» — глава «Ярмарка в Пестравке», «Лодка» — «Поднятие флага», «Елка в деревне и

литер[атурный] вечер» — глава «Елка»). Конечно, любопытно узнать еще о новых автобиографических деталях в повести. Но мы уже достаточно говорили о «Детстве Никиты», чтобы видеть всю относительность таких совпадений. Речь может идти лишь о самых общих контурах событий. Например, вся суть поездки на почту героя повести А. Толстого в том, что он впервые в жизни получает любовное письмецо от своей девятилетней подруги. Лиля — это маленькая очаровательная дама. А в плане А. Бостром помечена «хорошенькая дерев[енская] девушка», что, видимо, больше соответствовало действительности.

При каких обстоятельствах возник у А. Бостром замысел написать повесть о детстве сына? По-видимому, произошло это так. Как известно, одной из первых попыток А. Толстого в прозе был своего рода юношеский «эскиз» к «Детству Никиты». В марте 1902 года он писал матери: «Кажется, буду участвовать в журнале «Юный читатель»... Я уже начал — Детские воспоминания; кажется, это удачно».

14 марта 1902 года, сообщая сыну о своей работе над детскими произведениями, Александра Леонтьевна интересовалась: «Как твое писание? Очень бы хотелось прочесть твои воспоминания...» (ЦГАЛИ, ф. 494, д. 31).

Пылким надеждам девятнадцатилетнего автора не суждено было сбыться: рассказ, включенный теперь в пятнадцатый том Полного собрания сочинений Толстого под условным названием «Я лежу на траве», оказался слабым и в журнале света не увидел. Не тогда ли у Александры Леонтьевны, не только принимавшей близко к сердцу литературные опыты сына, но и взволнованной темой, мелькнула впервые мысль — самой рассказать о детстве мальчика на степном хуторе?

Впрочем, как бы там ни было, а три года спустя в ее тетради появился план будущей повести и черновые наброски. Так А. Бостром, имевшая за плечами более десятка книг и бессчетные рассказы и очерки в журналах и газетах, вступила в творческое соревнование с новичком Алексеем Толстым. Идея матери — написать повесть (а при задушевности их отношений трудно допустить, чтобы Толстой не знал об этом) могла лишь обострить интерес начинающего писателя к тому жизненному материалу, который с годами фантазия его преобразила в волшебный мир «Детства Никиты». И когда пятнадцать лет спустя перед Толстым вдруг

«раскрылось окно в далекое прошлое», быть может, он тогда с улыбкой вспомнил забавную историю о своем юношеском опусе и «соперническом» замысле одной маститой детской писательницы...

Впрочем, на долгом, почти двадцатилетнем пути — от первого «эскиза» до «Логутки» и «Детства Никиты» — у Алексея Толстого связаны с творчеством Александры Бостром еще две истории.

«Логутка» (в первопечатном варианте произведение было озаглавлено по-другому — «Страница из жизни») — это рассказ о страшной засухе, о будничной смерти у всех на глазах русоголового крестьянского мальчика по имени Логутка. Одно из главных действующих лиц рассказа — мать повествователя. Потрясенная увиденным, она тут же, ночью, пишет рассказ, который так и называет — «Логутка». В первой, газетной, публикации произведения А. Толстого была концовка, сообщавшая, что «рассказ был напечатан в провинциальной газете, матушка получила письмо от какого-то учителя, который уверял, что, прочтя рассказ, стал другим человеком, и благодарил «за правду» (Гр. Алексей Толстой. Страница из жизни.— «Речь» (Санкт-Петербург), 1912, № 191).

Если бы рассказ А. Бостром существовал в действительности, было бы интересно сравнить его с известным произведением А. Толстого. А вдруг рассказ на самом деле существовал? В куйбышевском архиве я наткнулся на черновые наброски, сделанные Александрой Леонтьевной. А в начале произведения Толстого довольно точно означен период возможного напечатания («...мне было семь лет в то время, когда началась беда»). Листаю подшивки старых волжских газет. Так и есть! В «Саратовском листке» очерк А. Бостром «Лагутка» напечатан двумя «подвалами» 10 июня 1889 года.

Главный герой «Лагутки» Александры Бостром — «забитый, туповатый, покорный мужичонка», многодетная семья которого медленно гибнет от голода. Произведение отмечено морализаторскими чертами распространенного в народнической беллетристике 80-х годов жанра «сценок из мужичьего быта». Однако при всех слабостях очерка в нем немало точных деталей, передающих обстановку народного бедствия...

Есть еще один, более занятный случай.

Кто не помнит полусказочную историю о вещем сне

маленького героя «Детства Никиты»? Это было навязчивое видение об оживающих фамильных портретах, висевших в нежилых комнатах старого дома, о бронзовой вазочке на старинных стенных часах, в которой что-то лежало, но летавший во сне Никита каждый раз не успевал разглядеть — что... К возникновению этих дивных страниц повести «причастен», оказывается, один заурядный рассказ, прочно погребенный теперь в старых комплектах провинциальной газеты.

Случилось это так. В канун нового, 1900 года «Самарской газете» требовался рассказ для рождественского номера. Александре Бостром, связанной с редакцией более чем десятилетним сотрудничеством, были не в диковинку разные задания. В куйбышевском архиве есть письмо Александры Леонтьевны от 19 декабря 1899 года, в котором она сообщает Бострому, что рассказ к Рождеству готов и его надо срочно представить в редакцию, «...поэтому поправлю, перепишу и отнесу. **Леле он очень понравился»** (подчеркнуто мной.— *Ю. О.*).

Этот рассказ под названием «У камина» опубликован в праздничном рождественском номере «Самарской газеты» (1899, 25 декабря, № 277). В нем есть все непременные атрибуты, при помощи которых изготовлялись такого рода сочинения,— зимний вечер, комната, фантастично освещенная пламенем камина, и бабушка, которая, задумчиво глядя на огонь, рассказывает внучке «жуткую и правдивую» историю... Это история о двух людях, что изображены на фамильных портретах, виднеющихся через отворенную дверь в полутемной анфиладе соседних комнат. Один — «суровый старик с острым носом и ястребиными, пронзительными глазами». На другом портрете изображена «молодая женщина лет 25... в руке она держит розу, но эта роза совсем не идет к гордой ее позе вполуоборот к зрителю, к надменной ее улыбке и к большим, веселым, вызывающим глазам. Пламя скользит по ее белому платью, голым плечам, играет на ее лице. Мне кажется, что портрет оживает, что гордая веселая красавица улыбается загадочно и надменно...»

Старик и гордая красавица, «оживающие на портретах», загубили друг друга...

Вероятно, на юношу Толстого подействовала фантастичность рассказа, который к тому же мог быть переосмыслением одной из легенд, связанных в доме

Тургеневых со старыми фамильными портретами многочисленных предков. Как бы там ни было, «каминный» рассказ запомнился.

И вот спустя двадцать лет роковая красавица и несчастный старик возникают снова... Однажды зимним вечером Никита вместе с Лилей решил проверить свой сон. На дне бронзовой вазочки лежало тоненькое колечко с синим камешком. Но кому принадлежало это «волшебное», по убеждению Никиты, колечко? Детей не мог не волновать этот вопрос, детская фантазия искала ответа. Вот тут-то в повествование и вплелась сама собой фабула читанного когда-то рождественского рассказа. (Кстати, в «Детстве Никиты» события эти происходят тоже в дни Рождества.) В той самой комнате, где на часах стояла вазочка, автор повести «вешает» два старых фамильных портрета. Над камином «висел портрет дамы удивительной красоты. Она была в черной бархатной амазонке и рукою в перчатке с раструбом держала хлыст. Казалось, она шла и обернулась и глядит на Никиту с лукавой улыбкой длинными глазами... Из-за нее,— он не раз слышал это от матери,— с его прадедом произошли большие беды. Портрет несчастного прадеда висел здесь же над книжным шкафом,— тощий востроносый старичок с запавшими глазами...» (глава «Старый дом»).

Однако кроме внешнего сходства приема — одинаково оживающие в восприятии детей портреты,— от фабулы старого рождественского рассказа в «Детстве Никиты» мало что остается. Преображенная талантом Толстого, она получает неожиданно глубокий художественный смысл, развивая главное содержание повести. «Прадед» и «дама в амазонке» заставляют Никиту впервые задуматься над тем, что люди, ставшие теперь только портретами, тоже жили, мучились, страдали. И именно поэтому сами портреты в фантазии ребенка оживают и становятся действующими лицами произведения. А совпадение вещего сна Никиты с действительностью едва уловимо объясняется еще и рождественской обстановкой происходящего... Когда дети крадучись пробираются через залитую лунным светом комнату, на них глядит «дама в амазонке», улыбаясь таинственно.

«— Кто это?— спросила Лиля, придвигаясь к Никите.

Он ответил шепотом:

— Это она» (глава «Что было в вазочке на стенных часах»). Колечко принадлежит ей, для детей в этом нет никакого сомнения.

Так через это колечко, через старые фамильные портреты, через сваленную на полу груду книг с золотыми корешками, через всю обстановку этих покинутых нежилых комнат для Никиты раскрывается еще одна, неведомая ему раньше сторона мира. Оказывается, мир этот населен вещами, разными историями отживших до Никиты людей, пожалуй, даже плотнее, чем набита снами знаменитая Никитина подушка... Вот какую метаморфозу претерпел забытый рассказ из старой провинциальной газеты!

Как можно заключить теперь из находок куйбышевского архива, и еще одно литературное увлечение подростка А. Толстого питало позднейшую игру писательской фантазии при создании «Детства Никиты». Причем путями причудливыми: сначала под ухарским водительством Алеши Толстого его друзья братья Девятовы, другие сосновские мальчишки, как и он сам, в своих уличных затеях копировали героев книги, подражали им, а затем, четверть века спустя, воспоминания об этих озорных проделках отобразились в произведении.

28 июля 1896 года тринадцатилетний Алеша сообщал матери: «Я получил книжечку с почты ужасно интересную. Там рассказывается про одного маленького американца, его школьные дни. Как они там озоровали. Напр[имер]. На набережной лежали 12 пушек старых, заржавелых, так как они лежали в траве, то про них все позабыли. В одно прекрасное утро школьники поставили эти пушки на камни, вычистили их, купили пороху, зарядили, провели фитиль и зажгли. Вот они и начали стрелять. Ужасно потешно...» (ИМЛИ, инв. № 6315/13).

Куйбышевские комментаторы ранней переписки А. Толстого — М. Лимарова и Л. Соловьева установили, о какой книге идет речь: Алеша пересказывает матери одну из глав переводной повести Т. Бейли Олдрича «Воспоминания одного американского школьника». Судя по всему, он только что получил и залпом прочитал выпуск журнала «Всходы» № 14 за 1896 год, целиком занятый произведением американского писателя.

Через неделю, 5 августа 1896 года, Алеша подробно описывает матери «вчерашнее воскресенье», состояв-

шее во многом из непроизвольных инсценировок эпизодов свежепрочитанной повести. Оно прошло в затеянных уличных сражениях с мальчишками — сначала в перестрелках гнилыми яблоками в саду, а затем в кулачных потасовках «стенка на стенку» с мальчишками, живущими на другом краю Сосновки. Описание озорных сражений передано в стиле реляции с поля боя. Письмо пестрит книжными выражениями, которыми автор нередко с иронией оттеняет реально происходившее. Вроде: «Противники наши кидали **снаряды** ловко, и потому мы не устояли и побежали»; «я не сплошал и запустил Саше прямо в грудь бомбу»; «мы им бросили **перчатку** — сиречь ком глины»; «место для боя было очень удобное: **две скалы и между ними ущелье**. Наши расположились на стороне кладбища, а противники на стороне Сосновки».

Выделяет юный герой и свою роль, которая не раз выглядит решающей. Скажем, в борьбе «стенка на стенку»: «На Колю наскочили двое... я поспешил ему на помощь, откинув двоих... Тут меня съездили по носу, по затылку и по локтю. Я вытаращил глаза и кинулся на стенку: одного отшвырнул, а другому, Мишке, закатил по носу...»

«В письме,— отмечают куйбышевские комментаторы,— Алеша Толстой рассказывает о сражении мальчишек в манере, напоминающей описание боев между мальчишками в книге Т. Бейли Олдрича «Воспоминания одного американского школьника» (см. главу «Снеговая крепость на Слаттерс-Тилле»). (Сб. «Алексей Толстой и Самара. Из архива писателя», с. 103, 108.)

Целая глава повести «Детство Никиты» — «Битва», добавим мы, в немалой степени ведет свое происхождение от этого сплава детских книжных впечатлений и картинок былого. Любопытно, что в главе есть и прямой эпизод, как отважный Никита обернул сражение «стенка на стенку» в пользу «наших», одолев непобедимого Степку Карнаушкина, у которого был «заговоренный кулак»: «Кончанские сразу же остановились. Никита пошел на них, и они подались. Перегоняя Никиту с криком: «Наша берет!» — всей стеною кинулись на кончанских наши. Кончанские побежали...»

Коснусь и еще одного события, которое частично отразилось в «Детстве Никиты». Как вы помните, Никита в повести не только исследователь и первооткрыватель, своего рода маленький философ. Вдобавок он

еще и поэт. Это он преподнес Лиле собственноручное свое сочиненьице — стихи «Про лес». А пробовал ли сам Алеша Толстой писать в то время, и в частности стихи?

Вопрос этот не совсем досужий. Связан он с определениями момента, когда Толстой от смутного ощущения своего дарования, в письмах, стал переходить к прямым попыткам творчества. Оказывается, такие попытки начались на несколько лет раньше, чем мы считали до сих пор.

Первым толчком было влияние матери, мечтавшей увидеть в сыне писателя. Толстой в «Краткой автобиографии» (1942—1944) вспоминает, как он, десятилетним мальчиком, корпел над «Приключениями Степки». «Рассказ про Степку вышел, очевидно, неудачным,— матушка меня больше не принуждала к творчеству». События полувековой давности Алексей Николаевич воспроизводит неточно. При близком участии матери он написал немало подобных «рассказов». Среди материалов куйбышевского архива из них обнаружено два — «Картинка. Поездка по Волге» (14 марта 1893 года) и «Наступление осени» (20 ноября 1897 года).

Это были совсем не те школьные упражнения в словесности, вроде «Лошадь Казбича» или «О пользе садоводства», тематика которых выводила из себя Александру Леонтьевну. «...О пользе садоводства. Довольно нелепая тема. Что четырехклассник может на нее написать!» — восклицает она в одном из писем. Алешу Толстого, конечно, больше тянуло разрисовать, как они устраивали бой яблоками с крестьянскими мальчишками в Сосновке. Мать предлагала именно такие «рассказы» — из близкой жизни. «Наступление осени» — это не школярское перечисление календарных примет, а пейзажная зарисовка, где мальчиком А. Толстым точно увидены детали — как «стая скворцов... летает, то сжавшись в тесный клубок, то развившись длинной лентой»; как «однообразно желто стелется жнивье, разве по дороге проедет воз, доверху накладенный золотистыми снопами, а на самом верху его краснеет рубашка мужика, потряхиваемого на кочках...» и т. д.

А чтобы сын, складывая свои рассказики о «приключениях Степки», имел литературные образцы, она вступала с ним в «соревнование», писала рассказы специально для Алеши Толстого. В одной из ее куйбышевских тетрадей есть, например, рассказ «Приключение

Гани Костерина». Сверху — дата: 3 апр. 1896 г. — и пометка: «написано по просьбе Лели».

Такие литературные занятия с матерью, по-видимому, и пробудили у Толстого первые попытки к самостоятельному творчеству. «Пишу новое сочинение и не знаю, как назвать, только одну главу написал»,— сообщает он отчиму никак не позже начала 1894 года. «Мамуня, я сейчас написал «Бессмертное стихотворение» ...я ведь ужасный стихоплет» (А. Н. Толстой — матери, 10 января 1895 года). Внешнего задания уже не было. Мальчик, по его собственной приписке к одному из стихотворений, сочинял «по вдохновению». Александре Леонтьевне, напротив, приходилось умерять вспыхнувшую детскую страсть к «писательству». Она действовала как педагог, понимающий всю трудность возможного дальнего прицела. «Ты знаешь,— предостерегала она А. А. Бострома, вероятно, в начале 1894 года,— что писание ему дается без труда, и если еще восторгаться этим, то он и вовсе не захочет заниматься тем, что сопряжено с каким бы то ни было усилием... Он очень был огорчен, что я отнеслась холодно к его новому сочинению... сказала: «ничего еще пока не видно, что из этого выйдет, посмотрим, что будет дальше».

Но Алеша Толстой уже почувствовал себя «писателем».

Начиная с 1894—1895 годов литературные попытки Толстого, по-видимому, уже не прекращались, хотя и были эпизодическими. До 1899 года, когда шестнадцатилетнего юношу захватил новый «вал» увлечения сочинительством и когда литературные попытки стали более зрелыми и регулярными. 1899 год и называют обычно началом творчества будущего писателя, хотя, как видим, категорично определить эту «точку отсчета» в биографии А. Толстого не столь уж просто.

Первыми поэтическими опытами Толстого считались до сих пор его альбомные стихотворения весны и лета предыдущего, 1898 года, из которых сохранилось только — «К. С. Абрамову» (см.: Ю. А. Крестинский. А. Н. Толстой. Жизнь и творчество, с. 19). Теперь найдено одно из тех стихотворений, которые Толстой сочинял еще за три года до этого, в двенадцатилетнем возрасте.

В тетради Александры Леонтьевны, содержащей «Заметки и материалы» с 1894 по 1897 год, есть за-

пись — «Лелины стихи». Под ней рукой Александры Леонтьевны переписана «ода», посвященная 12-летним А. Толстым своему учителю Аркадию Ивановичу Словохотову * и датированная 3 ноября 1895 года. Это шут-

---

* Поскольку одноименный персонаж — домашний учитель Аркадий Иванович является одним из главных героев повести «Детство Никиты», фамилия Словохотова постоянно встречается в критико-биографической литературе об А. Н. Толстом, в пояснениях и комментариях к сочинениям писателя. При этом обычным стало неверное написание фамилии с двумя «о» — Словоохотов. Первотолчок дал сам А. Н. Толстой, написавший в «Краткой автобиографии»: «...Вотчим из Самары привез учителя, семинариста Аркадия Ивановича Словоохотова...»

К тому времени, когда писались эти строки, уже более двух десятилетий существовала повесть «Детство Никиты». Написание фамилии с двумя «о», разумеется, более «в образе» той фигуры, которая встает со страниц произведения,— велеречивого, словоохотливого чудака, наставника, который допекает непоседливого и быстрого Никиту скучной книжной премудростью. Исконная значимость фамилии от этого проступает ясней. Так что за давностью лет писательское перо могло в данном случае идти уже вслед за литературным образом.

Но Аркадий Иванович Словохотов был реальным лицом, о котором мы располагаем документальными источниками. По ним легко устанавливается и подлинное написание фамилии.

Александра Леонтьевна, перенося в свою тетрадь «Лелины стихи», пишет фамилию домашнего учителя с одним «о». Сохранилось письмо самого Аркадия Ивановича Алеше Толстому, посланное в ответ на полученную «оду». Под ним стоит собственноручная подпись — «Твой учитель А. Словохотов» (ИМЛИ, инв. № 6326/1).

Имеются, наконец, жандармские документы об участии А. И. Словохотова в революционных событиях 1905 года в селе Обшаровка. Сообщая об этих фактах, куйбышевский краевед Ф. Г. Попов дает проверенное написание фамилии — Словохотов. Но об этом еще речь впереди...

Пока же прочитаем отрывок из ответного послания Аркадия Ивановича сосновскому «одописцу». Умученный его виршами, он и сам решил взяться за стихотворное стило, которое тоже не слишком его слушалось и рождало строчки почти что на манер Тредиаковского:

«Ужасно толстенький и озорник,
Будь счастлив ты, мой ученик!

. . . .

Живи согласно с Мишами и Есей.
Играй в снежки, катайся на коньках,
Не знай усталости в «бегах».
Во время приходи учиться:
Люби кататься ты, люби и с санками возиться!

Фу! Даже пот выступил на лбу от напряжения! Прощай. Кланяйся папе и маме. Твой учитель А. Словохотов».

ливое стихотворное послание Аркадию Ивановичу, видимо, надолго, если не навсегда, уехавшему с хутора, в то время как сосновский пруд замерз и на нем отличное катание, по поводу чего «одописец» и высказывает всяческую скорбь:

Увы, наш лед уже не гладит
Твоя могучая метла.
И полосы на нем не режет
Стальной конек...

Кончается эта довольно длинная «ода» весьма любопытно:

Нижайше кланяюсь.
Твой ученик.
Ужасно толстенький
И озорник.

«Член собрания сосновских конькобежцев А. Бостром. Написано по вдохновению. Бывшему председателю сосновских конькобежцев Аркадию Словохотову. 1895 г. 3 ноября. Пятница».

Эти корявые, озорные строчки, посвященные 12-летним мальчиком своему плохому репетитору, но зато простецкому и задушевному приятелю семинаристу Аркадию Словохотову, и есть первое дошедшее до нас произведение Алексея Николаевича Толстого.

К вопросу о «тухлой солонине»

В середине 1908 года Толстой переживал свои первые литературные «триумфы». В близком по времени письме, оглядываясь назад, он признавался отчиму: «Словом, учитывая теперь прошлое, вижу, что ни одно слово ваше не прошло, не заложив во мне следа, не было толчка, который я бы не признал полезным. Всем, что я достиг, я обязан твоему и маминому воспитанию».

Но в какой идейно-нравственной обстановке рос будущий писатель? С чем вышел он в жизнь? Я бы не стал ставить эти (кажется, неожиданные — после многого уже сказанного) вопросы, если бы по ним не существовало достаточной разноголосицы в книгах и статьях об А. Толстом. Вот две прямо противоположные точки зрения.

«Критическое отношение к самодержавию, прочные демократические традиции, атеистические взгляды соз-

давали в доме хозяев Сосновки совершенно определенное настроение — то, что окружающие называли «свободомыслием» и из-за чего Бостром в уезде считался «красным», — пишет Ю. А. Крестинский (А. Н. Толстой. Жизнь и творчество, с. 9—10). «...Не имеет под собой никакой почвы попытка некоторых биографов А. Н. Толстого представить его семью как дворян-отщепенцев с прочными демократическими традициями, где критическое отношение к самодержавию и властям предержащим было наследственным»,— совершенно категорически заявляет В. Щербина (А. Н. Толстой. Творческий путь, с. 9).

Детские и юношеские годы слишком многое определили в последующем творчестве Толстого, чтобы такие расхождения не казались сугубо академическими, уводящими в дебри биографических частностей. Волей-неволей отправные истолкования, конечно, сказываются подчас и на оценках дальнейшего пути писателя.

Ю. Крестинский, вводя в обиход немало новых убедительных фактов, характеризующих Бостромов как людей демократически настроенных, оппозиционных к самодержавию, даже увлекавшихся марксизмом, умалчивает, однако, о главном «козыре» своих оппонентов и не берется поспорить в открытую. В. Щербина приводит один, но зато как будто внушительный аргумент. Он ссылается на свидетельство самого Толстого, который в «Краткой автобиографии» писал, что весь демократизм, атеизм и материализм его отчима не мешали тому «держать рабочих в полуразвалившейся людской с гнилым полом... и кормить «людей» тухлой солониной». К этому доводу В. Щербины можно добавить еще и факты столкновений с крестьянами, о которых говорилось выше.

В свое время вызвала энергичные возражения концепция книги И. Векслера, усматривавшего в раннем Толстом чуть ли не преемника революционных демократов, мировоззрение которого «складывалось под воздействием революционного крестьянского движения девятисотых годов» (И. И. Векслер. Алексей Николаевич Толстой. М.: Советский писатель, 1948, с. 18). По Векслеру, в доме хозяев Сосновки царил, разумеется, соответствующий «повышенный интерес к мужику» (там же, с. 15). Неимоверность этих преувеличений вызвала другую крайность, отразившуюся в утверждениях В. Щербины.

Достаточно просмотреть хотя бы одни только обнаруженные теперь дневники Александры Леонтьевны, чтобы споры отпали сами собой. При всех пережитых Александрой Леонтьевной «переворотах в идеях» — от народничества до усвоения некоторых положений марксизма — было одно, с чем она никогда не мирилась. Это был, по ее собственному выражению, «дух времени, подлый, рабский, низкий. Это взмахнутая плеть и весь народ, пресмыкающийся, лижущий бьющую руку» (Письмо к Нине К. Л., 11 марта 1889 года. Цит. по дневнику А. Л. Толстой). Иными словами — самодержавно-крепостнические черты в жизни современной России.

Правда, политическая программа Александры Леонтьевны была достаточно эклектичной. В понимании путей преобразования действительности она только к концу жизни, в преддверии 1905 года, стала приходить от иллюзий мелкобуржуазного реформизма к признанию революционного насилия при определенных условиях. Наиболее часты в ее дневниках такие записи по поводу различных социологических учений, которые она штудировала: «...едва разберусь немного — во всем вижу две стороны — и правую, и неправую. Одна идея властвует мною: идея любви (общей)» (15 декабря 1895 года). Такой отвлеченный гуманизм, конечно, тоже оказывал свое влияние на формирующееся мировосприятие будущего писателя А. Толстого.

Оба они — и Александра Леонтьевна, и А. А. Бостром ощущали и подчас болезненно переживали противоречивость своего социального положения, не видя в то же время иных путей и средств к существованию. «Сельское хозяйство не идиллия, как думали прежде,— замечал в семейной переписке А. А. Бостром.— Это борьба каждого против всех. Практика стольких лет показала, что хозяйство убыточно. Надежда на поправку явилась у меня только от того, что я видел в последние годы, что я прежде хозяйничал все еще немного по-помещичьи. Не больно-то мне по вкусу совсем превращаться в буржуя, да где исход? Не поработай я на удельном участке,— Леле нечем проходить реальное училище. Жестокие обстоятельства, и вот я — буржуй...» (А. Л. Толстой, 4 мая 1898 года, ИМЛИ, инв. № 6330/72). «Это наше роковое положение,— вынуждена была соглашаться и Александра Леонтьевна,— помещиков, землевладельцев, которые

идеей от своего класса отстали. Но поди рассказывай всем и объясняй, кто же говорит, когда мы изо всех сил хлопочем, чтобы доходы получать. Это роковое противоречие, а из таких противоречий жизнь состоит. Вот этот классовый вопрос и мучит меня теперь» (А. Л. Толстая — А. А. Бострому, 16 сентября 1897 года).

Но во всех случаях «тухлая солонина» и конфликты с крестьянами не могут всерьез ставить под сомнение критическое отношение к самодержавию или разночинно-демократические традиции в доме, где кумирами были Белинский, Добролюбов, Некрасов. Нельзя забывать и того, что у самих хозяев Сосновки не всегда бывал на столе белый витой калачик, а Александра Леонтьевна, приезжая в Петербург, подчас не имела приличного выходного платья, чтобы появиться на званом литературном вечере. Факты, о которых идет речь, касаются, скорее, последовательности взглядов Бостромов, нравственной обстановки, в которой воспитывался А. Н. Толстой. И вот тут можно рассказать немало нового.

Александра Леонтьевна, эта не всегда оригинальная писательница, в отношениях с людьми была значительно глубже и последовательней либерального земца А. А. Бострома. Нравственный авторитет матери признавался всеми. Такой мы видим ее, в частности, и в тех произведениях А. Толстого, герои которых близки к прототипам. Любопытное столкновение между родителями происходит в рассказе «Логутка». «Идея о помощи гораздо важнее спасения какого-то Логутки» — такой цветистой фразой отговаривается от народной беды отец. Матушка поступает проще, она берет в дом и пытается спасти крестьянского мальчика. Так Александра Леонтьевна не раз поступала в действительности. «...Чего стоят мои мизерные сведения по медицине,— читаем в одном из ее дневников,— мои корешки, порошки и капли, а вместе с тем... Этот ребенок, вылеченный от сифилиса и теперь такой славный бутуз; другой, которому я свела бельмо; третий, которого вылечила от поноса; женщина, вылеченная от застарелых ран на грудях,— все это мелочь в море человеческих страданий, но эта мелочь,— какое счастье доставляет она мне...» (14 ноября 1885 года, Сосновка).

Александра Леонтьевна сознавала непримиримость интересов хозяина и работника. В ее бумагах есть на-

броски повести «История одного увлечения» (февраль 1895 года), главный герой которой — помещик Лошкарев. Основная мысль — показать, «как современное экономическое состояние общества, то есть отношение капитала к труду, развращающе действует на человека, даже решившего поступиться своими интересами ради справедливости». В повести должно было быть изображено постепенное «превращение Лошкарева из человека, мечтающего об общем благе, в узкого хозяина». Выход писательнице виделся в мелкобуржуазной утопии «всеобщей свободной инициативы», основанной на личном труде.

Александра Леонтьевна всю жизнь горячо любила его — своего болтливого умницу, свое «двадцать два несчастья», своего синеглазого красавца — Алексея Аполлоновича. И если что ее коробило в нем, чего она ему не прощала, так это превращение в «узкого хозяина». 13 февраля 1903 года она пишет ему «по поводу... тяжелого и мучительного периода охлаждения». С непоследовательностью женщины, забывающей, что подобное бывало и прежде, она упрекает Бострома: «Вообще мне казалось, что с переездом в город ты стал легкомыслен и мелочен, точно мне подменили тебя. Более всего, кажется, на меня подействовала твоя мелочная борьба с квартирантами. Она казалась мне очень некрасивой, она унижала тебя. Более всего я страдала от того, что тот Алеша, которого я любила в Сосновке, вдумчивый, серьезный, ищущий смысла жизни, труда на пользу обществу, вдруг превращается в веселого, фривольного человека, размениваюшегося на мелочи и, главное, старающегося прикрыть эту мелочность каким-то флагом идейности...»

Александра Леонтьевна запамятовала, как неполных шесть лет назад за то же самое, но только в отношениях не с квартирантами, а с крестьянами, она «отхлестала» своего Лешуру и не в письме, а на глазах многих тысяч читателей. В очерке «Воскресный день сельского хозяина», печатавшемся с продолжениями в «Самарской газете» (17 августа, 24 августа и 7 сентября 1897 года), она частично осуществила замысел — показать превращение «человека, мечтающего об общем благе, в узкого хозяина». В помещике Аркадии Васильевиче Булатове довольно прозрачно изображено отношение Бострома к крестьянам. «Сашуничка, как многие скандализированы твоим рассказом «Воск. день

сель. хоз.». То есть главное — за меня. Думают, наверное, что я рву и мечу...» — с наигранной бодростью писал ей тогда А. А. Бостром (10 сентября 1897 года).

В подшивках старых самарских газет я натолкнулся на интересные материалы. Осенью 1905 года газета «Самарский курьер», издававшаяся бывшими земскими либералами, выступила с серией фельетонов под общим названием «Бостромиада» (№ 382—384, сентябрь — октябрь 1905 года), в которых обвиняла Бострома в неблаговидных поступках за время его почти двадцатилетней земской службы. За Бострома вступилась «Самарская газета», занимавшая в то время демократические позиции (в ноябре—декабре 1905 года ее использовала местная социал-демократическая организация). Началась полемика. В № 186, 192, 196 и 197 «Самарской газеты» за сентябрь—октябрь 1905 года публикуются статьи А. Бострома — его «Ответы Молоту» (псевдоним фельетониста «Самарского курьера»). В газетах обсуждалась, по существу, вся жизнь Алексея Аполлоновича за предшествующие двадцать лет, которая состояла из цепи сплошных неудач и невезений.

В обиходе Алексей Аполлонович не был похож на человека, который, вставая из-за стола, обязательно опрокинет стул. Напротив, он был респектабелен, ловок в манерах, тактичен. Но в делах над ним точно тяготел злой рок. За что бы он ни принимался, жизнь неизменно ставила ему подножку. Неудачи, точно сговорившись, подстерегали его везде и во всем.

С молодости Бострома охватил реформаторский энтузиазм. Но первые же шаги на поприще председателя Николаевской уездной земской управы окончились для него жестоким ударом. Стоило новому председателю выступить против простой нечестности в исчислении налогов (доходность десятины крестьянской пашни считалась почти в два раза большей, чем помещичьей десятины), как его забаллотировали на выборах свои же сотоварищи — земцы.

Мечтавший о хозяйственном переустройстве всей российской деревни и устраненный от дел, Алексей Аполлонович с головой ушел тогда в хозяйство собственного небольшого хутора. И... окончательно разорился.

Долгими хлопотами Бостром добыл себе другую должность — члена губернской земской управы. И вот

новое жизненное испытание — страшный самарский голод 1891—1893 годов. На «груды тлеющих костей» летели перекупщики, спекулянты хлебом. Вместе с ними грела руки земская верхушка. У самарского миллионера Шихобалова губернская управа купила 12 тысяч пудов сгнившей муки. Цветом и вкусом она напоминала перетертую сосновую кору. «Красная» шихобаловская мука, раздававшаяся бедствующему населению, стала известна затем на всю Россию.

Алексей Аполлонович был в числе немногих, кто всеми силами старался помочь голодающим. Земским эмиссаром он едет в Саратов, куда вскоре последовала за ним Александра Леонтьевна с восьмилетним Алешей. Многие месяцы Бостром мечется по селам, выискивая продавцов хлеба. Один за другим на Самару уходят снаряженные им вагоны с мукой и семенами. Бостром на сей раз уверен, что он с честью «послужил земству». Но какова же награда победоносному посланцу? Оказывается, он нажил себе десятки новых врагов среди коллег-земцев. Тем, что путал чьи-то карты, «отпугивая» поставщиков, разоблачал недовесы, отказывался от затхлых семян и т. д. К тому же, порывистый и непрактичный, занятый одним — чтобы накупить хлеба больше и быстрее, Бостром совершал купчие в спешке, кое-как оформлял документы. И в довершение всех бед, запутавшись в финансовых отчетах, на многие годы попал под следствие.

Фельетонная «Бостромиада» в сентябре — октябре 1905 года была атакой на единственное достояние, оставшееся у горемычного Алексея Аполлоновича,— на его доброе имя.

Горькое бытописание своей земской службы, рассказ о темных махинациях земских заправил Алексей Аполлонович начал издалека, с момента, как его выжили из Николаевской уездной управы. В четвертой большой статье Бостром добрался только до продовольственной кампании 1891 года. Правдивость и доказательность на его стороне. Казалось, еще немного, вот-вот — и грязные наветы с его имени упадут навсегда. Но... грянула октябрьская стачка 1905 года. В нахлынувших революционных событиях газете и читателям было уже не до мытарств одинокого земца. Публикация статей А. А. Бострома оборвалась на полуслове.

Половинчатость жизненных позиций Бострома определила многие из его злоключений. Алексей Аполлоно-

вич был слишком мягок характером, слишком честен, чтобы преуспевать на ниве предпринимательства. Он был чересчур искренним либералом («помещиком-марксистом», как называл его позже А. Н. Толстой), чтобы добиться успеха даже среди своих же сотоварищей-земцев. И он был слишком непоследователен, чтобы отказаться от попыток буржуазного преуспевания. Наоборот, предпринимательская жилка, растравляемая постоянными неудачами, временами азартно пульсировала в нем. Он становился прижимист, скареден, совершал те самые поступки, которые встречали резкий отпор у Александры Леонтьевны и которых он сам позже стыдился. Тогда, махнув рукой, он снова становился самим собой. Добродушным неудачником.

Своей характерностью эта жизненная драма, по-видимому, и привлекала Толстого-писателя, который прозрачно вывел отчима в ряде произведений 1912—1921 годов.

И если А. А. Бостром не сгинул много раньше столь жалко и плачевно, как это в конце концов с ним и случилось, то благодаря Александре Леонтьевне, а точнее сказать, благодаря их любви, тому, что они представляли собой вдвоем, вместе. Исключительна была нравственная сила этой женщины.

К пятидесяти годам в Александре Бостром трудно было узнать прежнюю графиню А. Л. Толстую. Время, ревматизм ног, управительство в доме и писательские труды внешне сильно ее изменили. Она растучнела, как купчиха, подбородок, губы отяжелели, а нос словно бы еще укрупнился; первому впечатлению ее лицо казалось властным, мужеподобным. Но впечатление это скоро пропадало, особенно если Александра Леонтьевна включалась в какой-либо общий разговор или спор на интересовавшую ее тему. Ее светло-карие глаза лучились, источая доброту, ум, всепонимание. И собеседник, замечая маленькую родинку на правой щеке и проступавший легкий румянец застенчивости, когда она собиралась сказать свое мнение, начинал чувствовать обаяние, каким была наделена Александра Леонтьевна.

Да, и к пятидесяти годам она оставалась все той же «тургеневской женщиной». Не растратившей своей душевной молодости, хромой, седовласой максималисткой — часто на беду самой себе продолжавшей подгонять отношения с людьми под собственные иде-

альные представления. Алексею Аполлоновичу бывало нелегко с нею. Он был убежден, конечно, что Сашуня многое усложняет, что она непрактична, наивна. Но только вместе и рядом с нею он чувствовал, что среди служебных крахов, человеческой низости, фатальных невезений его собственная жизнь не теряет осмысленного течения, некой независимой значимости, убеждения не рушатся, а мечтаниям по-прежнему нет отбоя. Это она, Сашуня, давала ему новые силы.

А она не могла быть иной даже в моменты душевного разлада и усталости. В одну из таких минут за три с небольшим года до смерти она писала Бострому, всматриваясь в пройденный вместе путь: «...А ведь, может быть, Лешура, мы и были с тобой героями во дни нашей юности и нашей героической любви? Были! Ошибка была та, что я не знала, что люди возвышаются до героического в некоторые минуты жизни, более или менее продолжительные. Наш героический период продолжался несколько лет. Я же хотела продлить его до самой смерти. Повседневная жизнь стаскивает героев с их пьедесталов, и надо благодарить судьбу, если стащит на сухое место, а не в грязь...» (13 февраля 1903 года, ИМЛИ, инв. № 6311/86).

Но дело заключалось в том, что их необыденная любовь продолжалась до смерти.

Насколько мать вообще может стать для сына вторым «я», она была им в жизни А. Толстого. Все ее письма, дневники полны Лелей. Перед интересами сына всегда отступали ее собственные интересы. Ради него она без звука откладывала в сторону дело своей жизни — творчество. В ее письмах к Бострому часты такие строки: «В то время, когда я писала повесть, я много упустила по Лелиному учению... Нет, я вот что решила — пока... ничего не буду писать, чтобы не отвлекаться от него...» (Письмо без начала, по-видимому, февраль 1894 года.)

Из переписки Александры Леонтьевны и А. А. Бострома рвутся настоящие стоны по поводу разлуки, которую им приходится терпеть из-за того, что она живет то в Сызрани, то в Самаре вместе с поступившим в реальное училище Алешей. Она тосковала, томилась, беспокоилась — как он там, что с ним? — за своего Алексея Аполлоновича. Неблагодарный Лелька не хотел понять, чем жертвуют для него. Он плохо учился, дерзил училищному начальству. Однажды, при полу-

чении известия о веренице Лелькиных двоек и «без обеда», Алексей Аполлонович не сдержался. «...Я не мог тогда приписать к письму, как хотел, не мог, у меня в груди бурлило, боялся написать нехорошее. И теперь боюсь даже спрашивать, как пошло дальше. Неужели такова будет плата за нашу разлуку...» (А. А. Бостром — А. Л. Толстой, сентябрь 1897 года). Таких взрывов чувств Алексей Аполлонович больше себе не позволял. Мальчика он любил как родного сына. Но послания, в которых сквозила плохо спрятанная тоска, часто летели из Сосновки в годы их разлуки, прерываемой лишь краткими наездами Бострома и каникулами.

Конечно, в Самаре было немало надежных опекунов. Да и от Сосновки до города не так уж далеко. Сколько раз утешалась этим Александра Леонтьевна, давая себе слово, что нынешняя зима будет последней. И тогда пропадет нужда в мучительной, бесконечной разлуке, в этих письмах, которые они даже нумеровали — № 1, № 2, № 3...— с невеселой шуткой, словно провожая этими номерами уходящие друг без друга дни. Но очередная осень снова заставала ее вздыхающей над строчками, которые выводила рука... У нее было «два Лешуры», но долг звал ее безотлучно находиться при том, который больше в ней нуждался...

Мать была не докучливым наставником, а авторитетом, чутко улавливавшим малейшие перепады в настроениях и склонностях подростка, а затем юноши. И неуступчивым только в одном. Главное — это взгляды, определенные убеждения, без которых нет человека. На этом она стояла всегда.

Хорошо, если бы у юноши подобрался круг знакомств, в котором бы молодежь не только пустоплясничала, но и приобщалась к серьезным интересам. Она делает свою снятую в Самаре квартирку местом, где может собираться кружок сверстников А. Толстого. «В воскресенье хотят прийти ко мне, чтобы почитать вслух... Угощу чаем, яблоками, и будет. Надо, чтобы было дешево и доступно. Привезешь фортепьяно, будет молодежь музицировать. Пускай веселятся. Привези с собой Добролюбова (сочинения, 4 тома)...» (А. Л. Толстая — А. А. Бострому, 22 сентября 1899 года). Четыре тома Добролюбова кажутся ей необходимым добавлением к музыке и танцам!

Она прислушивается к юношеским спорам об альтруизме и эгоизме, в одном из которых Толстой доказывал, что «не альтруисты, а эгоисты двигали прогресс», и что «массы, двигавшие историю и прогресс, сами-то двигались не филантропическими идеями, а побуждениями эгоизма» (А. Л. Толстая — А. А. Бострому, 3 ноября 1899 года). И тут же Александра Леонтьевна использует этот повод, чтобы помочь сыну освободиться от абстракций незрелого юношеского мышления, пробудить у него интерес к современной социологии, где сама она, наряду с народническими, разделяла и некоторые марксистские идеи. Она продолжает в том же письме, видимо, уже после разговора с сыном: «...Ему хотелось бы коротких, ясных статей, вроде статьи в «Жизни»... Привези, пожалуйста, с собой «Жизнь». Говорят, в последней книжке очень интересная статья «О материалистическом понимании истории...» Журнал «Жизнь», который она просит для А. Толстого, хорошо известен. Это орган легального марксизма, но в нем участвовали и революционные марксисты. В 1899—1900 годах публиковались там и статьи В. И. Ленина, а литературный отдел фактически вел А. М. Горький...

В ее письмах-напутствиях сыну выражен и целый кодекс нравственных убеждений, которому она строго следовала всю жизнь сама. Она была убеждена, что эгоист, живущий для одного себя, «...это все равно как человек без зрения и слуха... Я, скорее, соглашусь быть страдающим человеком, чем торжествующей свиньей» (А. Л. Толстая — А. Н. Толстому, 4 июля 1900 года). Ей, дворянке из родовитой семьи, бывшей графине, была навсегда отвратительна барская спесь и снобизм аристократов. В жизни она была труженицей, демократкой, разночинкой.

Летом 1901 года она остерегала восемнадцатилетнего студента-сына, который вместе с наследством от отца фактически воспринял и титул графа: «Просто непереносно видеть, когда более сильный измывается над слабым. К сожалению, так сложились обстоятельства, что тебе особенно надо беречься этого страшно ненавистного всем порядочным людям положения. Твой титул, твое состояние, карьера, внешность, наконец,— большею частью поставят тебя в положение более сильного, и потому мне особенно страшно, что у тебя разовьется неравное отношение к окружающим,

а это, кроме того что некрасиво, не этично,— это может привести к тому, что, кроме кучки людей, окружающих тебя и тебе льстящей, ты потеряешь уважение большинства людей, таких людей, для которых положение не есть сила». И еще раз она советовала начинающему студенту Петербургского технологического института: «...Мне кажется, что твой титул, твоя одежда и 100 р. в месяц мешают пока найти самую симпатичную часть студенчества, нуждающуюся, пробивающуюся в жизни своими силами» (А. Л. Толстая — А. Н. Толстому, 18 октября 1901 года).

Таким исполненным демократизма и гражданственности письмам нет конца. И это влияние матери не проходило даром. В начале 900-х годов юный Толстой вручил журнальному критику Корнею Чуковскому «полное собрание неизданных и до сих пор никому неизвестных» своих сочинений (двенадцать тетрадей, по 200—300 страниц в каждой, заполненных прозой и стихами). Полвека спустя, перечитывая сохранившиеся тетради, К. Чуковский писал, что в них «...чудилось старозаветное гуманное влияние матери, закваска народолюбивых семидесятых годов». И подчеркивал: «...Мне кажется, тот ничего не поймет в Алексее Толстом, кто забудет об этом длительном периоде его умственной жизни» (К. Чуковский. Из воспоминаний. М., Советский писатель, 1958, с. 275).

Знакомясь с новыми архивными материалами, видишь, как верно это наблюдение критика. Даже в своей первой книге «Лирика» (1907) Толстой, оказывается, не только подражал модному символизму. Во всяком случае, в первоначальном замысле он ставил для себя несколько иную и, прямо скажем, фантастическую цель — соединить Некрасова и Бальмонта. Об этом можно судить по очень важному для нас письму из числа обнаруженных в Куйбышеве. По-видимому, в конце 1906 года А. Толстой сообщал отчиму:

«...Я, знаешь, думаю выпустить сборник своих стихов... Итак, благослови мой первый шаг. Все-таки страшновато. Конечно, приступлю к осуществлению не раньше января или февраля месяца.

В газетах помещать очень не хочется, нужно приноравливаться к условиям и требованиям ее, писать, не дописывая, говорить, не договаривая.

Только не знаю, понравятся ли тебе мои стихи; я выбрал для них среднюю форму между Некрасовым и

Бальмонтом, говоря примерами, и думаю, что это самое подходящее.

Исходная точка — торжество социализма и критика буржуазного строя... Мне обидно за наших поэтов — Ницше утащил их всех «в холодную высь с предзакатным сиянием»... К счастью, Ницше меня никуда не таскал, по той простой причине, что я ознакомился не с ним, а с г-ом Каутским, и поэтому я избрал себе таковую платформу...»

И если А. Толстой довольно быстро расквитался с символизмом и вскоре связал свое творчество с реалистическим направлением, став беспощадным критиком помещичьего класса России, то в большой мере он обязан этим, по словам К. Чуковского, предшествующему длительному периоду его умственной жизни.

Тут-то и следует рассказать об одном удивительном человеке, дом которого сыграл заметную роль в жизни многих литераторов. Рядовой судебный следователь в Самаре, никогда не имевший прямого отношения к литературе, этот человек был близким другом, товарищем или просто знакомым писателей-современников — от Глеба Успенского, Златовратского и Гарина-Михайловского до Горького и Чехова. Дом «веселого праведника» многое определил в писательской судьбе Александры Бостром, а через нее — и в жизни Алексея Николаевича Толстого.

Глава пятая

В ДОМЕ ВЕСЕЛОГО ПРАВЕДНИКА

Изредка в мире нашем являются люди, которых я назвал бы веселыми праведниками... Мне посчастливилось встретить человек шесть веселых праведников; наиболее яркий из них Яков Львович Тейтель, бывший судебный следователь в Самаре... Вполне солидный возраст Тейтеля нимало не мешает ему делать привычное дело, которому он посвятил всю свою жизнь; он все так же неутомимо и весело любит людей и так же усердно помогает им жить, как делал это в Самаре в 95—96-х годах.

Там, в его квартире, еженедельно собирались все наиболее живые интересные люди города... Царила безграничная свобода слова.

М. Горький. О Гарине-Михайловском

Альбомы поднадзорного фотолюбителя

С Гариным-Михайловским Александру Леонтьевну познакомил Я. Л. Тейтель. Было это так. Затворившись в номере для дешевых постояльцев — одна в целом Петербурге,— Александра Леонтьевна предавалась размышлениям о тщете писательских трудов. Унизителен был вчерашний вечер на дому у издательницы влиятельного журнала «Мир Божий» Давыдовой. В сотый раз Александра Леонтьевна убедилась, что в надутой, занятой собой литературной столице писательница-провинциалка ровным счетом никому не нужна.

Яков Львович Тейтель как будто угадал ее настроение. Он явился в гостиницу с известным литератором Н. Гариным-Михайловским. «Третьего дня Тейтель и Михайловский были у меня, а вчера я ездила в Царское Село к Михайловским обедать. Очень я довольна этой поездкой... Просидела я у них до 10 вечера, разговор был непрерываемый... Говорили больше о литературе, о писательстве... У Давыдовой — там чувствовалась издательница, некоторым образом покровительница, тут же был свой брат, равноправный писатель... Над[ежда] Вал[ерьевна] (жена Гарина — одно время издательница журнала «Русское богатство». — *Ю. О.*)

спросила, нет ли у меня чего-нибудь для «Русского богатства»...» (А. Л. Толстая — А. А. Бострому, 17 января 1895 года, ИМЛИ, инв. № 6311/29).

Не будь найден в Куйбышеве архив А. Н. Толстого, наши представления о некоторых сторонах литературной жизни конца прошлого века были бы беднее. Не только деталями и подробностями, но подчас и значительными фактами, глубже раскрывающими роль иных лиц в общественно-литературном движении того времени. Среди прочего в куйбышевских бумагах содержится немало интересного о Гарине-Михайловском и в особенности — о необычайной деятельности Я. Л. Тейтеля.

Начиная с января 1895 года из переписки семьи Толстого можно почерпнуть свидетельства о неоднократных встречах с Н. Гариным, об атмосфере в его доме, о наделавшей шуму самарской премьере его драмы «Орхидея» и т. п. В 1903 году Н. Г. Гарин-Михайловский принимает участие в судьбе некоторых пьес Александры Леонтьевны, вводя ее в петербургскую театральную среду... Любопытно, что отношения писательницы-матери с Гариным затронули и А. Толстого. «В «Мире Божьем» есть очень хорошая статья Михайловского «Бурлаки»...» — откликается двенадцатилетний Алеша на только что завязавшееся знакомство (матери, из Сосновки,— 31 января 1895 года). И увлеченно пересказывает прочитанное. О позднейших личных встречах А. Толстого с Гариным-Михайловским, к сожалению, есть лишь скупые и мало что дающие упоминания. Вроде: «От Тейтеля я знала уже, что ты ехал с Михайловским...» (А. Л. Толстая — А. Н. Толстому, 4 июля 1900 года). Или — весной 1904 года (когда отношения с Гариным осложнились): «У Михайловского я был и не застал: написал ему письмо и поеду вторично» (А. Н. Толстой — матери). Будем надеяться, что удастся найти новые факты об отношениях молодого Толстого с одним из ярких представителей демократической литературы.

Имя Тейтеля возникает в материалах архива Толстого не только в связи с Гариным-Михайловским. Читая семейную переписку, я постоянно видел, как к этому человеку тянутся десятки нитей, как он вмешивается в ход событий.

«Когда ты уехал, то мы отправились к Тейтелю...»

(А. Н. Толстой — А. А. Бостpому, по-видимому,— январь 1893 года).

«Яков Львович... предложил сейчас пойти познакомить меня с Давыдовой, издательницей «Мира Божьего» (А. Л. Толстая — А. А. Бострому, 14 января 1895 года).

«Остановилась я у Тейтеля...» (А. Л. Толстая — А. А. Бострому, без даты).

«...Лешурочка, спроси у Тейтеля адрес Екат. Влад. (Екатерина Владимировна — жена Я. Л. Тейтеля.— *Ю. О.*), кот[орая] сейчас в Петерб[урге], она... познакомит меня с Горьким» (А. Л. Толстая — А. А. Бострому, 21 ноября 1903 года, из Москвы, ИМЛИ, инв. № 6311/94).

И так далее, в таком же духе.

Я обратился к известным — и довольно многочисленным — свидетельствам современников об этом любопытном человеке и роли его «клуба» в общественно-литературной жизни Самары 90-х годов. И сразу же встретился с серьезными затруднениями. «Клуб» Я. Л. Тейтеля оказался явлением сложным, противоречивым и вдобавок неизученным.

Для обобщающих оценок деятельности тейтелевского «клуба», завсегдатаями которого были многие писатели, сплошь и рядом требовались дополнительные материалы. Их поисками и пришлось заняться.

Конечно, новые факты куйбышевского архива А. Н. Толстого — лишь частица происходившего в доме «веселого праведника». Но я не видел другого пути «вписать» их в общую картину, как попытавшись нарисовать ее в целом, а это повлекло за собой и рассказ о судьбе самого Я. Л. Тейтеля.

Провинциальная жизнь начала 90-х годов, широкое развитие либерально-народнического направления естественно выдвигали подобную фигуру. При немногочисленности радикальной интеллигенции в тогдашних губернских центрах, при интенсивности ее духовной жизни (когда в освободительном движении начал утверждать себя марксизм, но во многих головах еще господствовали народнические умонастроения) — в эту пору такие люди, как Я. Л. Тейтель, могли оказываться в центре общественно-политической жизни.

Эта добрейшая душа, этот неисправимый утопист и человеколюбец как бы олицетворял собой до поры до времени потребность в обмене мнениями передовой

разночинной интеллигенции тогдашней Самары. Глухая мещанско-полицейская ночь, лежавшая за окнами квартиры Тейтеля, приводила сюда очень разных, нередко идейно враждебных друг другу людей. Дом «веселого праведника» стал узловым перекрестком жизненных и литературных дорог. Здесь звучали речи народников, марксистов, либералов, толстовцев, тут спорили о политике и искусстве, здесь рождались темы статей, пьес и рассказов, тут не однажды затевались смелые предприятия, многим из которых не суждено было осуществиться...

Когда-то американский поэт-гуманист Уитмен написал одно из самых коротких своих стихотворений, вот оно: «Первый встречный, если ты, проходя, захочешь заговорить со мною, почему бы тебе не заговорить со мною? Почему бы и мне не начать разговора с тобой?» По-житейски банальной эта мысль станет, наверное, только в обществе, которое создаст подлинно братские отношения между людьми, свободными от всяческих классовых и социальных различий.

По внутренней потребности доверия к людям, по потребности «заговорить с первым встречным», по самозабвенности, с какой этот интеллигент-пролетарий всегда жил для других, Я. Л. Тейтель был как бы человеком будущего. Но окружающая жизнь находилась в вопиющем противоречии с избранными «веселым праведником» средствами ее преобразования. Его расплывчатые политические взгляды, в сущности, мало чем отличались от либерально-народнических. Такие энтузиасты, как Тейтель, существуют, по словам Горького, «на темном фоне жестоких социальных отношений... вопреки здравому смыслу, бытие этих людей совершенно ничем не оправдано, кроме их воли быть такими, каковы они есть». В той же Самаре начала 90-х годов была уже предопределена последующая судьба тейтелевского «клуба»...

Новая «цепочка» поисков, встреч, знакомств с людьми завязывается иногда внезапно. В 1961 году в московском архиве А. М. Горького среди малого числа сохранившейся переписки Я. Л. Тейтеля с писателем меня остановило старое, начала 20-х годов, письмецо из Самары. Писала некая Ф. Хорош — племянница Якова Львовича и, как легко было понять, очевидица

многих событий тех лет, когда дом Тейтеля посещали В. И. Ленин, М. Т. Елизаров, а среди бессчетных завсегдатаев бывали там Гарин-Михайловский, Златовратский, Евг. Чириков, Скиталец, А. Л. и А. А. Бостромы с А. Толстым и, наконец, сам тогдашний фельетонист «Самарской газеты» молодой Горький.

На конверте был четко выписан обратный адрес: «Самара, улица Советская, дом № 101, кв. 1». Я тысячу раз ходил по этой улице в Куйбышеве, центральной, самой, вероятно, старинной и потому самой неизменившейся улице города. Кажется, даже стоял против дома, где живет Ф. Хорош. Старый адрес гипнотизировал. Я усмехнулся: сверхнелепо искать по адресу сорокалетней давности человека, чей предположительный возраст лет восемьдесят! Однако в том же письме Горькому Ф. Хорош сообщала, что живет не одна, а с младшей сестрой Марией Давыдовной Розенблюм — «подругой Е. П. Пешковой по гимназии». А вдруг? Кто знает, какие интересные материалы, письма, фотографии, характеризующие дом Я. Л. Тейтеля, могли сохраниться в семье сестер — самарских старожилок. К тому же...

Когда Горький в очерке «О Гарине-Михайловском» (1927) проникновенно писал о Тейтеле, тот жил за границей, в Германии. Вскоре след Якова Львовича затерялся. Но ведь до революции семейство (а точнее — род Тейтелей в Самаре) было многочисленным. Не сохранился ли сейчас кто-либо из самарских Тейтелей?

Перед отъездом в Куйбышев, где к тому времени я уже не жил, решил обратиться к покойной ныне Екатерине Павловне Пешковой, жене и другу А. М. Горького. Ей-то должно быть многое известно о Я. Л. Тейтеле и его близком окружении. Так и оказалось.

— Мария Давыдовна Розенблюм? — заинтересовалась Екатерина Павловна.— Как же, как же, помню! С Манечкой мы кончали гимназию. И через нее, вернее, через дом Якова Львовича Тейтеля, куда меня ввела Маня, Мария Давыдовна по-нынешнему, я вскоре попала на работу в «Самарскую газету»... Потом это была пианистка и певица. Алексей Максимович рассказывал мне о встрече с ней в Петербурге, передавал приветы. Что стало с ней позже — не знаю... Вообще же Тейтель,— продолжала Екатерина Павловна,— это разговор большой... Недавно вот один зарубежный любитель Горького подарил мне библиографическую ред-

кость — книгу Я. Л. Тейтеля «Из моей жизни за сорок лет», изданную в середине 20-х годов. Перечитала — и сегодня как живое все стоит перед глазами...

Екатерина Павловна подробно рассказала о самарских «ассамблеях» в доме Тейтеля, которые посещала вместе с А. М. Горьким, о своей позднейшей переписке с Яковом Львовичем, о встречах с Бостромами и А. Толстым («впервые я увидела его с матерью, известной у нас писательницей, в городском Струковском саду; беседуя часто в 20-е и 30-е годы, когда он бывал у нас, еще смеялись с Алексеем Николаевичем, что писателя А. Толстого я знаю с шестилетнего возраста»)... «А родственников у Тейтеля, вы правы,— заметила она,— должно быть много... И в Москве есть. Несколько лет назад я встречалась с одной — по фамилии Карасик. Где-то она и сейчас тут проживает...»

Результаты приезда в Куйбышев оказались далеко не такими, как нарисовала фантазия: ни Ф. Хорош, ни М. Д. Розенблюм последние двадцать пять лет среди жителей Куйбышева не значились...

Зато обнаружилось еще несколько Тейтелей, работавших на разных куйбышевских заводах. Так я очутился в доме на крутом спуске к Волге — у Евгении Дмитриевны Тейтель, родоначальницы остальных числившихся в адресном столе Тейтелей. Евгении Дмитриевне было уже за восемьдесят. В прошлом она портниха, из рабочей семьи Никифоровых. Ее муж — брат Я. Л. Тейтеля — Исаак Львович, который был намного старше жены, издавна вел юридические дела в служебной конторе Гарина-Михайловского. Вместе с неуемным инженером-писателем исколесил тысячи верст. Участвовал, в частности, в изысканиях по строительству железнодорожного моста через Обь. Дальновидный проект этого участка «великого сибирского пути», разработанный тогда Гариным-Михайловским, определил место возникновения города — теперешнего Новосибирска, первооснователем которого Гарин-Михайловский по праву считается.

Доверенным юрисконсультом Гарина-Михайловского И. Л. Тейтель оставался до самой смерти писателя. Евгения Дмитриевна рассказывала о последствиях, которые навлек на себя Я. Л. Тейтель за «сборища неблагонадежных элементов» в своем доме, о приезде в 1910 году А. Н. Толстого в Самару. Хорошо знал Евгению Дмитриевну А. М. Горький, бывавший в этой их

квартире на улице Льва Толстого, как она теперь называется.

В разговоре упомянула Евгения Дмитриевна и еще об одном человеке, родственнике братьев Тейтелей, который также жил в Самаре и был, правда, позднее, заметной фигурой в сельскохозяйственном Заволжье. В годы перед первой мировой войной он состоял в должности губернского агронома. Звали его Александр Владимирович Тейтель.

Знатоки степного зерноводства сохранили о нем добрую память. Позже в одной сельскохозяйственной брошюре 60-х годов я прочитал: «...Александр Владимирович Тейтель — губернский агроном, председатель Самарского общества улучшения крестьянского хозяйства, редактор журналов «Самарский земледелец» и «Земский агроном». Деятельность А. В. Тейтеля и возглавляемых им организаций была направлена на внедрение прогрессивных начал в земледелии...»

В первые же месяцы Советской власти Александр Владимирович Тейтель встал на ее сторону. «7 декабря 1918 года,— сообщает брошюра,— коллегия Самарского губернского земельного отдела, заслушав доклад заведующего сельскохозяйственным подотделом А. В. Тейтеля, принимает ряд важных решений. 12 декабря 1918 года на заседании одной из комиссий Самарского губернского съезда Советов с большим докладом выступает А. В. Тейтель. Он говорит о проблемах и возможностях, открывшихся перед сельским хозяйством края» (Е. Хаванов. Рассказ о королеве полей. Из истории выращивания кукурузы в Среднем Поволжье. Куйбышев: Кн. изд-во, 1963, с. 19, 22).

Словом, в семейном окружении судебного следователя также имелись люди крупные и интересные.

К сожалению, это было почти все, что я узнал от куйбышевских Тейтелей. Никаких материалов или переписки того времени у них не сохранилось. Их родственники — Ф. Хорош и ее сестра, по словам Евгении Дмитриевны, выехали куда-то в Читу и там умерли. В разговоре, правда, опять возникла московская фамилия Карасик, которую упоминала Е. П. Пешкова...

Не буду рассказывать подробно о всех дальнейших хождениях. В Москве З. М. Карасик нашлась быстро. Она оказалась племянницей Я. Л. Тейтеля, ученым и оригинальным художником, что называется,— «натурхудожником», которые в ту пору у нас только начали

появляться: из причудливой формы древесных корней, сучков, стеблей растений и шишек она создавала собственное царство — типажи людей, зверей, птиц, рыб и т. д. Затем была встреча в Ленинграде с ее братом Владимиром Моисеевичем Карасиком, действительным членом Академии медицинских наук. (Это им, тогдашним детишкам самарского врача, добрый выдумщик Гарин-Михайловский подарил свою книгу «Детство Темы» с надписью: «Моим друзьям — маленьким Карасикам...»). Брат и сестра знали Я. Л. Тейтеля и его окружение в поздний период — в 1902—1917 годах. Хочу сказать, кстати, что подобные встречи не только восполнили пробелы в архивных и книжных материалах. Они сделали ощутимыми связи между людьми далекого времени: тут живого очевидца не заменят никакие письменные источники... Однако последние посещения дали еще и другой результат. Возник адрес родственницы Карасиков, кажется, двоюродной сестры.

Словом, длинная цепочка поисков, встреч, начавшаяся с чтения письмеца 20-х годов, привела меня в конце концов в громадное жилое здание на Ленинском проспекте в Москве — в квартиру доктора химических наук Р. В. Тейс. Руфина Владимировна была из тех людей, что сразу располагают к себе,— седая невысокая женщина, с выражением ровного дружелюбия в голубых глазах и старомосковским интеллигентным выговором. И вот тут меня ждал сюрприз. Специалист по одной из новых отраслей химии, «доктор изотопов» Р. В. Тейс оказалась обладательницей единственной в своем роде коллекции старинных фотографий. Содержащиеся в ней снимки (в подавляющем большинстве до того неизвестные) не только характеризуют «дом» Я. Л. Тейтеля конца прошлого века, тогдашнюю общественно-литературную среду, но часть фотографий и прямо дополняет недавнюю куйбышевскую находку — архив А. Н. Толстого.

Руфину Владимировну явно взволновали воспоминания далеких лет. Среди прочего она сообщила, что где-то у нее должны быть («вероятно, любопытные для вас...») альбомы, доставшиеся ей от отца — страстного фотолюбителя. Можете представить, с каким интересом полчаса спустя я листал и разглядывал доверху набитые снимками альбомы в старинных бархатных и сафьяновых переплетах, слушая одновременно комментарии Руфины Владимировны.

Первое, что бросилось в глаза, были снимки Алексея Николаевича Толстого. На одном будущий писатель изображен с матерью и отчимом, держащим на руках маленькую приемную дочь Шуру — А. А. Перякову. Судя по тогдашнему возрасту Шуры, фотография относится к 1901—1902 годам. Другие снимки — ранние: Алеша с книгой; 10—12-летний мальчик с матерью... Два портрета самой Александры Леонтьевны (конца 80-х — начала 90-х годов).

Особенность альбомной коллекции заключалась в том, что в большинстве это были так называемые любительские снимки. Объектив запечатлевал не сосредоточенно-парадные позы, которые увековечиваются в профессиональной мастерской, а как бы заставал людей врасплох — за повседневными занятиями, в домашнем кругу и т. п. А в умении увидеть натуру фотограф, несомненно, был знатоком и поэтом своего дела.

На страницах альбомов развертывается «фотолетопись» чуть ли не всей жизни Якова Львовича Тейтеля. С расцвета его деятельности в Самаре 90-х годов до времени, когда он, уже дряхлым стариком, сидя в качалке, раздумывает о прожитом...

Из самарского окружения Я. Л. Тейтеля — много фотографий писателя Евг. Чирикова, известного последующим активным сотрудничеством в горьковском издательстве «Знание». В середине 90-х годов Е. Н. Чириков работал сначала в «Самарской газете», а затем — в обновленном марксистами «Самарском вестнике» и, как показывают жандармские донесения, находился под надзором полиции (ГАКО, ф. 465, д. 775). К этому времени и относится первая фотография: тридцатилетний Чириков — в кабинете редакции провинциальной газеты за работой... Поздние снимки: Е. Н. Чириков с женой в кругу семьи Я. Л. Тейтеля (между 1908—1911 годами); Чириков — популярный писатель в Москве (с дарственным автографом родителям Р. В. Тейс); Чириков — на пароходной прогулке в Жигулях (1912 год)...

Из других посетителей тейтелевского «клуба» в Самаре оригинально представлен А. Н. Хардин, присяжный поверенный окружного суда. С ним поддерживала давние отношения и, как упоминалось уже, консультировалась в затруднительных случаях Александра Леонтьевна.

У присяжного поверенного А. Н. Хардина в период

пребывания в Самаре состоял помощником молодой В. И. Ленин. На одном из снимков начала 90-х годов Андрей Николаевич изображен за шахматной доской, наедине разбирающим окончание какой-то партии. Какому же заочному противнику готовил ответные ходы Хардин?

По свидетельству современников, В. И. Ленин «любил бывать у Хардина», с которым находился «в близких отношениях» («Молодые годы В. И. Ленина». М., Молодая гвардия, 1958, с. 398). Хардин знал, что Владимир Ильич «приписывался к адвокатскому сословию не ради занятий адвокатурой, а просто чтобы иметь возможность легального, в глазах властей, существования» (Там же, с. 406).

Любопытно, что в знакомстве с А. Н. Хардиным и последующем сближении не последнюю роль сыграли шахматы. В одной из газетных статей содержались интересные подробности о том, как это происходило.

Хардин «был уроженцем Самарской губернии. По окончании юридического факультета Казанского университета он жил некоторое время в провинции, где наряду с адвокатской практикой много занимался изучением шахматной теории. Затем переехал в Петербург. Здесь Хардин не без успеха встречался с сильнейшими мастерами страны. В 1877 году М. Чигорин, помещая в своем журнале «Шахматный листок» теоретическую статью Хардина, назвал его «известным весьма сильным игроком». А в следующем году там были напечатаны три партии Хардина — выигранная у Алапина и две против Чигорина. В одной из них самарский шахматист заставил своего грозного противника сдаться на 25-м ходу...»

Зимой 1888/89 года восемнадцатилетний Владимир Ильич Ульянов, живший тогда в Казани после возвращения из своей первой ссылки, начал через посредство Марка Тимофеевича Елизарова шахматную партию по переписке с А. Н. Хардиным. Инициатива принадлежала не Владимиру Ильичу. М. Т. Елизаров, близкий друг семьи Ульяновых, хорошо знал самарского мастера и сам был страстным шахматистом. «По-видимому, игра молодого Ульянова произвела на него сильное впечатление, раз он решил по возвращении в Самару организовать его партию по переписке с Хардиным... Только истинная любовь к шахматному искусству и стремление играть с более сильными сопер-

никами, которых было так мало в Казани, могли послужить причиной того, что скромный юноша согласился играть по переписке с самарским шахматистом, пользовавшимся всероссийской славой».

Игра длилась несколько месяцев. «Владимир Ильич партию проиграл. После переезда из Казани в Самару он лично познакомился с Хардиным.

Кроме квартиры Ульяновых, в Самаре было еще несколько домов, где проводились шахматные состязания. Регулярно устраивались они, например, у народника Николая Степановича Долгова и, конечно же, у Андрея Николаевича Хардина, с которым у Владимира Ильича сложились самые хорошие, можно сказать, дружеские отношения. Хардин проводил за шахматами почти все свое свободное время.

Возможно, у Хардина состоялся турнир с участием Владимира Ильича зимой 1889/90 года, о котором рассказал позднее младший брат Ленина. Это был турнир-гандикап — соревнование, в котором более сильные участники давали своим противникам, игравшим слабее, пешку и ход, легкую фигуру или даже ладью вперед. Участники турнира — на этот раз их насчитывалось 8—10 — соответственно шахматной силе каждого подразделялись на четыре группы...» (И. Линдер. Самарский партнер.— «Неделя», 1968, 28 января, № 5 (413).

«...В это время,— вспоминает Д. И. Ульянов,— Владимир Ильич больше чем когда-нибудь увлекался шахматами. Он играл главным образом с Хардиным, но также и с другими самарскими шахматистами. Был организован турнир с участием 8—10 человек... В первой категории (разряде) был один Хардин, во второй — Владимир Ильич... Победителем турнира вышел Владимир Ильич» («Молодые годы В. И. Ленина», с. 411). Не в такие ли дни шахматных боев и был сделан снимок, который, наряду с другими неизвестными фотографиями А. Н. Хардина, с интересом встретили позже в одном из фондовых хранилищ Института марксизма-ленинизма...

Многие другие фотографии как будто забытых ныне людей важны для историка и литературоведа. Приведу пример. С начала 90-х годов Самара, по свидетельству современников, становится «одним из провинциальных штабов марксизма». А вскоре тут возникает своеобразное в истории журналистики явление.

Осенью 1896 года все тот же неутомимый Н. Г. Гарин-Михайловский выдвигает смелый проект. Газета «Самарский вестник», где и до этого сотрудничали некоторые марксисты, должна всецело превратиться в марксистский орган. При активном участии Гарина, взявшего на себя материальную сторону, а кроме того, ставшего сотрудником и соиздателем газеты, редакция переходит в руки группы местных ссыльных марксистов.

«Самарский вестник», напечатавший, в частности, отрывок одной из статей В. И. Ленина и статью Г. В. Плеханова, сыграл заметную роль в распространении марксизма. «Нас читали и о нас говорили,— пишет видный самарский марксист А. Санин,— и в Петербурге, и в Москве, и в провинциальных, особенно университетских, городах. Газета рассылалась не только в разные концы России, но и в Западную Европу, и в Америку; несколько позднее явился у нас подписчик даже на Сандвичевых островах...» (А. А. Санин. «Самарский вестник» в руках марксистов. 1896—1897. М., Изд-во Политкаторжан, 1933, с. 56). Близость к «Самарскому вестнику», к марксистским кружкам заметно сказалась и на дальнейшем пути Гарина, уже в начале 1897 года окончательно порвавшего с народническим «Русским богатством».

«Самарский вестник» осени 1896 — весны 1897 года был, однако, неоднороден — рядом с революционными марксистами в нем существовали и оппортунистические, и даже либерально-буржуазные элементы. Слабой изученностью этого интересного органа печати объясняется бросающаяся в глаза противоречивость в оценках «Самарского вестника», который значительная часть исследователей считает «первой марксистской газетой в России» *.

Примечательны новые материалы, характеризующие состав редакции и деятельность газеты. В альбомах оказалась фотография большой группы, если не всех сотрудников «Самарского вестника» возле здания редакции. На другом снимке — несколько близких

* История русской литературы. Т. X. М.— Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1954, с. 525; Н. Г. Гарин-Михайловский. Собрание сочинений. В 5-ти томах. Т. I. М., 1957. Вступительная статья В. Борисовой, с. 32; а также: Н. Самойлов. Первая легальная марксистская газета в России («Самарский вестник», 1896—1897 гг.).— Пролетарская революция, 1924, № 7 и др.

к газете ссыльных в кругу семьи Тейс — за чтением свежего номера «Самарского вестника»... Другие лица — сотрудники или близкие к редакции...

Все, что я смотрел в альбомах, выражало жизненные связи, интересы человека, который, фотографируя, сам оставался «за кадром». Отец Руфины Владимировны, Владимир Владимирович Тейс, был товарищем по естественному факультету Петербургского университета Александра Ильича Ульянова. И когда в марте 1887 года в университете собралась верноподданническая манифестация по случаю раскрытия «злодейского умысла» террористов с А. И. Ульяновым во главе против жизни монарха Александра III, русский дворянин В. В. Тейс в числе немногих других бойкотировал ее проведение. За это он был исключен из университета и на много лет попал под надзор полиции. Впоследствии, в Самаре, инспектор земледелия В. В. Тейс разжигал подозрительность властей связями с крайне «сомнительными» лицами, многие из коих сходились в доме родственника его жены — судебного следователя Я. Л. Тейтеля.

Жена Тейса Аделина Владимировна была, кстати, одно время домашним учителем маленького Алеши Толстого, и отношения между обеими семьями затем всегда оставались близкими. Знакомство с дочерью этой родственницы З. М. и В. М. Карасиков и дало в руки материалы, зримо представляющие многих участников тех давних событий в доме Я. Л. Тейтеля...

О провинциальных ассамблеях, или Кто чуть не стал «хозяином» фельетониста Иегудиила Хламиды

Самара начала 90-х годов после только что перенесенного голода и холеры начала разрастаться с невиданной быстротой. Но стоило вам на кишащих разномастным людом пристани или вокзале «русского Чикаго» (как полушутя стали уже именовать Самару) произнести только фамилию «Тейтель» — и к дому в дальнем углу города наперебой вызывались проводить извозчики и уличные мальчишки. Слава о Тейтеле шла далеко. Одна из популярных на Волге газет писала даже так: «...Жить в Самаре и не знать Я. Л. Тейтеля — все равно что жить в Риме и не видеть папы» («Нижегородский листок», 1901, № 318). И так же как в

1901 году, когда появление упомянутой заметки, доконав-таки долготерпение самарского губернатора Брянчанинова, вызвало неожиданный оборот событий, Я. Л. Тейтель был «бельмом на глазу» у местного и петербургского начальства.

Все в этом человеке ломало обывательские представления о норме. Парадоксальным было уже само положение, которое занимал Тейтель: он был единственным евреем на государственной службе во всем судебном ведомстве царской России. Несколько десятилетий, по выражению Горького, это «пятно, затемняющее чистейший блеск судебного ведомства», доставляло искренние страдания сменявшимся поколениям сановников в петербургском министерстве юстиции. На свое несчастье, они ничего не могли поделать. Попавший в список назначений, который утвердил еще Александр II «Освободитель», Тейтель теперь до конца дней считался следователем «несменяемым» и «высочайше утвержденным».

В несуетной и старинной части города, среди подворий зажиточных мещан и лавочников, домик, где Тейтель издавна квартировал с семьей, выглядел в диковинку бесшабашно: окна голые, без ставен, ворота вечно настежь, и сама дверь в дом не запиралась даже в отсутствие хозяев. Кто хочет — заходи и властвуй! Днем в его квартире всегда толклись безработные, крестьяне и мастеровые, искавшие защиты от административных утеснений, беспаспортные, кому надо было выхлопотать вид на жительство, студенты, нуждавшиеся во взносе за право на учение... «У меня самого ничего нет — есть друзья»,— говорил Я. Л. Тейтель, готовый отдать все первому встречному. Таким вывел его в цикле очерков «В сутолоке провинциальной жизни» Гарин-Михайловский, который сам постоянно устраивал в свою железнодорожную контору многочисленную «клиентуру» Тейтеля.

«...В квартире Тейтелей,— читаем у другого современника, дожившего почти до наших дней,— образовалось своеобразное учреждение: смесь бюро бесплатной помощи и консультации по разным делам с посреднической конторою для приискания мест,— чуть ли не зародышевая ячейка будущего соцобеса» (А. Смирнов. Самарское общество времени Горького: Рукопись).

Трудно было понять, как этот плотный сангвиник с

седеющей шевелюрой и веселыми черными глазами, обремененный службой, разъездами по губернии, заботами о пропитании семьи, успевал всюду. С неукротимой энергией воевал он с сотнями чужих несчастий, не считаясь с личными тяготами и невзгодами. Пятнадцать раз Самарский окружной суд, возглавляемый либеральным сыном декабриста В. И. Анненковым, посылал в Петербург бумаги об очередных повышениях Тейтеля по службе. Но и через тридцать лет Яков Львович, не пошевеливший даже пальцем ради карьеры, так все и оставался следователем при мировом судье 4-го участка Самарского уезда, того самого, кстати, где почетным мировым судьей был предводитель дворянства граф Николай Александрович Толстой.

Необычную картину представлял собой дом Тейтеля и по вечерам. «По вечерам,— вспоминает тот же сотоварищ А. М. Горького по «Самарской газете» А. Смирнов,— к Тейтелям всегда кто-нибудь приходил, не стесняясь ни отсутствием приглашения, ни костюмом, ни даже временем посещения: хоть в 12 часов ночи. В назначенные же дни происходили целые сборища. И кто только не перебывал там... Студенты, военные, актеры, врачи, педагоги, ссыльные, литераторы, городские и земские деятели, курсистки, профессора, журналисты, либералы, народники, марксисты, поэты, статистики, адвокаты, толстовцы, гипнотизеры, путешественники... Квартира Тейтелей была каким-то демократическим клубом,— так его и расценивал посещавший Тейтелей Горький» («М. Горький в воспоминаниях современников». М., ГИХЛ, 1955, с. 105).

Своеобразие положения заключалось в том, что сам организатор «клуба» не считал себя ни политическим деятелем, ни даже «ревнителем» культуры или знатоком искусств. «...Мои воспоминания,— подчеркивает Я. Л. Тейтель в начале книги «Из моей жизни за сорок лет»,— это не мемуары большого человека, видного общественного или политического деятеля. Большими делами я не занимался. Всю жизнь я и жена оказывали людям мелкие услуги, приходя на помощь по мере сил...» Но если на вечерние ассамблеи в квартиру судебного следователя к 1895 году сходились уже по 150—200 человек, то связано это было прежде всего с тогдашним этапом политического и общественно-литературного развития в провинциальном городе, кото-

рому нужен был такой «открытый», «нейтральный» дом, где бы, по выражению Я. Л. Тейтеля, «запросто бывали люди всевозможных направлений».

В Самаре того времени крепли подпольные марксистские кружки. Было в городе, конечно, немало и прочих «островков» идейной жизни, где группировалась демократическая интеллигенция различной политической окраски. Собирались и у адвоката К. К. Позерна, народника и заядлого театрала, и у железнодорожного юрисконсульта Н. Ю. Босяцкого, сочувствовавшего марксистам. (В обоих этих домах часто бывал А. М. Горький.) Свои кружки интеллигенции были и у радикально настроенного А. Н. Хардина, и у известного врача-публициста В. О. Португалова, стоявшего на либерально-народнических позициях.

Но «дом» Тейтеля занимал в общественной жизни Самары необычное место. Если революционеры собирались конспиративно, «если в других «домах-огоньках» были своего рода маленькие литературно-общественные салоны... куда доступ был только «своим», то дом Тейтеля был своеобразным «открытым» клубом, интернациональным, междупартийным и, по общему духу, конечно, демократическим...» (А. Смирнов. Самарское общество времен Горького: Рукопись.— Архив Куйбышевского музея имени А. М. Горького). Здесь так или иначе были представлены почти все кружки и группы, которые получали возможность «борьбы за умы».

Собственно говоря, «закрытым» дом Тейтеля не был никогда. С самого появления Якова Львовича в Самаре устраивались у него «назначенные дни» —журфиксы— с каким-нибудь «гвоздем» литературной или культурно-развлекательной программы. И в былые вечера «на огонек» сходилась сюда всякая незваная публика. Но между тейтелевскими журфиксами 80-х и даже начального трехлетия 90-х годов и последующими была одна принципиальная разница. Дело было даже не в том, что народу набивалось теперь, как сельдей в бочку (150—200 человек — это был крайний предел, это была давка, какую квартира судебного следователя раньше едва ли знала). Но сравнительно узкие журфиксы потому-то и превратились в общегородские «ассамблеи», что людей теперь влекли сюда в первую очередь политические интересы.

События голодных лет (1891—1893), упрочение но-

вого идейного течения — марксизма, разгоравшиеся споры между марксистами и народниками — все это и превратило дом Тейтеля в самарский «дискуссионный клуб», где «царила безграничная свобода слова» (Горький).

В середине 90-х годов среди посетителей «клуба» стало больше ссыльных марксистов, часть из которых попала в Самару после освобождения из тюрем. Сам Я. Л. Тейтель называет проводимые у него вечера то журфиксами, то ассамблеями и не обозначает точного рубежа, с какого во многом изменился их характер. Но пишет, что вначале «объединяющим центром» на многих вечерах был либеральный председатель Самарского окружного суда В. И. Анненков; позже таким «объединяющим центром» стал писатель Гарин-Михайловский, уже симпатизировавший марксистам.

Примечательным событием существования тейтелевского «клуба» (еще в прежнем качестве) являются посещения его В. И. Лениным в период пребывания в Самаре (1889—1893 годы).

Вскоре после Отечественной войны писатель Константин Симонов, вернувшийся из поездки в Америку, привез с собой папку с объемистой рукописью. Это были мемуары, которые передала ему дочь бывшего председателя Самарского окружного суда М. В. Анненкова. Извлечения из них впервые опубликованы Г. Е. Хаитом, исследователем начала революционной деятельности В. И. Ленина.

Сын известного декабриста, приговоренного к сибирской каторге, В. И. Анненков провел юношеские годы в Тобольске, среди ссыльных революционеров. «Молодые люди, посещавшие дом Тейтеля,— пишет М. В. Анненкова,— с интересом слушали рассказы отца о декабристах и Сибири... Был другой молодой человек, посещавший дом Тейтеля, который с глубочайшим интересом относился к истории восстания декабристов и с которым отец вел долгие беседы (выделенные разрядкой слова в рукописи зачеркнуты.— *Ю. О.)*... Он был не особенно большого роста, все черты его лица носили отпечаток не только обширного ума, но и непреклонной энергии. Он в то время был помощником присяжного поверенного популярного адвоката Хардина. Его имя было Владимир Ильич Ульянов...» (М. В. Анненкова. Пусть догорает свеча.— Рукописный фонд Гос. Литературного музея).

О посещениях своего самарского «клуба» будущими народными комиссарами первого Советского правительства М. Т. Елизаровым, А. Г. Шлихтером и молодым Владимиром Ильичем вспоминает и сам Я. Л. Тейтель, отмечая, что В. И. Ленин «любил прислушиваться к спорам» («Из моей жизни за сорок лет», Изд-во Я. Поволоцкий и К°, 1925, с. 41, 42).

Начиная с 1894 года «ассамблеи» отличались временами большой идейной насыщенностью. Всем очевидцам запомнились происходившие тут ожесточенные споры марксистов с народниками, вроде схватки сотрудников «Самарского вестника» с приезжим народническим экономистом В. В. (Воронцовым), автором книги «Судьбы капитализма в России». Способствовали остроте идейных дискуссий и вновь прибывшие в Самару ссыльные. Как город не университетский и сравнительно удаленный от столицы, правительство превратило Самару не только в место политической опалы. Это был и перевалочный пункт, где более опасные «государственные преступники», «возвращавшиеся из Сибири по отбытии наказания, задерживались... на предмет проверки их благонадежности... И так как состав интеллигенции в Самаре часто менялся и политические ссыльные, возвращаясь из Сибири, останавливались в Самаре, то поводов для вечеров было достаточно» (Я. Л. Тейтель. Из моей жизни за сорок лет, с. 41, 45). Такие публичные вечера позволяли революционным марксистам активно и широко пропагандировать свои взгляды.

Сомнения в авторитете записных народнических ораторов начинали испытывать даже их недавние единомышленники. Под воздействием таких диспутов намечается и определенный поворот во взглядах Александры Леонтьевны. У писательницы обостряется критическое отношение к народничеству. Именно в 1894—1895 годах, то есть уже на одном из первых этапов публичных идейных схваток марксистов с народниками в тейтелевском «клубе», в дневниках Александры Леонтьевны появляются отрицательные оценки некоторых, ранее непререкаемых для нее народнических догм, и она начинает штудировать марксистскую литературу. В частности, залпом прочитывает вышедшую в январе 1895 года книгу Г. В. Плеханова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» (Тетрадь

А. Л. Бостром, дневниковая запись от 28 октября 1895 года).

«Когда я начала читать «Капитал» Маркса, я увидела: вот что мне нужно, вот чего я искала, вот ответ на вопросы. Но до сих пор еще многое неясно... Опять идет ломка...» — записывает она в дневнике 15 сентября 1897 года.

В доме Тейтеля велись дискуссии не только по насущным вопросам политической жизни. По-прежнему это был и культурно-просветительный, и литературный клуб.

Редкие личные качества делали судебного следователя своим человеком среди передовых писателей. Еще в конце 70-х годов с ним сдружился Г. И. Успенский, живший в то время в селе Сколково, под Самарой. Друзьями Якова Львовича были и большинство литераторов, посещавших его «клуб». Много лет спустя, уже в 1916 году, Горький, посылая Тейтелю свои сочинения, сделал надписи на многих томах. Одна из них: «Старым друзьям в благодарность за хорошие дни, проведенные в Самаре». Больной А. П. Чехов в октябре 1903 года приглашает его для знакомства на ялтинскую дачу и пишет затем жене, что у него только что был «знаменитый Тейтель» (А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем. М., 1951, т. XX, с. 144). Знали Тейтеля идеолог народничества, публицист и литературный критик Н. К. Михайловский, Шолом-Алейхем и многие другие. Не все эти отношения завязались в одно время, но атмосфера в доме Тейтеля всегда царила литературная.

Помимо Гарина-Михайловского, Горького, Златовратского, Чирикова, Скитальца, А. Л. Бостром, Ашешова, Дробыш-Дробышевского и других писателей, критиков, журналистов, тут бывали многие местные и приезжие ученые. Такие, как историк литературы В. Е. Чешихин-Ветринский, исследователь раскола Пругавин, известный путешественник по Китаю и Гималаям Потанин, обычно раз в два года подолгу гостивший у своего родственника в Самаре... Почетным для себя считали дать здесь концерт и гастролеры, вроде объездившего «все Европы» пианиста и композитора Антона Контского или популярного врача-гипнотизера Фельдмана, откликом на публичные сеансы которого является, кстати, одно из обнаруженных недавно писем Алеши Толстого из Самары («...завязался

спор, дядя Боря и Коля стояли за спиритство, а мама и Чемодуров — напротив. Дядя Боря приводил примеры, вроде того, как карандаш сам писал... а я сказал потом маме на улице, что это оттого происходит, что человек настраивает себя на это...»).

В этой литературно-артистической среде Александру Бостром знали как человека добрых, но точных оценок, энергичную участницу разных начинаний, умеющую, когда надо, и подраться за общие интересы. Это она в декабре 1892 года дала отповедь «Гражданину», когда тот обрушился на затевавшееся в Самаре «Общество любителей наук и искусств».

Тогда для Александры Леонтьевны дело было в принципе. Газету «Гражданин» издавал князь Мещерский — близкий к царствовавшему Александру III. «Зная близость Мещерского к царю, все считали его газету личным органом Александра III и потому считались с ней. Даже министрам приходилось подлаживаться к Мещерскому» (Б. Козьмин. Русская журналистика 70-х и 80-х годов XIX века. М., 1948, с. 49). Отнюдь не крамольное намерение — учредить в Самаре «Общество любителей наук и искусств» — вызвало у «Гражданина» приступ газетного бешенства.

«Что это,— спрашивал сотрудник «Гражданина», подписавшийся П.,— собрание «образованных и интеллигентных» (кавычки в подлиннике.— *Ю. О.*) людей или же сбор вместе с умудренными летами недоучившихся юнцов со включением неизбежных еврейчиков и евреичек, пришедших на призыв «Самарской газеты» поглумиться над своими мозгами..?!». Солдафонская брань чередовалась в статье с «перлами» юмора, вроде: «...полезнее вместо общества пойти постричься и, кому надо, побриться и послушать, как вам цирюльник порасскажет о всяких художествах и новостях дня» («Наука в затеях», «Гражданин», 1892, № 313).

1 декабря 1892 года читатели нашли в «Самарской газете» довольно дерзкий «Ответ сотруднику «Гражданина» П.», в котором высмеивался «сторонник цирюльни» из органа печати, «к брюзжанию и инсинуациям» которого читающая публика давно привыкла. Под статьей стояла фамилия Бостром.

Александра Леонтьевна с сыном А. Толстым, который, по свидетельству Я. Л. Тейтеля, «часто, будучи подростком, гостил у нас в Самаре», попадали на его вечерах в обстановку безграничной самодеятельности.

Из небольшой квартиры заранее выносили кровати и гостинную мебель, не щадя зимой даже горшков с цветами, а по соседним домам занимали стулья. «Народу набивалось до отказа, и не захватившие стула или подоконника стояли где попало, выпирая опоздавших в маленькую прихожую — вплоть до входной двери. Всякий занимался или занимал других, чем хотел и мог. Здесь спорили, там читали или тихо беседовали, играли в шахматы, хохотали, пытались петь, просто наблюдали «публику». Хозяева не навязывали никакой программы и вообще не давали чувствовать своего присутствия...

В конце вечера в маленькой столовой шипел самовар и на столе красовались: две бутылки пива, две селедки, вареный картофель, тарелка с ломтиками колбасы, и все тут! Маловато на весь «клуб». Да что поделаешь, скромные средства Якова Львовича не дозволяли выставить иное угощение. Хозяин выходил из положения, вывешивая в столовой плакат:

«Здесь царит борьба за существование!»

Иногда он сопровождался другим объявлением крупными буквами: «Свежая икра.— Семга.— Ликеры.— Фрукты» и внизу мелко: «В магазине Егорова». Публика со смехом принимала к сведению эти указания и теснилась к самовару, чтобы «захватить» стакан чаю...» («М. Горький в воспоминаниях современников», с. 106, 107).

Несмотря на пестрый и текучий состав основной массы посетителей, «клуб» Тейтеля был склонен по временам к совместным общественно-литературным акциям. С обнаружением куйбышевского архива А. Н. Толстого стал известен, например, любопытный эпизод: попытка группы завсегдатаев «клуба» купить на паях «Самарскую газету» незадолго до приезда А. М. Горького. В этой попытке наглядно выявились непримиримые противоречия, раздиравшие «клуб» Тейтеля. Она дает новые штрихи для характеристики общественно-журналистской среды, в которую год спустя окунулся молодой Горький. Наконец, неизвестный до сих пор эпизод интересен и тем, что значение его для тогдашней провинциальной прессы выходило за пределы Самары.

В начале 1894 года считавшаяся наиболее читаемой в городе «Самарская газета» имела уже десятилетнюю историю. Принадлежала она И. П. Новикову,

разухабистой фигуре своего времени. Бывший гусар, антрепренер, издатель, актер и муж актрисы, Новиков одинаково сумел прогореть всюду. «Самарская газета» при нем велась безалаберно, с грехом пополам наскребая к концу года полторы тысячи подписчиков. Впрочем, основной доход издатель получал от печатавшихся объявлений, и этот коммерческий характер газеты его вполне устраивал.

В январе 1894 года стало ясно, что Новиков, донимаемый кредиторами, для которого, по выражению Александры Леонтьевны, газета стала «узлом к гужу», больше не в состоянии продолжать издание. Самара заволновалась — к кому перейдет газета? К ней уже тянулись руки купцов, почуявших выгодную коммерцию. 29 января Александра Леонтьевна пишет А. А. Бострому: «...Вчера была у Крыловых, там был Львов, Хардин, Тейтели, Самойловы и еще парочка фамилий... Знаешь, какая тут возникла идея? Купить у Новикова «Самарскую газету» на паях товарищеских. Это мы, сидя у Ашешова, мечтали... Ашешов цифрами доказывал, какое это могло бы быть хорошее предприятие во всех отношениях. Екат[ерина] Влад[имировна] (жена Я. Л. Тейтеля.— *Ю. О.*) вчера уже завела разговоры кое с кем и, очень может быть, дело и наладится. Я сказала, что и я могла бы участвовать паем рублей в 1000... представь себе, какая бы была прелесть, если бы газета попала в интеллигентные руки!».

Как видно из письма, в конце января 1894 года идея покупки газеты «на паях» обсуждалась самарской интеллигенцией в разных домах — у Крыловых, у Ашешова, у Тейтелей. Причем главными инициаторами создания газетного товарищества были Ашешов и Тейтели. О направлении издания «в интеллигентных руках» можно судить уже по составу предполагавшихся пайщиков и участников. Лица эти в большинстве хорошо известны.

Николай Петрович Ашешов, журналист и литературный критик либерально-народнического толка, за год до того был выслан из Москвы за «государственное преступление» и находился теперь под особым надзором полиции (ГАКО, ф. 465, д. 736, л. 914). Именно Ашешов зимой 1895 года по рекомендации В. Г. Короленко пригласил в «Самарскую газету» из Нижнего Новгорода молодого Горького.

Энергичная и волевая Екатерина Владимировна Тейтель еще в молодости участвовала в революционном народническом движении. Все пребывание в Самаре, свыше двадцати лет, как повествуют жандармские донесения, за ней велась беспрестанная слежка (ГАКО, ф. 465, д. 410).

Среди других предполагавшихся участников названы присяжный поверенный А. Н. Хардин и близкий Хардину мировой судья А. И. Самойлов, «человек передовых взглядов»: у него служил секретарем однолеток Владимира Ильича и его соратник по самарскому кружку революционной марксистской молодежи А. П. Скляренко (См.: «Молодые годы В. И. Ленина», с. 433). Мы не знаем всех лиц, с которыми почти целый месяц велись переговоры. Но, судя по тому, кого пригласил Н. П. Ашешов, став редактором «Самарской газеты», когда ее вскоре приобрел купец Костерин, можно догадываться, кто был в их числе.

В преобразованную к лету 1894 года редакцию сразу же вошли: писатель Евг. Чириков; недавний участник федосеевского марксистского кружка в Казани М. Г. Григорьев; П. П. Маслов, в то время по делу того же федосеевского кружка отсидевший уже около трех лет в тюрьмах, и другие. Таким образом, задуманное газетное товарищество должно было объединить политически самые разнородные элементы — от крайне правых завсегдатаев тейтелевского «клуба», вроде врача П. П. Крылова, позже депутата Государственной думы, кадета, и радикально-демократических элементов до некоторых марксистов. Причем основными «акционерами» и, значит, фактическими хозяевами редакции должны были стать представители либеральной части «клуба».

В этих условиях не приходится преувеличивать меру оппозиционности будущего издания. Подлинный демократизм, настоящая политическая глубина и непримиримость были в революционных марксистских и рабочих кружках, разраставшихся после деятельности в Самаре В. И. Ленина, а не в либерально-демократической интеллигентской группе, которая пыталась основать свою газету с участием «всех направлений».

Надобно представить себе, однако, уровень тогдашней провинциальной печати, чтобы оценить даже и такую попытку. Помимо казенных губернских «ведомостей», так называемая областная пресса состояла

почти без изъятий из одноликих бульварных листков, направление которых определялось капризом полуграмотных издателей, потчевавших обывателей религиозно-монархическим чтивом вперемешку с побасенками о «говорящих собаках», «двойных самоубийствах», «столетних роженицах» и т. п. Дремучее убожество всех этих провинциальных близнецов — листков «объявлений, биржевых и других справок» — мешало идейно-политическому пробуждению бескрайней российской периферии. Горячим борцом за передовую областную прессу в Поволжье был прежде всего В. Г. Короленко, к тому времени уже около десяти лет живший в Нижнем Новгороде. «Нам нужна, нам настоятельно необходима областная печать», — подчеркивал Короленко (Цит. по кн.: «Нижегородский сборник памяти Вл. Гал. Короленко». Издание Нижегородского губсоюза, 1923, с. 124).

Откликаясь в сентябре 1894 года на предложение Ашешова сотрудничать в «Самарской газете», В. Г. Короленко писал: «Пока журналист и писатель не могут выступать в провинции иначе, как из-за чужой спины... Но то, что Вы мне сообщаете, дает по крайней мере возможные шансы для заключений, и можно, по-видимому, надеяться, что в лице «Самарской газеты» мы получим, наконец, действительный орган Поволжья» (Избранные письма. Т. III. М., 1936, с. 83). В дальнейшем В. Г. Короленко внимательно следил за «Самарской газетой», вел переписку с ее редакторами и сотрудниками, в том числе с молодым А. М. Горьким. В 1895—1896 годах и сам Короленко поместил несколько заметок и очерков в «Самарской газете».

Люди, близкие к В. Г. Короленко и постоянно связанные с ним, были среди завсегдатаев тейтелевского «клуба» и зимой 1894 года. Знал ли писатель о газетном предприятии, захватившем тогда «интеллигентную» Самару? Сведений об этом нет. Зато хорошо известен другой факт: попытка самого В. Г. Короленко несколькими месяцами позже, летом 1894 года, приобрести «на паях» «Нижегородский листок», с тем чтобы превратить его в «большой и независимый орган». Во всяком случае оба события очень близки по своему характеру.

Страсти в Самаре между тем не утихали. В февральской переписке Александры Леонтьевны с А. А. Бостромом вопрос о переходе «Самарской газеты» «в

интеллигентные руки» возникает снова и снова. Александра Леонтьевна то загорается надеждой, то сообщает, что дело двигается с переменным успехом и, по-видимому, расстроится. Наконец в письме от 19 февраля читаем: «Е. В. Тейтель написала мне письмо, в котором извещала, что дело с газетой налаживается, и просила меня приехать, я, конечно, поехала... Но пока шло письмо, дело с газетой, кажется, расклеилось, интеллигенция отступается, и она поступает в руки пайщиков, но купцов, а в такой компании мне, конечно, делать нечего...» (ИМЛИ, инв. № 6311/25). Пятью днями позже «клуб» Тейтеля предпринял, очевидно, последнюю попытку, подробности которой нам неизвестны. «В «Самарской газете»,— сообщает Александра Леонтьевна 24 февраля,— дело о переходе ее снова принимает другой оборот... Пока ничего еще нет верного». Но участь газеты была уже решена.

Насколько близко к сердцу принимали в семье А. Толстого все перипетии с газетным «товариществом», показывает и письмецо самого Алеши. «Милый папа, очень жаль, что дело с газетой расстроилось»,— писал на полном серьезе одиннадцатилетний мальчик отчиму, повторяя не раз, вероятно, слышанные разговоры в доме Я. Л. Тейтеля, где он жил в те дни.

Что же помешало «клубу» Тейтеля осуществить одну из самых, казалось бы, заманчивых идей? Отнюдь не финансовые затруднения. Несколько десятков участников «товарищества», среди которых были и люди состоятельные, собрали бы нужные для покупки «Самарской газеты» 25 тысяч рублей без особых хлопот. Причина была другая. С первых же практических шагов выявилась политическая разношерстность участников, а также либеральная вялость многих имевших капитал «пайщиков», которым было приятней помечтать о собственном печатном органе, чем держать это хлопотное и небезопасное дело у себя в руках.

Впрочем, брожение в среде буржуазно-либеральной и демократической интеллигенции вокруг покупки «Самарской газеты» не прошло бесследно. Когда ее приобрели молодой купец «с тягой к культуре» С. И. Костерин и владелец типографии кандидат Санкт-Петербургского университета Н. А. Жданов, сами неспособные вести газету, «кружку» Тейтеля было уже кого порекомендовать им. Редактором стал Ашешов.

Дальнейшая судьба «Самарской газеты» известна.

«Бульварный листок Новикова под редакцией Ашешова становится органом либеральной буржуазии, только что начинавшей тогда организованно вступать в общественно-политическую жизнь. Но при малой дифференцированности русского общества того времени «Самарская газета», естественно, объединила все местные оппозиционные элементы, включая и радикально-революционные» (И. Груздев. Литературная бурса М. Горького.— «Новый мир», 1928, № 4, с. 147). В число видных провинциальных органов страны в особенности выдвинула «Самарскую газету» боевая и яркая публицистика А. М. Горького, который уже в годы «литературной бурсы» определялся как писатель нового революционного настроя...

Оставаясь местом дискуссий и литературных вечеров, «клуб» Тейтеля сыграл заметную роль в жизни многих его посетителей.

Именно на тейтелевских ассамблеях, как он вспоминает в очерке «О Гарине-Михайловском», А. М. Горький познакомился с Н. Гариным и выслушивал среди прочего его нелицеприятные суждения о своих выступлениях в «Самарской газете».

Как видно уже из очерков «В сутолоке провинциальной жизни» (1900), здесь возникали замыслы некоторых произведений самого Н. Г. Гарина-Михайловского. В 1904 году один из подобных случаев мелькал даже в бурной печатной полемике, связанной с «Деревенской драмой» Н. Гарина.

Пьеса была опубликована в первом номере сборников товарищества «Знание», начавших выходить в 1903 году под редакцией А. М. Горького. Справедливости ради надо сказать, что «Деревенская драма» не лучшее из произведений Н. Гарина. Она сценически слаба, мелодраматична. Но в ней есть живые фигуры, достоверные конфликты, разящие монологи. По жанру это — «картинки быта», и вместе с тем это художественно-публицистическая пьеса, в которой заостренно поставлена одна из больных социальных проблем — бесправие крестьянства в условиях «общины».

Без дальних слов понятно, как могла расценить такое произведение реакционно-монархическая критика, вроде книжника-попа из журнала «Миссионерское обозрение» (1904, кн. 13). Охранительную критику во все времена не очень занимали такие тонкости, как поиски доказательств, художественные достоинства и

т. п.,— она более полагалась на окрик и богобоязненность читателя.

Но пьесу не приняли и представители тех весьма неоднородных идейных течений — народники, толстовцы,— которые осуществление собственных программ связывали так или иначе с развитием «общинных начал» в деревне. Впрочем, радикально настроенные и крупные критики из народнического лагеря тем не менее отдавали дань авторскому знанию деревенской жизни, точности многих наблюдений драматурга и признавали — как, например В. Г. Короленко,— что в мало удачной пьесе «все фигуры намечены талантливой и бойкой рукой, язык — живой, образный, подлинно народный» («Русское богатство», 1904, № 8, с. 378).

По-другому вела себя литературная мелкота. Соблюдение истины ее мало беспокоило, когда дело касалось борьбы с инакомыслящими. А в данном случае у либерально-народнического журналиста или рецензента были к Н. Гарину еще и особые счеты — за попрание прежних символов веры, за переход в «марксисты».

Один из таких авторов выступил в московских «Русских ведомостях». Приняв позу беспристрастного судьи эстетических качеств (и не назвав даже, какой теме посвящена пьеса), он отказывал ей в литературной самостоятельности. И, обходясь с ней, как с гимназическим сочинением, писал: «Деревня же изображается в «Деревенской драме» г. Гарина. Здесь тьма-тьмущая ужасов: «убийства, прелюбодеяния, татьбы, лжесвидетельства, хулы». Представьте себе «Власть тьмы», где «коготок увязает» не у одной птички, но где все птицы уже увязли и преступления совершаются за преступлениями... Несмотря на всю тьму нагроможденных ужасов, «Деревенская драма» не производит ни впечатления ужаса, ни впечатления тяжелой действительности. Она не производит никакого впечатления» («Литературные отголоски».— «Русские ведомости», 1904, № 124; совершенно схожий по характеру отзыв см. в журнале: «Мир Божий», 1904, август, отдел второй, с. 15—16).

Это был испытанный прием культурного удушения противника, которым во все литературные времена особенно охотно пользуется либеральствующая критика. Под видом беспристрастного разбора художественной формы с писателем сводили партийные счеты.

Н. Г. Гарин-Михайловский ответил большим «Письмом в редакцию» газеты «Санкт-Петербургские ведомости». Он защищал не пьесу, а свое критическое отношение к крестьянской общине, достоверность изображенного. «...Эта моя работа,— указывал он,— результат тридцатилетнего изучения деревни... кто знает жизнь деревни, согласится, что действительность может быть еще безотрадней». Среди прочего Н. Гарин ссылался и на реальную жизненную первооснову произведения.

«...В «Деревенской драме»,— писал он,— весь сюжет полностью взят мною из действительной жизни. Рассказал его мне судебный следователь Я. Л. Тейтель; дело происходило в нескольких верстах от моего имения в Самарской губ., слушалось в Самар. окр. суде, и все виновные были приговорены к каторге... Цель моей драмы — показать ту почву, на которой вырастают все эти ужасы... Эта почва — община, грабящая друг друга, вдов, сирот... нищая, обездоленная, лишенная и озлобленная община» («Санкт-Петербургские ведомости», 1904, № 191); о жизненной первооснове сюжета «Деревенской драмы» подробно вспоминает Я. Л. Тейтель (См.: «Из моей жизни за сорок лет», с. 64—70).

Остается добавить разве следующее. «Дому» Тейтеля Н. Г. Гарин-Михайловский был обязан гораздо большим, чем просто двумя-тремя «сюжетами» для очередных очерков или пьесы; не без влияния тейтелевского «клуба» формировались взгляды писателя, побуждавшие на создание и этих, и ряда других произведений, те самые взгляды, из-за которых завязывались впоследствии целые печатные сражения...

И Н. Гарин в этом отношении был лишь одним из многих. Как отмечает исследователь Е. Чирикова, в «идейно-творческом росте писателя большое значение имело его пребывание в Самаре в середине 90-х годов. В Самаре Чириков входит в круг передовой интеллигенции, находит нужную, полезную и интересную для себя литературную среду. Он сотрудничает в «Самарской газете», а затем в «Самарском вестнике», вокруг которого группировались в то время марксисты. И именно с этого момента... начался тот перелом во взглядах, который привел его вскоре к критической оценке народничества» (Е. Н. Чириков. Повести и рассказы. М., 1961, вступительная статья Е. М. Сахаровой, с. 7).

«Дом» Тейтеля был той идейной средой, которая

во многом питала творчество жившей в уединенной Сосновке писательницы Александры Бостром. От С. Скитальца в конце 90-х годов А. Толстой впервые узнал о необыкновенном писателе и человеке — Горьком. Сам Скиталец, впоследствии видный «знаньевец», был в определенной степени питомцем Я. Л. Тейтеля. Это Яков Львович, прослышав о сыне столяра из села Обшаровка, который «хорошо пишет стихи», заинтересовался им. Увез юношу с собой, подыскал ему работу и ввел в редакцию «Самарской газеты»...

...Добрые дела имеют свою инерцию, свой независимый ход. Если бы удалось проследить эту эстафету добра в жизни! Во всяком случае и добро, и зло не кончаются на поступках, в которых воплощены, не исчерпываются ими, а часто тянутся и ветвятся, как корни дерева под землей.

Неуничтожимую преемственность нравственных деяний человека подметил Лев Толстой в повести «Фальшивый купон»: один злой поступок рождает в мире вереницу зла. И, напротив, добро часто путями для него нежданными производит добро...

Так довольно обычный для Якова Львовича Тейтеля поступок — опека над открытым им ненароком талантом в семье сельского столяра — Степаном Петровым (будущим Скитальцем) имел последствия и отзвуки еще в одной биографии и одной судьбе...

Первые кумиры Алеши Толстого

Речь пойдет прежде всего о страстях и увлечениях книжных, которые прорываются также в практических действиях и поведении.

Что читал Алеша Толстой в детстве и отрочестве?

С обнаружением куйбышевского архива мы узнали об этом много нового, интересного.

Прежде всего это были детские журналы. Выделялись: «Детское чтение» — «ежемесячный иллюстрированный журнал для семьи и школы» — и «Родник» — «иллюстрированный журнал для детей». Среди великого множества другой расхожей детской периодики, где часто печаталась и сама Александра Леонтьевна, это были журналы прогрессивного толка, испытавшие на себе даже революционно-демократические влияния. На

их страницах помещались лучшие произведения отечественной и мировой литературы. Так что весьма показательно уже, какими изданиями с первых читательских шагов обеспечивали маленького Алешу родители, какие убеждения и вкусы стремились ему привить.

10—11 апреля 1892 года Александра Леонтьевна сообщала А. А. Бострому из Сосновки о занятиях девятилетнего сына: «Леля... молодцом, бегает с восторгом, с упоением... Щеки у него красные стали. Днем бегает, а вечером читает старое «Детское чтение», тоже запоем, не оторвешь. Алешечка, утешь его, выпиши ему «Детское чтение», ведь у него потребность к чтению явилась, да еще какая. И «Детское чтение» ему очень нравится, а «Родник» не нравится, пробовала я ему брать... Дрянь, говорит, скучно. Сейчас читает Эзоповы басни, говорит, интересно, только очень уж коротки».

В другом детском журнале, тоже получаемом по подписке,— «Всходы» — Алеша Толстой читал «Воспоминания одного американского школьника» Т. Бейли Элдрича, вдохновившие на многие уличные проделки, и через них, как мы уже знаем, оставившие по себе след на страницах «Детства Никиты».

Было, конечно, немало и чтения «по случаю». Так читались, например, некоторые книги матери. 12 сентября 1896 года А. А. Бостром писал жене о тринадцатилетнем Алеше: «Очень сильное влияние на него имело «Неугомонное сердце». По правде сказать, я бы не дал ему его так рано. Но оно было уже начато, и отнимать далее у меня не было резона. Все-таки лучше, что мы прочли вместе. «Неугомонное сердце» само по себе высоко нравственная вещь, но может легко быть непонятой. Леля теперь уже не прежний. Он очень ценит красоту» (ИМЛИ, инв. № 6330/31).

Мать и отчим, пожалуй, даже чересчур старательно «гнули» ребенка к серьезному чтению, в сторону классики. Тургенев, Некрасов, Лермонтов, Гоголь... Были еще былины, устные сказки и предания, слышанные в Сосновке. Но это был уже фольклор. Сугубо детской литературы, книжной романтики, услады грез, героики странствий и приключений, по-видимому, все-таки недоставало. А тяга безотчетная к ней была.

«Для меня — мальчика — фантазия и действительность мало чем разделялись,— писал впоследствии

А. Толстой.— Персонажи романов и поэм были действительно знакомыми людьми и очень дорогими. Не могу припомнить, кроме сказок Андерсена, ни одной детской книжки,— должно быть, их у меня было мало» («Книга для детей», 1943).

«Детских книг я почти не читал, должно быть, их у меня не было»,— повторяет А. Толстой в другой раз.

«Лет с десяти,— добавляет он,— я начал много читать — все тех же классиков. А года через три, когда меня... поместили в Сызранское реальное училище, я добрался в городской библиотеке до Жюля Верна, Фенимора Купера, Майн Рида и глотал их с упоением, хотя матушка и вотчим неодобрительно называли эти книжки дребеденью» («Краткая автобиография», 1942—1944).

Странное дело — такое их отношение к литературе фантастики и приключений! Вдвойне странное... Александра Леонтьевна была детская писательница... Что это было — огрехи воспитания, изъяны педагогической чуткости?

Справедливей будет сказать — понимание детской души по-своему, в духе времени.

Родители извечно стремятся увидеть в ребенке осуществление собственных надежд и чаяний, то есть, что там ни говори, собственный просветленный и облагороженный образ.

Как ни удивительно, эти люди, склонные к романтике, не раз показавшие себя донкихотами и благородными фантазерами в жизни, были столь строгими пуританами в отборе книжного чтения. Тут они были приверженцами радикальной гражданственности, мнили себя блюстителями высших достижений передовой литературы и эстетики, позитивистами, опирающимися на факты, на опыт, прочно стоящими на почве науки, действительности, трезвейшими и реальнейшими реалистами, даже беспощадными рационалистами, пожалуй, коли угодно... Тоже своего рода романтика, только «наизнанку»!

Во всяком случае таково было самоощущение, их умственные интересы, а естественнонаучная струя окрашивала и некоторые сочинения для детей Александры Бостром (сборники «Как Юра знакомится с жизнью животных», «Подружка» и др.). Несправедливый отзыв заодно с Ф. Купером и Майном Ридом о фантастике Жюля Верна, проникнутой поэзией научных от-

крытий, вызван, по-видимому, недоразумением. Однако собственные предпочтения выражались настойчиво, когда дело касалось складывающихся вкусов сына. Порой и до увещеваний, до стычек доходило.

Так было, в частности, когда сызранскому реалисту «открылся новый мир в засаленных, с замусоленными уголками книгах Майна Рида и Фенимора Купера. Мама боролась с этой литературой, но тщетно. Американские прерии, индейцы, следопыты, всадники без головы — это была здоровая романтика, раскрывающая новые горизонты. И эта развивающая смелость романтика томагавков и мокасинов была нам, детям, особенно нужна в унылые и бездеятельные годы царствования Александра III» («Книга для детей», 1943).

Бостромы были семьей литературной. А. Толстой называет многих авторов, интерес к которым прививался в семье матери. Лермонтов, Аксаков, Пушкин, Лев Толстой, Щедрин, Жуковский, Надсон... Больше — классики...

Конечно, детские книжки были. Помимо многих названных. Не только сказки Андерсена, но, например, и повесть «Серебряные коньки» американки Мэри Додж, тогдашнее знакомство с которой, по собственному признанию писателя, было «событием для меня». Но не они задавали тон.

«В доме матери моей были кумиры: Щедрин, Тургенев, Некрасов и Надсон. Они были совестью нашего дома и главный из них — Некрасов («О С. Я. Надсоне», 1912).

И еще: «Любимым писателем был Тургенев... — отмечает А. Толстой.— Потом — Лев Толстой, Некрасов, Пушкин. (К Достоевскому у нас относились с некоторым страхом, как к «жестокому» писателю)» («Краткая автобиография», 1942—1944).

Романтика — естественное мироощущение подростка и юноши. И параллельно, непрошено, как бы сквозь щели дома, помимо родительского влияния, а иногда и вопреки ему, в жизнь подростка и юноши, по его словам, «врывались» другие книжные кумиры...

Одним из них был Виктор Гюго.

Вероятно, вскоре после того как сызранский реалист часами замирал в уединении над замусоленными страницами томиков фантастики и приключений, в его жизнь «...ворвался маленький человек со всклокочен-

ными волосами и голосом, раскатывающимся по вселенной, стал рассказывать о «Тружениках моря», о «Соборе Парижской богоматери», о «Человеке, который смеется»... Взмахами кисти, похожей на метлу, он рисовал портреты гигантов. Гневными взмахами метлы он разогнал мещанские будни и увлек меня в неведомый мир Большого Человека.

Он наполнил мое мальчишеское сердце пылким и туманным гуманизмом... Он набатно бил в колокол: «Проснитесь, человек бедствует, народ раздавлен несправедливостью...» («Великий романтик», 1935).

Во многом собственным новоприобретением подростка был и другой бунтующий, мятежный романтик. Молодой соотечественник, даже почти земляк, волжанин, нижегородец, одно время самарец, Максим Горький.

Александра Леонтьевна и Алексей Аполлонович если и виделись с фельетонистом Иегудиилом Хламидой в пору его жительства в Самаре и литературной поденщины в «Самарской газете» (конец зимы 1895 — май 1896 года), а при общности и сравнительной узости здешнего культурного слоя трудно допустить обратное, прямого знакомства с ним не имели. К тому же часть этого срока Александра Леонтьевна находилась вне пределов Самары, в отъезде...

Встречей с художником и сведениями о человеке, неоднократно сыгравшем затем столь значительную роль в духовном и творческом развитии А. Толстого, он обязан среде, близкой к «дому» Тейтеля...

Сам А. Толстой об этом рассказывал так:

«В летнем здании деревянного театра в Струковом саду репетировался актерами-любителями лермонтовский «Маскарад». (Это было в 1896 или 97-м году, в Самаре.)

Не помню подробностей, кроме полутемной дощатой зрительной залы и пленительной июньской зелени сада, видной сквозь открытую боковую дверцу. Двое из участников спектакля чувствовали некоторое ущемление самолюбия: я, четырнадцатилетний мальчишка, на которого обращали внимания не больше, чем на муху, и — странно одетый высокий и мрачный мужчина, исполнявший роль «Неизвестного».

Он был одет необычайно,— несмотря на жаркий день,— в широкий резиновый плащ, широкополую черную шляпу — под итальянского разбойника — и в

охотничьи сапоги. С ним тоже никто не разговаривал...

Неизвестный в широкополой шляпе мрачно и независимо расхаживал в болотных сапогах по залу. Я знал, что он — учитель (кажется, городского училища) и певец... Когда ему надоело бродить, он посмотрел на меня и сел рядом, шурша непромокаемым плащом. У него было решительное, угловатое лицо с жесткими черными усами.

— Скука, приятель,— пробасил он.— Мещанская канитель... Хорошо бы сейчас выпить водки...

Я поспешил согласиться, что действительно, как нельзя более кстати сейчас выпить водки. Он внимательно оглянул меня. Я поджал ноги под стул...

— Ты меня никогда не слышал? — спросил он.— Хорошо, приходи ко мне, я тебе сыграю на гуслях... Скучно, брат, сидеть по уши в стоячем болоте... Простору нет... Погоди, я скоро уйду...

Я не совсем понял — о каком болоте он говорит, но, глядя на его охотничьи сапоги, поверил, что этому человеку, действительно, надоело в болоте и он уйдет...

— Все брошу к чертям собачьим,— сказал он.— Одни гусли возьму с собой... Уйду на Днепр, к Максиму Горькому, он меня давно ждет...

И он с неожиданным оживлением принялся рассказывать о Горьком. По его словам, это был великий бродяга, убежавший из проклятых городов, от провонявшего постными пирогами мещанства — в степи, на берега привольных рек, в пестрые черноморские гавани к босякам, ворам и бродягам-поэтам...

Страшно поводя усами, он мне картинно описывал, как ночью, где-нибудь, сидит Максим Горький у костра под небом, усыпанным звездами, и рассказывает бродягам о гордом и вольном человеке...

Эту встречу в летнем театре я припомнил через много лет, когда на одном литературном вечере в Петербурге встретил незнакомца в широкополой шляпе. Теперь на нем была алая шелковая рубаха и поддевка, он потолстел, подстриг усы и держался важно. На вечере он выступал с чтением стихов и игрой на гуслях. Это был знаменитый писатель и друг Горького — Скиталец.

Я напомнил ему о давнишней встрече. Он рассмеялся. «А ведь верно, я тогда все бросил, уехал к

Алексею Максимовичу. Хорошее, горячее было время...» («Ранний Горький», 1927—1928).

Признательностью и любованием овеяна встающая в памяти картинка прошлого. Однако ж не без усмешки. Определенную ряженность в облике своего знакомого по драматическому кружку в Самаре — «под итальянского разбойника», а затем берендеевского гусляра (в «алой рубахе»!) — А. Толстой отмечает к тому же с добавочной проницательностью и иронией более позднего происхождения. Почерпнутых уже из представлений иного исторического ряда, от времени, когда вполне открылась двойственная природа также и самих романтических героев раннего Горького.

Степан Петров-Скиталец, поразивший воображение Алеши Толстого, был живым воплощением, а точнее сказать, ходячим подобием тех романтических бродяг, о которых пел молодой Горький. Такими бы стали не литературные персонажи, коснись их невзначай волшебная палочка,— сходным образом выглядели рьяные их поклонники, старавшиеся поведением своим подражать книжным образцам.

В пору, когда писалась статья «Ранний Горький», все это было позади, как грезы далекой юности. «Горьковские босяки,— отмечал в статье А. Толстой,— это идея о босяках, мечта. Это интеллигенты, наряженные в романтические лохмотья. Это допризывная подготовка интеллигенции перед революцией».

Но тогда, во второй половине 90-х годов... Воздух времени был другим... Какое впечатление оставило в мальчишеской душе знакомство с романтическими героями Горького, лучше судить по свидетельствам, ближе придвинутым к событиям.

Укатил в Приднепровье, к степным кострам, необычный знакомец по любительскому спектаклю, а в сердце поселился словно бы неудобный сквознячок. Не забывалась поразившая фамилия — Горький. Затем попалась его книга...

«До сих пор у меня осталось впечатление залитой солнцем зыби на синей воде...— вспоминал А. Толстой уже в начале 1914 года,— после романтичного и задумчивого Тургенева, который был моим любимым автором, мне открылась впервые другая сторона жизни, сто раз виденная, но ни разу не замеченная (вот пример огромной силы искусства): поэзия простора, свободы, силы и радости жизни,— потому что эти бывшие

люди, горьковские босяки, были не на дне, не последними, а передовыми зачинщиками нового века» ([«О Горьком»], 1914).

Конечно, как знаем, книжные бродяги, благородные смельчаки, бессребреники, правдоискатели и необыкновенные вольнодумцы уже встречались юному читателю и прежде. Но то было другое. Даже когда индейские прерии, мустангов и всадников без головы сменили в грандиозных видениях собор Парижской богоматери, каторжник Жан Вальжан и друг обездоленных лорд Гуинплен, с лицом, похожим на приклеенную карнавальную маску, растянутую во всегдашней улыбке...

Там все же была книга, а тут вот она, окружающая реальность. Жан Вальжан или Гуинплен больше будоражили фантазию, обратиться ни в того, ни в другого он бы не мог. А вот «послать все к чертям собачьим», взбунтоваться, уйти... Стать странником, бродягой... Конечно, не совсем «галахом» или «горчишником», как кличут вольницу и голытьбу на Волге, а умней, чище вынашивая в себе цель высокую — зажить рискованно, весело, с душой вольной, как ветер,— отчего же? Это было в его власти, это он мог. Только голова кружилась, как когда заглядываешь со страшной крутизны вниз...

Одного из этих людей он к тому же знал. А другой, надо думать, в ту самую минуту где-то при пляшущем розовом свете костра огрызком карандаша заносил на листок бумаги очередной рассказ...

Воплощением новой вольнолюбивой нравственности, вестником зреющих перемен, фигурой загадочной и влекущей — вот (если бы можно было тогда подытожить) в кого обращается для А. Толстого ранний Горький. Одну пору настолько даже, что с помощью недавно прочитанных рассказов юноша проводит экзаменовки знакомым.

Подобный случай произошел вскоре после приезда А. Толстого из Самары в Петербург для поступления в технологический институт (июнь 1901 года).

Для восемнадцатилетнего провинциала, прибывшего в северную столицу, это один из верных способов распознать человека, а быть может, обрести единомышленника и друга.

Приезжий новичок должен посещать дом здешних родственников Комаровых. Семья состоятельного чи-

новника, с отношениями принужденными, деревянными, трухлявыми, юноше решительно не по сердцу. Исключение составляет разве Катя, приблизительно ровесница по возрасту.

О беседах с ней А. Толстой и сообщает А. А. Бостриому в письме под заглавием «Из Питера № 1» (от 20 июня 1901 года), находящемся среди обнаруженных в Куйбышеве.

«Часов 5 просидел у Комаровых... Катя здесь. Она очень милая, неглупая девушка, насколько возможно развитая, уже слегка тронутая цивилизацией, что заметно по цвету лица и манерам. Но оказывается, что ей ничего не дают читать из русской литературы, ни Горького, ни Тургенева, ни Некрасова, ни Толстого, ни Гончарова и ни, ни...»

Красноречива уже эта расстановка писателей в перечне, в известной мере отображающая тогдашние литературные симпатии, вывезенные из Самары.

Впереди всех Горький... Лев Толстой в этом ряду занимает место после Тургенева и Некрасова, по соседству с «бытописателем» Гончаровым. То есть предпочтения художникам отдаются в зависимости от степени выражения радикально-демократических актуальных политических идей в их творчестве.

По такой «шкале» ценностей, отвечавшей умонастроениям определенной части тогдашней передовой интеллигенции, Некрасов был «выше» Пушкина. Предпочтениями подобного свойства было отмечено литературное воспитание в семье матери *, и они же были распространены в среде самарского круга Тейтеля.

Не удивительно, что по отношению к столичной «дикарке» юноша тотчас ощущает себя литературным миссионером. И первым орудием просвещения должен стать он, Горький!

«Я ее уже начал просвещать,— продолжает в письме А. Толстой.— Сперва напугал рассказами о деревне, а потом подсунул рассказ Горького «Дружки». Она обещалась прочесть и рассказать свое мнение».

«Дружки» — рассказ, напечатанный М. Горьким в 1898 году в «Журнале для всех». Это история о верной

* «У мамы и отчима любимой книгой был Некрасов,— писал позже А. Толстой.— Они... не могли начитаться поэмой «Кому на Руси жить хорошо». Некрасов, а не Пушкин был желанным собеседником в занесенной снегами Сосновке» («Книга для детей», 1943).

дружбе двух гонимых бродяг. Чтобы не погибнуть с голода, они уводят в деревне лошадь, надеясь получить за нее несколько рублей от татар. Основное место в рассказе занимают споры персонажей о допустимости ими содеянного. Впрочем, предприятия они не доводят до конца, так как один из конокрадов умирает...

Мы не знаем, какую пользу сумела извлечь из рассказа новообращенная читательница, миловидная петербургская кузина... Но собственный интерес юноши к этому писателю был устойчивым и глубоким.

Об этом говорит едва ли не первая сохранившаяся критическая рецензия А. Толстого, написанная в 1903 году. Она посвящена пьесе М. Горького «На дне».

«В апреле месяце я был на представлении двух пьес труппой Станиславского: «Дядя Ваня» Чехова и «На дне» Горького,— пишет двадцатилетний сочинитель.— Слушая отзывы многих об этих пьесах, я вывел заключение, что публика насколько поняла первую пьесу, настолько не поняла вторую. Петербургской публике ночлежные типы настолько далеки, насколько жителю Новой Зеландии наши. И отсюда публика, конечно, стала ругать эту пьесу, находя ее грубою, циничною, несогласною с жизнью и т. д.».

В рецензии автор и ставит задачу восстановить истину, опровергнув неверные мнения.

Одно из главных направлений слышанных им в публике упреков состоит в том, что, дескать, герои пьесы чересчур умны для босяков. Они философствуют так вольно, независимо и пространно, как говорить могут только люди образованные, начитавшиеся книг, а вовсе не бродяги и обитатели ночлежных домов.

Автор не оспаривает утверждения по существу. Он тоже считает, что «философия в устах босяков и есть самая непонятная вещь во всех сочинениях Максима Горького». Но у него собственное мнение о том, из каких источников эта умственная энергия проистекает и изливается.

Книги не единственная почва философии. Даже напротив, чрезмерное поглощение книжных фолиантов притупляет самостоятельность мышления, обращает мозг в мертвый склад или комбинатора «чужих слов и чужих мыслей». Истинная основа философии — жизненный опыт. Хотя требуются известные условия, почва, чтобы жизненный опыт переварился в новое качество.

«Жизнь сама по себе глубочайшая философия,— замечает рецензент,— и чем человек сильнее живет, тем больше он накопляет философских знаний, накопляет бессознательно.

И вот тут-то нужна почва, на которой созрели бы и расцвели эти семена философии первобытной. Почва эта есть отсутствие постоянного физического труда или горе,— определяет А. Толстой.— Вот почему все типы босяков и странников Горького философствуют и говорят умные речи. Они их нигде не читали. Но их шепнула им природа и их жизнь».

Другие возражения против пьесы у несогласной и злобствующей публики вращаются вокруг утверждения, как-де могло случиться, что «недолго поживший в ночлежке старикашка Лука сумел расшевелить эту тину». Вольно или невольно людям отказывают в том, что они способны на какие-либо взлеты добрых чувств или нравственные озарения.

«Они были неплохие люди по натуре...— возражает автор.— Пусти их сначала по другой дороге... говори им «ты хороший человек» и дай им хлеба, и они были бы хорошими людьми».

Затем двадцатилетний А. Толстой гневно обрушивается на хулителей пьесы:

«Если бы тысячи людей, сидящих в ложах и блестящих декольте и погонами, знали, насколько они по своей нравственности стоят ниже Луки, Сатина, Васьки Пепла, Наташи. В душах их никогда не созреют семена добра, сколь они ни будь поливаемы словами Луки и ему подобных. Люди эти сгнили вместе с их книгами и умными мыслями и показной нравственностью».

Стоит отметить созвучие этой принципиальной для юного автора рецензии со взглядами и убеждениями писательницы-матери. Отношение к А. М. Горькому в сознании русского общества кануна первой русской революции уже перестало быть проблемой только литературно-эстетической; от нее веяло политикой.

В одной из рабочих тетрадей Александры Леонтьевны той поры (ИМЛИ, инв. № 6460) переписана ею с явным сочувствием, очевидно, ходившая по рукам стихотворная сатира безымянного автора (подпись — «А») под названием «Герой нашего времени. Гимн в честь воскресающего, с дозволения начальства, либерализма российского». Строфа сатиры, характеризую-

щая отношение так называемой «чистой публики» к Максиму Горькому, перекликается с последним пассажем в рецензии А. Н. Толстого, где оценивается нравственный облик подобного рода обитателей «театральных лож».

Образ из этого сатирического «гимна» встает такой:

Позвольте рекомендоваться:
Я петербургский либерал.
Люблю в идейность завираться,
Но — кто не врал? Но — кто не врал?
. . . .
Горит душа неугасимо,
Я революцией дышу
И только Горького Максима
Не выношу, не выношу!

Именно в 1903—1905 годах писательница Александра Бостром, как помним, испытывает идейно-творческое тяготение к М. Горькому, предпринимает шаги для практического сближения, хотя и не увенчавшиеся успехом. Во второй половине 1903 года она готовит и передает в издательство «Знание» сборник своих деревенских рассказов, которые рассматривались А. М. Горьким. А осенью 1905 года посылает ему пьесу «Жнецы»... Горький для нее высший авторитет! И в этом смысле можно говорить о полном единодушии двух литераторов, матери и сына...

Дальнейшие отношения А. Н. Толстого и А. М. Горького не однажды прослежены литературоведами.

Сошлюсь, например, на главу в книге М. Чарного «Путь Алексея Толстого» (М., ГИХЛ, 1961, с. 287—317). Хотя личное знакомство писателей завязалось только весной 1922 года в Берлине, Горький отдавал должное своему младшему современнику уже с первых произведений «заволжского» цикла.

Известны отзывы Горького в двух письмах ноября 1910 года на том первый «Повестей и рассказов» гр. Алексея Н. Толстого, выпущенный осенью издательством «Шиповник». Туда входили повести «Заволжье» («Мишука Налымов»), «Неделя в Туреневе» и три рассказа. Уже по этим немногим произведениям Горький увидел в авторе «писателя, несомненно, крупного, сильного и с жестокой правдивостью изображающего психическое и экономическое разложение современного дворянства». Он настойчиво призывал адресатов «познакомиться с этой новой силой русской литературы».

Если обратиться к статьям и выступлениям А. Н. Толстого о литературе и искусстве и просматривать их последовательно, год за годом, то обнаружится, что личность А. М. Горького, отношения с ним, пафос творчества и деятельности этого художника составляют тут один из главных и развивающихся «сюжетов»...

Девять очерков, статей и выступлений (с 1903 по 1941 год) целиком посвящены А. М. Горькому. Ему адресовано более двадцати писем А. Н. Толстого — с 1915 по 1936 год. Учитывая не особенную расположенность Толстого к эпистолярному жанру, обычную его неохоту к «писанию писем», это вообще, вероятно, один из наиболее частых его адресатов, помимо родственной переписки...

А. М. Горькому принадлежит известная обобщающая характеристика художественного стиля А. Н. Толстого, данная в письме к двадцатипятилетию его профессиональной литературной работы в начале 1933 года.

Одним словом, творческие и личные отношения обоих художников, выраставшие в дружбу, были долгими и многосторонними... Прощальную речь на траурном митинге на похоронах А. М. Горького 20 июня 1936 года на Красной площади тоже выпало сказать А. Н. Толстому...

Однако все это было потом... А тогда, в 90-е годы прошлого века... «Представьте время царствования Александра III, девяностые годы,— вспоминал о своем детстве А. Н. Толстой.— На перекрестках жизни — жесткие усищи городового, овеваемого запахами мещанских пирогов. Навсегда как будто отшумели страсти так бурно начатого и так томительно кончающегося века.

Ни едкой злобой Щедрина, ни печальной иронией Чехова не прошибить сна России.

Помню, в Самаре иду с моей мамой по Москательной улице. Горячий ветер гонит известковую пыль, и воняют заборы. По какому-то поводу спрашиваю о царе и говорю громко это страшное слово, одетое в черный сюртук, широкие шаровары и барашковую шапку.

С тревогой обернувшись, мама шепчет мне: «Слышишь, никогда не произноси этого слова вслух...»

В застойном воздухе той поры так много значили для мальчишеского восприятия встречи с вольнолюбивой романтикой Гюго. А затем — с героями раннего Горького...

С 1899 года начинается период упорных и регулярных литературных попыток шестнадцатилетнего А. Толстого. Мы не знаем подробностей его посещений тейтелевского «клуба» в это время. Известно лишь, что юноша общался с близкими «дому» Тейтеля литераторами — С. Скитальцем и Н. Гариным-Михайловским. Именно завсегдатаи тейтелевского «клуба» и были первыми писателями (помимо матери), которых знал в своей жизни А. Толстой.

О круге его интересов и взглядах, складывавшихся в Самаре, дополнительно можно судить по тогдашним произведениям.

Наиболее подражательной и условной была интимная лирика шестнадцатилетнего юноши. Вместе с тем в его стихах той поры уже начинают звучать гражданские мотивы. Герой стихотворения «Нищий» доходит в своем монологе до прямого обличения бога: «Неверно ты создал родимый наш край, где бедный страдает, богатому ж рай!». В стихотворной пьеске «Сон реалиста» заявляет о себе сатирическое дарование будущего писателя. Здесь представлено целое скопище чиновников от педагогики. Один из них в сновидении реалиста является перед своими юными питомцами «в жилете из человеческой кожи, вместо пуговиц — оторванные уши учеников». Второй — добродушный вымогатель взяток. Третий распевает такие куплеты:

Мне директор дал приказ,
Чтоб не сделал я из вас
Вредных царству анархистов
Или церкви атеистов.

Это уже не дерзкий «капустник», а элементы сатиры на систему обучения по принципу «много будете вы знать, мне за вас же отвечать» (ИМЛИ, инв. № 3/3).

В тогдашнем наброске об эволюции религии А. Толстой утверждает, что «религия сойдет со сцены совершенно, так как она основана на неравноправии» (ИМЛИ, инв. № 3/3). Временами юноша испытывает и неопределенные порывы к практическому дей-

ствию. Осенью 1899 года он замышляет ехать в Трансвааль.

«Слава богу, что про Трансвааль забыл, а то на днях он объявил, что хочет ехать туда, сражаться с англичанами за независимость буров и что из Петербурга несколько гимназистов уехало с этой целью...» (А. Л. Толстая — А. А. Бострому, 4 октября 1899 года). В 1900 году вместе с реалистами-старшеклассниками Толстой участвует в революционной первомайской сходке за Волгой...

В его тогдашних рассказах и повести «Жизнь» (1899—1900) «особенно проявляется тяготение юноши к реалистической манере письма» (Ю. А. Крестинский. А. Н. Толстой: Жизнь и творчество, с. 23).

Показательно, наконец, тогдашнее отношение А. Толстого к декадентству. В уже знакомом нам сочинении «Кто мой любимый писатель?» семнадцатилетний автор пишет: «Я нахожусь в таком возрасте, когда человеку кажется все в розовом свете, когда человек еще не испорчен нравственно и он восхищается простой естественной красотой, но в этом случае он более компетентен, чем человек поживший, которому нужно что-нибудь острое, неестественное, вроде декадентства...»

Те же возникающие эстетические самоопределения — и в 1901 году: «[Декаденты], импрессионисты все свои произведения основывают на произведении минутных, резких, сильных впечатлений. Внешней отделке они отдают превосходство над внутренним содержанием. Я же даю правило лишь как средство усилить впечатление той идеи, которая выводится в произведении» (Дневник А. Н. Толстого, 1901 год, № 2.— Архив К. И. Чуковского. Цит. по кн.: Л. М. Поляк. Алексей Толстой — художник. Проза. М.: Наука, 1964, с. 12).

Не без воздействия демократического окружения писательницы-матери и складывалось то здоровое жизнелюбие, та реалистичность взгляда молодого А. Толстого, которые видны даже сквозь мистический туман ряда его произведений последующей поры. Писатель не оправдал надежд тех, кто считал его восходившей звездой модернизма. Это стало, как уже подчеркивалось, общим итогом идейного развития Толстого. Но именно в 1907—1909 годах убеждения, литературные привязанности «самарского круга» не раз представали

перед внутренней критикой молодого писателя, то ниспровергавшей их, то многое принимавшей заново.

Этот внутренний спор запечатлен и в письмах А. Толстого, найденных в Куйбышеве. По-видимому, во второй половине 1908 года он писал отчиму: «...Теперь у нас диаметрально противоположные исходные точки зрения. Ты натуралист, я все сильнее укореняюсь в мистике, в тайне слова... Двуликим предстал передо мной человек, одно лицо его повседневное, что видим на всех, серая помятая маска ничтожества, а другой — божественный лик, сияющий солнечной красотой...» Итак, в сравнении с этим «ясновидением» предшествующая умственная жизнь самого А. Толстого — блуждание в потемках, ошибка, которая перечеркнута с легкостью. Но надолго ли? В недатированном письме А. А. Бострому, относящемся к той же поре, читаем: «Если бы ты знал ту огромную перемену во всей моей жизни, которая произошла за весь этот год, совершенно перевернув мое мировоззрение, этику, отношение к людям и к жизни... Я знаю, как тяжело было тебе и маме видеть, как труды их по созданию моей личности разлетелись как пыль... Но ведь это только кажущееся.

Прошло пять лет, и вот год тому назад я зачеркнул эти пять лет и стал продолжать то, что вы создали и на чем произошла остановка 5 лет тому назад...»

1908 год — начало работы Толстого над сборником «Сорочьи сказки», в которых, по собственным словам, он «пытался в сказочной форме выразить свои детские впечатления». В «Сорочьих сказках», не свободных еще от влияния декадентского стилизаторства фольклора, А. Толстой сделал значительный шаг на пути к реализму.

Трагедия доктора Гааза

Как ни старались уверить себя в обратном многие современники, дружно отмечавшие в ноябре 1901 года пятидесятилетие Якова Львовича Тейтеля,— само празднество было уже данью уходящей общественной роли этого человека.

В числе других энергично хлопотал о широком размахе юбилея Гарин-Михайловский. В фондах Государ-

ственного литературного музея в Москве хранятся малоизвестные материалы — письмо и набросок речи Гарина-Михайловского, относящиеся к этому событию. «Сегодня прочел в «Одесских новостях» (№ 5479) Слово-Глаголя о Я. Л. Тейтеле,— сообщает Гарин одному из редакторов «Нижегородского листка» В. Е. Чешихину-Ветринскому.— Написано очень сильно. Не будет ли удобно перечислить газеты, давшие отзывы... и тем подбить итог несомненно удавшейся агитации в пользу добра и справедливости?»

Заметки о Тейтеле находим в петербургском еженедельнике «Восход» (№ 67), в «Нижегородском листке» (№ 318), в «Самарской газете» (№ 251), в «Одесских новостях» (№ 5479)... Но, по-видимому, самарскому губернатору Брянчанинову в конце 1901 года пришлось прочитать гораздо больше столь скандализировавшей его газетной «шумихи». (Предложенный Гариным «итоговый перечень» всех печатных откликов на юбилей в «Нижегородском листке» не появился.) Уязвленный вдобавок словцом насчет «Римского папы», по которому получалось, что столпом и светочем Самары является не он, губернатор и гофмейстер Высочайшего Двора А. С. Брянчанинов, а какой-то судейский чиновник Тейтель, его превосходительство отправил в Петербург требование — убрать, в конце концов, из вверенной ему губернии этого Тейтеля, что и было сделано. В 1904 году своеобразный «клуб» в Самаре прекратил существование из-за вынужденного, хотя и почетно обставленного, переезда Я. Л. Тейтеля в Саратов.

Однако самарский властитель, больше наделенный раздутым самолюбием, чем политическим чутьем, явно опоздал со своим рапортом. В 1901 году «дом» Тейтеля уже далеко не представлял собой такой опасности, как несколько лет назад. Яков Львович был тут ни при чем — изменилось время.

Да, Яков Львович не изменился. С пожелтевших страниц по-прежнему встает перед нами фигура неутомимого подвижника, бессребреника и гуманиста, который «не писатель, не поэт, не артист, а просто... человек, принесший немало добра людям» («Нижегородский листок»). По словам «Самарской газеты», «это

доктор Гааз наших мест, друг заключенных, обездоленных и неимущих» *.

Гарин-Михайловский любил Тейтеля. Больше других, присутствовавших на юбилейном вечере, он и желал бы видеть всех людей такими, как Тейтель, и понимал скрытую драму людей подобного склада. В речи Гарина-Михайловского нет обычной для него озорной шутки, блестящий импровизатор, он готовил ее заранее, и сквозь здравицу в ней слышится грусть.

«...Отказавшись добровольно,— говорил писатель,— и от благ карьеры, и от материальных благ, Вы, Яков Львович, всей своей двадцатипятилетней деятельностью доказали ярко, наглядно, что этого и не жаль для того, чтобы быть... центром света и тепла. Вы сильны собой, своей любовью к людям, своей твердой верой, что добро свойственно людям. Вы искатель этого добра, умели находить его, унося его в ту область... горя и страданий, где Вы сами уже двадцать пять лет неустанно бродите.

Приветствуем Вас, талантливого, доброго, чуткого!

Вас, доктора Гааза наших мест...»

Эта гаринская характеристика Тейтеля — «доктор Гааз наших мест» — очень точна. Но, вкладывая в нее все, что ему было симпатично и дорого в облике Я. Л. Тейтеля, Гарин-Михайловский сам был достаточно научен жизнью, похоронил слишком много собственных иллюзий, чтобы не чувствовать скрытую горечь этих слов. Ибо кто такой был Гааз? И главное — чего он добился?

Врач московских тюрем в царствование Николая I, обрусевший немец Федор Петрович Гааз подвижнически посвятил себя облегчению участи арестантов. Вечно на бегу, в хлопотах по чужим делам, этот добряк довольствовался ночлегом в каморке при пересылочной тюрьме, сам штопал себе одежду. И выкупил около

* Появившаяся без подписи в «Самарской газете» 20 ноября 1901 года статья «Я. Л. Тейтель (к 25-летию общественной деятельности)» могла принадлежать только близкому другу, осведомленному даже в мелких подробностях жизни Тейтеля. Кто же был автором? Совпадение мыслей статьи с речью Гарина-Михайловского вплоть до буквального повторения одного из выражений, характерные стилевые особенности статьи, а кроме того, известный факт «агитации» писателя за газетные выступления о юбилее Я. Л. Тейтеля — все это заставляет думать, что автором был Н. Г. Гарин-Михайловский, находившийся в это время в Самаре.

трехсот крепостных детей, которым грозила разлука с осужденными родителями. Кроме того, на собранные им пожертвования он основал первую тюремную больницу на 120 коек.

Бездомный и безродный Гааз верил во врачующую силу личного энтузиазма. Всю жизнь он героически сражался за свой девиз — «торопитесь делать добро!» Он засыпал правительство проектами и требованиями о смягчении тюремного режима. Впоследствии известный юрист А. Ф. Кони написал о Гаазе книгу, выдержавшую много изданий (ею зачитывался и юноша А. Толстой). А в 1909 году самоотверженному одиночке был поставлен памятник в Москве. Но чего добился Гааз?

Издания нескольких указов, по одному из которых при тюрьмах были учреждены мастерские, проклятые заключенными, а по другому — для отправляемых этапом ссыльных введены, вместо тяжелых колодок, особые легкие кандалы, прозванные в народе «гаазовскими»...

Означает ли это, что деятельность Гааза была бесплодной? Говорят, что у памятника на могиле, где похоронен безродный Гааз, и поныне никогда не переводятся свежие цветы. Всегда находится чья-то предусмотрительная рука, которая захватывает с собой и оставляет у подножия бюста два-три новых цветка...

Человечество помнит своих подвижников, борцов за добро, правду и человечность, хотя бы в них и обнаруживались подчас черты донкихотов.

Такова уж природа праведничества — добро иногда словно бы глуповато, даже смешно. Оно не щадит себя, не пускается на хитрости и уловки. Фанфары и звон литавр редко сопутствуют ему, скорее напротив. Среди грязи и жестокостей жизни мизерными кажутся часто результаты долгих усилий, ничтожным — собранный урожай.

Но притягательная сила нравственного примера неизмеримо важнее одной узкой практической пользы, которой удается достичь в данную минуту. Образцы высокой человечности, как огни в ночи, освещают существование, помогают жить остальным людям. И лишь потом, много позже, выясняется, что и утилитарная польза была (а еще больше сложилась, сказалась затем!) немалая.

Вот почему вечно остается в памяти людей италь-

янский монах Джордано Бруно, ценой своей жизни не пожелавший оболгать не им открытую научную истину. Никогда не забудется Альберт Швейцер, основавший первую стационарную больницу в дебрях Западной Африки и всю жизнь отдавший лечению негров. Не будет забыт Федор Гааз.

Да ведь и то сказать — почти триста выкупленных крепостных детей и первая в России больница в местах заключения— много это или мало для скромной жизни рядового врача?!. А Александр Федорович Кони и с ним целая плеяда передовых русских юристов, вдохновлявшихся примером Гааза... А Антон Павлович Чехов, писатель и врач, с его поездкой на каторжный остров Сахалин и картинами жизни тамошних обитателей... А эти цветы на могиле... Кто измерит, глазом окинет, сочтет всходы былого посева?!

Со своей «зародышевой ячейкой соцобеса» на задворках огромной тюрьмы, какой была вся Россия, Тейтель удивительно напоминал Гааза. Оба были сильны только собой, своим желанием добра. Лично эти люди стояли неизмеримо выше куцых побуждений так называемой благотворительности. Филантропия, по слову Горького, «маска стыда» богатых. А Тейтелю нечего было стыдиться: всю жизнь он сам ничего не имел.

Тейтель начал действовать уже в ту пору развитых общественных антагонизмов, когда гуманизм почти с неизбежностью заводил в политику. Но самозабвенный «доктор для всех» хотел избежать узости взглядов. В острейшей идейной борьбе по выяснению позиций передового лагеря, одной из арен которой был его «клуб», Я. Л. Тейтель старался стать«над распрями». На короткий момент это удалось и даже сделало возможным само существование «клуба». Но что же случилось дальше?

У В. И. Ленина есть характеристика революционной роли таких реакционных эпох, какой в России была и эпоха Александра III. «Мы знаем,— писал В. И. Ленин,— что форма общественного движения меняется, что периоды непосредственного политического творчества народных масс сменяются в истории периодами, когда царит внешнее спокойствие, когда молчат или спят (по-видимому, спят) забитые и задавленные каторжной работой и нуждой массы, когда революционизируются особенно быстро способы про-

изводства, когда мысль передовых представителей человеческого разума подводит итоги прошлому, строит новые системы и новые методы исследования... Одним словом, «очередь мысли и разума» наступает иногда в исторические периоды человечества точно так же, как пребывание политического деятеля в тюрьме содействует его научным работам и занятиям» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 12, с. 331—332).

«Безвременье» конца 80-х— начала 90-х годов было поучительным периодом нашей истории.

Но вот кончился этот этап. Потрясшие страну петербургские стачки 1895—1896 годов открыли новую полосу в истории России — полосу подготовки народной революции. «Очередь мысли и разума» сменилась периодом массовых революционных действий.

С определенной поправкой на «запоздание» в провинции подобные же события охватывают и Самару. Теоретические споры «на публике» интересовали теперь разве что либералов, пытавшихся адвокатским красноречием отговориться от приближавшейся народной бури. И чем острее становится разворот предреволюционных событий, тем больше обесцвечивается «клуб» Тейтеля... К самарскому Гаазу понемногу начинает подступать самая страшная для него беда — ощущение своей ненужности.

Привыкший быть в гуще событий, он наблюдает «с обочины», как становятся заклятыми врагами недавние друзья и знакомые, как разгорается смертельная борьба даже в том близком ему кругу людей, которых он одинаково любил. Уже в гражданскую войну, готовя свои воспоминания, 69-летний Тейтель, так и не понявший, что произошло «во взбесившемся мире», сокрушался с болью в сердце: «Как мог предвидеть, что члены самарского кружка окажутся —одни в лагере якобы контрреволюционеров, а других будут обвинять в неискреннем увлечении идеями социализма (в данном случае речь идет прежде всего о Е. Н. Чирикове и А. М. Горьком.— *Ю. О.*)» («Из моей жизни за сорок лет», с. 95).

«Доктор для всех» превращается в пустынника, поселившегося на развалинах прошлого. И, начиная с событий первой русской революции, от этой растущей изоляции уже не могли избавить Тейтеля ни распахнутые двери его дома, ни энергичные попытки возродить в Саратове и других местах свою благотвори-

тельную «контору» — он все чаще и чаще вынужден был теперь взывать к сердоболию богачей.

В конце гражданской войны от непонятной ему действительности Тейтель уехал за границу. И как ни старался одинокий старец оставаться на чужбине самим собой, как ни отдавал он себя и здесь служению страждущим и обездоленным, непреложен горький итог, к которому он пришел. Он оказался штопальщиком «заплаток» (собственное выражение), у разбитого корыта.

...Уцелело одно из последних писем Я. Л. Тейтеля, посланное в Самару в начале 1923 года (получено там 19 марта).

Вверху первого листа, как водится, по-немецки означен берлинский адрес. Хотя и пропечаталась на письме заграница, будто отстукнутая почтовым штемпелем, и нетрудно углядеть в нем приметы в избытке переносимых потерь и тягот, письмо тем не менее дышит стойкостью, бодростью духа. От него словно бы веет старыми добрыми временами.

Сквозь большие листы плотной бумаги, исписанные коричневыми чернилами, крупными буквами, четкими рядами строк, по уже отмененной орфографии, с ерами и ятями, продиктованных ясным смыслом и верным чувством, так и видишь живое лицо с жестко распушенными седыми усами и грустно и весело сверкающими угольными глазами из-под снежно побелевших бровей... Он любит, он страдает. Он все тот же, прежний, Яков Львович!

Почти все письмо — воспоминание о Самаре 90-х — начала 900-х годов.

Может, виноват в том адресат, разбередивший память,— Александр Александрович Смирнов (Треплев), писатель и нотариус, тот самый сотоварищ А. М. Горького по «Самарской газете» (письмо выплеснулось в ответ на весточку от него). А может, тут и двойное наложение: сам Я. Л. Тейтель продолжает работать над мемуарами, где так многое сходится и замыкается на Самаре. Таково душевное состояние, устойчивое, неистребимое. Лучшими были те времена!

И по ходу дела возникают в письме многие заглавные фигуры и участники былых самарских «ассамблей». Нередко уже покойные (вроде присяжного поверенного К. К. Позерна; или ушедших недавно — его дочери Зиночки, Зинаиды Карловны, жены А. А. Смир-

нова; исследователя раскола А. С. Пругавина; и верной спутницы автора Екатерины Владимировны Тейтель). Другие — далеко разошедшиеся между собой (А. М. Горький и Е. Н. Чириков). Третьи — канувшие в безвестность (вроде уникальных обладателей «двух цилиндров» в Самаре 90-х годов — преподавателя живописи Алеши Толстого художника Кирика Николаевича Воронова и некоего Христофора Вуколовича)...

Упоминания, беглые характеристики, краткие оповещения о дальнейших судьбах... Для нас они особенно интересны. Важны как своего рода эпилог к рассказу о «доме» Я. Л. Тейтеля.

«Я очень обрадовался В[ашему] письму,— уведомляет Я. Л. Тейтель А. А. Смирнова.— Читая его, я весь перенесся в прошлое, и на меня также нахлынули воспоминания о славных 80—90—900 гг. Теперь все это позади, а что впереди, трудно сказать. Часто вспоминаю это время, очень часто думаю о Вас и не только с общими знакомыми говорю о Вас; но Вы занимаете довольно большое место в моих мемуарах... Небольшие отрывки напечатаны в маленькой газете и в только что вышедшем новом журнале «Летопись революции», Издательство З. И. Гржебина. Алексей Максимович (Горький.— *Ю. О.*), являющийся одним из редакторов этого журнала, горячо рекомендовал мои мемуары издателю, но ввиду дороговизны и кризиса в издательстве отдельное издание мемуаров отложено.

Я ничуть не волнуюсь, меня это не беспокоит... После кончины Екатерины Владимировны я ко многому стал равнодушен и мне кажется смешным все то, что раньше волновало. Работаю много по общ[ественным] делам, кладу заплаточки, стараясь забыть себя; но ничто не помогает.

На днях я провел вечер в семье Чириковых, его самого здесь нет, он в Париже. Много говорили о Вас, о покойной незабвенной Зиночке, о Позернах, вспоминали наши вечера— ассамблеи...

О смерти милого Алекс. Степановича Пругавина я здесь узнал в редакции «Летопись революции»... Я рад, что Вы занимаетесь своим любимым делом — литературой... Как идет Ваша адвокатура, то есть самарские знакомые — друзья — живы ли Христофор Вуколович и Ольга Михайловна? Живо помню гулявшего по Дворянской ул. Христ[офора] Вуколовича. Если помните, в Самаре было два цилиндра, его и художника

Кирика Николаевича Воронова,— помните ли Вы его? Ведь он тоже был нешаблонный, незаурядный...»

Сохранилась и книгоиздательская рекомендация Горького, посвященная мемуарам Я. Л. Тейтеля, вероятно та самая, которая помянута в письме.

Она интересна итоговой оценкой жизни и деятельности автора. И достоинства, и столь броские для заурядного взора слабости и заблуждения таких людей, как Я. Л. Тейтель, нельзя мерить по трафарету. Натуры это редкие, внутренне цельные. Все искупает и перевешивает общий подвиг их жизни, возвышающий нравственный образец неутомимого и бескорыстного служения людям. Так оценивал Тейтеля А. М. Горький.

Его отзыв на книгу воспоминаний Я. Л. Тейтеля приводится тут по тексту, хранящемуся в московском архиве писателя.

«Воспоминания Я. Л. Тейтеля,— писал Горький 12 ноября 1922 года издателю Гржебину,— написаны не блестяще с литературной стороны и несколько наивно по содержанию. Но в наивности автора есть своя прелесть, искупающая все недостатки книги. Со страниц ее встает живая фигура человека, почти святого, это как бы второй доктор Гааз — человек, всю жизнь свою бескорыстно и с восторгом служивший людям... Несомненно, ее будут читать и многих она научит многому хорошему...»

Глава шестая

ПИСАТЕЛЬНИЦА АЛЕКСАНДРА БОСТРОМ

Среди забытых имен

Забавно это или нет, но с литературными неожиданностями приходится иногда сталкиваться даже первоклассникам.

Так вот, шел обычный урок, и дети читали по складам рассказик из учебника «Родная речь», вышедшего в наши дни девятнадцатым или двадцатым изданием. Назывался он «Рыжуха и волк». Когда громкое чтение было закончено, поднял руку один из учеников.

— А я знаю,— сказал мальчик,— это написала мать Алексея Толстого.

— Садись, Андрюша,— подумав, ответила учительница.— И не говори лишнего. Откуда ты можешь знать?

На следующий день обиженный Андрюша принес учительнице записку. Мама мальчика писала, что Андрюша вместе с ней видел недавно в музее старые фотографии, книги и письма — и он не ошибся. А. Бостром, чьим именем подписан рассказ в «Родной речи», и мать А. Н. Толстого — одно и то же лицо.

В случившемся недоразумении меньше всего повинна начальная школа. Писательница Александра Бостром сейчас забыта. Последнюю по времени добротную справку о ней дает небольшая заметка в томе первом «старой» «Литературной энциклопедии», вышедшем в 1930 году (с. 753—754). Но и эта «персоналия», как называют такие заметки в энциклопедиях, входит не в основной корпус тома, а в его «Справочный отдел». Дальше сведения следуют по убывающей,

пока не исчезают вовсе. Даже в самых полных библиографических справочниках упомянуты лишь немногие произведения А. Бостром, и даже краевед К. Селиванов, автор книги «Русские писатели в Самаре и Самарской губернии», не пишет о ней и в подробнейшем разделе «Малоизвестные писатели», хотя она прожила в здешних местах всю жизнь.

Александру Леонтьевну Бостром, которая изо дня в день трудилась за письменным столом и до седых волос по-юношески грезила литературной славой, знают теперь лишь как мать А. Н. Толстого. И в монографиях, учебниках, статьях, посвященных не ей, а сыну, можно сыскать лишь скудные и отрывочные сведения о ее творчестве.

И как часто случается с малоизвестным, отходящим в область полулегенд, даже куцые сведения об Александре Бостром нередко обрастают небылицами.

Возьму пример на момент, когда основная часть куйбышевского архива уже была обнаружена. Вот что пишет о ней Р. Засьма («Советские писатели и Среднее Поволжье. Сборник статей». Куйбышев: Кн. изд-во, 1959): «Автор многих незаурядных художественных произведений — романа «Неугомонное сердце», повестей «Захолустье», «Сестра Верочка», «Афонькино счастье», рассказов «День Павла Егоровича», «Ангельская душенька», «Мопсик» — Александра Леонтьевна Бостром печаталась в ряде журналов, занимавших в те годы демократические позиции: в «Русском богатстве», «Образование» и др.» (с. 76).

Казалось бы, по самой теме статьи («А. Н. Толстой и Самарское Заволжье» — о молодом Толстом) от автора можно ожидать сравнительной осведомленности в творчестве писательницы-матери. Однако сообщаемые в статье сведения более чем случайны и к тому же не всегда достоверны.

Например, повестей «Захолустье» (ошибка, которая кочует по многим книгам и статьям вслед за неточностью, допущенной А. Н. Толстым в «Краткой автобиографии») не существует в природе. Есть сборник Александры Бостром «Захолустье», состоящий из двух произведений — повести «Изо дня в день» и очерка, названного Р. Засьмой особо — рассказом, «День Павла Егоровича».

Роман «Неугомонное сердце» встретил уничтожающую критику в щедринском журнале «Отечест-

венные записки» и никак не может быть отнесен к числу «незаурядных произведений». Не являются таковыми, к сожалению, и некоторые другие произведения из крайне случайного перечня Р. Засьмы (например, «Мопсик», «Ангельская душенька» — это образчики слащаво-сентиментальных поделок в духе журнала «Нива», которых немало написала Александра Бостром).

Непонятна и общая оценка, походя даваемая писательнице: «По своим творческим установкам, тематике, жанровым и художественным особенностям А. Л. Бостром является характерной представительницей прогрессивной реалистической литературы конца XIX — начала XX в.». «Характерная представительница» в данном случае мало что объясняет. Прогрессивная реалистическая литература того периода, конечно же, состояла из различных идейно-творческих направлений...

Впрочем, говорю все это главным образом не в укор автору какой-либо отдельной статьи. Таково, как принято выражаться, «состояние вопроса».

Время как будто уже распорядилось по-своему творческим наследием писательницы. И если Александру Бостром теперь почти не знают и не читают, то кто же виноват в этом, кроме нее самой? Что утомительней для читателя, чем преподносимые механическими привесками к биографиям замечательных людей описания рода деятельности заурядных предков?

Так я думал, вовсе и не собираясь следовать рецептам академической скуки, когда начал понемногу перечитывать произведения этой писательницы. Как уже говорилось, среди приобретений куйбышевского архива А. Н. Толстого оказались некоторые ее книги, многие рукописи. Другие книги А. Бостром отыскались по библиотекам Ленинграда, Москвы и Куйбышева. Несколько неизвестных рассказов и очерков я обнаружил в старых газетах и журналах. Большинство произведений А. Бостром по своему уровню были когда-то читавшимися, но сейчас уже вполне отжившими.

Интерес они вызывали главным образом в связи с Алексеем Толстым — как идейно-литературная атмосфера, в которой воспитывался будущий писатель, как материал для сравнения с «семейными хрони-

ками» А. Толстого и его повестями и рассказами автобиографического цикла.

Оба писателя не раз отталкивались от одних и тех же действительных событий, обращались к одним и тем же реальным прототипам. Многие произведения Александры Бостром, написанные в тогдашних традициях народнической литературы, были подчеркнуто фактографичными. Иногда полезно сопоставить художественный портрет, исполненный рукой талантливого живописца, с фотографиями «натуры». Это как бы вводило в творческую лабораторию А. Толстого, раскрывая работу художника над жизненным материалом. Есть у Толстого и прямые переделки отдельных сюжетов и мотивов из сочинений Александры Бостром. Словом, обнаруживалось то самое, конечно, непреднамеренное «соревнование» двух прозаиков, эпизоды которого нам уже известны.

Новизна материала, интересного для изучения Толстого, и побуждала вначале к литературным раскопкам. Лишь с запозданием попал мне в руки изданный в 1886 году небольшим тиражом сборник А. Бостром «Захолустье». Читая эту книгу, я впервые забыл, что ее написала мать Алексея Толстого. С обыденной простотой изображалось в книге нравственное дичание части разночинной интеллигенции в эпоху реакционного безвременья. Примыкая к лучшим произведениям народнической литературы, сборник А. Бостром «Захолустье» (повесть «Изо дня в день», очерк «День Павла Егоровича») отмечен своеобразием решения темы, ярким изображением людей и картин.

Книга «Захолустье» заставила меня вплотную засесть за произведения А. Бостром. Прямые и косвенные данные позволили дополнительно установить существование, а также время и место публикации значительной части очерков, рассказов и даже книг А. Бостром, не учтенных библиографами.

Александра Бостром была деятельным драматургом. Но пьесы даже и сейчас — жанр, реже всех публикуемый. И если в архивах А. Н. Толстого не оказалось списков большинства ее пьес, в том числе и шедших некогда на театральной сцене, то не утеряны ли они безвозвратно? Безвозвратно — так ли это? Тут я вспомнил о полицейских любителях изящной словесности — о цензорах.

В письмах Александра Леонтьевна особенно часто

жалуется на гонения театральной цензуры. Именно об этом, как помним, она пишет, например, Бострому, только что отправив свою пьесу «Жнецы» А. М. Горькому (8 ноября 1905 года).

А нельзя ли поискать вот где...

В свое время в казенном здании на брегах Невы размещалось императорское Главное управление по делам печати, в составе которого имелся так называемый отдел драматической цензуры. В нескольких укромных кабинетах и пребывали самые усердные читатели российской драматургии. Порядок был заведен такой: ни одна пьеса не могла быть принята даже на рассмотрение театрами без того, чтобы по ней не прогулялся прежде красный карандаш одного из обитателей тихих кабинетов. Безвестные чиновники были сразу и первыми ценителями, и нередко могильщиками всего, что выходило из-под пера русских драматургов. Поистине без их визы и муха не могла пролететь в сады отечественной Мельпомены.

Один экземпляр прочитанной пьесы (все равно — дозволенной или неразрешенной) чиновники оставляли у себя для документации. Он поступал в цензурную «библиотеку». Так за несколько десятилетий скопился совершенно уникальный архив многострадальной российской драматургии. Не осели ли там и неизвестные пьесы А. Бостром?

После революции цензурная коллекция была передана в фонды Ленинградской театральной библиотеки имени А. В. Луначарского. Именно здесь, лишний раз подивившись полицейской аккуратности, я и получил почти полное собрание драматургических сочинений Александры Бостром — десять ее пьес, не считая вариантов некоторых произведений.

Пьесы эти во многом любопытны.

Одна из них — сказка в трех действиях «Русалочка», сюжет которой развивает мотивы о вышедшей к людям ундине, написана, по-видимому, при участии Алексея Толстого.

В конце 1904 года, когда Александра Леонтьевна несколько месяцев жила в Петербурге, стали обозначаться новые черточки в отношениях матери и сына. Писательница теперь уже сама считается с литературными советами 22-летнего Толстого, возникает первое ощущение профессиональной общности, столь долгожданное для обоих. Известны нам и случаи их соав-

торства в это время. Как-то раз ее петербургский издатель Вольф срочно попросил несколько коротких рассказов для детского журнала. В связи с этим Александра Леонтьевна сообщает Бострому: «Дома рассказала Лельке, а он просит: «Мамочка, дай один рассказец написать...» — «Пиши, только под своим именем». Сидели вечером, он стал придумывать, я делаю поправки в фабуле... Сейчас ушли спать, а он строчит...» (25 октября 1904 года, ИМЛИ, инв. № 6311/124).

За исключением двух-трех случайных эпизодов, стихов Александра Бостром никогда не писала. Этим и объясняется обращение автора «Русалочки» к перу стихотворца А. Толстого, который к тому времени был уже обладателем многих тетрадок «неизданных сочинений». 12 ноября 1904 года, сообщая Бострому, что «Русалочка» через несколько недель пойдет в петербургском детском театре Чистякова, Александра Леонтьевна писала: «Я просила Лелю присочинить стихи для русалочек в первом действии. Они будут петь за кулисами...» (ИМЛИ, инв. № 6311/114).

В обнаруженном теперь списке пьесы действительно есть много стихов-песен, которые исполняют в первом акте за сценой голоса русалочек. Вроде:

Все мы дружным хороводом
Полетим по быстрым водам.
Спросим нежную зарницу:
«Не видал ли ты сестрицу?..»
...Но зарница нам ни слова.
И, тоской объяты снова,
Спросим месяц молодой.
Уронив свой луч златой
На дрожащий лик воды,
Он молчит на все мольбы... и т. п.

Надо думать, что многочисленные стихи в пьесе (хор русалочек затем появляется еще в финале) и есть «присочиненные» Алексеем Толстым. Тогда перед нами — первое обращение начинающего Толстого к обработке фольклорных мотивов, как бы ранняя «заявка» на созданные несколькими годами позже произведения сборников «За синими реками» (1907—1911) и «Сорочьи сказки» (1908—1910), где один из циклов, между прочим, назван «Русалочьи сказки»...

Цензорские экземпляры даже некоторых ранее известных нам драматургических сочинений писательни-

цы примечательны и тем, что по ним отчетливо видно, какую крамолу вымарывали из пьес Александры Бостром (например, из «Докторши») красные чернила петербургских чиновников. (Кстати, среди этой коллекции оказалась и одна пьеса А. А. Бострома — историческая драма из боярской жизни XVII века «Топь», написанная уже в канун мировой войны. Как видно, на склоне лет Алексей Аполлонович тоже решил попытать счастья в литературе.)

Теперь картина творчества Александры Бостром была достаточно полной. Что можно сказать о нем?

По своему призванию Александра Бостром была прежде всего очеркисткой и писательницей для детей, а по размерам дарования — одним из тех тружеников литературы, так называемых писателей средней руки, которые часто пишут гладко, порой очень скверно, но способны иногда и к настоящим творческим взлетам. Общим итогом двадцати пяти лет литературной работы Александры Бостром, считая посмертные издания, явилось около двадцати книг разных названий — детских сборников, повестей и рассказов.

Наибольший успех выпал на долю детских произведений А. Бостром, хотя писались они вначале между делом и только позже Александра Леонтьевна стала придавать участию в детской литературе серьезное значение.

Наиболее долговечными оказались книги Александры Бостром для самых маленьких.

В этом смысле рассказик «Рыжуха и волк» не случайно попал в современную «Родную речь». Через книжки и сборники писательницы, состоящие из короткой познавательной прозы, обычно в щедром обрамлении картинок и иллюстраций, прошло не одно поколение читающих малышей.

Сборники А. Бостром «Подружка», «Два мирка», «Как Юра знакомится с жизнью животных» на протяжении предреволюционных десятилетий (вплоть даже до 1918 года) издавались по пять-шесть раз. А рассказы «Кот Василий Иванович», «Наседка», «Как волчиха на свете жила» печатались отдельными книжками уже в советское время, в 1928—1930 годах.

Сборник «Как Юра знакомится с жизнью животных» — рассказы о животных и их жизни для маленьких детей — высоко оценивает, например, требовательный знаток известный издатель И. Д. Сытин. В своей

«Жизни для книги» он отмечает, что среди «произведений этого рода особенно выделялась книга Бостром» (И. Д. Сытин. Жизнь для книги. М., 1960, с. 80).

Детские сборники А. Бостром — «Подружка», «Два мирка» и «Как Юра знакомится с жизнью животных» —выделяет и заметка — «персоналия» в «Литературной энциклопедии» (1930), отмечая, что они «...выдержали ряд изданий и долго считались лучшими для маленьких детей. Некоторые рассказы из этих книг перепечатываются и до сих пор в сборниках для детей младшего возраста. Б. писала в реалистическом духе об окружающем ребенка мире. «Подружка» — своего рода энциклопедия для дошкольного ребенка... Народническое мировоззрение отражается на тематике и тенденциях книжек Бостром. Среди детей в возрасте от 7 до 9 лет ее книжки сделались любимым чтением».

Наибольшим спросом у любящих пап и мам конца прошлого — начала нынешнего века пользовался, пожалуй, сборник «Подружка».

Сборник дает представление о прозе писательницы для детей. Его образуют сто тридцать (если судить по количеству означенных в книжке картинок) рассказиков «для маленьких детей». Короткие, на страничку-полторы каждый, простенькие, иногда забавные по сюжету, они имеют ярко выраженную познавательную направленность. Рассказы призваны пробудить любознательность малыша. Увлекая его предметами и явлениями, то ли привычными для него, то ли новыми, они растолковывают и объясняют их.

«Подружка» — это занимательный путеводитель по окружающему ребенка миру. Достаточно красноречивы уже названия рассказиков: «Кошка и котята», «Одичалые котята», «Обезьянка», «Паук», «Гнездо паука», «Еж», «Как еж жил в комнате», «Зачем у верблюдов горбы», «Как рыбки родятся», «История головастика», «Как муравьи живут», «Откуда ветер берется», «История хлебного зернышка»...

Внутри сборника рассказики сгруппированы в циклы вокруг какого-либо одного явления или проблемы. Например, если говорить о деревне: «Корова и теленок», «Сердитая корова», «Сливки», «Масло». Или: «Курица и яйца», «Курица выводит цыплят», «Курица и цыплята», «Цыплята и коршун»...

Есть в сборнике и объединяющий герой, через восприятие которого поданы происходящие события,— мальчик Миша. Но фигура служебная, без особых индивидуальных черт. Даже в начальных эпизодах сборника, знакомящих читателя с Мишей, повествуется больше не о нем самом, а о «Мишиной лошадке», о детских игрушках и забавах...

Тематика преимущественно сельская, но рассказанное представимо и занимательно также для маленького горожанина... Сборник «Подружка» был удостоен почетного отзыва на Бельгийской всемирной выставке. С 1892 по 1916 год издавался шесть раз.

Помимо выпуска книг отдельными изданиями и постоянного участия в волжской периодике, А. Бостром печатала очерки и рассказы в ряде столичных журналов. На ее произведения отзывалась авторитетная критика того времени. Библиография к заметке в «Литературной энциклопедии» называет, например, статью Н. Рубакина «Критические заметки о литературе для народа» («Русское богатство», 1889, № 9).

Хуже всего давалась А. Бостром драматургия, которой она активно занималась в конце жизни. При всей злободневности тематики и гражданском пафосе, пьесы, за редкими исключениями, выходили громоздкими и несценичными. По выражению А. Толстого, герои в них «произносили уж слишком «программные» монологи». Цензура черкала их, театры отказывались ставить. Только одна из остро публицистических пьес А. Бостром — драма «Докторша», будучи принятой, готовилась к постановке в петербургском театре Яворской, но «не могла быть поставлена... по «не зависящим» от театра обстоятельствам» («А. Л. Бостром-Толстая».— «Самарский курьер», 1906, № 159). Зато некоторые из ее пьес для детей, «как, например, «Снегурочка», выдержали в петербургском детском театре Чистякова десятки представлений в течение одного года» (Там же).

Лучшие из детских произведений А. Бостром, вероятно, заинтересовали бы и современных маленьких читателей (такие есть и в сборнике «Подружка», и не меньше их рассыпано по разным изданиям). Но детские рассказы не составляют единственно значительного из созданного писательницей.

Кроме сборника «Захолустье», есть и еще впечатля-

ющие очерки и рассказы А. Бостром. Подчеркнутая документальность, публицистичность и большая роль фигуры повествователя в сюжете сплошь и рядом делали крайне зыбкими грани между рассказом и очерком в народнической литературе. К этой жанровой традиции принадлежат и такие очерки А. Бостром, как «Мария Руфимовна», «Филатово сено», «Выборщики», «Пробуждение» и др. Точное изображение противоречий современной деревни, жизни крестьянства и земской интеллигенции выделяет их среди сусально-морализаторских «рассказов из мужичьего быта», распространенных в поздней народнической беллетристике, и подобного же рода собственных сочинений А. Бостром (очерк «Ушел» и уже смыкающиеся с бульварным чтивом «Ангельская душенька», «Солдат пришел», «Мопсик», «Ей было дано» и др.).

Лучшие очерки и рассказы писательницы заострены объективно против основных либерально-народнических иллюзий начиная от пресловутой общины до упований на земство и «культурного хозяина». В очерке «Мария Руфимовна» (1892) А. Бостром одной из первых изобразила обреченность народнических энтузиастов-одиночек, подойдя к теме «идейных инвалидов» общественного движения еще за пять лет до нашумевшей в свое время повести Евг. Чирикова «Инвалиды». К достижениям писательницы относятся и некоторые из ее «голодных» очерков («Ради детей», «Как в деревне Малиновке холеру встречали» и др.), передающих без прикрас страшную обстановку самарского голода. Среди рассказов А. Бостром о сереньком существовании городских мещан выделяется «Со скуки»...

Почему же эти лучшие произведения очеркистки не принесли ей заметной известности при жизни и уже совершенно забыты теперь?

Прежде всего, это были отдельные удачи разных лет в общем потоке заурядных сочинений, которые обычно выходили из-под пера Александры Бостром. Полное забвение или относительная известность для литераторов таких возможностей часто зависят и от случайностей привходящих. Та же конъюнктура книжного рынка, которая неожиданно для самой Александры Бостром в мгновение ока сделала ее популярной

детской писательницей, несправедливо обошлась с ее лучшими очерками.

«Произвели меня в детские писательницы, а у меня ни желания, ни способностей к тому нет»,— в сердцах вырвалось у нее в одном из писем (М. Л. Тургеневой, 28 февраля 1885 года, цит. по дневнику А. Л. Толстой).

Издатели, выпускавшие одну за другой ее детские книжки, избегали риска, связанного с изданием очерковых сборников провинциальной писательницы. Единственный очерково-прозаический сборник А. Бостром — «Захолустье» вышел в 1886 году. Все остальные ее очерки так и остались погребенными в журнальных комплектах и на страницах провинциальных газет...

Эту-то явную несправедливость и стремился, в частности, поправить А. Н. Толстой.

Среди других архивных материалов в Куйбышеве хранится договор от 30 января 1913 года, заключенный между А. Н. Толстым и книгоиздателем И. Д. Сытиным. По этому договору А. Н. Толстой передал товариществу печатания, издательства и книжной торговли И. Д. Сытина право литературной собственности на три книги Александры Бостром — сборник «Подружка», «Два мирка» и «Как Юра знакомится с жизнью животных», за что книгоиздательское товарищество уплатило семь тысяч рублей. Не исключено, что обсуждались при этом и возможности дальнейших изданий сочинений А. Бостром.

В том же 1913 году А. Н. Толстой задумывает широкое переиздание произведений писательницы. По названию это должно было быть даже «Полное собрание сочинений» А. Л. Бостром, хотя целые мало удачные книги из него заведомо исключались. В августе — сентябре 1913 года Толстой писал отчиму: «...Я думаю предпринять полное собрание сочинений мамы (кроме сызранских книг), подумай об этом и приведи в порядок ее рукописи... Сейчас же надо бы собрать все ее рассказы, повести и просмотреть ненапечатанное» (ИМЛИ, инв. № 6315/101). Несобранной в книгах и была главным образом упоминавшаяся очерково-прозаическая часть творчества А. Бостром.

Подготовка задуманного издания требовала времени. Вероятно, она затянулась и была прервана начав-

шейся империалистической войной и всеми переменами в жизни А. Н. Толстого*.

...Как бы там ни было, творчество Александры Бостром представляет определенный самостоятельный интерес.

Начался писательский путь Александры Леонтьевны с крупной неудачи...

Как возникают литературные парадоксы

...Вера Михайловна Медведовская, жена директора гимназии в губернском центре, переживает долгий и мучительный разлад с собой. Проводить дни, как все дамы ее круга, то есть существовать рядом с мужем, за которого она вышла не любя, томиться от скуки на провинциальных вечерах, сплетничать — все это невмоготу. Она задыхается, тоскует, рвется к чему-то иному. Но где другая жизнь, в чем она? Неизвестно. Может быть, в личном успехе?

Волей обстоятельств Вера попадает в столичный дворянский свет. Благодаря красоте, уму и приобретенному богатству ей дана полная возможность блистать и пленять. Однако на вершине успеха, доступного светской даме, Вера снова чувствует пустоту: «всякий грязный старикашка имеет право кидать на меня сальные взгляды и сластолюбиво облизываться», а в остальном и тут «комильфотная скука», не лучше, чем на провинциальных вечерах.

Встреча с Исленевым, молодым сотрудником некой прогрессивной газеты, где он печатал настолько смелые статьи, что за них газету даже закрывали, вводит Медведовскую в новую сферу интересов. Высокопарно и крайне туманно рассуждает Исленев о необходимости служения общественному благу. В двух «романах» Веры Михайловны — с князем Прозоровым, облагоро-

---

* Рад сообщить, что идея, которую, судя по разнообразным свидетельствам, неоднократно стремился осуществить писатель-сын, недавно получила частичное и самое скромное претворение. К 100-летию со дня рождения А. Н. Толстого в родных поволжских местах вышла небольшая книга Александры Бостром «Рассказы и очерки» (Куйбышевское книжное изд-во, 1983. Составитель, автор вступительной статьи и примечаний — Л. А. Соловьева). Сборник образуют произведения публицистического звучания, ранее рассыпанные по страницам газет и журналов, которые сама писательница готовила для отдельного издания.

женным двойником графа Николая Александровича Толстого, и с молодым литератором Исленевым — очень прозрачно передана душевная драма, мучившая в то время саму Александру Леонтьевну...

«Неугомонное сердце», «нравственно-бытовой роман в двух частях, сочинение графини А. Л. Толстой», появившийся в книжных лавках Петербурга в начале 1882 года, снова возвращает нас ко времени, когда Александра Леонтьевна, сломленная первой неудачной попыткой отстоять любовь, в отчаянии старалась примирить непримиримое. Усложненная интрига романа, помимо художественной, выполняет еще и другую функцию: она маскирует второй, личный «адрес» произведения. Не меньше, чем к читателю, роман обращен автором к самой себе. Это не столько стремление с новых духовных высот осмыслить в художественных образах пережитое, как обычно бывает в автобиографических произведениях, сколько попытка на ходу вглядеться в «зеркало», разобраться в личных страданиях и мытарствах, исход которых самой еще далеко не ясен. В романе одновременно и формулируются убеждения, которые сама Александра Леонтьевна вскоре противопоставит суждениям о себе фарисейской официальной морали. И, вызванная тогдашним душевным кризисом, еще в большей степени звучит в нем идея примирения, следования абстрактному нравственному долгу. Этим и объясняется та готовность, с какой граф Николай Александрович поспешил издать этот написанный в несколько месяцев огромный, в пятьсот страниц печатного текста, роман.

Эпиграфом к «Неугомонному сердцу» были поставлены строки Некрасова: «Ключи от счастья женского, от нашей вольной волюшки, заброшены, потеряны у бога самого». И роман, стало быть, претендовал на ответ, в чем же состоит счастье честной, мыслящей женщины из так называемого образованного общества, которое в данном случае почти отождествлялось с обществом дворянским.

Вера Михайловна Медведовская испытала разные дороги к женскому счастью. Полюбив Исленева, разделяя его общественные убеждения, героиня должна сделать выбор. Но Вера не хочет счастья, основанного на страданиях других. Она не может оставить князя, к которому не испытывает ничего, кроме жалости.

Долг велит ей быть с князем, для которого после случившегося с ним паралича «исчез смысл всей его жизни — возможность наслаждаться», и он сделался «ни для чего негодной тряпкой». А любить она продолжает Исленева, надеясь, что «сердце угомонится же когда-нибудь, заснет для личного счастья».

Столь же половинчаты и мизерны итоги общественных поисков героини. Она уезжает с князем в провинцию, собирает вокруг себя кружок деятельной молодежи и организует народную школу. В этом «скромном и посильном служении общественному долгу» уже обозначается внимание писательницы к народнической теории малых дел.

Есть в романе и другие сюжетные линии. Наиболее интересная из них — деревенский быт помещика-вырожденца Тучкова и его жены Натальи. Тучковы живут в поместье Репьевка — это название, впервые прозвучавшее в романе «Неугомонное сердце», станет, кстати, чуть ли не нарицательным для обозначения усадеб последышей помещичьего быта у Алексея Толстого. Возможно, именно эти страницы романа и производили в свое время сильное впечатление на будущего писателя. «Мы с папой читаем «Неугомонное сердце», вот написано, чудо; лучше Тургенева и Толстого, мы с папой увлекаемся им»,— даже так отзывался об этом романе тринадцатилетний подросток в одном из писем (А. Н. Толстой — А. Л. Толстой, 1 августа 1896 года, ИМЛИ, инв. № 6315/17).

Отдельные удачные образы и сцены не спасают произведения. Временная личная подавленность, возведенная через роман в моральную норму, звучала объективно как призыв к примирению с существующим положением.

Первая крупная проба сил — после юношеской повести «Воля» (1871) и других неопубликованных произведений — не удалась писательнице. Роман получился риторическим, в значительной мере напоминающим худшие образцы третьестепенной беллетристики. На сочинение графини А. Л. Толстой не замедлил откликнуться демократический журнал «Отечественные записки», которому была органически враждебна главная идея, составившая итог нравственных и общественных поисков героини. В «Отечественных записках» появилась большая рецензия (без подписи автора).

«Мы не знаем, как воздействует мораль этого романа на неугомонные сердца современных женщин,— писал критик «Отечественных записок»,— но знаем наверное, что гр. Толстая немало-таки потрудилась с целью угомонить эти сердца, отучив их от «искания счастья». Открытый ею секрет в самом деле прелестен: к чему искать счастья, когда оно тут же под рукою? Стоит только не предаваться «неосуществимым желаниям», а удовлетворяться тем, что бог послал...» («Отечественные записки», 1882, № 8, с. 220—221).

Беспощадно отзывается критик и о художественных качествах романа: «По форме своей роман гр. Толстой всецело принадлежит к числу наивных произведений первобытной мещанско-нравственной литературы. В нем выведены не живые люди с их действительными деяниями и ощущениями, а чучела, выдвигаемые для того, чтобы сквозь них автору можно было выкрикнуть свои сентенции и советы. Скука, овладевающая читателем, ошеломленным непроходимою массою этих сентенций, положительно непреодолима...» (Там же, с. 222—223).

Статья в «Отечественных записках» разве что в одном отношении опоздала: в жизни Александра Леонтьевна уже сделала решительный шаг для преодоления того порочного круга, из которого ей не удалось выйти в романе. Разрыв с гнетущим сословно-дворянским окружением, сближение со многими демократически настроенными людьми, в частности с литераторами из «дома» Тейтеля, содействовали повороту во взглядах писательницы и в направленности ее творчества. Во всех смыслах, в том числе и профессиональном, печатный дебют гр. А. Л. Толстой не прошел бесследно для Александры Бостром, как она станет теперь подписывать свои произведения.

Уже в июльском номере журнала «Русское богатство» за 1884 год публикуется очерк «День Павла Егоровича», который, по собственному признанию писательницы, имел для нее «большое значение. Это тот поворот, который я сделала, ступив на новую дорогу... Конечно, теперь... я вижу недостатки «Неугомонного сердца», и именно потому, что я так неизмеримо далеко ушла от того времени» (Письмо к

М. Л. Тургеневой от 28 февраля 1885 года, цит. по дневнику А. Л. Толстой).

Правда, критическая устремленность сочетается во взглядах писательницы с либерально-умеренной позитивной программой. Однако при всем том демократизм берет верх. Показательно писательское «кредо» А. Бостром в период реакционного безвременья: «...Настоящее положение дел в России не дает мне сделать и то небольшое, что я могла бы сделать... Искусство ради искусства — это не моя опера... Теперь же такое время, когда мысль не допускается в литературе... По-моему, если есть у писателя на душе что-нибудь важное...— пиши. Если же нет — молчи. Если нельзя высказать этой заветной мысли — опять молчи, хотя бы сердце изошло кровью, но не трать сокровища своей души на пустяки. Это профанация. Это святотатство.

О, Езопов язык, не удастся ли мне овладеть тобой? Не сумею ли я под его прикрытием высказать то, что накипело на душе?» (Письмо к М. Л. Тургеневой от 3 апреля 1888 года, цит. по дневнику А. Л. Толстой).

Уже в «Неугомонном сердце» наметились некоторые особенности интересов писательницы. Несмотря на появление новых тем и героев (крестьяне, земская интеллигенция), Александра Бостром останется преимущественно писательницей быта и нравов. Даже политическим и экономическим проблемам, характерным для литературного народничества, она придает нередко нравственную окраску. Энергичные, волевые женщины, посвятившие себя служению «общественному благу», по-прежнему ее частые героини...

Неожиданно как будто одно отличие в сравнении с начальным периодом творчества. Прежде главенствующей была тема дворянства, настолько, что для автора «Неугомонного сердца» поиски женского счастья, в сущности, замыкались поисками его в дворянской среде. Теперь происходит нечто прямо противоположное. Быт, состояние и дальнейшие судьбы дворянско-помещичьей среды — все это теперь для А. Бостром вопросы третьестепенные. Специальным стремлением вглядеться в жизнь и быт первого российского сословия, не считая набросков, вызваны только два рассказа и пьеса. И это за двадцать с лишним последующих лет! При немалой литературной плодовитости и у автора,

более сорока лет наблюдавшего помещичье хозяйствование в деревне!

Эта особенность кажется вдвойне любопытной, если вспомнить, откуда среди прочего почерпнут материал для сборников А. Толстого «Заволжье» и «Под старыми липами» («...я напал на собственную тему. Это были рассказы моей матери... об уходящем и ушедшем мире разоряющегося дворянства. Мир чудаков, красочных и нелепых...» и т. д.).

Почему же А. Бостром, знавшая те же факты «семейных хроник» гораздо ближе и «наглядней», множество раз на досуге занимавшая А. Толстого впечатляющими рассказами из помещичьей жизни, в своем творчестве почти не использовала этих наблюдений? Она, очеркистка, фактописательница, обычно не любившая упускать «натуру»?

Замечу кстати, что при сравнении творчества с личной биографией писателя парадоксы такого рода не редкость. Почему Жюль Верн, путешествовавший в основном на прогулочной яхте неподалеку от родного провинциального городка, домосед Жюль, стал всемирным писателем путешествий? А есть и обратные примеры: известные писатели, изъездившие к тому же и «вокруг земного шара», и немало «лье под водой», пишут всю жизнь не о путешествиях, а совсем о другом.

Обволакивая такие факты легендами, литераторы интуитивистского толка используют их для доказательств излюбленного тезиса о разрыве творчества и личности писателя («неведомое озарение»!). Тогда как речь должна идти всего лишь о конкретно-историческом объяснении сложностей художественной деятельности. Если причудливо-индивидуальны подчас пути, которыми складывается у писателя запас наблюдений и впечатлений, то подавно — от сочетания многих личных качеств и общественно-литературных причин зависит, *когда, насколько и в каком виде* «накопленный материал» будет использован.

В произведениях А. Бостром бросается в глаза и другой пародокс такого же рода. Разве не знала Александра Бостром цену и счастье взаимной любви? Разве не было у нее особых личных оснований, чтобы воспеть и героическую, и обновляющую, и радостную любовь? А на деле...

В отличие от дореволюционного А. Толстого, с его

верой — «любовь есть начало человеческого пути»*, Александра Бостром едва ли не всюду, когда касалась этой темы, показывала совсем другое. Что в любви нет ни утешения, ни спасения, ни даже временного пристанища от тех мучащих и мучительных вопросов, которые в жизни ее персонажей являются главными. В результате герои А. Бостром или добровольно отрекаются от любви, или любовь их почти всегда несчастна.

Нетрудно заметить, что причиной обоих названных «парадоксов» были господствующие в народнической среде взгляды и литературные представления, во власти которых находилась А. Бостром.

Мужик и интеллигент были главными фигурами в народнической литературе. По этим нормативным представлениям быт и судьбы дворянско-помещичьей среды сами по себе не могли вызывать первостепенного интереса.

То же — и с темой любви... Фанатическим огнем горят «черные жгучие глаза» земской фельдшерицы Анны: дворянка, она отказалась от «прежней жизни», от замужества. Одинокая, живет в деревенской глуши, лечит крестьян и чувствует себя счастливей, чем ее

---

* Как уже был случай заметить, идеалы одухотворенной, облагораживающей, а часто и всеисцеляющей любви представляли собой важнейшие из позитивных ценностей для творчества А. Н. Толстого тех лет. В этом выводе единодушны едва ли не все исследователи. Хотя, само собой разумеется, нравственно-философские поиски писателя были достаточно сложными и своими произведениями он утверждал не только идеалы любви. На последнем обстоятельстве заостряет внимание Л. М. Поляк в монографии «Алексей Толстой — художник». Обращаясь к более детальному исследованию, автор книги основательней многих выясняет и другие позитивные начала в творчестве критического реалиста А. Толстого дореволюционных лет (См.: Л. М. Поляк. Алексей Толстой — художник, с. 76—81).

Однако для нынешнего сопоставления с произведениями А. Л. Бостром будет довольно напомнить общее звучание темы любви у раннего А. Толстого. О своем понимании этой темы писатель не раз высказывался и сам. Высказывания эти широко известны. В качестве нового примера приведу небольшое забытое интервью А. Н. Толстого, которое он дал газете «Голос Москвы» в январе 1913 года.

Это была газета не общероссийская, а местного значения, второсортная. В заглавии и подзаголовке интервью не упоминается фамилия А. Н. Толстого. «Сватовство» — такой пьесы у А. Н. Толстого нет. Подписана заметка инициалами интервьюера. Видимо, по этим причинам интервью и оставалось до сих пор незамеченным в старых газетных подшивках.

бывший товарищ чиновник Стрепетов («Встреча». Очерк.— «Саратовский листок», 1889, № 241). «Я теперь не имею права любить... Есть времена, когда человек не имеет права быть счастливым...» — говорит положительный герой-интеллигент и в поздней пьесе А. Бостром «Жнецы» (1904—1905).

Такое изображение любви имело в основе народническое преувеличение роли интеллигенции в истории. По частностям Александра Леонтьевна и в жизни и в творчестве не раз оспаривала ходячие представления «о полном самоотречении», о «полном забвении своей личности» и т. п. (Из письма к неизвестной корреспондентке от 14 ноября 1885 года, цит. по дневнику А. Л. Толстой). Однако в целом продолжала романтическими красками рисовать жертвенную любовь. Она не была достаточно самостоятельной писательницей, чтобы преодолеть народнические этические постулаты и литературные каноны. Ее герои продолжают следовать «категорическим императивам» народнической морали и после того, как А. Бостром (с середины 90-х годов) отказалась от ряда социологических положений народничества.

В заметке речь идет о двух произведениях.

«Сватовство», как видно по всему,— одно из возникавших и отвергавшихся названий пьесы «Насильники (Лентяй)». Репетиции этой пьесы в Московском Малом театре начались в сентябре 1912 года, но премьера из-за болезни занятой в спектакле ведущей актрисы О. О. Садовской состоялась лишь через год — 30 сентября 1913 года. Это была первая из пьес А. Н. Толстого, поставленных на сцене. Для нас она представляет особый интерес, так как написана в значительной мере по мотивам повестей и рассказов заволжского цикла.

Комедия «Дуэль» была закончена зимой 1913 года. Но не удалась и под влиянием двукратной критики со стороны Вл. И. Немировича-Данченко после попыток переделки была уничтожена А. Н. Толстым. Перед нами одно из немногих авторских свидетельств о содержании несохранившейся пьесы.

Примечательно, как в обоих случаях тогдашний А. Н. Толстой определяет «позитивную программу» своих произведений.

Вот полный текст небольшой газетной заметки:

«Сватовство» (К постановке в Малом театре).

По поводу предстоящей постановки в Малом театре пьесы гр. Алексея Николаевича Толстого мы беседовали с автором.

— Основная идея моей пьесы: у каждого человека есть одна любовь настоящая, подлинная. Все остальное — случайное, наносное, эпизодическое. Каждый носит в себе портрет возлюбленной — своей единой, неповторимой любви. Сила этой любви предназначенной настолько могущественна, что перерождает саму

Интересны наблюдения, интуитивные догадки, мысли Александры Бостром, связанные с темой дворянства.

О «тоне» ее устных рассказов А. Толстому можно судить уже по сохранившимся письмам. В мае 1903 года она писала из благословенных мест, из раскинувшегося над Волгой родового имения Тургенево: «Погода еще не жаркая, разлив широк, яблони еще цветут... Я веду жизнь лениво-растительную, сплю, ем, брожу по саду, слушаю соловья, смотрю на воду и опять сплю. А все-таки... мне эти места представляются какой-то тихой могилой чего-то далеко прошедшего и кажется, будто не будет здесь будущего. Как-то ни о чем жизненном и не думается, а стоят вокруг тебя тени и призраки прошлого, и все мертвецы, мертвецы. Брр... Маша (сестра Александры Леонтьевны — М. Л. Тургенева, постоянно жившая в имении.—*Ю. О.*) к этому притерпелась... а мне... даже не верится, что жизнь где-то там, даже близко, недалеко, идет своим чередом, кипит, бурлит. Но не нарушить ей этой тишины, этого мертвого покоя» (Письмо А. А. Бострому, май 1903 года, ИМЛИ, инв. № 6311/88).

сущность человека. Она из безвольного лентяя делает почти героя.

Ведь наша дневная, суетная жизнь, как сновидение, полукошмарна, туманна, странна во всем своем сущем.

И вот эта любовь пробуждает. Она заставляет человека видеть кошмар повседневности, она уносит его от временного и преходящего и взор его устремляет в вечное, в незыблемое, в священное.

Но эта любовь — не страсть, не звериное и плотское желание непременно овладеть женщиной. Нет. Это другое. Любовь — спасительница, любовь — совместное существование, непрерывное созерцание идеала, глубокая духовная, не исключающая, конечно, и физической, связь с единственной, навсегда любимым человеком.

Этот же сюжет я несколько иначе разработал в своей новой пьесе, предназначенной для Художественного театра,— в «Дуэли».

На фоне серой, мещанской жизни провинциального забытого городка в течение одного только дня разыгрываются все действия моей не то драмы, не то комедии. Скорее, впрочем, комедии.

В этой пьесе я хотел сказать, что и в навозе жизни, и в самой кошмарной гуще ее любовь родит драгоценнейшие жемчужины.

Пьеса мною уже закончена.

Е. Я.».

(«Театры».— «Голос Москвы», 1913, 5 января, № 4, с. 4)

Тургенево — это та самая усадьба, где А. Толстой не раз бывал (и с матерью, и позже) и которую он описал в первой же из повестей заволжского цикла под слегка измененным названием «Неделя в Туреневе» (1910). Ощущения выморочности существования «под старыми липами» очень похожи у А. Толстого и в письмах Александры Леонтьевны. Более того, в произведениях писательницы о дворянском быте часть описаний и персонажей прямо предвосхищает будущее толстовское Заволжье.

Уже разоренная Репьевка, где обитает помещик-вырожденец Тучков (роман «Неугомонное сердце»), напоминает одноименные усадьбы у А. Толстого — повесть «Мишука Налымов», роман «Две жизни» («Чудаки»).

Еще заметней это сходство при сравнении с последующими произведениями писательницы.

В рассказе А. Бостром «Сон в старом доме» («Самарская газета», 1893, № 283) молодой делец, растерявший уже фамильные дворянские привязанности, приезжает из Петербурга в степную глушь, в родовое имение. Происходит встреча новоявленного буржуа со «старым домом».

«И вот он опять в этом прадедовском доме... Снова окружает его эта забавная прадедовская мебель, все эти затейливые ширмочки с нарисованными на них пастушками и амурами, пузатые комоды красного дерева на бронзовых львиных лапах, тяжеловесные бюро... Снова видит он целый ряд семейных портретов и снова ощущает знакомый запах плесени и гнили нежилых покоев».

Колоритно описан в рассказе А. Бостром и последний хранитель традиций старого дома — дядя столичного гостя. Вот его всегдашняя поза — у камина: «Близко к огню придвинуто кресло, то самое, на котором, по преданию, умер прадедушка, и в нем, положив руки на подлокотни и опустив седую голову, сидит старик... Старик сидит неподвижно, как портрет или картина». У этого старого чудака осталась единственная забота: на остатки средств он отапливает все тридцать нежилых комнат барского дома, по стенам которых развешаны портреты бесчисленных предков...

А вот другой старый дом и его хранительница из повести А. Толстого «Неделя в Туреневе» *. В пустую-

* В поздних редакциях названа «Петушок», с подзаголовком «Неделя в Туреневе».

щих ветхих хоромах иногда по ночам трещали потолочные балки: «Но к стукам в доме привыкли. Болезненная Дарьюшка-ключница спросонок только крестилась на кухне, веруя, что стучит это, бродя по дому, прадед барыни, Петр Петрович, который изображен на портрете в пестром халате, на костылях... Пожалуй, и не один Петр Петрович шагал осенними ночами... много их огорчалось запустением шумливой когда-то туреневской усадьбы, но некого больше было пугать, некому жаловаться... Все вымерли, унеся с собою в сырую землю веселье, богатство и несбывшиеся мечты, и тетушка Анна Михайловна одна-одинешенька осталась в просторном туреневском дому.

...Помолившись, тетушка ложится в кровать и долго не может заснуть — все думает: о прошлом — перед ней встают любимые ушедшие лица...»

В рассказе А. Бостром так же, как и у А. Толстого, неизвестно даже, кто является истинным хозяином былых дворянских твердынь,— то ли пережившие уже самих себя чудаки, то ли незримо присутствующие всюду тени и призраки прошлого. Недаром в изображении помещичьих усадеб оба автора отводят такую роль подробнейшему описанию различных старых вещей, рухляди, унаследованной нынешними владельцами от многих предшествовавших поколений, — фамильных портретов с дамами и кавалерами в напудренных париках, мебели екатерининских времен, библиотек с пыльными фолиантами и сундуков с истлевшими прабабкиными нарядами. Все это следы прошлого, укоры и напоминания. Тени предков, витающие над головами незадачливых потомков.

Однако в понимании темы обоими писателями есть и принципиальное различие. Встреча приезжих поклонников чистогана с обитателями дворянских «старых домов» — нередкий конфликт и у А. Толстого. Но и в «Приключениях Растегина», и в торге Смолькова с родоначальником дворянской Репьевки из-за денег (роман «Чудаки») писателя меньше всего занимает вопрос — кто из них «лучше»? Тогда как для автора народнического склада в этом весь гвоздь.

«Слушай, Эмануил... Давеча ты сказал, зачем я при моем разорении топлю этот старый дом, и я привел тебя взглянуть на этих предков. Портреты эти, этот старый дом —это все, что осталось от прошлого. Дом этот — старая хорошая книга, и его нужно беречь...».

В словах старого чудака, похваляющегося добродетелями предков, слышится и голос писательницы. В столкновении наглого чистогана с патриархальной стариной ей, с ее народническими идеалами, старина, разумеется, симпатичнее.

В рассказе А. Бостром «Воскресный день сельского хозяина» (1897) и в написанной по его мотивам пьесе «Жнецы» обитатели скудеющих дворянских усадеб сталкиваются с другой силой, вызванной развитием капитализма. С бурлаками, как называли тогда крестьян, пришедших с чужих мест на разного вида заработки.

Наряду с народническими А. Бостром разделяла уже некоторые идеи марксизма. «Ты — наниматель, он — работник, и ваши интересы противоположны»,— в этих словах одного из героев «Жнецов» выражена, пожалуй, главная мысль обоих произведений. Хотя в оценке конфликта заметны объективистские («легально-марксистские») нотки, столкновение изображено острое. Каждый год перед уборкой хлебов устраивались своего рода ярмарки наемной силы. На базарной площади приказчики и хозяева заключали сделки с артелями пришлых жнецов. Палящее солнце, азарт нанять подешевле и продать себя подороже, потные ненавидящие лица, запах грязной одежды, панические слухи, плач, крики, отупелые глаза пьяных, подкуп артельных вожаков, за которыми шли иногда целые голодные деревни,— все сплеталось в одной толкущейся и гудящей «наемке». Редкая из них обходилась без убийств и увечий.

Незадолго до А. Бостром драматические события при наемке жнецов, вызванные той же непримиримостью интересов, изобразил Гарин-Михайловский в рассказе «Бурлаки» (1895) и отчасти — «В усадьбе помещицы Ярыщевой (1894). Именно впечатлениями от рассказа «Бурлаки» подросток А. Толстой спешил поделиться с матерью (в письме от 31 января 1895 года).

Трагикомичность ситуации у А. Бостром в том, что ее герои, разорившиеся помещики, патриархальные мечтатели, вынуждены становиться даже более жестокими эксплуататорами, чем крупные посевщики. К тому же и с бурлаками им приходится иметь дело не через приказчиков. «Денег не платите, черви в каше...» — кричат при наемке разведавшие уже обстановку бурлаки в рассказе «Воскресный день сельского хозяина».

Некоторые характеры помещиков у А. Бостром очень напоминают обитателей толстовского Заволжья. Даже сходные юмористические нотки пробиваются у А. Бостром в описаниях Аркадия Васильевича Булатова — добропорядочного мелкопоместного либерала, которому едва не намяли бока обманутые им жнецы («Воскресный день сельского хозяина»), или сердобольной чудаковатой старой девы — помещицы Рамзаевой, мечтающей устроить отношения с крестьянами так, чтобы «и им, и нам было хорошо» («Жнецы»).

Все это показывает, насколько близко А. Бостром временами подходила,— не отдавая себе в этом отчета,— даже касалась той самой «художественной находки», которую увидел в этой теме А. Толстой.

Дело было не только в степени дарования или в остатках народнической идеализации прошлого.

У А. Толстого было немало предшественников, улавливавших уже тот «поворот» темы, который избрал и он сам,— «об эпигонах дворянского быта той части помещиков, которые перемалывались новыми земельными магнатами». При малой изученности вопроса бесспорно, что в их числе были писатели-демократы рубежа XIX—XX вв. Достаточно перечитать, например, «деревенские» рассказы Гарина-Михайловского «В усадьбе помещицы Ярыщевой» (1894) и др.

Но в 1909—1910 годах за А. Толстым был уже иной исторический опыт. При зареве событий 1905 года, на фоне бурного развития капитализма, перед надвигающейся империалистической войной выбитое из колеи патриархальное дворянство выглядело особенно растерянным и жалким. Возрос комизм самого «материала». В такой ситуации большой живописный и сатирический талант писателя и дал толстовское Заволжье.

Но уяснению помогли и предшественники.

В литературе даже искра таланта обязательно что-нибудь освещает. Так было и на сей раз.

В 1908 году у А. Толстого, который блуждал тогда в поисках литературного пути, произошел многое определивший разговор с поэтом М. Волошиным. Обсуждали частность — как совершенствоваться в изображении речи людей. Максимилиан Волошин посоветовал «брать какой-либо рассказ или драматическое произведение... и вставить в него знакомых мне лиц.

Думали — в какое бы.

Вспоминали Адана, Мопассана. Я рассказал, что

моя мать была драматургша, рассказал про драмы, содержание, про наемку косцов, про помещицкий быт.

Макс неожиданно перебил меня:

— Знаете, вы очень редкий и интересный человек. Вы, наверно, должны быть последним в литературе, носящим старые традиции дворянских гнезд.— Говорил о поэзии, грустной и далекой, говорил, что все теперь поэты и писатели городские, что мне нужно найти свой стиль и написать целый большой цикл.

Я был очень обрадован и начал распространяться и рассказывать, боясь все-таки, чтобы это не вышло сразу резко, диссонансом, точно завели. Я был очень возбужден» (А. Н. Толстой, запись 1908 года. ИМЛИ, инв. № 143/107, с. 11—12).

Наблюдения и мысли А. Бостром оставили след...

Страничка к творческой биографии

Характеризуя литературную манеру Александры Бостром, известный народнический критик А. Скабичевский писал: «Нельзя сказать, чтобы г-жа Бостром обладала особенно сильным творческим талантом. Она не творит, а непосредственно списывает с действительности, это писатель-фотограф в полном смысле этого слова, но, надо отдать ей справедливость,— списывает она до мельчайших деталей верно; вы видите в ее произведениях бездну наблюдательности, анализа, а, главное,— ума...» («Литературная хроника»,— «Новости и Биржевая газета», 1886, № 236).

А. Скабичевский, обратившийся к сборнику «Захолустье», в основном точно определил очерковую природу дарования писательницы и самое сильное, что было в ее творчестве.

Тупая, обезличивающая человека сила обыденщины — существования без идеалов, карабканья изо дня в день без смысла — таково содержание сборника. Житейские мелочи потому-то, как повальная эпидемия, и захватывают интеллигенцию, обыденщина потому-то и застилает все горизонты, что это — один из результатов политического бездорожья, засилья реакции и разочарования в прежних верованиях. Эта мысль иногда и обнаженно возникает в книге.

«В России нет поприща честным силам, они гибнут совершенно непродуктивно»,— говорит студент в повести «Изо дня в день». У героя очерка «День Павла

Егоровича» мелькает воспоминание о годах петербургской молодости, о тогдашних убеждениях и клятвах: «То было время! Как жилось тогда, как любилось, как верилось!»

А во что превратился теперь этот земский врач? Объективированное и как будто бы беспристрастное повествование становится местами почти сатирой. Вот Павел Егорович при исполнении своих лекарских обязанностей:

«— А как же-с, Павел Егорович,— сказал фельдшер медовым голосом,— насчет этого больного, у которого на губе рак? Вырезать намереваетесь? В сегодняшний день назначили. Он нетерпение изъявляет-с...

Доктор поморщился. Эту операцию он откладывал день ото дня, вот уже целую неделю, рассчитывал почитать кое-что о ней в книгах, но день проходил за днем, а книги что-то не читались. Так вчера, например, он твердо решил просидеть вечер дома и почитать, но зашел помощник исправника и соблазнил его идти в клуб. А после клуба, конечно, какое уже чтение.

Доктор подумал с минуту: больной ждать не хочет, сегодня вечером нужно непременно идти в клуб отыграться — не прочтешь, ни за что не прочтешь... Он поднял голову с решимостью.

«Что в самом деле медлить? Вырежу, и все тут. Не бог знает какую премудрость вычитаю из книг. В самом деле, ведь чему-нибудь да учили нас в университете. Рак мне случалось и прежде вырезать. А ведь я хотел только прочесть, как бы покрасивее зашить, чтоб на губе не так рубец было видно. Ну, да чего уж тут, на что мужику красота...»

И хотя собственная программа писательницы сводилась к призыву — делать «полезное, честное дело... без наград и славы», с верой, что «человечество неустанно идет вперед»,— политическое, в конечном счете, объяснение «обыденщины» было плодотворным. Своеобразие трактовки Александрой Бостром этой распространенной в литературе 80-х годов темы отмечал и А. Скабичевский на примере другого произведения.

В «повести «Изо дня в день»,— писал критик,— изображается семья одного провинциального чиновника Краснова и в этой семье представляется перед вами медленное обезличение жены Ивана Кузьмича Краснова — Евгении Николаевны. Картины провинциальных семей и обезличение женщины,— не правда ли, какая

это изъезженная тема в нашей беллетристике, начиная чуть ли не с 30-х годов? Но в том-то именно и заключается достоинство повести г-жи Бостром, что, несмотря на всю изъезженность темы, писательница сумела придать ей оригинальность и занимательность...»

Высоко оценивает автор статьи и очерк «День Павла Егоровича», в котором «на нескольких страничках перед вами развертывается страшная картина целой жизни — именно картина опошления земского доктора. Тут не встретите вы ни одного отвлеченного суждения, ни одного шаблонного штриха: все детали, взятые прямо из жизни, и каждая деталь — золото. Одним словом,— заключает критик,— желательно, чтобы побольше выходило таких книжечек, как книжечка г-жи Бостром» («Литературная хроника».— «Новости и Биржевая газета», 1886, № 236).

К сборнику «Захолустье» примыкает несколько рассказов А. Бостром. Об одном из них — «Со скуки» («Самарская газета», 1891, № 19—21) Н. Г. Гарин-Михайловский и Н. В. Михайловская через четыре года после прочтения его в газете говорили, что «произвел этот рассказ такое впечатление, что до сих пор оба его помнят» (ИМЛИ, инв. № 6311/29).

Поздний рассказ на близкую тему — об идейном банкротстве «отцов» и опустошенности молодого поколения — «Прогулка» («Самарская газета», 1899, 18 ноября) написан слабо, но примечателен в другом отношении. Рассказ передает ситуацию разговора с сыном на пароходе в апреле 1899 года — один из тяжелых моментов юношеских переживаний А. Толстого, помышлявшего даже о самоубийстве (см. об этом биографическом эпизоде в кн.: Ю. А. Крестинский. А. Н. Толстой: Жизнь и творчество, с. 20).

Среди газетных очерков заметно выделяется «Мария Руфимовна» («Самарская газета», 1892, 20, 21 и 24 ноября). В нем писательница вопреки собственным иллюзиям правдиво нарисовала драматическую фигуру одного из идейных «инвалидов» народнического движения. «Я работала, кровью харкать стала... Спина не разгибалась. Я работала. Ну и что ж, что ж! — с горечью говорит пошедшая «в народ» акушеркой Мария Руфимовна.— Из одного места прогнали... Донос... Из другого прогнали... Потом мужики, эти самые, за которых мы жизнь свою класть хотели... те самые, приговор написали, что не надо-де нам кушерку Марью

Сахарову, потому-де она смутьянка... За то, что я неправды их старосты разоблачала и писаря... Это они-то, меня-то... понимаете?..»

Очерк «Мария Руфимовна» показывает, по мысли автора, как бы другой возможный вариант жизненной судьбы пошедших «в народ» энтузиастов, чем в упоминавшемся уже очерке «Встреча» (1889). И образ Марии Руфимовны несравнимо жизненней и психологически достоверней фельдшерицы Анны, в которой воплощались положительные идеалы писательницы.

Молоденькой девушкой, полной убежденности и любви чуть ли не ко всему человечеству, пошла «в народ» Мария Сахарова. И вот теперь это озлобленная от сознания напрасно прожитой жизни, одинокая чахоточная женщина, почти человеконенавистница. В очерке скупыми и сильными красками изображен финал жизненной драмы этой сломленной в неравной борьбе энтузиастки.

Старые идеалы изжиты, новых нет. Что же остается? Усталая от жизни, Мария Руфимовна идет на заведомое самоубийство, умышленно заражаясь при лечении больных во время эпидемии...

Повествовательная манера А. Бостром нередко сочетает в себе индивидуальную точную и выразительную речь со словесными шаблонами и красивостями расхожей беллетристики.

Вот, к примеру, характерная для нее пейзажная картинка — начало весны в деревне — из очерка «Ушел»: «Мартовское солнце ярко светило. Под крышей ворковали голуби. Воробьи, веселые, бойкие, задорные, скакали по мягкому навозу дворика Рожковых и усердно вырывали из него своими тупыми носиками какие-то съедобные прелести. С соломенных крыш и лопасов текли желтоватые капли; тысячи ледяных висюлек, образовавшихся за ночь, украшали низ крыш хрустальной бахромой. В воздухе пахло весной. Изморенная за долгую зиму скотина радостно расправляла на ласковом солнышке надрожавшиеся на холоду члены». («Самарская газета», 1891, № 50, 56).

Сопоставляя очерк А. Бостром «Выборщики» (1890), например, с очерком ветерана литературного народничества Н. И. Наумова «Крестьянские выборы» (1873), можно было бы показать, что при изобразительных преимуществах очерка Н. Наумова в осмыслении похожей ситуации А. Бостром проявляет больше политической

глубины и свободы от иллюзий. Открылись бы и две основные линии творческой близости и влияний в произведениях А. Бостром — беллетристов-народников (Н. Наумова, Н. Златовратского и др.) и шедших своим путем писателей — будущих «знаньевцев» (Н. Гарина-Михайловского, Евг. Чирикова)...

Отчетлив сдвиг в творчестве А. Бостром в середине 90-х годов. Под воздействием марксистских идей писательница обращается к изображению расслоения деревни.

Крестьянская община, «старики» — лишь орудие в руках деревенских богатеев, кулачество «миром, как хочет, вертит». К такой мысли подводят читателя события в очерке «Филатово сено» («Самарская газета», 1896, 1, 5 и 8 декабря).

В центре очерка — разоряющийся крестьянин, один из тех, у кого дела с каждым годом идут все хуже. «Филат был маленький мужичок с выцветшими глазками, в которых застыла задумчивая грусть... Сначала, когда семья была мала, а хлеб родился хорошо, Филат перебивался кое-как. Но подошли неурожайные годы, потом холера, от которой умерла его жена... Что-то новое надвигалось, как грозная туча, на деревню... Все, что мужику нужно было продавать, все становилось дешево. Своя земля не родила, потому что никогда не видела навозу, навоз весь шел на топливо... Между тем были в деревне люди, которые богатели, несмотря на всеобщую нужду. Так, был лавочник, ссужавший мужиков деньгами под процент, поп, писарь... В длинные зимние вечера в избах складывались целые легенды о ловких проделках сельских кулаков... Не мудрено, что общее настроение коснулось и Филата...».

Скоро и обстоятельства заставили Филата испытать себя в «умственности». Весенний паводок погубил единственный стог сена. Две плохонькие лошаденки остались без корма. Но «умственность» бедняка такая же грошовая и неудачливая, как сам Филат. Тайком увезенное у соседа-богатея сено, «зеленое, пырейное, духовитое», какое мало у кого было, обнаружено. Потерпевший столковался со «стариками», которые «почти все у него закабаленные, почти все ему должны — кто деньгами взял, кто хлебом, кто сеном». Мир решает на сходе Филата пороть... Позорное наказание за ворованное сено постигает «почти старика». Филат теперь уже другой человек — «сеченый отец».

Случай, почерпнутый, по-видимому, из проходившей перед глазами деревенской жизни, развит автором с широким замахом, в нескольких пространных «подвалах» трех номеров газеты. Передан, быть может, излишне подробно, в лобовых характеристиках. Но достаточно показателен и интересен.

В 1904—1906 годах А. Бостром создает образы интеллигентов-революционеров (пьеса «Докторша» и др.).

Рассказ «Пробуждение» (Журнал «Образование», 1905, сентябрь) печатался в короткий период растерянности властей и паралича цензуры, вызванных размахом народного движения. В нем прямо описываются революционные события в начальные месяцы 1905 года и многие вещи названы своими именами. Писательница одной из первых в литературе изобразила рост революционных настроений в среде сельского учительства— интеллигентных горемык провинциального «захолустья», бытописательницей которого Александра Бостром была всю жизнь.

«Я вам скажу, какая главная отличительная черта нашей учительской психологии: мы ничего не смеем... — рассуждает молодая героиня рассказа, недавно ступившая на учительское поприще.— Мы живем под стеклянным колпаком. Вы видели когда-нибудь стеклянный улей? Он стоит под деревянным футляром. Приходит пчелинец, снимает футляр, и любопытный взгляд проникает в самую глубину семейной жизни пчел... Вот и учитель постоянно рискует тем, что с его интимной жизни снимется футляр и любопытствующее начальническое око вонзится в самые, так сказать, недра души».

Еще шире и острей — что естественно — судит о том же предмете отец пятерых детей бывалый деревенский учитель Сергеев. «Вот он, смотрите, народный учитель, перед вами... — говорит Сергеев, обращаясь к коллегам. — Оборванный, полунищий, полуголодный и материально, и морально, от всех зависящий, всем кланяющийся, всех боящийся. Вот народный учитель... Господа, человек, который всего боится, не может воспитывать дельных людей. Не может раб воспитывать человека свободного...»

Писательница хорошо знает среду сельского учительства. И, правдиво показывая, как распрямляется попранное человеческое достоинство у разных действующих лиц и «пробуждение» выливается в организо-

ванном протесте, не переоценивает своих героев. Многое происходит под влиянием общего движения. «Эка страсть. Да ныне лягушки и то о своих правах квакают» — как замечает иронически один из персонажей.

Точными художественными штрихами обозначает А. Бостром и первотолчок, выводящий из привычного оцепенения рядовую массу деревенского учительства. Это прежде всего глубокие перемены в народе, в крестьянстве, подземный гул надвигающейся революции. «Видимо, я пропустила какой-то важный момент...— признается главная героиня рассказа.— Я узнала, что некоторые мужики сами выписали газету. В нас более не нуждались. Мы не смели ответить на их запросы, ну, они сами захотели разобраться и сами ответить. Очевидно, работа сознания шла тут, возле нас, и мы ее не видели, от нас ее прятали. Это было тяжело и обидно. Но кто же в этом был виноват?»

На рассказе «Пробуждение» отразились вместе с тем преувеличение писательницей реальных успехов первых месяцев революции и неизжитые либеральные иллюзии. Это определило идиллический финал: едва осознав необходимость совместной борьбы и объединившись в профессиональный союз, учителя достигают скорой и полной победы над карикатурно очерченным инспектором и губернским начальством. С чудодейственной легкостью ближайший противник сокрушен посредством собрания и резолюций. И в конце, как символ всеобщего «пробуждения», вместе с героиней — молодой учительницей ликует даже сама оживающая весенняя природа...

Однако при всем том такие произведения, как драма «Докторша» или рассказ «Пробуждение», явно обозначали собой новый этап в дальнейшем развитии взглядов и творчества Александры Бостром.

В начале 900-х годов она особенно много печатается как детская писательница. Только в 1904—1905 годах одна за другой выходят шесть ее книг. А. Бостром зазывают на свои страницы почти все существующие в обеих столицах детские журналы. Театры наконец-то начинают ставить ее пьесы...

Александре Леонтьевне идет пятьдесят второй год. Она в поре писательской зрелости. Достигнута пусть и не та, к какой она стремилась, но все-таки литературная известность. У нее есть имя, добрая репутация, есть свои читатели. Поступают просьбы, заказы и договора

от книгоиздательств и журналов. Дело — за ней, а уж ее не надо погонять. Она работает неустанно, каждый день. А впереди еще много неосуществленных замыслов, много лет жизни...

На этом подъеме путь писательницы внезапно оборвался. Летом 1906 года она скончалась.

Последние часы Александры Леонтьевны были омрачены проклятием тяготевшей над ней семейной драмы.

Об этом рассказывает в своих воспоминаниях С. И. Дымшиц-Толстая, которая недолгое время спустя, в 1909 году, общаясь с ближайшими родственниками А. Н. Толстого в Самаре и Поволжье, имела сведения о происходившем по свежим впечатлениям.

По ее словам, Н. А. Толстой воспитал старших сыновей «в жестокой вражде к матери и младшему брату. Ненависть старших братьев к матери, привитая им отцом... была настолько велика, что сын Мстислав, находившийся случайно в больнице, в которой умирала Александра Леонтьевна, отказался выполнить ее предсмертную просьбу — прийти к ней проститься» (Воспоминания об А. Н. Толстом. Сборник, с. 71).

25 июля 1906 года «в Ольгинской общине сестер милосердия «Красный Крест»,— говорилось в некрологе,— скончалась от менингита местная писательница А. Л. Тургенева, подписывавшая свои произведения псевдонимом А. Бостром. Умершая А. Л. обладала недюжинным беллетристическим талантом и написала очень много рассказов...» («Александра Леонтьевна Тургенева-Бостром».—«Голос Самары», 1906, 27 июля).

«Мы потеряли в ней высокообразованную, талантливую литературную труженицу...» — писала другая газета («А. Л. Бостром-Толстая».— «Самарский курьер», 1906, 28 июля).

Как свидетельствуют Л. И. Толстая, вдова А. Н. Толстого, и работавший личным секретарем писателя Ю. А. Крестинский, в последние годы жизни Толстой снова возвращался к мысли о переиздании некоторых произведений А. Бостром. Может быть, книжки для детей, может быть, сборника лучших ее очерков*.

---

* Привожу библиографию произведений А. Бостром (без детских рассказов, печатавшихся в петербургских и московских журналах «Огонек», «Родник», «Детское чтение», «Детский мирок», «Задушевное слово», «Пчелка» и др., а также без публицистических статей и заметок).

Издано отдельными книгами

Неугомонное сердце: Роман в двух частях. Спб.: Типография Стасюлевича, 1882.

Захолустье (повесть «Изо дня в день», очерк «День Павла Егоровича»). Спб.: Типография Стасюлевича, 1886.

Подружка: Книжка для маленьких детей с 130 картинками. Спб.: Изд-во Ф. Павленкова, 1892.

Странная девушка: Сказка.— В кн.: Булавина Е. А. Стихотворения. Самара, 1894.

Подружка. 2-е изд. М.: Изд-во т-ва И. Д. Сытина, 1905. В этом издательстве книга выходила еще четыре раза. В библиографии зарегистрированы издания в 1910 и 1915 годах, 6-е издание.— М., 1916.

Нянька: Рассказ.— В сб.: Читальня народной школы: Журнал с картинками. Вып. 4, 1889; 2-е изд.— Там же, 1904.

Сестра Верочка: Повесть для юношества. Спб.: Изд-во О. Н. Поповой, 1904.

Сон на лугу: Феерия для детей в одном действии. Спб.: Изд-во О. Н. Поповой, 1904.

Два мирка: Книга для детей младшего возраста. М.: Изд-во т-ва И. Д. Сытина, 1904. Выходила в этом издательстве шесть раз. В библиографии зарегистрированы издания в 1910, 1912 и 1914 годах. 6-е издание.— М., 1917.

Афонькино счастье: Рассказ. Спб.: Н. Морев.— В сб.: Читальня народной школы: Журн. с картинками, 1904, вып. 1.

Как Юра знакомится с жизнью животных: Рассказы о животных и их жизни. Для маленьких детей. М.: Изд-во т-ва И. Д. Сытина, 1907. В этом издательстве книга выходила еще четыре раза. В библиографии зарегистрированы издания в 1911, 1913 и 1915 годах, 5-е издание.— М., 1918.

Первая поездка: Книжка для маленьких детей. Спб.— М.: Т-во М. О. Вольф, 1907.

Сторож Миша. Спб.: Н. Морев. —В сб.: Читальня нар. школы, 1914, вып. 1.

Кот Василий Иванович: Рассказ. М.-Л.: Гос. изд-во тип. Печатный двор в Л., 1928.

Наседка: Рассказ для детей. М.-Л.: Гос. изд-во 1-я образцовая типлит., 1928.

Как волчиха на свете жила: Рассказ. М.-Л.: Гос. изд. тип. «Красный пролетарий» в М., 1930.

Рассказы и очерки.— Куйбышев. Кн. изд-во, 1983.

Рассказы и очерки в газетах и журналах

День Павла Егоровича: Очерк.— Русское богатство, 1884, кн. № 7.

Одинокая: Очерк.— Саратовский листок, 1889, № 65.

Лагутка: Очерк.— Саратовский листок, 1889, № 120.

Встреча: Очерк.— Саратовский листок, 1889, № 241.

Выборщики.— Саратовский листок, 1890, № 20—21.

Со скуки.— Самарская газета, 1891, № 19—21.

Ради детей.— Саратовский листок, 1891, № 238.

Ушел: Очерк из народной жизни.— Самарская газета, 1891, № 50, 56.

Мария Руфимовна: Этюд.— Самарская газета, 1892, № 251—253.

Рождественский сочельник.— Самарская газета, 1892, 31 октября и 3 ноября.

Фантазия: Рассказ.— Самарская газета, 1893, № 155.

Ей было дано: Рассказ.— Самарская газета, 1893, № 66.

Сон в старом доме.— Самарская газета, 1893, № 283.

Рассказ о том, как в деревне Малиновке холеру встречали.— Самарская газета, 1893, № 38.

Странная девушка.— Самарская газета, 1894, 16 декабря.

Филатово сено: Деревенский рассказ.— Самарская газета, 1896, № 257, 260, 262.

Воскресный день сельского хозяина: Очерк.— Самарская газета, 1897, № 177, 183, 193.

Солдат пришел: Рассказ.— Самарская газета, 1897, № 157, 161.

Прогулка: Рассказ.— Самарская газета, 1899, № 249.

У камина: Рассказ.— Самарская газета, 1899, № 277.

Мопсик: Рассказ.— Самарская газета, 1900, № 78.

Ангельская душенька: Рассказ из народной жизни.— Самарская газета, 1900, 17 и 18 мая.

Пробуждение: Рассказ.— Образование: Журнал, 1905, сентябрь.

Глава последняя

ЦЕЛУЮ ЖИЗНЬ СПУСТЯ

Июльским полднем 1936 года в небольшой дом, что рядом с закрытым костелом, постучали.

Перед хозяйкой стояло несколько незнакомых людей, по видимости, приезжих. Среди них выделялся грузный человек в шляпе и с плащом на руке. При всей представительности, в его лице с высоким лбом, крупным носом и зорким взглядом сквозь очки, в неторопливых его манерах было что-то располагающе свойское. Зажатым в кулаке платком он то и дело отирал с лица и шеи пот, дружелюбно оглядывая все и подмечая, как будто и нестерпимую июльскую жарищу находил чем-то для себя интересной. Это был Алексей Николаевич Толстой.

Если не считать давнего спешного заезда, писатель осматривал Самару, в сущности, впервые за последние двадцать с лишним лет. И каких лет! Перепахавших войнами весь мир, преобразивших Россию, народ, его самого... Самара называлась теперь Куйбышевом. Пароход, спускавшийся по Волге, встал у Куйбышева. И первое, что сделал Толстой,— пришел к этому домику возле костела.

В заметке, напечатанной затем в областной газете, В. Севастьянова рассказывала: «Я быстро познакомилась с гостями. Мы прошли в нашу квартиру.

— В этом доме я жил много лет назад,— сказал Алексей Николаевич.— Здесь была моя комната, рядом комната матери.

Теплая беседа длилась около получаса.

— Я поражен изменениями, которые произошли здесь. Прежнюю Самару теперь не узнать. На месте пустырей и лачуг выросли огромные здания...» («Встреча

с писателем»,— «Волжская коммуна», 1936, 6 июля).

Газетная заметка передает лишь самые внешние приметы этого свидания Толстого с его прошлым... События, которые случились с ним здесь ровно за тридцать лет до этого, Толстой многие годы считал самыми неизгладимыми в своей жизни. Это был мгновенный переворот во всем, боль, кошмар, возмужание. Когда в новогодние дни 1913 года в писательском кругу вспоминали самые значительные случаи из жизни, А. Толстой рассказал: «...Это было летом 1906 года. Я жил в Германии, в Дрездене, учился... Жил обычной жизнью студента, как живут все.

Перед самыми экзаменами я вдруг без всяких причин почувствовал безотчетное беспокойство, какую-то странную и сильную тревогу. В два дня я собрался и уехал в Россию, к матери, жившей на берегу Волги, верстах в 12 от Самары (на даче.— *Ю. О.*).

Поездка по Волге была жуткой. В то лето начались аграрные беспорядки, по ночам горизонт пылал заревом пожаров. Тревожность не покидала моей души. Было что-то томящее, смутное и тяжелое, что не оставляло меня ни на минуту. И все эти дни я чувствовал, что настает какой-то решающий момент в моей жизни, что с этих дней жизнь будет иной, совсем иной, непохожей на прежнюю...

Наутро все мы — я, мать и жена — поехали в Самару. Матушка заехала к знакомым, я — на пристань, проводить уезжавшую знакомую барышню.

Когда, проводив знакомую, я шел от пристани вверх... к городу, на перекрестке услышал какой-то странный удар. Я пошел на звук и вот что увидел: разбитые дрожки, две лошади бьются в агонии, а кучер валяется, запутавшись в вожжах. Близ дрожек лежит тело в черном мундире, одна рука в белой перчатке, вместо другой руки — кость, вместо ног — кости. Головы нет.

Это был губернатор Блок (убит бомбой террористов в конце июля 1906 года.— *Ю. О.*).

Потрясенный всем пережитым и виденным, я пошел к знакомым, где остановилась моя матушка. Встречаю своего тестя — врача, и вот что он говорит мне: «Не пугайся, случилась скверная вещь. Александра Леонтьевна (моя мать) без сознания — у нее менингит».

Утром матушка моя скончалась.

Я уехал в Петербург, как-то внезапно начал работать, потом уехал в Париж...

Со дня кончины матери я постоянно чувствовал ее присутствие. И чем более усложнялась моя жизнь, тем интенсивнее я жил духовной жизнью, тем легче чувствовал себя. Тогда же я и начал писать.

Страстным желанием моей матери было, чтобы я сделался писателем... Все, что я рассказывал вам — есть самое значительное, неизгладимое в моей жизни...» («Голос Москвы», 1913, 6 января, № 5, с. 4).

Позднее, в частности в «Краткой автобиографии» (1942—1944), А. Толстой снова возвращался к своей последней встрече с матерью. Запомнилась жесткая откровенность одного разговора.

На самарскую дачу Толстой привез из Дрездена новые тетрадки стихов. Мать больше понимала в литературе, чем умела писать. Это он уже знал тогда. Старомодными и длинными казались ему многие повести и пьесы, которые она трудолюбиво выстукивала на машинке. И все-таки она оставалась для него учителем, которого нельзя было обмануть ни модными рифмами, ни салонной дерзостью образов, ни взятыми напрокат идейками. Она все видела и понимала.

Кажется, в тот приезд он вдруг возомнил о себе. Позади были изъезженные столицы и заграницы. Ему шел двадцать четвертый, и он уже начинал печататься. Строгий приговор его новым стихам явился для него неожиданностью. Он был смущен, раздосадован.

В голосе матери было сожаление, но не сочувствие:

— Все это очень серо...

Требовательность — стало ее завещанием. В «Краткой автобиографии» А. Толстой дважды упоминает о матери в связи со своими попытками в литературе. И каждый раз она выступает в качестве разрушителя иллюзий. Причину этой ревнивой взыскательности он видел, хотя и не знал, конечно, всего, что выясняется теперь из найденной переписки матери. Кто поверил в А. Толстого самым первым? Еще задолго до того, как он всерьез начал сознавать свое дарование сам? Она. Литературное чутье и материнское чувство соединились в одной уверенности. Наблюдая, как много поэтических «мыслей зароилось» у 16—17-летнего Толстого, как мир для него полнится скрытыми от других красками и звуками, она угадала в беспомощных виршах будущее сына. С поражающей теперь нас прозорли-

востью она писала тогда А. А. Бострому: «...Я очень осторожно стараюсь обращаться с его творчеством, ничего не говорю, как делать, а только критикую или одобряю. Увидишь, его творчество будет сильнее моего, и мне со временем придется перед ним преклоняться, что я и сделаю с великой радостью!» (Письмо без даты, между осенью 1899 — весной 1900 года).

Свой долг перед ней как учителем Алексей Толстой кратко выразил в дарственной надписи на экземпляре сборника «Лирика». Посвящая отчиму «первый труд», «зеркало души моей», А. Толстой ниже добавляет: «Пусть книжка эта напомнит тебе мамочку, вложившую в меня ту искру, которая горела в ней таким горячим чистым пламенем». Это писалось 17 мая 1907 года. Глядя на лежащую перед ним первую свою книгу в голубовато-серой обложке с белыми летящими чайками по полю и собираясь отослать ее отчиму в Самару, молодой автор думал, что написать. Первое было ясно сразу — о матери. Но что о ней? И Алексей Толстой пишет, как ему кажется, самое главное, самое значительное из того, чем он обязан матери: она вложила в него «искру» писательства.

...Может быть, эти или подобные эпизоды оживали в памяти автора «Петра I» и «Хождения по мукам», когда июльским днем 1936 года он вновь оглядывал — такими низкими ставшие теперь — потолки в доме своей юности. Вероятно, вспомнил он и старого Алексея Аполлоновича. На чем оборвались их отношения? Когда они потеряли друг друга из виду?

Вот оно, письмо, которое, миновав тысячи случайностей, пришло из Москвы в Самару. Все сотканное из противоречий, оно содержит уже многие будущие концы и начала. И непонимание происходящего, которое в 1918 году вызрело в решение покинуть революционную Москву и завело в эмиграцию. И ту веру в народ, которая определила позже второе рождение Алексея Толстого в качестве советского писателя. Найденное недавно в Куйбышеве, это письмо и явилось, по-видимому, последней вестью от А. Толстого в Самару отчиму:

«...Вот какие события завернулись на нашей родине! А думал ли ты, что когда в Самару были сосланы марксисты, что они-то и будут через 20 лет у власти? Чудеса. Марксизм не марксизм, а очевидно, Россия найдет свой какой-то, в высшей степени оригинальный, политический и общественный строй, очевидно, демократи-

ческий. Вообще я очень радостно и светло смотрю на наше будущее. То, что у нас делается сейчас — экзамен на первом курсе в мировом университете. Учиться нам нужно (главным образом, на практике, по своему разумению, а не по книжкам) долго и трудно. И пока ученье идет хорошо, правильно, и уже сейчас можно указать на несколько присущих нам свойств: русский народ не кровожаден и крови не жаждет, русский народ не буржуазен, т. е. собственность как идея не составляет для него фетиша, и русский народ в высшей степени приспособлен быть носителем идей социально-анархических, т. е. грядущей абсолютной мировой свободы и т. д.

Все, что делается сейчас плохого, все объясняется невежеством народа и гнетом войны; нужно удивляться, как еще мало делается у нас злого и страшного. Теоретически нужно было предположить, что к 7-му месяцу революции Россия представляла бы собой груду дымящихся, окровавленных развалин. А мы еще живем, бунты подавляются почти без крови, армия защищает города, партия борется словами, а не топором, фонари предназначаются пока еще только для освещения и т. д.

Как ты живешь? Наверно, стал уже совсем седой. Напиши о себе и о том, что у вас делается. Что Шура? Она, чай поди, стала уже дамой... Целую тебя и Шуру.

А. Т.

Малая Молчановка, 8, кв. 19» (Письмо без даты, сентябрь 1917 года).

Вскоре они оказались на разных берегах...

Среди семейных ролей, которые сами собой закрепились за отчимом, была и такая: он был «домашним критиком» обоих авторов — и матери, и сына. И хотя на природный вкус Бострома нередко давила его вера в литературные нормы, зато разборы и замечания его всегда бывали быстры и обстоятельны. «Относительно критики — очень рад, мне необходима такая детальная критика, напиши еще об остальных стихах...» (А. Н. Толстой — А. А. Бострому, 6 февраля 1906 года). «Милый папа, письмо и пьесу получил, благодарю... в январе идут две мои повести и рассказ, их отделываю, правлю корректуру и т. д. Непременно оттиски пришлю тебе...» (А. Н. Толстой — А. А. Бострому, письмо без даты, не раньше конца 1909 — не позже декабря 1910 года). Писатель поддерживал давнюю традицию. Сохра-

нились еще школьные сочинения А. Толстого с правкой рукою А. А. Бострома, его вставками и пометками. Поправки вносил Бостром и в некоторые ранние произведения А. Толстого*.

Но даже в пору их наибольшей близости, когда юноша Толстой во многом находился под влиянием А. А. Бострома, полными единомышленниками они не были. Характерный пример: рукописная рецензия А. Толстого «По поводу повести Андреева «В тумане» (ИМЛИ, инв. № 329) и журнальная статья А. А. Бострома «Что говорит родительскому сердцу рассказ Андреева «В тумане».

Реферат на эту тему, прочитанный Бостромом 19 мая 1903 года на заседании городского семейно-педагогического кружка, произвел в Самаре сильное впечатление (см., напр., письмо А. А. Бострома — А. Л. Толстой, 20 мая 1903 года). Дальнейшая переписка указывает на существование печатного варианта реферата — статьи, которую и находим в декабрьской книге журнала «Образование» за 1903 год.

Толстой в рецензии разделяет основную мысль и многие доводы статьи Бострома, присланной в Петер-

---

* Интересно, например, обнаруженное письмо А. А. Бострома Александре Леонтьевне от 31 октября 1905 года, в котором приведено стихотворение А. Толстого с уже внесенными Бостромом поправками в пяти строках. Одно из лучших в той революционной лирике, которой молодой Толстой откликнулся на события 1905 года, стихотворение это до сих пор не было известно. Это небольшая баллада без названия в форме монолога: герой подает команды засевшим в доме участникам восстания, и в его словах возникает для нас картина боя:

Живо, товарищи, двери заприте!
В руки оружье! Живее берите!
Все ли на месте? Какой недогадливый!
Это — что? Даром здесь камни навалены?
«Стойте!» — кричат нам царевы приспешники.
Просят, чтоб сдались. Вот-то насмешники.

Забаррикадировавшиеся участники восстания у А. Толстого — это скорее вчерашние крестьяне не без черт уличной вольницы, чем сознательные рабочие:

...Ну-ка, гостинца пошли кирпичами.
Пусть-ка узнают, как меряться с нами.
Эх ты, Петруха, не для-ча совался.

Я говорил, вот за это нарвался.
Вот еще двое... Да кровь-то уймите.

бург еще весной в рукописи. Но проявляет гораздо большую широту и точность оценок. В очень благородных, увлеченных, пересыпанных умными цитатами рассуждениях отчима часто недоставало одного — трезвости в понимании происходящего...

Алексей Аполлонович не был бы самим собой, если бы в любые отношения, помимо своей воли, не вносил забавный элемент. По мере того как А. Толстой входил в силу, а книги его завоевывали популярность, отчим все больше становился мнителен и обидчив. Новые рассказы и повести Толстого он вдруг начинал читать, как будто заходил в комнату кривых зеркал: всюду видел себя, свои черточки.

Роман «Хромой барин», прихрамывающий после дуэльного ранения князь Краснопольский? Уж не с него ли, Бострома, писал этого героя Толстой? Ведь и он всю жизнь прихрамывал, с самого того выстрела графа, в поезде. И его, Бострома, случалось, сосновские мужики тоже называли между собой хромым барином.

Дело принимало нешуточный оборот, когда отчим вдруг узнавал свои черты в героях, уже вовсе непри-

---

Голову выше... рубашку порвите.
Слышь! Обошли!.. Да babprite же двери!
Сгинь пропадом они, подлые звери.
В кучу стреляйте, не жалко народа.
С нами Россия! Пред нами свобода!..

Последние слова героя, сраженного жандармской пулей: «Слава за нами! Умремте же, братья!». «...Стихотворение без названия очень симпатично по замыслу,— писал А. А. Бостром.— К сожалению, полно ярких отступлений от размера...» Стремлением устранить этот ритмический «диссонанс» и была вызвана его правка.

Письмо А. А. Бострома интересно еще и в другом отношении. Оно подтверждает вывод Ю. А. Крестинского, что разысканное им в казанской либеральной газете «Волжский листок» от 6 декабря 1905 года стихотворение «Далекие», посвященное политическим ссыльным в Сибири, за подписью «А. Т.», принадлежит А. Толстому и, таким образом, «...впервые Толстой выступил в печати 6 декабря 1905 г. со стихотворением, навеянным революционными событиями» (Ю. А. Крестинский. А. Н. Толстой: Жизнь и творчество, с. 43). Раскрывая подпись «А. Т.» под газетным стихотворением, литературовед опирался лишь на косвенные данные. В найденном теперь письме А. А. Бостром пишет прямо: «Спасибо за присылку Лелиных стихотворений. Мне очень понравилось последнее — «Далекие». Чрезвычайно поэтично».

влекательных, вроде помещика Образцова из романа «Две жизни» («Чудаки»). Толстому приходилось разубеждать, изворачиваться: «Про Образцова ты напрасно подумал, конечно, я не тебя описал, тебя я берегу для большой повести; роман «Две жизни» я считаю неудавшимся, за эту зиму я его сильно переделаю...» (Письмо без даты, по-видимому, весна 1911 года).

Дурного расположения духа — как не бывало, когда Алексей Аполлонович читал такие, например, полные молодого озорства письма: «Вообще ты можешь, будучи в обществе и глаз прищурив, сказать: а читали вы Толстого? Конечно, засмеются и ответят: «Кто же не читал «Войны и мира»? Тогда ты, возмущенный, скажешь: «Да нет, Алексея!» «Ах, извините,— ответят тебе,— вы говорите о «Князе Серебряном»?» Тогда, выведенный из себя, ты воскликнешь: «Ах вы неучи! Моего сына Толстого, совсем младшего?» И все будут посрамлены, ибо никто меня не читал».

Факты, сообщаемые тут же («Принят я в «Весы»!??! В литературных и художественных кружках носятся со мной...»), позволяют датировать это письмо: не позже 1909 года.

В разлуке их отношения могли самолюбиво запутываться отчимом или замирать из-за молчания Толстого, но всегда до первого случая. Приходило письмо — и Толстой вдруг чувствовал, как дорог ему родной, молчаливо страдающий где-то человек, которого и в старости не оставляли неудачи. Да, без преувеличения, Бострому повезло в жизни только раз — его любила замечательная женщина. Мучительно переживал он потерю. Стремясь как-то устроить начинающуюся старость, Алексей Аполлонович женился. Пятидесятишестилетний вдовец взял женщину, которая была моложе его почти вдвое. И что же? Через неполных три года она умерла.

«Милый, дорогой мой папочка,— писал тогда А. Толстой из Петербурга,— меня как громом поразило твое письмо. Я не знаю даже, как утешить тебя, но я очень тебя понимаю и с тобой всей душой. Мне кажется, тебе навсегда нужно покинуть Самару... Ведь это покойницкая какая-то эта Самара...

Поверь мне, папочка, в Самаре ты не создашь себе семьи; слишком живы еще будут воспоминания мамы и Екатерины Александровны. А здесь ты найдешь себе и семью, и любовь... Когда я представляю себе ту об-

становку, в какой застал тебя тогда, через год после смерти мамы, зимой, мне становится ужасно тяжело и жалко тебя; ведь это бездольность какая-то. Именно этого тебе теперь надо избегнуть... Приезжай скорее... Крепко тебя, много раз целую, твой Леля» (Письмо от 25 декабря 1910 года, ИМЛИ, инв. № 6315/96).

Из Самары отчим не переехал... И снова между ними, то обрываясь, то вдруг зачастив, текла переписка. Толстой делился размышлениями о своем месте в литературе, отвечал на критику новых своих произведений, сообщал о жизни.

Особенно интересно одно признание А. Толстого. В годы империалистической войны наиболее чуткие представители русской культуры ощущали приближение громадных исторических перемен. Маяковский уже в 1915 году предчувствовал наступление революции: «Вижу идущего через горы времени... в терновом венце революций грядет шестнадцатый год». Толстой был, конечно, далек от революционных представлений автора «Облака в штанах». Но смутное, тревожное и радостное предчувствие гибели в ходе войны «нашей цивилизации» — как видно из найденного теперь письма — было свойственно А. Толстому уже в первые недели войны.

Сообщая отчиму, что уезжает «на войну... корреспондентом от «Русских ведомостей», Толстой писал: «Конечно, ты знаешь, что это — мировая война, в которой погибнет наша цивилизация и настанет, наконец, прекрасный век» (Письмо без даты, август 1914 года).

...И вот он настал, «прекрасный век». После войн, революций, смятения и растерянности, когда рухнула буржуазная «наша цивилизация», после многолетних скитаний без дома, без родины — совсем не тот, конечно, прекрасный век, который туманно рисовался когда-то, а может быть, в чем-то и тот.

С августовского дня 1923 года, когда сорокалетний писатель сошел с парохода на петроградскую пристань, началась вторая молодость Алексея Толстого.

Трудно назвать область его деятельности, где бы произведения Толстого не составили веху в развитии советской литературы, где бы он не явился пролагателем новых путей. Советский роман-эпопея? — «Хождение по мукам». Исторический роман? — «Петр I». Советская сатира, политический памфлет? — «Ибикус»,

роман «Эмигранты». Короткая злободневная повесть из внутреннней жизни страны? — «Голубые города», «Гадюка». Жанр научной фантастики и приключений?— «Гиперболоид инженера Гарина». Детская литература?— «Буратино»...

До революции А. Толстого читали в узком кругу интеллигенции: годовой тираж его книг не превышал трех тысяч экземпляров. Теперь у Алексея Толстого появился читатель — народ.

...Последний раз Толстой побывал в Куйбышеве в начале 1942 года. Он прилетел сюда самолетом на пленум Комитета по государственным премиям, который открылся 26 января. Война преобразила город. Тут еще находились посольства, многие наркоматы. До контрнаступления под Москвой Куйбышев являлся как бы второй столицей страны.

2 февраля в куйбышевском Дворце культуры проходило совещание «Искусство в дни Великой Отечественной войны». В нем участвовали А. Довженко, С. Герасимов, С. Михоэлс, А. Толстой и другие деятели советской культуры.

Алексей Николаевич, как никогда, был захвачен журналистской работой. Его антифашистские статьи, перепечатанные в десятках газет, встречали огромный отклик.

Как вспоминает один из участников совещания, Толстой «сидел за столом президиума и, низко склонившись, все время делал записи в своем блокноте. Иногда он отрывался от блокнота, каким-то особенно нервным жестом руки проводил по редеющим прядям волос и пристально всматривался в аудиторию. В конце совещания Толстой выступил с короткой речью» (Цит. по кн.: К. А. Селиванов. Русские писатели в Самаре и Самарской губернии. Куйбышев, 1953, с. 111).

В одном из куйбышевских учрежденческих архивов хранится стенограмма совещания. Толстой говорил:

«В великой трагической игре всемирной войны Красная Армия вышла на первое место. Как случилось, что фашистская армия, вооруженная, отмобилизованная для завоевания мира, в тот самый момент, когда была близка победа, была разбита на подступах к Кавказу, Москве, Ленинграду и продолжает отступать и гибнуть?.. Красная Армия — представительница народа, о котором много лгали, о котором никто ничего не знал, да и сами-то, по совести говоря, мы не знали и о

нашем народе, и о самих себе... Действительность,— продолжал Толстой,— сурова, трагична и проста, так же как лицо простого красноармейца под стальным шлемом. Эту правду мы должны вскрыть и в образах нашего искусства вернуть нашему народу... Никогда и ни в какую из исторических эпох искусство не становилось такой серьезной, такой мощной силой для завершения победы и для предстоящего строительства того нового мира, который придет на смену этому ужасу, тому миру, который должен восстать совершенным и прекрасным, как Афродита, из кровавой пены человеческого океана».

Алексей Николаевич не дожил до победы. Он умер вечером 23 февраля 1945 года в подмосковном санатории от рака легких.

Когда книга «Шумное захолустье» впервые появилась в журнальном варианте, а затем вышла отдельным изданием (в 1963—1965 годах), стали поступать письма от читателей. Среди других откликнулись люди, лично знавшие Алексея Николаевича Толстого и его самарское окружение. Сведения, почерпнутые из их писем и встреч с ними, а также из одного довольно неожиданного источника, могут послужить своего рода эпилогом к этой книге.

Большинство писем касалось историко-литературного периода, места действия, событий и лиц, которым посвящена книга. Но были и другие письма, строго говоря, выходящие из этих рамок. Одно из них все же приведу.

«В 20-е годы (кажется, с 1923 года), — писала И. П. Беспальчикова из Кировска-на-Неве Ленинградской области,— А. Н. Толстой жил в доме 1/3 по нынешней Ждановской набережной. В этом же доме занимала квартиру на втором этаже моя семья. Муж мой морской врач — флагманский врач Балтморя — по общественной линии (как тогда было принято) возглавлял домовой комитет. Я часто встречала А. Н. Толстого, его дочь от прежнего брака, девочку лет 12—13, сына Никиту и маленького Митеньку с бонной-немкой. Малыш был до смешного похож на большого отца, с крупными чертами лица...

Сам писатель часто заходил к мужу, обычно — по вопросам квартирной платы... Помню, рассказывал

анекдотический случай из времен своей молодости, как, живя с Куприным за границей, он постоянно нуждался и один раз, получив перевод из России, имел неосторожность уплатить все долги. На следующий день Куприн имел кредит, а Толстому всюду отказали, так как, по рассуждению торговцев, уплата долгов — плохая примета: мол, наберет больше и уедет...

На дому у Толстых часто бывали писатели и много разного художественного народа...»

Среди этого «художественного народа» случалось бывать, возможно, и Владимиру Алексеевичу Милашевскому, письмо от которого я держу теперь на особом счету.

Получение этого письма словно нарочно совпало для меня с другим случаем. Совсем незадолго перед тем в сентябрьском номере журнала «Волга» за 1966 год я прочитал небольшой очерк К. Федина. Писатель тонко разбирал рисовальную манеру интересного художника-графика, своего земляка, родом из Саратова. Творчества этого художника я тогда, к своему стыду, не знал, фамилию не запомнил. А спустя месяц или два почта принесла письмо. И у меня не враз связалось в голове, что этот москвич В. А. Милашевский, интересующийся деталями биографии А. Н. Толстого, и есть тот самый художник из фединского очерка, который в моем представлении жил почему-то непременно в Саратове.

Теперь я знаю, кто такой В. А. Милашевский. Я видел многие его рисунки, читал прекрасную книгу мемуарной прозы «Вчера, позавчера» (Л.: Художник РСФСР, 1972). Мне нравится яркая его графика, его артистический и слегка язвительный литературный слог. Но это теперь. С досадой на себя думаю: какие встречи иногда дарует судьба, а мы смотрим во встретившееся лицо, да будто не все видим.

«...Я делал портрет А. Н. Толстого,— сообщал автор.— Написал несколько страничек о своих встречах с ним и о том, как проходили сеансы. В своих записях по некоему повороту текста я коснулся его детства и его происхождения так, как об этом слышал в Петрограде в начале революции. Может быть, сведения, которые я получил, ошибочны, хотя особа, которая мне это рассказывала, была близка к семейству Толстых». Речь шла об отголосках не без умысла распространявшейся в дореволюционных аристократических кругах сплет-



Рисунок из «писательской портретной галереи» В. А. Милашевского — «Алексей Толстой за утренним кофе. 1932 год».

ни, будто Алексей Николаевич «не является **биологическим** сыном своего отца, а только по документам». Вот, оказывается, до каких пор дотянула эта версия! Уже и революция свершилась, а где-то еще жила легенда, злонамеренно в свое время создававшаяся! Ее-то и довелось слышать в начале революции молодому В. А. Милашевскому.

«Насколько это правильно, не знаю...— продолжал автор письма.— Мне бы не хотелось давать намеки на непроверенные факты!.. Во-вторых, прогрессивное общество, которое вы описываете в Самаре, очень похоже на то окружение моего отца и матери, которое было у нас в Саратове, в эпоху моего детства (я родился в 1893 году)...»

Через некоторое время явился и сам Владимир Алексеевич, высокий красивый старик, в суконной шубе и с суковатой тростью в руке. Был уже ноябрь. Хорошо помню его в редакции «Известий», где тогда работал. Можно представить себе, как я ораторствовал! Поэтому от встречи в памяти ничего не осталось. А надо бы послушать! Но, наверное, красноречие все же не прошло впустую. Владимир Алексеевич подарил мне копию собственноручного рисунка с натуры — «Алексей Толстой за утренним кофе. 1932 год». На обороте его сделана надпись: «В память нашей встречи, заставившей переделать все мои воспоминания в той части, в которой я шел, записав рассказы княгини Марии Дмитриевны Гагариной, которые отражали петербургские светские «слухи» и, конечно, были неверны... В. Милашевский. Ноябрь 1966 г.»

Рисунок интересен по замыслу и технике исполнения. Портрет выполнен спичкой, которая макалась в тушь.

Было это так...

«Издательству Московского Товарищества писателей,— отмечает искусствовед А. Н. Савинов,— Милашевский предложил проект типового оформления небольших книжек с портретом писателя на фронтисписе. Идея была одобрена: советских писателей в лицо на рубеже двадцатых и тридцатых годов читатели знали мало. Портреты были исполнены штрихом, тушью, без карандаша. Работа над ними заняла годы... Теперь, в тридцатых годах, создавалась обширная галерея из нескольких десятков портретов деятелей советской литературы. Среди них были прозаики В. Вересаев, Ф. Гладков, А. Толстой, А. Новиков-Прибой, К. Федин, М. Шолохов, И. Бабель, Л. Леонов, А. Грин и другие... В портретах-набросках (они делались большей частью спичкой, заточенной и макаемой в тушь) сохраняется, дойдя до нас через десятилетия, трепет «той самой» минуты, когда художник впервые угадывал в человеческом лице будущий портрет...» (Цит. по кн.: Владимир Милашевский. Вчера, позавчера. Воспоминания художника. Л.: Художник РСФСР, 1972, с. 235).

«У Милашевского в те годы,— вспоминает его сотоварищ, известный художник-график Н. Кузьмин,— любимым инструментом для рисования была спичка. Да, да,— обыкновенная спичка. Он обмакивал ее в

флакончик туши и рисовал. Живая линия наносилась на бумагу уверенной рукой, без поправок и колебаний и соскабливания... Спичкой нарисована Милашевским вся его галерея писателей: В. Вересаев, Ф. Гладков, А. Толстой...» (Н. Кузьмин. Амплитуда дарования.— В мире книг, 1974, № 3, с. 35).

Вот какова история одного только письма и публикуемого теперь рисунка спичкой!

Вполне естественно, что больше других писем было из Куйбышева.

«Моя мать — Мария Николаевна Егорова — близко знала А. А. Бострома в последние годы его жизни и многое может рассказать об этом... У нас есть портрет А. А. Бострома с дочерью...» — сообщала доцент Куйбышевского политехнического института В. С. Егорова.

Мария Николаевна Егорова, мать трудовой многодетной семьи, была свидетелем событий в доме А. А. Бострома, в частности одного из приездов Алексея Толстого после 1914—1915 годов. Кроме воспоминаний и портрета Бострома с А. А. Первяковой, от Марии Николаевны поступил в Куйбышевский музей имени А. М. Горького еще и любопытный сувенир. Это маленькая металлическая шкатулка с инициалами ее бывшей владелицы — Александры Леонтьевны. Шкатулку А. А. Бостром подарил когда-то одной из девочек Марии Николаевны — той самой дочери, которая была теперь доцентом политехнического института.

В Куйбышеве жил Николай Васильевич Девятов, в прошлом инспектор управления охотничьего хозяйства. Когда мы встречались в конце 50-х годов, это был рослый старый человек с большими и сильными еще руками.

Коля Девятов часто упоминается в сосновских письмах А. Толстого. Это закадычный друг детства и отрочества будущего писателя. В Москве, в рукописном отделе Института мировой литературы имени А. М. Горького (ИМЛИ), хранится фотография: в саду, под тенистым деревом, расположились шестнадцатилетний Толстой и Коля Девятов, а рядом — Александра Леонтьевна. Дата — 1899 год, Сосновка.

Николай Васильевич в подробностях помнил многое о дружбе с Алексеем Толстым, о совместных детских забавах в Сосновке. Как вместе стреляли они из ружья

грачей, в несчетном количестве гнездившихся в старых ветлах над прудом; как дрались «стенка на стенку»; как однажды на масленицу запрягли в коренник верблюда, а в пристяжку двух лошадей и промчались, произведя страшный переполох, по деревне...

Отношения семьи Девятовых с Бостромами и А. Н. Толстым продолжались более сорока лет.

Отец Н. В. Девятова был волостным писарем в нескольких верстах от Сосновки. Самобытный и противоречивый характер Василия Родионовича Девятова, мужика, выбившегося в грамотеи, интересовал еще Александру Бостром (см., например, дневниковую запись от 13 апреля 1892 года, ИМЛИ, инв. № 6458, с. 37).

Любопытный случай с В. Р. Девятовым произошел у Алексея Толстого. В 1911 году Толстой напечатал рассказ «Родные места», где некоторым персонажам были приданы черты семьи Девятовых, а герой даже выступал под именем товарища детства Коли Девятова. О главе семьи в рассказе сообщалось: «Отец его, волостной писарь, потом винный сиделец, отморозил себе в овраге руки и ноги и помер, оставив после себя восемь человек детей...».

Эта биографическая «напраслина» несказанно разобидела человека степенного, непьющего и к тому же вовсе не собиравшегося умирать — Василия Родионовича Девятова. Он разыскал писателя и просил опровержения. При очередной публикации А. Толстой дал герою рассказа, а с ним и всему семейству другую фамилию.

«Дорогому Василию Родионовичу Девятову — всегда помнящий о Вас, с чувством самым добрым, самым горячим. Алексей Толстой. 17 мая 1936 года»,— такой надписью была отмечена их последняя встреча. Пятый том тогдашнего собрания сочинений писателя с этим автографом Н. В. Девятов передал в Куйбышевский музей имени А. М. Горького.

Интересное письмо прислал другой сверстник А. Толстого — С. А. Гринберг, знавший будущего писателя по Самаре (до 1904 года). Это детский врач, награжденный за пятидесятилетнюю работу орденом Ленина. Подростком С. А. Гринберг бывал и в «клубе» Тейтеля, встречался с Гариным-Михайловским. Старый врач обращал внимание на одну из легенд, связанных с толстовскими местами в Куйбышеве.

Многие помнят, вероятно, доктора Дмитрия Степановича Булавина — отца Кати и Даши из трилогии

«Хождение по мукам», оказавшегося на посту товарища министра здравоохранения в контрреволюционном правительстве Комуча (Комитета Учредительного собрания). А. Толстой не раз детально описывает самарский дом Булавиных.

Роман «Восемнадцатый год» кончается так. В жаркий осенний день Телегин, одним из первых ворвавшийся с красными в Самару, «ехал шагом на косматой лошаденке впереди своего полка по Дворянской улице. Миновали площадь с памятником Александру Второму... Вот и второй дом от угла...».

Дворянская — теперь улица Куйбышева. Александровская площадь, где находился окружной суд и стоял памятник Александру II, — площадь Революции. И в одном из угловых домов действительно жил некий доктор Марков, игравший какую-то роль в контрреволюционной «учредилке» и расстрелянный красными после освобождения Самары... Этого-то Маркова молва и считает прототипом толстовского доктора Булавина.

Любопытно, однако, что А. Толстой, заботившийся о точности исторических деталей в трилогии, как раз в фигуре доктора Булавина счел возможным отступить от этого правила.

Многие страницы у Толстого посвящены описанию деятельности Булавина на посту товарища министра здравоохранения. А вот что сообщал в письме на сей счет большой знаток края Ф. Г. Попов, автор книги «За власть Советов» (о разгроме самарской учредиловщины) и составитель впечатляющего сборника воспоминаний «Поезд смерти» (о правлении Комуча в Поволжье): «Просмотрел я все приказы и распоряжения Комуча (с № 1 по № 134 — с 8 июня по 27 июля 1918 г., больше издано не было) и ни строчки не нашел о ведомстве здравоохранения... На днях я имел возможность просмотреть газету Комуча «Вестник членов Учредительного собрания». Могу с полной ответственностью утверждать: у Комуча не было ведомства (так у них назывались министерства) здравоохранения. Вопросами санитарии и здравоохранения занималась городская управа...»

М. П. Золин (город Куйбышев) приводил сведения о дальнейшей судьбе учителя Алеши Толстого — Аркадия Ивановича. Имея на иждивении четырех племян-

ников, А. И. Словохотов преподавал в учительской семинарии. В октябре 1905 года его квартира в числе других была разгромлена черносотенцами. Автор письма советовал заинтересоваться архивом Обшаровской учительской семинарии. Возможно, вскроется участие Аркадия Ивановича в революционной работе.

Еще одно большое письмо от Ф. Г. Попова. Надо сказать, что Федор Гаврилович принадлежал к тем энтузиастам, для которых сидение в тесных комнатах архивов и всех видов документальные раскопки было любимейшим занятием.

«Предположение о возможном участии Словохотова в революционных событиях правильно,— писал Ф. Г. Попов.— Мне известно следующее: 27 октября 1905 года он был активнейшим участником революционной демонстрации в селе Обшаровка, во время которой распространялись социал-демократические листовки и пр. В жандармском управлении возникло дело о привлечении к дознанию в качестве обвиняемых 14 человек, в том числе и Словохотова. Дознание тянулось долго. Первый допрос Словохотова состоялся лишь 29 июля 1908 года. В то время он жил в Николаевском уезде. С этого времени за ним учрежден был особый надзор полиции.

В ноябре 1909 года состоялся суд над активными участниками демонстрации. На скамье подсудимых было 8 человек, в том числе и Словохотов. Все были оправданы, за исключением Словохотова. Но наказание было не из тяжелых — его приговорили к двум неделям ареста. Это естественно, ведь демонстрация состоялась после царского манифеста о «свободах», да и времени с момента «преступления» прошло много...»

А вот еще два письма из Ленинграда, одно из которых — отклик на сам факт обнаружения куйбышевского архива — прислано в музей имени А. М. Горького.

«У меня,— писал ленинградский журналист И. А. Ананьин,— хранится редкая фотография... На ней изображены Алексей Толстой и Владимир Мирбах (впоследствии журналист). На обратной стороне фотографии надпись: «Дорогой сестре М. И. от братьев Ал. Толстого, Вл. Мирбах. 12.1.1900 года».

История этой фотографии такова. Моя мать, Мария Ираклиевна Болтунова, училась в 1-й Самарской женской гимназии, а... Алексей Толстой и Владимир Мир-

бах — в Самарском реальном училище. В течение многих лет А. Толстой, В. Мирбах и моя мать дружили. Реалисты называли свою юную подругу сестрой, а мама называла их братьями. Этим и объясняется содержание надписи, сделанной Толстым и Мирбахом на обратной стороне фотографии.

Кроме этой фотографии, у моей матери до ее смерти (умерла в 1936 году) хранилась объемистая пачка писем А. Толстого, большинство из которых было в стихах. Были и просто лирические стихи с посвящением ей...

Позже письма и стихи Толстого хранились у моей сестры Н. А. Ананьиной, которая до войны жила в Воронеже... В 1941 году, когда немецкие войска прорвались к Воронежу, сестра вынуждена была поспешно эвакуироваться, бросив на произвол судьбы все свои вещи. Среди оставленных вещей находился и пакет с письмами Алексея Николаевича...»

Другое письмо с подробностями.

М. И. Болтунову с Толстым «познакомил старший брат Николай Ираклиевич Болтунов. Они учились в одном классе с А. Толстым...—сообщает И. А. Ананьин.— Мама неоднократно вспоминала, как их тепло принимали у Бостромов и как она читала там свои детские рассказы. О Володе Мирбахе мама говорила, что он был самым близким другом А. Н. Толстого по реальному училищу. Впоследствии он стал журналистом, кажется, кончил жизнь самоубийством... Карточку А. Толстой и В. Мирбах подарили маме перед ее замужеством... Когда мы в юности ходили на лодках в «самарскую кругосветку», то на горе (при выходе из Усы в Волгу) читали много надписей. Среди расписавшихся были многие, о которых говорится в «Шумном захолустье», и в частности С. Скиталец.

Посылаю копию фото А. Толстого и В. Мирбаха...»

Эти и другие письма и отклики вызваны одним чувством — полнее восстановить факты жизни и творчества талантливого русского советского писателя. Через биографические детали давних лет, через «местный» материал углубляется наше представление о том главном, чем интересен Алексей Толстой современному читателю, независимо от географического пункта проживания.

Еще одно дополнение к рассказанному в этой книге я получил из довольно неожиданного источника.

Летом 1964 года (я был тогда в Кисловодске) в свежем номере ставропольской краевой газеты «Кавказская здравница» мне попалась на глаза небольшая заметка «Студенты из Парижа». Заметка заинтересовала неожиданной возможностью узнать дальнейшую судьбу некоторых близких А. Н. Толстому лиц.

Речь идет о старших братьях писателя — Александре и Мстиславе Толстых — и сестре Лиле, которые считались потерявшимися из виду где-то во время гражданской войны. Чем закончили свое жизненное поприще два блестящих молодых человека, которыми гордился граф Николай Александрович? И как сложилась дальнейшая жизнь бунтарки Лили, Елизаветы Николаевны, после пятилетней любви к некоему Рахманинову, попытки самоубийства, самовольного замужества и, наконец, встречи с братом Алексеем в феврале 1914 года? Обо всем этом не было известно.

Газета «Кавказская здравница» писала:

«Несколько дней назад в Пятигорск прибыла группа парижских студентов. Молодые французы и француженки хорошо объяснялись на русском языке.

— В этом нет ничего удивительного,— пояснил руководитель туристов, преподаватель Парижского университета Александр Мстиславович Толстой.— Все члены нашей группы — студенты, изучающие русский язык...

Естественно, что фамилия Толстого нас заинтересовала. И, удовлетворяя наше любопытство, Александр Мстиславович рассказал, что он является племянником талантливого советского писателя Алексея Толстого. Сейчас А. М. Толстой преподает в Парижском университете русский язык и литературу...» («Кавказская здравница», 1964, 26 июля).

Далее в заметке сообщалось, что французские туристы совершили поездку по лермонтовским местам, посетили здравницы и один из совхозов. В июле 1943 года тут, среди руин и трупов, бродил Алексей Толстой, описавший увиденное в статье «Коричневый дурман»... «Вчера,— заканчивалась заметка,— пятигорчане радушно проводили своих новых друзей из Парижа. Дальнейший путь их лежит в Орджоникидзе, оттуда в Харьков...»

Вот незадача! Надежда оставалась только на телефонный разговор.

Ответила мне уже одна из харьковских гостиниц.

— Да... Толстой слушает,— старательно выговорили по-русски в телефонной трубке.— Я вас понял... Да... Как вы сказали? Говорите, пожалуйста, медленнее...

Приятный мужской голос без акцента, но с той замедленной и слишком правильной русской речью, которая выдает иностранца.

Если суммировать рассказанное по телефону, получится следующее:

— Отец, Мстислав Николаевич, после гражданской войны эмигрировал в Грецию, потом переехал с семьей во Францию... Умер в 1949 году... Александр погиб от тифа где-то в первые годы гражданской войны... Рахманинов, муж Лили, был двоюродным племянником известного русского композитора. Тетя Лиля умерла в Югославии от голода во время немецко-фашистской оккупации...

— Встречался ли Алексей Толстой с братом после революции?

— Да, отец рассказывал об одной такой встрече с Алексеем Николаевичем за границей. Позднее, из Советского Союза, Толстой звал отца вернуться на Родину... В подробностях их отношений не знаю. Когда умер отец, я был студентом и многого из его рассказов сейчас не помню... Нет, из фамильных бумаг мало что осталось. Но я еще раз посмотрю. К тому же в Париже много наших родственников...

— Во Франции к России большой интерес. В нашем университете уже около двух тысяч студентов изучают русский язык... Книги Алексея Толстого у нас знают. В следующий раз я обязательно хочу приехать в Куйбышев, в эту, как она называется... деревню Сосновка...

Слушая медлительную русскую речь Александра Мстиславовича, я подумал — так сплетаются времена и человеческие пути. Чуть ли не столетие спустя в приезжем французе вдруг ожила и часть истории, которая началась в 1883 году со скандального судебного процесса в Самаре.

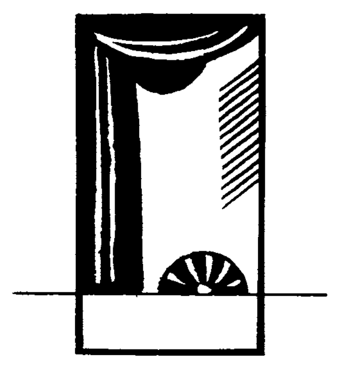
* * *

Когда я проезжаю по одной из самых оживленных столичных магистралей и слышу, как радиоголос в троллейбусе привычно называет очередную остановку: «Улица Алексея Толстого»,— я мысленно переношусь в стоящий где-то поблизости, на боковой тихой улочке с

архитектурой старой Москвы, дом. Многое в нем сохранено так, как было при жизни Алексея Николаевича. Над его конторкой, за которой писатель обычно стоя работал, среди нескольких снимков висит большая фотография матери начала 80-х годов — красавица в пышном старомодном наряде, с умным лицом и горячими глазами. Он любил этот портрет. И во всех странствиях своей бурной жизни не расставался с ним. Он всегда был там, где писатель обычно держит только самое необходимое,— в его рабочем кабинете. Мать из окошка своей молодости смотрела на сына в часы напряженного труда, раздумий, радостных порывов и трудных решений. Там этот портрет висит и сейчас, как висел всегда.



ПОВЕСТЬ О МАЛЕНЬКОМ СОЛДАТЕ



МУК — ЕЕ ИМЯ



«Nur der Soldat hat Glück, Muck» *

(Бертольт Брехт. Из писем к Маргарет Штеффин).

---

* «Только солдату везет, Мук» *(нем.)*.

«Мы ездим в чужие страны, чтобы лучше узнать самих себя».

(Старая истина)

«ДЕЛО» О СМЕРТИ

Однажды в Центральном архиве Союза писателей СССР разбирали дела Иностранной комиссии давних лет.

По роду литературной работы я наведываюсь в архивы. Зашел и в тот день. Как завсегдатая, меня попросили помочь знанием немецкого языка.

Странно представить теперь, но тогда я почти равнодушно взял в руки три тонкие папки из порыжелого картона, которые протянула хранительница архива. Хотя мне и бросилось в глаза помянутое в наружных надписях имя: Б. Брехт.

«Наверное, что-то сугубо официальное,— подумалось мне.— Скорее всего так...»

Я знал здешние архивные порядки. Через Иностранную комиссию Союз писателей осуществляет связи с литературными организациями и лицами многих стран земного шара. Основное содержание ведомственного архива составляют бумаги, касающиеся, что называется, «литературной кухни». Переписка с коллективными партнерами, обмен мнениями по поводу различных симпозиумов, совещаний и съездов, стенограммы заседаний, запросы зарубежных литераторов по поводу переизданий их книг в СССР, оплаты гонорара и т. п. И хотя среди потерявшей злободневность переписки, сберегаемой в архиве, встречаются подчас автографы с именами первой величины, далеко не все, как говорится, способны возбудить любопытство литературоведа.

Однако извлеченные папки оказались не совсем обычными.

Одна папка называлась: «Переписка с Б. Брехтом. 20 ноября 1940 — 20 июня 1941 гг. На 21 листе».

Две другие — «Переписка Б. Брехта с М. Штеффин...»

— Посмотрите, пожалуйста... В папках со Штеффин все тексты только на немецком. Есть ли связь между материалами этих трех дел? И кто такая М. Штеффин? — сказала Наталья Константиновна Покровская, заведующая архивом.— Она Маргарет Штеффин...

Я начал читать, припоминая одновременно, где же мне встречалось это имя. Оно было явно знакомо. Что-то звучное, отдаленно лирическое, причастное к поэзии. Но где же я слышал эту фамилию — Маргарет Штеффин?

Начальные листы первой папки, содержавшие переписку почти за полтора года, касались проезда в самый канун войны, если употребить стилистику некоторых документов, «видного представителя немецкой литературной эмиграции» Бертольта Брехта с семьей из Финляндии через Советский Союз в Соединенные Штаты.

Как было видно, из-за трудностей получения въездных виз в США поездка эта началась лишь в середине мая 1941 года. Бумаги давали представление об этапах и процедуре оформления дипломатических виз, в которую были вовлечены в качестве посредников советские представительства в США и Иностранная комиссия Союза писателей в Москве. Затем речь шла о железнодорожных и пароходных билетах, о средствах для почти двухнедельного переезда от Ленинграда до Владивостокского порта, о текущих счетах, о возможностях попутного получения гонорара за вышедшие книги в столичных издательствах, о валюте в рублях и долларах и т. п.

Словом, поначалу это было, если выразиться на современный лад, своего рода «выездное дело».

Затем вдруг тема переписки круто менялась. Начинали мелькать слова: «комнаты в отеле», «больница», «Грета», «Маргарет Штеффин-Юуль», «посмертная маска», «теплое гостеприимство», «многолетняя сотрудница и друг»...

И тут меня вдруг осенило, я вспомнил. Ну да, ко-

нечно!.. Эту фамилию, Штеффин, я встречал на титульном листе пьесы Б. Брехта «Жизнь Галилея»! Но как-то не вдумывался раньше в смысл пометки, стоявшей под заглавием замечательного творения писателя: «В сотрудничестве с М. Штеффин».

Я погрузился в чтение, мысленно представляя себе тогдашнюю обстановку в Москве. Ведь теперь уже события развертывались в конце мая — июне 1941 года. То был самый-самый канун. Истекали последние дни до нападения фашистской Германии на Советский Союз.

Фабула разыгравшейся жизненной драмы была такой. Ехавшая вместе с Брехтом, в его маленькой семейно-дружеской группе, Маргарет Штеффин заболела по дороге. В тяжелом состоянии ее поместили в московскую клинику.

У Брехта и его семьи были уже билеты на шведский пароход, отплывавший из Владивостока в Соединенные Штаты. Писатель не хотел уезжать. Но между СССР и США в то время не было регулярного пассажирского сообщения. А многие объективные обстоятельства вынуждали к отъезду без промедлений.

До неизбежного отплытия парохода «Анни Йонсон» оставалось около трех недель. И меньше месяца — этого не могли знать люди, чью переписку теперь я читал,— оставалось до того часа, когда новым смыслом зазвучало слово «война».

В эти оставшиеся недели в Москве пытались спасти жизнь Маргарет Штеффин.

Этим были заняты многие люди.

В Союзе писателей СССР основные нити коллективных усилий держал в руках заместитель председателя Иностранной комиссии М. Я. Аплетин (около 15 писем и телеграмм из содержащихся в папке поступили на его имя от Б. Брехта или представляют копии его ответов писателю). Следил за событиями и руководитель Союза писателей А. А. Фадеев (есть копии телеграммы с его подписью и телеграфный ответ Б. Брехта).

М. Штеффин лежала в московской спецлечебнице-санатории «Высокие горы», являвшемся одновременно филиалом Центрального института туберкулеза. Ей старались помочь лучшие силы столичной медицины.

30 мая 1941 года Б. Брехт и его уменьшившаяся группа в составе жены писателя известной актрисы Елены Вайгель, двоих детей и датской писательницы

Рут Берлау (Лунд) выехала из Москвы во Владивосток.

Этот день отмечен в папке письмом на имя все того же заместителя председателя Иностранной комиссии М. Я. Аплетина:

«Дорогой товарищ Аплетин...

Я вынужден оставить здесь тяжело больной своего многолетнего помощника и друга Маргарет Штеффин. Только Ваше теплое и сердечное обещание заботиться о ней и в том случае, если она выздоровеет, организовать ее дальнейшую поездку придает мне мужество, чтобы самому продолжить путь. Товарищ Штеффин незаменима в моей работе...»

Заинтересовавшись разворотом событий, я начал наводить подробные справки о Маргарет Штеффин.

И в одной из книг последних десятилетий, посвященных жизни и творчеству Б. Брехта, нашел следующую характеристику. Литературовед из ГДР Ганс Бунге писал о М. Штеффин: «Она была незаменимой помощницей, как строгий критик. То, что она внесла в «Трехгрошовый роман» и «Дела господина Юлия Цезаря», неотделимо от написанного Брехтом. Она была единственной сотрудницей, когда создавались эти романы и многие пьесы («Горации и Куриации», «Страх и отчаяние в Третьей империи», «Винтовки Тересы Каррар», «Допрос Лукулла», «Жизнь Галилея», «Карьера Артуро Уи»). Была участником его рабочего коллектива, когда писались: «Круглоголовые и остроголовые», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Добрый человек из Сезуана». Вместе с Маргарет Штеффин в 1938—1939 годах Брехт перевел «Воспоминания» Мартина Андерсена-Нексе. Она же сделала для Брехта перевод пьесы Нурдаля Грига «Поражение». Она проделала наибольшую часть работы при издании сборника «Песни, стихи, хоры» и «Собрания сочинений», задуманного в 1934 и изданного в 1938 году в Праге».

Я принялся листать сочинения писателя. И на обороте титульных листов пяти пьес Б. Брехта, названных выше в одном ряду с «Жизнью Галилея», встретил ту же пометку, на которой не задерживался глаз раньше,— «В сотрудничестве с М. Штеффин». Сноски еще к двум пьесам и комментарии к произведениям подтверждали верность и большинства других свидетельств немецкого литературоведа.

В последующие дни я с возросшим интересом продолжил чтение архивных материалов.

Поезд от Москвы до Владивостока в 1941 году шел без малого десять суток. И каждый день — так было условлено — транзитный пассажир дальневосточного экспресса «интурист» Б. Брехт обменивался телеграммами с Маргарет Штеффин через Инкомиссию и друзей, находившихся у постели больной.

Margarete Steffin

liebe grete, isst du genug und schläfst du genug? guten morgen!

Дорогая Грета, кушаешь ли довольно и спишь хорошо? Доброе утро Биди

Zentralny Tuberkulosni Institut Tschkalowskaja 53 K Москва

Телеграмма Б. Брехта Маргарет Штеффин. Июнь 1941 г.

Телеграммы эти — трогательное проявление отношений Б. Брехта к своей сотруднице и другу. То, что связывало этих людей на протяжении долгих лет, представало теперь сжатым в объем нескольких телеграфных строк, ежедневно обращаемых удаляющимся вместе с мчащимся на восток экспрессом писателя к лежащему в Москве умирающему товарищу.

Так продолжалось несколько дней.

Некоторое представление о картине происходив-

шего в это время в Москве дает подшитая к делу копия письма М. Я. Аплетина. Письмо отправлено 3 июня 1941 года, судя по всему, на владивостокский адрес, вероятно, авиапочтой, вдогонку уехавшим. С тем, чтобы Б. Брехт получил его сразу же по прибытии во Владивосток. Привожу выдержку в переводе с немецкого:

«...Дорогой друг,

в соответствии с нашей договоренностью мы ежедневно посылаем Вам телеграммы о здоровье Греты Штеффин. Все ли доставлены?

Персонал в клинике и врач очень внимательны и любят Грету. Каждый день мы подробно говорим с врачом *, и каждый день кто-нибудь навещает Грету. Будьте спокойны — здесь делается все необходимое, и мы не забываем о ней ни на минуту...

P. S... Как прошла поездка? Передайте, пожалуйста, от меня приветы тов. Хелли и Барбаре. Как дела у Штефа? **

Всего хорошего в дальнейшей поездке».

Однако уже на следующий день после отправления этого письма в состоянии больной наступило внезапное ухудшение. И 4 июня она скончалась.

В папке было еще несколько писем и телеграмм, касавшихся полученного Б. Брехтом известия о смерти М. Штеффин и сделанных писателем распоряжений относительно посмертных изображений (фотографий и гипсовой маски), похорон, имущества и бумаг покойной.

Материалы папки завершаются письмом Б. Брехта из Владивостока от 11/VI.41 г. На письме стоит входящая дата, когда получение его было зарегистрировано в Союзе писателей,— 20 июня 1941 года. До войны оставалось два дня.

«Потеря Греты — тяжелый удар для меня,— писал тогда среди прочего Брехт,— но если уж я должен был ее оставить, то не мог бы это сделать нигде, кроме как в Вашей великой стране. Я никогда не забуду товарищества и радушия, которые я — и она со своей стороны — узнали тут».

Очевидно, придавая особое значение этому заклю-

---

* В немецком тексте слово «врач» в обоих случаях употреблено в женском роде, что будет иметь значение в дальнейшем повествовании.— *Ю. О.*

** Хелли — Елена Вайгель, жена В. Брехта; Барбара и Штеф — дочь и сын писателя.

чительному письму, Брехт продублировал его. В «деле» подшита копия, отличающаяся лишь припиской, сделанной Брехтом от руки: «Я отослал это письмо авиапочтой. Копию доставит Вам товарищ Максимов, который во время поездки был чрезвычайно предупредителен к нам».

Вот что, коротко говоря, содержалось в первой папке.

Пусть читатель простит мне почти хроникерскую сухость обзора. Но это еще не само повествование, а своего рода предыстория.

Содержимое двух других папок в основном отвечало сделанному на них обозначению — «Переписка Б. Брехта с М. Штеффин...» Хотя в виде исключения попадались и письма третьих лиц, судя по всему, пересылавшиеся Брехтом — для сведения — своей корреспондентке.

Всего в этих двух папках находилось несколько десятков писем Б. Брехта и черновых или чистовых копий с обращением к нему М. Штеффин. Писано это было чаще всего на особой тонкой бумаге то на машинке, то от руки. Иногда на многих страницах.

Это была не обычная почтовая бумага. Такой ни раньше, ни потом, кроме как в переписке Брехта, я не видел. Она была легкой, как папиросная, и хрустящей, прочной. На манер тончайшего пергамента. Но у нее была достаточно податливая и упругая поверхность, чтобы удобно было писать любыми карандашами, чернилами и на машинке. Она мялась, но не рвалась. И она почти ничего не весила.

Уже сама эта бумага, как потом оказалось,— любопытный штрих времени и даже черточка к психологической характеристике писателя.

Как и у многих литераторов, у Брехта был культ бумаги. Сам ее вид давал ему настроение и располагал к работе. Надо было, чтобы поле хотелось засеять письменами. Но Брехт к тому же был и настоящим знатоком писчей бумаги.

Это было у него с юных лет, в какой-то мере наследственным. Его отец был директором бумажной фабрики в баварском городе Аугсбурге.

Но то, что можно было считать более или менее праздным знанием либо писательской причудой, в годы эмиграции обрело вдруг совершенно четкий практический смысл. После захвата власти фашистами в

1933 году Брехту приходилось жить, как он писал в одном из стихотворений, «меняя страны чаще, чем башмаки». При постоянных переездах объем и вес все возраставшего личного архива, в том числе рукописей и переписки, приобретал особую важность.

Может быть, именно тогда Брехт и его ближайшее окружение, в том числе и Маргарет Штеффин, переключались преимущественно на эту бумагу, на которой писали затем многие годы.

Тонкий папиросный пергамент был трепетен, как завтрашний день беженца. И в то же время от него веяло благополучием прежних времен. Это была бумага люкс. Она изготовлялась, возможно, для самых состоятельных клиентов авиапочты. Может быть, в какой-нибудь из стран относительно тихой нейтральной Скандинавии. С высокой традицией бумажного производства и представлений о разумности и комфорте.

«Бумага только, на которой ты пишешь, так тонка и непотребна, что совершенно не годится для вечности»,— шутливо сокрушалась Маргарет Штеффин по поводу летучих страничек, на которых и сама писала это письмо Б. Брехту 12 ноября 1935 года.

Однако эмигрантские прозрачные листки стойко выдержали превратности прошедших десятилетий. И даже самые слабые карандашные нажимы и легкие касания пера отчетливо выступают на них. Как будто Б. Брехт и М. Штеффин вели свою переписку вчера.

Но вернемся к двум папкам.

Было ясно, что все это принадлежало Маргарет Штеффин. И, вероятно, составляло часть бумаг, оказавшихся в архиве Союза писателей после ее смерти.

Не все письма были датированы. Однако рукой аккуратной М. Штеффин на многих указаны были их хронологические рамки, с допуском в несколько дней. (Этой позднейшей, но содержащей достаточную степень точности датировкой М. Штеффин, которой отмечена, кстати, и другая найденная в Москве ее переписка с Брехтом, в целом ряде случаев будем пользоваться и мы.) Письма охватывали большой период времени. От 1932—1935 годов, когда состоялись первые поездки М. Штеффин на лечение в туберкулезные здравницы СССР. И до 1940 года, пока сотрудница Брехта не присоединилась окончательно к окружению писателя, жившего тогда в Швеции.

В содержании обеих папок не было той четко уловимой логики развития темы, от письма к письму, которая присутствовала в более или менее официальных бумагах первой папки. Тут была личная переписка. Здесь от года к году, а иногда изо дня в день, шло духовное общение двух близких людей, двух единомышленников. Непринужденно затрагивались самые разнообразные предметы.

И все-таки в этом стихийно протекавшем почтовом обмене просматривались в конечном счете две сквозные темы.

Одна — это в широком смысле связи Б. Брехта с советским искусством и литературой, а также с миром немецкого антифашистского искусства, сложившимся тогда в Москве.

Непосредственные живые контакты с Советским Союзом, как удалось установить уже потом, нередко осуществляла Маргарет Штеффин в качестве ближайшей сотрудницы и поверенной Б. Брехта.

Получилось так, что самому писателю до мая 1941 года удалось приехать в СССР только два раза. Причем это были непродолжительные пребывания, исчислявшиеся немногими неделями. А идейно-эстетические и литературно-театральные связи с СССР, при всей их менявшейся неоднозначности на разных этапах, были жизненно необходимы Брехту — мыслителю, художнику, человеку. Недостававшие «поездки в Мекку» (так с шутливым почтением именуется иногда в переписке Москва) восполнялись М. Штеффин.

Уже из-за одной необходимости лечения М. Штеффин надолго приезжала, а затем задерживалась и жила в СССР. В отличие от Брехта она хорошо владела русским языком. Преимущества своей сотрудницы широко использовал Б. Брехт.

Творческо-деловые контакты М. Штеффин осуществляла по-разному. И по прямым поручениям и конкретным заданиям, и по собственной инициативе, которой она немало вносила в эти отношения. Тут были и частые встречи со знакомыми и друзьями — с писателями С. Третьяковым, М. Кольцовым, С. Кирсановым, В. Бределем, М. Остен, режиссерами Э. Пискатором, Н. Охлопковым, Б. Райхом, переводчиком В. Стеничем и другими. И текущие деловые визиты: в редакции журнала «Интернациональная литература» — его немецкого издания «Дойче Блеттер», московского

литературного ежемесячника «Дас Ворт» (где Б. Брехт в 1936 году стал одним из соредакторов вместе с В. Бределем и Л. Фейхтвангером), газеты «Дойче Центральцайтунг». В издательства и организации, ведавшие выпуском произведений на немецком языке,— «Фегаар»*, «Международная книга»... В Иностранную комиссию Союза писателей, в театры, на студию «Ленфильм» и т. д. и т. п.

Другая тема, столь густо представленная в этой части переписки, что начинало казаться, как будто письма с фактами и сведениями такого рода намеренно отобраны за ряд лет, был ход болезни, или, вернее сказать, борьба за жизнь М. Штеффин.

Особняком выделялась подборка писем зимы 1940 года, когда оба адресата находились вне пределов СССР.

В 1940 году Маргарет Штеффин перенесла в Скандинавии операцию аппендицита, рискованную при тогдашнем общем ее состоянии... И вся, что называется, «история болезни» была подробно представлена в письмах.

Что же можно сказать в итоге?

В целом обе папки были как бы документированной предысторией к тому «делу» Иностранной комиссии, где содержались материалы о проезде через Советский Союз «видного представителя немецкой литературной эмиграции» Бертольта Брехта и его группы в мае — июне 1941 года, проезда, во время которого случилось чрезвычайное происшествие — смерть одного из участников группы.

Так или иначе, но, судя по всему, это была лишь часть московского архива М. Штеффин. Куда же подевалось остальное?

Некоторые материалы заведующая писательским архивом Н. К. Покровская дополнительно обнаружила среди старых «дел» Иностранной комиссии уже после того, как было решено предпринять целенаправленные поиски. Они оказались отдельно то ли потому, что находились до начала войны у немецкой писательницы-эмигрантки Марии Остен, разбиравшей бумаги скончавшейся подруги. То ли по каким-то другим, теперь уже трудно объяснимым причинам... Однако материа-

---

* Так сокращенно именовалось Издательство иностранных рабочих в СССР.

лов этих тоже было сравнительно не так уж много.

Между тем выяснилось, насколько обширно было рукописное наследие, оставшееся после М. Штеффин в июньские дни 1941 года. Ныне даже безукоризненно осведомленные работники берлинского Архива Брехта едва ли возьмутся с точностью сказать, какую общую цифру единиц хранения оно насчитывало.

Со всей этой массой писем, рукописей, фотографий, книг М. Я. Аплетин и его сотрудники поступили так, как того с самого начала хотел Брехт. Несмотря на все превратности военных лет, их сберегли. И, когда приспела пора, переправили в ГДР, передали писателю.

В ходе сортировок незначительная доля литературного имущества М. Штеффин, по воле Брехта, осталась в распоряжении ведомственного архива Союза писателей или в виде первых немецких изданий его сочинений поступила в дар библиотеке Инкомиссии СП СССР.

Передавать и перевозить в Берлин то, что долгие годы сберегалось в Москве, пришлось частями, в несколько приемов.

В первой половине 1949 года Брехт, для которого наконец остались позади все скитания и переезды длительной полосы жизни, начал собирать хранившиеся по прежним местам эмиграции, у друзей, литературные архивы и книги. Весенним праздником троицы 1949 года помечена такая его дневниковая запись:

«Из Стокгольма прибыли ящики, кое-какая мебель, большинство книг. Из Москвы рукописи, которые оставила после себя Грета. Чемоданы из Швейцарии еще в пути».

По свидетельству давних работников Архива Брехта, тогда получено было из Москвы около тысячи рукописных листов.

Следующие партии литературного имущества М. Штеффин поступали с продолжительными паузами, определявшимися пожеланием самого Брехта, чтобы рукописные материалы доставлялись с личными оказиями, что в свою очередь требовало их сортировки на месте. (После войны Брехт все еще не очень полагался на иные способы переправки архивов, кроме как из рук в руки.)

Теперь уже трудно назвать все сроки и даты этой затянувшейся транспортировки. Однако достоверно известны несколько случаев после 1949 года.

В мае 1955 года, просмотрев лично, часть бумаг увез с собой Брехт, находившийся в Москве в связи с вручением ему международной Ленинской премии мира. В 1957 году еще часть литературного архива М. Штеффин взяла Елена Вайгель, возглавлявшая московские гастроли театра «Берлинер ансамбль». В 1961 году значительную долю бумаг переправил в Берлин известный немецкий писатель Бодо Узе...

В архиве Брехта хранится, например, такое письмо Бодо Узе от 9 декабря 1961 года на имя Е. Вайгель:

«...Во время моего пребывания в Москве тов. Стеженский из Международного отдела Союза советских писателей вручил мне прилагаемые записные книжки из наследия Маргарет Штеффин и один конверт с письмами и фотоснимками. Кроме того два первых издания пьес... с просьбой передать их Брехтархиву...»

Владимир Иванович Стеженский, помянутый в письме литературовед-германист, и поныне работает заведующим отделом в Иностранной комиссии. Он хорошо помнит кованный железом сундук Маргарет Штеффин, с беспорядочным ворохом бумаг, книг, фотографий, как свалила их туда, видимо, в поспешности последнего переезда владелица.

— Архив М. Штеффин,— рассказывает Владимир Иванович,— хранился всю войну у Аплетина, сначала на Кузнецком мосту, а потом и здесь, на улице Воровского. В сундуке этом были и какие-то полуистлевшие от времени носильные вещи. Я был в комиссии, занимавшейся передачей имущества Брехту, когда он приезжал в 1955 году... Вообще вначале там были связки, вязанки бумаг, целый сундук... Первая крупная сортировка 1949 года не слишком его разгрузила...

Уже сами по себе объемы литературного архива — один из признаков интенсивности духовных связей, которые объединяли ее владелицу с выдающимся мастером немецкого искусства.

Что же касается материалов, пролежавших до недавних пор в сохранных отсеках Центрального архива Союза писателей, то относительная их безвестность понятна. Тот самый девятый вал второй мировой войны, на приближающемся фоне которого проходят необычные недели пребывания Брехта в СССР, сразу же вслед за тем накрыл и надолго погреб под своей толщей многое, что было до него. Он как бы отшиб память о вчерашнем. История Маргарет Штеффин осталась в дру-

гой жизни, утратила злободневность, словно бы изменила свои масштабы по сравнению с лавиной событий военных и первых послевоенных лет. И только поэтому, думаю, волнующие свидетельства без движения пылились на архивных полках...

Итак, вот что за материалы оказались передо мной. И чем больше я их читал, тем более открывался живой драматизм отраженных в них событий.

Тут схлестнулись и переплелись решающие повороты в человеческих судьбах, в том числе в биографии такого художника, как Б. Брехт, с уже обозначившимся крутым изломом истории. Каждый участник действовал в предельно напряженной ситуации. Характеры, насколько удавалось судить, обнаруживались с особой откровенностью.

Уже первые обследования того, что называют «окрестностями образа», показывали, что драматизм пронизывает даже мельчайшие сцепления жизненных и литературных фактов.

Вот один из примеров.

В завершающем письме М. Я. Аплетину из Владивостока от 11 июня 1941 года Брехт упоминает о фигурках маленьких слоников, которые он хотел бы, чтобы извлекли из Гретиного чемодана и прислали ему на память.

Как оказывается, фигурки эти обладали для автора письма не только житейской символикой. Они, эти слоники, что и вызывало, собственно, азарт поиска,— из фактов поэтического отношения к действительности не раз перевоплощались в факты поэзии Б. Брехта.

Это было целое стадо слоников. Возможно, даже не единственное. Фигурки малюсеньких гигантов из кости и дерева, собранные и добытые по разным случаям Брехтом, в основном во время заграничных поездок. Клыкастое и добродушное стадо, что с годами росло у старинных друзей, к которым он был особенно привязан, в том числе у Маргарет Штеффин. Фигурки были со значением, и каждый слон имел кличку.

Тема «слоников» неоднократно возникает в письмах и дневниках Брехта.

В канун нового, 1936 года Брехт, находившийся тогда в Нью-Йорке, где ставил в рабочем театре свою пьесу «Мать» (по роману М. Горького), сообщает

М. Штеффин о посланном ей рождественском подарке. Среди нескольких вещей, отправленных с подвернувшейся оказией в Данию, есть и «...маленький слон из слоновой кости, и он должен называться Нью-Йоркским в стаде моих слонов,— пишет Брехт,— которые должны оберегать тебя... Из-за «Нью-Йоркского» я совершил маленькую поездку...»

Судя по другому письму, написанному между 7 и 19 января 1936 года, к рождественской посылке было приложено «наставление к употреблению», а Нью-Йоркский слон был «...маленький (совсем маленький)... из слоновой кости» и разыскивался с особыми стараниями.

И в прощальное свое посещение лечебницы «Высокие горы» 30 мая 1941 года, за несколько часов до отъезда во Владивосток, Брехт оставил М. Штеффин подобный же талисман, стража-слоника...

Переписка с М. Штеффин указывает жизненные истоки некоторых сонетов Б. Брехта, где уже известные нам слоники преображаются в поэтические персонажи.

«А о слоне я начал писать сонет, точно так же, как и ты, и как раз в то же самое время»,— сообщает Брехт в уже цитированном январском письме 1936 года.

Слоны — счет долгим разлукам, память о неделях и месяцах, когда нарушался ход времени... Поверенные и хранители чувств, свита заветных совместных представлений... Полпреды верности... Грозные силачи и мудрые советчики, стражи и пажи, когда *она* в одиночестве, а *его* нет рядом... До такого обобщающего смысла возводятся образы «слоников» в сонетах Брехта.

Направленность этой образной символики можно почувствовать хотя бы на примере шутливого сонета, написанного Б. Брехтом, судя по деталям, вероятно, в Париже, недалеко по времени от упоминавшейся поездки в Нью-Йорк. Речь идет о каре, которая постигла лирического героя, не отличавшегося аккуратностью в ответах на письма, после того как неожиданно замолчала его корреспондентка:

Однажды снова не было письма.
Я вызвал стражу к Триумфальной арке.
Шесть боевых слонов, газон круша,
Понуро встали в темном парке.

Они, покачиваясь, слушают меня:
«Ее я вашей поручил защите,

Вам приказал: семь раз перетопчите,
О ком подумает, хоть в чем-нибудь виня!»

Зловещее молчание храня,
Вожак свирепо поднял хобот, целясь,
И кличем указал виновного... меня.

Тут на меня, гремя, все стадо устремилось.
Бежал... Едва в почтамте дверь за мной закрылась,
Я стал писать письмо, в окно взглянуть боясь.

(Перевод Н. Лиховой)

Разгневанное слоновье стадо в сонете Брехта уже почти подобно фуриям мести из греческой мифологии, потому что в данном случае это — угрызения совести самого героя... В такой символ преобразует игрушечных «каминных» слоников фантазия поэта!..

Чрезвычайно интересно еще одно вновь обнаруженное письмо, отправленное Брехтом из Англии на Кавказ М. Штеффин между 13—25 ноября 1934 года (судя по датировке, проставленной позже рукой адресата). Из него выступают жизненные истоки одного из «Английских сонетов» Брехта, названного «Покупка апельсин».

Фрукты — первое, что всегда требовалось туберкулезнице. И вот какой случай произошел с автором письма на одном из лондонских перекрестков. «Вчера вечером я проходил по улице...—сообщает Брехт.—Там стоял торговец с тележкой, полной апельсин. «Надо будет купить несколько штук для Греты»,— подумал я. И пару минут, под впечатлением своего заблуждения, я все-таки видел тебя здесь ожидающей меня...»

В лирическом стихотворном послании намеренно воспроизводится ситуация, близкая к реальной:

В тумане желтом на Саусемптон-стрит
Вдруг с фруктами тележка появилась.
Под лампой бабка грязная возилась
С кульками...

(Перевод Н. Лиховой)

«Ведь апельсины быть всегда должны! Как руки у тебя, они теплы, влажны. В кармане мелочь выловил поспешно». Автоматизм поступка — прочность привязанностей — срабатывает прежде, чем голос рассудка: «Внезапно стало горько ясно — я в Англии, где не было тебя и нет...»

Верным будет сказать вот что. Если бы даже Маргарет Штеффин была только адресатом и прообразом

героини поэзии Брехта, то и тогда, возможно, о ней стоило бы писать. Влияние этой незаурядной личности на Брехта и его музу было весьма значительным. Немало стихотворных произведений — лирических циклов, пафосных гражданских посланий, сонетов — навеяно ее обликом, посвящено или адресовано М. Штеффин.

Но М. Штеффин была не только прообразом поэтических героинь Брехта, включая все спектры этого понятия — нравственный, гражданский, эстетический. В течение почти десятилетия она работала с Брехтом, активно участвовала в создании многих его произведений.

За годы творческого содружества она стала для Б. Брехта не просто незаменимой сотрудницей, ценителем написанного, которому он безраздельно доверял, его критической совестью, а часто и соавтором многих страниц возникавших произведений. Она не чуралась никаких ролей в ежедневном совместном труде. Сама способный литератор, переводчик и писатель, М. Штеффин была для Брехта стенографисткой, делопроизводителем, референтом, доверенным представителем, курьером. «Питомцем» и вместе с тем «воспитателем» — по определению самого Брехта.

Она была фанатически предана той идейно-творческой практике и художественной программе, которую выработал и развивал Брехт — новатор литературы и театра. Она хорошо чувствовала суховатую и безыллюзорную точность брехтовской фразы, его чуть грубоватое прямое слово, за которым стояла правда жизни.

У Брехта она училась, хотя и не всегда умела, как он, смотреть без шор, владеть скальпелем диалектического анализа. Верить не в кумиры и заповеди, а тому, что превыше всего, — фактам и логике реальности, черпать оптимизм в самом потоке жизни.

Зато без лишних слов понимала она стремления Брехта максимально усилить революционизирующее воздействие своего искусства на современность. Она была энтузиастом прямого и открытого обращения Брехта к политическому сознанию аудитории, его агитационно-площадного сценического зрелища, его «эпического театра».

М. Штеффин тонко ощущала музыку стиха и проникновенно разбиралась в образно-поэтических нововведениях Брехта, в его нацеленных на разговорную

интонацию способах версификации, доведенных до «стихов без рифм и регулярного ритма»...

Здесь нет нужды перечислять все. За этим стоит главное — общность отношения к решающим основам жизни и искусства, солидарность единомышленников.

Брехт нередко называл М. Штеффин «своим солдатом». Но оба они служили более высокому делу — освобождению человечества и идеалам революции, которая должна была покончить со всеми видами угнетения. Воюя на плацдарме, созданном искусством Брехта, М. Штеффин была одновременно и солдатом революции. То и другое часто оказывалось синонимами.

Вот еще одна подробность.

В обнаруженных письмах разных лет мелькает выражение: «Nur der Soldat hat Glück» или «Der Soldat hat Glück». Б. Брехт и М. Штеффин обмениваются этой фразой в периоды разлук, когда на расстоянии надо ободрить друга, вдохнуть уверенность. Эти слова звучат в письмах как пароль или клич, хорошо знакомый обоим. С частицей «nur» — «только» они означают: «только солдату везет». А в контексте писем фраза обретает разные смысловые оттенки, главный из которых, пожалуй: «только солдат добудет счастье».

Легко установить первоисточник девиза. Это — первая строка и своего рода рефрен из стихотворения Бертольта Брехта «О счастье солдата революции».

Это короткое стихотворение, всего в шестнадцать строк. Смысл его в том, как много и немного надо солдату для того, чтобы сказать, что ему везет.

Солдат — это человек, который собрал себя в кулак, подчинил все в себе достижению высокой цели. Он весь сосредоточен на поединке с силами зла, угнетения и кривды. И живет уже по другим меркам, чем прочие люди, занятые узколичными или рутинными интересами.

В моменты накала борьбы самым сладким из чувств становится чувство исполненного долга. И «везет» солдату тогда, когда ему дано познать эту высшую радость:

Солдату везет.
Корабли, на которых он плывет,
Идут хорошо и сами в цене

И возвращаются с ним назад.
Его оружие хорошо.

. . . .

Его напарники тверды и дружны.

. . . .

Солдату везет.
К примеру, в бою
Мужество силы в него вольет,
И он не свернет назад.

Стихотворение входит в цикл «Песни солдата революции». Он состоит из ряда произведений, в названиях которых автор дважды вынес инициалы своего современника, одного из таких реальных «солдат революции». Инициалы эти «М. Ш.». Как свидетельствуют комментарии к пятому тому немецкого десятитомника Б. Брехта, буквы «М. Ш.» обозначают имя — Маргарет Штеффин.

Читателю не покажется удивительным, что после всего этого мне захотелось представить себе эту женщину — какой она была, что повелевало ей нести свой крест, что думала и пережила за недолгую, как вспышка, жизнь, как выглядела, ходила, одевалась, говорила...

Если оттолкнуться от сведений и представлений, копившихся постепенно, то вот первый эскиз портрета.

Он относится, пожалуй, к самому началу 30-х годов, еще до прихода Гитлера, когда завязалось сотрудничество с Брехтом. Она жила тогда в Берлине, и ей было двадцать четыре года.

...Этим солдатом была хрупкая белокурая женщина, чуть ниже среднего роста. У нее были шелковистые волосы, нежно очерченный овал лица, прямой красивый нос, тонкие брови и синие мечтательные глаза. Другая на ее месте, наверное бы, по-иному распорядилась таким сочетанием внешних данных, позволявшим при известных стараниях приблизиться к почти рекламному типу маленькой отечественной блондинки, одной из немецкий Лёреляй карманного издания. Но эта поступала как раз наоборот. С девичьих лет она носила короткую прямую стрижку, придававшую ей спартанский вид, платье строгого покроя или такой же костюм, иногда с галстуком. В подобных комбинезонах и блузках с короткими рукавами щеголяли тогда многие рабочие девчата, но Грету, пожалуй, и невозможно даже вообразить себе в облачении иного типа.

В прическе и одежде она не терпела ничего лишнего, отвлекающего. Только целесообразное, не требующее времени, удобное, как униформа. Такое пренебрежение к красивостям, к чисто женскому входило в ее внутренний кодекс.

Дочь каменщика с окраины Берлина, она еще подростком начала участвовать в левом молодежном движении. Затем вступила в Коммунистическую партию. Человеческое братство, классовая борьба и уничтожение угнетателей — эти три принципа стали основой ее убеждений. Политические противники ее дела часто подчеркивали несочетаемость этих слов — «братство», «борьба» и «уничтожение». Но для нее тут не было никаких противоречий.

Она была подвижником идеи и в преданности делу революции доходила до самоотречения. Кроме того, известную суровость ее доброй и даже нежной от природы натуре придавали болезнь и некоторые жизненные обстоятельства, часто заставлявшие ее, подавляя личные чувства, руководствоваться понятиями пользы, цели, разума и долга. Так что она не только страстно хотела, но и немножко приказывала себе быть солдатом, возможно, убеждая себя в трудные минуты, что «так надо».

Это давалось нелегко, поскольку она была слишком женщина, душевные движения и страсти которой не хотели знать ранжиров и подчиняться приказам. По существу самоучка, она была человеком редкой природной одаренности, владела шестью иностранными языками. Когда сердце ее кричало, она исписывала многие страницы в письмах к своему избраннику, завершая их словом «люблю», многократно повторенным порой, помимо родного, на датском, шведском, норвежском, русском, английском, французском языках.

Просматривая сохранившиеся фотографии, видишь затаенную страсть в мечтательных глазах, крутой волевой подбородок, большой чувственный рот. Это была сильная натура. Самые несочетаемые качества странным образом соединялись в ней. Страстность и рассудочность, душевная ранимость и упругая воля, детскость и фанатическая приверженность идее.

Даже самое любовь она сумела соединить со служением гражданскому долгу, который был для нее превыше всего. Когда оказалось, что обстоятельства не дают возможности безраздельно связать свою судьбу

с любимым человеком, она с тем большим рвением и беззаветностью погрузилась в работу, которая их объединяла,— в служение антифашистскому революционному искусству.

Во всем, что касалось творчества, Брехт был человеком крутым, страстным и безжалостным. Трудиться долгие годы в одной упряжке с таким художником было не просто.

У Брехта для М. Штеффин было еще одно прозвище, выражавшее важную черточку их отношений. В его письмах нередко мелькает обращение — «Liber alter Muck...» — «Дорогой старый Мук...»

Это прозвище-каламбур содержало игру слов. В памяти возникал сразу герой школьной сказки В. Гауфа «Маленький Мук» (М. Штеффин тоже была маленького роста, и в суждениях ее звучали иногда нотки усталой мудрости, над чем мягко подшучивает прозвище. Ведь «старый Мук» был на десять лет моложе автора писем). Но основной смысл каламбура был в другом. И в качестве главного улавливался только собеседниками.

Глагол «mucken» в немецком означает роптать, ворчать, противиться, возмущаться, протестовать. Под словом «Мук» при желании можно подразумевать средоточие и гнездилище всех этих свойств человеческой натуры.

Среди обнаруженных в Москве бумаг есть набросок сонета Б. Брехта, в котором прозвище Мук выводится именно из этих свойств характера героини:

Am liebsten aber nenne ich dich Muck,
Weil du mir, wenn du aufmuckst, so geffällst,
Wenn du den Klassiker zur Rede stellst...

(Но охотней всего я называю тебя — Мук,
Потому что ты мне особенно нравишься,
Когда, противореча, призываешь классика к ответу...)

По дальнейшему содержанию сонет — шутливая бытовая картинка... Но таким же «неуступчивым Муком», недовольным ворчуном и духом противоречия, М. Штеффин, как увидим, умела бывать и в принципиальных творческих вопросах.

На протяжении почти десяти лет этих людей связывали многообразные и сложные отношения. Но главным в них всегда была духовная общность, идейная

близость единомышленников, сходно смотревших на современность и будущее. Причем Б. Брехт не раз отмечал идейно-творческое влияние, которое оказывала в его работе М. Штеффин.

В обращенном к ней цикле отважных — «Песни солдата революции» 30-х годов есть стихотворение «Хороший товарищ М. Ш.». Оно из тех двух, где в названиях вынесены инициалы адресата. Поэт так оценивает свои отношения с передовыми борцами пролетарской революции и их «представителем» при нем — «хорошим товарищем М. Ш.»:

К вам пришел я как учитель, и как учитель
Я мог бы от вас уйти. Но так как я учился,
Я остался. И позже также,
Бежав под датскую соломенную крышу,

Скрылся ведь я не от вас.
И одну из вас
Вы придали мне.

Чтобы она испытывала
Все, что я говорю; чтобы она улучшала
Отныне каждую строку
Опытом школы борцов
Против угнетения.

С тех пор она поддерживает меня —
Слабая здоровьем,
Но веселая духом,
Неподкупная даже мной.

Часто, смеясь, я сам вычеркиваю строчку,
Предчувствуя уже, что она об этом скажет.

Перед другими она защищает меня.
Вот я слышу, как она встает с больничной койки,
Чтобы растолковать вам пользу «учебных пьес»,
Ведь она знает, что я стараюсь
Служить вашему делу.

Так писатель обозначает важную черту их отношений: его хрупкая миловидная сотрудница, часто тяжело болевшая, представляла для него духовный и творческий авторитет, он видел в ней даже как бы революционного комиссара своей музы. И так было не только в пору датской эмиграции, но с первых лет их содружества.

И последний рубеж ее жизни тоже был солдатский — июнь 1941 года. К этому времени она сильно исхудала, словно бы уменьшилась в росте, стала бес-

плотной, один неукротимый дух с синим гневным мерцанием в глазах.

Эту смерть Брехт рассматривал как тяжелую духовную утрату.

В стихотворении с характерным названием «Список потерь» Брехт стремится осмыслить ту черную брешь в дружеском окружении, которую повлекла за собой начавшаяся мировая война. Он называет несколько ближайших из близких друзей, погибших или пропавших без вести в превратностях эмигрантских скитаний поры военного лихолетья: «Перебираясь с одного тонущего корабля на другой и не видя проблесков на горизонте,— занес я на маленький листок имена тех, кого уже нет со мной...»

Открывается скорбный список так:

...Маленькая учительница из класса рабочих
Маргарет Штеффин. Средь учебного курса,
Изнуренная скитаниями,
Зачахла и сгинула мудрая.
Так оставила меня та,
Которая всегда противоречила мне,
От обилия знаний, в поисках нового...

Высокие слова поэзии можно подкрепить выдержками из научно-мемуарных источников.

Уже был случай привести оценку исследователя из ГДР Г. Бунге. А вот свидетельство не современного ученого, а участника событий композитора Ганса Эйслера.

Г. Эйслер — художник поколения Брехта и ближайший его соратник. Имена поэта и композитора произносились вместе на протяжении двух с лишним десятилетий. И творческое содружество Брехт — Эйслер дало шедевры революционного искусства, начиная от «Песни единого фронта» до спектакля «Жизнь Галилея»...

В 1975 году в ГДР в качестве седьмого тома Собрания сочинений Г. Эйслера вышла книга «Больше спрашивайте о Брехте». В одной из бесед, представляющих расшифрованную магнитофонную запись, Г. Эйслеру среди прочего был задан вопрос о совместной работе Брехта с М. Штеффин.

Чувствуется, что композитор с радостью услышал это имя и с присущей ему импульсивностью ответил:

«Ну, да это же Грета Штеффин — просто молодец! Рабочая девушка из Берлина... необычайно одарен-

ная — совершенно изумительное дарование, с блистательным вкусом в самых утонченных литературных вопросах, хотя и самоучка... Она была самой ценной сотрудницей Брехта.

Я должен сказать, что пьеса «Страх и отчаяние в Третьей империи» — обрисованная там рабочая среда — без Штеффин не могла бы быть написана.

Своим сотрудничеством Штеффин передала Брехту в известной степени знания о берлинских рабочих, об их сокровенной житейской повседневности. Это было настоятельно нужно Брехту. Он был очень привязан к ней, он еще в Америке сокрушался о смерти Греты, которая тяжело болела туберкулезом. Храбрая, высокоодаренная женщина. Я ею очень восхищаюсь. Ей я даже посвятил музыкальную пьесу!» *. (Hanns Eisler. «Gespräche mit Hans Bunge. Fragen Sie mehr über Brecht», VEB, Deutscher Verlag für Musik, Leipzig, 1975, S. 110.)

В этом свидетельстве примечательно не только содержание, но и тон высказывания Ганса Эйслера. Тон радости от встречи с полузабытым и восторженного утверждения того, что не слишком известно даже широкому кругу нынешних почитателей Брехта.

Причины, оказавшие влияние на это незаслуженное полузабвенье, достаточно очевидны.

Частью из-за долголетней недоступности обширного посмертного архива М. Штеффин, частью из-за специфики тематической именно тут, на скрестке интернациональных литературных связей, образовалась своего рода «ничейная земля», до которой в надлежащей степени не дошли еще руки ни советских, ни немецких биографов Б. Брехта.

Возглас Эйслера: «Ну, да это же Грета Штеффин!..» — потом не раз слышался мне, когда шла работа над книгой.

Одним словом, экскурсы в научно-мемуарную литературу только подогревали любопытство. И одновременно утверждали в правомерности попытки воссоздать образы встретившихся мне людей и событий.

Конечно, не национальные особенности определяют

* Чувства, вызванные смертью М. Штеффин, навеяли, видимо, одну из частей «Вариации для фортепиано» Ганса Эйслера. Во всяком случае в рукописном автографе произведения над 1-м финалом композитор отметил: «Траурный марш (для Греты)» и дал сноску: «Умерла от туберкулеза во время эмигрантских скитаний». (См.: Hanns Eisler. «Gespräche mit Hans Bunge...», S. 345.)

уроки прожитого. И все-таки, может быть, я бы не взялся за перо, если бы найденные материалы не были пронизаны связями с нашей отечественной историей, ее людьми и культурой. А тем самым — с жизнью, которая шла своим чередом, волновалась и шумела за стенами Центрального архива Союза писателей...

Писание документального произведения часто подобно выкладыванию фресок из цветной мозаики. В обоих случаях осколки реальности предшествуют картинам, возникающим в воображении.

С другой стороны, фантазия и чувство, когда они в ладу с реальностью,— сами лучшие следопыты фактов. Они угадывают местонахождение недостающих сведений, подсказывают направления поисков, а главное, наполняют их сегодняшним смыслом.

Ведь как ни ценны факты, еще нужней мысли.

Обнаруженные в Москве материалы дали трамплин для последующих разысканий.

Чтобы получить живое впечатление о действующих лицах, было недостаточно штудировать только рукописные и печатные источники. Или смотреть сохранившиеся изображения в фотоальбомах и нескольких документальных фильмах у нас и в ГДР, где в послевоенное десятилетие с большинством соратников по искусству жил и трудился Брехт.

Многое осталось незафиксированным ни на бумаге, ни на пленке. Вместе с тем в пору, когда писалась книга (первое ее издание вышло в 1978 году), здравствовали еще многие люди из близкой героям среды или даже из их непосредственного окружения. Кто своими глазами мог наблюдать, а то и участвовать в событиях, канва которых просматривается в обнаруженных материалах. Иные, к счастью, благополучно здравствуют и поныне.

И я разыскал не только очевидцев, но и некоторых активных участников событий в разных городах СССР и ГДР. Ушедшая эпоха отложилась в их характерах, мышлении, судьбах. Она жила и искала выхода в их слове.

Такие вспышки прошлого в настоящем, сплавленные с документальным материалом и собственными раздумьями, складывались в главы книги.

Первая встреча произошла в Москве...

Было это в начале 70-х годов...

АПЛЕТИН

Из всех участников событий, к кому сходились начала и концы этой истории, меня интересовал прежде всего Михаил Яковлевич Аплетин.

Было известно, что он здравствует и еще недавно его видели то на юбилейном собрании, то в писательском доме творчества в Малеевке. В меру сил он еще ведет литературную работу и старается быть полезным.

Правда, встреча предстояла необычная. Человеку было девяносто лет. И жил он, как мне сказали, один-одинешенек в трехкомнатной квартире, где-то на краю Филей.

С понятным волнением набрал я телефонный номер.

Трубка, в которую говорил Аплетин, вероятно, была с усилителем, потому что ощущение возникало такое, будто слышишь эхо собственного голоса. А может, так казалось оттого, что громко, как бывает у тугих на ухо, говорил сам Аплетин.

— Только не жмите кнопку у двери... Звонка я все равно не слышу,— разъяснял человек, выхваченный телефоном из какой-то неведомой мне жизни.— А стучите, да побойчее. Так я скорей откликнусь...

Аплетин оказался маленьким подвижным старичком с круглой, как сыр, лысой головой и добрыми каплями глаз, увеличенными стеклами сильных очков. Одет он был в засаленный темный костюм и валенки.

Михаил Яковлевич, кажется, рад был любому посетителю. Он довольно быстро пришлепывал в валенках по квартире, показывая свое жилище и одновременно рассказывая о себе.

Затрудняюсь сказать, сколько лет Аплетину можно было бы дать на вид. За определенной возрастной чер-

той сделать это иногда бывает почти невозможно. Долгожители как бы усыхают и дальше уже не меняются, время для них останавливается, больше их не берет. В равной мере можно сказать, что человеку девяносто лет, а может быть, семьдесят.

Помню, как на Кавказе в сванском селении Ажары меня знакомили с человеком, которому было 126 лет. Этот горец пел, плясал и говорил, что охотно бы женился. Но молодые не соглашаются, а на старухе, даже на полсотню лет младше, вроде бы нет смысла... Этот старик был подобной же худощавой юркой конституции. И, глядя теперь на Аплетина, я на мгновение вспомнил вдруг того ажарского горца.

— В Союзе писателей я проработал больше двадцати лет,— оживленно рассказывал между тем Михаил Яковлевич.— Как пришел в январе тридцать шестого на руководство Иностранной комиссией, так и протрубил до октября 1958 года... Работал бы и дальше. Да начались сердечные приступы, в семьдесят три года стал не выдерживать темпа и напряжения. С тех пор вот на пенсии. Такие дела...

Где до этого трудился?.. Ого-го!.. Где только не работал! В Профинтерне, в ВОКСе, в МОРПе... Да мало ли еще где! Куда посылали нас, там и работали... Тогда порядок был простой: партиец — значит, давай! А я знаете какой древний... В партии без малого шесть десятков лет, а отец мой, Яков Михайлович Фигурин, был еще крепостным! Вот как!.. После, если интересуетесь, покажу свою автобиографию. Там все подробно поименовано...

Позже, когда мы уже расположились беседовать, я увидел на портрете, висевшем на стене, жену Аплетина. Картина была исполнена маслом. За письменным столом, глядя на зрителя, очевидно, в своем служебном кабинете чуть горделиво сидела цветущая женщина средних лет. У нее было энергичное моложавое лицо с сильным волевым подбородком, отважный взгляд синих глаз, одухотворенно развевающиеся как бы от встречного ветерка каштановые волосы.

Несмотря на официальную заданность портрета, какие писали в конце 20-х годов с руководящих деятельниц, в нем были явно переданы черты сильной натуры. Весь вид портретируемой как бы говорил, что эта женщина знает себе цену, одинаково умеет нравиться и повелевать...

— Вера Петровна была профсоюзница. Работала в Наркомпросе, у Крупской...— сказал Аплетин.— Мы с ней вместе несколько книжек написали о международном профдвижении... Она была коммунистка с дореволюционным стажем... Умерла скоро будет как десять лет. Детей у нас не было, личную жизнь все откладывали на потом... С тех пор и остался один...

— Очень жалко вам Веру Петровну?— чтобы хоть как-то выразить свое участие, спросил я.

— Нет... Она очень долго болела,— ответил он.

Помню, ответ этот меня поразил: ведь Вера Петровна была таким долголетним, близким другом, можно сказать, частью самого Аплетина. Но позже сообразил: вероятно, это свойственно глубокой старости, жестокому возрасту, когда все уже позади, так что и сожаления почти нет, даже о самом дорогом в жизни.

Для людей, которые находились на высоких постах и объездили многие страны мира, обстановка в доме Аплетина была не просто скромной, а, можно сказать, бедноватой.

Средних размеров подчеркнуто деловая гостиная... Круглый стол с зеленоватой плюшевой скатертью с кистями под оранжевым абажуром, кабинетный линяло-малиновый диван, с проплешинами на обивке, четыре-пять того же вида мягких полукресел, застекленный темного дерева шкафчик, стоящий почти прямо на входе...

Нигде никаких заморских безделушек и памятных диковин, которыми обычно украшают гостиные, а то и выставляют напоказ, прямо в глаза посетителю, повидавшие свет хозяева.

Чувствовалось, что здесь в ходу совсем иные ценности.

За стеклами темного шкафчика, что у дверей, не китайский и майсенский фарфор, а стопки кожаных папок с золотыми тиснениями и металлическими гравированными дощечками. Это — «адреса», преподнесенные товарищами по работе к различным памятным датам.

И возле шкафчика, по стене, с той же, не знаю, наивной гордостью или музейной демонстративностью, также развешаны трудовые трофеи, которые другие обычно держат в столах, вместе с бумагами и документами. Это — Почетные грамоты, которыми на раз-

ных жизненных этапах была отмечена деятельность четы Аплетиных.

А кроме того, выцветшие стены гостиной украшали еще две писанные маслом картины. На одной — многокрасочный букет осенних хризантем, лиловых, розовых и белых. Другая представляла собой, по всей видимости, довоенное полотно с фигурами двух государственных деятелей, Сталина и Ворошилова, в армейских шинелях, совершающих прогулку по внутренней дорожке на фоне зубцов и башен Московского Кремля...

Без слов ясно, чему здесь была отдана жизнь и в чем видят ее гордость поныне.

Не менее красноречивый вид имел кабинет Аплетина. Это было что-то среднее между книгохранилищем и домашним литературным архивом.

Длинная узкая комната, с рядами дощатых незастекленных стеллажей, заваленных книгами, старыми журналами, газетными подшивками, уставленных полчищами папок.

На противоположной стене, где слева от окна письменный стол, в фотографиях известных представителей развешана была чуть ли не вся отечественная и зарубежная литература первой половины XX века... Кого тут только не было! Маяковский, А. Толстой, Ромен Роллан, Брехт, Вайнерт, Бехер, Бредель, Жоржи Амаду, Чаттопадхай, Федин, Павленко...

— Вот все мои друзья!— широко обводя руками, сказал Аплетин.— Причем настоящие... Захожу сюда иной раз и как бы заново беседую то с одним, то с другим. Только от Ромена Роллана у меня тут,— он указал вверх на папки,— двадцать восемь личных писем... Многие здесь оставили по себе след... Вот это, например, что?

Аплетин с усилием снимает с полки толстенную инкунабулу, в кожаном переплете, с медными застежками.

Это переплетенная подшивка немецкой газеты, выходившей в давние времена в таком книжном формате. На первой странице каждого номера крупной готической вязью название — «Das Intelligenzblatt, 1803».

— Это — просто ведомости, бюллетень, старинный предшественник газеты. Но в названии звучит слово «интеллект», «интеллигенция»...

— Это подарил мне Иоганнес Бехер в канун своего отъезда после войны... За десяток лет эмиграции он

собрал по московским букинистам много редких немецких книг. И при переезде в Берлин преподнес мне вот эту... Со значением, за гостеприимство к немецкой интеллигенции...

Аплетину нравится рыться в своих сокровищах. В приподнятом настроении, подвижной, маленький, озирает он полки и даже слегка напевает:

— Да, да, да... да, да, да... А вот это что у дяди Миши?

В его руках том с романом А. Фадеева «Молодая гвардия». На первой странице — синими чернилами: «Дорогому старому другу, любимому и неизменному Михаилу Яковлевичу Аплетину, на добрую память. А. Фадеев. 29 января 1951 года».

Затем вместе мы разглядывали литературную фотогалерею, снимок за снимком.

Пожалуй, только Брехт составлял тут исключение. Он был представлен не фотографией, а обыкновенной книжной картинкой. Это была черно-белая репродукция с широко известного портрета писателя, выстриженная из книги и прилепленная на стенку. В откровенности самоделки было даже что-то трогательное. Тем более что она соседствовала с великолепным подлинником — фотографией Чаттопадхайя, где прямо по глянцевому белому одеянию индийского поэта была сделана давленая надпись шариковой ручкой с изъявлением чувств к хозяину дома на английском языке.

— Вы знаете, что Брехт назвал меня своим наставником? — сказал Аплетин.

— Когда?! — чуть поспешней, чем следовало, вырвалось у меня.

— После войны было это... Когда Брехту в Москве вручали Ленинскую премию мира, он произносил речь и сказал, что рад видеть здесь своего воспитателя и наставника Аплетина...

— Прямо в ответной речи в Кремле?

— Тогда... Или, кажется, была вторая речь, по тому же случаю... Но только Брехт сказал: «своего наставника Аплетина»...

Мне было неудобно больше докучать расспросами. Скажу лишь, что это оказалось сущей правдой, как и многое другое, что вскоре рассказал Михаил Яковлевич о Брехте и своих отношениях с ним до войны и уже в 50-е годы.

Беда была лишь в одном. Аплетин не смог сооб-

щить почти ничего о том, что интересовало меня прежде всего,— о Маргарет Штеффин и событиях последнего предвоенного месяца в Москве.

Но об этом чуть позже.

Пока же мы расхаживали и оглядывали кабинет Аплетина.

Над письменным столом, заваленным ворохом бумаг, висел тот самый портрет Веры Петровны, где она, цветущая, моложавая, позирует, сидя за письменным столом в своем кабинете.

«Получается, как бы столы и кабинеты в два яруса...— пришла мысль.— Забавно!.. И два слоя времени — то, далекое, из окошка которого смотрит на мужа Вера Петровна, и нынешнее, которое незаметно движется сейчас в аплетинском кабинете... Да, два кабинета, а между ними... Что между ними? Не только судьба стоящего рядом старого человека, но и нечто большее... Отрезок истории».

Итак, в этой комнате, где стоял сладковатый запах тлелой бумаги, книжной пыли и одинокого стариковского жилья, и начался наш разговор о событиях весны 1941 года, об обстоятельствах проезда Брехта через Советский Союз, о смерти Маргарет Штеффин.

Конечно, я понимал, что все это было очень давно. И что Михаилу Яковлевичу много лет. И если река уносит мелкие камешки и песчинки, то сколько же за это время протекло-пронеслось перед глазами человека, долгие годы находившегося среди каждодневного мельтешения дел и лиц, неизбежного на такой административно-литературной работе.

Нельзя забывать к тому же, что обычное течение жизни было вскоре за тем, уже 22 июня 41-го года, взвихрено, обращено вспять, брошено в другие русла.

И все-таки я надеялся. Человек, подписавший и получивший около пятнадцати писем, касавшихся дела, в котором он принимал такое близкое и доброе участие, причем писем не от кого-нибудь, а от Брехта, и посвященных не какой-нибудь будничной малости, а все-таки как-никак смерти, казалось мне, что-то должен был сохранить в себе от этого.

Но Михаил Яковлевич по интересовавшему меня конкретному делу не помнил ничего. В первый момент он не имел представления даже, кто такая Маргарет Штеффин.

Не помогали никакие напоминания. Даже сами письма, которые я давал читать Аплетину.

Он вертел и рассматривал их с любопытством. Но читал как чужие. Иногда бормотал при чтении:

— Да, да... кажется, так... вроде было...

Но потом решительно откладывал в сторону. И глядя на меня и почти по-детски моргая глазами, огорченно признавался: «Нет, не помню!»

Это было, конечно, мужественное признание человека, который не хотел из самолюбия или тщеславия привирать и кривить душой. Но мне от этого, как говорится, было не легче.

Признаюсь, в душе я даже рассердился в тот раз на Михаила Яковлевича. И ушел от него недовольный. Не зная, чему ужасаться больше, то ли несовершенству механизма нашей памяти, то ли тому, что есть должностные лица, через которых людские волнения и страсти текут, часто не оставляя следа, как сквозь решето.

Но, поразмыслив, я вспомнил вдруг случай, который произошел не с кем-нибудь, а со мной.

В биографии каждого человека бывает несколько событий, от которых зависит течение всей его дальнейшей жизни. Так вот это было именно такое событие. Не знаю, куда бы повернулась моя судьба, если бы одна частность приняла иной оборот.

Это было в далекие студенческие времена, а чтобы быть совсем точным, в 1949 году. И для факультета, где я учился, дело было довольно громким. С моими родителями произошло то, что получило потом название — нарушение социалистической законности.

В один день для меня рухнул весь мир. И ничего не подозревавший мальчишка-второкурсник сразу вдруг оказался без родных, без крыши над головой, без всяких средств к существованию да еще с незаслуженным и позорным пятном «штрафного».

Спас меня тогда наш факультетский комсомольский секретарь Борис Стахеев.

Как большинство студентов-фронтовиков, недавно демобилизованных из армии, Стахеев выделялся среди нас, вчерашних школьников, тем, что ходил в защитного цвета гимнастерке, подпоясанной форменным ремнем, с потемневшими ленточками орденских колодок на груди.

У него было неестественно белое лицо, к которому

не прилили еще краски здоровья после перенесенного на войне, бедовый взгляд умных прищуренных глаз и расчесанные пробором жесткие русые волосы. Стахеев был старше, быть может, всего только на четыре или пять лет. Но это был уже человек, повидавший жизнь и разбиравшийся в ней лучше нас, юнцов.

Не берусь задним числом судить, насколько ясна была Стахееву несправедливость того, что случилось с моими родителями. Но помогать мне он взялся решительно и без колебаний.

Речь шла о кажущейся малости — о месте в студенческом общежитии. Но желанная койка была для меня не просто местом ночлега. Она была спасательным кругом тонущему. Челном в море. Мостиком из внезапно рухнувшего мира в будущее. Из отчаянного одиночества и неверия к людям. Вот это, как вижу по прошествии лет, сразу понял Стахеев.

Добиться общежития обычным путем при случившихся обстоятельствах не было никаких возможностей.

— Общежитие переполнено, мест нет,— твердо взглянув на меня, сказал проректор Иванов.— Мы отказываем детям Героев Советского Союза, а что скажут, если дадим сыну врага народа...

Конечно, «Героев Советского Союза» он помянул ради красного словца, но что же было делать? Оставалось изобрести самовольный маневр с ордером на вселение.

Я не был Стахееву ни другом, ни приятелем. А был лишь одним из младшекурсников, с которым он сталкивался раньше по совместным комсомольским делам и которому сейчас было плохо.

Стахеев тогда крупно рисковал. Если бы случай открылся, он по нравам тех лет не только бы перестал быть секретарем факультетского бюро, но, возможно, и сам бы распростился с университетом.

Но Стахеев привлек к этому делу своего однокурсника, председателя студкома, и я был спасен. Как это просто! Один маленький клочок бумаги, ордер, наколотый на иглу, как чек в магазине. И мне не надо больше бросать университета, уезжать из Москвы... Вся моя жизнь пошла по этому руслу, а не по другому...

Конечно, я никогда не забывал этого случая. Но,

как известно, обстоятельства разводят людей в разные стороны, а большое видится на расстоянии.

Лет двадцать я не встречал Стахеева, а потом вдруг случайно столкнулся с ним на одной из московских улиц. Он сильно посолиднел, располнел. Он был теперь известным ученым.

Мы стояли друг против друга. С обеих сторон нас обтекали прохожие, по шоссе мимо неслись машины. А я с внезапно нахлынувшим чувством объяснялся Стахееву в любви.

Я говорил, что десять лет после распределения меня не было в Москве, потом как-то не представлялся случай, а теперь я хочу сказать, какое значение в моей судьбе имел его тогдашний поступок, с высоты пройденных лет хочу еще раз поблагодарить его, крепко пожать руку, обнять, наконец... и т. д. и т. п.

Борис смотрел на меня своим прежним прищуренным бедовым взглядом. Но я заметил тень недоумения на его лице.

— Ты знаешь, я этого не помню...— помолчав, сказал он.— На факультете было больше полторы тысячи комсомольцев... И чего только не происходило в те годы, за что только не брался...

Он не помнил!

А почему, собственно говоря, он должен был помнить? Ведь студентов действительно было значительно больше полутора тысяч. В комнатке факультетского бюро не смолкал шум. Стахеевская зеленая гимнастерка проглядывала часто сквозь кольцо обступивших его студентов. И если факультетский секретарь был человеком чести, а именно таким был Стахеев, то мало ли какие сложные случаи подсовывала ему за эти годы жизнь и какие рискованные решения подсказывала совесть!..

Есть люди, которые по роду своих занятий, делая полезное и нужное дело, не могут помнить всех своих поступков.

Таким *человеком, не помнящим добрых дел,* был Борис Стахеев.

Вы никогда не забудете врача, который спас жизнь вам или вашим близким. Никогда не забудете первого учителя. Но это вовсе не значит, что тот и другой так же обязательно запомнят вас.

Хирург на операционном столе своим мастерством, напряжением, воли и сил, случается, не раз в месяц

решает вопрос жизни и смерти. Но в памяти у него может сохраниться скорее форма какой-нибудь кипки, чем ваше лицо.

Это, конечно, обидно. Но, что поделаешь, это так.

Почему же не допустить, что и Аплетин в данном случае был тем же самым человеком, не помнящим своих добрых дел?

Важно, что его поступков и поведения в канун войны, как показывают документальные источники, до конца дней не мог забыть Брехт. А то, что о них не помнил сам Аплетин, это, в конце концов, не важно...

Поскольку Аплетин еще не раз появится в дальнейшем повествовании и будет играть в нем важную роль, об этом человеке следует рассказать подробней.

Михаил Яковлевич в разговоре назвал своего отца по фамилии Фигуриным. Собственно, Фигурин — это была кличка. Но подлинную свою фамилию, что он не Фигурин, а Аплетин, отец сам впервые узнал только в почтенном возрасте, когда вернулся жить на покое к родным могилам. И лишь последние пять лет провел под фамилией Аплетин.

До этого не только в просторечии, но и по всем городским бумагам он значился Фигуриным.

Он был из крепостных села Ундола Владимирской губернии. И как многие крестьяне неплодородных губерний России, находился на оброке. Еще десятилетним мальчишкой пристроился торговать в городе гипсовыми статуэтками, изображавшими различных знаменитостей. В рост, без ног и по плечи. Однажды по неосторожности грохнул о землю поднос с целым гуртом белоглазых гете, шиллеров и жуковских. И вместе с поркой получил от хозяина прозвище: «Эй ты, Фигурин!»

Так и пошло. Сначала Яшка Фигурин... Потом Яков Фигурин... Потом Яков Михайлович Фигурин...

От позднейших времен, когда семья уже могла позволить себе такую памятную трату, сохранился групповой снимок, который показывал мне Аплетин.

В центре — крупный мужчина, с благородным лицом интеллигента. Высокий лоб, прямой нос, умные медвежьи глаза...

Он был недюжинным человеком, этот городской

житель Яков Михайлович Фигурин. Имел голову на плечах. Мог без чертежа собрать и разобрать сложную машину. Но газету, когда напускал солидность, делая вид, что читает, держал вверх ногами. Грамоты он так и не превзошел.

С тем большей страстью он хотел обучить наукам своего младшего сына Мишку. И это был день отцовского торжества, когда после всех мытарств с платой за учение и долголетних карабканий в гору тот выдержал экзамены и был принят в университет.

Это было в неурожайный год, после лихорадки и смуты первой революции. Почтальон, в форменном кителе, принес в избу пакет с подтверждающей бумагой, на конце печать с гербовым двуглавым орлом и аршинными буквами сверху: «Императорский петербургский Университет». А по селу пополз слух: «Мишка на царя учится...»

Путь Аплетина-младшего к революционным идеям не был исключителен для человека из низов, который попал в купель студенческо-пролетарского Петербурга и искал справедливости для себя и для других.

К бунтарству он пришел сначала как вчерашний крестьянин. Состоял в партии эсеров, будучи на левом ее крыле.

К 1917 году Михаил Яковлевич, окончивший историко-филологический факультет Петербургского университета и успевший поработать учителем гимназии, уже полностью созрел для самого многостороннего и активного участия в развороте событий.

В большевистскую партию он вступил как боец, для которого судьба Октябрьского начала была собственным его будущим. В решающий момент 1919 года, в наиболее грозные для Петрограда дни, когда, по слову тогдашнего воззвания, стать коммунистом означало «получить мандат на виселицу».

О деятельности Аплетина в первые годы Советской власти даст представление хотя бы такой отрывок из собственноручной «Автобиографии», с которой Михаил Яковлевич познакомил меня, как и обещал.

Я привожу выдержку, разумеется, во всей ее точности. Хотя современному читателю, особенно молодому, сам диапазон и чередование дел, которыми в короткое время занимался автор, могут показаться почти неправдоподобными:

«...Публиковал статьи по вопросам пропаганды и

клубной работы. По поручению агитпропа губкома за 9 дней написал пьесу «Кровавое воскресенье», поставленную театрами Народного дома и Смоленского района. Позже по поручению агитпропа... переработал материал учебного пособия Петрова К. Ф. «Этимология» и «Синтаксис».

В дни Кронштадтского мятежа в 1921 — секретарь революционной тройки 2-го городского района Петрограда... В июне 1922 года отозван в Москву на работу в качестве секретаря ЦК Союза работников просвещения, с 1924 г. стал его международным секретарем. Редактировал журнал «Работник просвещения». Позже редактировал журнал «Совето педагогиа ревуо» («Советское педагогическое обозрение») на эсперанто...»

Конечно, Михаил Яковлевич не умел писать пьес и не знал языка эсперанто. Но это была не столь уж редкая доля кадрового работника, каким стал Аплетин. Как тогда писали в газетах, революции не на кого было надеяться и некогда ждать. По необходимости преданность делу часто ценилась выше, чем понимание конкретного дела. Казалось, что одной беззаветной верностью и нечеловеческим напряжением сил можно перевернуть весь мир. А уж энтузиазма было не занимать.

Вчерашние фигурины были самой первородной и надежной опорой. И Аплетин вел порученные дела, как мог, как разумел, как подсказывала совесть.

Аплетин был интеллигентом в первом поколении. И потому «спрямлял углы», то есть иногда шел напролом в работе по созданию новой культуры, упрощенно понимая ее, возможно, даже в большей гораздо степени, чем с нынешних высот склонен теперь признавать сам. Вероятно, к тому же по натуре он больше был исполнителем, чем творцом. Ему лучше давалось действовать, четко и аккуратно осуществлять, чем придумывать самому. Всем этим, а не только особенностями эпохи объясняются, наверное, известная разбросанность и пестрота в чередовании занятий, которыми отмечена его биография. Сложное часто представлялось более простым, а трудное легче достижимым, чем оказывалось на деле.

Но Аплетин был среди тех, кто начинал строительство новой культуры. Эти люди горели нетерпением, они торопились, они хотели быстрее.

И кто же упрекнет человека за то, что он пытал-

ся хватать жар-птицу за хвост, когда казалось, что она под рукой... Что было, то было! Во всяком случае у таких первопроходцев, как Аплетин, никто не найдет недостатка самоотверженности или доброй воли...

В конце 1935 года мы застаем Михаила Яковлевича на посту секретаря Международного объединения революционных писателей...

Именно на этом человеке остановился выбор, когда в ту пору подыскивали кандидатуру «организационника» на Инокомиссию Союза писателей СССР.

Сам Союз писателей провозгласил свое образование только за год до этого, на широко известном Первом съезде. И Михаилу Яковлевичу выпало стать по существу зачинателем работы Иностранной комиссии, председателями которой при нем последовательно были М. Е. Кольцов, А. Н. Толстой, А. А. Фадеев, Б. Н. Полевой, А. А. Сурков...

Природа все-таки сильнее любого воспитания. Ни годы занятий международными делами в писательской среде, ни дипломатические рауты не изукрасили европейским блеском и лоском теперь уже разменявшего шестой десяток лет Михаила Аплетина к моменту, когда в середине тридцатых годов они впервые встретились с Брехтом.

На службу Аплетин являлся одетый хотя и безупречно, но не броско, скромно, да и держался так, что случайный посетитель Иностранной комиссии никогда бы не сказал, что этот незаметный маленький человек, с лысой головой, в ширпотребовском сером костюме, в очках, и есть здесь самый главный. Он походил скорее, пожалуй, на тихого счетовода, который где-то в закутке монотонно щелкает на счетах одному ему понятные колонки цифр. А между тем именно он был, можно сказать, практический прядильщик и ткач многих начал, из которых растут международные литературные связи.

Минувшие десятилетия, которые отшлифовывали характер Аплетина университетскими аудиториями, поездками по чужим землям, сложными беседами на иностранных языках, лавированиями аппаратной работы, не сгладили, а лишь по-особому развили и изощрили в нем черты выходца из народных низов. И на шестом десятке лет, будучи одним из руководителей Иностранной комиссии, Михаил Яковлевич оставался

немножко мужичком, скромным, простым, отзывчивым, хитроватым.

И это было, наверное, как раз то, что сразу почувствовал и оценил в нем Брехт, который всегда ставил на первое место самобытность и простоту в людях...

Что же можно сказать в итоге? Если встречи с Аплетиным и не принесли прямо ожидавшегося результата, то дали многое.

Для представлений и понимания обстановки предвоенных лет, среды и окружения Брехта в СССР, того, каким сам Михаил Яковлевич был тогда. Что же касается М. Штеффин и ее пребываний в СССР, то тут придется довольствоваться свидетельствами других участников событий и архивными материалами...

К моменту нашей встречи облик Маргарет Штеффин выветрился из памяти Аплетина, возможно, еще и потому, что в те далекие годы она представала перед ним обычно не сама по себе, а в качестве доверенного лица Брехта.

Случалось, что они сидели за маленьким столиком в кабинете Аплетина. Прихлебывали чай с ломтиками лимона, позванивая ложечками о стаканы. Михаил Яковлевич грыз румяную московскую сушку, пододвигал Грете блюдце с конфетами «Мишка на Севере». И она толково и, пожалуй, чуть возбужденно рассказывала о последних встречах писателей-эмигрантов у Брехта в Дании, о статьях и памфлетах Брехта в антифашистской печати, о поездках Брехта в Париж, Лондон и Нью-Йорк, о новых изданиях книг и постановках пьес Брехта...

Михаил Яковлевич дружелюбно и чуть подслеповато следил за говорившей, замечая, возможно, какое одухотворенное выражение появляется временами в синих глазах молодой женщины. Но это был лишь фон восприятия, а мысленно Аплетин видел Брехта.

Или случалось, что она заходила к Аплетину с деловой просьбой, поручением или запиской, вложенной в очередное письмо, полученное *оттуда*. Михаил Яковлевич с медлительной основательностью исполнял все, что было в его власти. И пока он звонил по телефону, с кем-то договариваясь, или поджидал вызванного сотрудника, обмениваясь с посетительницей домашними незначащими фразами, в его представлении

рядом с нею незримо присутствовала немецкая заграничная среда, присутствовал Брехт.

Аплетин мог наблюдать Маргарет Штеффин и в компании со статной шатенкой, выше ее на голову, носившей то элегантные темные, то броские яркие платья, а позже — схваченную ремнем военную зеленую гимнастерку. Случалось, что, переговариваясь по-немецки, они проходили по коридору к председателю Иностранной комиссии М. Е. Кольцову.

Этой спутницей была Мария Остен, журналистка, писательница, подруга и соратница Михаила Кольцова по войне в Испании.

Если бы Маргарет Штеффин хотя бы однажды резко нарушила принятую на себя роль, она бы, возможно, лучше запомнилась.

Нельзя было, скажем, увидев хоть раз, забыть Марию Остен.

В начале 30-х годов та поехала вместе с Кольцовым в клокотавший, как перегретый котел, Саар. Там проходила в тот момент передовая схватки с фашизмом. Борьба велась вокруг предстоящего плебисцита — сбудутся ли притязания нацистской Германии на этот угольный бассейн или его население сохранит демократические свободы? Жизнь или фашистский концлагерь для многих десятков тысяч людей? Решительный отпор или уголь гитлеровской военной машине?

В разгар кампании Мария привезла в Москву из Саара сына местного коммуниста, низкорослого веснушчатого пионера-немца.

Около года Мария не разлучалась с Губертом. Она увлеклась необычным социальным и психологическим экспериментом. Маленький саарский житель, мгновенно перенесясь из одного мира в другой, должен был своими глазами увидеть движение истории.

Журналистка поселила Губерта на своей столичной квартире, устроила в немецкую школу, водила с собой на выставки и предприятия, поднимала ввысь на гигантском самолете «Максим Горький», возила на канал Москва — Волга, в передовой колхоз, пионерлагерь, в красноармейские части...

Она демонстрировала мальчику страну его грез. В сознании ребенка должна была отразиться величественная картина окружающих свершений. За собой Мария оставляла роль стенографистки, фиксирующей изо дня в день детские переживания, перекладываю-

щей в нотных знаках рождающуюся в душе симфонию, чтобы ее могли услышать все.

Так возникла книга Марии Остен «Губерт в стране чудес. (Дела и дни немецкого пионера)». Она появилась в качестве специального выпуска журнала «Огонек», который редактировал М. Кольцов. Форматом этого популярного издания, но объемом в двести с лишним страниц, книга в духе «Огонька» пестрела фотографиями и рисунками. Она имела шумный успех.

Раздавались, правда, и голоса скептиков.

Гуляла шутка, которую приписывали ленинградскому переводчику Валентину Стеничу. Стенич был одинаково известен в литературной среде блистательными переводами с европейских языков, модными галстуками и меткой язвительностью оценок.

— По отдельности все прелестно...— закрывая пухлую, как комплект «Огонька», книгу, якобы сказал Стенич.— И страна чудес, и Губерт. А читать лучше «Алису в стране чудес»...

Другие обосновывали выводы. Дескать, побуждения высоки и благородны, нет слов. Но литературный прием сомнителен. Много ли, в самом деле, может понять мальчонка, не знающий языка, в чужой стране, за короткое время?

Сопоставление стран, эпох, миров и народов в том вселенском плане, как это задумано в книге, явно не по силам детскому разумению. Даже невооруженным взглядом видно, как овзрослена книга. Сплошь и рядом мальчик нужен лишь для того, чтобы повторить обобщения и выводы, которыми снабдила его «за кадром» энергичный гид, экскурсовод и наставник. Это походит на задачку с подгонкой решения под заранее известный ответ. Самоуверенный автор частенько созерцает собственное изображение в подставленном зеркале.

Реальный маленький герой книги оказывается на деле по существу таким же рупором писательских сентенций, как бывает с персонажами в плохих романах. Это накладывает на все сочинение, пришедшее вроде бы из гущи жизни, печать назидательности и скуки.

Но поскольку мальчик есть мальчик — живой, настоящий, не укроется от читателя и еще один чувствительный момент. Не слишком ли бесцеремонно обращается ретивый литератор с психологией ребенка?

Чему научит такая книга самого Губерта? И что он скажет автору, когда вырастет и перечитает приписанные ему обобщения и выводы? А прививая легкомысленное отношение к словам реальному Губерту, книга может незримо посеять те же плевелы в душах маленьких читателей. Было бы полезней для дела, если бы шефство над саарским пионером и путешествия с ним остались сами по себе, а на страну в эпоху второй пятилетки журналистка смотрела своими глазами, не ставя между собой и действительностью плохо подготовленного для этой роли ребенка. Побольше бы уважения к личности, чуткости к ребячьей психологии, не журналистского штукарства, а неподдельного чувства любви, тогда, может быть, и возникла бы оригинальная и новаторская книга для детей...

История вроде «Губерта в стране чудес» была в духе и характере Марии Грёссгенер, подчеркнувшей привязанность своего сердца после эмиграции на Восток, в СССР, литературным псевдонимом — Мария Остен. И, конечно, это вызывалось чем угодно, но никак не себялюбивой расчетливостью и суетной тягой к показному.

Яркое, нарядное, театральное было ее стихией. Но Мария не просто хотела гарцевать по жизни на белом коне. Она принципиально считала, что новому человеку незачем и не от кого таить высокие порывы души. Пусть весь свет видит, какие силы раскрепостила революция. Настала пора жить празднично, шумно, эффектно.

Мария была человеком митингов и баррикад. Презрение к опасностям, ко всему, что принижает высокие движения духа, умение собраться в волевой комок, все поставить на карту — это тоже были ее черты. В своей убежденности она ощущала азарт и хмель жизни. И это давало ей силы и в пору гонений на коммунистов в Германии, и в испанских окопах. Как влекло в стремительные журналистские броски по стране или наполняло возвышенным трепетом на торжественных форумах единомышленников или при виде парадных народных шествий.

Свою ровесницу и подругу Грету Штеффин Мария считала несколько монотонной и прозаичной. Зато находила в ней много других достоинств. Она видела в ней талант, поднятый из низов революцией. Побольше

бы таких! Ее даже восхищало, насколько внутренне одарена и переимчива эта дочь каменщика. Как артистична, чутка к чужим настроениям! И в то же время смышленый собеседник, сильный характер, непритязательный и буднично надежный.

А Грете нравились в Марии именно романтическая нарядность ее облика, постоянная окрыленность высокими идеями. Хотя она и замечала, что Мария не всегда отличает жизнь от театральной сцены и иногда попадает в плен собственных иллюзий. Нравилась (да и попросту незаменима была в Москве) откровенная широта натуры, свойственная Марии. Она всё и всю себя готова была отдать тем, кому симпатизировала.

Таким подробностям, возможно, и по тем временам не придавал особого значения Аплетин. Разве излишне подчеркнутая поступь и осанка, с какой проходила по коридорам к кабинету Кольцова Мария Остен, могли слегка коробить чувствительного Михаила Яковлевича. Но взгляд его с приветливой улыбкой скользил скорее всего мимо находившейся рядом спутницы.

Как же он, в самом деле, воспринимал Маргарет Штеффин тогда? Что думал о ней, встречая ее в коридорах Иностранной комиссии или принимая у себя в кабинете?

Об этом можно судить отчасти по сохранившимся письменным свидетельствам.

В материалах уже известного нам «выездного дела», проходившего через М. Я. Аплетина, часто фигурирует М. Штеффин. Контекстом и тоном писем Б. Брехта в СССР предполагается, что лицо это Аплетину хорошо известно.

Некоторые письма поступили задолго до того, как Михаилу Яковлевичу довелось столкнуться с Гретой последний раз, в майской Москве 1941 года.

Вот характерная выдержка из письма Брехта, датированного 20 ноября 1940 года:

«Дорогой друг Аплетин, большое спасибо за Ваши сведения. Мы все лето ждали американских виз. Только сейчас, кажется, дела наладились, так что теперь встает вопрос о билетах. Для нас было бы большим облегчением, если бы дорогу от Ленинграда до Владивостока мы могли оплатить в рублях...

Перевод «Воспоминаний» Нексе Штеффин и я закончили. Я читал в советских журналах, что I и II том (часть) уже напечатаны, но подтверждения получения III—IV частей не имею. Посылаю Вам еще раз экземпляр этих частей (наш последний). Не будете ли Вы так любезны передать их «Международной книге»? В 1939 году «Межкнига» договорилась с Нексе, что Штеффин и я будем получать по 1000 рублей в валюте за часть, т. е. за четыре тома — 4000 руб. Первый том нам оплатили в прошлом году, деньги были переведены в Стокгольм (1000 в валюте), осталось, значит, еще 3000 рублей.

Этого могло бы хватить нам на дорогу от Иокогамы до Сан-Франциско. Не можете ли Вы попросить «Международную книгу» переслать эти 3000 рублей... как можно скорее (в долларах) Штеффин и мне в здешнее полпредство?..

Большое спасибо за помощь!

Я прилагаю к двум последним частям «Воспоминаний» Нексе еще свой рассказ — «Аугсбургский меловой круг», не сможете ли Вы передать его Бехеру? Возможно, удастся также напечатать его по-русски?..»

Письмо деловое, финансовое. И хотя Маргарет Штеффин выглядит в нем не просто доверенным лицом, а соавтором и напарником по трудоемкому переводу обширных мемуаров старейшего датского писателя Мартина Андерсена-Нексе, «скандинавского Горького», все-таки и тут очевидно, что фигура эта теневая, неглавная.

Так было, вероятно, и в других подобных же ситуациях, в которых могло требоваться посредничество Аплетина. Когда в СССР готовились к отдельным изданиям «Трехгрошовый роман» Б. Брехта или его же пьеса «Круглоголовые и остроголовые», создававшиеся при ближайшем сотрудничестве с М. Штеффин, чей творческий вклад, по уже приводившемуся свидетельству исследователя, бывал иногда неотделим от написанного Брехтом. Или когда в тот же период заключались театральные договора на постановку пьесы «Круглоголовые и остроголовые» в Москве и Ленинграде...

Даже и в таких случаях Штеффин была для Аплетина лицом около главного, фигурой периферийной.

У М. Штеффин не было ни броского вида, ни громкой репутации, как например, у Марии Остен. Ее необычайная преданность Брехту выражалась еще и в

том, что она с болезненной щепетильностью отстранялась от всякой своей сопоставимости с ним в посторонних глазах.

Ее внутренний такт и человеческая гордость также походили в этом смысле на достоинство солдата: не подчеркивать близости к «сферам», если даже она имеется. Каждый делает свое дело. Каждый хорош на своем месте.

Ее подлинная роль не могла быть известна Аплетину. Перед ним она чаще всего представала зарубежным гонцом от эмиграции, посыльной от антифашистов из Дании, представителем и секретарем Брехта.

Вот почему она не запомнилась.

Но если Маргарет Штеффин и была секретарем Брехта, то секретарем весьма необычным.

«Я надеюсь, ты достойно представляешь меня в Мекке»,— походя отмечает Брехт в одном из писем, относящемся к концу января 1935 года.

«Распространяй мою славу в Мекке!..» — шутливо восклицает он в другом письме к М. Штеффин (между 10—15 февраля 1935 года). И у Брехта была полная уверенность, что не только все его творческие и деловые поручения будут аккуратно исполнены. Но многое будет сделано сверх того, с превышением, которое дают убежденность и энтузиазм. Всякий раз, когда Грета приезжала в СССР, Брехт обретал там верного и компетентного представителя.

А по тем временам это было не простой приватной обязанностью или дружеской услугой. Это было исполнением назревшей общественной потребности. Работой отнюдь не легкой, не сулившей парадных выходов и распростертых объятий.

В 30-е годы только начиналось творческое проникновение Брехта. Его еще мало знали в СССР. К тому же репутация Брехта в тогдашней литературно-театральной среде как бы двоилась. Революционная и антифашистская позиция писателя ценилась, а его самобытное и новаторское искусство принимали неохотно, с сомнением и опаской. Брехту якобы еще предстоял выбор: или «реакционная форма» — или «реакционное содержание» (которое, дескать, та неизбежно с собой несет)...

Театровед и режиссер Бернгард Райх уже в наши дни так описывает ситуацию, достаточно выявившуюся

к середине 30-х годов и лишь усугублявшуюся в последующие предвоенные годы:

«Интернациональная литература»,— вспоминает он,— напечатала... Брехта: «Допрос Лукулла», «Горации и Куриации». Но сделала это «без энтузиазма». Этот журнал редко публиковал новые работы Брехта. Почему-то читателей упорно не хотели знакомить с самыми зрелыми его пьесами — «Жизнь Галилея», «Добрый человек из Сезуана». (Опубликованы были лишь фрагменты из «Мамаши Кураж».) Журнал ни разу не поместил ни одной значительной рецензии на произведения Брехта. Однажды мне заказали обстоятельную статью о нем. Но моя работа была отвергнута потому, что я якобы поддерживал его «эстетические заблуждения» и «формалистические ошибки». Редакция с боязливой подозрительностью штудировала произведения этого периода. Любая попытка Брехта отыскать путь к социалистическому реализму, не совпадающий с путем критического реализма прошлого века, оценивалась как неоспоримое доказательство его тяготения к формализму, как его «духовное родство» с Пролеткультом, ЛЕФом и т. д. В головах некоторых руководящих работников... (Бехер, Габор, Лукач) крепко сидело убеждение, что все произведения Брехта — это продукт чисто логического мышления и что он типичный рационалист.

Брехт в ту пору вообще не был принят. Пискатора, например, раздражала резко выраженная индивидуальность Брехта, ошеломляющая оригинальность драматурга эпического театра. Фридриха Вольфа коробил и сам принцип эпического театра. С какой стати отказываться от интенсивного драматизма. Многих беспокоило нарушение Брехтом канонов критического реализма».

И далее: «...Среди немецкой эмиграции в Москве лишь Лацис и я страстно защищали творчество Брехта. Мы видели в нем прежде всего дерзкого, поразительно интересного экспериментатора... До 1936 года Брехт таким и был. Не наша вина, что мы не знали его последних произведений (т. е. «Жизнь Галилея», полный текст «Мамаши Кураж», «Добрый человек из Сезуана», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Карьера Артуро Уи».— *Ю. О.*), где он достигал неожиданно богатого и тонкого художественного синтеза. Не знали и другие, что тот самый Брехт, к которому они отно-

сились с известной настороженностью и снисходительной фамильярностью, написал уже произведения эпохального значения... Фамилия Брехт, которая в то время большинству говорила еще так мало, уже навечно принадлежала миру высокой поэзии» (Б. Райх. «Вена — Берлин — Москва — Берлин». М., Искусство, 1972, с. 313, 318).

Такие поправки к зрению вносит время.

Но когда маленькая, коротко стриженная немка, одетая в мужского покроя костюм и галстук, как заштатная партактивистка, порывисто входила в кабинеты московских редакций, ее встречали часто вежливым равнодушием или уклончивой любезностью.

— Садитесь, пожалуйста, Грета,— говорили ей.— И рассказывайте. Как дела в Дании? Как товарищ Брехт? Не собирается ли на антифашистский конгресс? А скоро ли в гости к нам?..

Но разговор вянул, едва переходили к редакционным намерениям и возможностям.

Она поневоле чувствовала себя эксцентрической особой, продвигающей в печать очередные сомнительные новации.

А ведь в отличие даже от таких близких друзей и приверженцев Брехта в Москве, как Б. Райх или А. Лацис, Маргарет Штеффин не только читала последние его произведения, но и сама вместе с ним работала над многими из них, включая «Жизнь Галилея». Уж она-то точно знала, кто такой Брехт!

И требовалась одержимость, помноженная на знания соратника, изобретательность и такт, чтобы вести дела Брехта так, как часто, может быть, не придумал бы и он сам.

Вот почему все эти бессчетные поручения и деловые приписки, содержащиеся в письмах Брехта к Штеффин в Москву, надо читать, глядя сквозь призму того времени.

«Распространяй мою славу в Мекке и береги себя в холода!» — шутливо восклицает Брехт в уже цитированном письме. Наверное, не только одну февральскую погоду имел он в виду при этом, поручая Грете несколькими строками выше приводить в порядок свои московские дела.

А дел этих всегда бывало в избытке.

«Г. Гросс (видный немецкий художник-эмигрант.— *Ю. О.*) очень хочет приехать ранним летом, может

быть, устроить выставку. Ты смогла бы... поговорить об этом? Они могут сначала написать об этом **мне.**

Приняли ли меня, собственно говоря, в русский Союз писателей?

Разучивают ли роли в «Круглоголовых»?

Печатаются ли «Опыты»?

Есть ли на английском языке книга Станиславского о его системе актерского искусства? Если нет, ты могла бы мне перевести оттуда (т. е. с русского оригинала.— *Ю. О.)*? Это было бы **очень** важно. Райх может сказать тебе, что самое важное».

Это — только из одного письма. На обороте, как и на большинстве других, рукой аккуратной Штеффин обозначена дата: 26 февраля — 1 марта 1936 года.

А вот целый калейдоскоп выдержек, составленный из других писем. От него, пожалуй, запестрит в непривычных глазах. Но вчитаемся внимательней.

Перед нами пройдут уже знакомые имена из окружения Б. Брехта в СССР.

Режиссера и критика Бернгарда Райха и спутницы его жизни актрисы и режиссера Анны (Аси) Лацис, на квартире которых нередко останавливалась Грета. Еще одного из ближайших московских друзей Брехта, переводчика многих его произведений, поэта, драматурга и публициста Сергея Третьякова. Вездесущего Михаила Кольцова, редактора периодических изданий, неуемного заводилы общественных начинаний, с которым Брехт встречался не только в официальной обстановке Иностранной комиссии.

В мозаике отрывков из писем нам встретятся имена проживавших или наезжавших в СССР мастеров и деятелей культуры из антифашистской немецкой эмиграции. Режиссера Эрвина Пискатора, который был тогда председателем МОРТ (Международного объединения рабочих театров), находившегося в Москве, и выступал в качестве постановщика фильмов. Пролетарского певца Эрнста Буша, в чьем исполнительском репертуаре немалую долю составляли песни на слова Брехта, в тексты которых он вносил иногда собственные поправки с учетом злобы дня и потребностей аудитории, согласовывая такие переделки с автором, в том числе через посредство М. Штеффин. Виланда Герцфельде, основателя и главы прогрессивного литературного издательства «Малик», перебравшегося после гитлеров-

ского переворота в Прагу, издателя сочинений и давнего знакомца Брехта.

Со всеми этими людьми не раз сталкивалась и взаимодействовала героиня книги. И они будут появляться так или иначе в дальнейшем. С теми из них, кто здравствовал, автор стремился встретиться, чтобы заручиться живыми впечатлениями очевидцев. Это посчастливилось сделать и найдет отражение в своем месте повествования. Анна Лацис, Эрнст Буш и Виланд Герцфельде теплом своего присутствия перекинули мостик от некоторых эпизодов минувшего к настоящему...

Деловые строки из писем в СССР дадут известное представление о круге интересов, связывавших Брехта с его корреспонденткой, о поручениях, которые доводилось исполнять М. Штеффин. Мы ощутим также степень доверительности, которой были овеяны эти отношения.

Итак, вот некоторые выдержки из писем Б. Брехта:

«Теперь, во вторник, перед обедом, ты сидишь, надо надеяться, в поезде на Ленинград.

Корректуры я ожидаю только сегодня, отошлю их затем немедленно...» (11—13 сентября 1934 г.).

«Получил оба тома Ленина, а также «Швейка» и очень тебе благодарен. Я озабочен насчет денег... Лучше всего было бы продать «Трехгрошовый роман». Ты должна была бы попросту дойти до государственного издательства, где говорят по-немецки. За рукописи они должны платить больше, однако была бы хороша часть гранок, чтобы они видели, что он (роман) печатается. Это говорит Виланд Герцфельде, который как раз теперь здесь. За русский лист следует получить по меньшей мере 350 рублей. Но они должны предложить сами. Доверенность я при сем посылаю. (Другие доверенности, надеюсь, уже у тебя.)» (20—23 сентября 1934 г.).

«Письмо от 7-го я не получил, а потом ты снова написала только 13-го!..

Сейчас я с Эйслером сочиняю маршевые песни для Саарской кампании. Первую Вилли (Герцфельде.— *Ю. О.*) ручается распространить в 10 000 экземплярах...

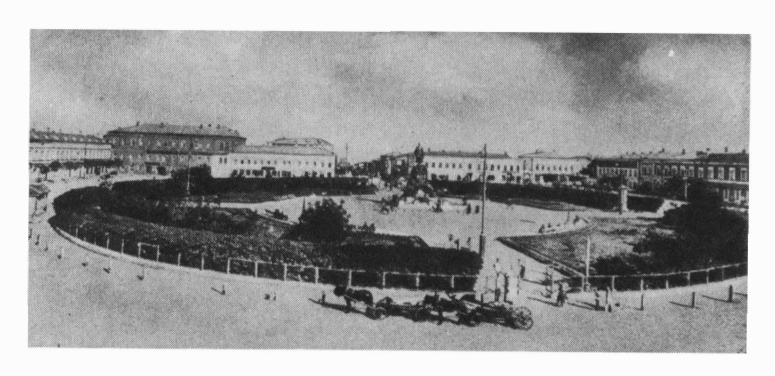
Роман должен сегодня выйти в Амстердаме, у меня нет еще ни одного экземпляра, пошлю тебе первый. Что ты слышала о Москве? Пиши мне еще о настроении там!.. С кем ты еще говорила! Надеюсь, ты останешься храбрым и мужественным, дорогой Мук, и солдатом.



Александра Леонтьевна Толстая в молодости.

А. А. Бостром, 1915 год.

Самара, площадь с памятником Александру III. Справа — здание окружного суда.





Алеша Толстой в детстве.

Братья и сестра А. Н. Толстого. Слева направо: Мстислав, Александр и Елизавета с мужем А. Н. Рахманиновым.

Алеша Толстой с матерью в период жизни на хуторе Сосновка.



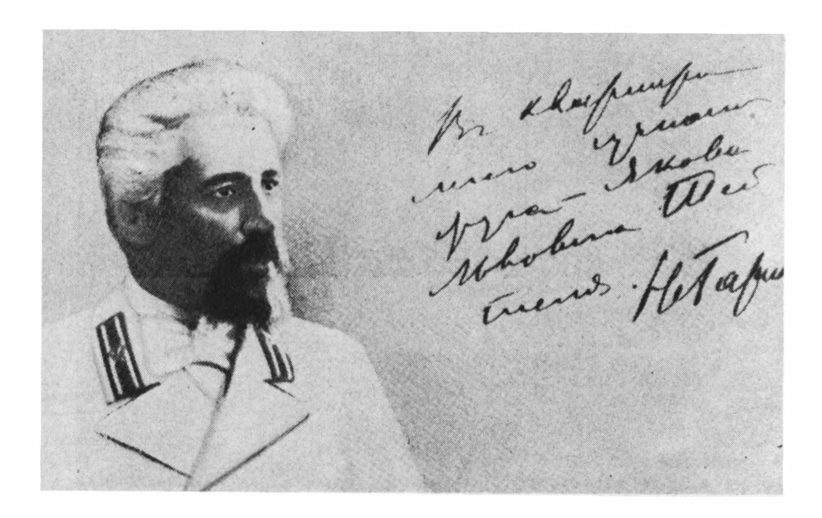
Самара. Костел (рядом с домом А. А. Бострома).



Александра Бостром. Конец 80-х — начало 90-х годов.

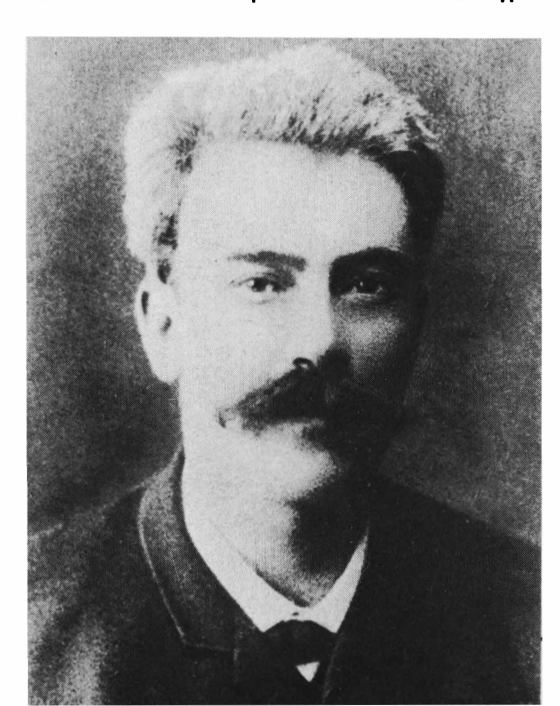
Книги А. Л. Бостром.

Н. Г. Гарин-Михайловский в конце 90-х годов. На фотографии дарственная надпись: «В квартире моего лучшего друга — Якова Львовича Тейтеля. Н. Гарин».



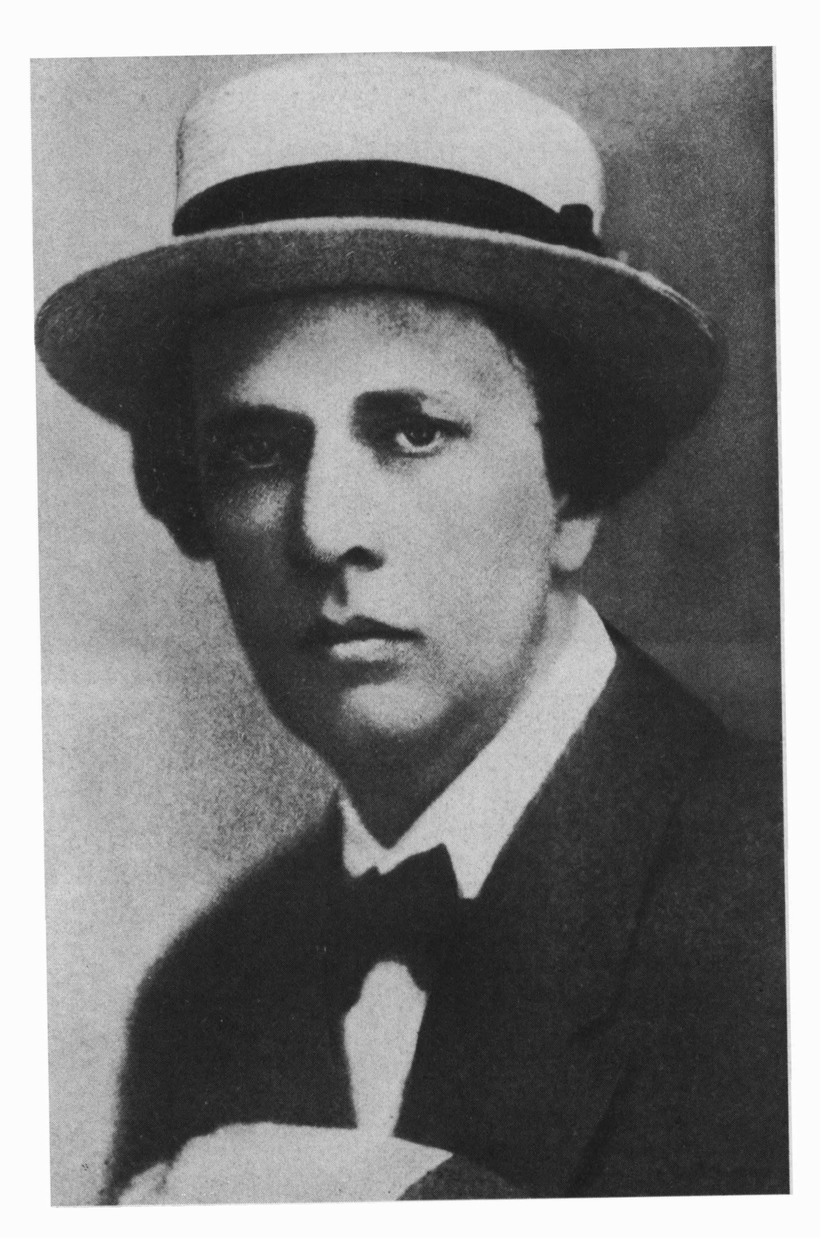
За чтением газеты «Самарский вестник». Вторая половина 90-х годов.

Я. Л. Тейтель. Конец 80-х — начало 90-х годов.



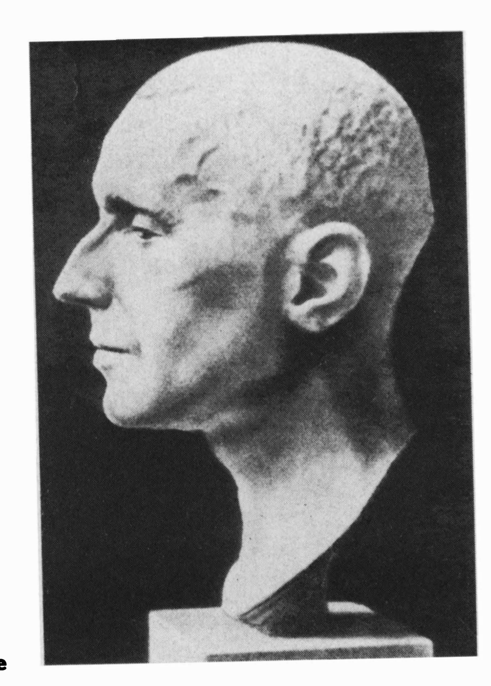
А. Н. Хардин. Начало 90-х годов.

Алексей Толстой с матерью, отчимом и приемной сестрой Шурой. 1901—1902 гг.



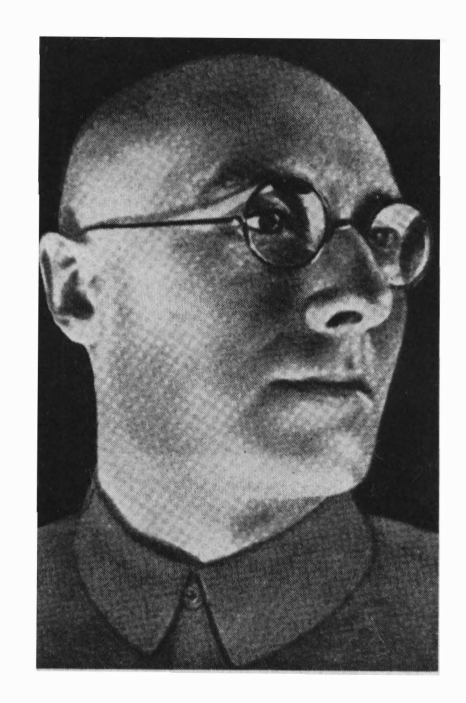
А. Н. Толстой. 1918 г.

Скульптурный портрет Брехта. 1932 г.



Маргарет Штеффин. 30-е годы.

Елена Вайгель и Брехт. Копенгаген. 1936 год.



Сергей Третьяков. 30-е годы.

Б. Брехт в Москве с парашютисткой М. Камневой и С. Третьяковым (справа). Май 1935 года.

Михаил Кольцов в окопе под Мадридом.

Дом под соломенной крышей. Дания, 1933—1935 гг.

Маргарет Штеффин с детьми Брехта Штефаном и Барбарой. Начало 30-х годов.



М. Я. Аплетин и Е. Ф. Никитина. Начало 70-х годов.

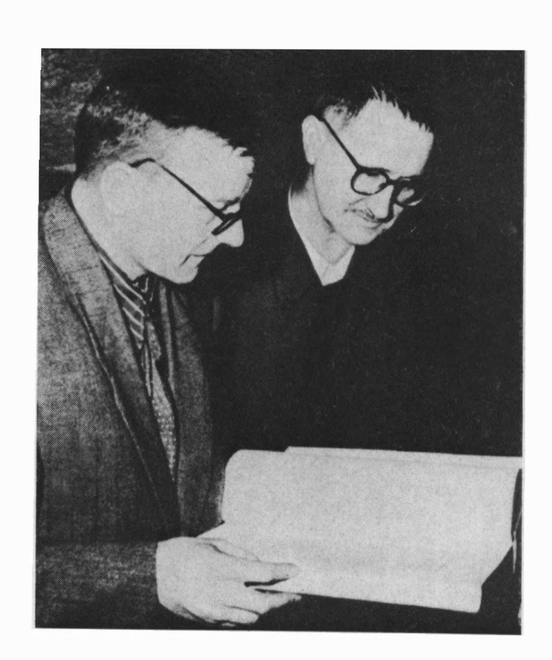
Бертольт Брехт, создатель пьесы «Жизнь Галилея». 1942 год.



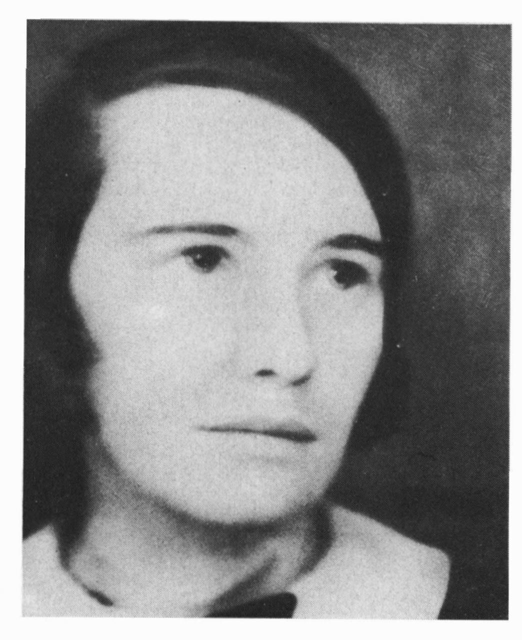


Герта и Герберт Ганиши. 1976 год. Фото автора.

Эрнст Буш, 1976 год. Фото автора.



Б. Брехт и Д. Шостакович. Берлин, 1954 год.



Маргарет Штеффин. Вторая половина 30-х годов.

И станешь письмописателем» (21 октября — 4 ноября 1934 г.).

«Я не мог тебе больше телеграфировать, что поехал в Сковсбостранд *, так как адрес Лацис у меня был только по-русски... К сему прилагаются сонеты, обозначь на них верный номер! Я сочинял их в автобусе и так далее...

Было бы совсем хорошо, если бы что-то появилось в Государственном издательстве и т. д. Я даю тебе полную свободу действий» (22 октября 1934 г.).

«Итак, снова сижу теперь в Сковсбостранде. Здесь действительно довольно тихо. Я завершил пару вещей, ничего большого. Для романа я не нашел еще английского пристанища, но надо будет продолжить усилие. «Круглоголовые» и «Иоганна» будут готовы в переводе в конце января... Написал также еще Пискатору. Нельзя ли все-таки продвинуть «трехгрошовый» аванс?

...При сем кое-что о пьесе «Ангел-хранитель» (над этой детской пьесой работала тогда М. Штеффин.— *Ю. О.*), которая мне **очень** нравится...

Послал тебе большой пакет с газетами и книгу Синклера Льюиса. Получила ли ты? Из Ленинских томов прибыли только 1, 2 и 3. О Швейке все тома. Все ли в порядке? Мук!» (28 декабря 1934 — 8 января 1935 г.).

«От Третьякова, Пискатора и Кольцова я не получил никакого ответа... У меня карандаш падает из рук, когда ты так равнодушно расписываешься в получении двух сонетов. Эта работа... выкинула много шуток со мной...» (1 января 1935 г.).

«...По моему представлению, мы теперь уже сидим в двух поездах, которые идут навстречу друг другу. И это очень приятно.

Могла бы ты разузнать, где позволяет печатать «Малик»?..

Если видишь Оттвальта (немецкий писатель, соавтор Брехта по сценарию фильма «Куле Вампе».—*Ю. О.*), скажи ему, что я удивлен его поведением... Он, кажется, принадлежит к людям, которые не верят Сервантесу, что рыцари действительно боролись с ветряными мельницами. Именно — к скептикам.

Я волыню с романом «Туи». Все же некоторые вещи хочу тебе прочитать, Мук.

* Деревушка в Дании, где в то время постоянно жил Брехт.

Так же ли ты еще под врачебным надзором? Это очень важно... И держи знамя высоко! (Но это ты делаешь.)

«Круглоголовых» посылаю тебе в понедельник. Сокращения («Трехгрошового романа») я хотел бы видеть по немецкому экземпляру. Это безусловно необходимо. В газетах я не нуждаюсь. (Синклера Льюиса получил обратно.) Четвертый и пятый тома Ленина я заполучил бы **очень** охотно. Вообще марксистскую литературу» (17—21 февраля 1935 г.).

Примерно через восемь дней у меня должна быть виза. Потом немедленно выезжаю.

«Трех солдат» (стихотворный цикл.—*Ю. О.*) посылаю... О романе должен поговорить устно... Стихи для «Интерн[ациональной] лит[ературы]» привезу с собой.

Я очень рад повидать тебя... старый Мук. Это была плохая неделя.

Как называется приглашающий? МОРП или МОРТ? Я ничего в этом не понимаю» (2—6 марта 1935 г.).

«Рад, что ты позвонила... Кстати, у меня нет русских адресов (Райх, МОРТ и т. д.). В последний раз это было очень хорошо» (5 июня 1935 г.).

«Сегодня мне пишет Гросс: Борхардт выслан, якобы без оснований, в течение 24 часов... Так что прекрати, пожалуйста, все хлопоты за Гауптман *, пока я не получу ближайших сведений... Чтобы он что-то натворил, я не могу себе хорошо представить. Он в высшей степени дерзок на язык, но, вероятно, его просто задело мероприятие, которое касается немецких специалистов» (21—25 февраля 1936 г.).

«Третьякову я напишу. С переделками Буша согласен. Стихотворение о Ленине действительно напечатано великолепно, **ты** просто eine Barnumandbelaynatur **, старый Мук. Твоего слоника я беру с собой в Лондон. Тот, в рождественском подарке (от Брехта.— *Ю. О.*), застрял, наверное, еще в Копенгагене?

---

* Элизабет Гауптман, немецкий литератор, активно сотрудничала с Брехтом с 1924 года. В сложной ситуации середины 30-х годов, связанной с приходом к власти фашистского режима в Германии, велись переговоры о ее возможном переезде на жительство в СССР.

** Неологизм Брехта, образованный от имени Барнум, как звали когда-то в Германии владельца крупного цирка,— ловкач, циркач.

Я также согласен с половиной «Дас Ворт» (литературный ежемесячник, где, как помним, Брехт был одним из соредакторов.— *Ю. О.*). Это уже хорошо» (5—10 марта 1936 г.).

«Пожалуйста, пошли статью Райху» (без даты).

«Кстати, «Дас Ворт».

Как мне теперь написать что-нибудь об Октябре?

...Пьеса Грига должна поступить немедленно и деньги Беньямина также. (Напиши короткое письмо, дружески, но определенно. Подпиши: Брехт!)» (21 сентября 1937 г.).

Таким запросам, инструкциям, советам, сообщениям, установкам, просьбам нет конца.

Человеческие отношения, даже когда они не столь насыщенны и многозначны, редко укладываются в какие-либо искусственные рамки. А тут приходится совершать сугубое насилие над текстом писем, чтобы вычленить интересующую нас в данный момент функцию. Одно из назначений, которое выпало на долю Маргарет Штеффин. Роль секретаря, а вернее будет сказать, личного представителя и в иных случаях даже второго «я» Брехта в СССР.

Природная скромность человека — это, вероятно, безотчетное умение избирать верную дистанцию между собой и другими людьми, находя для каждого случая единственно точные формы поведения. Этот такт был в натуре у Греты, воспитывался в ней с детских лет обстановкой берлинского рабочего предместья. И тогдашний заместитель председателя Иностранной комиссии Союза писателей Михаил Яковлевич Аплетин, будь он даже прозорливцем, не мог догадываться о том, что открывается нам сегодня в приведенных и множестве других подобных же писем.

Она приходила, уходила. Говорила ровно столько, сколько нужно было в каждом конкретном случае. Если горячилась, то по делу, не выпячиваясь и ничем не задевая чувствительности самого Аплетина.

Брехт любил такое уподобление — измерять истинность человеческих отношений их грузоподъемностью, нагрузкой, которую они способны принять. Что можно сказать в данном случае? Мимо шло судно большой грузоподъемности, но и глубокой ватерлинии. Оно не гудело, не поднимало ложных тревог, не било зря в склянки. И неприметно скрылось в даль времени.

КРЫМСКИЕ ЯБЛОКИ

Дымкой романтики овеяна первая встреча с СССР в 1932 году. Май, весна, солнце, легкий душистый запах крымских яблок.

Брехт был тогда молод. Ему было тридцать четыре года. Он был уже европейски знаменитым писателем, можно сказать, совершенно неизвестным в стране, куда ехал.

Грета уж и вовсе негаданно для себя очутилась в Москве, а затем в Крыму. Она работала счетоводом берлинской строительной конторы. Всего за несколько месяцев до того на премьере пьесы «Мать», осуществленной группой берлинских рабочих, Брехт впервые увидел М. Штеффин. Теперь это было первое долгое совместное пребывание, объединенное одной целью, общими впечатлениями, быстрыми, как виды из окон бегущего железнодорожного вагона.

И так вся московская поездка охвачена духом первоузнавания. С его радостями, сложностями, конфликтами.

В самодеятельном спектакле Грета играла неглавную роль — молодой служанки. Но опытным взглядом Брехт сразу выделил эту быструю выразительную девушку, с синим мерцанием в глазах и запавшими бледными щеками. Угадал в ней незаурядный характер и талант.

В те месяцы Грета держалась только молодостью и силой воли. Она уже погибала от туберкулеза. И Брехт, начав хлопотать, добился для нее самой серьезной в тех условиях возможности лечения. Поездки в СССР, на полный курс крымского санатория.

По срокам это совпало с отбытием самого писателя в Москву. В начале мая 1932 года вместе с режиссером

Златаном Дудовым они повезли в СССР на премьеру свой фильм «Куле Вампе, или Кому принадлежит мир» — о безработной берлинской молодежи, полной боевого энтузиазма...

Рассказать об этой поездке и первой встрече с СССР лучше всего, пожалуй, в форме сплошного сюжетного повествования. Но чтобы сразу определить пределы авторского домысла, необходимы вначале некоторые фактические справки.

Об этом первом пребывании Б. Брехта и М. Штеффин в СССР отыскалось и набралось довольно много различных материалов.

Известна дневниковая запись Брехта, напечатанная в томе его «Дневников. Автобиографических заметок». Она так и называется «1932. Московская поездка». С присущей ему сжатостью писатель на одной странице сумел вместить многое. Здесь зафиксированы и переживания Брехта при переезде границы. И атмосфера встречи на столичном вокзале. Несколькими штрихами обрисован вечерний чай у Б. Райха и А. Лацис в день приезда, включая даже перечень поданного к дружескому застолью. Названы или сжато оценены черты обстановки, событий, лиц (характеристика Э. Пискатора, манера держаться советских рабочих и вечернее движение на московских улицах, автомобильная экскурсия с С. Третьяковым по городу и т. д.). Указаны основные деловые встречи и времяпровождение в Москве.

Известны стихи Брехта, в которых близко к натуре вылились впечатления тех дней.

В «Литературной газете» от 12 мая 1932 года помещено краткое интервью с Б. Брехтом и З. Дудовым в связи с их приездом в СССР. Тут же напечатано маленькое репортерское фото Брехта, головной портрет. Молодое, неожиданно простоватое, сияющее удовольствием лицо, в надвинутой на глаза кепке. На лице много майского солнца, откровенной молодой радости, прикрытых залихватски посаженной кепкой. И рядом — большая статья С. Третьякова о творчестве этого неизвестного тогда советскому читателю странного молодого немца. В статью вкраплен как бы моментальный снимок, сделанный пером очеркиста. В результате возникает достоверный портрет гостя из Германии той поры.

Среди обнаруженных архивных бумаг оказалось

три письма М. Штеффин из крымского санатория от 10, 14 и 23 июня 1932 года и одно недатированное ответное письмо Брехта из Германии, также относящееся к июню 1932 года. Все они полностью или частично приводятся ниже. Это, пожалуй, самые развернутые, что называется, из собственных уст, свидетельства тогдашних переживаний обоих героев, связанные с поездкой в СССР.

В вышедшей в 1976 году в ГДР книге литературоведа Фрица Мирау «Изобретение и поправка. Эстетика оперативности Третьякова» опубликована из фондов берлинского Архива Брехта другая сохранившаяся переписка. Тринадцать писем С. Третьякова Брехту (1933—1937 гг.).

Сергей Третьяков по праву считается первым переводчиком и пропагандистом творчества Брехта в СССР. И переписка дает живое представление о круге интересов и отношениях, связывавших обоих писателей. Упоминается при этом и имя М. Штеффин.

Ближайший и наиболее сопричастный источник — три письма Третьякова 1933 года. Они в известной мере позволяют представить, что примерно и как мог говорить Третьяков Брехту за короткое время до того, при встречах в Москве, в мае 1932 года.

Есть свидетельства очевидцев.

О каждом из визитов Брехта в СССР повествует Бернгард Райх в мемуарно-исследовательской книге «Вена — Берлин — Москва — Берлин». И многими подробностями дополнила его рассказ Анна Эрнестовна Лацис во время наших бесед в Риге.

Тем, что сохранила память, поделилась и Татьяна Сергеевна Гомолицкая, приемная дочь Третьякова, московскую квартиру которого навещал Брехт и где в свою очередь останавливалась иногда в своих вечных странствиях Маргарет Штеффин. (К 1932 году Т. С. Гомолицкой было восемнадцать лет.)

Есть, наконец, свидетельства, воссоздающие обстановку действия. Вроде, например, фотографий и описаний знаменитой арки на границе СССР, о которой скоро пойдет речь. Вид ее в точности воспроизведен по иллюстрированному журналу «Огонек» начала 30-х годов...

Таково обилие документальных материалов.

К сюжетному повествованию настороженно относишься, когда пишешь книгу, основанную на выверен-

ных фактах. Но такая «романная форма» (при благоприятном стечении материалов, разумеется) заключает важные преимущества.

Она представляет не только явное, но и позволяет *догадываться* о скрытом. Давать события и лица многомернее, чем при одном лишь документальном монтаже. Можно сказать, что фантазия в таких случаях не просто вымысел, а дополнительный способ исследования и характеристики персонажей.

Конечно, что касается психологических нюансов и второстепенных частностей, то они носят чаще всего предположительный характер. В этом смысле возникающие картины — лишь *авторская версия* возможного хода событий. Могло быть так, а могло быть чуть иначе. Задача в том, чтобы воображение нигде не отлетало с привязи установленных фактов, не вступало в противоречие с их смыслом.

Зато оно не просто сводит в целостные картины обломки былого. Но делает то, что никак уже нельзя сделать иным способом.

Оно приводит картины в движение, возвращает им душу живу, дает увидеть, *как это было.*

Итак, вероятней всего, это было так...

Получалось так, что многие важные события в жизни Греты падали на пору, переходную от весны к лету. Особенно, пожалуй, на середину мая — начало июня. (Впоследствии именно эта пора сорок первого года стала для нее роковой.)

Может, то было случайностью, а может, находилось в зависимости от легочного процесса, который капризно реагировал на приближение лета. Болезнь, когда она крепко засела, норовит обернуться второй натурой. И не всегда различишь, происходит ли это с тобой потому, что окрест наливается соками и расцветает все живое. А тебе ведь тоже как-никак только двадцать четыре года. Или же — от перепадов борьбы с обитающими в крови палочками. Кто знает, как откликается в человеке незаметно возрастающая доза солнца?

У врачей своя логика. Именно в этот период они настойчиво рекомендуют покой, режим. Осторожность и еще раз осторожность. И именно в это время особен-

но хочется безоглядно жить, быть на стремнине, принимать безрассудные решения.

Как бы там ни было, май — июнь 1932 года стал поворотным в жизни Греты. Не успела она опомниться, как ее закрутил вихрь событий. И очнулась только, оказавшись — после Берлина, Варшавы, Москвы, после тысяч километров железных дорог — на высоком берегу Черного моря, в обсаженном пальмами и кипарисами дворце крымского санатория.

Во всем этом было много скоропалительного, загадочного, непостижимого, до замирания сердца.

Еще совсем недавно, казалось, они стояли с Брехтом и немецким кинорежиссером Дудовым у окна вагона, только что отошедшего от первой советской пограничной станции. Как будто в иной жизни, далекой, как сон, остались Германия и Польша. Точно они переплыли океан и очутились на другом континенте. А ведь всего два часа назад мимо бежали зеленеющие лоскутьями и полосками поля, грязно-белые мазанки, последние километры крестьянской Польши.

Здесь все было другое — широкая железнодорожная колея вместо узкой европейской, более просторные мягкие вагоны начала века и богатырского вида проводник в несвежем фартуке, который, в отличие от своего предшественника-поляка, не метался заискивающе по купе, а вышагивал хозяйской походкой по коридору, не торопясь предлагать чай.

При переезде границы Грету больше всего поразило, пожалуй, что у государства есть ворота. Самые настоящие и доподлинные ворота. В виде резной деревянной арки, поставленной буквой «П» над железнодорожными путями.

У этой черты паровоз замер. Проводник объявил, что простоят десять минут. Они вышли из вагона.

Туда дальше, куда в легком мареве убегали сверкающие под солнцем пути и виднелись очертания и приметы незнакомого мира, вход был воспрещен. Справа от арки на смотровой деревянной вышке маячил закутанный в зеленый плащ пограничник с винтовкой. На резном своде ворот крупными буквами было начертано название государства: «СССР». Во всей этой процедуре прохода поезда сквозь деревянные ворота было даже что-то сказочное.

Грета сказала об этом Брехту.

— А что за надпись там? Выше названия «СССР»,

на полотнище, под самой верхней звездой и красным флагом? — спросил Брехт.

Он стоял, слегка закинув голову назад, и на лице его не было обычного, чуть постного и лукавого, выражения. Взгляд у него был отсутствующий и смягченный. Пожалуй, так глядят на огонь, бегущую воду или созерцают закат и восход солнца. Может быть, у Брехта такое выключенное лицо появлялось, когда начинали складываться стихи. Что он видел сейчас, за этим сочетанием парящих на резной арке четырех тяжелых и диковинно необычных букв: «СССР»?

Грета, готовясь к поездке, начала заниматься русским языком. Теперь с трудом перевела:

— «Привет трудящимся Запада»...

— Угу,— не сразу отозвался Брехт.— А любопытно посмотреть, что начертано с внутренней стороны ворот?

Когда поезд тронулся, они успели разглядеть, что с другой стороны арки, кроме повторенного названия «СССР», надписи не было.

— А жаль,— сказал Брехт,— надо бы придумать девиз. Не хуже первого... Попробуем сочинить? — обратился он к Грете.— Тут надо что-то короткое, сильное. Как пророчество или вылазка из крепости! Лучше в стихах. Попытаемся вместе?..

Грета, не преодолевшая еще застенчивости, метнула недоверчивый взгляд. Она, конечно, иногда пописывала стихи. И в озорную минуту, случалось, даже пела их под гитару в кругу друзей и на рабочих массовках. Но не потешается ли над ней этот многоопытный знаменитый писатель, о котором ходили легенды по Берлину?

— Надо, конечно...— выдавила она.

— Ну, ладно, ладно,— закруглил разговор Брехт,— обдумаем как-нибудь потом...

Теперь они стояли у окна втроем. Миновали первые пограничные станции, успев уже освоиться в новом вагоне.

Мимо летели такие же напитанные майской зеленью поля, речушки с рыбачащими мальчишками, пощипывающие луговую травку коровы с задумчивыми пастухами, сгрудившиеся в кучки закоптелые мазанки, как недавно в Польше. Многое было так же, но и не так, как там. Поля не были изрезаны в подобие огородиков, с копошащимися вразброс человеческими

фигурками. Все слилось в единые зеленеющие массивы, которые казались безлюдными. Начиналось третье лето после знаменитой коллективизации, о которой много писали в немецких газетах.

Крупный, неуклюжий, как грач, Златан Дудов, удобно избоченившись и загромоздив собой полкоридора, казалось, беззвучно привечал бегущие за окном пейзажи. Черные глаза его поблескивали, на красноватом подвижном лице менялись оттенки удовольствия.

Дудов был болгарином, жившим в Германии. Сейчас они везли в Москву свой новый фильм «Куле Вампе», запрещавшийся в Германии за оскорбление президента Гинденбурга, правосудия и религии. Между режиссером и сценаристом поддерживались дружеские отношения, с легким оттенком грубоватой энергии, заряд которой нес в себе жизнерадостный болгарин.

Брехт, глядя в окно, вроде бы безучастно попыхивал сигарой.

— Что, все-таки захватывает, Берт, а? — обратился Дудов через голову стоявшей посередке Греты.— Когда в первый-то раз! Все-таки едем в Мекку, как ты любишь выражаться... У меня, южанина, да к тому же славянина, понятно, буря чувств. А что испытывает при переезде границы такой суровый человек рассудка, как вы, герр Брехт? — спросил Дудов.— Учти, этим будут постоянно интересоваться и русские товарищи. Они это любят. Так что подготовься к ответам в интервью...

— В самом деле, это момент исторический! — поддержала Грета.

— На серьезный вопрос нужен и серьезный ответ,— без улыбки сказал Брехт.— Учтите, что Мекка находится на Востоке, мы едем на Восток, дорогие берлинские коллеги... Если не обо всей стране, то о ее быте многое узнаешь от собственного жилища. Первый здешний дом, где мы поселились,— вот этот спальный вагон. Что можно сказать о нем? Это огромное, роскошное, с кожаными полками и бархатными занавесками, жилище на колесах царских времен. Оно скрипит и еле держится. Но, за неимением лучшего, его продолжают выводить на международные линии... В этой огромной стране долго будет стоять проблема быта. Нас ждет азиатский комфорт, дорогой Дудов! Это и есть мое первое впечатление при переезде через границу...

— Простите, но вы не совсем удачно шутите? — не стерпела Грета.

— Вовсе нет. Я вполне серьезен... При самых высоких чувствах у меня это пока что самое достоверное впечатление.— Он скользнул испытующим взглядом.— Мы едем, чтобы видеть правду об СССР. Не так ли, Грета? А каким же образом вы иначе собираетесь ее постигать?

— Но неужто для поэта так много значат истертые кожаные полки? — ядовито поинтересовалась в свою очередь та.— Больше, чем счастье встречи, соприкосновение с землей первого в мире государства трудящихся?! Не поверю, чтобы вы чувствовали так на самом деле!

— Покажите, Грета, задайте этому старому мудрецу! — вставил Дудов, с удовольствием наблюдавший со стороны.

— Чувства мы привезли с собой из Берлина,— возразил Брехт.— А правда об СССР существует сама по себе. И ее предстоит добывать по крупицам. Чтобы стать оружием, правда об СССР, на мой взгляд, не должна превращаться в нечто многозначительное, высокопарное и абстрактное. Только неправда боится точности и конкретности...

— А мне,— с вызовом сказала Грета,— даже эти дедовские вагоны нравятся больше, чем ваши европейские. И мелкобуржуазные заботы о комфорте... Извините...

— Вот как молодую коммунистку раззадорил! — хохотал Дудов.

Но столкновение только усилило их приязнь.

— Дон Кихот — мой любимый герой,— невозмутимо приветствовал ее Брехт на следующее утро.— Хотя я и прав, но этот рыцарь боролся за идею. И никогда не обращал внимания, на каких постоялых дворах покоится его бренное тело. Это пример для каждого, кто хочет быть революционером. Тут ваша сила, Грета! — Он протянул руку.— Мир?

...В Москву прибыли в понедельник днем.

Перрон был под высоким сводом из толстого сборного стекла, что создавало таинственный сумрак и впечатление, будто поезд въехал в жилое помещение. На платформе выделялась кучка пестро наряженных мужчин и женщин с цветами. Чуть поодаль ждали фотографы. Вместе с ними берлинским составом прибыл больной советский кинорежиссер Сергей Эйзенштейн.

С некоторыми из встречавших Брехт здоровался

как с друзьями. Тут были Третьяков, Райх, Лацис, Пискатор и какой-то незнакомец, представлявший находившегося в отъезде журналиста Кольцова.

Эрвина Пискатора, невысокого, словно бы летящего своим путем человека, Грета несколько раз видела в Берлине. У знаменитого режиссера была шумная репутация. О триумфах и крахах Пискатора ходили легенды. Безукоризненно одетый, с отрешенным блеском в глазах, Пискатор, похоже, не больше, чем театральные задники, замечал очередную сгущавшуюся над головой тучу. Это был неукротимый генератор режиссерской фантазии. Мир сцены был для него реальней, чем все кредиторы, цензоры, полицейские, налоговые инспекторы, судебные исполнители, не дававшие ему прохода. От Брехта Грета слышала, что тот писал для постановок Пискатора еще в начале 20-х годов. Сама она при любом удобном случае бывала в театре на Ноллендорфплац. И на спектаклях Пискатора, и на репетициях группы из рабочих, которые вел ассистент.

Теперь, под шумок, Грета с любопытством рассматривала вблизи знаменитого режиссера, с недавних пор обосновавшегося в Москве. Пискатор был президентом международной организации, объединявшей рабочие театры.

С двумя встречавшими Брехт хотел ближе познакомить Грету.

— Этот господин, очевидно, уже известен? — приложив руку к груди, шутливо отрекомендовался Брехт первым.— Он любит новые вокзалы и старых друзей... А это — Ася,— представил он собранную, чуть похожую на мулатку женщину. На смуглом лице ее выделялись розовые, как у младенца, губы и зоркие зеленые глаза.— Ася Лацис... Актриса, режиссер, критик... Кто ты еще теперь, Ася?

— Теперь еще и аспирантка театрального института!— в лад подсказала та.

— Смотри, мудрость портит кожу! — наставительно тронул себя за подбородок Брехт.— А это товарищ Штеффин. Живая героиня фильма «Куле Вампе». Сейчас едет отдыхать в Крым... А это Асин домашний наставник,— ласково глянул он на стоявшего обок с Лацис худого, аристократически бледного человека, который между тем снял шляпу. Под ней была охапка непокорных бурых волос, большие голубовато-серые

глаза смотрели мягко.— Профессор Бернгард Райх. Счастливый укротитель этой мулатки!

Потом, когда вышли на привокзальную площадь к машинам и ехали по Москве, Грета смотрела во все глаза. При ярком свете дня оставалось ощущение нереальности происходящего. Как будто узнаешь виденное во сне. Многое, особенно при выезде к Москве-реке и Кремлю, поражало знакомостью. Здания и люди представлялись в первые минуты ожившими картинками из революционных книжек. Странно было только, что люди ходят и общаются как-то помимо того исторического фона, к которому принадлежат.

На вечер их пригласили в гости Райх и Лацис. Они жили в районе Арбата на Собачьей площадке. Хотя Райх был проректором театрального института, профессорская семья занимала одну комнату, поделенную фанерной перегородкой на две части. Стенка была оклеена веселенькими обоями, и в доме в целом было очень приятно. К гостям вышла дочь Аси, двенадцатилетняя Дага, Дагмара, и, минуту потоптавшись для вежливости, скрылась за перегородкой доделывать уроки.

Кроме них приехал писатель Сергей Третьяков. На круглом столе были резанные половинками яйца, масло, черный и белый хлеб, пузатый железный чайник с поставленным на него фарфоровым и блюдце с красной икрой.

Заговорили сначала о том, что объединяло почти всех присутствующих,— о Мюнхене, Аугсбурге, о Баварии. Хозяева дома впервые познакомились там с Брехтом еще в начале 20-х годов. А Третьяков объездил эти родные для Брехта места вместе с ним в прошлом году.

Грета не бывала в этих краях. Не имела представления о тамошней театральной среде и, кроме того, плохо понимала швабское произношение и словечки, которыми раскрашивал свою речь Брехт.

Из нависшего над столом гомона полностью достигали сознания лишь отдельные занятные эпизоды.

— А помнишь, Ася, как ты упала на премьере «Эдуарда Второго»? Просто растянулась на сцене? — спрашивал Брехт.

— Неужели ты это видел и знал? — округлив глаза, даже ахнула Лацис.— И не проронил ни слова!.. Ну и режиссерская выдержка!

— Да ведь ты и сама была огорчена,— мягко заметил Брехт.

— Огорчена?! Я была просто раздавлена. Решила бросить сцену и никогда больше не выступать... Я была ассистентом режиссера и играла роль юного принца Эдуарда в пьесе, которую Берт написал с Фейхтвангером в двадцать третьем, — пояснила она.— И вдруг, надо же беде, при пробежке к рампе растянулась во весь рост на сцене. До сих пор простить себе не могу. Представьте, в самый серьезный момент действия! На премьере, на которую съехались интенданты, то есть директора, главрежи и театральные критики со всей Германии. Это был провал, бездна! У такого требовательного режиссера, как Берт, подумайте?! Мало того, что актриса вела роль с латышским акцентом. Так вдобавок и по сцене двигаться не умеет! И это на спорной постановке, когда театру, труппе, режиссеру, всем и каждому нужен был успех позарез. Катастрофа! «Я испортила премьеру. Брехт мне этого не простит»,— подумала. Я не пошла на банкет, ревела в подушку...

— Бедняжка! — вставил Брехт.— А с виду такая упругая...

— Каждая женщина в такой ситуации заплачет... Тем более что и премьера сама по себе прошла не гладко. Помните ведь, сколько было нападок! В следующие дни старалась не попадаться на глаза,— продолжала Ася.— Но издали, Берт, ты выглядел спокойным. Крошечная надежда, что, может, выходил в тот момент из зала, не заметил. Потом увидел как-то, улыбаешься: «Гутен таг, Ася!» — как обычно. Я и по сей день думала — проскочило! А он, оказывается, все наблюдал, знал. И не показывал виду!..

— Да, посмотрел я, как шлепнулась. Это было довольно комично,— сказал Брехт.— Единственно, пожалуй, что я хотел тогда спросить: не ушиблась ли? Не повредилась ли, стукнувшись? Потом вижу, все в порядке. А больше нечего было спрашивать...

Все засмеялись.

Грета краешком глаза примеривалась к этому загадочному человеку. Он больше нравился ей, когда с него сходила постная мина библейского мудреца или острое мефистофельское выражение. И он становился вот таким открытым, дружелюбным, как сейчас. Или даже более еще — по-мальчишески простоватым, радостным, как на вокзале, когда обнимал Райха. Либо

совсем другим — отстраненным, выключенным, как на границе. Когда смотрел на ворота, с которых меняется образ человеческой жизни и бег времени.

Потом разговором завладел Третьяков. Бритый, поблескивающий череп этого худого, длинноносого человека далеко возвышался над головами всех сидящих за столом. Долговязое тело Третьякова было как бы с намерением подтянуто и собрано полувоенным френчем с отложным воротником. Но Грета заметила, что под стеклами очков у него акварельно мягкие незащищенные серые глаза. Этот горбоносый Данте на самом деле был добряком.

Третьяков оказался большим знатоком деревенской жизни. Пятый год, по его словам, он выезжает в один и тот же отдаленный колхоз. Живет там в летнюю страду, три-четыре месяца. Организует ясли, детсады, столовые. Занимается с неграмотными на полевых станах, ведет кружки. Работает в кустовой многотиражке. И одновременно возникают его очерки о людях колхоза. Уже вышла книга, готовится вторая.

Третьяков говорил по-немецки, как сеял зерно из лукошка. Не заботясь о грамматических формах и порядке слов. Что где упадет, лишь бы понимали слушатели.

Но запас слов у него был огромный. А говорил он так увлеченно и интересно, что Грета скоро перестала замечать и забавную безалаберность речи Третьякова, вынесенную, как потом оказалось, из самоуком воспринятой немецко-прибалтийской разговорной стихии детских лет (Третьяков был родом из-под Риги), и непривычный акцент, и даже английские словечки, которые он призывал на помощь, когда все-таки не хватало немецких.

Брехт слушал, весь подавшись вперед и подперев рукой подбородок, как любознательный ученик на уроке.

— Мы видели с поезда эти сплошные поля,— заметил он.— От вас слышу рассказ первого очевидца.

— О, тут можно рассказывать без конца,— загорелся Третьяков.— Как о шести днях творенья!.. Тот колхоз, куда езжу, он расположен на Ставропольщине, в кавказских предгорьях. Сейчас у вас нет времени, а то бы поехали туда! В двадцатом году там собрали, как говорят у нас, свою худобу и заплаты беднейшие. Стала коммуна. А верховодил Иван Кириллович Мар-

товицкий, мой друг. Обязательно познакомлю. И собою занятный. А главное, абсолютный слух к земле! Хозяйствует — как Карузо поет! Многие коммуны у нас прогорели. А эта разрослась в богатейший колхоз. Название то же — «Коммунистический маяк». Сам Мартовицкий, Иван Кириллович, правда, перетрудился, заболел туберкулезом. Пришлось менять климат. Да ведь вы едете в Крым? — обратился Третьяков к Грете.— Он как раз там. Ему дали теперь птицесовхоз под Симферополем. Представляете, одних кур триста тысяч! И все леггорны, белые, как снег. Войдешь в загон — глаз обмирает — словно поля лебяжьего пуха или зима пушистая! Только гребешки красные и головки движутся. Я там недавно, в этом совхозе «Красный», больше двухсот снимков нащелкал. Красота и польза! Вернее, польза, ставшая красотой...

— Сергей Михайлович, у вас еще будет время провести с Бертом не один семинар. Смотрите, как он навострился, того и гляди возьмется записывать! — ставя на стол вскипевший чайник, чуть направила разговор Ася.— Но не забывайте, что тут женщины... Расскажите лучше какой-нибудь случай. Вы это умеете!..

— А мне лично не скучно! — отозвалась Грета.— И дальше?..

— Случай? — примирил всех Третьяков.— Вот разве про того же Ивана Кирилловича...

— Просим, просим!..

— Недавно там вышел вот какой курьез. Приехал в совхоз один высокопоставленный начальник из Москвы. Бирон и дуралей. Во все вмешивается, а в хозяйстве ни уха ни рыла не смыслит. Надоел Мартовицкому до смерти. Пришли в куриный загон, где леггорны. Иван Кириллович и говорит ему с веселой досадой: «Вот вы ругаете... А у нас, по секрету сознаюсь, даже курицы приучены к правилам порядка. И сейчас в вашу честь «ура» кричать будут...» — «Не может быть!» — всерьез заинтересовался начальник. «Вот сейчас увидите!» А надо вам сказать, что петухи-леггорны обладают такой особенностью. Когда в небе возникает темный предмет, хоть отдаленно напоминающий ястреба, они издают раскатистый крик. Предупреждение об опасности. Иван Кириллович снял шапку и с возгласом: «Товарищу имярек, ура!» — кинул высоко вверх. И сразу, сколько там было петухов, пятьсот, тысяча,

отозвались дружным раскатистым хором. От неожиданности и при желании смахивает на «ура»...

Посмеялись.

К моменту московской поездки Грета чувствовала себя несравнимо лучше, чем за несколько месяцев до того, зимой, когда погибала. (Возможно, это и было то самое коварство весны. А может, первые результаты того, что взята была под опеку клиникой берлинского университета.) Но к концу вечера ощутила вдруг, что устала. Даже тяжело сидеть. В голове сухой жар, и будто люди и стулья начинают смещаться и двоиться в напряженном нечетком дрожании. Но после веселого эпизода Третьякова вроде бы снова отпустило. И она, утверждая в себе прилив здоровья, оживилась:

— Вот бы туда съездить!

— Если позволит, нет, не здоровье, а доктора,— сказал внимательный Третьяков. Он заметил уже, как лихорадочно раскраснелась девушка.— Колхоз или совхоз обязательно есть и рядом с санаторием... Этот, с Мартовицким, в глубинке. Ну, да в Крыму, впрочем, все недалеко. Зато и примут хорошо, и впечатлений на всю жизнь. Дайте только знать. Я Ивану Кирилловичу письмо напишу...

Начали вставать.

Вышли уже в одиннадцать часов. Поражало, что на улице было еще людно и много делового движения. Берлин в эту пору давно вымирал.

До начала путевки у Греты оставалось еще несколько дней. И она окунулась в московскую жизнь, снова забыв о хворях.

Одни впечатления наслаивались на другие. Маленькой группой во главе с Третьяковым катались в автомобиле по Москве. Почему-то осматривали тайную типографию дореволюционных лет. Были на Красной площади и в Мавзолее Ленина. Выступали в комсомольском клубе. И Грету — после Брехта и Дудова — тоже попросили сказать с трибуны от имени берлинской молодежи. Смущаясь и краснея, она пролепетала что-то несвязное.

Вместе с Брехтом и Асей Лацис были на спектакле «Опера нищих». Так переназвали тут «Трехгрошовую оперу» Брехта.

Они сидели в директорской ложе. В перерыв к ним заходил режиссер Таиров. Как поняла Грета, пьесу в

свое время рекомендовал театру Анатолий Васильевич Луначарский. Имя ленинского наркома просвещения Грета знала из политброшюр, а Брехт, оказывается, запросто встречался с этим легендарным человеком. И до сих пор молчал!

Они познакомились в Берлине, на одном из первых спектаклей «Трехгрошовой оперы», в самом конце 20-х годов. И Луначарский тогда же напророчил пьесе всемирный успех. Одним из отголосков той берлинской встречи и был этот спектакль, поставленный Таировым два года назад.

— Кажется, первая вещь в Союзе? — спросил Таиров.— Мы пионеры...

— Да, первая,— серьезно ответил Брехт.

Театр назывался Камерным. И в самом деле, зал был небольшим, рассчитанным на интимное общение со зрителем и полную раскованность актеров.

Представление мыслилось в духе и стиле мюзик-холла. Много было развинченной жестикуляции, манерничанья в песнях и танцах, глубокомысленной пантомимы, клоунады, игривой вольности. Истинная глубина сатиры, содержавшаяся в тексте, терялась в смачных картинках и политических карикатурах, якобы натурально представлявших буржуазные нравы.

Об этом запальчиво говорила Лацис после спектакля.

Брехт слушал молча. Потом сказал:

— Первая постановка. Это в настоящее время самое важное...

Грета была в растерянности. Спектакль ее оглушил. Она завидовала Лацис, что та так точно и просто формулировала то, что смутно бродило и в Грете, с трудом разбиравшей за русскими словами знакомый немецкий текст. Озадачил ее и Брехт своей соглашательской линией. Она не понимала, как может быть самым важным заведомо неудачная постановка. Она ругала себя за дремучесть, которая делает из нее слепую. Было досадно, что ни по одному вопросу у нее нет четкого и окончательного мнения.

Одним словом, много всякого было в Москве. Но из калейдоскопа впечатлений настойчивее других, пожалуй, вспоминался разговор с Брехтом перед ее отъездом в Крым.

До отхода поезда оставалось около часа. И они расположились передохнуть в холле гостиницы, пока не подойдет машина, чтобы отправляться на вокзал.

— А вы знаете, ведь я написал то стихотворение,— без предисловий сказал вдруг Брехт.

— Какое? — не сразу поняла Грета.

— Ну, изречение к другой стороне ворот на границе, помните? — И он протянул сложенный пополам листок.

Стихотворение было коротким. Называлось «Переезжая границу Советского Союза».

Грета читала:

Переезжая границу Союза,
Родины разума и труда,
Мы видели над железнодорожным полотном
Щит с надписью:
«Добро пожаловать, трудящиеся!»
Но возвращаясь в страну беспорядка и преступлений,
На нашу родину,
Мы увидали девиз
Для поездов, уходящих на запад.
И та надпись была такой:
«Революция
Сметает все границы!»

Грету поразила строгая ясность последних строк, летящих в будущее, как гудок паровоза. И одновременно чувство неловкости за себя. Как же она могла забыть?! А он вот написал! Она перечитала. В последней фразе глагол «bricht» нес много смыслов. Так половодье ломает лед. Не искусственной натугой, а избытком сил. Превозмогает, сметает изжитую преграду. Трудно придумать лучшее напутствие для прощального взора на пограничную арку!

Грета молча вернула листок.

— Ну и как ваше мнение? — спросил Брехт.

— С моей точки зрения, удалось! — с неожиданной учительской ноткой произнесла Грета.

— Тогда оставьте себе. Это вам проездной билет туда и обратно! — без улыбки разрешил Брехт.

— А как же вам?

— Ничего, у меня есть еще...— И опять без перехода добавил: — Мое предложение о сотрудничестве помните? Оно касается не только этого стиха...

— Но какая же от меня польза? — насторожилась Грета.

— Будет польза,— определил Брехт.— В настоящее время я работаю с Дудовым, Эйслером, Оттвальтом и еще несколькими сотрудниками. Нужны еще новые. Энергичные и деятельные. Думаю, что вы подойдете...

— Но что же я могу делать?

— Многое. Сейчас объясню... Кто, например, автор текста в той пьесе «Мать», где вы недавно играли?

— Горький и вы, полагаю,— в упор подсказала Грета.

— Ну, это только так кажется! — каркающе засмеялся Брехт.— И справедливо лишь отчасти. Давайте прикинем! Горький написал роман «Мать». Так? Через двадцать с лишним лет Вайзенборн и Штарк написали по этому роману пьесу, верно? Это два! Затем пришли я, Дудов и Эйслер и переработали эту пьесу в другую пьесу. Есть? Потом, значит, уже в четвертом колене,— он загибал пальцы,— для выступлений вашей рабочей самодеятельности постановщик и участники приспосабливали пьесу. Ну, отказывались от некоторых сцен... Ведь меняли текст? — спросил Брехт.

— Да, у нас не хватало исполнителей,— согласилась Грета.— Пришлось сокращать и вставлять реплики. Мне поручили, а потом еще дотягивали всем скопом...

— Вот видите! Кстати, у вас неплохо получилось. А что было дальше? Потом осваивали роли. Пока слова не стали голосом всего коллектива. Призывом повторить пример русской революции. Так?

— Так! — подтвердила Грета.

— Ну, и кто же автор слов в вашем спектакле «Мать»? — продолжал Брехт.— Горький? Вайзенборн, Штарк? Брехт, Дудов, Эйслер? Вы? Творческий акт стал коллективным творческим процессом. Но то, что на сей раз случилось более или менее стихийно, пора с самого начала превратить в сознательную систему...

До Греты и раньше доходили обрывки сведений, что Брехт применяет какие-то необычные методы литературного труда. Буржуазные газеты сплетничали, будто бы под его именем действует чуть ли не контора литературных поденщиков, что он ловкий промышленник, второй Дюма-отец. От дружественно настроенных лиц Грета слышала, что Брехт просто человек театра, до мозга костей. Он любит работать на людях. Когда рядом единомышленники, которые подхватывают, разви-

вают, спорят, отвергают. Но зачем же тогда выводить общие правила?

— С пьесами, тут еще ясно,— подумав, сказала Грета.— Насколько могу судить, спектакль создается каждым участником. От режиссера до осветителя сцены. Но применимы ли такие способы в литературе вообще?

— Необходимы! — утвердительно кивнул Брехт.— В любом литературном деле... Новая эпоха подсказывает воображению здания, большие, чем те, которые в состоянии соорудить одиночка. Да и момент сейчас, понимаете, такой,— убежденно произнес он,— что исход сражений решают армии, а не турнирные рыцари...

Со школьной скамьи настоящее искусство, в представлении Греты, было таким же таинством, как птичье пение или мед пчелы. Им по праву владели недосягаемые интеллектуалы, вроде Райха. Замкнутые жрецы или странные гении, вроде Пискатора или самого Брехта. Но чтобы о поэзии, об искусстве с такой убежденностью говорили как о разновидности дела, оружии в классовой борьбе, причем занятии коллективном, она слышала впервые.

Как же прочно, оказывается, у него все это было поставлено на ноги! Не поднято над буднями, а вписано в повседневность, заверстано в людские отношения. В ее работу в строительной конторе, в комсомольские сходки, в ту суровую реальность, что в Германии все более набирали влияние нацисты. И неровен час, власть уже готова была перейти в их руки. Как разом потускнели школьные представления! Но все-таки, суеверно оглядываясь на прошлое, она спросила.

— И так могут создаваться даже стихи?!

— Испытано и проверено! — подтвердил Брехт.— Впрочем... Поэзия лучше слагается, пожалуй, у каждого отдельно... В пьесах и прозе я во всяком случае — за поиск истины широким фронтом. Ну, как?

— Но есть ли у меня данные?— через силу спросила она.

— Иначе бы я с вами не разговаривал! — возразил Брехт.— Притом способности нужны разные. Для меня каждый случайный слушатель рукописи — уже сотрудник. Потому что в нем есть сопротивление созданному. Он участвует этим в поиске истины. А у вас есть не просто жизненная пытливость, но и критическое чутье и творческий дар...

— Спасибо! — смутилась Грета.

— Не за что... Надо будет еще показать в деле.

...Впоследствии, уже проработав много лет с Брехтом, Грета прочувствовала до конца, что его постоянное стремление окружать себя сотрудниками проистекало как раз от щедрого избытка творческих сил. «Нетерпеливый поэт третьего тысячелетия», как назвал его Л. Фейхтвангер, старший друг и тоже один из сотрудников Брехта, остро ощущал многообразие и беспредельность истины.

Правду жизни он готов был всасывать в себя без конца. В этом смысле у него была развита особая жадная доверчивость к людям. Каждый нес в себе целый мир, а значит, частицу или грань еще не схваченной пером истины. И как только эта крупица обнаруживалась, Брехт был готов одним махом разрушить почти законченное здание. «А не начать ли нам теперь наоборот?» — говаривал он оторопевшим сотрудникам. И, казалось бы, ради перекладки одного кирпича ломался дом. Или постройка начиналась с крыши.

Недаром огромное большинство его произведений имело столько же редакций, сколько публикаций. А собрание сочинений, в соответствии с этим пониманием, выходило под названием «Опыты».

Окончание книги иногда было меньше по душе Брехту, чем работа над книгой. Окружавшие его сотрудники, каждый из которых, разумеется, должен был беспредельно верить в него, и были этими ценнейшими опорами и катализаторами творчества. Хотя вклад отдельного лица в конкретном случае бывал различен, иногда вырастая даже в равностепенное соавторство.

Но обо всем этом Грета узнала уже позже. А тогда новость была слишком оглушительна. Она, рабочая берлинка, сотрудничает с Брехтом. Вол и муха. Смех!

— Конечно, я попытаюсь,— произнесла Грета.— Но что я могу?

— Сейчас главная ваша задача — выздороветь,— сказал Брехт. И обращенное к ней лицо приняло то редкое выражение, которое особенно располагало в нем. Как на вокзале, когда увидел Райха,— незащищенное, чувствующее.— Лечитесь, Грета! И возвращайтесь. Буду ждать. В Берлине или, может, заедете к нам в Баварию, на Аммерзее? Там домик, озеро. Летом очень хорошо. Если захотите доотдохнуть — милости просим! А пока считайте себя в отпуске...

— Может, буду здесь чем-нибудь полезна? — спросила Грета.

— Ну, если останется время и силы, тогда, пожалуй, одним,— сказал Брехт.— Вы должны писать мне письма. Мне надо как можно больше знать об этой стране. Причем из самых разных источников. Так что ваши письма будут очень уместны. Наблюдайте и пишите. Будете лечиться — о том, как поставлено с медициной. Разговаривать с соседками по палате — о том, что делается для женщин. Удастся совершить экскурсию, наподобие той, о которой говорил Третьяков,— о том, как живут в колхозе или совхозе. Одним словом, обо всем, что происходит...

— И это все?! — не удержалась Грета.

— Пока, да... И, пожалуйста, вот что,— продолжал Брехт.— В том же вашем спектакле, исполняя роли рабочих, некоторые рабочие старались играть актеров. Это не натурально и противоестественно. Не стремитесь сочинять, как писатель или газетчик. Пишите так, как видели, как понимаете сами... Мы начинаем с маленького. Но тот, кто замешивает глину, точно так же участвует в строительстве здания, как и тот, кто кладет кирпичи. Если понадобится продлить пребывание... Для лечения или для знакомства со страной, напишите. Идет?..

Вошел шофер, чтобы везти к поезду. А сопровождавший его переводчик сказал, что внизу Брехта уже ожидает другая машина, которая доставит его в рабочий клуб. Они стали прощаться.

...И вот теперь она оказалась в этом санатории, на берегу Черного моря. Минуло уже больше трех недель со дня приезда. Сегодня было 10 июня. Время после дневного чая, когда все разбрелись по кипарисовым аллеям. Грета осталась одна в палате. Она извлекла из-за шкафа черный футляр. Добытую ей в соседней иностранной группе пишущую машинку с латинским шрифтом. Уставила ее на покрытом белым полотном деревянном столе, который один только и был в четырехместной палате. Заправила лист бумаги и начала писать.

Это был первый ее подробный отчет Брехту.

«Я испытываю угрызения совести,— выстукивала она.— При этом я ни разу не ленилась. Но полдня «пропадает» на лечение, еду, послеобеденный двухчасовой

отдых и т. д. А вечером нет света. В каждой комнате у нас только так называемая «вечная лампадка», правда, электрическая, но все-таки вечная. И потому такая темная, такая тусклая, что в комнате можно разглядеть только скудные очертания предметов.

Со здоровьем дела идут довольно успешно. Я прибавила в весе, температуры не бывает, хороший аппетит, хороший сон.

Я много беседовала с русскими товарищами. Прежде всего я пытаюсь услышать их мнение о женском труде, о церкви и об уходе за детьми. Вооруженная своим собранием немецко-русских книг, я уже известна здесь. И товарищи помогают мне, насколько умеют.

С некоторых пор нам пришлось организовать курс политического обучения. К нам явился некий товарищ (вероятно, инструктор по линии Коминтерна.—*Ю. О.*), который первый год ведает работой среди прибывающих. Он был возмущен, что мы до сих пор ничего не сделали для мировой революции. Две другие немецкие группы, по его словам, вроде бы отличались чудесами прилежания. Теперь мы должны наверстывать вдвойне. И из-за этого совсем не остается времени для себя.

Вчера мы устроили общий вечер с приезжими комсомольцами. Мне пришлось говорить и декламировать. Естественно, я преподнесла обрывки своего русского языка нашему опекуну и благодаря этому имела плюс по сравнению с другими участниками, так как русские при каждой русской фразе громче хлопали. Было ли это не по-джентльменски?..

Среди комсомольцев много бывших беспризорников. Думаю, что Вы лучше, чем я, знаете факты о таких беспризорниках. И это было еще одной из причин тому, чтобы не садиться за машинку писать Вам.

Во всяком случае эти товарищи рассказывали мне, что по два с половиной года состоят в комсомольской организации. Работают на предприятии, которое почти целиком специально предназначено для молодежи. Четыре часа практики, следующие четыре часа обучаются теории. Более половины живет в общежитии, все питаются на фабрике-кухне (очень хорошая еда, три блюда, очень дешево). Входят в спортивное общество, соревнуются с другой группой. Все они ясно видят трудности, с которыми связано проведение второго пятилетнего плана. И все говорят: «Посмотрите на нас через два года, тогда все будет по-другому в России, тогда

мы все это устраним!» И лишь немногие раздражены теперешними трудностями.

Чаще я разговаривала с одним товарищем из отдаленнейшего уголка России. Он добирался сюда 14 суток (в пассажирском поезде) и сказал мне, что в ближайшие дни уедет. Почему? Хотя мог бы оставаться еще на четырнадцать дней, но должен быть на работе. Потому что в его колхозе нуждаются в каждом человеке, способном помочь управиться с пятилетним планом. Это человек, который только с 18 лет учился читать и писать, который и сегодня еще говорит, что едва ли имеет теоретическую подготовку. Но он так крепко верит в будущее России, что, действительно, приносит необычные жертвы...»

Грета остановилась и представила себе своего нового знакомого Павлова. Он был бригадиром рыболовецкого колхоза, возле Николаевска-на-Амуре, там, где река впадает в Охотское море. У этого высокого, приятной внешности, черноволосого синеглазого общительного помора внутри что-то свистело, хрипело и булькало, когда он говорил. Он часто откашливался.

— Икру, крабов кушали, Грета? — спрашивал он.— Это мы ловим...

У Павлова были обморожены края легких. Грета слышала от медсестры, что в лютый мороз с ветрами он продолжал строить крышу колхозного рыбокоптильника или что-то в этом роде. К весне образовались туберкулезные очаги.

Однажды Грета спросила Павлова, как это случилось. Неужели нельзя было чуть переждать?

— Да, конечно,— согласился тот.— Только дурню хочется прыгать на холоде с топором. Но пришлось... Рыба на нерест идет в раннюю весну. А у нас коптильни-сушильни старые, еще единоличные. Для засолки только бабушкины кадушки. А колхозу дали сейнеры, рыбацкие корабли такие выделили, с лодками — целая флотилия. Куда бы улов дели? Половину бы загубили, испортили! С осени начали строить собственный рыбозавод. А плотников мало. Зима суровая, не пересидишь. Да еще прижигает, с ветерком. Наверху рубить охотников вовсе нет. Вот и получилось...

— Успели хоть закончить?

— Всего не успели! Пришлось часть весеннего улова раздавать по избам. Сушить, вялить, солить единолично для колхоза. Кое-где бани приспособили под

коптильни. Но полтора цеха действовало! Все-таки как-то извернулись. Могло быть хуже. Зато теперь у колхоза будет собственный рыбозавод!..

Несколько дней назад вместе с Павловым и одним немцем, знавшим русский язык, они ходили в соседний колхоз. Там было большое табачное хозяйство, а кроме того, яблоневые сады и виноградники.

Инициатором похода была Грета. Она решила, что пора осуществить московский замысел. Павлов, узнав, тут же присоединился. А немца взяли в качестве переводчика.

Тут пора сообщить одно немаловажное обстоятельство. В санатории находился друг Греты — Карл Феркельман, молодой, лет тридцати, но уже крупный партийный работник из Берлина, член ЦК КПГ.

Вместе с другим членом ЦК от Тюрингии, его же возраста, Вальтером Дуддинсом и еще несколькими немецкими коммунистами он прибыл на отдых в Советский Союз.

Из Москвы в Крым Грета ехала в этой бодрой мужской компании в одном вагоне. Судя по всему, с Карлом Феркельманом она была хорошо знакома, а может быть, и дружна задолго до этого, по Берлину. Ведь Грета была там известной молодежной активисткой.

Есть сведения, что, когда менее чем через год, во время гитлеровского переворота и начавшегося фашистского террора, Карл Феркельман погиб или бесследно исчез, Грета болезненно и сильно переживала эту утрату. Отношения между ними установились самые нежные.

К сожалению, это почти все, что известно об этой стороне личной жизни героини. Остальные выводы приходится делать, вдумываясь в расстановку фактов, сопоставляя их, пытаясь понять этот женский характер.

Грета была строга, возвышенно настроена, где-то в глубине души честолюбива, но не тщеславна. Она была убеждена, что в жизни ей предстоит исполнить некую миссию. Конечно, на благо революции, в интересах угнетенных. И избранник, в ее понятии, по свойствам характера и масштабам личности должен был отвечать предначертанному.

Одним словом, цену себе да и своей женской привлекательности она знала. Но понимала трудности

предстоящего — держалась скромно, не выпячивалась, была тверда характером. При всей вольности взглядов на любовь и брак в среде революционной европейской молодежи 20-х — начала 30-х годов неразборчивости в отношениях с мужчинами Грета не признавала.

К тому же душевная травма в юности из-за неверности того, кому она безоглядно доверилась в первом чувстве, поддерживала ее неприязнь к мелким амурным похождениям. Тяжелые воспоминания заставляли ее не обращать внимания на улещивания ухажеров и даже при ответном чувстве не торопиться.

Но натуру не переделаешь — при строгости нрава она была пылка, влюбчива, привязчива сердцем. Ей исполнилось лишь двадцать четыре года. И для нее еще явно не пробил час, когда девушка окончательно видит и чувствует своего избранника. Иначе как объяснить все происходившее?

Она вспыхивала, загоралась, остывала. Это не было ветреностью или данью распространенной свободе нравов, повторюсь, а было, наверное, лишь доро́гой к тому, на ком она, в конце концов, остановила свой выбор, кто стал ее судьбой.

Поиск же — это всегда так или иначе одиночество. Во всяком случае, будучи в Крыму, рядом с Карлом, как видно по тону сохранившейся переписки да и по поступкам, Грета не испытывала полноты счастья, чем-то томилась, часто чувствовала себя одинокой.

Иначе трудно понять: почему она зимой 1932 года, когда, вероятно, уже близка была с Карлом, с такой мгновенной готовностью ответила на проявленное к ней внимание Брехта? Почему из крымского санатория столь часто и охотно вела с ним, скажем так, почти одностороннюю переписку, когда рядом был Карл? Да и то увлечение русским дальневосточником, о котором мы теперь хотим рассказать, тоже, наверное бы, не случилось, будь в отношениях с берлинским другом все прочно и ладно.

Карл Феркельман — реальное историческое лицо, и произвольно домысливать здесь что-либо негоже. Приходится лишь признать, что в фактической основе нашего рассказа об этом летнем месяце в Крыму остается много иногда мелких, а иногда существенных пробелов. Где был Карл, когда Грета успела познакомиться и подружиться с Павловым? Когда они без

конца прогуливались по кипарисовым аллеям санатория и с помощью случайного переводчика или, присоединяя к малому запасу слов жесты, рассказывали друг другу о своей жизни? Почему он не участвовал в задуманных Гретой походах по соседним колхозам? Чем был занят, когда Грета, колдуя со своими словарями, переводила статьи о Брехте в советской печати? Или когда выстукивала на машинке подробные «отчеты» для него из Крыма?

Может, в эти дни выезжал с чтением лекций и выступлениями по Крымскому побережью... Или вообще по срочному вызову отбывал куда-то... Это могло быть. Но главное же, конечно, в другом: какая-то заветная часть души Греты оставалась незанятой, неразбуженной, пустовала. В этом все дело.

Многих важных и даже решающих подробностей тогдашнего крымского житья-бытья мы теперь уже, наверное, никогда не узнаем. Имена Карла Феркельмана и Вальтера Дуддинса много позже по некоему повороту сюжета еще возникнут в нашем повествовании. Пока же будем следовать принципу книги — держаться фактов. А было так...

...Экскурсию в колхоз Грета хотела сделать предельно деловой. Но она получилась вместе с тем и приятной. Два трофея этого похода и сейчас лежат у нее на тумбочке. Два золотисто-румяных продолговатых крымских яблочка.

Заместитель председателя, смуглолицый, черноглазый крымский татарин лет пятидесяти, узнав, кто они такие, расчувствовался. Обошел вместе с ними табачное поле, взбиравшийся на гору виноградник, яблоневый сад, конный и скотный двор. И почти все время толково и умно рассказывал. Так что Грета представила себе и людей, и сегодняшние заботы колхоза.

Провожатый сокрушался только, что сейчас нечего показать из урожая нынешнего года. Все еще в побегах, в цвету и листьях. Сами видели. И поэтому, если дорогие гости не погневаются, натуральную продукцию можно представить лишь по остаткам прошлого года.

В колхозной конторе для них высыпали прямо на стол полрешета яблок. Но, боже мой, что это были за яблоки! От стола повеяло сразу нежным переливчатым ароматом. Яблоки были не шаровидной, как обыч-

но, а округло-продолговатой формы. С вытянутыми к одному краю мордочками.

— Это наши, крымские,— сказал загорелый обветренный хозяин.— Только тут такие, сразу узнаешь... Они очень нежные. Храним их в ящиках со стружками, в сухом погребе. У нас оборудован специальный — для их зимовки. Конечно, свежие вкуснее. Кушайте!..

Каждое яблочко было как игрушка. Глянцевитое, золотисто-зеленое, с ровно разлитым румянцем в боках. Длинная шейка, а на любопытно вытянутом тупом рыльце мохнатая мушка. Жалко портить и кусать. И все такие же некрупные, одинаковые, как на подбор, не различить. А какой вкус! Возьмешь в рот — мякоть, как у дыни. Сначала сластинка, потом таинственная кислинка, душистый неведомый букет...

Грета ела, жмурила глаза.

— Что? — спросил сочувственно наблюдавший за ней хозяин.— Вкусно? Кушай наше солнце. Милая! Поправляйся и помни Крым!..

Они возвращались, неся в сумке яблоки. И завернутые отдельно в газету несколько веток сухих табачных листьев. То и другое заставил взять хозяин. Павлов, продолжавший курить, несмотря на строжайший запрет, утверждал, что здешний табак по запаху не уступит яблокам.

И вот теперь, раскуривая свернутую из свежерастертых листьев газетную самокрутку, Павлов вдруг сообщил, что на днях уезжает.

— Как уезжаете?! — оторопела Грета.— Ведь еще чуть не полсрока?!

В этом восклицании, помимо ее воли, прорвалось и личное чувство. За здешние санаторские недели Грета уже привыкла к этому ширококостному синеглазому помору, к этому высокому Сене Павлову. Ей нравилась его крутая убежденность, льстила застенчивая мужская опека. И хотя между ними не было произнесено ничего, что напоминало бы начинавшийся курортный роман, которые молниеносно вспыхивали в санатории, населенном темпераментными туберкулезниками, душевная ласка проскальзывала в этих отношениях.

Павлову было тридцать два года. Он был вдов, одинок, покалечен. А Грета, хотя никогда бы себе не призналась в том, была чувствительная фантазерка. Она могла нафантазировать себе что угодно.

Однажды она вообразила себя даже женой Павлова. И как они уедут вместе на Охотское море, она навсегда останется жить в Советском Союзе. И будет заботиться о Павлове, а он о ней. Они оба окончательно выздоровеют. И вместе с другими создадут коммунистический город рыбаков на краю планеты... «А как же Карл? — тут же спохватилась она.— А как же Брехт?..» Ну, да, Карл утешится своими лекциями и выступлениями... А Брехту она будет постоянно корреспондировать. И он будет в подробностях знать, как живут рыбаки на берегу Охотского моря... Ей стало смешно. И она, как дымное облачко, одним взмахом рассеяла это видение...

Но ведь Семен Павлов действительно болен. За такой короткий срок наступает лишь кажущееся улучшение, это она уже знала по своему несчастному четырехлетнему стажу. Как же он поедет?

— Вам надо лечиться,— посоветовала она наставительно.— Тут все условия. Неизвестно, удастся ли вам приехать сюда еще раз...

— Знаю,— вздохнул Павлов.— Но ничего не поделаешь, Греточка...— Он чаще всего и говорил так: «Греточка» — Сейчас, почитай, лето. У нас на Приморье тоже хорошо. Бывает, в работе, как на собаке, зарубцуется. Мы прочные. А отсиживаться здесь не могу. Новости неважные из колхоза, люди замаялись, надо ехать...

И вот сегодня оформляет справки. А завтра его уже не будет.

Грета всегда считала, что сердце надо держать в кулаке. Всякое серьезное дело требует жертв. Само счастье, как она однажды сформулировала для себя, есть только путь. Вечное ограничение, преодоление и достижение. Где-то, кажется, в Ленинграде, слышала она, есть площадь, которая называется Площадь жертв революции. Новые поколения ходят по мостовым, под которыми лежат жертвы. Но почему вот только сгорать должны лучшие, такие, как Павлов? И когда лучшие люди обретут право на счастье полной грудью, без ограничений и меры? Ведь всякие потребители, бездельники и выжиги давно присвоили его себе. И живут припеваючи. А разве это справедливо? Но тогда не станут ли они сами потребителями? — смекнула Грета.— Нельзя быть дезертиром! Кто чувствительней, понятливей, место тому в первых рядах на поединке

со злом, невежеством, нищетой. Иначе человечество погрязнет. Станет свинюшником. Кто-то ведь должен крутить колесо истории, пока не докрутим его до мировой революции? А что будет дальше, когда докрутим? Не остановится же тогда жизнь? Неужели так и будет всегда? «Счастье только лучший участок дороги, по которому выпало брести»?! «Вечное ограничение, преодоление и достижение». «Радость достигнутого, когда в следующую минуту уже снова надо достигать». Это диалектика? Природа жизни? Безотрадная получается картина!.. Одно только она знает точно — так *надо!* Во всяком случае — пока надо так, а что будет дальше — посмотрим. Сейчас без этого не обойтись!.. Что-то уже больно ты сегодня разнылась,— сказала она себе.— Уж не влюбилась ли часом? Нет! Павлов просто хороший товарищ. Великолепный! И жалко, что он уезжает. Но разве и ты не поступила бы так же? Ведь поступила бы? Значит, все верно. Значит, надо просто встряхнуться. Ну, давай же! — И Грета, скомандовав себе, продолжала печатать на машинке:

«...действительно, приносит необычные жертвы. Этот пример не единичен.

У меня нет ощущения, что думать могут одно, а говорить другое. Часто можно слышать, как здешние товарищи обсуждают между собой трудности в различных местностях. И всегда снова воля выстоять...

Вчера перед обедом ходила второй раз вместе с другими попутчиками в табачное хозяйство. Хотелось еще раз поговорить со здешним товарищем, который очень жаловался на положение дел. Он возглавляет ударную бригаду (этот колхоз разделен на три ударных бригады). Мы застали его в жаркой перепалке с членами правления. Каждой бригаде было куплено правлением по две коровы (наряду с другим имуществом, трактором и т. д.). Эта бригада забила одну корову, другую перепродала. И хотела теперь бо́льшей поддержки, чем другие бригады, так как, дескать, они в «хозяйственно худшем положении». Это, возможно, случайность, что жалуется как раз та бригада, которая не выполнила план (она вывешена на черной доске при въезде в деревню). Возможно, случайность, что как раз она утверждает, что задания невыполнимы... Мы видим, естественно, трудности, с которыми все осуществляется. Но это уже другая глава. Еще

расскажу Вам об этом. Теперь должна спешить, мы (моя врач и я) идем на рентген...

Смогли ли Вы что-нибудь добиться насчет продления моего пребывания в Москве? Надеюсь, еще получу от Вас весточку об этом. Боюсь, что одна я ничего не смогу достичь.

Вас приветствует

Ваша Грета Штеффин».

Каждое счастье, видимо, имеет свой зенит. До какого-то момента оно набирает ход и кажется бесконечным. А потом настает это мгновение — не всегда даже отчетливо различимое и слышное, так вроде бы, как легкий щелчок выключенного будильника,— и что-то безвозвратно меняется, пропадает. Дни начинают лететь как сумасшедшие. Нет прежнего пьянящего ощущения беспредельности. И где-то близко уже торчит рубеж, о котором не задумывался прежде.

Так получилось и у Греты. То ли после благополучного еженедельного рентгеноснимка и анализов, которые совпали по времени с экскурсиями в колхоз и большим письмом Брехту. То ли после отъезда Павлова...

Все это почему-то произошло сразу. И хотя события были совершенно разные, после них что-то неповторимо утратилось. Здоровье быстро возвращалось. Процедуры становились формальностью, без мысли о болезни. Иногда Грета ловила себя на беспричинной радости. Хотелось вдруг, как девчонке, ринуться и бежать по пустынной кипарисовой аллее. Но дни почему-то стали как бы тусклей и однообразней. Словно бы исчез прежний смак здешнего пребывания, неуловимый, как аромат тех крымских яблок. И хотя оставалось еще около двух недель сроку, Грета почему-то неизменно замечала теперь в коридоре вывеску «Камера хранения», где лежал ее коричневый дорожный чемодан. А тут еще погода испортилась. Пошли дожди.

«Сегодня у нас первый дождливый день, — писала она Брехту 14 июня.— Все сидят кружком по комнатам и не знают, чем заняться. К чтению тоже не тянет, потому что не остаешься один в комнате. Ну, через девять дней все это будет позади. Мы уже снаряжаемся.

Своеобразно, что только что были в санатории почти исключительно партийные работники, руководи-

тели и т. д. Спустя несколько дней с новым заездом прибыло больше членов ударных бригад с предприятий. Теперь это отличие ощущается во всей атмосфере санатория.

Написала Лацис, но она не ответила...

Я очень опасаюсь, что в течение трех дней, которые мы будем в Москве, не сладится с продлением визы. Один товарищ сказал мне, что встанут на ту точку зрения, что прежде нужно запросить Германскую партию *. И они в этом, конечно, правы. Ну, это уж не столь трагично. В другой раз буду иметь больше времени, чтобы осмотреть Россию. Хотя я, конечно, теперь очень, очень охотно бы осталась.

Мне дают любые возможные виды лечения... Я думаю про себя, что лучшего не мог бы иметь никто, располагай он даже самыми большими деньгами. Я, действительно, довольна, что приехала сюда. Замечаю в себе даже очень большие перемены.

Не хочу Вас больше задерживать и приветствую

Ваша Грета Штеффин».

Грета вынула из машинки лист, перечитала. Расписалась карандашом. Потом, немного подумав, добавила: «Как был принят Ваш фильм в Москве прессой? Как дела с новой работой?»

Со своих коек на нее изредка взглядывали томившиеся в этот дождливый день соседки.

А у Греты было много других дел. Она закрыла и отнесла за шкаф черный футляр с пишущей машинкой. Извлекла из своего собрания немецко-русских книг пухлый словарь. Расстелила на столе газету. И принялась переводить.

Переписка с Брехтом, можно сказать, была односторонняя. Она посылала в письмах к нему чистые конверты с адресом на русском языке. Так договорились. Но за все это время из Германии пришел единственный ответ, который находился в пути четырнадцать дней. Да и тот был в несколько строк, написанных вскоре по возвращении из СССР. И из деловых новостей содержал, пожалуй, только обещание Брехта на просьбу Греты похлопотать о продлении ее пребывания в Москве.

Но одиночество и нынешняя дождливая скука на-

---

* Т. е. КПГ, через которую шло оформление М. Штеффин на лечение в СССР.

доумили Грету на свой способ общения с молчаливым адресатом. Занятный и интересный. Хотя и тоже содержавший в себе элемент запоздания во времени. Она разговаривала с Брехтом через прессу. Это была немножко игра, немножко всерьез. Перед ней лежала «Литературная газета» почти месячной давности, от 12 мая, со статьей «Берт Брехт». Она случайно заметила ее по маленькому портрету. И выпросила номер у библиотекарши.

За крымское жительство Грета сильно подвинулась в русском языке. Но, читая, ей часто еще приходилось заглядывать в словарь. Она читала статью Третьякова о Брехте. А эффект был такой, как в детстве, когда трешь пальцем мокрую переводную картинку. Из мутной бумаги, из ничего, медленно возникает красочное изображение.

Третьяков писал, как будто ораторствовал в кружке близких друзей. Характеристики набрасывал краткими отрывистыми мазками. За всем этим чувствовался жар увлеченности, очевидно, ни в одном деле не оставлявший этого долговязого человека во френче.

Переводя, Грета всякий раз примеривала характеристики к Брехту. Пыталась представить, что бы он сам подумал, читая такое. Она хотела проникнуть в его мир, влезть в его кожу. Иногда хорошо видела, как бы он поправил очки или почесал висок, что бы буркнул или одобрительно произнес, пробегая глазами по строчкам. Безусловно, в целом он бы узнавающе кивнул своему отражению в этой статье.

«Насколько мы мало знаем о нем, настолько хорошо он известен в Европе,— читала Грета.— Поэт-балладник, цинично-издевательский и острый. Он поет свои баллады под аккомпанемент банджо... У них свой стиль, свое неповторимое лицо, как и у самого Брехта, человека, почти немыслимого в чопорном Берлине, подпертом крахмалом, повязанном галстуком, чисто выбритом.

А это худощавый небритый человек, с близко посаженными гвоздиками беспокойных глаз. На голове его простонародная кепка (в Берлине кепка — признак коммуниста или крайней рабочей бедноты), допотопные очки в железной оправе, растерзанный ворот рубахи, без намека на галстук. Самый отъявленный драчун на литературном ринге Германии.

Он не только поэт — он и драматург, очень необыч-

ной породы... Он противник эмоции... Он за алгебру логики. И не без труда, сквозь изощренную логистику, идет он к диалектике классовой борьбы...

Не только драматург, но и режиссер, по стилю своей режиссерской работы стоящий в ряду таких театральных мастеров, как Мейерхольд, Пискатор, Эйзенштейн...

Последний год работы Брехта (вернее будет сказать, Брехта — Эйслера — Дудова, ибо он работает в теснейшем содружестве с композитором Эйслером, автором «Коминтерна» и «Красного Веддинга», и молодым режиссером Дудовым) отмечен еще большей близостью к коммунистическому движению в Германии. Каждое новое произведение Брехта представляет акт явно политический, за что... цензура гвоздит его запретами.

Запрещен «Куле Вампе» — звуковой фильм по сценарию Брехта, с музыкой Эйслера, под режиссурой Дудова. В «Куле Вампе» речь идет о пролетарском спорте и о пролетариях, которых кризис выкидывает в убогие лачуги за городскую черту...

Запрещена «Мать» — драматизация Брехтом повести М. Горького. Тридцать раз прошла «Мать», отмеченная как большое достижение даже буржуазной критикой, и на тридцать первый пришло запрещение.

Брехт привез «Куле Вампе» в СССР. Здесь у нас первый пролетарский фильм Германии найдет и свой экран, и свою аудиторию. Брехт приехал в Москву по приглашению Журнально-газетного объединения.

Наша литературная и театральная общественность должна познакомиться с большим работником искусства революционной Германии... То, чему зажимает рот ладонь буржуазной цензуры, должно прозвучать у нас. Брехт у нас первый раз. Он пробудет всего несколько дней...

С. Третьяков».

На той же странице, обок со статьей Третьякова и под портретиком Б. Брехта, где он в кепке щурится от майского солнца, была напечатана заметка, набранная мелким черным шрифтом, какой пускают обычно на происшествия и хронику. То было интервью с только что приехавшими в Москву, а теперь давным-давно уехавшими назад попутчиками Греты.

«В беседе с нашим сотрудником, — переводила Гре-

та,— Б. Брехт и режиссер Златан Дудов рассказали о цели своего приезда в СССР и положении на немецком театре:

— Реакционные настроения на немецком театре, крайняя придирчивость цензуры создают очень сложные условия для нашей работы в Германии. Многие наши постановки были запрещены к показу, некоторые снимались после разрешения...

По предложению Журнально-газетного объединения мы привезли с собой звуковой фильм «Куле Вампе, или Кому принадлежит мир», запрещенный к показу в Германии. Фильм рисует крайне тяжелое положение немецких рабочих и гнет власти буржуазии. Идея фильма: единственная возможность перестройки жизни — крепкая рабочая солидарность...»

Под интервью и статьей подрезом-подвальчиком на три колонки разверстана была стихотворная иллюстрация — «Легенда о мертвом солдате» Б. Брехта.

Не было смысла читать на русском языке песенный текст, или, скорее, большую балладу, которая звучала под аккомпанемент банджо, гитары, аккордеона со многих эстрадных подмостков Германии. Издевательско-сатирическую стихотворную историю об извлеченном из могилы полуистлевшем солдате, которого погнали вторично умирать за великую Германию, прекрасно исполнял сам автор. На им же сочиненный мотив. Брехт написал эту сатиру еще в 1918 году, двадцатилетним юношей, когда служил санитаром военного госпиталя. И каркающий, вибрирующий, пронзительный голос Брехта, вещавший о жутком призраке войны, бредущем на фронт покойнике, под звон, казалось, готовых оборваться гитарных струн, этот маршевый апокалипсис мировой бойни, не забывался тому, кто его слышал.

«Легенда о мертвом солдате» была в своем роде таким же коронным произведением Брехта, как «Трехгрошовая опера». Грета знала наизусть чуть ли не каждый стих. Вот почему в данном случае она, может быть, только глазом скользнула по фамилии переводчика: Семен Кирсанов.

Маргарет Штеффин не могло заинтересовать то, что при внимательном знакомстве с этой газетной публикацией определенно произвело бы впечатление на современного любителя поэзии.

Широко известный теперь кирсановский перевод

«Легенды о мертвом солдате» можно считать классическим образцом передачи поэзии Брехта на русский язык. Интересно было бы провести маленькое исследование: своего рода сличение текстов. Того, первого перевода «Легенды о мертвом солдате» С. Кирсанова, напечатанного в подборке газетных материалов к первому приезду Брехта в СССР,— через немецкий подлинник — с переводом, который включается ныне чуть ли не во все русские издания стихотворений Брехта.

Какое разительное отличие! Из девятнадцати стихотворных строф только три или четыре перешли в позднейший текст, да и то со словесными поправками. Остальное переделано в корне, добыто заново, вывернуто наизнанку. Сохранились лишь взятый сразу стиховой мотив, общие очертания образов и отдельные удачно найденные строки. Не в ущерб буквальной точности, которая в целом стала даже более строгой, перевод естественней и глубже перенял дух оригинала.

Страшное потустороннее видение и вместе с тем обыденная картина,— как под кликушество военных оркестров шагает по стране надежда Германии, гниющий покойник, смахивающий на пьяного орангутанга, передана с брехтовской натуральностью красок и символической обобщенностью. Чуть смягчена только кое-где, пожалуй, отталкивающая натуралистичность мелких подробностей, когда те вступают в противоречие с более целомудренной традицией русской поэзии. Это Брехт, немецкий поэт, во всех красках своей фантастической сатиры. Но это именно Брехт, обращенный к русскому читателю, обогащающий мир его поэтических представлений.

Путь к этому кирсановскому образцу советского перевода Брехта показателен и в более широком смысле.

За ним стоит не одна только взыскующая неудовлетворенность мастера (хотя и тут сокрыт урок для каждого литератора!). И не просто длительное и настойчивое проникновение талантливого переводчика как в дух баллады, так и в творчество немецкого поэта в целом. (С. Кирсанов затем многажды переводил Брехта на протяжении десятилетий.)

Между двумя кирсановскими текстами «Легенды о мертвом солдате», преломившись в опыте советского

поэта, пролегла также и дистанция литературных эпох. В различии между ними по-своему отразилась мера приобщения и освоения нашей художественной культурой новаторского творчества немецкого писателя.

Ибо «Легенда о мертвом солдате», опубликованная в «Литературной газете» 12 мая 1932 года, отличается от хрестоматийного кирсановского текста примерно так же, как тогдашнее знакомство советской аудитории с творчеством Брехта от нынешней популярности этого писателя в нашей стране.

Однако пусть простит мне читатель неизбежное уклонение в будущее. Вернемся к повествованию, где оставили Грету колдующей со своими словарями над газетной страницей...

Ее мать, мудрая берлинская женщина Ханнхен, говорила, что деньги бывают к деньгам, мужчины к мужчинам, а письма к письмам. Справедливость этих слов еще раз подтвердилась в один из последующих дождливых дней.

То, кажется, весь мир забыл про Грету, а то вдруг к обеду на столике в вестибюле для нее вывалили сразу три письма. Одно от Брехта из Баварии, другое из Москвы, от Лацис, и третье, писанное незнакомыми наклонными буквами на русском языке, от Семена Павлова, с дороги.

Грета отошла в сторонку. И недолго думая, первым почему-то надорвала павловский конверт. Беспокойно и вчуже странно было, что недавно еще он ходил и говорил с нею в этом вестибюле, а теперь был только синий конверт с русским адресом. И будет ли когда еще что-нибудь?

Все письмо было нараспашку, как он сам. Смысл понимался почти целиком.

«Здравствуйте, дорогая товарищ Грета! — писал Павлов.— Поезда увозят прочь от моря, от Крыма. Смотрю в окно: какая великая страна! Соберите ваши словари и прочитайте, что напишу. Увожу с собой как будто праздник. Молчал об этом, но поезд идет и храбрости прибавляет. Кажется, завязывалось что-то между нами. Не так? Вот мы в бога не веруем, а тоже иногда шибко предусмотрительные бываем, дальновидные, как попы. Чего зря говорить, нравитесь вы мне, такая

маленькая, льняная, синеглазая. Хочется звать — «Греточка»... В другом случае взял бы и увез. Отбил бы от ваших немцев. Тем более что оба мы партийцы, товарищи. Но тут остановило что-то. Уехал, будто от недозволенного и напрасного. А может, оно-то и есть — главное?

Надо ли была такая операция, кому и зачем? С одной стороны смотрю: не надо. Живем ведь не без конца. Ругаю себя тогда: «Не рыбак ты, Сеня, а красный поп. Поп — и больше ничего!» Потом взгляну с другой стороны — получается: надо и надо! Не то сейчас общее международное и внутреннее положение. Ведь с самого начала не для себя выгод искали.

Пускай — красный поп, но, может, они и нужны, такие попы? И, может, духа и смелости больше требуется, чтобы порвать и даже себя изранить. Для меня — больше, а раз так — здесь правда. Да и куда бы могло повернуться? Выросли мы на разной почве. И в такой поре деревья уже не пересаживают. Да и Охотское море наше — не Крым. Много раз в санатории все это в голове перебирал. Прав или нет? И решил вот так. А тут напомнили о себе земляки, заботы. Сама жизнь указала.

Надо думать, и вы бы что-нибудь подобное рассудили. Правда ведь, Греточка? Опять за вас говорю — виноват. Но я вас хорошо чувствую. Так что все верно. Был бы только обидный разговор для обоих, а тут доверено бумаге. По отдельности переживем.

До свидания, товарищ Штеффин! Чудес много, авось повидаемся. Возникнет желание когда — адрес на конверте.

Верю, что уже скоро не будет ни Россий, ни Германий. Тогда и мы найдем свою долю. Желаю вам полного здоровья и успешной пролетарской работы в Берлине.

Расскажите вашему писателю, Брехту, кажется, о рыбаках с Николаевска-на-Амуре. Конечно, если он человек с пониманием...

Жму руку. Ваш Семен Павлов».

Грета несколько минут стояла в оцепенении. Надо же, оказывается, начиналась любовь! И только ли у него? Конечно, она только раз, и притом в мимолетной фантазии, собиралась уехать с Павловым. Но ведь и фантазии приходят не просто так. Мать права: книжница — вот кто она такая, Грета. Лошадка, ко-

торая тянет воз в оглоблях собственной логики. Фантазии, рассуждения, мечты, а живая жизнь?.. К Павлову у нее, конечно, была только симпатия. Но как бы все повернулось, если бы он сказал не в письме, а прямо? И почему так горячечно и муторно на душе? Как после ожога? Неужели Павлов был для нее дороже и ближе, чем она думала? Нет, все-таки не совсем простая симпатия! Да и симпатию ведь можно подавить, задушить, а можно дать ей расти. Как бы обернулось тут? Вот и придушили! А разве она так уж знает все о себе заранее? Да и кто что знает о себе?..

Сквозь отворенную дверь вестибюля веяло запахами влажной разморенной земли и мокрой зелени. Там хлюпала и дышала теплая сырь, оранжерейная духота, которая, кажется, все заполнила в эти дождливые дни. Это было какое-то мокрое первородное томление земли, похожее, может быть, на то, в каком некогда завязывалась жизнь. Без конца сеял мелкий дождик. Только изредка в эти дни в просветы между тучами било неожиданно жгучее слепящее крымское солнце. Но почти сразу же хмарь снова овладевала небом. И опять сверху текла, струилась и сеялась теплая влага.

В письме Павлова была скрыта какая-то щемящая боль, подобная той, которая временами накатывала и на Грету. Что там говорить, они действительно притянулись друг к другу и чувствовали сходно. Но что это за чувство? Пожалуй, к нему примешивалось еще ощущение своей особности среди других, отчужденности от праздника жизни, некой бездольности, одиночества при постоянной нужности всем. Но почему, откуда это? Не только ведь от сознания, что земной твой срок ограничен, а цель далека? Нет! А может быть, от ощущения, что ты только средство, пусть для самой высокой цели? Только пружинка, работник и воин, а не человек из костей и мяса. Но ведь ты сам себе избрал эту дорогу. Чего же жаловаться? Только тоска приходит без спроса...

Грета сунула письмо в карман накидки. Не раз еще будет ей над чем подумать. И, словно подставляя разгоряченное лицо освежающей струе, надорвала спасительный конверт от Брехта.

Тут был совсем другой стиль. Это было письмо человека, зорко видевшего смысл жизни и властно

назначавшего в ней места и функции другим людям, трезвого и предусмотрительного до последней мелочи.

И это было, пожалуй, то самое, что сразу умиротворяло. Не душевная смута и напрасные терзания о своем личном, а конкретное дело, расписанное по дням, твердые установки на сегодня, завтра и послезавтра. Так легче жить, когда знаешь очередность занятий и веришь, что все образуется, стоит лишь исполнить то, что задано. Она читала:

«Дорогая Грета,

разве Вы не получили моего письма? Я писал, что Вам надо обратиться к товарищу Диаменту, Москва, Варварка, 3, комната 92, Международное объединение рабочих театров, чтобы он подал на Вас заявку еще на десять дней для рассказа о немецких рабочих. В Берлине я созванивался с центральным агитпропом, они сказали, что все в порядке, они распорядятся... Я могу еще раз написать в объединение. По крайней мере: не заботьтесь о Берлине, на этот счет порядок.

Когда Вы возвратитесь в Берлин, Вы должны проконсультироваться с врачами, подходящее ли место для вас Аммерзее *. Не забудьте! В Москве лучше всего взять билет до Мюнхена на рубли. Если у Вас нет достаточного количества рублей (у Аси еще 100 для Вас), Ася может добыть еще денег от Камерного театра. Вы же имеете право довольно надолго прервать поездку остановкой в Берлине, думаю, на срок до трех недель...

Хелли также будет Вам писать. Мы с удовольствием ждем Ваших рассказов.

Сердечно

Ваш старый Брехт».

Приписка содержала уже позднейшие сведения:

«Итак, в объединении лежит мое письмо... Вы можете оставаться. Еще вот что: сходите, пожалуйста, в аэропорт. Там, при отъезде 21 мая, в пять (или семь?) утра, перед тем как я садился в самолет на Ковно, в таможне были задержаны мои бумаги. Мне надо получить их обратно. Это машинописные страницы и две тетради с фотографиями («Мать» и «Что тот солдат, что этот»).

---

* Баварский курорт, о котором уже упоминалось,— там проводили лето Б. Брехт и его семья.

Возможно, Вас сопроводит Кац из «Межрабпома»...»

23 июня 1932 года Грета отстучала на машинке ответ на это письмо.

Настроение уже в полном смысле было чемоданное: все вокруг заняты были предотъездной суетой. Это было, по-видимому, ее последнее письмо Брехту из Крыма. На бумаге возникали строчки:

«Дорогой Брехт,

между тем Ася Лацис также написала мне... Мы как раз уже посредине сборов. Сегодня нам надо укладывать чемоданы, так как их доставят на вокзал раньше. Собственно говоря, теперь-то и охота было бы еще остаться.

У нас было несколько дождливых дней, из-за чего в воздухе посвежело. Со здоровьем хорошо. Но такого прибавления в весе, которое назначили Вы, не достиг никто, а не только я...

Мы были во всероссийском пионерском лагере в Артеке. После пестрой программы (немецкие и русские песни и стихи, кавказские танцы и т. п.) завязались взаимные расспросы. Первый вопрос пионеров: «Почему вы не делаете революции?» Наряду с пионерами интересней и симпатичней всего комсомольцы и их работа. Мы познакомились со многими группами. Жаль, недостает времени, чтобы наблюдать их деятельность тут же, на месте. Приглашений у нас куда угодно, но времени в сравнении с ними в обрез».

В другой присест, после отлучки, она дописала:

«Два часа назад я получила здесь последнюю заправку. Врачи полагают, что они больше не понадобятся. Но последнее решение предстоит в Москве. Я должна там еще раз пройти обследование у профессора, которому вменено в обязанность быть сверхтщательным. Завтра последний день. Снова уже так жарко, что санаторские больные не гуляют и полчаса в предполуденное время».

...Здесь я, пожалуй, несколько сверну повествование. И расскажу по неизбежности более сжато, что было дальше.

От последующих месяцев сохранилось лишь несколько видовых открыток, присланных Гретой в Бер-

лин из Баварии. Судя по оборотной экзотике пейзажных фотографий и отписочной скороговорке, которая предназначена родственникам, когда не до них, Грета была целиком захвачена открывшейся ей новой жизнью.

Для девушки из рабочей среды все лето было продолжением сказки. Только что на открытках из СССР были Крым, море, пальмы, кипарисы... Теперь — подобная звучащему органу островерхая готика старинного Аугсбурга, туманные предгорья и чертовы ущелья Альп, озеро Аммерзее, с зеркальной водой и белыми яхтами...

Обратный адрес на открытках с конца июля 1932 года: Унтершёндорф (Аммерзее), Бавария, у Брехта.

После обследований московского профессора и нескольких недель в Берлине, в родительском доме, Грета отважилась принять приглашение Брехта и Елены Вайгель. Чистейший воздух альпийских предгорий прекрасно закреплял результаты лечения в крымском санатории. Но получалась, конечно, невообразимая роскошь — Крым и Альпы. Почти по-королевски!

В доме Брехта всегда было полно гостей и постояльцев. Но Грета сразу ощутила на себе мудрую и терпеливую опеку Елены Вайгель.

Она была не очень привлекательна внешне, хозяйка дома, эта Хелли. Высокая, темная, как старая икона, с вытянутым мужеподобным лицом, каштановые волосы небрежным пучком прихвачены сзади, уже начавшая морщиниться от грима кожа, крупный лоб, большой рот, карие глаза. Часто курит. Монахиня, отшельница, «свой парень», а не актриса. Все это с непроизвольным женским чувством сразу отметила Грета.

Да и просто старой она показалась, хотя, как потом выяснилось, Вайгель весной исполнилось тридцать два. Но впечатление тут же испарялось, едва лицо оживало. В этой женщине был темперамент, огонь, характер, воля, тысяча талантов.

Она азартно кухарила по одной ей известным рецептам, добавляла каких-то неведомых приправ и снадобий. Кушанья подавались в доме — пальчики оближешь. Она была заботливая мать и тонкий педагог. Своенравный восьмилетний Штеф и двухлетняя Барбара постоянно вились вокруг нее. Дети обожали мать.

Она была гостеприимная хозяйка, расторопная экономка, оборотистый антрепренер, умело направлявший финансовые дела Брехта, умный и верный друг, снисходительная жена. Словом, человек, с которым Брехт чувствовал себя, как за каменной стеной.

А сверх того, Елена Вайгель была великая актриса. Одна из заглавных фигур нового эпического театра, первый практический воплотитель сценических преобразований, развиваемых Брехтом, та самая редкая актерская индивидуальность, которая необходима была режиссеру и драматургу. В расчете на игру Вайгель писались многие роли пьес Брехта. Бессчетные нити накрепко связывали этих людей.

Осознано это было, конечно, не сразу. Вспомним, что Грете было лишь двадцать четыре года. Рабочая девчонка, она оказалась в совершенно новой для себя среде. Еще должны были заколебаться почва под ногами, произойти самые неожиданные события и головокружительные изломы истории, включая через полгода фашистский переворот и совместное бегство из Германии; жизнь еще многое запутает, повыкидывает разные петли и зигзаги, разматывать иные из которых неуместно в книге. Но именно на незаменимости Хелли для Брехта строились впоследствии отношения всех троих.

...Когда человек изъясняется исключительно при помощи видовых открыток? Тогда, во всяком случае, когда находится в необычной ситуации. Бывает даже до того в особенной, что дыхание схватывает от избытка чувств. И вместо всех вестей и рассказов о себе хочется односложно крикнуть: вот оно, где я! А может, по тем же или совсем другим причинам ничего вовсе неохота говорить, а почему-то требуется.

Грета была привязана к дому. С опасливой любовью относилась к матери, нежно к отцу. Обожала сестру Герту, по кличке Гопхен, привечала ее жениха Герберта. И пространно обычно писала родителям и сестре, если случались даже краткие отлучки. (Она вообще любила сочинять письма.) А теперь шли недели, месяцы, а она слала в оба адреса только видовые открытки. И слова в них были отписочные:

«Дорогая Гопхен, дорогой Герберт! Я все еще в Баварии. Сегодня очутилась на Тегернзее, а там хоро-

шая погода. Сенсация!.. Я вовремя сообщу, когда приеду. Привет. Ваша Гр.».

И еще, еще... Все в том же духе. Чередовались только адреса, менялись даты и картинки на обороте. А текст даже убывал.

Это означало только одно. Для Греты настала пора самососредоточенности, решающей внутренней работы, час жребия судьбы, определивший всю ее дальнейшую жизнь.

Но то происходило где-то в глубинах души. А внешне все выглядело обыденно. Грете выделили комнатку, назначенную для гостей. Она помогала Хелли по дому, совершала окрестные экскурсии. Взялась за секретарские обязанности — печатала на машинке, делала выписки из книг, отвечала под диктовку на письма. Со стороны вникала в беседы и споры с приезжими театралами и литераторами.

Одним словом, входила дальше в роль сотрудника Брехта.

Очевидно, в те недели и дни Грета делилась впечатлениями о пребывании в СССР. Хозяева дома, как помним, ждали таких рассказов. Неизвестно, о чем конкретно вела речь Грета.

Но одно из крымских происшествий дало поэтические побеги.

Во всяком случае, его приметы ощущаются в реалиях короткого стихотворения, написанного Брехтом несколько лет спустя. Это пятистишие называется «Скорость социалистического строительства». И звучит так:

Один человек, который в 1930 году прибыл
из Николаевска-на-Амуре,
Будучи спрошен в Москве, как там у них дела,
Ответил: «Откуда могу я знать?
Моя поездка длилась шесть недель,
А за шесть недель все изменилось там!»

В стихотворении действие отодвинуто в 1930 год, чтобы тогдашним бездорожьем убедительней мотивировать достаточный временной отрезок происшедших перемен — шесть недель. Но силуэт энтузиаста-дальневосточника, о котором Грета рассказывала еще в своем письме из Крыма, судя по всему, снова мелькает тут.

Лето 1932 года — только заря отношений.

С какой интенсивностью и глубиной завязывалась

их духовная основа, видно по сохранившейся переписке ближайших месяцев.

Вот взятое наудачу письмо от 13 марта 1933 года из числа недавно обнаруженных.

Это была вторая неделя бездомной эмиграции. 28 февраля конституционный фарс передачи власти Гитлеру завершился поджогом рейхстага. Фашисты приступили к массовым политическим расправам. Вроде бы это можно было предвидеть, но для многих оказалось как гром среди ясного неба. Не подготовился к этому и Брехт.

В тот же день он поспешно уезжает. Сначала в Прагу, потом в Австрию. (Письмо завершается указанием: «Пиши на имя Брехта в адрес Лиона Фейхтвангера... Я надеюсь быть там через несколько дней». А в следующем письме, от 16 марта, просьба — отвечать по адресу: «Д-ру Лиону Фейхтвангеру... Австрия, вкладывая письмо для меня в другой конверт».)

Грета укрылась в Швейцарии. Снова обострение болезни. К тому же нравственные терзания, что в такой момент отсиживается в курортных местах, наполненных фланирующими бездельниками.

Между пишущими уже преодолена былая дистанция. Да и речь теперь идет о самом главном. Вот выдержка из письма Брехта:

«Дорогое старое чудовище,

сию минуту (в понедельник 13-го) получаю твое письмо от 3-го, через Берлин — Карлсхорст. Значит, переслала, возможно, твоя сестра (Герта Штеффин, «Гопхен», исполнявшая в те недели и позже роль посредника в переправке корреспонденции.— *Ю. О.*). Я так рад этому, что должен ответить немедленно. Ты столь необыкновенное существо, произносишь только каждое седьмое слово о том, что думаешь, а иногда долго вовсе ничего не говоришь...

Это хорошо, что ты так спокойно и храбро борешься за свое здоровье, в котором мы нуждаемся. И хорошо, что в этом омерзительном окружении бездельников и рантье остаешься тем, что ты есть: ты не принадлежишь к ним ни в чем и никогда. Что как раз эта жирная и симпатичная и беспечная сволочь теперь в Германии, во время резни, промышляет трусостью и беззаботностью, это, действительно, чудовищно.

И все еще борются рабочие, без средств, без руко-

водства. У них ни разу не было еще нелегального запасного места для «Р. Ф.» (газета «Роте Фане», центральный орган КПГ.— *Ю. О.*); последний номер редактировали они под городским железнодорожным мостом на ходу. Ничего не было подготовлено, совсем ничего. Для этого ты тоже должна выздороветь и учиться потом, каждый должен это теперь...»

Такие наставления и зароки давал он тогда. Впереди были годы изнуряющей политической, литературной, житейской борьбы. Часто, казалось, без проблеска надежды. Годы бесконечного и рискованного карабканья к цели, мучительного восхождения изо дня в день. Горные хребты трудностей, как скажет он в поэтической строке.

В 1947 году явился случай подвести итог. Из руин Германии дошли голоса матери и сестры Греты, которые еще не знали о ее судьбе, о ее смерти.

Иоганна Штеффин была простая женщина, не причастная к политике. Но она многое умела понять. Утешить в такую минуту нельзя, можно лишь сказать главное. И Брехт так оценил то, что исполнила на его глазах Маргарет Штеффин. Он писал ее матери:

«Грета знала, ее болезнь была обусловлена политическими обстоятельствами, что в более спокойное время или если бы она сама не участвовала в борьбе, она имела бы хорошие возможности выздороветь. Но она не теряла никогда уверенности вернуться однажды с нами в Берлин и говорила еще в последние дни в Москве много о Вас, сестре, ее муже, [их] мальчике, своем отце. Она со своим спокойным понятливым характером так храбро и бескорыстно пожертвовала собой во имя дела, как будто участвовала в уличных боях. Она незаменима».

Конечно, Брехт не мог бы работать с человеком, который стоял бы на иных политических позициях или не был энтузиастом его творческих замыслов и эстетических устремлений. Но в данном случае речь идет об особом духовном авторитете.

О той степени необходимости, которую замечал Брехт, сказав в письме о чужедальних странствиях, что он проходит по Амстердам-авеню, «разговаривая со своей пустой правой стороной» (7—19 января 1936 г.). А в дневнике, через одиннадцать дней после прибытия из Владивостока в Соединенные Штаты,

очутившись в непривычной для себя обстановке голливудского «рынка лжи», где легко сбываются самые фантастические миражи за счет продажи таланта, он записал (1 августа 1941 г.) о ней же: «И именно здесь не хватает Греты. Это так, как будто у меня отняли проводника как раз при вступлении в пустыню».

Их рабочее сотрудничество было многосторонним. Частично уже доводилось наблюдать Грету в разнообразных ролях — секретаря, личного представителя, доверенного посланца, пропагандиста искусства Брехта в СССР.

Но решающая линия этих отношений была творческая. Совместный литературный труд по тем принципам, которые утверждал и использовал Брехт.

Конечно, сотрудники писателя по большей части были лишь теми, кто замешивал глину, подносил, клал кирпичи или предлагал совершенствования и доделки архитектурного проекта. Главным зодчим оставался сам Брехт.

Да и в тех исключительных случаях, когда кисть мастера переиначивала чужую композицию, для нас, говоря фигурально, удары кисти Рубенса на таком полотне, разумеется, важнее, чем предварительные усилия какого-либо скромного старателя из его «школы». Ведь идеи и образцы мастера незримо питают и поиски его окружения.

Однако это ни в чем не умаляет творческого вклада рядовых соратников по искусству.

Именно в сотрудничестве с Маргарет Штеффин были созданы те многие пьесы, романы, стихи, переводы, осуществлены издания сочинений, которые перечислялись в начале книги. В течение почти девяти лет шла каждодневная совместная литературная работа. Не прекращавшаяся и не прерываемая всевозможными отлучками и разъездами...

Даже проживая месяцами в СССР, Грета постоянно получала от Брехта рукописи сочинений, находившихся в работе. Новые главы, части, сцены, пришедшие в голову замыслы, только что сочиненные стихи, только-только отстуканные на машинке «горячие» страницы.

Читала, высказывалась, исправляла, вписывала, подавала идеи, предлагала варианты. Тотчас отсылала назад. А взамен уже шли новые пакеты и письма.

Нравственный и гражданский подвиг Маргарет

Штеффин, о котором говорит Брехт, состоял в том, что, несмотря на тяжкий недуг, она не ослабляла и не снижала своего многостороннего, незаметного и повседневного служения революционному искусству. Всеми имеющимися у нее силами и возможностями вела каждодневную личную борьбу с фашизмом. Это стало для нее смыслом существования.

Творческий элемент был важнейшим в деятельности М. Штеффин. Сейчас преждевременно вдаваться в подробности. Ограничусь пока лишь еще одним авторитетным свидетельством.

Оно принадлежит Елене Вайгель. В 1957 году, в пору, когда вскоре после смерти писателя создавался известный ныне Архив Брехта, она писала отцу Греты — Августу Штеффину (8 октября):

«Что касается Греты Штеффин, одной из самых близких и ценных сотрудниц Брехта, нас также интересует, что сохранилось из ее собственных работ... В те годы иногда было трудно различить, что в совместных работах происходит от нее и что от Брехта».

Характер человека — это в немалой степени история предыдущей жизни. Кто он таков, откуда, почему и как стал таким — изначальные корни уходят к семье, к тому, что зовется родом и племенем.

Да и многие факты и линии действия настойчиво ведут туда...

ГОПХЕН

Их было две сестры — розовощекая, полная резвушка Герта и худощавая, задумчивая, тихая Грета.

Они были погодки, Грета старше только на год и четыре месяца. Сестры любили друг друга, хотя были очень разные.

Еще в детстве, пятилетней малышкой, Герта, прыгая, однажды с маху запрокинулась и упала спиной на землю, но не испугалась, а, смеясь, сказала: «Гоп!» Так ее и прозвали — Гопхен.

Грета относилась к Гопхен покровительственно, как к младшей, а та признавала ее выдающиеся способности. Грета умела фантазировать и сочинять всякие занятные истории. Когда надо было делать домашнюю уборку, она предлагала обмен: «Гопхен, помой посуду, а я тебе за это вечером сказку расскажу!» И Гопхен легко и весело мыла и перетирала тарелки, подметала пол или шуровала кочергой в печке, пока Грета сидела, уткнувшись в книгу. Иногда набирался долг не в один десяток сказок, которые в ночных потемках, когда во всем мире звучал только шепот сестры, любила слушать Гопхен.

Их мать Иоганна, домохозяйка, бравшая шитье на дом, которую в берлинском пригороде по-уличному звали матушка Ханнхен, любила сравнивать своих дочерей и проводить параллели. Особенно после того, как они встали на ноги и выбрали спутников и друзей в жизни.

Она считала, что Грета уродилась в отца, строительного рабочего Августа Штеффина.

Тот тоже не мог жить без фантазий. Еще до Гитлера вечно таскал с собой брошюрки, записался в марксисты, маршировал в рабочих колоннах, а по ве-

черам пропадал или на собраниях, или в кнайпах, забегаловках, сидя в табачном дыму и запивая пивом разговоры о политике, причем в обоих случаях являлся домой сильно покачиваясь. И с каждым годом все больше так.

А ведь Ханнхен тоже не овечка, сколько пыталась открыть мужу глаза на здоровые житейские радости, приручить к дому, внушить, что главное на нашем коротком веку, да, видно, природу человеческую не переделаешь. Здравого рассудка у Августа не хватало. Слишком азартен и слаб, чтобы жить просто, не в облаках, а на земле.

Слава богу еще, что фашисты его не тронули. Отребье это, видите ли, «прощает» рядовых рабочих! Мол, их запутали интеллигенты и евреи. Надеются потом перетянуть к себе, впрячь в свою колымагу. Им тоже нужна опора в простых людях. Ведь у нацистов партия тоже «социалистическая» и «рабочая»!

Вот Август и сидит теперь вечерами в кнайпе, наливается пивом и топит в нем какие-то свои несбывшиеся фантазии. На работу, правда, ходит исправно и к кружке там не прикладывается. Но по нынешним временам хорошо еще, если все обойдется для него жизнью по присказке каменщиков: «Ein Bier — ein Kalk»*. Если, конечно, к той поре и само пиво уцелеет.

Разумеется, это сравнение не в укор Грете. Она и восемь классов кончила первой ученицей. И на службе, где до Гитлера работала бухгалтером, в «Социалистическом обществе строителей», как уверял Август, ею были довольны. Да и вообще она умница, самая башковитая в семье. И твердого характера. Потому, несмотря на болезнь, так и преуспела, просто диво подумать. Переводчица, сколько языков знает, живет в Дании, свободной птицей, вокруг знаменитости, крупные люди. И все ее чтят.

Но только отцовская у нее натура. Слишком чувствительна, мечтательна, азартна. Часто парит в облаках, а земли под ногами не видит. Вот и оказалась на чужбине, где хоть и хорошо, да не дома. В безрассудстве часто берет дела не по силам. И при ее здоровье может надорваться, худом кончить.

---

* Порция пива — порция известки *(нем.)*.

Гопхен — другое дело. Она живет просто, как поет, себе в удовольствие, но и не в ущерб людям.

Сравнить хотя бы их личную жизнь, которая для женщины, что бы там ни твердили в книжках,— почти все.

Девушкой Грета состояла в спортивном союзе «Фихте», где группировалась активная левая молодежь. А Гопхен, хотя тоже заглядывала в «Фихте», больше по душе был тихий союз «Друзей природы». Она занималась там пешим туризмом. Матушка Ханнхен не была тогда против этих увлечений. На здоровье! Да и почему быть против? До нацистов, в пору Веймарской республики, почти все немцы, можно сказать, состояли в каких-нибудь бундах и ферайнах, союзах, обществах и корпорациях. Это было повсеместной доброй традицией. Сама Ханнхен была активисткой уличного женского ферайна.

Жизнь тогда была не в пример нынешней. Люди не ходили с глазами, как у мороженых рыб, а каждый был похож на себя. Молодежь в этих бундах и ферайнах шумела, затевала диспуты, выходила на демонстрации. Однако не забывала и о физической закалке и развлечениях. Словом, там было многое, что молодости надо для развития, полезно здоровью, а для девушек к тому же и перспективно. Ведь где же им и выбрать себе подходящих парней для жизни? Не по этим же брачным объявлениям в газетах? Воплю изверившихся бедолаг и рекламе завалящего товара: «Фрейляйн, 27 лет, гибкая брюнетка. С хорошим бюстом и талией. Созданная для домашнего уюта. Ищет партнера для основанного на вечной любви брака. Наличие детей и возраст не препятствие...» Тьфу ты, в самом деле!..

На одном из таких скоплений берлинской молодежи Грета и встретила Герберта. Это был тихий крепыш, слесарь-электрик, родом из Магдебурга. Невысокий, но телом ладный, мускулистый, с открытым лицом и дружелюбным взглядом из-под белесых бровей.

Потом вскоре с ним познакомилась Гопхен. И у них началась любовь. Но как же все это шло у них легко, обоюдно весело и с самого начала прочно! Как будто они были даже не влюбленная парочка, а брат с сестрой. Так бы во всяком случае сказали со стороны.

Такие гладкие отношения продолжались семь лет, до официальной женитьбы. А пять из них Гопхен жила с Гербертом. И Ханнхен ни разу даже не поволновалась за дочь. Она знала, что тут не может быть неожиданностей. И действительно, отпраздновали свадьбу, как только молодые накопили денег на собственный дом. А через год ровно родился Бернд, «Zuckerbübchen», «сахарный малыш», как зовет племянника Грета...

А как же она сама, Грета?

Она обожала Гопхен и ее семейство. Но к жизни у нее, как видно, были другие требования.

Еще из школьных лет Ханнхен запомнился такой разговор дочери с ее ближайшей подругой Гильдой, которая теперь, после замужества, стала Лютценгоф.

Девочкам было по пятнадцать лет. Обе учились в одной школе. Тогда впервые на поверхность начали вылезать фашисты. В одном из кинотеатров показывали нацистский фильм. Мальчишка из соседней школы, где учились многие дети коммунистов, швырнул в экран чернильницей. Шуцманы, не зная, кто это сделал, схватили первого попавшегося ученика из того места в зале, откуда бросали. Надеясь таким способом отыскать виновного. Но из этого ничего не вышло. Арестованный был исключен из школы, но не выдал товарища.

— Это возможно только среди мальчиков, но не в среде девочек,— утверждала Гильда.— У нас такие трусихи и ябеды, что обязательно бы донесли...

— А ты? Ты?! Разве ты не поступила бы, как Пауль, которого схватили! — внезапно загорелась Грета.

— Не знаю,— честно призналась Гильда.— Как-то страшно, чтобы тебя выбросили из школы! А тот, смельчак, который виноват, учился бы на твоем месте, как ни в чем не бывало... Я бы, наверное, даже не струсила, а мучилась от этой несправедливости. Ни за что ни про что быть неудачницей!.. Пусть каждый отвечает за себя. Почему тот, виноватый, не пришел и сам не признался?

— Потому, что так решил коллектив. И потому, что многие хотели бы бросить чернильницами! Да не додумались! А признание лишь обрадовало бы начальство. Сейчас все знают, что исключен не тот, кто бросал... И это поступок солидарности! — неумолимо ре-

зала Грета.— Ну, а ты? Как бы поступила, если бы надо было сделать такой выбор: предать или стать неудачницей?

— Не знаю,— сказала Гильда.— Все-таки я девчонка, а не мальчишка...

Вот тут Грета и высказала то, что, наверное, давно сидело у нее в голове:

— А ты что же думаешь, с женщин меньше спрос?! Да если хочешь знать, женщина только мускулами слабее, а духом даже сильнее мужчины! Почитай, я тебе дам книжку,— кто лучше переносит боль, голод, болезни? Кто живет дольше? Женщины, а не мужчины! Просто много веков внушали, что мы слабый пол... Вот и расплодились гусыни! С одной стороны, жалуемся, что эксплуатируют, а с другой, слабым быть лучше. Ни спроса, ни ответственности!.. Вот и все. Я бы ни за что не выдала товарища. Пускай хотя бы год держали в тюрьме, с мышами и крысами! Понятно!.. *

Этот разговор тогда понравился Ханнхен. Она сама считала себя сильнее Августа. Да и ценила в людях смелость.

Но в отношениях с мужчинами Гретины книжки, очевидно, чего-то не учитывали. Потому что в личной жизни у нее не получалось так ладно, как у Гопхен.

Непременно все с сюрпризами, сложными драмами, душевными муками. Хотя Грета терпела все молча и таила в себе. Но Ханнхен, она ведь недаром была мать, видела своих дочерей насквозь, понимала без слов.

Еще в Фихтебунде у нее был неудачный роман с тамошним молодежным функционером. Это была ее первая любовь. Грета вверилась ему, как только она одна умела, со всем жаром, целиком, безраздельно. А оказалось, что тот был ловкач. Делил любовь между двумя, не терял давней связи с еще одной девушкой из Фихтебунда. Грета написала ему гневные сти

---

* Этот эпизод в подробном рассказе передала автору книги сама Гильда Лютценгоф, разысканная через посредство сестры М. Штеффин — Герты Ганиш, во время приезда в Берлин в мае 1976 года. Подруга М. Штеффин, знавшая ее со школьной скамьи вплоть до весны 1939 года, Г. Лютценгоф сообщила много биографических фактов и сведений дополнительно к тем, что исходят от семейного окружения героини.

хи. Заклеймила опасным для пролетариата двурушником, который, предав любовь, может так же предать и товарищей по классу, и самое революцию. А потому достоин лишь презрения. И порвала с ним разом. Но долго переживала.

Как и отец, она искала ума в книжках. Тратилась из своей маленькой зарплаты, отказывая себе в необходимом. От этого частью и заболела. Осенью, в плохой одежонке, дрогла под дождями на трамвайной остановке. В тот год начался спад в городском строительстве, предвестие надвигающегося кризиса. Август долго ходил без работы. И в доме тоже было, как в погребе, на потолке сырые разводы, печка мертвая, без угля. Даже постельное белье пахло плесенью. Вот и нажила чахотку.

Уже в двадцать один год, в 1929-м, пришлось делать операцию легких. Туберкулезный очаг устранили. Но за полное выздоровление медицина не ручалась. Хворь затаилась и дремала в Грете, карауля лишь час, чтобы дать вспышку.

Ей бы угомониться. Обратить всю себя на заботу о здоровье, жить тихо, по режиму. Ханнхен не раз ее увещевала. Но эта утверждала, что у нее научное мировоззрение и что она живет разумом. А у самой в натуре было идти против рассудка. Болезнь не смирила, а словно бы еще больше подхлестнула Грету.

Она отыскала себе дела, навешала новые нагрузки. До операции еще, за год, записалась в КПГ, так называли партию коммунистов. Стала главой сразу двух групп в Фихтебунде. Молодежным групоргом и секретарем созданной ею ячейки КПГ. Так понимала Ханнхен со слов дочери.

Вдобавок в компании таких же, как она, молодых ездила по митингам на заводы. Играла там на гитаре и аккордеоне, пела и говорила речи. На Грету всюду был спрос. В той же ее упрямой натуре, видно, сидело что-то такое, что увлекало людей.

И еще Грета пристрастилась к театру.

На постановку пьесы «Мать» Ханнхен пошла вместе со своими домочадцами, к которым относился и Герберт, жених Гопхен. Ей нравилось название. И то, какая прочная и смекалистая эта рабочая мать Пелагея, хотя и слишком полезла в политику. Служанка, которую изображала Грета, на сцене тоже была не последнее лицо. Ей не раз хлопали.

На этом представлении Грету и заметил писатель Брехт.

Это было в 1932 году. Всем запомнилось, потому что в том же году была серебряная свадьба Ханнхен с Августом. И в торжественный зимний вечер Брехт уже явился в дом Греты по-приятельски, с шампанским под мышкой.

Он пробыл недолго. Может, из вежливости, а может, потому, что в комнатах было прохладно, хотя и топили больше обычного. Но Ханнхен успела его рассмотреть.

Грета говорила, что он великий человек. И что даже пьесу «Мать» написал Брехт, хотя и по книге советского писателя Горького. Но Ханнхен не нашла в нем ничего особенного. Ростом высокий разве лишь рядом с Гретой, а так скорее средний. С длинным носом, красным от мороза, худой, очки в железной оправе, волосы острижены почти на нет, как у мальчишки. Одет наподобие часовщика в уличном витринном скворечнике. Правда, взгляд из-под стекол очков острый, хваткий, держится воспитанно, скромно. Сидит, потирает сухие, красные от мороза руки. Пришмыгивает носом. Молчит.

Кто бы мог подумать тогда, что вся дальнейшая жизнь Греты будет посвящена работе с этим человеком?

Но так получилось. Уже с того момента, как Брехт устроил Грете поездку на лечение в Советский Союз, в Крым.

Потом власть забрали фашисты. И Грета вынуждена была покинуть Германию. Осела в конце концов в Дании, в приморской деревушке, неподалеку от здешнего города Сведенборг. Работает с Брехтом. Переводит, пишет.

Ханнхен дважды была у дочери, в 1934 и 1935-м вместе с Гопхен, которая выезжала к сестре в отпуск. Все последующие годы, кроме тридцать шестого, когда родился Бернд, там каждое лето бывали Гопхен и Герберт. Ездит туда постоянно и давняя подруга Греты Гильда Лютценгоф, которая работает бухгалтером на маленьком лакокрасочном заводе в Берлине. Последний раз Гопхен видела Грету, кажется, в конце тридцать восьмого года, если не в начале тридцать девятого, а Гильда — в тридцать девятом.

И каждый раз новости неутешительные. Хотя их,

конечно, и стараются смягчить перед Ханнхен. Но ее не обманешь, она и так видит. Грета дышит сырым морским воздухом, что особенно вредно для нее в непогожую слякоть. Кашляет разрывающим нутряным кашлем. И много работает. Теряет в весе, лежит с высокой температурой, в липком поту. Харкает кровью. А потом снова встает и работает...

Совсем молодая, красивая и так кончает жизнь. Бедная девочка! Хоть бы чудо какое, чтобы помогло! Ей нужен покой, тепло, хорошее питание. Нужен свой очаг. В Дании, когда была у дочери, Ханнхен видела много птиц у моря. Некоторые высоко возносятся и черными точками висят над самым краем воды и неба. Но и они имеют гнезда. А у Греты нет ничего, ни дома, ни семьи. Нет родины, даже паспорта нет. Только работа и чахотка. Вот куда увели ее фантазии, которые начинались еще в ребячестве. С тех сказочек, которые по вечерам сочиняла Грета взамен подметенных полов и вымытых тарелок...

Еще в молодые годы Ханнхен усвоила манеру повторять, что любит дочерей одинаково. Но это было неверно. Любила она больше Гопхен, та была ей ближе. Но беспокоилась и думала чаще о Грете...

Тут я прерву этот воображаемый монолог фрау Иоганны Штеффин и расскажу, как я встретился с Гопхен — Гертой Ганиш в Берлине, спустя почти сорок лет после того, как такой монолог мог бы произноситься. Это было жарким маем 1976 года.

Я знал, что где-то в берлинском пригороде живет родная сестра Маргарет Штеффин. Ей должно было быть шестьдесят шесть лет. Сотрудники Иностранной комиссии Союза писателей ГДР, очень внимательные к гостю, вызвались разыскать фрау Герту Ганиш и условиться о беседе в любом удобном для нее месте.

Я ожидал встречи с усталой от жизни, седой, как легенда, женщиной. А в назначенный ею час Гопхен приехала в Берлин... на велосипеде, проделав на нем больше десяти километров пути до и после железной дороги.

Это было как чудо, как каприз времени.

В комнату весело вошла полная, в темно-синем, с цветочками, ситцевом платье, совсем не старая еще женщина и, отирая пот с лица, сказала: «Уф, немнож-

ко запыхалась!» У нее были румяные щеки, загрубелая от солнца и вольного воздуха кожа, каштановые волосы без признаков седины, синие глаза. И вся она излучала здоровье, душевное спокойствие и немудрящую ласковую простоту. На вид ей нельзя было дать больше пятидесяти, ну, может, чуть-чуть за, с маленьким хвостиком.

«Боже,— подумал я.— Неужели это сестра, почти ровесница Греты?! Ведь и она так же могла бы сейчас ездить на велосипеде!..»

Гопхен, взаправдашняя, из плоти и крови, присев на диване, смотрела чуть выжидающе.

— Не сохранилось ли в вашем семейном архиве каких-либо писем, фотографий, любых материалов, которые...— начал я.

Дослушав, сестра Греты с пониманием кивнула и щелкнула замком темно-коричневой сумки, которая по размерам скорее была хозяйственной, чем обычной дамской сумочкой.

Оттуда она извлекла завернутый в белую тряпицу пакет.

Там было множество всяких писем, почтовых открыток, фотографий.

Потом уже я рассмотрел. Два письма Б. Брехта, помеченные 1947 годом, из Калифорнии, США. Об одном из них упоминалось выше: оно адресовано И. Штеффин, матушке Ханнхен, другое — Герте Ганиш. Как только из хаоса и сумятицы первой послевоенной поры, в которых жила поверженная Германия, дошел голос родных Маргарет Штеффин, Брехт тотчас подробно ответил им. В письмах можно ощутить самый тон отношений писателя к матери и сестре Греты.

Прежде всего бросается в глаза, насколько оба письма написаны с учетом особенностей людей, к которым обращены. Эмигрантскую драму, полную запутанных скитаний из одной страны в другую и сложных хлопот о дипломатических визах и паспортах, Б. Брехт пересказывает просто и сжато. С присущей ему суровой энергией точных подробностей, выделяя те из них, которые могут заинтересовать родных.

«...У нас были билеты на корабль,— рассказывает он во втором письме,— когда Грету пришлось положить в клинику... В Москве мы попытались обменять наши билеты, но последующие корабли были переполнены. Мы получили, благодаря особой любезности властей,

билет на корабль для Греты, который отходил приблизительно на 6 недель позже. Грета была рада, что она сможет отдохнуть в Москве для морского переезда. И она была совершенно успокоена и обнадежена тем, что обеспечена американской визой, билетом на корабль и перспективой на лечение в московской клинике, в которой у нее была отдельная комната и самые лучшие врачи Москвы. Хелли, я и дети отбыли 30 мая во Владивосток. В сибирском экспрессе я получил 4 июня известие, что Грета умерла...»

О предшествующих скитальческих бедствиях и борьбе за жизнь близкого человека Б. Брехт говорит в понятиях, которые легче всего представить простым берлинцам: «Мы переехали на лесистый остров под Стокгольмом, где был хороший воздух и где она могла хорошо питаться. Потом в Финляндии питание стало очень плохим, мало жиров, нет фруктов и т. д.».

Отношение пищущего выражается даже в таком внешнем признаке, как орфография писем.

Тут надо сделать маленькое отступление. Как известно, в немецком в отличие от других языков все существительные пишутся с большой буквы. Брехт, подобно еще кое-кому из реформаторов языка, не признавал этого правила, ему не нравилась исключительность германского правописания. Большие буквы при обозначении существительных казались ему надутыми. Вероятно, даже и тут, в этом своего рода орфографическом «бунтарстве», в Брехте говорил поэт-новатор, стремившийся расковать все языковые средства, открыв простор живому течению мысли. (В ряде стихов, к примеру, Брехт опускал пунктуацию, запятые и точки, когда чувствовал, что она тормозит целостное восприятие образа!)

Как бы там ни было, в письмах Брехта все существительные писались с маленькой буквы. Даже собственное имя он подписывал маленькой буквой «б». И это было не просто оригинальничание поэта, а многолетний принцип, ставший механической памятью руки.

Но в важном сообщении матери и сестре Греты писатель не хотел ничего, что хоть как-то могло бы затруднить чтение или, еще хуже, выпятить ненароком особу автора. Это была душевная деликатность в мелочи. Он обращался к людям, несведущим в книжных премудростях, которые могли не помнить его манеру письма. А при чтении привыкли сразу находить суще-

ствительные среди других начертанных слов. И Брехт отступает от своего постоянного правила, от своей привычки. Он пишет эти письма в соответствии с общей орфографической традицией.

Сердечная простота и внимание ощущаются во всем тоне этих писем Брехта, хотя, по обыкновению, скрыты у него за внешне сухой деловитостью выражения. Вот окончание того же письма к Герте Ганиш.

«...Я Вам писал из Владивостока,— сообщает Б. Брехт,— но ведь через 10 дней после нашего отъезда Гитлер вторгся в СССР, так что письмо не смогло к Вам дойти. Сразу после конца войны мы пытались разыскать Ваш адрес. Я опять написал на имя Герты Ганиш, Гартенбаузидлунг под Берлином, блок 22, участок 3. Мы послали также две посылки.

Я не знаю, почему все это не доходило, адреса Вашей матери у меня не было. Пожалуйста, дайте фрау Штеффин письмо, которое приложено.

Надеюсь, мы сможем скоро Вам рассказать устно, мы едем в сентябре в Европу. Мы очень рады, что Вы выжили...»

Простота изложения не отменяет высоты и сложности оценок. В письме Герте Ганиш есть такие же многозначительные слова, как и в более сжатом послании матери — фрау Иоганне Штеффин. «Грета была благороднейший человек,— обобщает Брехт,— которого можно только представить себе, крупная личность и для меня — учительница».

Из другой переписки, находившейся в пакете, выделялось последнее письмо Маргарет Штеффин к родным.

Письмо послано из Финляндии в тот майский день 1941 года, когда Брехт и его маленькая группа пересекали, наконец, советско-финскую границу по дороге через Выборг на Ленинград — в Москву.

«...Как мой Zuckerbübchen? — среди прочего не забывает спросить о племяннике Грета.— Теперь он скоро поступит в школу? Бернд, ты должен рассказать маме, что я теперь буду жить в очень-очень хорошем климате и что я, наверное, совсем смогу выздороветь...»

Через несколько дней письмо прибыло по назначению. Оно адресовано семье Ганишей, в ту самую деревню под Берлином, на ту самую улицу и дом, где гостья моя проживает и поныне.

Было в пакете множество почтовых открыток с ви-

дами немецких, а больше чужеземных местностей, ландшафтов и городов. Кратких приветов родным, отправленных Гретой в 30-е годы отовсюду, куда забрасывала ее судьба. Из Баварии, где она в 1932 году после крымского санатория жила в доме Брехтов, на Аммерзее. Из Швейцарии, из Дании...

Было, наконец, много фотографий, сделанных в большинстве во время летних отпусков, которые Гопхен с семьей почти ежегодно проводила у сестры в Дании...

«Дорогие Г. и Г. (так она звала Герту и Герберта.— *Ю. О.*), в четверг я поехала в Копенгаген, к врачу. Он не лучше и не хуже прочих. Я очень скучаю о вас. Не хотите ли вы приехать? Будешь ли ты тогда для нас готовить, Гопхен?..» — вот типичная летняя открытка 1934 года.

И Герту не надо было долго упрашивать, она была легкой на подъем. Благо нацисты до поры до времени не препятствовали свободному сообщению немцев с Данией, ни проезду, ни переписке, надеясь на «духовное завоевание» маленькой страны датчан.

Герта приезжала поездом из Гамбурга или пароходом из Киля. С Гербертом, матерью, позже с сыном. И располагалась в каком-нибудь рыбацком домике, который снимала для нее сестра. И сразу там как бы поселялась частичка родного дома, частичка Германии. Всем было хорошо и тепло с Гопхен. Она смеялась, плескалась в море, озорничала. И с таким же удовольствием готовила на всех свои мастерские кушанья — для Греты, матери, мужа, да подсобляла еще порой жившему по соседству семейству Брехтов...

Вот фотографии тех лет.

Бертольт Брехт на солнечной лужайке, в ухарски повернутой козырьком назад кепке, присев на корточки, готовится вскинуть на руки двухлетнего карапуза. А пока оба они еще застыли перед этим броском и смотрят в глаза друг другу. Это Брехт и Бернд, «сахарный малыш», сын Гопхен...

Грета с детьми Брехта, Штефом и Барбарой, летним вечером мирно устроились на приступках освещенного косым солнцем высокого деревянного крыльца дома, в котором жила в Дании семья писателя...

А вот компания отпускников барахтается и плещется в теплом море.

Снимки самой Греты разных лет, в том числе сде-

ланные в Крыму и на Кавказе, во время лечений в Советском Союзе, с надписями-посвящениями на обороте...

Кому не известно, с какой ревнивой бережностью относятся порой наследники (и в ГДР, добавлю, чаще, чем у нас) к каждому автографу и документу, которые составляют семейную гордость. И потому, просмотрев содержимое пакета, я спросил осторожно, нельзя ли скопировать некоторые материалы.

— Конечно, конечно! — с готовностью закивала Гопхен.— А если в ГДР у вас мало времени, открытки эти и фотографии можете взять в Москву... Они у нас много лет лежали, подождем, не к спеху...— И добавила чуть грустно: — Жаль, что так немного могу вам дать. В доме родителей был шкаф с вещами, книгами и бумагами Греты. Там были патефонные пластинки Эрнста Буша, которого она любила, письма, фотографии... Она ведь никогда не думала о том, что не возвратится в Берлин... Но дом был разбит бомбой... Все, что осталось от нее в семье, только у меня...

В этой ее готовности отдать дорогие для нее реликвии, память о любимой сестре, чужому человеку было столько душевной деликатности и извечного почтения простого человека к неведомому писательскому труду, что у меня запершило в горле.

Для следующей встречи Герта Ганиш пригласила меня к себе в деревню.

Был жаркий майский полдень. Солнце не просто пекло, а, казалось, выпаривало человека, добывая из него влагу, когда я очутился в деревне Фредерсдорф.

Похожие друг на друга дома из белого бетона под красными черепичными крышами, окруженные нарядно зеленеющими участками, с засаженными луком, свеклой, салатом и другой овощной приправой аккуратными грядками, с яблоневыми, грушевыми деревьями, со множеством пестрых цветочных клумб... Было несомненно, что в каждом таком одноэтажном либо двухэтажном доме есть газ, водопровод, над крышами топорщились телевизионные антенны. Между домами пролегли асфальтовые дороги.

Словом, это была одна из тех типичных немецких деревень, которые называются так только потому, что количество домов не позволяет назвать их иначе, и еще потому, что жители дышат там чистым воздухом, а работать большинство ездит на предприятия в близ-

лежащие промышленные центры. А в остальном что тебе твой город!

Впрочем, деревня Фредерсдорф была не такой уж маленькой, в чем я тотчас же убедился. Нужный мне адрес был: Гунтерштрассе, 3.

— Где находится Гунтерштрассе? — осведомился я у женщины, которая рыхлила цветочную клумбу против открытой калитки, присматривая одновременно за выпачканным землей двухлетним голопузиком мужского пола, который в нерешительности топтался рядом. Видимо, он по-своему хотел помогать матери возиться с землей.

— Гюнтерштрассе? — оживилась женщина и начала подробно объяснять.

— Не Гюнтерштрассе, а Гунтерштрассе, — поправил я.

— А-а, Гунтерштрассе!.. Гансик, перестань! — окликнула она карапуза, который тем временем начал размазывать землю по голому животу, точь-в-точь как это делают и наши пытливые грязнули. — Гунтерштрассе, тогда туда! — И женщина принялась объяснять, как найти эту улицу в противоположной стороне.

Так я проплутал с полчаса, выслушивая противоречивые соображения встречных о местонахождении Гунтерштрассе и Гюнтерштрассе. Все-таки это была деревня, а в деревнях мало кто знает улицы по названиям.

Смекнув наконец, я стал спрашивать просто, где находится дом супругов Ганиш. И мне довольно скоро ответили. Оказалось, я блуждал в трех соснах. И дом Ганишей был совсем рядом, на соседней улице от той, где женщина с чумазым голышом копалась в цветочной клумбе. Так бы мне ее и спросить!

Еще при повороте на злополучную Гунтерштрассе я увидел издали ожидающую супружескую пару. Женщина, сделав козырьком руку, высматривала на дороге запропастившегося гостя. Рядом с ней стоял полноватый невысокий старик, одетый в синий комбинезон с лямками на плечах и белую рубаху. Весь он был плотный, мускулистый, хотя и совершенно седой.

— Это Герберт, — представила Герта. — Он сейчас возился по хозяйству, маленькая авария, сгорела проводка. Он ведь электрик. Просто беда!.. — улыбнулась она неудаче мужа.

Тот, взглянув на меня, вдруг застенчиво просиял.

Ганиши стояли у собственной калитки. Их дом по сравнению с другими казался почти игрушечным. Он был сборный, из сосновых некрашеных щитов, с траурными смоляными полосами в пазах. И стоял на крохотном участке, с тремя-четырьмя яблонями и цветочной клумбой, смотревшей на улицу.

— Этот дом мы сами собирали в 1938 году,— сказала Герта.— Так и живем... Внутри Герберт все оборудовал. Даже электронасос поставил, когда ни у кого еще тут не было водопровода. Он изобретатель! И сейчас еще все новые затеи придумывает...

Слева ограда у Ганишей была снята. И на продолжении участка возвышался большой ладный дом в современном стиле Фредерсдорфа, из белого бетона, под красной черепичной крышей. И сад, прилегавший к нему, был во много раз больше, чем на клочке Ганишей. Казалось, тот бетонный домина, как огромный дредноут, надвинулся и загнал в угол общей ограды маленький смоляной кораблик-дощатник Ганишей.

— А это чей? — спросил я.

— Тот,— лицо Герты потеплело, когда она произнесла,— дом Бернда, сына!.. Да, да, «Zuckerbübchen», помните! Тоже теперь ему уже сорок. Жена, двое детей. Сам золотые руки, в него вот, наверное!— Она легонько коснулась плеча мужа.— Инструментальщик высокого разряда. Жаль, что сейчас на работе. Он в Трептове на аппаратном заводе. Каждый день в Берлин ездит... Когда ставил дом, мы, конечно, помогли. И землю, и сад выделили из своего участка. Внуки бойкие очень, часто к нам бегают. Шесть и десять лет...

— Молодым нужнее,— наставительно обобщил Герберт. — Пойдемте же в дом!..

«Да,— подумалось мне,— старикам часто достается кусок похуже. Но всякий ли примет такую несправедливость судьбы как естественный закон и долг перед новой жизнью: «молодым нужнее»?»

Мой визит к Ганишам — деловой. Со мной фотокопии вновь найденной в Москве переписки М. Штеффин и Б. Брехта. Как мы договорились, Герта, знающая почерк сестры, попытается прочесть неразборчивые места и одновременно прокомментировать по текстам тех и других писем кое-какие факты, названия, имена людей, которые помнят теперь очень немногие, если не

она одна. Интересно будет порасспрашивать и Герберта.

Но, едва войдя в дом, сразу начать с дел было как-то неловко. Да и, честно говоря, «Г+Г», как их звала иногда Грета, сами по себе заинтересовали меня не меньше мемуарных сведений, которых только и ждал от них прежде.

Мы сидим в столовой, можно сказать, у трех разных стен — Герберт на диване, Герта и я за круглым столом, но комната такая небольшая, что все мы почти в кучке, как в купе железнодорожного вагона. Сквозь отворенную дверь видна маленькая спаленка. Есть еще и кухня. Но в этом игрушечном доме все сделано уютно, со вкусом. Темно-малиновые, с лазурными и золотыми крапинками, обои, старинная, тоже темных тонов, мебель, горка-сервант с фарфоровой посудой. В углу, за моей спиной, серым оком сонно смотрит большой новый телекомбайн, сочетающий в себе, кажется, почти все основные виды бытового превращения электричества в звук и образ,— телевизор, проигрыватель и прочее. Несомненно, приобретение Герберта и его гордость.

В комнате к тому же, несмотря на уличный зной,— тень и приятная прохлада. Это тоже один из фокусов хозяев, сумевших устроить свой деревянный домик так, что ни к чему и твои кондиционеры.

Разговариваем мы о том, как меняется человек с годами, что пропадает в нем и что он проносит в себе от детства до старости.

Из беседы выходит, что во всяком случае роду Штеффин свойственна упругость характеров. Родители Август и Иоганна, ровесники, оба 1882 года рождения, прожили до глубокой старости. И до конца можно было сказать, что это все тот же доморощенный мечтатель каменщик Штеффин, а это матушка Ханнхен.

— В главном человек остается похожим на самого себя,— говорит Герберт. Он наделен юмором и явно склонен к философским выводам. — Хотите образец? Вот у меня спину ломит по утрам, все-таки семьдесят два года. А послезавтра идем в турпоход на три дня. Нельзя терять эту майскую прелесть погоду. В молодости еще, в Фихтебунде, как одна особа заманила в туризм, так и водит с собой до сих пор... В конце каждой недели один день обязательно маршируем по лесам!..

— Неужели каждую неделю!— удивляюсь я.— И кто же еще с вами ходит?

— Еще три пенсионерки,— смеется Герта.— Тоже

любительницы, наши давние знакомые. Они без мужей, вдовы. И вот он — как пастух нашего выводка!.. Здесь, под Берлином, очень красивые места, леса, озера... Одну минуточку... Все-таки сейчас полдень, время закусить! — И, исчезнув в кухне, она накрывает на стол.

Появляются полные блюда с разного вида бутербродами — с вареной колбасой, полукопченой, все местных сортов, с зельцем, с ветчиной, с сыром, с рыбой. Пузатые бутылочки с пивом. Тощие фирменные бутылки с кока-колой, с апельсиновым напитком. Немного погодя — кофейник и фарфоровые чашечки. Черный кофе.

Все это холодное застолье на немецкий лад. Но изобильное, нерядовое. Чувствуется, что для гостя здесь ничего не жалеют, хотя Ганиши — пенсионеры и такая щедрость для них, должно быть, накладна.

Мы жуем, попиваем кофе. Смеемся. А заодно и продолжаем знакомство.

По стенам — несколько фотографий. Вот брат Герберта, в скромном выходном костюме рабочего, в кругу многочисленного семейства. Он погиб позже на Восточном фронте. Это тоже было...

Слева от меня — большой портрет Греты. Короткая мужская стрижка, изможденное страданием лицо. Это снимок 1938 — начала 1939 года, когда ее последний раз видели Ганиши. И такой она теперь смотрит со стены на наше оживленное застолье.

«Солдат!» — думаю я. И в памяти возникает вдруг фронтовой снимок девушки — младшего сержанта, который мы получили в 1942 году, незадолго до похоронки. Это была Надя, родная сестра матери, ушедшая на фронт добровольцем, которая перед войной бегом носилась со мной по лестницам нашего шестиэтажного дома в Ленинграде и учила кататься на коньках на дворовом катке. Наверное, там, где делали снимок, ей приходилось несладко. Потому что, хотя пилотка у Нади и была лихо сдвинута набок, она сильно изменилась.

На Грете нет гимнастерки и пилотки, но у нее такое же исхудалое и одержимое лицо, какое было у той девушки — добровольца в 1942 году...

Потом посуда убирается со стола. И мы принимаемся за дело. Герта читает неразборчивые по почерку места в привезенных копиях писем. В меру осведомленности, иногда наперебой, они с Гербертом поясняют

факты, имена. Вспоминают о встречах с Брехтом в Дании. Его расспросы о жизни под фашистами, о том, как он проверял на приезжих новые произведения... Я успеваю только записывать.

В перерыв, чтобы хоть как-то отплатить моей добровольной бригаде за ее беспредельный энтузиазм, я делюсь собственными сведениями о Грете, добытыми из архивных источников. А заодно рассказываю о творчестве Брехта то, что, как мне кажется, может заинтересовать Герту и Герберта.

— В нынешние времена,— замечаю я, — этот писатель иногда напоминает мне хорошую карету «скорой помощи». Там, где все идет чинно и ладно, ее незаметно в потоке транспорта. Но на вызов она появляется мгновенно! И тут уж становится главной!.. Как-то я прочитал в газете. До недавних пор в Португалии, в этой глухой провинции Европы, о Брехте почти никто не слышал. Но вот там начались революционные события. И вскоре португальское телевидение передало спектакль, кажется, по первой попавшейся пьесе Брехта «Исключение и правило». Кто-то организовал «неделю Брехта». О нем начали писать газеты. Издательства выбросили на книжный рынок переводы его произведений. Театры принялись его ставить. О нем пошли молодежные дискуссии и ученые коллоквиумы. Почти в мгновение ока Брехт превратился в одну из самых популярных и модных фигур в духовной жизни Португалии!.. И так с Брехтом бывало не раз...

— А как в Советском Союзе с творчеством Брехта?— спрашивает Герберт.

— Сейчас популярность его по сравнению с серединой 50 — началом 60-х годов несколько поубавилась, стала спокойней, хотя пьесы его идут во многих театрах и издаются книги... Хотелось бы верить, что интерес пошел вглубь...

— Где эта прошлогодняя пластинка из ФРГ? — обращается Герберт к жене.— Может, вам будет интересно?

Герта, нагнувшись, достает откуда-то из-за телекомбайна крупную патефонную пластинку с фиолетовой наклейкой.

Это долгоиграющая запись стихов Брехта в исполнении западногерманской чтицы-декламатора.

— В ФРГ живет близкая подруга Греты, по имени Герта, у нас, немцев, много Герт, одни Герты!— пока я

рассматриваю наклейку, не останавливаясь, объясняет энергичная хозяйка.— Она подруга еще тех времен! Фихтебунда... Вместе с Гретой в театре играла, в «красной труппе», брехтовские пьесы... Вот теперь ей попалась эта пластинка со стихами Брехта о Грете. Вспомнила прошлое, разыскала нас и прислала в подарок!..

— Пишет, что в Западной Германии многие сейчас увлекаются Брехтом,— вставляет Герберт.— Книги, спектакли по его пьесам, пластинки со стихами и песнями... Но молодежи этого мало! Бунтующие студенты на свои деньги печатают его произведения. Появляются так называемые «пиратские издания», сделанные ...ого как!.. на свой вкус и без спроса у наследников. Для Брехта нет рамок... Его часто играют в рабочей самодеятельности. Особенно в постоянных театральных группах, с интересом к политике. Сходных с теми, в каких выступали когда-то Грета и та западная Герта! Люди стареют, уходят, а он остается!..

Герта включает проигрыватель.

Сначала — это стихи из цикла «После смерти моей сотрудницы М. Ш.».

Женский голос начинает мелодию поэтического реквиема, похожую на сдержанную скорбь шагающей похоронной процессии, торжественную печаль прощающегося коллектива единомышленников:

На девятый год бегства от Гитлера,
Изнуренная скитаниями,
Холодом, голодом зимней Финляндии,
Ожиданием паспорта на другой континент,
Умерла наш товарищ Штеффин
В красном городе Москве.

Затем, в другом стихотворении, боль случившегося целиком переключается на одного лирического героя. Потрясение слишком всеобъемлюще — затронуты мысль, воля, широкая сфера жизненных представлений, весь привычный образ действий, включая главное занятие — творчество:

С тех пор как ты умерла, маленькая, строгая,
Я брожу, ничего не видя, не зная покоя,
В недоумении натыкаясь на серый мир,
Без дела, словно уволенный.

Запрещен мне
Вход в мастерскую,
Как всем посторонним...

Мир вещей и предметов в поэзии Брехта таит и обнаруживает обычно не просто присутствие человека, его постоянную характеристику, как в традиционных «натюрмортах», но процесс проникновения человеческой мысли в реальность, активность воздействия на нее. Поэтому особой грустью овеяно стихотворение «Руины», которое читает вслед за тем сильный, притушенный скорбью голос:

Вот еще деревянная шкатулка для черновиков,
Вот баварские ножички, конторка, грифельная доска,
Вот маски, приемничек, воинский сундучок,
Вот ответы, но нет вопрошающего.

Высоко над деревьями
Стоит созвездие Штеффин *.

Раньше я, кажется, не представлял, насколько для Брехта вещи — лишь «ответы», которые получает от жизни человек. И насколько потому с уходом «вопрошающего» они превращаются в бессмысленные «руины».

Теперь на пластинке цикл — «Песни солдата революции», написанный в 30-е годы.

Голос декламатора меняется. Интонация совсем иная, боевая, маршевая. От стихов веет молодостью, избытком нерастраченных сил. Верой, что до полной победы общего дела перестрадать осталось совсем немного.

И для такой победы не жаль никаких личных жертв, невзгод и лишений:

«Мне, солдату революции, все равно, где я живу. Всякая комната, пусть темная и маленькая, нужна мне только как бастион. Только как позиция, где я устанавливаю орудие. ‖И о городах — весях не забочусь я. Я тотчас вижу, чего им недостает. В большинстве не местность плоха, а сума, которая имеет наглость властвовать над нею. Этой суме надо давать отпор. Тогда будет сносно повсюду на земле.‖ И в дружеских привязанностях также не нуждаюсь я. Потому что всегда по первому зову являюсь в свою часть. Выстроившиеся там — мои друзья. Даже если я никогда прежде не видел их. Я без труда различаю в них друзей: они готовы бороться вместе со мной...»

---

* Переводы А. Исаевой, В. Куприянова.

«Сурова мораль героев! Их нравственный кодекс в пору высшего ожесточения схватки...— думаю я, слушая звучный песенный такт знакомого стиха.— Ведь этот революционный подвижник из стихотворения Брехта сам для себя уже не плоть и дух неповторимого существа, а лишь вместилище и орудие правого дела!.. И притом это не просто рожденный поэтическим воображением образец рыцаря революции, некий призывный романтический идеал нравственности борца. Но и отражение сущего. Почти так оно и бывало нередко в действительности!..»

А на пластинке уже новое стихотворение. Декламатор чеканит крылатые строки. Это, как прямо назвал его автор, «Устав для солдата М. Ш.»:

«...Чего не забывает солдат и о чем, напротив, он помнит всегда: если преодолены трудности горных хребтов, это значит, начинаются трудности долин».

По ритму это, пожалуй, маршевая песня. И повторяющийся ее припев — бесшабашный, переливчатый. Вероятно, голос тут должен был бы состязаться с простейшим оркестровым ансамблем, может быть, аккордеоном, ударником, гитарой. Бороться с ним и присвистом, и даже ухарским покриком:

«Трудность, я дам тебе совет: не связывайся со мной! Я — солдат. Так что лучше оставь-ка ты это!»

Голос чтицы речевыми средствами прекрасно доносит музыкальное богатство стиха Брехта. Содержащуюся в нем молодую задиристую энергию, смелость заклинания, не изведавшего еще тупой боли многолетних поражений и безвозвратных утрат:

«Солдат марширует (даже если хромает). Пока он не умер, он не побежден. Место, где он лежит, можно считать отобранным напрочь.

Место, я дам тебе совет: не связывайся со мной! Я — солдат. Так что лучше оставь-ка ты это!»

Со стены смотрит страдальческий портрет Греты... На диване добродушно откинулся притомившийся Герберт... Хозяйка задумчиво разглаживает складку на скатерти...

Мы выходим во двор. Уже совсем вечер. В оранжевых снопах света, проникающих сквозь яблоневую листву, роится и пляшет предзакатная мошка.

— ...Ну, а может, все-таки послезавтра в турпоход с нами, а? — пожимая руку, спрашивает Герберт.

С материнской приветливостью глядит при расставании всепонимающая Герта.

На обратном пути к станции у меня из головы не выходили два этих близких человека и две столь разных жизненных участи — Грета и Герта.

В первооснове, пожалуй, было то самое чувство, которое поразило меня еще при первой встрече с Гертой, когда она из архивно-книжного прошлого приехала в Берлин на велосипеде. К радостному изумлению примешалась тогда и какая-то горчинка смутной обиды на судьбу за то, что она так неровно делит свои привязанности.

И за плотный счастливый день пребывания в Фредерсдорфе, когда мы в игрушечном кораблике добряков Ганишей как бы уплыли в дàли времени, сходное чувство нет-нет да шевелилось снова.

«...А та? — в какой-то момент подумал я.— Она сгорела тридцать пять лет назад. И мы не знаем даже, где похоронен ее пепел...»

Теперь мне хотелось не то чтобы поколебать какие-то звенья в неотразимой причинности этих двух жизненных исходов, хотя и это тоже. Но, скорее всего, решить для себя, а точнее сказать, заново перепроверить на двух этих судьбах вечный вопрос: как же стоит жить на земле человеку? Так ли, как Грета? Или так, как Гопхен?

Ведь, бывая в иных странах и вглядываясь в чужие жизни, мы в конечном счете думаем о своей земле и о самих себе.

Давно сказано, что судьба человека — это его характер. Истина, понятно, неполная. Поскольку не учитывает такую совсем не пустяковину, как случай. Но в главном вроде бы верная.

При всем том, что Герта казалась по характеру до прозрачности ясной, размышляя о ней, я не мог свести концы с концами...

Прежде всего — редкая везучесть этой женщины, как бы предреченная еще детским ее прозвищем — Гопхен. И явная невезучесть Греты. Что тут шло, действительно, от рока, от случая? А что от характеров, от избранного пути?

Случай милостиво относился к Герте. Это несомненно.

Хвори и недуги не липли к ней и ее семье.

Сумасшествия и беды фашизма Герберту и ей удалось пересидеть под тихими деревенскими крышами, не накликав неприятностей на себя даже подозрительной перепиской с сестрой и наездами в Данию. Видимо, слишком уж собственная их жизнь была как на ладони.

И даже пожар мировой войны лишь краем опалил семейство Ганишей. Военным мастерским нельзя было обойтись без специальности слесаря-электрика, и Герберт избежал призыва в армию. И бомбе было суждено попасть в родительский дом, а их домик уцелел среди почти всеобщих приберлинских развалин...

Мы еще очень плохо знаем, когда и как свойства человеческой натуры, заложенные с детства, так сказать, изначальное мироощущение личности, преобразуются в осознанные убеждения, в склад поведения, в мировоззрение, в способ существования.

Не исключено, что удачливость помогла Герте сберечь и пронести через жизнь в нерастраченном виде то, что сызмала составляло основу натуры Гопхен. Доброту, бессребреничество, легкость нрава, душевную простоту... В чем-то уберегла, охранила ее и не помешала стать той веселой праведницей, какой привыкли видеть ее окружающие.

«Но постой! — одергивал я себя тут. — Ведь удачливость только в ряде случаев облегчает человеку борьбу за жизнь. И вовсе не устраняет разнообразного множества других обычных трудностей на его пути.

Не думаешь же ты в самом деле, что физическое и нравственное здоровье этой семьи, ее доброе согласие и благополучие держатся сами собой? А не требуют массы каждодневных незаметных усилий? Ведь сама любовь супругов, мало не доживших до золотой свадьбы, — не просто удача, но и подвиг своего рода.

Или возьми отношения с внешним миром. Нельзя же представить себе такой картины, чтобы в пору фашизма вся деревенская округа была одинаково безучастна к тому, что Ганиши получают почту от опальной эмигрантки и постоянно навещают ее в Дании? И чтобы в атмосфере тогдашнего нацистско-патриотического угара это могло считаться похвальным для граждан Третьего рейха?

И еще важная деталь. Не кажется ли тебе, что если Брехт (судя по отзывам в письмах и дневнике) видел в простых людях, родственниках Греты, полезных собеседников и ценителей своих произведений, то для этого

были и духовные основания? Начиная с определенного сознательного выбора политических симпатий также и с их собственной стороны? *

Или взгляни чуть иначе на такой факт. Не приходит ли тебе на ум, что если Герберт за шесть лет войны не дал сделать из себя пушечное мясо, то причиной тому был не один только счастливый билет, спрос ремонтных мастерских на его специальность? Разве мало было и других желающих остаться в живых! И могло ли тут обойтись без уловок, хитростей, активных отлынивании с его собственной стороны? Без напряжения ума и воли «маленького человека» и его борьбы за жизнь против чуждой ему государственной машины? Ведь, как показало время, остаться честным и выжить для маленьких людей в ту пору нередко и означало победить.

Или помнишь еще такую черту: бескорыстную готовность этих людей стушеваться на задний план, отдать, если надо, собственное добро, так просто сказанные слова: «молодым нужнее»?..»

Много подобных вопросов ставил я себе.

И что же получилось в результате?

Выходило, что сама везучесть Герты иной раз была лишь кажущейся. Обусловленной устойчиво активным отношением к жизни.

---

* Например, в начальный период работы над романом «Дела господина Юлия Цезаря» — произведения, в главном герое которого вопреки возвышающим традиционным трактовкам писатель средствами политической сатиры изобличал основоположника «мирового цезаризма»,— Брехт заносил в дневник: «Я не очень продвинулся с Цезарем вперед, решив было, что понять его невозможно. Теперь же я получил поддержку: сюда приехала из Германии сестра Греты, жена рабочего... Она в один вечер прочла вторую книгу и нашла ее очень интересной. Расспросы Греты показали, что она почти все поняла. Беньямин и Штернберг, в высшей степени квалифицированные интеллектуалы, не поняли книгу и настоятельно предлагали внести в нее все же побольше человеческого интереса, побольше от старого романа!..» (26.2.39).

Определенным образом характеризуют семейное окружение М. Штеффин и адресованные ей письма Брехта, вроде, например, следующей концовки одного из них, где о матери Греты упоминается в связи с антифашистской радиостанцией, вещавшей на Германию: «Привет матери (Иоганна Штеффин гостила в тот момент в Дании.—*Ю. О.)*... Я должен кое-что написать для немецкой свободной радиостанции. Спроси, слушают ли они ее, что они там передают и что нравится... Покупай себе фрукты... И мед на утро вдобавок. Твоя мать тоже должна это иметь и также особо масло «вместо пушек» (18 июня 1937 г.).

И что Герта осталась Гопхен не игрой случая, а пожалуй, наперекор обстоятельствам, вопреки давлению и даже натиску среды. Свое право жить по влечению натуры она отстояла в борьбе. А судьбу ее такой, какая есть, вылепили в конечном счете характер и воля.

Вот какая получалась неожиданная парабола!..

«Но если это так,— продолжал рассуждать я,— тогда придется сделать и другой вывод. Характеры сестер в основе не столь уж различны, как это кажется поначалу. А напротив, в них много общего, хотя и выразившего себя в разных сферах. Это — стремление жить по законам своей натуры, праведничество, активная доброта...

Но где же тогда та грань, которая отделяет самого хорошего обычного человека от человека-добровольца, такого, как Грета?» — думал я.

И после некоторых размышлений и сопоставлений приходил к следующим выводам.

Все дело, очевидно, в общественных масштабах идеи, которой посвящена жизнь, и в той степени жертвы и самоотдачи, на какую способен ради нее человек. Ведь добровольцы потому так и называются, что идут туда, куда не решится пойти каждый. Развитое чувство гражданского долга, повышенной ранимости совесть или ярко выраженное призвание — это и есть, видимо, тот особенный душевный дар, который делает этих людей крупными и заметными среди других.

Джордано Бруно, давший сжечь себя на костре, врач, прививший себе смертоносную вакцину, педагог, добровольно пошедший со своими учениками в печь фашистского концлагеря... Все они были такими же солдатами идеи, как Жанна д'Арк, как Софья Перовская, как многие мученики революции.

Эти люди знали, на что шли. «Кто не горит, тот коптит. Да здравствует пламя жизни!» — восклицал Николай Островский.

«Если я не горю, если ты не горишь, если он не горит, то кто же развеет тьму?» — спрашивал Назым Хикмет.

Эти люди не терпели небокоптительства. И умели рисковать.

Вероятно, более чем кому-либо, им был ясен простой и всеобщий механизм земного существования, именуемый словом «выбор». Жизнь так устроена, что человеку постоянно приходится отказываться от одного во

имя другого. При определенных обстоятельствах обычный способ существования, обычные поступки и средства не годятся для достижения высокой цели. Вот тут-то груз на себя и берут солдаты идеи!.. Подвиг требует подвижничества, то есть разных степеней самоограничения, вплоть до самоотречения. Только такой ценой и покупается, к сожалению, любое движение человечества к истине, добру и справедливости.

Вспомнил я тут и наши давние отечественные дискуссии о так называемом «маленьком человеке».

Одни участники этих споров восхваляли «маленького человека» за его бесхитростное существование, естественное бытие. Говорили о несметных богатствах души «маленького человека», к которым что-либо прибавлять, пожалуй, лишь портить и которые чуть ли не грех растранжиривать на суету великих дел. Другие, наоборот, уничтожали само понятие «маленький человек», утверждали, что нет «маленьких» людей, а есть лишь мелкие души. Все честные люди делают одно общее полезное дело. И каждый «маленький человек» с большой душой уже по одному этому велик.

И мысль моя снова возвращалась к только что покинутому домику Ганишей.

«Эка, ведь ты высоко хватил! — осекал я себя. — Жанна д'Арк!.. Подвиг!.. Дискуссии!..

Может быть, к Брехту и Маргарет Штеффин это и имеет известное отношение. Но как-то неловко мерить книжными образцами человека, с которым недавно обедал. Да и в литературном обиходе часто все бывает значительно проще. Пусть Герта хороший человек, даже праведница, но жизнь прожила простую и неприметную. И не будь у нее такой сестры, разве стал бы приезжать к ней иностранец и вести с ней многочасовые умные беседы?!

Ого, уж очень ты расхорохорился! — сказал я себе. — Больно ты нужен Гопхен! Ведь это ты радовался полученным у нее бумажкам из семейного архива, а не она. Сама она избавлена от тщеславия, у нее в натуре раздаривать себя людям. Да и установил же ведь ты, что в характерах обеих сестер много общего...»

И тут меня поразила новая параллель. Насколько эта открывшаяся в ходе размышлений психологическая общность, в сущности говоря, в духе идеи Брехта — *о соотношении так называемых «маленьких» людей и героических личностей.*

Конечно, возможность такого рода сближения характеров двух сестер с последующим повествовательным эффектом я мог вообразить себе заранее, скажем, еще до близкого знакомства с Гертой. Но затем это ни к чему бы не повело, кроме тщетных попыток насилия над материалом. А тут не надо было ничего придумывать и конструировать. Сама жизнь подтверждала мысль Брехта на одном из примеров близкой ему человеческой среды.

Впрочем, может, как раз в этом-то и не было ничего удивительного! Ведь из каких-то жизненных источников писатель и выводит свои идеи...

Всякое деление людей по иерархическому признаку было противно плебейскому демократизму Брехта. Противоречило оно и основе убеждений писателя — его вере в диалектику.

В пьесе Брехта «Швейк во второй мировой войне» (1943) есть маленькая песенка. Ее поет стойкая чешская женщина Анна Копецка в самый тягостный момент действия, после погрома, который только что учинили эсэсовцы в ее трактирчике. Оккупированная Прага находится в глухом закоулке Третьего рейха, и, кажется, никогда не сгинет темь фашистского рабства. В песенке всего двенадцать строк, но она лейтмотив не только этой пьесы Брехта:

«Влтава по дну перекатывает камни. От трех императоров сохранились лишь усыпальницы в Праге. Великое не остается великим и маленькое малым. В ночи не больше двенадцати часов, а затем неизбежно грядет день... Времена меняются, и никакой силе неподвластно остановить это...»

Композитор Ганс Эйслер выделял эту «Песню о Влтаве» из многих совместных работ с Брехтом, назвав ее «пропетым учением о диалектике».

Вечно развивающееся, самообновляющееся, революционное начало, по мысли Брехта, заложено в самой природе жизни.

Так подходил писатель и к вопросу о соотношении «маленького человека» и героической личности.

Зерна героического зреют в обыденном. Маленькое сегодня завтра становится великим. Высшие проявления человеческого духа возникают как скачок в новое качество на основе тех же самых нравственных цен-

ностей, которые движут жизнь рядового труженика.

В пьесе «Мамаша Кураж и ее дети» (1939) немая Катрин, сознательно превращая себя в мишень для стрельбы из мушкета, предупреждает жителей соседнего города о грозящей им ночной резне. Прежде всего потому, что любит детей. А при поголовном избиении иноверцев во время религиозной войны неминуемо погибнут и дети... Это — героическая жертва, совершенная из побуждений переполняющего Катрин огромного всечеловеческого чувства материнства...

Законы натуры, на которых держится личность человека, определяют его поведение в решающий час. Человек поступает так, по видимости, безрассудно, попирая собственные интересы, потому что иначе поступить не может. Все дело в том, что высшие нравственные начала, как судьба, заключены в его собственной натуре.

Основной источник героического, по мысли Брехта,— социальные и нравственные побуждения трудовой среды; воплощаясь в высокую идею, распространяясь и усваиваясь, они становятся мотивами поведения личности.

Не только особенно восприимчивый склад натуры, но и многообразный опыт собственной жизни ведут такого человека к героическому поступку в пьесах Брехта.

Пожалуй, лишь Симона Машар, мечтательная девушка-подросток, идею подвига заимствует из книг (пьеса «Сны Симоны Машар», 1943). Но в те минуты, когда она погружается в свою любимую книгу, она как бы соприкасается с памятью народа. В униженной и обесславленной Франции, только что пережившей позор мгновенного военного разгрома и захвата гитлеровцами, юная Симона Машар читает и перечитывает книгу о народной героине Жанне д' Арк.

Несколько веков назад в пору тяжкой национальной катастрофы народ Франции выдвинул из своей среды героиню, которая повела его на очистительную борьбу за изгнание иноземцев. Сейчас другое время, но тоже пора всеобщего уныния, разброда, торжества эгоизма и корысти. И тоже нужны образцы всепоглощающей, без задней мысли о себе, любви к отчизне, примеры самопожертвования ради общего блага. Иначе, кажется, трясина неверия готова поглотить все. Нуж-

ны свои орлеанские девы, святые воители, люди-факелы, которые бы сплотили и духовно приподняли занятых суетой повседневности обычных людей...

И новоявленная Жанна д'Арк демонстративно поджигает предназначенные для немецких танков запасы горючего.

Брехт никогда не идеализировал народ. Он понимал, что настоящие условия существования не позволяют простому человеку-труженику непременно быть светочем разума и образцом всех нравственных добродетелей. Для этого еще слишком поглощает его каждодневная борьба за добывание хлеба насущного, и сама жизнь еще слишком грязна и темна для этого.

Но мысль о единстве психологической основы характеров обычного человека-труженика и героя высокой идеи, если вдуматься, получила в произведениях Брехта и такой художественный поворот.

Подлинную ценность тех или иных идей и их поборников в пьесах писателя поручено часто распознать на собственном опыте и определить их пригодность для жизни именно простым, обычным, «маленьким» людям.

Плакатно-знакомое поведение бравого солдата Швейка, перенесенного драматургом в обстановку второй мировой войны,— это лучшее подтверждение правоты Анны Копецки и сатирическое обличение гитлеровских надежд найти опору в «маленьком человеке».

Приговор писаря Аздака, забубенной головы, взяточника и неподкупного правдолюбца, оказавшегося волей случая в судейском кресле, — это лучшее признание нравственного подвига служанки Груше (пьеса «Кавказский меловой круг», 1944).

Я начал с того, что Брехту был противен табель о рангах. Конечно, своими произведениями писатель звал поступать так, как поступали Катрин, Симона Машар, Груше, равняться на солдат революции, жить так, как прожила жизнь «сотрудница М. Ш.». Но это было лишь естественное стремление художника задеть лучшие стороны человеческой натуры при обращении к широкой аудитории.

Брехт не предписывал жизни нравственных нормативов.

Он был проницателен и терпелив, этот писатель. И его, наверняка, устроило бы, если бы каждый честный

человек, исходя из запросов и возможностей своей натуры, исполнил свой долг перед собой, перед жизнью, перед людьми... Собственно говоря, для этого он и работал.

Думаю, читатель поймет меня. Когда имеешь дело с крупным художником, поневоле попадаешь под его влияние и даже на окружающую тебя живую жизнь временами начинаешь смотреть его глазами.

Так что сверка с творчеством Брехта совершилась как бы своим ходом. И, мысленно сделав ее, я понял, что тут уже почти и содержится ответ на возникший было вопрос: «...Грета или Гопхен?..»

«Блажен,— подумал я, — кто сумел выстоять, изловчиться, уцелеть и прожить жизнь так, как Герберт и Герта!.. Им все-таки везло, порадуемся этому. Но ведь многие там же, под пятой нацизма, и потом в эту ужасную войну так не сумели или не смогли... Да что там «многие»! Ведь вот и Грета, родная и любимая сестра, тоже не смогла!.. Ибо с самого начала ей было суждено иное призвание...»

СОЗВУЧИЕ

В том же письме, где Брехт выражает надежду, что М. Штеффин достойно представляет его в Москве, есть и такие строки: «Ничего бóльшего я не начинал без тебя. Только привел в порядок «Круглоголовых» для Виланда (т. е. правил пьесу для издательства.— *Ю. О.*) и писал статьи» (28 декабря 1934 — 1 января 1935 г.).

Предстоит рассказать о том, что составляло, быть может, самое главное в отношениях Брехта и Маргарет Штеффин,— об их совместной литературной работе.

Я долго размышлял, как это лучше сделать. Свести воедино все известные прежде и заново добытые факты? И сопровождать их посильными комментариями? Сумма таких сведений, несомненно, была бы внушительна.

Приведу один пример. Передо мной книга в темном картонном переплете, на которой вольной игрой шрифтов обозначено:

Bertolt Brecht
Lieder
Gedichte
Chöre
Hanns Eisler *

А на титульном листе подзаголовок: Mit 32 Seiten Notenbeilage, Paris, 1934 **.

* Бертольт Брехт
Песни
Стихи
Хоры
Ганс Эйслер
** С 32 страницами нотных приложений. Париж, 1934.

Книгу эту предоставила из своих фондов библиотека Иностранной комиссии Союза писателей СССР, когда возник интерес к «делу» М. Штеффин.

Судя по инвентарной записи, сборник поступил туда 23 июня 1953 года. (Видимо, вместе с другими немецкими изданиями сочинений Брехта — в качестве дара писателя при очередных сортировках литературного имущества М. Штеффин.)

Когда я держу в руках и перелистываю книгу Брехта — Эйслера «Песни, стихи, хоры», захватывает чувство: вот уж где действительно уместно вспомнить обращение к потомкам нашего поэта: «Железки строк случайно обнаруживая, вы с уважением ощупываете их, как старое, но грозное оружие». Это сказано по такому случаю!

Книга эта — незамедлительная реакция на события в Германии. Совместный ответ поэзии и музыки на фашистский переворот 1933 года. Это «избранное» самых лучших и сильных гражданских стихов Брехта за пятнадцать лет. Начиная с «Легенды о мертвом солдате», которая стала поводом («осквернение национальной доблести»!) для публичного сожжения его произведений в костре книг на Оперной площади в Берлине. И до совсем свежих стихов 1933 года (их особенно много), написанных уже в изгнании. Таких, как «Песня о классовом враге» или «Хоралы о Гитлере».

Все эти стихи высокой силы обобщения, крылатой мысли, страстного лозунга. Они созданы для публичного произнесения, для одновременного восприятия множеством людей. А от декламации — шаг до песни.

Как художник близкого творческого склада, Г. Эйслер словно лишь угадывает и переводит на язык другого искусства скрытую музыкальную энергию стихов Брехта. Сборник поэтому не только «избранное» поэта, но и революционный антифашистский песенник.

Особым разделом включены в книгу десять популярных зонгов (т. е. песен, исполняемых по ходу действия героями) и хоров из пьес «Мать» и «Мероприятие» (музыка Г. Эйслера). А страницами заключительного раздела естественно оказываются ноты Эйслера к текстам Брехта.

Отнюдь не каждое произведение книги было положено на музыку. И все-таки на обложке по справедливости значилось два имени: Б. Брехт — Г. Эйслер. Для тогдашнего читателя-антифашиста эта книга, распрост-

ранявшаяся немецкой эмиграцией из Парижа, лишь оформляла хорошо известное творческое содружество. Показывая крепнущий напор духа и неукротимость боевого темперамента двух родственных художников в борьбе с гитлеровской тиранией.

Примерно с таким настроением перелистывал я сборник «Песни, стихи, хоры». Но книга эта была необычна еще и в другом отношении.

Красным карандашом через всю титульную страницу на ней была начертана короткая, в одно слово, надпись: «ГРЕТА».

Возможно, это был авторский экземпляр поэта, преподнесенный той, кто, по уже цитированному свидетельству исследователя, «проделала наибольшую часть работы при издании сборника «Песни, стихи, хоры». А может быть, рабочий экземпляр самой М. Штеффин, украшенный автографом Брехта. Потому что многие страницы книги испещрены карандашными пометками, исправлениями, вычерками, вставками, уточнениями, сделанными рукой М. Штеффин.

В этих правках, затрагивающих значительную часть напечатанных текстов, и состоит уникальная особенность книги.

Скорей всего, пометки сделаны впрок, на будущее, с расчетом на последующие публикации. Уловлены не только типографские недосмотры и корректорские ошибки. На экземпляр, принадлежащий М. Штеффин, по-видимому, сведены воедино, вероятней всего предлагавшиеся ею, но почему-либо не учтенные сокращения и добавления поэтических текстов, словесные замены, варианты стихотворных строк и тому подобные сотворческие или же редакторские улучшения.

Возможно, часть этих правок и переделок не была принята Брехтом. Хотя по-прежнему казалась безусловной или во всяком случае заслуживающей дальнейших раздумий М. Штеффин, перенесшей их на свой экземпляр. Другие, может быть, возникли позднее — не поспели к корректуре или пришли в голову при последующих перечитываниях сборника в готовом виде.

Как отфильтровать, выделить и измерить в живой трепетной повседневности вклад сотрудницы Брехта? Что принадлежало ей в рукописи, до всяких машинописных страниц, в корректурах, в законченной книге, обратившееся в единое дыхание поэзии? Долгие и, наверное, безнадежные разыскания!

Даже хорошо, быть может, что в данном случае перед нами, так сказать, собственноручно зафиксированные творческие избытки. Очевидно, по большей части «особое мнение» М. Штеффин, оставшееся за бортом сборника.

По нему нетрудно оценить главное. Не говоря уж об активности самоотдачи, представить направленность и характер предложений, существо вклада, который вносила при совместной работе М. Штеффин. А обратившись к последующим публикациям произведений, сделать вывод также об органичности и приемлемости для Брехта стихотворных находок и редакторских правок М. Штеффин, с которыми он, быть может, даже и не согласился с первого раза.

Вот, например, известное стихотворение «Германия» («О Германия, бледная мать!»). В экземпляре сборника перечеркнут эпиграф, выставленный Брехтом над этим гневным обращением к отчизне — к матери, доведшей себя до такой крайности духовного одичания и варварства, что ее стыдишься: «Пусть другие говорят о своем позоре, я же говорю о моем».

Более «правоверная» и твердокаменная в идеологии М. Штеффин, очевидно, считала, что коммунистам, передовым людям Германии, антифашистам нечего стыдиться: они честно исполняют свой долг и не виноваты. Овец надо решительно отделить от козлищ. Героев от извергов. Пусть краснеют те, кто заслужил. А поэту-трибуну незачем пускать лишний туман и заявлять в широковещательном эпиграфе о «моем позоре».

Это была распространенная позиция в тогдашней антифашистской среде. Гитлер только год назад пришел к власти. Было еще трудно осознать масштабы трагедии, в которую был ввергнут немецкий народ.

Брехт видел глубже и острее. Интернациональное для него не существовало вне национального. Боль была чувством высшей ответственности, проистекающим от неразделимости судеб. Побудителем к дальнейшей активности. Одним словом, стихотворение «Германия» до наших дней перепечатывается с названным эпиграфом.

Зато в позднейших изданиях изменено начало одного из поэтических текстов пьесы «Мать». Перечеркнутое в экземпляре сборника начало зонга «Хвала революционеру» гласило:

Многие люди — лишние:
Когда их нет — лучше.
Но когда он (т. е. революционер.— *Ю. О.*)
вдали — его не хватает.

Рядом с вычерком рукой М. Штеффин вписано новое трехстишие, видимо, как более соответствующее полосе исторического развития:

Когда крепнет гнет,
Многие падают духом.
Но его мужество растет.

Не берусь, разумеется, устанавливать генеалогию этих строк. Но только в позднейших изданиях Брехта зонг «Хвала революционеру» печатается со вторым началом, а прежнее, содержавшееся в книге «Песни, стихи, хоры», приводится в качестве варианта *.

Пожалуй, особенно много замечаний, исправлений и стихотворных вставок оставил карандаш М. Штеффин на страницах сборника, где напечатаны «Второе стихотворение о неизвестном солдате под Триумфальной аркой», «Песня о классовом враге», «Баллада об одобрении мира», «Померкшая слава Нью-Йорка, города-гиганта»...

Одной из словесных замен к «Балладе об одобрении мира» М. Штеффин предлагала устранить содержавшийся в ее шестнадцатой строфе резкий несправедливый выпад против романа Томаса Манна «Волшебная гора». Это была упрямая и закоснелая предвзятость Брехта, странным образом расходившаяся с обычной умудренностью, широтой и проницательностью его литературных позиций. Якобы олимпийское спокойствие и мнимый духовный снобизм выдающегося немецкого художника не однажды срывали у Брехта неприязненные и раздраженные оценки.

М. Штеффин не разделяла этой позиции. «Волшебная гора» была в числе ее любимых книг.

Отражением некогда кипевших литературных споров и являются несколько вписанных, а точнее сказать, давленных карандашом слов, принадлежащих М. Штеффин.

Брехт в данном случае не отступил от своего мнения. Да и вообще из всех помет и даже одной машино-

* См., например: Bertolt Brecht. Werke in fünf Bänden, Band 3. Aufbau—Verlag, 1975, S. 166.

писной вклейки к тридцати строфам той же «Баллады об одобрении мира» он, кажется, учел только типографский недосмотр да корректорскую ошибку. Похоже, что, заспорив, поэт рассердился!

Зато многое воспринял, внес или творчески переосмыслил он из построчной критики и сопроводительных предложений к другим стихам. Это легко обнаружить при обращении к текстам позднейших изданий.

Например, в стихотворении «Померкшая слава Нью-Йорка, города-гиганта» в качестве ответных решений проделано следующее. Выброшены как излишне лобовые по выводам две заключительные строки восьмой строфы. Усилена энергия внезапности сообщения о катастрофе мирового кризиса в первой строке четырнадцатой строфы. Изменением строя фразы и сокращением внесена добавочная выразительность в предпоследние строки шестнадцатой и восемнадцатой строф.

Смысловые поправки сделаны в двух стихотворениях к пьесе «Мать» — «Женщинам» (шестнадцатая строка) и «Рассказ о смерти товарища» (две строки, дописанные в концовку, оценивающие психологическое состояние героя перед расстрелом, вместо прежнего несколько лозунгового финала *).

Однако, по-видимому, довольно.

Конечно, подобный путь поочередного воссоздания творческих историй произведений, над которыми Брехт работал совместно с М. Штеффин, дал бы немало. То, как человек делает свое дело, в конце концов характеризует и его самого.

Ведь сквозь только что приведенные комментарии к строкам и строфам книги 1934 года тоже обозначаются так или иначе человеческие свойства героев повествования.

Известная подверженность Маргарет Штеффин расхожей идеологии своего круга, революционная стойкость подчас вместе с нерассуждающей политической прямолинейностью. И все это при высокой эстетической чуткости натуры, для которой поэзия была родной стихией.

А рядом — один из самых проницательных умов своего времени, оригинальный мыслитель и художник. Но человек отнюдь не легкого, сговорчивого нрава, имевший свои пристрастия и закоренелые предвзятос-

---

* См.: Werke in fünf Bänden, Band 3, S. 177, 179, 180, 159, 165.

ти, повседневная работа с которым требовала характера и отваги...

Все это так. Но не стоит забывать, что М. Штеффин сотрудничала с Брехтом при написании почти десяти пьес и двух романов. Не говоря уж о совместных переводах и подготовке ряда книжных изданий (вроде неоконченного пражского Собрания сочинений).

Конечно, не от всех перипетий и этапов творческого сотрудничества одинаково сохранились документы. Иные даже в решающих моментах уже нельзя воссоздать с помощью «стенограмм творческого процесса» — рукописей, писем, дневниковых свидетельств и т. п. Во всяком случае мне пока не удалось ознакомиться с ними. Но и те материалы, которые известны теперь,— целая гора фактов!

Что же тут предпочесть? И во что грозит обернуться повествование, если далеко не исчерпывающая, пожалуй, ознакомительная экскурсия в «творческую лабораторию» одного только сборника так затянулась? Что это будет за научный фолиант, если бы даже его удалось осилить автору?

Но правомерен ли вообще такой путь? Не соскальзывает ли автор, на свой лад и сам того не ведая, в грех, за который корят обычно «производственную» прозу? Там живописуют технику и производственные процессы, вместо того чтобы описывать самих людей. Не окажется ли и тут своего рода литературоведческий вариант «производственного» очерка?

С другой стороны, творчество — чрезвычайно тонкая материя. Разговор о нем требует предельной конкретности. Да и тема этой главы именно «производственная». Как же быть?

Хорошо бы сосредоточиться на таких творческих историях, которые уже сами в себе содержат зерно сюжета. То есть, будучи событиями творческого процесса, зримо выявляют отношения и характеры обоих его участников.

Но тут-то и начинаются трудности.

Есть, допустим, постоянные и многие дневниковые записи Брехта. Иные из них — с «сюжетом». Но часто нет текстологических подробностей. Индивидуально различимых примет сотрудничества. Все растворилось в единой рукописи, в готовом произведении.

Когда герои работают рядом за письменным столом (самая частая и обычная ситуация) — на машино-

писных страницах меньше всего остается следов, способных прояснить роль каждого.

В других случаях по письмам и пересылавшимся частям рукописей (когда сотрудничество не прерывалось на расстоянии) легче расчленить творческий процесс на составляющие, увидеть фигуру каждого участника. Но нет «сюжета»...

Одним словом, дилемма не из легких.

И я немало бился над нею. Пока не остановил выбор на двух произведениях: одним из них начиналось, другим закончилось сотрудничество Б. Брехта и М. Штеффин. Во всяком случае тут есть и «сюжет», и текстологические детали, а времення́я перспектива позволит оценить развитие творческих отношений героев...

...Последней совместной работой и, можно сказать, выстрелом в упор (по Хельсинки уже толпами бродили переодетые гитлеровские вермахтовцы) был сатирический памфлет — пьеса «Карьера Артуро Уи».

Она написана в марте — апреле 1941 года. Перед самым отъездом в СССР.

В пьесе использован излюбленный брехтовской драматургией «эффект очуждения».

...Артуро Уи — главарь чикагских гангстеров. Он и его банда наняты могущественным трестом «Цветная капуста», чтобы в условиях экономических трудностей обеспечить некоторые деликатные услуги в конкурентной борьбе, требующие принуждения и физической расправы. Но, пользуясь безнаказанностью и обретая власть, Уи все более выходит из-под контроля нанимателей. И путем убийств, подлога и демагогии из безвестного голодранца становится деловым тузом, хозяином положения в овощной торговле...

«Карьера Артуро Уи» — не буквальное сатирическое иносказание, поскольку действие пьесы происходит вне сферы политики, главный персонаж — вполне заправский уголовник, городской гангстер. И вместе с тем это пародийный двойник Гитлера.

В том и состоит брехтовский «эффект очуждения». На привычное взглянуть через необычное.

Уже материал сюжетного построения заостренно обнажает и выставляет напоказ суть социального явления. Каждой ступеньке возвышения Уи соответствует широко известный момент из политической карьеры

фюрера и его приспешников, памятный эпизод создания фашистского режима (подкуп президента Гинденбурга, поджог рейхстага, Лейпцигский процесс, убийство Рема, аншлюс Австрии и т. п.).

В дневниках Брехта с редкой систематичностью и необычным для него наплывом подробностей отмечены обстоятельства вдохновенной и вдумчивой работы над этим произведением. Есть там и любопытный рассказ о том, как сотрудница Маргарет Штеффин «карала скорпионами» автора, заставляя переделывать стихотворные ямбы, которыми изъясняются персонажи-гангстеры.

Эту сцену и попытаемся теперь развернуть в воображении.

Как и в других подобных же случаях, основываться придется, разумеется, и на других документальных источниках, а не только на дневниковых записях Брехта марта — апреля 1941 года. Многие подробности исторического фона буквально перенесены, например, из комплекта газеты «Фёлькишер беобахтер» — центрального органа национал-социалистической рабочей партии за те месяцы (помню чувство, с каким впервые открыл ее в Берлине,— с таким жутковатым любопытством я заглядывал в детстве в крысиную нору; начал читать газету с марта 1941 года, тогда она печаталась на лощеной бумаге, нередко двухцветной печатью, готическим шрифтом, на многих страницах,— и не отказал себе в удовольствии погрузиться в конец — в апрель 1945 года: майских номеров в библиотеке уже не было!) или же взяты из соответствующих еженедельных журналов нацистской кинохроники «Вохеншау», просмотренных в архиве Бабельсберга...

Для представлений о жизни писателя в Хельсинки многое дал также интересный документальный фильм «Брехт в Финляндии», созданный в 1975 году совместными усилиями телевидения ГДР и Финляндии...

Хочу специально оговорить и один прием, который намеренно допускаю. Из литературных документов наиболее проникновенные слова об идейном замысле «Карьеры Артуро Уи» содержат, на мой взгляд, авторские заметки и примечания к пьесе. В предлагаемой сцене выдержки из них Брехт диктует Грете уже в апреле 1941 года—некоторые места при этом приводятся буквально...

«Приходится возвращаться к уже написанному,—

заносил Брехт в дневник 2 апреля 1941 года,— чтобы выровнять ямбы «Карьеры Артуро Уи». Ямб у меня был очень расхлябанный — я обосновывал это частично тем, что пьеса будет ставиться только по-английски, а частично тем, что моим персонажам к лицу развинченный стих. Грета сосчитала, что из 100 стихов хромали 45. И оба моих довода назвала отговоркой. Плохие ямбы заразят переводчика, а морально опустившихся персонажей, по ее мнению, можно изображать иначе, не посредством дурных ямбов. Джазовый ямб с синкопами, которым я часто пользовался до сих пор (пятистопник, но спотыкающийся),—нечто совсем иное. Он ничего не имеет общего с небрежностью — его трудно строить, он требует искусства. Но, главное, она считала, что если ямбы не будут ровными, пострадает эффект очуждения...»

Через пять дней, 7 апреля 1941 года,— другая запись в дневнике: «Грета карает меня скорпионами из-за ямбов «Уи». Чуть ли не целую неделю сижу я теперь над этим. Она все еще не хочет дать мне успокаивающих заверений. Ведекинд *, рассказывает она между делом, всегда нагружает смыслом любую строку. Конечно, ровный (!) ямб — шаг назад после синкопического, которым я пользуюсь обычно. Но тут он на месте...

Хорошенькие письменные упражнения! — срывается у Брехта.— Вчера начались немецко-сербская и немецко-греческая войны».

Попытаемся разобраться, что же здесь происходит.

...Прежде всего — как же изменились роли за девять лет их сотрудничества!

Куда делась эта робкая неуверенная девушка из рабочей самодеятельности? Она, считавшая невозможной сказкой для себя даже мысль о работе с этой литературной знаменитостью? Вместо нее — непреклонная наставница, отмечающая литературные ошибки?

А он сам, всезнающий метр, мудрец и мастер скептического парадокса, кто он теперь? Мягкий воск в руках педагога, малоприлежный ученик, стремящийся увиль-

---

* Франк Ведекинд — немецкий писатель, драматург конца XIX — начала XX века, драматургическое мастерство которого высоко ценил Брехт.

нуть от неприятного задания. Возможно ли такое?

Он сам придумал этот сценический прием: в некоторых его пьесах душа героя делится на два персонажа. На два начала, из которых реально состоит. Деятельное и рассуждающее, доброе и злое, доверчивое и подозрительное, творческое и критическое... Один человек превращается на сцене в двух героев. Как любопытно следить за такими метаморфозами!

А оказывается, две эти ипостаси могут образовываться и возникать в самой жизни. И именно поэтому тянуться друг к другу в мысли и в творчестве. («Я только одна половинка»,— писал Б. Брехт М. Штеффин в одном из писем конца 1934 года.)

Впрочем, пьеса есть пьеса, а жизнь есть жизнь. Роли в ней не закреплены так строго, порой диаметрально меняются. А отношения героев многообразны.

Однако в данной сцене функции каждого заведомо определены.

Итак, посмотрим же...

...За тяжелым дубовым столом (финны любят вековечную крестьянскую мебель), на таком же необъятном, добротно сколоченном стуле пристроилось нечто, завернутое в серую пуховую шаль. Лишь отчужденно и выжидающе торчит острое исхудалое личико.

Брехт, в серо-голубой куртке, будничный и помятый, будто невыспавшийся, стоит у окна с кипой машинописных листков в руке. Он реально ощущает их вес, оттягивающий руку.

А ведь еще вчера эта рукопись была легкой, как радость. И каждая из сотни страниц, отпечатанных на машинке, с тщательно расчерченными вставками и аккуратными вклейками, даже внешне казалась красивой, исполненной тайны. (Он питал слабость не только к хорошей бумаге, но и к виду завершенного текста.)

И вот теперь все снова порушено, обращено в хаос. Изъязвлено замечаниями, с приложением даже бухгалтерских подсчетов, которые так в духе этого оскорбительно чуткого на фальшь гномика: из 100 стихов 45, оказывается, хромают!

— А что, Мук,— еще ищет выхода он,— если мы отправимся в Штаты и пьеса все равно будет переводиться — какая разница что за ямбы?!

— Конечно, если господин Брехт пишет на потребу, тогда все все равно,— вещает она бесцветным голосом.

— Ну, а серьезно, Грета! — он делает два шага к столу. — Мы сидим на чемоданах. Носимся по посольствам за документами. Под окнами маршируют переодетые земляки. Того и гляди втянут в войну Россию... А я буду заниматься упражнениями в версификации! Не слишком ли это, Мук?

— Тогда надо стрелять или бежать! — отстраненно улыбается она спекшимися губами. Он коснулся больного места, не следовало упоминать о посольствах. Грета мнительна. Она и так извелась, что общий выезд затянулся из-за ее документов, все откладывается из-за проволочек с ее визой. — В обоих случаях не приходилось бы агитировать писателя писать!

— Но, Грета, — поправляется Брехт. — Пьеса о Маляре написана на одном порыве, в три недели. Разве это не производительность? А ты ворчишь, Мук!..

— Ну вот, другое дело! — становится видно, что импортная оренбургская шаль скрывает хотя и изнуренную болезнью, исхудалую, но еще молодую переживающую женщину. — Стихам нет дела до того, что мы сидим на чемоданах!

Брехт с чувством шлепает о стол свою исчерканную рукопись.

— Чудовищно!.. Но почему эта скудоумная нечисть должна изъясняться гладким классическим стихом?!

— Не классическим, а ясным!.. Не ты ли сам говорил, что весь мир нынче растерян перед кошмаром великих политических преступлений главарей фашизма. И искусство обязано дать ответ на загадку... Позавчера у книгопродавца Олсони я опять слышала спор: может ли Гитлер не быть великой личностью, если он заворожил всю Германию и захватил пол-Европы?..

— И кто там философствовал? — интересуется Брехт.

— Спорили в конторке, за чашкой кофе, когда я заходила насчет «Доброго человека из Сезуана». Видимо, приятели Олсони, два шведа и финн... В сущности, все то же, о чем ты хорошо сказал. Ослеплены романтическими представлениями, которыми всегда окружены выдающиеся преступления. Грандиозные убийства, массовые завоевания... Чингисханы и прочие потрясатели вселенной! Гитлер тоже отнесен к гениям тьмы... Я сразу же вспомнила рукопись, — Грета между делом бережно подравнивает распавшиеся веером страницы. — И подумала про себя, с каким мастерством

сдираешь ты подобную драпировочную ветошь! Заставляя повториться и ожить национального вождя и провидца в фигуре базарного гангстера... Послушала добропорядочных скандинавов среди книжных стеллажей. И еще лучше почувствовала, это блистательная находка, Биди!..

— Биди...— добавляет она ласково.— Биди...— Она употребляет имя, которое Брехт придумал еще в молодые годы и которым звали писателя лишь самые близкие.

— Угу!— иронически отзывается Брехт.— Вот если бы к классику так же благоволил книгопродавец Олсони! «Добрый человек из Сезуана» давно бы был издан и распродан. А то этот дегустатор все еще даже не сыщет времени, чтобы прочесть пьесу... Понимаешь, Грета, я все знаю. Смешно ждать другого. Но я устаю писать в стол. «Карьера Артуро Уи» — уже седьмая пьеса, которая в настоящее время не может быть поставлена. Пишется в пространство, без расчета на реального читателя и зрителя. Обречена не видеть сцены. Ложиться в ящик. Желтеть в листках. Садиться в одиночное заключение. Седьмая! Мучительно, обращаясь ко всему миру, бормотать себе под нос! А ты говоришь — стиль, речевые характеристики, ямбы!..

— У тебя в заключении пьесы, а многие сидят в одиночках сами!— замечает Грета.— Что-нибудь произошло, Биди? Отчего такая хандра?

— Ну, и о чем еще спорили у Олсони? — осведомляется Брехт. Он стоит, снова отвернувшись к окну. И кажется, безучастно наблюдает улицу.

Настроение сегодня и вправду неважное. Когда кончаешь крупную вещь, над которой изнурительно и без оглядки работал, чувствуешь себя пустым, выплеснутым. Иногда тошно, как после глупой ошибки.

— Шведы,— не оставляет между тем Грета,— настроены свободней, чем финн. Вроде социал-демократов! Но и они не видят основы фокуса, что обращает людей в волчью стаю. Твердят одно — об озверении эгоизма. Я сказала свое мнение насчет внутреннего единства капитализма и преступления. И гитлеризма как крайней формы организованного классового насилия. Но они только поморщились — мол, примитивно, слесарный набор!.. Фашизм для них социальная патология, вроде нарыва на здоровом теле...

— Весенние чирьи, какие бывают у некоторых подростков?!— с мрачной ухмылкой вставляет он.

— Чего не привидится из уютного окошка, все-таки Швеция сотню лет не воевала!.. Не признавать же, что фашизм спасает все те же социальные основы. Диктатура преступников для спасения преступного строя! Пусть лучше — «болезнетворное образование», «психопатология», «национальное умопомрачение», «социальная шизофрения»! — Она становится все красноречивей.— И фюрер, естественно, для одних — великая личность, «гений тьмы», для других — патологический сумасброд, кретин и невежда, действия которого лишены всякой логики... Так думают многие демократы, надо полагать, и в Америке... Я это к тому,— прибавляет она мимоходом,— что плохо свинченный, заикающийся стих в устах гангстеров поневоле отдает дань таким настроениям. Делает преступников идиотами...

— Опять ты про эти ямбы?! — морщится он.

— Ты же прекрасно понимаешь, Биди, что дело не в ямбах,— горячо возражает Грета,— а в толковании сущности политического преступления, в понимании природы фашизма... Невольно затемняется концепция пьесы!

— А почему, Мук, ты не донимала так, когда мы расставляли действующих лиц, проговаривали сюжет, точили реплики?.. Идея давно уже была ясна. Помнишь? — повторяя понравившуюся мысль, он постепенно одушевляется.— Великих политических преступников непременно следует выставлять на всеобщее обозрение, и прежде всего на посмеяние. Ведь они прежде всего вовсе не великие политические преступники — просто их руками творятся великие политические преступления, а это далеко не одно и то же... Надо разрушать почтение к убийцам!..

Неожиданно приходит в голову новый поворот мысли, развивающей ее дальше.

— Может, еще вот так? — бросает он взгляд на Грету.— Запиши... Это может, пожалуй, пригодиться к сценическому пояснению для будущих спектаклей...

Но ей не надо напоминаний. Карандаш — в руках, а ее самой уже нет в комнате. Мук исчез, растворился в воздухе. Она теперь только бессловесное существо. Тишайшая из тихих и незаметная из незаметных немецких стенографисток.

— Господствующие классы современного государства,— диктует Брехт,— по большей части пользу-

ются для осуществления своих предприятий весьма заурядными людьми... Подчеркни это!.. Даже в особо важной области экономической эксплуатации нет необходимости в исключительных дарованиях. Трест ИГ-Фарбен, ворочающий миллиардами, использует незаурядные таланты лишь в одной-единственной форме — он их эксплуатирует; сами же эксплуататоры, кучка людей, в большинстве случаев получивших власть по наследству, сообща обладают некоторой хитростью и жестокостью, однако их невежество не наносит им коммерческого ущерба, как не помешало бы им и случайное благодушие кое-кого из них... Теперь дальше!.. Политические дела они препоручают людям, которые нередко отличаются еще гораздо большей глупостью, чем они сами. В своре чиновных убийц и преступников, составляющих высший управленческий штат фашистского режима, не приживаются белые вороны. Здесь нужны ловкачи и манипуляторы, а не интеллектуальные гиганты!.. Так называемые вожди производят впечатление величия благодаря размаху их предприятий. Но самый этот размах свидетельствует лишь о том, что путем насилия и подкупа было мобилизовано великое множество умных людей, так что кризисы и войны выставляют напоказ нравственный уровень населения... Пожалуй, так!..

Брехт делает круг по комнате. И упругим щелчком рукоятки включает стоящий на столике у окна черный ящичек переносного радиоприемника.

Выжидает, пока греются лампы.

До недавнего времени этот приемник не имел доступа в рабочий кабинет. Его место было только у изголовья постели. Брехт слушает его на рассвете, едва просыпаясь; поздним вечером, отходя ко сну; по ночам, когда бессонница.

Старенький черный ящик лампового приемника — его друг, к которому он относится как к живому. Зеленый зрачок индикатора, светящийся в темноте,— глазок всего мира, с которым остаешься в такие минуты наедине. Тогда разговаривает вся планета.

До последних дней приемник-друг никогда не переступал порог кабинета. Во время работы Брехт не позволяет себе роскоши отвлекаться ничем. Но очень уж обострились события в мире. Гарью запахло совсем рядом. Стало тревожно. В эфире и прессе настойчиво замелькали слухи о готовящемся нападении Германии на

СССР. Нет сомнений, что Финляндия в тот же час выступит на стороне Гитлера. И они могут тогда в мгновение ока оказаться в захлопнутой мышеловке.

Да и день сегодня все-таки не совсем рабочий. Закончена пьеса. И надо решать, что с нею и куда плыть дальше, как говаривал в таких ситуациях весельчак и работяга Эрнст Буш, один из их боевого песенного трио. Эйслер в Америке, а где Буш?..

Первые фразы из эфира... С волны, которую Брехт слушает, засыпая и просыпаясь. Это — голос их родины, голос врагов.

— Заголовки новостей...— состязаются женское патетическое контральто и мужской мужественный бас.— Выступление фюрера... Лондон — сплошное море огня... Уничтожающее поражение британцев в Африке... Сердца и моторы для победы... Страдания немцев в Греции... Салоники — оплот еврейства на Эгейском море... Антинемецкие выступления в Югославии... Мемуары современного подвига: «Флот завоевывает норвежские фиорды», предисловие гроссадмирала Редера...

— ...Если повседневная ложь некоего Черчилля перед своим сфабрикованным парламентом будет забыта,— делает красочную вводку диктор,— то эта речь даст последующим поколениям представление о том, какая неизмеримая уверенность и сила исходили от выступлений фюрера, как неколебимы они были с точки зрения истории и будущего... В этой войне, навязанной немецкому народу Англией,— сказал фюрер,— нет выбора. Лисам британской империи не по нутру сильная немецкая нация. Они хотели бы вернуть Германию к средневековой раздробленности и хаосу 1648 года, эпохи тридцатилетней войны. Мы были заняты восстановительной и созидательной работой. Никому не мешали! Но коекому не по вкусу, что мы железной метлой вымели отовсюду людей с красными и черными воззрениями, марксистов и плутократов, чтобы снова были прусские чиновники, которые известны во всем мире своей приверженностью к исполнению долга. Ибо порядок, железная бережливость, простота и любовь к родине — в крови нашего народа. В короткий срок мы восстановили славу отечества, честь немецкого солдата и чистоту в наших городах... Хотим ли мы, чтобы все немцы были равны и каждый честно ел свой кусок за общим столом? Я просто твой рупор, германский народ, и

больше ничего! Наши противники хотят, чтобы Германия погибла, но я могу дать только один ответ: Германия будет жить!..

Брехт, присев на кончике стула и сосредоточенно глядя в пол, выслушивает патетическую декламацию. Эти истошные откровения уголовника, который в своих целях взбаламучивает самые древние и темные инстинкты — национальную привязанность масс.

Потом, словно перепасовываясь, дикторы попеременно и наперебой читают информацию текущих событий.

В ней даже ребенку заметно настораживающее несоответствие. Немецкий барс, победоносно попирающий великие просторы от пустыни Сахары до норвежских фиордов, неожиданно предстает в роли беспомощного котенка, когда речь заходит о двух небольших странах — Греции и Югославии. Там, видите ли, травят, преследуют и даже чинят зверства над немцами. Еще пример скудоумия! Даже в предлоге для разбоя не могут изобрести ничего нового. Хотя так уже было тысячу раз. С Чехословакией, Польшей, Данией, Норвегией...

— Видимо, настал черед Эллады! — замечает Брехт.

А радио уже передает обычную берлинскую коммерческую рекламу. Как же переменился голос дикторов! Куда подевались мужество и патетика! С легкомысленным кокетством переливается контральто. Нотками домовитой наставительности рокочет бас.

Тут — совсем другое, дом, а не арена военных действий, семья, а не производство. И за броней государства каждый честный подданный может спокойно устраивать свое гнездо и потреблять радости жизни. Даже тоном дикторских голосов как бы внушает реклама.

— Для удобства любителей музыки: с любого момента вы можете приобрести годовой абонемент в Берлинский концертный зал. Очередной талон — фортепьянный концерт из произведений Франца Листа...

— Страдаете ли вы грибком на ногах? У многих он есть, но они не знают об этом! Покупайте очень надежное средство «Овис».

— Добавляйте при стирке «Бурнус». Хорошо очищает грязь, делает воду мягкой. Сберегает половину моющих средств и мыла. Экономит половину работы при стирке. Бережет белье.

— Облегчи свою участь! От всех случайностей жиз-

ни можно обеспечить себя, если застрахуешься! Свыше 40 миллионов людей признали это. Члены страховых обществ стоят друг за друга, если становится туго. 23 различными видами страхования обеспечивают немецкие страховые общества уверенность и защиту во всех областях частной и общественной жизни...

Брехт выключает приемник.

— Вот оно, живое очуждение, ничего не надо выдумывать!— говорит он.— Кандидатов в покойники страхуют от всех случайностей! Да еще заботятся, чтобы не было грибков на ногах! Безумие, ставшее бытом миллионов!.. И вот еще загадка — почему они так чертовски любят Листа?! Ты заметила, Грета? Посмотри любую кинохронику. Пачками сыплются с самолетов и летят к земле бомбы... Ведутся дальнобойные обстрелы... Как карточные домики, рушатся и летят на воздух города... Горят и тонут суда... И все это развертывается обязательно на фоне классических мелодий. Плывущих, врывающихся, останавливающих момент и возвышающих! Притом очень часто — Листа! Прелюдий, а то и частей из «Фауста»... Почему? Видимо, изощренные порывы духа и глубокая мысль даже предпочтительней, чем фон разгула страстей и ярости богов, выражаемый, скажем, Вагнером. Тут есть над чем подумать!.. Классика сообщает картинам разбоя некую величавую окраску!.. Ну, что же, давай работать, Мук!

— И что будем делать?

— Как — что? Усиливать эффект очуждения, выпячивать смысл этого скудоумия! Обряжать урку под государственного деятеля! Точить ямбы под классику...

Брехт присаживается рядом. И они начинают, как он говорит, «вместе проходить текст». Стих за стихом, страницу за страницей.

Перечитывают, обсуждают, спорят. Брехт тут же прикидывает на отдельных листках возможные варианты. Грета уточняет, изредка пишет свою версию...

Часто Брехт надолго замолкает. Вскакивает, прохаживается. Или сидит, отчужденно замкнувшись, будто один в комнате (Грета умеет замереть, исчезнуть). И потом, вдруг очнувшись, пишет, пишет.

Так медленно продвигается первая обзорная «проходка». Лишь изредка в согласном общем молчании переворачиваются бесспорные страницы.

Почти неделю вместе с Гретой и один дорабаты-

вает Брехт «Карьеру Артуро Уи». Доделка стихов, казавшаяся поначалу не столь уж важной, заняла треть времени, за которое писалась пьеса.

Впрочем, как всегда, разохотившись, Брехт сделал гораздо больше того, что первоначально входило в общие намерения.

Наконец довольны оба.

Отдавая на перепечатку той же Грете искореженную, перелопаченную рукопись, Брехт вспоминает свой прежний вопрос:

— А почему все-таки проблема ямба образовалась только в конце работы, Мук? Или эти стихотворные перекосы и оглупления не были прежде так заметны?

Намеренно играя самое себя этак десятилетней давности, Грета отвечает на берлинском диалекте, которым пользовалась еще во времена первого их знакомства. Вот она сидит, прямодушная молодежная активистка с рабочей окраины:

— Знаешь, как говорили у нас в берлинском обществе строителей? Не кричи каменщику под руку — невзначай еще кирпич на голову обронит!.. А строительный мусор убирают из готового здания,— туже запахивая шаль, лукаво смеется Грета.

Она довольна. Она оправдала звание сотрудницы Брехта...

Примерно так выглядела их работа, когда жизнь текла по обычному руслу. Никто не был в отъезде. И не надо было изобретать дополнительных способов для продолжения сотрудничества.

О постоянстве и внутренней притягательности таких занятий свидетельствуют дневниковые записи, которые Брехт начал регулярно вести с конца июля 1938 года.

В этом дневнике, «рабочем журнале», как в манере труженика окрестил его Брехт, имя Маргарет Штеффин встречается часто и в различных контекстах.

Тут и записи о том, каким содержанием привлекал занявший более полугода кропотливый совместный перевод с датского объемистых воспоминаний Мартина Андерсена-Нексе («...есть прекрасные места, где изображена солидарность неимущих» — 25.7.38). И как М. Штеффин реферировала документальные источники для задуманной и незаконченной Брехтом пьесы

«Жизнь Конфуция» («Грета... находит все это невероятно реакционным» — 14.1.41). И о том, как она поддерживала нетрадиционную направленность другой совместной работы — над романом «Дела господина Юлия Цезаря» (один из примеров,— через сестру — мы уже знаем), которая не по вкусу пришлась блюстителям книжных заветов из окружения Брехта («...Грета дала почитать некоторым немецким рабочим то, что уже написано (три книги)... Их интерес, собственно говоря, побудил меня к продолжению работы» — 7.12.39)... и т. д.

Ограничусь выдержкой, хронологически недалеко отстоящей от происшествия с ямбами «Артуро Уи».

11 июня 1940 года Брехт заносил в дневник: «Сейчас прохожу в десятый раз «Доброго человека из Сезуана», слово за словом вместе с Гретой. Ревностно защищаю свою первую половину дня. За последнее время с тех пор, как известия настолько плохи, задумываюсь даже, надо ли включать утреннее радио. Этот маленький ящик стоит рядом с постелью. Мое последнее движение вечером — его выключить, мое первое движение утром — его включить».

Не правда ли — и обстановкой действия, вплоть до знаменитого лампового радиоприемника, и занятиями героев,— как напоминает это недавнюю сцену! В другой ситуации, но нечто похожее возникает и развертывается перед глазами...

Однако далеко не всегда они находились в одном городе и даже в одной стране. Что же было тогда?

С помощью обнаруженной в Москве переписки можно воссоздать в общих контурах один из интересных эпизодов — работу над «Трехгрошовым романом».

Придется снова поступиться хронологической последовательностью событий, чтобы присмотреться, как осуществлялось сотрудничество, так сказать, на расстоянии. Вспомним момент, когда после счастливого лета 1932 года в Крыму и на Аммерзее, в Баварии, Грета вернулась в Берлин. А через несколько месяцев случился фашистский переворот, Грета тогда принимала курс лечения в Швейцарии.

Брехт, проделав серию похожих на метания переездов через Прагу, Вену, Швейцарию, Париж, уже в июне 1933 года обосновался с семьей в Дании. Здесь

тем же летом он принимается за новую работу — «Трехгрошовый роман».

Сам ее разворот превзошел ожидания писателя, а тем более М. Штеффин. Несмотря на суматоху эмигрантских скитаний, Грета продолжала выполнять издательские и творческие поручения Брехта. Сотрудничество, начатое летом 1932 года, не прекращалось.

Более того, бедствие, уравнивавшее цели и судьбы, лишь острее проявило духовную общность. И, вероятно, сделало процесс интенсивней.

Из секретаря на все руки и ценителя написанного недавняя берлинская энтузиастка и полузнайка сноровисто и быстро вырастала в профессионального редактора произведений Брехта. Все более ощущалась ее повседневная незаменимость в работе.

Замысел «Трехгрошового романа», при кажущейся его литературной производности для автора «Трехгрошовой оперы», отвечал моменту. Что означало теперь иными художественными средствами переосмыслить и выразить тему известной пьесы?

Это не могло быть механической переделкой — переложением куплетов и сцен «Трехгрошовой оперы» в прозу «Трехгрошового романа». С учетом только что преподанного исторического урока, утверждения фашистского разбоя в Германии, писатель ощущал потребность выверить и углубить волновавшую его тему — связи капитализма и преступления.

(Отметим эту устойчивую последовательность интересов, по-своему отозвавшуюся позже в пьесе «Карьера Артуро Уи». Антифашизм Брехта вырастал на глубокой основе принципиального антикапитализма. Так что исследование разных видов и сфер преступлений капитализма красной нитью проходит через все годы их сотрудничества. Можно сказать, от первой вещи до последней.)

Если в «Карьере Артуро Уи» дан художественный чертеж механизма государственного возвеличивания и политической природы вождизма, то «Трехгрошовый роман» обращен по преимуществу к сферам экономики и нравственности того же социально-экономического строя.

«Трехгрошовый роман» — сатирическое произведение. Основа его — сарказм. Подобно тому, как всякое вещество можно разложить на немногие химические элементы, — сходную операцию совершает язвительный

смех автора над самыми сложными и запутанными, казалось бы, явлениями общественной жизни.

В романе взаимодействуют, соперничают, грызутся, заключают полюбовные сделки несколько сплоченных объединений власть имущих, представляющих разные стороны жизни и функции буржуазного общества. Его мораль, торговлю, морской транспорт, полицию...

Один из главных героев — Джонотан Пичем даже человеческое сострадание и филантропию сделал видом предпринимательства и организованного грабежа ближних. Само выпрашивание милостыни возвел на рациональную основу, создав «Трест нищих». С картотекой в шесть тысяч постоянных работников, с изготовлением всевозможных искусственных увечий, с выдачей напрокат лохмотьев, рубищ, шарманок и прочих орудий производства, с изучением колебаний общественного сострадания и т. д. Нечто вроде огромного городского муравейника, куда каждый попрошайка волок долю дневной выручки.

Его противник (а заодно и зять) Бекет, он же Мэкхит, на свой лад служит обездоленному люду. Он насаждает так называемые Д-лавки, где товары продаются по самым дешевым ценам.

Впрочем, обнаруживается, что Д-лавки — лишь сбытовые пункты краденого, которое поставляет подпольный концерн во главе с тем же Мэкхитом. Неудавшийся налетчик «оказался недюжинным организатором. Всем известно, что в наше время пальма первенства принадлежит организаторам»...

Сталкиваются, дерутся, попирают законы, совершают убийства конкурирующие группы, якобы радеющие о благе общества. А ответчиком, публично повешенным на площади, оказывается безногий солдат Фьюкумби. Один из немногих честных людей и неподдельных инвалидов войны в «Тресте нищих»... Вчерашние супротивники примиряют интересы на базе созданного ими «Национального депозитивного банка»...

«Сколь часто самые сложные предприятия сводятся в конечном счете к двум-трем простейшим, с незапамятных времен практикуемым приемам!» — говорится в романе. Обстановка погони за наживой рождает организованное преступление в национальном масштабе (а разве не таковым по существу и являлся фашизм?)...

Итак, лето 1933 и последующий 1934 год... Брехт, за вычетом деловых заграничных поездок, находился в основном в своей датской рыбачьей деревушке Сковсбостранде. Грета кочевала — после Швейцарии жила в Париже, в Дании, потом долгие месяцы проводила в Советском Союзе, в Москве, Ленинграде, в Грузии. И тем временем своим чередом шло интенсивное сотрудничество.

Среди прочего они работали над «Трехгрошовым романом». Уже августовские письма 1933 года полны все нарастающих упоминаний:

«Мои «маленькие истории» ты можешь спокойно сбывать,— пишет Брехт 5 августа 1933 года,— может быть, базельцам. Социал-демократам в Цюрихе, о которых говорил Брентано («друзья книги» или что-то в этом духе)...

В ближайшую неделю я пошлю тебе треть «Трехгрошового романа». Надеюсь, ты пропесочишь его тогда неравнодушно...»

«Из М[осквы] в эти дни здесь был Иллеш *,— сообщает Брехт 11 августа,— чтобы пригласить меня на конференцию в М. в конце сентября. Теперь хорошенько обрати внимание: Иллеш подготовил бы для тебя разрешение на въезд...

Треть романа у меня уже есть,— информирует он.— Вышлю тебе, возможно, завтра.

Пришли мне части «Остроголовых», которые вновь обнаружены!

Выбрасывай спокойно, если что плохо в смысле красивостей!.. Твое последнее стихотворение я положил на гитару».

То, что казалось тогда третью романа, было отослано точно по графику. Сам Брехт еще не придает этой работе большого значения. Вещь как вещь. Пишется отчасти и потому, что прозу в сравнении со стихами легче переводить на другие языки, а значит, и распространять в условиях эмиграции. Автору еще не до конца ясно, какой серьезный оборот примет эта, казалось бы, простая перелицовка темы из одного жанра в другой. И какую способность к саморазрастанию проявит в дальнейшем «Трехгрошовый роман».

---

* Бела Иллеш — венгерский писатель, с 1923 года жил и работал в СССР; в 1925—1933 годах был секретарем Международного объединения революционных писателей (МОРП).

Тем не менее уже 18 августа летит нетерпеливый запрос:

«Мне любопытно, что ты напишешь о романе. Я хотел бы его поскорей закончить и потом заняться чем-нибудь другим, более важным. Правда, к концу (каким бы ни стал он длинным) и при корректуре ты должна мне помочь, не только переписыванием. Кстати, договор я имею, он стал вполне приличным...

Итак, мы умрем с голоду немного позднее, старая Грета...

Попутно, что касается Эйслера. Скажи ему, больше всего меня интересовала бы теперь оратория для радио. Я буду время от времени посылать вам что-нибудь для аккордеона...»

Но что же конкретно должна делать М. Штеффин с кусками неоконченной рукописи? Ее ответы с деловой стороны, как видно, не удовлетворяют автора.

Целенаправленный и точный, как и во всем, Брехт уже в следующем письме М. Штеффин стремится поставить сотрудничество на базу четких принципов. Вот почти целиком письмо от 22 августа 1933 года:

«Дорогая Грета.

Критика хороша, но слишком кратка и мало развернута. (Ей так же, как и роману, еще недостает определенной солидарности.) Ты должна еще ответить на все мои вопросы. И ничего не сбрасывай со счетов, что тебе не нравится! Особенно: отсылай обратно всё, партиями, и именно прежде не отмечавшиеся места, которые сделаны небрежно, излишне энергичные выражения или нарочитое остроумие. Самое лучшее, если ты будешь вкладывать записки, которые могут быть совсем бегло написаны, только чтобы передавали впечатление. Впрочем, тебе стоит посылать лишь такие страницы, которые содержат подобные места, когда они не на всех страницах. Отсылать партиями ты должна, чтобы я скорее получил и мог просмотреть. Я отошлю их тебе потом тотчас снова, измененными или окончательно утвержденными...»

В этом письме обозначена уже своего рода методика заочного сотрудничества, которая оттачивалась и разнообразилась с течением времени.

Последующие письма Брехта обретают все большую конкретность:

«Замечание о незадавшемся в чем-то распределении нагрузки в начале истории (опытность Фьюкумби

с «Трестом нищих») уже правильно. Возможно, мы сумеем вместе привести это в порядок (Фьюкумби, как помним,— тот самый солдат-инвалид, которого ждет виселица в конце романа.— *Ю. О.*). Итак, пиши мне непрерывно подобные возражения, я их могу отлично использовать» (28 августа).

«Приблизительно через две недели я думаю быть в Париже... Я втягиваю также и Крым в круг предварительной подготовки... Из «Трехгрошового романа» теперь готово уже 95 страниц. Следовательно, почти целых две трети (общий объем 150). Сверх того я пишу еще стихи и т. д. Некоторые я также привезу с собой...» (30 августа 1933 г.).

Заочная работа чередовалась с периодами, когда Брехт, по его словам, привозил «с собой» законченные главы или диктовал дальнейшие эпизоды все той же безотказной сотруднице. Если говорить о чисто творческой стороне дела, то, как видим, М. Штеффин отводилась та роль, которую зовут редакторской, с моментами соавторства в ряде сцен (вроде, например, упомянутого эпизода с Фьюкумби)...

Роман разрастался.

Под какими бы небесами ни находилась в последующие месяцы М. Штеффин, своим чередом поступали новые главы и письма. Вроде следующего:

«...Копии вставок я должен сделать себе сам. Обычно я подкладываю одну копирку, больше требовало бы слишком много времени при первом печатании!..

Я весь в работе над заключительной главой. Тяжело.

Есть ли у тебя критические соображения по песне «О классовом враге»? Я должен скоро ее отослать.

И о «Трехгрошовом романе» посылай постепенно. Пиши мне об одной главе за другой!..» (13 января 1934 г.)

В первой половине 1934 года роман завершен. И начинается полоса подготовки его в печать — устройства в издательства (в том числе в Москве), читки корректур, перевода на иностранные языки и т. п. Эти этапы также запечатлены в переписке Б. Брехта с М. Штеффин. (Название *«Трехгрошовый роман»* в связи с разными этапами прохождения рукописи не раз встречается в том монтаже отрывков из писем, которым завершается глава «Аплетин».)

Вместо 150 машинописных страниц, которыми мерил первоначальный предел автор, объем «Трехгрошового романа» вырос на деле во много крат (почти 400 страниц печатного текста в русском издании). И это не просто счет труда и усилий, но и приращения содержания, внутренней наполненности произведения, которым теперь по праву гордится писатель.

Между 9 и 20 декабря 1934 года (по все той же датировке М. Штеффин) Брехт пишет письмо, в котором подводит итоги. Осенью книга вышла в Амстердаме. Уже появились первые отклики в печати. Успех несомненен. Это хорошо для заявок на переводные издания. Только что в Лондон, где находится Брехт, устраивавший свои литературные дела, пришла телеграмма от Греты из Москвы, что заключен договор на выпуск «Трехгрошового романа» в СССР. Под этим впечатлением Брехт садится за машинку. Ответное письмо стоит воспроизвести почти целиком:

«Дорогая Грета, спасибо за телеграмму. Это прекрасно. Теперь, надо надеяться, у нас есть также и рубли для тебя...

Здесь я пытаюсь протиснуться в кино (в то время, как переводятся пьесы)... Но это нелегко. Я теперь с изумлением констатирую, что всему разучился в последние годы, когда все-таки имел дело с более хорошими людьми и истинным захолустьем. Теперь я состою в переговорах (правда, здесь сидит самый цепкий и закоренелый капитализм в мире) как пролетарий, по крайней мере близко к тому. Я забыл трюки. Мучительно вспоминаю я, как продают товар, соответственно — самого себя. Что никогда не вправе располагать завтрашним днем, надо лишь делать намеки, что покупаешь людей, надо сторониться гибнущих и т. д. и т. п. Чудовищное искусство!

К настоящему времени,— переходит он к «Трехгрошовому роману»,— есть такие предложения на переводные издания: чешское, польское, датское, французское... Всегда только мал аванс, но все-таки кое-что... Англия — место трудной борьбы. Не потому, что действие разыгрывается в Англии (как мы думали), а потому, что английская публика не в состоянии понять (!). В недавнее бракосочетание английского принца с балканской принцессой, три недели державшее Англию с затаенным дыханием, безработные посылали свадебные подарки!

Критика до сих пор: «Паризер Тагеблатт», Ланиа, естественно, блестяще. Потом... совсем большая базельская «Национальцайтунг», точно так же в стиле гимна (хотя так же мелко напечатано). Вообще,— шутливо заключает Брехт,— кажется, ты таки создала шедевр, старый Мук. Особенно превозносится твой чистый язык...»

Первый читатель, воспринимающий, как свою, рождающуюся художественную идею, критик-единомышленник, редактор, точно отсекающий лишнее, а временами и соавтор, начиненный своими предложениями и вариантами,— такой предстает М. Штеффин в работе над «Трехгрошовым романом».

Самое поразительное, что все это происходит через какой-нибудь год-два после московско-крымской поездки и начала сотрудничества с Брехтом! С какой же интенсивностью совершались духовные и литературные превращения со вчерашней участницей берлинской рабочей самодеятельности, что вызвали к жизни эти строки из писем сложного и изощренного художника!

Примечателен и творческий диапазон, который сразу обнаруживает М. Штеффин, исполняя почти одновременно, например, и другую совместную работу — подготовку к изданию сборника «Песни, стихи, хоры» (1934).

А впереди — долгий путь, преодоления тысячи ям и ухабов, приобщения к многообразию лиц и богатств современной прогрессивной культуры, к зыбкому и кочующему быту эмиграции, каждодневного творческого труда, ставшего профессией, многожанровой пробы собственных литературных сил, оттачивания редакторского глаза... Пока она не станет тем запеленутым в пуховую шаль всевидящим мудрым гномиком, почти бесплотным духом, каким мы застаем М. Штеффин во время последней их совместной работы — при завершении пьесы «Карьера Артуро Уи»...

Представление об участии М. Штеффин в творческой истории «Трехгрошового романа» будет неполным, если не затронуть еще одну сторону ее деятельности — пропаганду этого произведения в СССР.

Одним из итогов ближайших пребываний Греты в Советском Союзе явилась организация выхода русских изданий «Трехгрошового романа», а также пьесы «Круглоголовые и остроголовые»...

* * *

Будучи в Москве, Грета останавливалась чаще всего в тесной, но гостеприимной квартирке Райха и Аси Лацис. О появлении сотрудницы Брехта в их доме в первый период после фашистского переворота в Германии рассказывает Бернгард Райх в уже цитированной мемуарно-исследовательской книге.

Представляя М. Штеффин читателю, он пишет: «...Брехт советовал Маргарет Штеффин поселиться в Советском Союзе. Он заметил ее еще в Берлине, где она — участница самодеятельного рабочего кружка — играла небольшую роль в постановке его пьесы «Мать». Ей удалось пробраться в Данию, а Брехт, писавший серию этюдов и пьес «Страх и отчаяние в Третьей империи», часто у нее консультировался... Он с большим уважением отзывался о громадном литературном таланте этой дочери простой рабочей семьи...

Маргарет Штеффин попала в конце концов в Москву, передала от Брехта привет и... подарок для меня — роскошный пуловер. Громадный, косматый, белый в черных квадратах, он всем своим видом говорил, что того, кто наденет эту прелесть, не возьмет даже самый крепкий мороз. Я гордо разгуливал в нем по зимней Москве и с наивным хвастливым удовлетворением ловил завистливые взгляды знакомых...» (Б. Райх. «Вена — Берлин — Москва — Берлин», с. 311—312).

Какова же была московская обстановка, которую встретила Маргарет Штеффин в пору завершения «Трехгрошового романа»? За время, истекшее с премьеры фильма «Куле Вампе» в мае 1932 года, известность Брехта в СССР начала расти. За этим стояла, среди прочего, деятельная и прочувствованная работа приверженцев и пропагандистов его творчества.

Б. Райх и А. Лацис не были одиночками. По переписке С. Третьякова с Б. Брехтом, опубликованной в книге литературоведа из ГДР Фрица Мирау, видно, как интенсивно и быстро развивались отношения между обоими писателями.

Встречается в письмах С. Третьякова и имя представительницы Брехта, однако по преимуществу в нейтральных контекстах: «...тов. Штеффин еще до сих пор не приехала в Москву»; «...была ли отснятой фотопленка, которую дала мне Грета в Ленинграде»; «привет тов. Штеффин»; «не давай ей забывать русский язык...»

Не многочисленны и встречные упоминания об С. Третьякове в письмах М. Штеффин Брехту. О нем говорится по преимуществу вскользь, вроде: «Третьяков мог бы сообщить... знает ли он людей, которые хотели бы с тобой работать... Пиши же скорее ответ... Третьякову» (24 марта 1936 г.) и т. п.

Однако письма лишь отчасти раскрывают действительные, многообразные и порой не простые, отношения Греты с домом Третьяковых.

Будучи давно и близко знаком с Брехтом, Третьяков, вероятно, больше, чем кто-либо другой, предпочитал сноситься с ним непосредственно. К этому понуждали вроде бы и обязанности, которые с середины 30-х годов принялся ревностно исполнять С. М. Третьяков, став заместителем председателя Иностранной комиссии Союза писателей, говоря нынешним языком, «на общественных началах» (наряду со штатным заместителем — М. Я. Аплетиным).

С. М. Третьяков довольно часто и подробно писал Б. Брехту по важным общественным и творческим делам. Тот при всей дружеской расположенности, по-видимому, не был столь же аккуратен в ответах, что задевало чувствительную струнку С. М. Третьякова. Обида переносилась иногда на возникавшую некстати посредницу.

Впрочем, Сергей Михайлович был отходчив, а присущее ему чувство справедливости и деловая надобность скоро брали свое. И «Щучка», как (по чисто внешним признакам да разве еще за целеустремленную напористость) звала иногда Грету женская половина в доме Третьяковых, по-прежнему давала знать о себе то телефонными звонками, то визитами...

Сергей Третьяков был энтузиастом во всем, за что брался. Раз загоревшись, он уже полыхал, как дальневосточный таежный костер (Третьяков долгое время работал в тех краях, и многие считали его дальневосточником).

Брехт привлек его пафосом социальной активности, жаждой перетряхнуть жизнь, политической насыщенностью искусства, столь близкой окружению Маяковского, к которому принадлежал С. Третьяков. Немецкий язык Третьяков знал. Чувство чужого художественного текста у него было тонкое. Работоспособность неукротимая. Так что переводчик из него вышел первоклассный.

Уже в ноябре 1933 года был сдан в набор сборник из трех пьес Б. Брехта, переведенных С. Третьяковым. Туда вошли «Орлеанская дева скотобоен», «Мать» и «Высшая мера».

Сборник «Эпические драмы», выпущенный Гослитиздатом в 1934 году, стал первой книгой Брехта на русском языке. А сопровождавший его «Вводный этюд», написанный С. Третьяковым,— началом серьезных критических осмыслений этого писателя в нашей стране.

Со своей стороны Брехт выделял Третьякова среди современных советских драматургов и находил поучительные для себя моменты в его произведениях.

Брехт обработал немецкий перевод пьесы С. Третьякова «Хочу ребенка», в которой его привлекала открытая митинговая дискуссионность постановки острых проблем нравственности и новых отношений между полами.

Исследователи (например, Фриц Мирау в другой книге) находят даже перекличку одной из сюжетных ситуаций этой пьесы со сценической вариацией подобного же момента в «Добром человеке из Сезуана»; цитируют крылатое изречение Брехта по поводу принципов индивидуализации социальных характеров в другой пьесе Третьякова «Рычи, Китай!»; пишут об интересе Брехта к эстетическим суждениям Третьякова...*

С именем и обликом этого энтузиаста и близкого товарища связан ряд стихотворений Брехта разных лет. От «Московский рабочий класс принимает великий метрополитен 27 апреля 1935 года», шутливого послания «Совет Третьякову быть здоровым» до трагического стихотворения «Непогрешим ли народ?», написанного после 1937 года, в котором есть такие строки:

Мой учитель Третьяков,
большой, дружелюбный,
расстрелян, осужденный народным судом,
как шпион, его имя проклято,
его книги уничтожены, разговоры о нем
вызывают подозрение, умолкают.
А что, если он не виновен?
. . . .
. . . .

* См. послесловие Ф. Мирау в книге: Sergej Tretjakow, „Brülle, China!" „Ich will ein Kind haben". Zwei Stücke, Henschelverlag, Berlin, 1976, S. 203.

И если он не виновен,
что испытал он, идя умирать?

Когда Брехт писал эти строки в своей датской рыбачьей деревушке, он пробивался к истине лишь чувством сквозь глухую завесу незнания. Время подтвердило трагическую проницательность поэта, оставшегося верным памяти советского друга.

К 1934—1935 годам С. Третьяков, несомненно, был главной фигурой среди тогдашних переводчиков и популяризаторов творчества Брехта в СССР. Но были, как мы знаем, и другие. Например, поэт Семен Кирсанов... Конечно, предубеждения и скептицизм в издательской и литературной среде не собирались сдавать позиций. Но вместе с тем ширилось число доброжелателей. Охотно шел навстречу Брехту возглавлявший «Жургаз» М. Кольцов. (Премьера «Куле Вампе» была делом его рук.) Если писательскими международными связями ведали М. Аплетин и С. Третьяков, то такими же контактами по линии театральной вместе с Э. Пискатором занимался Б. Райх...

У всей этой поддержки и опоры был, пожалуй, лишь один изъян. У нее было только одно плечо. Все кучилось и концентрировалось в Москве.

Между тем не меньшие литературные резервы были во втором крупнейшем центре — в Ленинграде. О том, чтобы новаторское немецкое революционное искусство прочно оперлось в Союзе на второе плечо, и мечтала неутомимая Грета, упорный миссионер Брехта.

И случай скоро представился. В одной из комнат «Фегаар» — Издательства иностранных рабочих (опять-таки в Москве!) она познакомилась с переводчиком В. О. Стеничем...*

По обыкновению стремительно войдя однажды в просторный кабинет немецкой редакции, она вдруг ощутила там обстановку непривычной почтительности и даже некоего интеллектуального трепета.

* Биографическими сведениями о В. О. Стениче (1898—1939), оказавшими большую помощь в работе над книгой, поделились его товарищи по литературному Ленинграду тех лет — И. Л. Андроников, Л. Д. Большинцова, Л. И. Левин. Особенно незаменимыми были беседы с Л. Д. Большинцовой, ее рассказы о покойном муже — В. О. Стениче, показанные ею редкие материалы и снимки.

В центре восседал представительного вида человек, лет тридцати пяти, в золотых очках, одетый с той безукоризненной тщательностью и изысканностью тонов и сочетаний элементов костюма, которая заставляла видеть в нем не подражателя, но законодателя мод. До чего же, однако, все в нем было обихожено! Он, видимо, начинал лысеть и потому носил предельно короткую стрижку. Белокурые, с рыжинкой, волосы были расчесаны на пробор и уложены волнисто, мелкими завитками на кончиках.

Детали Грета заприметила позже. А тогда лишь видела, что человек, вольно устроившись в кресле, что-то речисто и остроумно рассказывал. Ему почтительно внимали из-за своих столов две редакторши и заведующий. К поручню кресла была пристроена трость из красного дерева, с серебряной инкрустацией.

Грета не любила напомаженных щеголей и потому сразу насторожилась.

— Валентин Осипович Стенич!— познакомил их заведующий.— А это наш немецкий товарищ — Маргарет Штеффин! Между прочим, прибыла от Брехта...

— Любопытный писатель!— переключаясь от своего рассказа, заметил Стенич.

— Не любопытный, а чуть больше!— вспыхнула Грета. Снисходительность Стенича задела ее.

Повеяло неловкостью.

— Между прочим, Грета устраивает новую рукопись Брехта,— примирительно сказал заведующий.— Он написал «Трехгрошовый роман». Сильная вещь! Может, почитаете, Валентин Осипович?— со значением обратился он.

— Ну, что ж, пожалуй... Можно. Только я в поездке. Пришлите мне на Ленинград, бандеролью!— согласился Стенич.

И хотя в этих словах снова мелькнула обидная снисходительность, Грета сдержалась. Она слышала, кто такой Стенич. Это был крупный мастер художественного перевода. Он одинаково блистательно переводил с английского, французского, немецкого. Несмотря на сравнительную молодость, на его счету были полки переведенных книг Дос Пассоса, Джойса, Фолкнера, Киплинга, Мальро... Не говоря уж об уровне, это был популярный переводчик. И к тому же из Ленинграда! Если бы этот метр взялся за «Трехгрошовый роман», Биди, безусловно бы, прозвучал на русском языке и

выиграл в смысле перспективы. А ради пользы дела Грета готова была подавлять любые раздражения. Она согласно кивнула...

Наверное, месяца четыре от Стенича не было никаких сведений. Грета в свою очередь успела вернуться из поездки в Тифлис, где гостила у грузинских друзей, появившихся через Третьякова. С очередными делами посетила Ленинград (они разминулись — Стенич был в Москве). И думала теперь только, как бы заполучить назад рукопись. Почерпнутые с тех пор характеристики Стенича мало сочетались с представлениями о деловой обязательности.

Оказывается, имя его в ленинградском клубе писателей не сходило с уст завсегдатаев. Не надо было только затыкать ушей, чтобы наслушаться о его жизни и подвигах разнообразных историй, легенд и анекдотов, в которых преобладали тона завистливого восхищения.

Он слыл человеком искусства, одинаково принятым в театральной, музыкальной и литературной среде, денди, другом всех талантов, гонителем бездарей, насмешником и острословом.

Это он, подержав в руках и прикинув на вес расхваленную повсюду книгу ее подруги Марии Остен, обронил фразу, что читать лучше «Алису в стране чудес».

На творческом вечере одного маститого поэта, когда тот читал свои новые стихи, Стенич сподобился вполголоса угадывать очередную рифму. Скажем, в таком примерно духе: «Мой дядя самых честных правил...» — самозабвенно гремел с трибуны поэт — «...заставил» — наперед подсказывал из публики Стенич. «...занемог» — воспарял вития — «...не мог» — суфлировали из зала. Отгадывание было настолько убийственно точным, что публика вошла в азарт. Вечер едва не был сорван.

Об одном недалеком литераторе Стенич сказал: «Он так глуп, что дальше уже идут вещи. Но и среди них — рояль умнее».

Странно, что при такой известной всем репутации Стеничу удавались даже массовые розыгрыши, вроде коронного номера, устроенного с коллегами. Встретив как-то нескольких из них, он каждому сообщал по секрету: «Приехал важный человек, член редколлегии «Правды». Хочет видеть узкий круг реальных, настоящих писател вас в том числе. Только вы никому не

говорите. Набежит народ, а он хочет приватной, тихой встречи». Оповестив так несколько человек, Стенич занял контрольно-наблюдательный пункт возле гостиницы, где якобы остановилось важное инкогнито. К назначенному часу, таясь и маскируясь друг от друга, начали стекаться литераторы. Народ валил валом. Тут был весь местный Союз писателей. Некоторых Стенич останавливал и мучительски допрашивал: «Вы куда?» — «Да так... вот тут... недалеко...» — мялся, норовясь улизнуть, пойманный. И каждый не выдавал секрета! Избранный не хотел уравнять себя с непосвященным!..

Такие эксперименты над человеческой природой доставляли Стеничу истинное наслаждение.

Очевидно, это был человек скорее удовольствия, чем долга, на обязательность которого излишне полагаться в деловых отношениях.

Но когда Грета уже решила так, Стенич сам вдруг объявился, позвонив ей в Москве. И без обиняков сообщил, что роман понравился и он берется за перевод.

То ли у Стенича был усталый с дороги вид, то ли она просто лучше его рассмотрела, но только если он и не вызывал у нее особых симпатий, то во всяком случае показался понятней и человечней, чем в первый раз. Одет он был, как и тогда, изысканно и крахмально. Но уже не прятал себя. И Грета увидела, что у Валентина Осиповича квадратное, пожалуй, только кажущееся волевым лицо, с чувственной ямочкой на подбородке, за тонкими стеклами очков тревожно ускользающий взгляд серых глаз, в котором читалась натура утонченная, заносчивая и ранимая.

Еще лучше поняла Грета Стенича, когда прочитала первые вышедшие из-под его пера главы романа. Она сама была переводчицей, достаточно уже прониклась атмосферой страны и слишком жила духом мастера, чтобы не чувствовать всю непреодолимую трудность передачи Брехта на чужом языке, по-русски.

Обнаженно прямодушное, как правда, слово Брехта, пожалуй, больше, чем всякое другое, гипнотизировало переводчика соблазном буквальной передачи. Откровенная публицистичность говорила сама за себя. Казалось, это тот случай, когда мудрить — только портить, бери напрямую! Но по дороге куда-то отлетала и терялась душа текста, оставались лишь скорлупа,

панцирь, гипсовые слепки значений. Адресные книги вместо улиц живого города.

Особенно буквализм был уделом переводчиков, лишенных собственной сильной и четкой индивидуальности. Но иллюзорной точности уступали иногда даже и такие поэты-переводчики, как С. Третьяков и С. Кирсанов. А поскольку средних литераторов в области перевода всегда работало большинство, то самое трудное могло оказаться и самым легким.

Заглядывая в будущее, Грета однажды подумала с тревогой, что со временем, когда популярность Брехта в Союзе заслуженно возрастет (чего она ожидала вот-вот), ему предстоит преодолеть другой серьезный порог. Пожалуй, он может быть легко извращен и опошлен обездушенным, буквалистским переводом, к которому по внешним признакам не придерешься. Она даже сказала об этом Брехту.

Конечно, опасаться прежде всего приходилось за поэзию. Но по-своему это грозило также и прозе и драматургии.

Начав читать перевод Стенича, она сразу увидела, что перед ней — художник. Известный до последнего слова текст выглядел, как друг, вернувшийся после долгой отлучки. Он сохранял в себе весь облик и черты того, прежнего, но был уже и новым, неизведанным, встреча с которым волновала и доставляла радость узнавания.

Стенич не просто перелагал роман Брехта — изнутри самого текста толковал его, пестовал, ободрял и приструнивал, затенял и высвечивал. Грета дивилась — какой это был русский язык! Весь арсенал слов, накопленных русской традицией! И автор с филигранностью ювелира возводил из него свое создание. Он именно не повторял, а создавал заново. Потому что, чувствуется, хорошо знал, что повторить полностью можно только мертвую вещь, а живое повторить нельзя.

Русский текст «Трехгрошового романа» (как затем убедилась Грета) был не копией, а духовным близнецом их немецкого оригинала. Но только так, очевидно, слово Брехта и обретало способность жить в атмосфере иной национальной культуры, открываясь в своей подлинности и яви широкому советскому читателю.

Да, Стенич был художником. И это объясняло в нем все. Многообразие его занятий (помимо прочего, Стенич, например, снимался в роли англичанина в

фильме «Волочаевские дни», написал новое либретто к опере Чайковского «Пиковая дама», поставленной Вс. Мейерхольдом в Ленинграде, и т. д.), и образ жизни, и круг привязанностей, и даже сами его постоянные мистификации и розыгрыши. Внешний мир часто был для него лишь фоном, на котором он сочинял.

Но это объясняло также ту самолюбивую медлительность, с которой работал Стенич. Немало воды утекло, прежде чем Грета смогла сообщить в Данию о готовности «Трехгрошового романа», который должен был выйти одновременно на русском и немецком языках.

4 марта 1936 года она отправила Брехту следующее письмо, которое находится среди обнаруженных в Москве:

«Дорогой Биди, как раз только что получила твое письмо с фотографией...

Я начала тебе длинное письмо... Но отошлю его лишь завтра, так как сегодня после обеда ко мне придет Стенич, по его словам, с новостями, которые также все отразятся в упомянутом письме.

Моих фотографий, к сожалению, нет, только очень большая, которую я собиралась отправить своей сестре. Но, возможно, все-таки пошлю ее тебе. Только уж чересчур она велика и тоже неудачна.

Итак, «Трехгрошовый роман» готов. В ближайшее время он поступит в торговлю (немецкое издание и русское Стенич сдал). Книга стоит 7 руб. 75 копеек, довольно дорого. Издательство выдаст тебе десять экземпляров, но я буду еще докупать. Напиши мне, пожалуйста: сколько экземпляров ты хочешь получить в Сковсбостранд, кому мне надо послать прямо отсюда бандеролью (отсюда это дешевле, а удобней ли для тебя?).

Итак, точнее обо всем деловом завтра!! До свидания».

Письмо, написанное после визита Стенича,— одно из тех исчерпывающих «донесений», которые Брехт постоянно получал от своей поверенной из СССР.

Послание чрезвычайно многотемно. Речь тут идет и о последствиях разразившейся тогда дискуссии о формализме в музыке и о взаимоотношениях с московским театром Охлопкова и ленинградским «Мюзик-

залом», намеревавшимися поставить пьесу «Круглоголовые и остроголовые», о студии «Ленфильм», предлагавшей Брехту написать сценарий о бравом солдате Швейке, о новых затеях предприимчивого Пискатора...

Подробно оповещает Грета и об издательских делах. Причем основное внимание теперь уже переключено на пьесу «Круглоголовые и остроголовые», заинтересовавшую Гослитиздат. В запланированную книжицу Брехт поручал присовокупить, если удастся, две другие свои пьесы...

«Дорогой Биди,— сообщает она в письме, помеченном 5 марта 1936 года,— итак, вчера я долго говорила со Стеничем...

В издательстве: Перевод романа сдан. Он «скоро» выйдет.

Двумя другими драмами «Круглоголовых» не сопроводят.

На перевод «К. и о.» (т. е. «Круглоголовых и остроголовых».— *Ю. О.)* давно заключен договор с Кирсановым, и ему выплачено пять тысяч аванса. Он не сдал ни строки, и теперь обратились к Стеничу...

Чтобы можно было рассчитаться за 5000, Кирсанов сделает 12 песен к «К. и о.», которые, как он позже заверил, так или иначе не готовы у Стенича.

Не знаю, как ты смотришь на это, напиши мне тотчас на адрес Аси (Лацис.— *Ю. О.*): Стенич и я того мнения, что надо получить гонорар у Охлопкова...

Впрочем, Стенич сказал мне «приватно», что, по его мнению, нет большого смысла, если ты теперь приедешь.

Относительно «Швейка»... Послезавтра придет еще раз представитель «Ленфильма», и я буду с ним говорить.

Хотя я надеюсь, что уеду до того, как сумеет прийти ответ от тебя, но на всякий случай все-таки немедля отвечай, возможно, я еще получу письмо. Иначе Ася тотчас отошлет его вдогонку».

А вот выдержка из письма от 7 февраля 1936 года, в котором М. Штеффин оповещает Брехта еще о двух советских публикациях его произведений, на сей раз в периодике. Небольшой «учебной пьесы» «Горации и Куриации» — в журнале и стихотворения — в московской газете «Дойче Центральцайтунг» — «ДЦЦ». Говорится в письме и об оформлении обложки «Трехгрошового романа».

«Посылаю... кроме того, номер «ДЦЦ» (ленинский номер),— сообщает она,— в котором на лучшем месте поставлено твое стихотворение, дала его я.

Напиши, как тебе нравится место?

Нет ли у тебя каких-либо новых стихов? Если — да, пожалуйста, присылай мне.

«Горации» напечатаны, скоро ты получишь экземпляр. Они появятся приблизительно через две недели, равно как и роман. На обложке романа изображена рыбина и три волнистых линии. Не знаю точно, что это должно значить, но, возможно, намек — «...а акула...».

К этому можно добавить, что 1936 год был, пожалуй, особенно урожайным на публикации Брехта в СССР. Помимо стихов в журналах и газетах, отдельными книгами вышли в русских переводах «Трехгрошовый роман» и пьеса «Круглоголовые и остроголовые». Кстати, перевод больше десятка баллад и песен (включая стихотворный пролог) в пьесе «Круглоголовые и остроголовые» сделал в счет погашения своих обязательств Семен Кирсанов.

Так переплетаются поэзия и житейская проза; точное восприятие произведения и его вторая жизнь в художественном переводе; разные виды проникновенной популяризации и истинная популярность писателя на чужом языке. Переплетаются и смешиваются, добавляя любопытные штрихи к тому, что принято называть историей советско-немецких литературных связей...

Довоенные работы В. Стенича, С. Третьякова, С. Кирсанова дали образцы брехтовского художественного перевода, традиции которого были продолжены в послевоенную пору, когда произошло массовое открытие Брехта для читателя и зрителя. И не случайно среди первых переизданий оказались тогда почти все прекрасные переводы, возникновение которых в свое время было связано также с усилиями маленького солдата Брехта, одного из первых пропагандистов этого писателя в нашей стране...

ЖЕРТВА ПЕШКИ

Теперь самое время поразмыслить над необычностью литературной судьбы Маргарет Штеффин. В самый канун новогодних праздников, в конце декабря 1977 года, я получил письмо из Берлина, отрывок из которого уместно, пожалуй, привести здесь.

На бланке поверх машинописных страничек значилось: «Театр Дружбы. Орденоносный Центральный детский и юношеский театр». Писал заведующий литературной частью Гартмут Райбер, человек мне не знакомый, но наделенный, судя по всему, тем деятельным энтузиазмом, без которого невозможен настоящий завлитчастью, в какой бы стране мира он ни работал.

«Наш театр в 1978 году,— говорилось в письме,— покажет премьеру пьесы для детей Маргарет Штеффин «Если бы у него был ангел-хранитель». Одновременно я готовлю книгу ее пьес и рассказов в издательстве Геншельферлаг. В эту книгу должны войти обстоятельная биография Маргарет Штеффин, а также по возможности исчерпывающие биографические документы».

И далее Гартмут Райбер рассказывает о сборе творческо-биографических сведений о М. Штеффин дополнительно к документальным источникам, имеющимся в ГДР. Многое Г. Райбер делает сам. «В последние месяцы я записал на магнитную пленку большое число бесед с бывшими членами союза «Фихте» и ее друзьями...» Для книги в издательстве Геншельферлаг современники Брехта, хорошо знавшие М. Штеффин, пишут воспоминания. Некоторые мемуарные очерки уже готовы...

Ничего не скажешь, то была хорошая новогодняя

весть! И все-таки, признаюсь, она порадовала, но не удивила.

Да, все верно, справедливо, закономерно. Рано или поздно все встает на свое место. Искры деятельного таланта и добра не рассеиваются бесследно во мраке, как иногда кажется. Приходит время, и становится очевидным действие, которое они производили.

Так, вероятно, и для Маргарет Штеффин назрела пора той меры известности и признания, какую она заслужила. Восстанавливаются утраченные факты и звенья литературной истории, а вместе с ними и справедливость.

Нет неожиданности и в том, что именно пьеса «Ангел-хранитель» (как кратко звала ее М. Штеффин) привлекла теперь внимание театра. Это действительно любопытное явление в драматургии для детей.

Цель данной книги не биография и не очерк творчества Маргарет Штеффин. Соратница Брехта, долголетний и безотказный «подмастерье» в его обширной и незамолкающей «творческой мастерской», верный и энергичный связной, через которого осуществлялись многие общественно-литературные и идейно-творческие контакты писателя с Советской страной,— в таком качестве прежде всего интересует нас она. Так получилось, что почти десять лет в любых краях и широтах за спиной маленького солдата стояла другая, несоизмеримая по масштабу тень.

Это не прошло бесследно и для собственного литературного творчества Маргарет Штеффин.

Возьмем для примера ту же пьесу «Ангел-хранитель».

Ее творческая история прослеживается во многом по сохранившейся переписке М. Штеффин с Б. Брехтом середины 30-х годов. Отрывки из писем вместе с тем дадут известное представление о пафосе и художественном строе произведения.

28 октября 1935 года, когда пьеса, видимо, в первой редакции была близка к завершению, М. Штеффин так рассказывала о возникающих новых поворотах действия:

«...Я решительно недовольна последней картиной «Ангела-хранителя» («Процесс») и взялась за переработку: мальчишку Карла Вернера теперь не спасают (как других, находившихся на гибнущем корабле; он

был слишком тщедушен и неопытен, его смывает волной).

Сцена в Одесской гавани отпадает. (Это действительно простая агитка.) Вместо этого в заключительной картине Карл Вернер прибывает на небо. Над ним устраивается судебный процесс (с прокурором, защитником, прессой и т. д.). Среди свидетелей есть, между прочим, Маленький Ангел (который в целом приятная фигура, если только не вкладывать ему в уста длинную глупую антивоенную речь из прежнего варианта)...

Мальчишка Карл Вернер обрушивается в заключение с обвинениями против ангелов-хранителей, против неба и «даже» против Господа Бога, который мнимо вседобр, премудр и всеведущ... И все вопрошают: «Где ты, господи?» Этим кончается пьеса.

Из-за занавеса возникает Маленький Ангел и в легкой игривой манере высказывает свои соображения. (Соответственно он может это делать также по ходу процесса...) Однако, если он будет вести себя так на процессе, я лишаюсь концовки для сцены «Где ты, господи?». Другой финал в голову пока не приходит...»

Судебное разбирательство на сцене, когда зритель, подобно сидящему в зале суда, непосредственно приобщается к участию в поиске, открытии и борьбе за правду-истину,— излюбленный прием драматургии Брехта. Пародийные и сатирические тона, в какие облекаются сцены небесного суда, тоже напоминают о красках знакомой палитры.

Однако «Ангел-хранитель» — одна из попыток применить принципы «эпического театра» в драматургии для детей и юношества, в сфере, где сам Брехт почти не работал. Это требовало от автора не только независимости, но и определенного новаторства в поиске путей и средств для художественного решения социально-политической темы.

Богоборческая пьеса М. Штеффин имеет четкий земной адрес. Небесный суд над Карлом Вернером — маленькой загубленной жизнью — вместе с тем и публичное разбирательство в существующем миропорядке.

Как и в брехтовской драматургии, важную смысловую роль в пьесе «Ангел-хранитель» играют зонги, которые в лад или в противовес событиям на сцене распевают под музыку действующие лица.

В рефрене зонга «Песня корабельного юнги» (кстати говоря, он был опубликован в декабрьской книге

московского журнала «Дас Ворт» за 1936 год) речь идет о зловредном властителе, имя которого обозначено трудно переводимым немецким выражением. По-русски словосочетание это, пожалуй, ближе всего можно передать так: «Старый Наш Шеф-Повар Голод».

Персонажи песенки напоминают чем-то фигуры известной сказочной повести Юрия Олеши «Три толстяка». Шеф-Повар — друг сытых обжор и враг голодных. О его отношениях с теми и другими и рассказывается в задорном насмешливом зонге.

Ребенок из трудовой семьи встречается с могущественным Кухенмейстером значительно раньше, чем с рождественским Санта Клаусом, и сталкивается с ним куда чаще, чем с любыми добрыми духами и феями. Более того, Старый Наш Шеф-Повар Голод, меняющий, как оборотень, обличья и маски, и есть, оказывается, главный распорядитель судеб мальчишек, вроде Карла Вернера. Находятся ли те в семье, у домашнего очага, или плавают юнгами на кораблях. Пока они, сговорившись, не сбросят в море толстяков, поглощающих за обедом десятки блюд, и, схватив Шеф-Повара за воротник, не прибьют его большой суповой ложкой...

При всем том, что Маргарет Штеффин обращалась к детям, ее пьеса отмечена социальной остротой и революционной энергией, родственной драматургии Брехта. А сатирическая «соль» в «Ангеле-хранителе» была такова, что М. Штеффин, пытавшаяся напечатать и поставить пьесу то в Копенгагене, то в Осло, сама же не считала ее приемлемой для сцены нигде, кроме Советского Союза (из-за цензурных «параграфов о богохульстве»!).

Духовное созвучие касается обоих, оно существует, только когда обоюдно. Многие десятки, если не сотни, раз можно проследить, как участвовала М. Штеффин в осуществлении творческих замыслов Брехта. Что же бывало тогда, когда наставал его черед? Чем отвечал он?

История «Ангела-хранителя» — пример творческой взаимности, внимания мастера к товарищу по перу.

Брехт проявляет интерес уже к замыслу произведения, как только знакомится с его переложением, по существу, с проспектом пьесы. «Ангел-хранитель» **очень** хорош,— откликается он в письме и сразу же советует, как добиваться зримого, «земного», изображения потусторонних видений и «небесных» картин в

пьесе.— Тебе надо бы прежде написать ее в прозаической форме, как рассказ. Совершенно просто и реалистически. Так, если ангел реет в комнате,— как он это делает. А если комната бедная — т. е. маленькая. То же самое — мать, когда она молится, описать точно, извне, как она при этом выглядит, как ощущает боль от стояния на коленях и т. д. Сделай это!..» (15—25 ноября 1934 г.).

«Посылай же быстро и побольше об истории ангела-хранителя!— напоминает он в следующем письме.— Она кажется мне очень забавной, я даже смеялся вслух» (19 ноября — 2 декабря 1934 г.).

От Греты, находившейся тогда в СССР, поступают не только деловые донесения и редактура по сочинениям Брехта, но и очередные страницы и сцены ее пьесы. Не считая литературных переводов (дававших часть прожиточного минимума), это первая после длительного перерыва большая самостоятельная работа, которой она решает заняться.

Она позволяет себе как бы расслабиться, отдохнуть душой, оглядеться вокруг. До сих пор все было недосуг. Все силы, помыслы, время отдавались тому, что было превыше и больше ее самой, но где она всегда была только подсобницей, исполнителем, чернорабочим.

Живя внутри чужих творческих замыслов и идей, она не отделяла себя от них. И как будто забывала, что способна что-то делать в литературе независимо ни от кого, сама.

Однако собственное «я» нет-нет да и напоминало о себе. Внешние поводы к тому бывали подчас, казалось бы, пустяковые и к творчеству отношения не имеющие. Скажем, снова надвигающееся одинокое Рождество, когда по улицам Копенгагена развешиваются гирлянды разноцветных огней и город сверкает, как убранная новогодняя елка, а ты, чужаком, по тихим переулкам, пробираешься в свою келью, которая не пускает на порог праздники. Или — другое мгновенное впечатление, как болезненный укол, возвращающий к себе: кусок ленивого большого пруда в подмосковном парке; в уютной заводи, образованной сгибом ветвей плакучей ивы, двигаются во сне жуки-водомеры; расслабляющая теплота летнего вечера, и вдруг — возгласы, говор, смех за спиной, занятая собой пара, он и она, настолько объединенные счастьем,

что после них повисает в воздухе тупая безнадежность...

Но Грета быстро смиряла себя, укрощала, ставила в свою борозду. Разве не было счастья и у нее?

Сознание цели, важной для всех, для порабощенного человечества, оскверненной фашистами Германии, для революционного искусства, ощущение своей причастности к ходу событий, к изменениям в мире, своей повседневной полезности правому делу, в том числе тому человеку, общение с которым было высшей радостью,— в этом была ее гордость, ее награда, счастье, которое дарила ей судьба.

Конечно, для этого приходилось идти на самоограничения, жертвовать многим. Но в жизни любая победа всегда начинается с победы над самим собой...

Примерно так уговаривала она другое ранимое тоскующее «я», которое плохо слушалось рассудка. И как бы расширяя масштабы спора, утверждая свою правоту, переносила доводы в мир вымысла и грез, бралась за перо. Принималась сочинять...

А иногда повод для творчества бывал прямо противоположный — беспричинная радость бытия: вид упруго рассекающей воздух птицы, квадрат ярко-синего неба в утреннем окне... Снова оживало непокорное «я». Захватывало острое чувство своей неповторимости на земле. Быстротечности времени, единственности минуты, мига. Было в этом и подтачивающее напоминание об особности твоей жизненной судьбы на земле, об отдельности ее даже от того человека, искусству которого она так самозабвенно служила.

Прежнее равновесие духа возвращалось только над листом бумаги. Хотелось творческого реванша. Сказать о жизни так, как может на свете только она одна и никто другой.

Неизвестно отчего — оттого ли, что она всегда любила детей и считала страдания ребенка, вызванные несправедливым общественным устройством, главным из всевозможных уродств и жестокостей жизни, оттого ли, что в себе самой знала много незащищенного, детского (скажем, она даже не боялась, а пугалась смерти, верила в конечное торжество добра над злом и, будучи гонителем религиозного дурмана, охотно расцвечивала действительность чудесами и выдумками, а самое библию перечитывала как серию волшебных мифов),— по этим или другим причинам в память особенно сильно

запал случай, происшедший однажды на ее глазах в датской больнице.

Умирающего мальчика-датчанина тоже звали Карл (как героя пьесы «Ангел-хранитель»). Да и в судьбах своих они были похожи, может, только реальный Карл на пару лет младше.

Его отец был подсобным рабочим на газовом заводе, возведенном поблизости от муниципальной больницы. Ветер доносил оттуда черные клубы дыма, от которых постельное белье становилось серо-грязным, а на зубах скрипели песчинки. Это и было, пожалуй, почти все, что больной Карл получал от отца.

Пока мальчика еще можно было поднять на ноги, им никто не интересовался. Он лежал, заброшенный, в углу большой проходной палаты. Но когда стало ясно, что надежды нет и дни ребенка сочтены, Карл мгновенно превратился в самую важную персону.

Первыми на тризну, как вороны, слетелись монахини, состоявшие в больнице сестрами милосердия. Выяснилось, что Карлхен не крещен: родители просто не удосужились сделать это в свое время. Теперь обряд был произведен по всей форме прямо в палате. Мальчонка был в сознании, но ослабел настолько, что чуть не испустил дух, когда его томили долгими церемониями и обрызгивали святой водой. Грета едва не кинулась к мальчику. Но сестры хранили бдительность и впредь действовали осмотрительно: мальчишка, надо полагать, еще требовался для дальнейших процедур.

Так оно и было! Оставалось семь дней до Рождества, и монахини решили устроить умирающему елку. Они отгородили угол палаты белой ширмой, зажгли на елочке свечи и принялись петь.

У Карла, кажется, была неплохая пролетарская косточка — после обрызгиваний теплой водой он воспрянул и, судя по всему, раздумал умирать. Каждый вечер монашки являлись снова. И хотя приободренному лаской, не исключая запоздалой родительской, заваленному приношениями, мальчугану стало легче, сестры никак не собирались отпускать в мир то, что принадлежало богу.

Впоследствии М. Штеффин возвращалась к этой истории. И приблизительно в таких выражениях рассказывала друзьям в Дании ее конец:

«...Каждый вечер они зажигали свечи, потому что считали, что перед смертью он обязательно должен

видеть елку,— вспоминала М. Штеффин,— пели ему песни. Мы дружили с Карлхеном, и как-то вечером он попросил, чтобы я посидела у него на койке. Тут пришли сестры. «Петь нам, Карл?» — «Ведь вы вчера только пели»,— отвечал он ворчливо. «Конечно, если тебе это мешает, мы не будем».— «Ну уж пойте!» Они затягивали. Во время пения бросали испытующие взгляды — трогает ли его. Но ребенок едва слушал, был занят своим. «Вставим новую свечу?» — обратился он ко мне. Тут они прервались. «Карлхен, а есть еще такая детская красивая песня... Ты не знаешь ее?» — «Нет».— «Да ведь, очаровательнейший Карл, ты же никогда не был в воскресной школе?» — «Нет... Вы ведь уже вчера об этом спрашивали». Они запели новую песню, нечто вроде псалма: «И когда Он, в самом деле, позовет нас к себе, возрадуемся — мы скоро будем ликовать с Его ратью!» И одна из монашек вытирала глаза: боже, как это трогательно! Ребенок, с куриной иссохшей шеей, сиреневым личиком и сухими, широко раскрытыми глазами, очень серьезно смотрел на ревущую. «Да, да, Карлхен, скоро придет рождественский дед»,— говорила она между тем. Взгляд мальчика стал отрешенным. «Пусть,— вяло возразил он,— его не существует».— «Бедный мальчик! — взволновалась монахиня.— Он никогда не получал ничего на Рождество?!. Но на этот раз ты кое-что получишь, честное слово! Я сама говорила с рождественским дедом!» Она считала себя трогательной: как она лжет ради ребенка, который ведь ни за что не дотянет до Рождества...

Самое ужасное — смотреть, как умирают дети,— заключала свой рассказ М. Штеффин.— Это страшно... И что в сравнении с таким обыденным простым фактом жалкие кривляния и потуги церковников на потусторонние утешения! Вот тогда я переделала пьесу «Ангел-хранитель»...»

В начале февраля 1971 года при неутомимом посредничестве Союза писателей ГДР для пишущего эти строки была организована в Берлине встреча с ныне покойной Рут Берлау (Лунд), датской писательницей и журналисткой, которая была в маленькой эмигрантской группе Брехта при памятном проезде в мае 1941 года из Финляндии через Советский Союз в США.

Первое, что бросилось в глаза, когда я вошел в одну

из комнат просторной старинной квартиры, где жила Рут Берлау, было свернутое красное знамя, прислоненное в переднем углу.

На почетном месте это знамя стояло неспроста. Оно было здесь всем сразу — символом приверженности идеалам, реликвией, памятью о флаге рабочего театра в Дании, воспетом в стихах Брехта, театра, что в середине 30-х годов основала Рут Берлау, наконец, оно было стягом, возвещавшим из окон, с высоты второго этажа, дни революционных праздников. Пусть все видят, что в этой квартире нет иждивенцев, что для Рут Берлау это не только общий, но и личный праздник!

«Rote Ruth», «Glühende Ruth», «Красная Рут», «Пылающая Рут» — такую кличку получила она еще в начале журналистской карьеры (когда, изо дня в день отрабатывая педалями будущую книгу репортажей, на велосипеде проехала от Копенгагена через Швецию, Норвегию, Финляндию, Ленинград до столицы СССР — Москвы, а затем точно так же — страны и центры Западной Европы, отсылая с дороги в левые датские газеты свои зажигательные корреспонденции. Такие журналистские приемы были тогда в новинку — ну и бум же был вокруг велосипедных поездок Рут в датской печати!). Эта Рут и в шестьдесят пять лет оставалась верна себе: единственным богом, которому она молилась, было Красное Знамя.

Позволю себе попутное замечание. Рут Берлау — одна из поколения Брехта и его близкого творческого окружения, с кем мне привелось в разные годы, еще до выхода первого издания этой книги (1978), встречаться в ГДР. Певец Эрнст Буш, композитор Пауль Дессау, издатель, публицист и поэт Виланд Герцфельде... Стоит ли говорить, насколько непохожи они по своим судьбам и многим человеческим качествам! Но у всех есть общее свойство, которое я каждый раз с изумлением открывал, приходя к ним.

Оно по-разному проявлялось, но было у каждого: заставал ли я Виланда Герцфельде за необычным занятием — в то весеннее утро он кормил нахохлившегося в гнездышке черного дрозда, уже не первый год возвращающегося выводить птенцов на балкон его городской квартиры. (Гнездо свито было прямо на оконном карнизе, куда выставляют цветы. И Виланд, прежде чем углубиться в ежедневную разборку архивов анти-

фашистских издательств «Малик» и «Аврора», подлинных хозяев его большой холостяцкой квартиры, чуть не из рук подкармливал супружескую пару чередующихся на гнезде черных дроздов); заставал ли я восьмидесятилетнего композитора Пауля Дессау за наставлениями молодому коллеге, готовящемуся к длительным музыкальным гастролям за границей. (Со светской элегантностью плавно переключившись на общую тему, хозяин дома принялся рассказывать нам обоим забавные случаи из своего многолетнего сотрудничества с Брехтом: как тот, обладавший врожденной музыкальностью, в каком-то экстренном случае по телефону корректировал только что сочиненную композитором музыку на его тексты, после того как Дессау проигрывал ее на рояле, на котором лежала снятая телефонная трубка, и т. д. и т. п. В мудрых светлокарих глазах Дессау перебегали озорные искорки, он наслаждался беседой по-своему не меньше, чем Виланд Герцфельде теплотой весеннего утра и доверчивостью сидящей на гнезде птахи; то и другое было полнотой жизни!); находился ли я в гостях у Эрнста Буша и видел, как старейший певец, будто школьник, играет со своим одиннадцатилетним сыном Ули... Словом, при разных обстоятельствах открывалось мне общее свойство, присущее этим людям.

В нем, как мне кажется, лучшим образом проявилась закалка всей их предшествующей жизни. В самые трудные годы — каждый в меру своих сил — они представляли передовую мысль и совесть Германии. Главное испытание, павшее на их жребий, они выдержали с честью. Боевая оптимистическая выучка, полученная в среде революционного искусства, отразилась на них. Художники поколения и соратники Брехта, они сохранили жар сердца и молодость духа. Это и есть, мне кажется, общее свойство людей «брехтовской плеяды».

К сожалению, только на сцене довелось мне видеть выдающуюся актрису Елену Вайгель. (В мой зимний приезд 1971 года она была уже больна, сил едва доставало, чтобы делать только необходимое. Потом рассказывали, что Хелли, как старый борец, подолгу отлеживалась, прислушиваясь к себе, выжидая и накапливая энергию, чтобы в мгновения израсходовать ее на сцене. Когда пустел зрительный зал, она не могла двигаться, в лице не было ни кровинки. Это была не про-

сто привязанность к профессии, пресловутое желание «умереть на сцене». Это был способ жизни, бойцовский азарт — «удар, еще удар под занавес!» Иными словами, все те же жар сердца и молодость духа...)

Разносторонняя одаренность и оригинальность натуры, избыточность самых похвальных гражданских качеств при своеобразии мыслей, дел и поступков, выходящих за пределы привычных трафаретов и норм, да вдобавок высокая личная активность даже и в наши дни иногда могут представляться по меньшей мере склонностью к чудачествам, экстравагантностью. А «брехтовцы» никогда не старались быть удобными людьми, причем, конечно, как все на свете, имели свои слабости.

Так было и с «Красной Рут» — Рут Берлау, которая неизменно в дни революционных праздников вывешивала из окна второго этажа свое персональное Красное Знамя.

Среди автобиографических заметок Брехта есть запись 1938 года, как бы символическая доска Почета, на которой начертаны имена друзей, оказавших наибольшую помощь ему и семье в самые трудные времена с момента фашистского переворота.

Начинается запись словами: «Нам помогали...» И дальше в колонку перечислены страны и фамилии: «Из Германии... в Австрии... в Дании... в Англии... в Америке... в Швеции». Там, где стоит: «в Дании...» — названо одно имя: Рут Берлау.

Журналистка, писательница, актриса Королевского театра, Р. Берлау уже с 1935 года начала сотрудничать с Брехтом. Она переводила на датский язык его произведения, организовывала постановки по его пьесам в профессиональных и самодеятельных театрах, сама играла в спектаклях, а вскоре в числе ближайших друзей была вовлечена Брехтом в совместную литературную работу и стала его постоянной сотрудницей. В то же время она познакомилась с Гретой.

По просьбе Брехта М. Штеффин перевела на немецкий язык одну из книг Р. Берлау. В свою очередь Рут Берлау тоже по просьбе Брехта пыталась пристроить в местных театрах пьесу «Ангел-хранитель», впрочем, пьеса ей нравилась.

Несмотря на неровные, взаимно ревнивые отношения, которые были у них (ведь обе женщины любили Брехта, а Рут в дальнейшем ради него покинула сво-

его мужа — известного датского врача Лунда), несмотря на понятную ревность, Рут навещала М. Штеффин, когда та лежала в больницах. И в один из таких визитов услышала от нее о недавнем здешнем происшествии с рабочим мальчиком и монахинями. Впрочем, этот случай М. Штеффин вспоминала и позже, уже в связи с пьесой «Ангел-хранитель».

«История, как может показаться за давностью лет, чуть сердобольная,— мягко заметила Рут Берлау,— с оттенком святочного рассказа. Но она так воспринимала. Грета вообще была немного сентиментальна. Но рассказано было так ярко, что до сих пор видишь пустой угол палаты, где умер мальчик. Она заново исчеркала рукопись пьесы. Рассказ был примерно такой...»

Его переложение из уст Р. Берлау, занесенное в блокнот тогда же, в феврале 1971 года, я и пытался воспроизвести выше.

По пьесе «Ангел-хранитель» видны творческие возможности автора.

На них указывают и письменные отзывы Брехта, которые он отправлял М. Штеффин по мере поступления почтой очередных сцен произведения. Даже если кое-что отнести на счет стремления поощрить энергию автора в процессе письма, Брехт отнюдь не был из тех, кто раздавал неумеренные творческие авансы. А оценки уже с самого начала следуют высокие:

«...При сем кое-что о пьесе «Ангел-хранитель»,— откликается Брехт,— которая мне очень нравится. К сожалению, я получил только 1-ю и 2-ю картины и перед тем еще кое-что в прозе, но не прямой пролог. Это так легко и приятно написано и при этом очень весело. Хорошо для детей, но и не только для них. Я ведь тебе всегда говорил! Конечно, я, старик, мастер, могу еще сделать напоследок изрядное количество исправлений, но тем лучше» (28 декабря 1934 — 8 января 1935 г.).

Даже критические замечания, которые возникают у Брехта (а надо сказать, что и в окончательном варианте пьеса не лишена известной риторики), выражены лестно для М. Штеффин: «Последняя сцена «Ангела», на мой вкус, несколько перенасыщена политикой в мировом масштабе. Она напоминает о второй части «Фауста»... Показывала ли ты пьесу Перу (Кнутцону,

датскому режиссеру.— *Ю. О.*)? Что говорит он?» (19—28 ноября 1935 г.).

Наконец, все позади, произведение завершено... Сценическая судьба не в счет, поскольку ее не было в то время и у многих брехтовских пьес. Хорошо или худо, взята некая высота, с которой для пишущего всегда открываются новые горизонты. В меру сил и способностей автор прошел участок пути и в пределах пройденного познал мир, познал себя, обрел навыки и сноровку. Теперь, кинув взгляд на себя, вчерашнего, можно продолжить восхождение и карабкаться еще выше. Так?..

Но что же усматривает с этой новой высоты М. Штеффин? Нечто совершенно неожиданное... что ей не стоило зря тратить время.

Как бы ни хорошо было то, что она написала, оно ничтожно и мизерно по сравнению с тем, что бы было достигнуто, если бы она отдала время и силы главному и основному, чему служит всегда,— творчеству Брехта. Результат в масштабах искусства и пользы общего дела был бы достигнут несоизмеримый! Не стоило такому муравью, как она, тащить в гору свою былинку, когда рядом шагает гигант. Такой простой, отрезвляющий вывод!

«Биди, Биди, имею ли я право все-таки обременять тебя своими пьесами? Не находишь ли ты это очень скверным? Я давно уже ничего не делаю из-за этого для тебя — это плохо!» — такие угрызения совести, будто после провинности, возникали вслед за тем в ее письмах.

И она снова ступала на привычную стезю. Даже с некоторым облегчением оказывалась в кругу очередных дел, идей и намерений мастера. Внутренне переключалась на иную волну. Где-то по дороге в укромных тайниках хоронила кровное, неосуществившееся, свое. Как литератор (отдавая себе в том отчет или нет) перенимала родственную, но все-таки не свою логику мысли, вверясь в главном стороннему зрению, слуху, чужому опыту жизни.

Общее, да не свое!.. Конечно, это было такой неуловимой разницей, зыбким оттенком, такой бесконечно малой дробью по сравнению с главным, основным и великим, что их объединяло, помогало выжить и сражаться,— что стоит ли об этом говорить? И все-таки...

* * *

Процессы, касающиеся природы литературного творчества, не последний по важности момент в самоощущении и судьбе героини.

О чем-то говорят даже суммарные результаты. Таких всплесков, как пьеса «Ангел-хранитель», не так много у М. Штеффин. Почти за десять лет систематического литературного труда были написаны, очевидно, еще одна-две пьесы для детей да время от времени печатались за ее подписью рассказы и стихи (в том числе в советской периодике).

Правда, достоинства большинства из них вне сомнений. Эйслер писал на поэтические тексты М. Штеффин песни. А Брехт еще много лет спустя хранил читательское впечатление от ее пьес. Уже в 1948 году, разрабатывая проект театра-студии в новой Германии и намечая самый первоочередной репертуар из трех-четырех классических вещей и двух желательных современных тем, Брехт включил в это число: «... и надо надеяться, не потерянные детские пьесы Штеффин» (Дневник, 12.12.48).

Гораздо интенсивней, как уже говорилось, шли дела в сфере художественного перевода (при активе в шесть иностранных языков!). Сам выбор переводимых произведений — и мемуарный трехтомник датчанина Андерсена-Нексе, и пьеса норвежца Нурдаля Грига «Поражение» (оба перевода тогда же увидели свет в советских изданиях) — свидетельствует о высоком профессионализме. Однако даже и тут заметна некая творческая оглядка: мемуары Нексе переведены вместе с Брехтом, а перевод пьесы Грига исполнен по его заказу...

Неизвестно, кем бы стала Маргарет Штеффин, если бы не встреча с Брехтом, не последовавший вскоре фашистский переворот в Германии, не многолетняя совместная эмиграция, не тяжкий недуг... Словом, не стечение многих обстоятельств, обусловивших жизненное самоопределение и закрепивших в конце концов то ее назначение на литературной стезе, которому она отдала десятилетие, лучшие порывы души, всю себя.

Может быть, при ином жизненном повороте, даже справившись с болезнью, она бы так и осталась наполовину счетоводом, наполовину партийным активистом, поющим на рабочих массовках под собственный аккомпанемент на аккордеоне. Самодеятельной актрисой, пописывающей стихи и рассказики да колдующей

на досуге над иностранными словарями с той же молчаливой одержимостью, как иной любитель разгадывает кроссворды. Короче говоря, так и осталась бы не осуществившей себя художественной натурой, каких много.

А быть может, она бы собственными усилиями выбилась в литераторы. Работала бы на себя и для себя, писала самостоятельно. И германоязычные школьники наших дней знали бы несколько книжек или детских пьес писательницы Маргарет Штеффин. Хотя никак не исключено и другое — что неумолимый поток десятилетий бесследно смыл бы в Лету ее сочинения вместе с продукцией других тружеников пера, имя которым легион... Кто знает? Да и стоит ли гадать?

Несомненно лишь, что литература, слово были ее стихией. И признание она осуществила довольно редким и необычным способом. Определив дарование в безраздельное пользование чужой воле, обратив свою творческую личность в инструмент, орудие, рупор другого сознания.

Это ли не психологическая проблема? Не предмет для раздумий?

Даже обычное соавторство само по себе — уже загадка. Если речь идет, конечно, не просто о механическом объединении усилий или ремесленном делении операций. То не фокус! Но как два разных, непохожих человека достигают такого душевного слияния, что выступают единой личностью?

В данном случае, как мы видели, основу составляла солидарность единомышленников, общность целей, идей, пристрастий, вкусов — всего, что можно назвать истинным духовным созвучием. Но осуществлялось это путем подчинения и, не побоюсь сказать даже, поглощения одного творческого сознания другим.

Конечно, Брехт не только не стеснял и не ущемлял, а, напротив, всячески поощрял самостоятельную творческую работу своей сотрудницы. Это мы только что видели. Но отчего же тогда выходило, что она бралась за нее так редко и лишь эпизодически? Не из-за отсутствия же дарования? Оно было! Тогда в чем же дело?

Надо думать, причина была не одна.

Прежде всего (какой бы эффектной, сверхпередовой и завлекательной ни казалась сама по себе идея) известной ловушкой для более слабого дарования всегда была, есть и остается, на мой взгляд, практика коллек-

тивного литературного письма. Говорю не о театре, который объединяет в одном целом разные подразделения, специальности и даже виды искусства и из практики которого прежде всего исходил Брехт, утверждая свои принципы коллективного художественного творчества, а именно — о литературе как таковой.

Писатель, как бы ни был слаб его голос, испытывает внутреннюю потребность писать до тех пор, пока живет ощущение единственности, неповторимости его «я», пока он уверен, что обязан говорить, потому что такое, как он, не скажет никто. Когда же достижением общей цели вдохновляются слишком неравнозначные духовные силы, преобладание и главенство крупного таланта может приводить при определенных условиях к попутной ассимиляции, усвоению и перенастройке на свой лад другого творческого сознания настолько, что у того ослабевает ощущение независимой значимости... Таков, пожалуй, перевод на категории психологии творчества нередких переживаний Греты, сетовавшей в письмах, что снова отвлекает мастера своими неуместными сочинениями...

Зачем свеча, когда светит солнце?.. Трудно видеть и мыслить по-своему, когда даже в часы уединения за твоим письменным столом незримо стоит великая тень!.. Зачем множить хилых двойников? Не лучше ли в таком случае исправно нести солдатскую службу?..

Задачи были действительно слишком близкими! Разве только «чуть-чуть» не своими. И тут блеск обаяния и гипноз большого таланта должны были подкрепляться встречными токами, самовнушением, дисциплиной, намеренным сдерживанием своего творческого «я».

Самоограничение сознавалось как высокая цель, как общественная миссия, как место в бою. В принципе, расчет был прост, почти как в шахматах: иногда, чтобы выиграть фигуру, надо пожертвовать пешкой. Так за чем же дело? Безраздельно служа высокому революционному искусству Брехта, считала Грета, она больше принесет пользы, чем отвлекаясь на собственные вполне заурядные писания. И потому чем ревностней исполнялся долг, тем большим было удовлетворение, радость за успех общего дела, подменявшие собой, может быть, недополученное счастье творчества, подобное неудовлетворенному чувству материнства.

Не берусь судить, но, быть может, и этих, скрепляющих побуждений все-таки оказалось бы недостаточно

для столь продолжительного необычного сотрудничества, если бы не было еще одного обстоятельства.

Давайте еще раз вернемся назад, глянем на происходившее с чуть отвлеченных общечеловеческих позиций, вдумаемся.

Помнят генералов, а солдат забывают.

Что же заставило Маргарет Штеффин сделать себя тенью другого человека, долгие годы мотаться без дома, без семьи, во имя творческих замыслов и идей своего кумира? Пренебрегая собой, быть вечным радетелем и ходатаем по чужим делам? В то время как он сам, что ни говори, жил по законам своей натуры, по хотениям ума и сердца, по всплескам души, методично осуществлял свои думы и намерения и даже в смысле житейском пребывал в семейном кругу и относительном уюте. Кто же предназначил ей только сидеть на передовой и торчать в окопах? Кто сказал, в конце концов, что она солдат?

Или она не была способна ни на что другое? Разве не могла она, как другие литераторы, не отдавать свою энергию, способности внаем, а сама разрабатывать свою делянку?

Безусловно, она бы многое могла, если бы хотела.

Но заведомо пренебрегла массой таких возможностей и жизненных шансов. Во имя чего?

«...Я, наверное, никогда не осмелюсь совершенно раскрыться перед тобой, как перед другими людьми,— признавалась она Брехту в одном из писем, относящихся к 1935—1936 годам.— Я всегда наблюдаю за собой со стороны. Декламировать, разыгрывать роли, совсем, совсем себя раскрепостить — все это я не могу перед тобой. Где-то сидит робость. Перед другими у меня ее нет... У меня огромное почтение к тебе, при любви, которая такая большая, что это не может быть к добру...»

Однако и личным своим чувством должна была четко управлять наша героиня, давая развиваться ему лишь по строго обусловленному руслу.

Все это создавало трудную ситуацию.

«Мне, солдату революции, все равно, где я живу. Всякая комната, пусть темная и маленькая, нужна мне только как бастион. Только как позиция, где я устанавливаю орудие»,— говорится в одном из посвященных ей стихотворений Брехта конца 30-х годов.

Но оказывалось, «все равно» не только где жить. В процессе литературной работы, как мы видели, не-

редко происходило, по существу, отрицание собственного творческого «я». Получалось — «все равно» и что писать, лишь бы это было на пользу общему делу, во благо художнику, с которым она работала...

Это была действительно солдатская доля. Принцип службы — «я должен, следовательно, я хочу» — пронизывал чуть ли не все сферы ее существования. Для внутреннего ее самоощущения это был принцип сжатой пружины, непрестанного давления, принцип натянутой струны.

Только всесторонне представляя себе драматизм этой судьбы, мы лучше оценим и героику жизни М. Штеффин, и логику поступков Брехта в решающие месяцы 1940—1941 годов.

Конечно, она утешала себя, старалась не только оправдать, но и по возможности приукрасить свою долю. Но из сохранившейся переписки видно, что это легко было лишь в теории. Она страдала. Нередко ощущала себя в полосе тупиков и безнадежности. И все-таки продолжала идти путем самоограничения и жертв.

Но не пыталась ли она все-таки отыскать иной выход?

В мае 1976 года я встречался в ГДР с Гильдегард Лютценгоф — с Гильдой, как со школьных лет звала ее Грета. Начавшая участвовать в левом молодежном движении вместе с Гретой, Г. Лютценгоф — член СЕПГ, коммунист с 1928 года, ныне пенсионерка.

В обнаруженной в Москве переписке имя этой берлинской подруги М. Штеффин фигурирует иногда рядом с сестрой — Гопхен. В конце зимы 1936 года Брехт, например, упоминает в одном из писем к М. Штеффин: «Гильде Л. я уже написал о справке, касающейся Гопхен» (26 февраля — 1 марта 1936 г.).

Гильда была в числе тех немногих, кто, подобно супругам Ганишам, оставаясь в Германии, регулярно навещал изгнанников в Дании и привозил с собой «воздух родины».

Самые разнообразные темы откровенно обсуждались в разговорах двух подруг в почти ежегодные, вплоть до весны 1939 года, посещения Г. Лютценгоф Дании. С бухгалтером берлинского лакокрасочного завода, знакомой с детских лет, подобной ей даже по несложившейся женской доле, да еще отрешившись на короткий срок отпуска от повседневных трудовых обязанностей, Грета ощущала чувство полной свободы.

Снимались всякие моральные тяготы, вериги и условности. Не требовалось играть никаких ролей (отпадала даже последняя надобность, которая при всех талантах нередко нависала над самоучкой в той сложной высокоинтеллектуальной среде, где она вращалась,— иногда словно бы тянуться на цыпочках за собеседником), она полностью отдыхала душой.

— Я вам скажу беспощадную правду,— рассказывает Г. Лютценгоф.— Она бы, может, и хотела вырваться из добровольной тирании... Во всяком случае не раз заговаривала об этом... Ей было трудно, даже чисто физически, много надо было работать, не говоря уж о прочем. Но она не умела свернуть или прыгнуть в сторону. Не та натура, она бы была не она! Моя мать относила таких к породе самоубийц. Они не уклоняются от груза, идут навстречу судьбе, себя искалечат, загубят, но дойдут до конца...

В часы самоанализа перед Гретой, вероятно, не раз вставал образ сестры. Она любила Гопхен, часто ее вспоминала, считала ее своей второй несостоявшейся судьбой. Почему у той все было просто? Почему она жила как будто естественней, без насилия, без надсада над собой? Дело было, очевидно, и в изначальной разности натур, и в отличии избранных поприщ.

Да, у Греты и Герты было много общего. Но они обосновались в разных мирах.

Гопхен тяготела к миру зримых предметов, поступков, обыденной повседневности. Дистанцию от мысли до практического воплощения могла окинуть взором, пожалуй, даже вычислить. Мечты и фантазии если и вырывались за пределы осуществимого, то, как огни, освещающие путь.

Гопхен была создана для полноты бытия. Человеческие общения, с подвижной несочетаемостью представлений и яви, неизбежность душевных перенастроек, суета и толчея повседневности — все это вершилось вроде бы само собой. Без напряжения, как у Греты, без страданий. Но, напротив, еще выплескивало радость.

У нее был талант жизнетворчества. Наверное, как у ласточки, лепящей гнездо, как у муравья, волокущего соломину, как у мудрой старухи, домовито одаряющей других светом прожитой жизни. Такова была

эта розовощекая, грузная, пышущая здоровьем, неподражаемая Гопхен.

Грета же принадлежала к миру идеалов и слов. В этом было много тревожно-зыбкого, затаенного, неуловимого. Созерцать дрожания и превращения призраков, отлетающих тормошить и переделывать жизнь. Слово оборачивалось всем — посланцем идеала, поступком, зримой реальностью. А обыденная повседневность, когда призвание захватывало целиком, была лишь способом существования, средством для поиска и открытия зажигающего всех слова.

Грета завидовала простоте и естественности, с какой существовала на земле Гопхен. Но сама не могла и не умела так. Постоянно чувствовала себя обреченной смотреть на события двойным зрением — участника и наблюдателя. Тысячу раз говорила себе, что не столько живет, сколько исполняет миссию. Не ловит показания органов чувств, а ощущает себя чувствилищем происходящего. Не судит в простоте о случившемся, но слушает судью и ответчика.

Корила себя за то, что не способна отрешиться, расслабиться, сбросить добровольные вериги. Но иначе не могла. В этом была ее натура, ее призвание, долг перед жизнью, а значит, ее судьба.

Маргарет Штеффин выпало работать с выдающимся революционным новатором искусства, который, изнуряя трудом себя, не был снисходителен и к другим.

У него было многое, что сказать, и он спешил высказаться. Брехт просто не понимал, как можно отдыхать, когда есть работа. Ради дела он готов был перенапрягать себя и других. Его темпы и требования подчас встречали сопротивление даже у самых близких сотрудников.

О подобном эпизоде в период датской эмиграции подробно рассказывает Ганс Эйслер. Композитор был сильно переутомлен дальними и долгими переездами, перегружен обилием нахлынувших со всех концов неотложных дел. В кою пору выдалось только два дня, чтобы чуть передохнуть, а заодно проведать брата, с которым он давно не виделся. Но Брехт в этот момент работал над «Горациями и Куриациями». От Эйслера он хотел творческих советов и хотел, чтобы тот немедленно сочинял музыку к создаваемым текстам. Желание отдыхать да еще чуть ли не развлекаться в такой момент он расценил как недостойное работника искусств

увиливание и в резкой форме выговорил это Эйслеру. Произошла ссора, грозившая нарушить творческую дружбу двух выдающихся мастеров.

Композитор, в самом решительном настроении, уехал за границу, в Прагу. «И тогда,— вспоминает Эйслер,— был послан парламентер, наша замечательная Грета Штеффин. Но я не пустился в переговоры, потому что, как говорят в Берлине, у меня лопнул воротник...» В обычную колею, по рассказу Эйслера, «все вошло чисто брехтовским способом. Он послал мне... не что-нибудь иное, а просто два чудесных стихотворения: «Тут, дорогой Эйслер, два стиха, возможно, у тебя с ними что-нибудь получится». И это было установление мира, чисто брехтовское» (Hanns Eisler. «Gespräche mit Hans Bunge. Fragen Sie mehr über Brecht», S. 89—90).

Доподлинные истории о суровой требовательности (а иначе можно сказать также — о творческой честности) Брехта во всем, что касалось его работы, иногда напоминают легенды.

...Брехт был привязан к своей дочери Барбаре. Но когда она, определяясь в жизни, захотела стать актрисой и попросилась на роль статистки в труппе театра «Берлинер ансамбль», Брехт ответил ей: «Хорошо. Ты получишь роль в моем театре. Но прежде ты должна сделать две вещи. Готовить говяжий суп не хуже, чем мама (Елена Вайгель)... Я не люблю актрис, которые играют крестьянок и не умеют чистить картошку... И, во-вторых, ты должна иметь большой успех в другом театре...»

— Он не любил белоручек,— говорит Барбара.— Я выполнила его требования. И получила роль в театре «Берлинер ансамбль». Но только он ее уже не увидел...

— Развивая индивидуальность в начинающем актере, Брехт стремился вогнать его в кризис,— рассказывает Эккергард Шалль, известный исполнитель многих ролей в театре «Берлинер ансамбль», и среди прочего — знаменитой главной роли в спектакле «Карьера Артуро Уи».— Ему было важно найти у актера способность попасть в настоящий кризис. Я рос в эклектической театральной атмосфере послевоенной Германии. И Брехт, пригласив меня к себе в театр, вогнал в такой кризис, что я почти два года не мог играть. Это было кульминацией, отсюда началась моя сценическая карьера...

Разговор происходил в конце мая 1976 года в артистическом кафе театра «Берлинер ансамбль». В назначенный час Барбара и ее муж Эккергард Шалль вошли с улицы, ведя с собой лохматую маленькую собачку на длинном поводке. Это могло быть и признаком вольности артистических нравов, капризом майского настроения, а могло быть и своего рода «поводком» к регламенту предстоящей беседы (приезжих любителей немецкого драматурга со всех концов света ведь так много!). А разговорившись о Брехте и Советском Союзе, мы засиделись долго...

Творческая среда, близкая к Брехту, изобилует подобными историями. Можно представить себе, сколько пережила их Маргарет Штеффин за почти десять лет сотрудничества!

Брехт трезво смотрел на многообразие людских связей и отношений. Он не требовал от друзей больше того, чем можно было ожидать от каждого.

«Ты знаешь мой принцип: мостовой принцип,— писал он однажды М. Штеффин.— Мосты выдерживают такую и такую-то нагрузку. Есть друзья, по которым можно ездить тысячетонным товарняком, другие выдерживают автобус, а большинство детскую коляску. Но мосты, которые переносят детскую коляску, тоже мосты. (Пока, конечно, по ним не проедет маленький автобус,— тогда они рушатся и производят мировую скорбь)...» (Письмо от 28 августа 1933 г.)

Маргарет Штеффин была из тех друзей, по которым можно гонять товарняки. Морально она выдерживала. Не ее вина, что тело обладало иными запасами прочности, чем дух...

Так было... Воображение подсказывало Брехту, по его словам, здания большие, чем те, которые в состоянии соорудить одиночка. М. Штеффин была среди тех, кто встал рядом и засучил рукава вместе с ним. Она знала, на что шла, и гордилась исполняемой ролью. Благодаря этой конкретности живых взаимоотношений искусство выиграло и обогатилось...

И все-таки остается еще один, чисто человеческий, если угодно, этический момент, который существует помимо результатов, обретаемых историей литературы. Его можно назвать нравственными обязанностями берущего перед дающим.

Как же по самому принципу понимал эти обязанности Брехт?

Вопрос достаточно сложный, многогранный, и ответ на него не может быть коротким.

Он связан со всей системой этических представлений писателя, где сама упомянутая проблема, конечно, лишь более или менее частный случай.

Но нам и без того пора уже, что называется, высветить в огнях рампы главного героя, который до сих пор по большей части находился на заднем плане или в тени.

Если угодно — полней и шире глянуть на некоторые события также и глазами самого Брехта. Причем не только Брехта-человека, но и художника, мыслителя.

Для этого параллельно с фактами и событиями из жизни надо обратиться также к сочинениям писателя. И к тем, где он прямо формулирует принципы этики, и к некоторым из его художественных созданий, ближе всего отмеченных признаками интересующего нас автобиографизма.

Что касается последних, то, не считая кратких литературных экскурсов, речь пойдет прежде всего о пьесе «Жизнь Галилея» (1938). Примыкают сюда и три рассказа — «Раненый Сократ», «Плащ еретика» и «Опыт».

Все эти произведения написаны почти в одно время с пьесой, в 1939 году, имеют в центре фигуры искателей истины, разрабатывают так или иначе жгучие нравственно-этические проблемы и содержат четкие и ясные ответы на них, которые Брехт стремился утверждать не только в творчестве, но и повседневно проводить в жизнь.

Причем, быть может, особенно рьяно, последовательно и охотно на исходе 30-х годов, в «мрачные времена», которые в истории литературы среди прочего отмечены теперь главным образом тем, что Бертольт Брехт в сотрудничестве с Маргарет Штеффин работал тогда и закончил в первой редакции пьесу «Жизнь Галилея»...

ОСТОРОЖНАЯ МУДРОСТЬ ГАЛИЛЕЯ

Одно из высших достижений брехтовского пера — пьеса «Жизнь Галилея», такой, какой он хотел видеть ее тогда, была написана за три недели.

Основательная и разносторонняя подготовка, конечно, предшествовала этому, как всегда бывало у Брехта. Но сам процесс письма был стремительным.

В «Рабочем дневнике» есть краткая отметка об этом событии от 23 ноября 1938 года: «Жизнь Галилея» окончена. Мне понадобилось на это три недели...»

Ноябрь 1938-го — это уже почти самый канун мировой войны. До 1 сентября 1939 года, когда свершилось гитлеровское нападение на Польшу и все началось, оставались месяцы.

Нужно ли говорить, сколько в такие моменты перед взором современника толпится и грудится событий, волнующих и затрагивающих каждого.

Брехт был художником остро злободневного гражданственного темперамента. Тем более может показаться внешне неожиданной его реакция.

Именно период, подготовляющий и непосредственно окружающий начальную дату второй мировой войны, отмечен особенно интенсивной работой писателя над тем, что принято называть исторической тематикой.

Уже с рубежа 1937—1938 годов на его письменном столе подготовительные материалы и черновые наброски из римской античной эпохи Юлия Цезаря. Вначале он пробует облечь замысел в драматургическую форму, а потом принимается за роман — «Дела господина Юлия Цезаря».

Осенью 1939 года Брехт создает одну из лучших своих пьес — «Мамаша Кураж и ее дети», где отправ-

ляется от литературно-исторических источников XVII века и где действие переносится в разные углы Европы времени Тридцатилетней войны.

В том же 1939 году написаны рассказы «Раненый Сократ», «Плащ еретика» и «Опыт», центральные персонажи которых тоже действуют в отдаленные эпохи — английский ученый и государственный деятель Фрэнсис Бэкон, итальянец Джордано Бруно и греческий философ Сократ.

А в центре всей этой плеяды исторических картин и портретов по времени создания и, безусловно, по значению — «Жизнь Галилея».

Конечно, излишне говорить, что обращение к исторической тематике никак не было бегством от современности.

Напротив. Используя свой излюбленный образно-смысловой принцип «очуждения» — передачи обычного через необычное, — Брехт сами события далекого прошлого заострял и высвечивал до степени прозрачной метафоры.

В опыте минувшего он черпал ответы на жгучие проблемы, обступавшие современников. В исторических анналах отыскивал и выставлял напоказ разительные параллели и схожие совпадения с тем, что происходило у всех на глазах.

Чрезвычайно показательна в этом смысле переписка Б. Брехта с М. Штеффин, относящаяся к совместной работе над романом «Дела господина Юлия Цезаря».

«Дела господина Юлия Цезаря» — это та самая дерзкая по замыслу и необычная по приемам изображения нравственно-политическая сатира, начальные отрывки которой привели в растерянность даже близких литературных друзей Брехта, вроде критика Беньямина и философа Штернберга, не нашедших там достаточных признаков «старого романа», и читательское восприятие которой попеременно опробовалось с помощью Греты то на немецких рабочих, то на гостившей у них в датской деревушке сестре Гопхен и т. д.

По времени создания и по определенным мотивам внутренней проблематики роман непосредственно предшествует пьесе «Жизнь Галилея»; Брехт прервал работу над романом, чтобы взяться за пьесу.

Поэтому о романе следует сказать несколько подробней.

Уже сама задача, поставленная при написании это-

го исторического по форме произведения, была сугубо злободневной. В пору, когда на авансцену современности, прикидываясь выразителями чаяний масс, все более настойчиво вылезали разномастные претенденты в некоронованные монархи, «народные диктаторы» и «отцы отечества» — всякого рода «фюреры», «дуче» и «каудильо»,— писатель обращался к образу первопроходца этой политической традиции, имя которого среди прочего стало нарицательным для обозначения изначального явления — мирового «цезаризма».

Чем известен Гай Юлий Цезарь? «Он положил начало новой эре...— говорится о нем в романе.— Он составил свод законов, преобразовал монетное дело, календарь и тот привел в соответствие с новейшими данными науки. Его походы в Галлию, в итоге которых знамя римских легионов было водружено даже в далекой Британии, открыли торговле и цивилизации новый континент. Скульптурное изображение Цезаря красовалось среди статуй богов, его именем были названы города и один из двенадцати месяцев года; монархи для вящей славы прибавляли титул кесаря к своему».

Одним словом, совершенно идеальный самодержец... Но была и оборотная сторона медали, которую замалчивают расхожие легенды и на освещение которой не находится места в верноподданнических школьных учебниках, превращающих историю человечества в вереницу деяний царей и завоевателей.

А ведь как смотреть. С учетом кое-каких упрямых исторических фактов и перечисленные выше свершения очень часто предстают совсем в ином свете, чем их обычно живописуют.

Плут, мошенник, оборотистый финансовый спекулянт, политический авантюрист весьма низкого морального пошиба, несостоятельный должник, публично поротый прохвост...— на это тоже есть верные исторические факты, на которые и опирается Брехт. И таким с ошеломляющей неожиданностью предстает перед читателем главное действующее лицо произведения.

Но если таким бывал даже Юлий Цезарь, на которого почти молился Наполеон I и о котором составил биографический фолиант Наполеон III, этот самодержец — эталон и властитель-икона, если таким был «образец для всех диктаторов», как он назван в романе,— то что же сказать о других?

Каковы тогда они, его последователи, подражатели

и слабые тени, стоящие за ним в затылок в длинной череде веков? Не считая уж новейших мизерных вырожденцев и пыжащихся карликов свежего образца, самых последних, всех этих гитлеров, муссолини и т. д.? Что уж толковать о них!

Могут сказать: не слишком ли это? — все-таки Юлий Цезарь был Цезарем!.. Но ведь и Наполеон в реальной действительности был не только таким, каким изобразил его Лев Толстой в «Войне и мире». Не только историческим клоуном, парадным манекеном, бездушным деспотом, кривляющимся выскочкой и позером, каким он запечатлен в эпопее.

Таким делало его обреченное и исторически безнадежное дело, за проведение которого он взялся. А право доказать эту истину и утвердить ее со всей беспощадностью страсти давали Толстому его глубочайшая ненависть к любым завоевателям, тиранам и деспотам. Вот почему в особенности концентрированным выражением этого чувства в народной эпопее «Война и мир» предназначено было явиться фигуре Наполеона (как, впрочем, отчасти и Александра I).

Не сравнивая, разумеется, совершенно несопоставимые явления искусства, можно сказать тем не менее, что по самому духу неприятия всякого рода «цезаризма» Брехт шел в русле той же самой традиции, глубоко народной по своему существу.

«Дела господина Юлия Цезаря» — это роман-отрицание.

Истина утверждается тут путем опровержения и развенчания хрестоматийных фальсификаций, ложной патетики казенных житий, героики официальных легенд, мифов, газетных песнопений и т. д. Истина встает и возникает из руин разрушенной лжи.

Так что параллельный по времени создания и быстрый переход к прямому рассмотрению судеб истины в пьесе «Жизнь Галилея», как увидим, был вполне естественным и закономерным для писателя...

Итак, переписка Б. Брехта с М. Штеффин по поводу этого романа, изнутри раскрывающая принципы его творческой работы над историческим документом.

В переписке зимы 1939/40 года роман «Дела господина Юлия Цезаря» — одна из постоянных тем. Обсуждение начатой совместно работы продолжается то с одного, то с другого края. По самому типу речь идет примерно о тех же принципах совместной работы «на

расстоянии» (а надобность в письменных общениях, конечно, возникает в таких случаях), что иллюстрировались уже однажды развернуто применительно к «Трехгрошовому роману».

Вроде, скажем: «...От «Цезаря» у меня уже есть одна шестая часть IV книги, т. е. первая глава (20 страниц), до выборов консулов,— сообщает Брехт.— Смонтировать машинописные копии, которые я сделал для тебя, это довольно большая работа, но я сделаю ее, если ты не очень скоро приедешь» (9 декабря 1939 г.).

«Значит, я возьмусь клеить первые разделы четвертой книги «Цезаря», чтобы у тебя было что читать, Мук» (17 декабря 1939 г.) и т. д.

Однако в приемах нынешнего «сотрудничества на расстоянии» есть специфика. Она — в жанре произведения, предполагающем работу над историческими источниками и определенный способ их осмысления.

«Не сможешь ли ты достать себе книги о времени Цицерона и сделать для меня небольшие выписки? Или только читать?» — запрашивает 11 декабря 1939 года свою сотрудницу Брехт, ставший перед необходимостью проникновения в закулисный быт рабовладельческой демократии и описаний предвыборных махинаций и словесных схваток в римском сенате, как требовала того четвертая книга романа.

Но что же конкретно вычитывать из документальных источников? В этом главное, в этом все дело.

Конечно, осмысляющие поиски в работе над фактическим материалом, в которые погружен Брехт, направлены на то, что способно задеть и всколыхнуть собственный опыт будущего читателя романа. Это обычное требование исторического жанра. Но для Брехта — исторического писателя — этого мало. Подбор событий и фактор сосредоточивается на таких именно, какие более всего напомнят о явлениях политической современности — этой свершающейся на глазах истории. Но и этого мало! При воплощении переклички разных эпох следует достигать столь полных созвучий и отточенной выразительности, что по запечатленным картинам далекого прошлого можно судить иной раз чуть ли не о последних злободневных событиях.

Вот одна из формулировок найденного принципа таких совпадений:

«Набросок «пятой книги» романа о Цезаре,— сообщает Брехт М. Штеффин,— я сделал для тебя только

затем, чтобы благодаря этому ты получила ответ на свои вопросы о моей позиции в отношении новейших событий. Ты должна его правильно читать, чтобы увидеть аналогию. Я считаю, что тогда все было, как сегодня. Читай еще раз» (14 декабря 1939 г.).

«Тогда все было, как сегодня» — таков был, можно сказать, главный пафос брехтовских поисков, обращенных к истории.

Но означал он, разумеется, не залихватские упрощения, а настойчивое стремление распознать и показать главные и наиболее общие связи между разными ипостасями родственных исторических явлений, наиболее универсальные пружинки и винтики их внутренней структуры, сохраняющиеся и продолжающие определять их сущность при любых метаморфозах, какие бы они ни претерпевали в ходе своего развития.

Именно мастерское умение на этой основе раскрыть диалектику преемственности явлений в историческом процессе позволяло Брехту, как уже было сказано, заострять и высвечивать иные события прошлого до степени прозрачной метафоры; почти иносказания о современности.

Как исторический писатель Брехт был прежде всего исследователем политической истории современности. Вместе с тем нравственные уроки он выводил из подлинных взаимосвязей событий и явлений, а не навязывал мораль истории.

На это был направлен его поиск.

Вот пример. 9 декабря 1939 года Маргарет Штеффин летит прямой настраивающий призыв к совместному поиску поучительных для современности параллелей при осмыслении исторических материалов.

«Галльскую войну в романе о Цезаре писать трудно,— сообщает Брехт.— Поступали ли эдуи правильно или ошибочно, когда они во время борьбы Цезаря с Ариовистом просто старались защититься от победителя в этой борьбе, можно оценивать только по тому, считается ли, что они тем самым оказывали услугу Галлии. Фактически они ослабляли Галлию, если ослабляли себя, и наоборот. Правда, они рисковали из-за этой позиции преждевременно соскользнуть на сторону Ариовиста. Так я вижу вещь, что думаешь ты?»

Если вспомнить обстановку зимы 1939/40 года, то можно сказать, что в пристальном внимании к многодавней тактике поведения небольшого племени эдуев

вычитывается среди прочего желание выверить отношение к колеблющимся позициям малых стран в сложной ситуации завязавшейся мировой войны (блока Англии — Франции против Германии и ее сателлитов) и противоречивых устремлений невоюющих великих держав, когда будущая антигитлеровская коалиция далеко еще не определилась.

Политическую мораль, если так можно выразиться, писатель стремится извлечь, вглядываясь в известное сходство реальных исторических ситуаций, когда еще в запутанных хитросплетениях предстают соотношения частных интересов малого народа с той «услугой» общему делу, которое в широких масштабах окажется исторически прогрессивным. А следовательно, с точки зрения автора письма, и справедливым политически.

Нравственные оценки писатель выносит из конкретного анализа событий. Тогда как навязывание отвлеченной морали истории ведет на практике к извращению реальных связующих нитей между явлениями былого, к произвольному перетолковыванию самой сущности их на желаемый лад, а в итоге — к намеренной или невольной фальсификации прошлого в угоду настоящему.

Причем грешат этим не только авторы литературных однодневок, все равно — одописцы или пасквилянты, мотыльки, порхающие над полями политической истории давних и новейших времен. У них свои куцые цели. Поиски истины, подлинные уроки событий занимают их мало. По-своему подвержены этому подчас и представители солидной академической науки.

Примерно так, по мнению Брехта, нередко поступает немецкий историк XIX века Теодор Моммзен. Он один из тех, под чьим пером Цезарь предстает в облике почти идеального самодержца.

Моммзен входит, как видно, в число документальных источников, которые штудируются к роману. Во всяком случае, продолжение письма направлено против его оценок помянутых перипетий галльской войны.

После слов: «Так я вижу вещь, что думаешь ты?» — Брехт продолжает: «Моммзен, естественно, смотрит по-другому. Именно — исключительно и целиком с моральной точки зрения. Причем под моралью понимается нечто совсем общее».

...Таков был характер работы Брехта над документально-историческими источниками. Применительно к роману «Дела господина Юлия Цезаря» он воспроизведен подробней, чем следовало бы в ином случае, с намерением, в качестве близкого образца. Имея в виду почти полное отсутствие аналогичной переписки, касающейся процесса работы над документальными источниками в пьесе «Жизнь Галилея».

Тут остается довольствоваться наблюдениями и выводами по конечным результатам.

А если исходить из них и опереться к тому же на некоторые наблюдения литературоведов (например, Эрнста Шумахера в монографии «Жизнь Галилея» Бертольта Брехта и другие пьесы»), то решающие черты «творческой лаборатории» романа «Дела господина Юлия Цезаря», ближайшего литературного соседа и «родственника» пьесы, можно было бы, соответственно переиначив, распространить и на многие линии действия, сцены, ситуации и принципы воссоздания главного исторического лица «Жизни Галилея».

Жанровая принадлежность произведения требовала от Брехта определенного вживания в эпоху, более или менее широкого ознакомления с документальными источниками (вроде, скажем, вышедшей в Германии в 1909 и 1926 годах объемистой двухтомной монографии Эмиля Вольвилла «Галилей и его борьба за учение Коперника», многие следы знакомства с которой содержит пьеса, и т. д.), углубленного их осмысления и истолкования в поисках впечатляющих созвучий с событиями современности.

Если Маргарет Штеффин была привлечена к этим книжным штудиям, то мы уже знаем, в какой мере работа с историческими источниками могла составлять ее сферу...

Пьеса создавалась при обстоятельствах, когда почти неизменный спутник тогдашних трудов писателя находился вблизи, за одним рабочим столом.

Вообще имеются поэтому сравнительно немногие материалы, факты и сведения о степени участия М. Штеффин в осуществлении брехтовского драматургического замысла. Вроде рассыпанных по тогдашней переписке с третьими лицами упоминаний, касающихся творческой истории пьесы, стилистической и смысловой правки рукой М. Штеффин на списках «датской» редакции пьесы и т. п.

Впрочем, о сложностях выделения индивидуальных примет сотрудничества в таких случаях уже говорилось.

Остается лишь догадываться, что примерное распределение ролей при создании «Жизни Галилея», быть может, в чем-то напоминало то, какое довелось наблюдать при работе над пьесой «Карьера Артуро Уи», с поправкой, разумеется, на специфику исторического жанра...

И еще, конечно, с учетом, что все это происходило на два года раньше. Срок при той лихорадочной и скачущей жизни немалый. Наши герои были тогда моложе. Мировая война еще не началась. Иллюзий было больше. Грета хотя и прихварывала, но была куда сильнее здоровьем, по-женски уверенней и краше. Да и сами отношения хотя и переживали излом, но стадия была совсем другой...

Пока же — о пьесе.

Достоверно и точно известно следующее. Маргарет Штеффин была ближайшим образом посвящена в возникавший замысел «Жизни Галилея» и посильно, насколько это требовалось, участвовала в его осуществлении.

Первые эпистолярные упоминания о новой пьесе исходят именно от нее. Они содержатся в двух письмах к критику Вальтеру Беньямину из числа нескольких писем М. Штеффин, которые принадлежат к его рукописному фонду, хранящемуся в Центральном архиве ГДР в Потсдаме.

17 ноября 1938 года Маргарет Штеффин сообщала своему адресату, что их совместная с Брехтом работа над переводом «Воспоминаний» датского писателя Мартина Андерсена-Нексе быстро продвигается вперед. Затем шли следующие строки:

«Цезарь» несколько отложен, Брехт десять дней назад взялся за воплощение пьесы «Галилей», которую он уже давно держал в голове, теперь уже из четырнадцати сцен он закончил девять, они очень хорошо удались».

Несколько позже она оповещала:

«Брехт между тем (писала ли я Вам об этом?) закончил пьесу о Галилее. Ему потребовалось на это всего три недели! Это очень хорошо получилось».

Весьма показательна форма высказывания: Брехт. Брехт, один Брехт...

Может быть, дело было не только в обычном чувстве несоизмеримости усилий, но и в том, что свою долю нынешнего участия М. Штеффин рассматривала к тому же как особенно незначительную и чисто техническую.

Не исключено, что так и было на сей раз в действительности.

А может быть, было и по-другому. Все вокруг застил радужный свет неизбывного восхищения перед могучими разворотами того, что творил и выделывал на ее глазах всегда новый и стремительный талант этого человека. Поднимающий, неудержимо влекущий вверх. И по сравнению с чем так ничтожны и мизерны казались собственные трепыхания и любая будничная подмога. Так что и говорить об этом не стоило. Ведь тут ее мог заместить всякий.

Да, и любовь то была. Конечно, и любовь тоже. Беспредельная. И скромность, трезвость к себе, привычная самодисциплина. Вторая натура. Таков был характер...

Может, так это было?..

Сам писатель держался на этот счет четкого и вполне определенного мнения. И на всех изданиях пьесы «Жизнь Галилея», хотя она подвергалась дополнительным и серьезным переработкам уже тогда, когда его соратницы давно не было в живых, неизменно и пунктуально продолжал выставлять: «В сотрудничестве с М. Штеффин».

...Эрнст Шумахер, ученый из ГДР, предпринял, пожалуй, наиболее подробное, доскональное и всестороннее исследование пьесы Б. Брехта. Его книга о ней «Жизнь Галилея» Бертольта Брехта и другие пьесы» (1965) насчитывает пятьсот с лишним страниц печатного текста большого формата.

Монография написана с привлечением обширных архивных и документальных материалов, обозревает великое множество появившихся, в основном в странах германских языков, статей и книг о пьесе, можно сказать, целую гору предшествующей критической и научной литературы. И объединяет в себе историко-литературный, текстологический и сравнительный аспекты исследования, что отображено отчасти в ее названии — «...и другие пьесы».

Словом, это одна из наиболее солидных и капитальных научных работ последнего периода, относящихся к интересующему нас теперь предмету.

Э. Шумахер дает такую характеристику внешней обстановки, в которой возникло произведение:

«Брехту шел тогда сорок первый год; он жил вместе с женой Еленой Вайгель и обоими детьми Штефаном и Барбарой в перестроенном крестьянском доме в Сковсбостранде под Сведенборгом (Дания). Это был шестой год эмигрантского изгнания и год казавшегося неудержимым возвышения «Маляра», как называл Брехт Гитлера: в марте последовал успешный аншлюс Австрии, в сентябре включение в «Великую Германию» Судетской области. Это был год капитуляции буржуазной демократии Франции и Англии перед фашизмом, год решающего поражения республиканцев в испанской гражданской войне, год дальнейшего ослабления и замешательства антифашистских сил в Европе, год нарастающего мрака» (Ernst Schumacher. «Bertolt Brechts «Leben des Galilei» und andere Stücke», Henschelverlag. Berlin, 1965, S. 13).

Одно из стихотворений Брехта тех лет передает приметы не только тогдашнего их пристанища в Сковсбостранде — белого оштукатуренного дома, под соломенной крышей, вероятно, мало чем отличавшегося от таких же соседних деревенских хижин, но и загнанное вовнутрь привычное чувство тревоги, с каким жили беглецы:

На крыше лежит весло. Обычных натисков ветер
Не унесет солому.
Врыты столбы на дворе для качелей:
Оседлое племя-дети.
Дважды приходит почта —
Писем так трудно ждать.
По Зунду в сторону нашу лениво влекутся паромы.
У дома четыре двери — когда придется бежать.

Вот они, листы этой «датской» редакции, одного из самых глубоких произведений мировой драматургии. (Я смотрю их фотокопии в берлинском Архиве Брехта.) Аккуратные ряды букв, вереницы строк, стопки страниц, отпечатанные блеклым, почти слепым машинописным шрифтом. Кое-где по отдельным страницам — сравнительно редкие правки, словесные замены и добавления. Чаще чернилами, иногда карандашом, прилежно выведенные разборчивым, доверчиво округлым, по-

жалуй, чуть детским почерком, столь уже знакомой женской рукой...

Блеклость шрифта объясняется просто. В деревушке Сковсбостранде, где печатала, а затем от руки редактировала или же переносила совместную редактуру на эти страницы Грета Штеффин, не было лавки, куда можно было бы сбегать за новой машинописной лентой. Ближайшие магазины, продававшие канцелярские товары, находились в городе Сведенборге.

Брехту тоже было не до свежих машинописных лент. Дом, в котором поселилась недавно Штеффин, а заодно и нынешняя творческая мастерская, стоял на другом краю деревни. При здешней причудливой жилой разбросанности расстояние было приличным. Брехт предпочитал ездить на велосипеде. В сползающей на глаза кепке, в толстой фуфайке и мятом пиджаке, склонившись за рулем, почти неотличимый от случайных велосипедных путников на здешних проселках — рыбаков и арендаторов,— прикатывал он еще по сырой утренней заре, чтобы после чашки горячего кофе тут же начать работать.

Он был в азарте, в ударе. Сведенборг, со всеми витринами и россыпями писчебумажных товаров, со всей этой канцелярской машинерией, попросту прекратил существование, как, впрочем, и все остальное.

Короче говоря, имевшаяся лента (или ленты?) не сносила частоты клавишных ударов, которые обрушивались на нее в эти недели...

Отчасти уже это показывает, что увлечение работой было взаимным. Еще бы — в «Жизни Галилея», как нигде до сих пор, Брехт углублялся в детальное художественное исследование того, что относилось к сокровенной основе его миропонимания, к опорам многих его убеждений, жизненных норм, правил поведения.

Он писал *о нравственном содержании и нравственном значении истины в жизни человека и общества.*

В центр пьесы «Жизнь Галилея» вынесена была судьба человека-следопыта истины, первооткрывателя новых всеохватных идей.

Великий ученый — естественный сеятель передовых воззрений, он производит истину так же, как, если взять старое уподобление, тутовый шелкопряд не может не тянуть из своего нутра шелковую нить. Таков он по складу натуры, по призванию, по самому своему назначению на Земле. «Г[алилей] так же мало может

противиться искушению сказать правду, как искушению проглотить лакомое блюдо,— это для него чувственное наслаждение»,— замечал о своем герое в дневнике драматург (6 апреля 1944 года).

Но, как часто у Брехта, пьеса населена была еще пестрой толпой лиц. Потребителями истины, ее поборниками и врагами, представителями различных групп, сословий, классов, образующими в своей совокупности житейски связанную общность, типовую структуру социального организма.

Жизнь и судьбы главного героя и окружающей его среды по ходу действия не раз схлестываются и завязываются в крутые узлы. В основном вокруг одной и той же казавшейся многим безумной идеи, неоспоримо доказанной ученым. Драматургическая биография Галилея и современного ему общества на протяжении более чем трех десятков лет и есть вместе с тем «биография» этой, тогда сумасшедшей, а ныне столь достопочтенно школьной истины, что «Земля вертится»...

Последовательно и всесторонне прослеживалось в пьесе будоражащее, революционизирующее воздействие громкого слова правды там, где правят ложные мнения, дутые авторитеты, искусственно навязанные системы взглядов.

И вместе с тем до самых истоков, переходя нередко в острый гротеск, обнажалось болезнетворное и мертвящее влияние на духовное состояние общества и живущего в нем человека тирании мнимых мировоззрений и чучелоподобных прописей, а также малодушных вихляний и капитуляций перед ними.

В пору, когда часы истории показывали глухую полночь, драматург снова писал о неизбежном пришествии рассвета. Во всеуслышание предвещал наступление новых времен, выставлял напоказ и демонстрировал всем их явные приметы, их близящиеся контуры, четко различимую поступь.

Все это были давние и сокровенные убеждения Брехта, получившие в пьесе новый импульс и художественное развитие. Воплотившиеся в фигурах «Жизни Галилея» с такой пластической убедительностью, полнотой, глубиной и масштабностью, как, пожалуй, ни в одном из его произведений.

Однако, помимо всего этого, присутствовал в пьесе и своего рода личный момент. Исповедание веры, если так можно выразиться, содержало и элементы автобио-

графической исповеди, насколько таковая возможна, разумеется, в объектированных драматургических образах.

Описывая дела и поступки Галилея, его образ мысли, его линию поведения, Брехт не только утверждал выработанную им мораль и тактику борьбы или, шире сказать, этику действий, приемлемую, с его точки зрения, для честного мыслителя и художника, которому выпало жить в «темные времена».

Он не мог, конечно, не думать при этом о себе лично.

Достаточно непростые для всякого другого (но не Брехта!), даже можно было бы сказать, запутанные обстоятельства личной жизни, убежденность в необходимости всестороннего раскрепощения человека и потребность выразить собственные взгляды на то, что называют проблемами любви, брака и семьи, несомненно, побуждали его приводить дополнительные аргументы и соображения, подсказывали новые реплики и психологические мотивировки, формы поступков персонажей, насколько вмещалось все это в общее русло образного развития пьесы.

В итоге драма «Жизнь Галилея», пожалуй, как никакое другое из его произведений в такой полноте и цельности, воплощала в себе довольно широкий нравственный кодекс, глубоко продуманный и выстраданный Брехтом, отвечающий его убеждениям и общим мировоззренческим позициям, помеченный отпечатком его личности.

Вместе с тем (и в «датской» редакции пьесы это было особенно явно) несколько разросшуюся, быть может, значимость обретали черты и подробности, определявшиеся среди прочего характером исторического момента и потребностями антифашистской борьбы тех лет.

«Этика действия» включала в себя, например, представление о глубочайшей серьезности жизни вообще и враждебной по преимуществу сложности окружающих обстоятельств в частности, признание пока довлеющего превосходства сил противника и ориентацию на длительную протяженность и ожесточенность свершающегося социального противоборства. А в связи со всем этим — необходимость тщательно взвешенного поведения и осмотрительных действий личности, отстаивающей правое дело.

Показательна в этом смысле притча Брехта из цикла его своеобразных нравоучений — «Рассказов о господине Койнере».

Вот она:

«Вступив в чужое жилище, господин К., прежде чем ложиться спать, осмотрел все выходы из дома, и ничего более. Когда его спросили о причине, он ответил смущенно:

— Это старая прискорбная привычка. Я стою за справедливость, а в таких случаях лучше, чтобы квартира имела второй выход».

Сходный мотив уже промелькнул и в недавно приведенном стихотворении — «Убежище» — о приморском деревенском жилище под соломенной крышей: «...у дома четыре двери — когда придется бежать».

Тут, конечно, и всегдашняя незащищенность беженца — двери ведут на все четыре стороны,— но и осмотрительность тоже. Она не помешает!

В статье «Пять трудностей при писании правды» (1935 г.), занимающей особое место в его литературном наследии, Брехт сам формулирует основные принципы, составляющие, по его мнению, нравственную программу служения истине.

Последовательность перечисления пяти называемых им принципов при этом такая:

«мужество при писании правды»; «ум для распознавания правды»; «умение пользоваться правдой как оружием»; «умение выбирать тех, в чьих руках правда будет действенной»; «хитрость для распространения правды среди многих».

«Хитрость для распространения правды среди многих» занимает последнее место в перечне. Но по объему раздел статьи, обосновывающий этот тезис, самый пространный и намного превосходит любой из предыдущих.

Дело, конечно, не только в том, что сама идея наиболее мила сердцу писателя. «Темные времена» нередко выпячивали вопросы тактики и выносили их в центр внимания.

Служение правде не дело трусов и себялюбцев, не занятие для мелких душонок. Следопыт истины в полной мере должен обладать неустрашимостью и героизмом. Однако мужество это, по мнению Брехта, особого свой-

ства. Прежде всего внутреннее, духовное, гораздо реже выражающееся в эффектном поступке, чем то, проявлений которого требуют обстоятельства у человека практического действия. Но героизм от этого не перестает быть героизмом.

Тема разработана в трех рассказах Б. Брехта, содержанием и временем создания примыкающих к пьесе «Жизнь Галилея». Они написаны в Дании, в 1939 году. И образуют как бы портретно-художественный триптих, обрамляющий пьесу.

Джордано Бруно... Фрэнсис Бэкон... Сократ... Три ученых, три великих поборника истины. Люди разных времен, наций, характеров, разного образа жизни и моральных достоинств. Объединяет их одно. Каждый из них в надлежащий момент совершает подвиг во имя того, что можно назвать нравственным кодексом искателя истины.

Однако что же это за поступки? И каковы подвиги?

...На пронизывающем зимнем ветру, возле случайно раздавленной санями курицы долго копошится старый, еле живой от болезней Фрэнсис Бэкон, бывший лорд-канцлер королевства. Он собственноручно набивает снегом свежевыпотрошенную птичью тушку. Надо, чтобы научный опыт прошел в полной чистоте. Естествоиспытатель хочет доказать мелькнувшую в голове мысль, что замороженное мясо только что погибших птиц и животных долго остается в первозданной свежести и годным для пищи.

Опыт с курицей оказался для ослабевшего старика роковым. Отдаленная идея будущего холодильника стоила ученому жизни. Но последний эксперимент, последний свой заплетающийся шаг он направил в сторону истины. Добыта еще крупица знания, рассеян еще один предрассудок. Остатками сил Бэкон заплатил за убеждение всей жизни: «Люди слишком многому верят и слишком мало знают. Поэтому должно все испробовать самому, ощупать собственными руками...» («Опыт»).

Другой рассказ цикла — «Плащ еретика» — Брехт напечатал впервые на страницах московского журнала «Интернационале литератур» (1939, № 8). Тогда он назывался «Плащ ноланца».

«Джордано Бруно, родом из Нолы,— так начинается рассказ,— которого римская инквизиция в 1600 году приговорила к сожжению на костре как еретика,

все почитали великим человеком не только за его смелые, впоследствии подтвердившиеся гипотезы о движении небесных тел, но и за его мужественный отпор судьям инквизиции, которым он сказал: «Вы с бóльшим страхом произносите мне приговор, чем я его выслушиваю». Достаточно прочесть книги Бруно и познакомиться с рассказами о его выступлениях на ученых диспутах, чтобы понять, сколь заслуженно его называют великим; но сохранилось одно предание, которое, быть может, заставит нас уважать его еще больше.

Это история о его плаще...»

Из необыкновенной и героической биографии Джордано Бруно писатель берет как будто заурядный эпизод. Случай, который произошел еще за восемь лет до того, как огненные языки костра инквизиции навеки вписали это имя в историю человечества.

Происшествие житейски-прозаическое, бытовое, буднично мелкое. Но не мелочами ли жизни часто измеряется великое?

Недавно арестованный ученый, отстаивая свою правоту, почти год ведет неравный поединок с властями Венеции. Он защищает право человека верить своим глазам и ушам, мыслить, иметь собственное мнение, первейшую малость свобод личности, гарантированную законом вроде бы свободной республики Венеции. И в этот момент схватки, грозящей Джордано Бруно в случае поражения выдачей в лапы римских инквизиторов, сам поборник истины оказывается вдруг... объектом справедливых притязаний.

Еще до неожиданного ареста Бруно справил себе новый плащ. Заработать, чтобы расплатиться с портным, он не успел.

Жене портного, семидесятилетней старухе, нет дела до гипотез о вращении небесных светил и вселенских истин. Ей отдай долг. Тем более что труд и затраты на материал для плаща равняются чуть ли не месячному нищенскому заработку семьи.

Старуха пылает жаждой вернуть потерянное. Она исполнена негодования, оскорблена, задета в лучших чувствах. Величайшей несправедливостью законов считает она тот факт, что еретик может быть брошен в тюрьму или даже сожжен на костре до того, как успеет возвратить долг.

Одержимая труженица, непреклонная в стремлении

восстановить справедливость, утвердить свою куцую истину, она атакует судебные инстанции. Ей удается добиться нескольких свиданий с заключенным в тюрьме правдоискателем.

История этих домогательств и встреч с Джордано Бруно в момент, когда для того решается вопрос о жизни и смерти, и есть сюжет рассказа...

Джордано Бруно в трагическом положении. Ему нечем платить. Он не может возместить даже часть невольно причиненного ущерба, возвратив сшитый плащ. Так как тот вместе с другим его скудным имуществом конфискован властями.

Домогательства старухи в роковые для арестованного дни настолько неуместны, что на сторону Джордано Бруно склоняется даже тюремное начальство. Но сам правдоискатель решает нравственную проблему по-другому.

Высший душевный героизм Джордано Бруно в этой ситуации состоит в том, что он сразу же и полностью соглашается с требованиями старухи. Он затевает тюремную борьбу, требует возмещения долга семье труженика-портного за счет своего конфискованного имущества.

Черный день поражения Джордано Бруно оказывается и днем маленького торжества. Власти Венеции решают выдать богохульника римской инквизиции. Но его плащ возвращен портному. «Хотя, по правде сказать,— заканчивается рассказ,— плащ очень бы теперь пригодился самому узнику: вопрос о выдаче решен, и на этой же неделе его повезут в Рим... И на самом деле, стоял конец января».

Нет истин малых и больших. Только неделимая истина способна принести с собой справедливость. Вот что утверждает писатель изображением подвига Джордано Бруно в рассказе «Плащ еретика».

Отличительные черты мужества, какие требуются от искателя истины, пожалуй, с особой и нарочитой заостренностью выражены Брехтом в героико-комическом рассказе «Раненый Сократ».

«Сын повивальной бабки Сократ...— начинает повествование автор,— славился не только как мудрейший, но и как храбрейший из греков». И действительно, когда мы читаем у Платона, как легко и беззлобно он осушил чашу цикуты, которой был награжден властями за все свои заслуги перед соотечественниками,

мужество Сократа не вызывает у нас никаких сомнений. Однако многие почитатели превозносили его и за храбрость на поле брани.

В самом деле, известно, что Сократ участвовал в битве при Дилионе в рядах легкой пехоты, поскольку ни по своему ремеслу сапожника, ни по своим доходам философа он не мог быть зачислен в привилегированный и дорогой вид войск. Однако храбрость его, как легко представить, была особого рода».

Об этой *особой храбрости* философа и написан рассказ.

Сократ противник войн, в особенности тех, цели которых далеки от общенародных интересов. Класть жизнь ради того, в чем «рабовладельцы Малой Азии, видите ли, стали поперек дороги персидским... работорговцам», он никак не собирается.

Вот отчего в сомнительный момент боевой схватки Сократ не считает зазорным пуститься наутек. Но тут разыгрывается история точь-в-точь, как с храбрым зайцем. Во время бегства Сократ поранил ногу острым шипом. От страха и невозможности дальше передвигаться он голосом и беспорядочным маханием меча скликает вокруг себя дрогнувших греческих воинов и обращает в бегство персов. Становится вдохновителем победы и храбрецом поневоле!

Забавны дальнейшие перипетии и повороты этого полушутливого, но психологически точного рассказа. Истинных мотивов доблести новоявленного храбреца не прозревает никто, даже обычно видящая его насквозь ехидная жена Ксантиппа. Ширится молва, множатся украшающие быль легенды. Герою заготовлен триумф, высшее чествование в ареопаге.

Философ, возможно, и дрогнул бы, поддавшись человеческой слабости тщеславия. Да предательски мешает раненая пятка — двигаться он по-прежнему не может. А еще больше не дает покоя совесть, чувство оскорбленной истины. И когда к нему на дом с уговорами пожаловать в ареопаг является сам полководец Алкивиад, Сократ не выдерживает.

— Послушай, Алкивиад,— выпаливает он,— ни о какой храбрости и речи быть не может!..

И философ безбоязненно и чистосердечно рассказывает все, как было.

Мужество этого признания после всеобщего замешательства оценил Алкивиад.

«Жаль, что я не захватил с собой свой венок...— потрясенный, подытоживает он.— А то я оставил бы его тебе. Поверь мне, ты больше, чем я, заслужил его своей храбростью. Я не знаю никого, кто при подобных обстоятельствах рассказал бы то, что рассказал ты».

Храбрость, мужество и героизм искателя истины подчас особого рода, не такие, как у человека практического действия. Но качества эти требуются обоим, и еще трудно сказать — кому больше...

Этот мир нравственных идей и формулировочных построений, объединенный узами духовного родства с центральной фигурой и всем содержанием пьесы «Жизнь Галилея», вместе с тем несет в себе и ключ к живой личности автора.

Причем иногда бывает так. Далеко не главные и, может быть, даже сугубо второстепенные особенности человека вдруг заново освещают нам его целиком.

Пусть выступят на передний план такие черточки и подробности и в данном случае... На них — приметы времени, «пыль эпохи», осевшая от трудно пройденных гор и долин. Но, может быть, в них-то мы и увидим сразу лукавый прищур живого Брехта, вовсе неспроста сформулировавшего пятый нравственный постулат о «распространении правды при помощи хитрости».

«Тактика поведения»? «Второстепенный этический тезис»? «Углы личности»? Конечно!.. Но не забудем — углы выпирают там, где внутренняя конструкция тверда и неподатлива по своему существу.

Речь пойдет о том, что можно назвать «осмотрительным мужеством» Брехта.

Брехт, бесспорно, был смелым художником и мужественным человеком.

Говоря его собственными словами, он в высшей степени обладал мужеством при писании правды. Притом, когда затрагивались главные его понятия, страсти и убеждения, он не шел на уступки, оставался верен себе, не считаясь с жертвами, опасностью и даже риском для жизни. Подобная ситуация сложилась, например, в Финляндии с зимы 1940/41 года. Брехт и его семья тогда уже имели визы для выезда из «опасной зоны». Однако вопреки разраставшейся с каждым днем угрозе писатель по велению совести

еще полгода оставался в Финляндии, продолжая жить и работать, как обычно. В такие недели создавалась пьеса «Карьера Артуро Уи». Сколько присутствия духа нужно было, чтобы шлифовать ямбы в уничтожающей сатире о главарях фашистского рейха, когда под окнами маршируют переодетые гитлеровцы!

Но главное даже не в одном этом. Только мужественный человек, имея в ящике стола семь почти никому не известных пьес (да каких пьес! — нередко шедевров мировой драматургии!), мог упорно и дальше продолжать писать в стол, в черную прорву, в ничто, не позволяя себе нигде вильнуть или хоть на пядь сойти в сторону с избранного пути. И так не год, не два, а долгие восемь лет, с того момента, когда началась полоса изгнания.

А ведь не забудем, что Брехт еще задолго до этого был европейски знаменитым писателем, за каждое сочинение и подпись которого наперебой конкурировали между собой редакции газет, журналов, издательства, театры, киностудии.

Конечно, времена изменились. Выпала главная литературная площадка — Германия. Слишком много бродило по свету знаменитых изгнанников-немцев и слишком мало стало читающих заслуживающую этого имени литературу на немецком языке. В пору создания никто не ставил ни «Жизнь Галилея», ни «Мамашу Кураж», ни «Доброго человека из Сезуана»...

И все-таки... Стоило только дать знак, замахать руками и щелкнуть пальцами, на манер, как останавливают пробегающие мимо такси,— и дело будет сделано...

Путь к тем улыбчивым и шустрым, правда, несколько одноликим господам не столь уж долог.

Зовутся они коммерсантами от искусства или политиканами разных толков. Стоит только переменить тематику, начать приспосабливаться к зарубежному рынку, угождать литературным перекупщикам, работать на потребу дня, тогда... Сколькие давали себя заворожить, гнулись.

Но он даже в мыслях не допускал намека на сделку. Не уклонялся с пути ни на дюйм, ни на сантиметр.

Он был национальным немецким писателем, продолжал болеть болями своей обесчещенной отчизны, своего обманутого народа. Он говорил правду, одну

правду и только правду. Никогда не пугался озлобленного воя врагов. И стойко выносил то, что иной раз выдержать гораздо труднее,— вызванные его глубинным проникновением в действительность, смелостью мысли, новизной почерка нередкую разноголосицу частичного или полного непонимания в стане друзей и единомышленников.

Оставался верен себе, не покривил совестью, не уступил давлению обстоятельств. А не это ли и есть высшее из возможных проявлений стойкости борца — мужество духовное,— предполагающее постоянное подвижничество, изо дня в день.

Такое мужество есть своего рода духовный педантизм в соблюдении профессиональной чести, долга и самого назначения художника. И в этом смысле Брехта безусловно следует поставить на одно из первых мест среди его современников.

Но вот факт, казалось бы, иного рода.

В подробностях и с присущим ей запалом, изнутри самой романтики журналистского прошлого, передавала этот эпизод во время упоминавшейся встречи Рут Берлау... Красная Рут, Пылающая Рут...

Она была непосредственным участником происходившего, и даже за давностью лет хлесткие выражения срывались с ее уст в соответствующем месте рассказа. Брехт сам учил правде, а правда не знает исключений и распространяется на всех.

Прямота и нелицеприятность. может быть, первейшее свойство «брехтовца», по которому сразу узнаются люди, долго работавшие с писателем. А у Рут эти качества были в крови. И она не забыла сослаться вдобавок и на знаменитую «рабочую кепку, сшитую у лучшего берлинского мастерового», и на верность «многим женщинам» и т. д., хотя кто уж, как не она, ценила Брехта и самозабвенно протрудилась с ним два десятка лет.

Но ограничусь, пожалуй, лишь напечатанной версией события, как оно кратко и бесстрастно изложено в справочно-биографическом издании «Брехт: Хроника. Даты жизни и творчества».

Речь идет о поездке на один из международных конгрессов в защиту культуры летом 1937 года. В справочнике читаем:

«Лето: Брехт с Рут Берлау едет в Париж на Международный писательский конгресс, главная тема ко-

торого — отношение деятелей культуры к гражданской войне в Испании. Конгресс продолжится в Мадриде. Поездку туда Брехт рассматривает как слишком опасную, он пишет речь, которая будет оглашена (Собр. соч., т. VIII, с. 247—250). Рут Берлау брехтовская «осторожность» кажется утрированной, она присоединяется к Михаилу Кольцову и летит с ним в Мадрид... Из-за своих опасений Брехт причисляется к «трусливым людям» («Brecht — Chronik. Daten zu Leben und Werk». Zusammengestellt von Klaus Völker, Carl Hanser Verlag, München, 1971, S. 68—69).

Почему он поступил так? Почему, написав незадолго перед тем пьесу «Винтовки Тересы Каррар», посвященную испанским событиям, не пожелал еще и символически засвидетельствовать свою поддержку сражающимся республиканцам личным присутствием на конгрессе в осажденном Мадриде?

Неужели сомнительно замаячивший шанс пострадать при бомбежке или обстреле пугал его больше, чем мужественно избранный жребий, при котором он ради тех же самых идеалов добровольно сжигал жизнь изо дня в день?

Не будем ворошить подробности давнего события. Ответим в принципе.

Брехт не выносил риска, который, с его точки зрения (всегда ли обоснованной, верной или нет — дело другое), почему-либо казался ему недостаточно оправданным, излишним.

Иногда он даже подчеркнуто и демонстративно, в глазах многих, старался избежать опасности или серьезной угрозы, если только они не вытекали из внутренней логики того дела, в котором он, по его мнению, был незаменим и неподставим. Если они, с его точки зрения, не определялись точным существом и собственным развитием нравственных обязательств и этических норм, которым он вызвался следовать.

Одним словом, если события не разворачивались, в его понимании, на том участке борьбы, который в силу своего жизненного призвания, убеждений и совести обеспечивал именно он и где в ход могло быть пущено оружие, в котором он чувствовал себя мастером.

Все опасности и угрозы прочих видов он старался заблаговременно отклонить, обойти или миновать. Он рассматривал их как своего рода стихийные бедствия, способные нарушить естественный ход земного сущест-

вования, способные прервать и помешать исполнить главное дело жизни.

И он старался своевременно угадать возможные петли судьбы, дальновидно упредить их, шарахнуться и бежать от надвигающейся беды, как от камнепада в горах.

Возможно, при этом зрение подчас изменяло. И внутренние импульсы и ориентация срабатывали не всегда точно.

Но Брехт не боялся попасть впросак. Его не пугала даже перспектива показаться смешным. (Спустя короткое время в рассказе «Раненый Сократ» Брехт и сам шутливо живописал ситуацию, как мудрец бежит с «поля брани».) Он полагал, что лучше проявить дальновидность на определенном пути и пускай переусердствовать, чем недостараться, допустить непоправимое, когда будет поздно. Посмеяться же еще успеем!

Не всякого рода геройство было для него проявлением героизма. Главное мужество искателя истины он усматривал в том, о чем написал подробно в рассказах «Плащ еретика», «Раненый Сократ», «Опыт» и прежде всего, конечно, в пьесе «Жизнь Галилея».

Во всяком случае таким он был. И подтверждающих тому фактов можно привести немало.

В ночь с 27 на 28 февраля 1933 года нацисты подожгли рейхстаг, развязав кампанию открытого массового террора и физического уничтожения своих политических противников.

Рейхстаг горел... Огонь и летучие искры осветили ночное небо города и поволокли по нему клубы багрово-черного и ядовито-зеленого дыма. Пожарная и полицейская суета затеялась вокруг куполообразного здания, с многоножием массивных ребристых колонн, придающих всей серокаменной казенной громаде под изогнутым панцирем, торчащей в дрожи фантастических розовых отблесков, отдаленное сходство с живым страдающим чудищем. Толпы полусонных людей, море лиц, голов, глаз, затопили оконечность улицы Унтер-ден-Линден, теснясь у Триумфальной арки Бранденбургских ворот.

В тот момент подлинный смысл происшедшего, конечно, открылся далеко не всем и отнюдь не сразу. Так было даже и в последующие дни.

По Берлину, например, еще с неделю бродил певец и популярный актер Эрнст Буш, один из друзей Брех-

та, исполнитель песен на его стихи и центральной роли в нашумевшем незадолго перед тем фильме из жизни безработных «Куле Вампе» (Эрнст Буш сам рассказывал об этом во время нашей берлинской встречи в конце сентября 1975 года).

Заходил в кафе, просматривал газеты, пил пиво. И однажды даже случился такой казус. Из-за столика его окликнула захмелевшая компания почитателей — заводских парней или, может, вчерашних безработных, напяливших нарукавные красные со свастикой повязки штурмовиков и мнивших себя теперь отчаянными революционерами: «Буш, дружище, иди к нам!..»

Дома звонил телефон: «Эрнст, ты жив?» — «А почему нет?»

5 марта, при выборах в рейхстаг, за коммунистов проголосовало еще почти пять миллионов человек, за социал-демократов — семь миллионов... Это — несмотря на подлоги и фальсификации по всей стране, избиения, аресты и убийства... Таков еще был, как говорится, барометр массовых настроений!

В день голосования, под присмотром нескольких друзей, Буш даже заскочил ненадолго в «Римское кафе», на пятачок которого стекалась обычно артистическая братия и литературно-журналистская богема. Была деловая надобность.

Там, видно, и заприметил его литературный шпик. Во всяком случае, на другой день в одной из газет появилось прямое печатное подстрекательство: «Знаете ли вы, что певец баррикад Буш все еще разгуливает по улицам Берлина?..»

Это был последний «звонок». Но теперь уже потребовалось немало усилий, чтобы миновать полицейские кордоны и перебраться через голландскую границу...

Некоторое время спустя специальным правительственным рескриптом он был лишен германского гражданства и зачислен в черный список «еще не повешенных»... Так было с Эрнстом Бушем.

В ночь с 27 на 28 февраля, в момент поджога рейхстага, Брехт находился в больнице с осложнениями после тяжелого гриппа. Но весь ход дальнейших событий открылся ему, как гроссмейстеру в запутанной партии, и стал ясен, едва он просмотрел утренние газеты.

28 февраля, срочно выписавшись, писатель с Еленой Вайгель поездом отбывает в Прагу. Девятилетний сын Штефан проделывает тот же путь на самолете, куда его сажают друзья.

Двухлетняя дочь Барбара оставлена в Баварии, в доме деда, откуда при содействии друзей тоже будет переправлена за рубеж.

Паковать рукописи, книги, имущество на берлинской квартире вызвалась сотрудница и верный товарищ — Элизабет Гауптман.

Переезд через границу налегке, без вещей и поклажи, даже без детей, напоминает деловой вояж или туристическую прогулку, но никак не бегство. В нынешнем болезненном состоянии это позволяет легально переправить семью и ускользнуть самому, не возбуждая преждевременных подозрений и не давая возможности спохватиться, пока не приспел срок.

Таковы были мгновенная реакция и осмотрительность этого человека!

Столь же дальновидным не раз оказывался он и в зыбкие, опасные и незащищенные годы европейской эмиграции, в пору побед гитлеровского оружия, когда приходилось жить, «меняя страны чаще, чем башмаки».

Имея в виду факты подобного рода, Бернгард Райх, один из тех, кто по-человечески любил и хорошо понимал Брехта, замечает в своей мемуарно-исследовательской книге: «Я изумлялся этой проницательности Брехта, умению предвидеть войну и шутя говорил, что у него наверняка развито шестое чувство».

Б. Райх приводит примеры: «...в 1940 году еще продолжалась эта странная, спокойная война между германскими и французскими войсками. Полагали, что так будет и впредь. А Брехт чуял, что гитлеровцы займут Данию, и вовремя переселился в Швецию, а затем в Финляндию» (Б. Райх. «Вена — Берлин — Москва — Берлин», с. 318).

Или, скажем, другой факт.

30 октября 1947 года Брехт, живший тогда в США, вызван в Вашингтон для дачи показаний Комиссии конгресса по расследованию антиамериканской деятельности.

Это сигнал,— в Америке началась кампания «охоты на ведьм». Людей, чьи политические взгляды неугодны правящей верхушке, заносят в черные списки,

вытесняют из влиятельных сфер общественной деятельности, под разными предлогами лишают работы, карают крупными штрафами и тюремным заключением за так называемое «неуважение к конгрессу», а иными словами — за отказ заниматься официальным доносительством на себя и товарищей.

Теперь очередь дошла до Брехта.

Его допрашивают, стараются изобличить в политической нелояльности. Почему он написал пьесу «Мать» и что хотел сказать этим произведением о русской революции? Что означают его долголетние отношения с композитором Гансом Эйслером, у которого брат — видный коммунист? Не прячется ли за этим косвенная агентурная деятельность в пользу иностранной державы?

Раскопали даже статью из советского журнала «Интернациональная литература» середины 30-х годов, написанную Сергеем Третьяковым с использованием материалов устных бесед и высказываний Брехта. Из статьи видно, что они с этим... как его? Трети-коф-ым... стоят на одинаковых политических позициях. Верно ли это?

Всякие линии отношений с Советским Союзом особенно подозрительны, криминальны и должны быть тщательно обследованы.

Брехту ясно, что возможности для творческой работы, которые представляли прежде Соединенные Штаты, на данном витке полностью исчерпаны. Даже пребывание тут людей такого плана, как он, становится не только нестерпимо трудным, но и опасным.

Недаром в Швейцарию из Соединенных Штатов вслед за тем вынужден был бежать даже Чарли Чаплин.

Писатель и раньше не собирался долго задерживаться тут, а теперь медлить больше нельзя.

30 октября он дает свои показания Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. А уже на следующий день, 31 октября 1947 года, пополудни, навсегда прощается с Америкой и вместе с семьей на самолете вылетает в Париж...

Таким был Брехт.

Вернее сказать, и таким он был тоже. «Тактическое лукавство», которым наделит автор драматургического Галилея, было присуще, как видим, и ему самому. Лишь свойства характера и натуры, взятые во

всех крайностях проявлений, создают представление о живом Брехте.

...Нравственный кодекс поборника истины, с такой полнотой питающий пьесу «Жизнь Галилея», включал в себя, как отчасти уже поминалось, мотивы не только гражданского, но и семейно-бытового, интимного поведения личности.

Основная направленность тут была, как и во всем прочем, прежде всего — поиск истины с точки зрения революционного идеала преобразования общества, зашедшего в тупик фашистской деспотии. Разгребание нагромождений и завалов официального фарисейства и лжи, порабощающих человека в сфере личных отношений, мешающих ему раскрываться и жить также на всю полноту проявлений физической стороны его натуры; изничтожение добропорядочной гнусности немецкого филистерства, давно и старательно выдающего себя за всю нацию; признание и восхваление радостей земного бытия.

Духом мятежного новаторства пронизаны этические воззрения писателя. Они активно не приемлют тусклой рассудочности, пресного благонравия и мнимой добропорядочности немецкого обывателя, набора его житейских правил, к каким бы социальным слоям ни принадлежали достохвальные «михели» и «гретхен» и в чем бы себя ни выражали, всех их моральных атрибутов и качеств, даже если те приобрели разросшуюся независимую значимость, приняв обличья книжно-литературных источников, традиций и норм.

В те же самые недели и месяцы, когда обдумывалась пьеса «Жизнь Галилея», Брехт, например, так определял в «Рабочем дневнике» (12 августа 1938 г.) некоторые принципы своей этической устремленности:

«Материализм у нас, немцев, лишен чувственности. «Дух» у нас всегда размышляет о духе. Тела и предметы остаются неодухотворенными. В немецких песнях о вине речь идет сплошь о его духовном воздействии, даже в самых грубых песнях. Винными бочками в них не пахнет. Мир для нас не вкусен. В любовь мы внесли нечто душевное, половое наслаждение для нас нечто банальное. Когда мы говорим о вкусе, мы опять-таки имеем в виду что-то чисто духовное, язык в этом давно не принимает участия,

это нечто вроде чувства соответствия. Обратите внимание на это словосочетание: «чисто духовное»... Достаточно прикоснуться к материи, чтобы дух у нас загрязнялся. Материя для нас, немцев, в большей или меньшей степени грязь. В нашей литературе повсюду чувствуется недоверие к телесной жизни. Наши герои собираются в компании, но не едят; у наших женщин есть чувства, но нет задниц, зато наши старцы говорят так, словно у них все зубы еще целы».

Примечателен момент, когда эта филиппика клокочуще вырывается из-под пера писателя. Тем же освобождающим жизнелюбием пышут и высказывания героя пьесы — Галилея. Он, конечно, охотно бы подписался под приведенными выше словами.

Традиционному лживому пуританству немецкого филистерства «этика действий» в сфере личных отношений противопоставляла многокрасочность материального мира, всестороннее духовное и физическое раскрепощение человека, своего рода революционный эпикуризм, при котором самая активная борьба за общественное переустройство не исключала, а предполагала наслаждение всеми радостями земного бытия.

Мастерство жизнетворчества с такой точки зрения состоит в умении постигать диалектику реальных обстоятельств и индивидуального разнообразия человеческих отношений, учитывать эту диалектику и вверяться ей. Важнейшее, что характеризует человека,— гражданская позиция, бойцовские качества, способность служить идее. Это, конечно, первое, основное и главное. Но и радостей жизни, в том числе утех плоти, бежать нельзя.

У того, кто идет по верному пути, старательно ищет истину, не должно быть причин не искать ее и внутри собственной природы. Неоправданные самоурезывания физической стороны жизни так же противоестественны, как добровольные темницы духа. Ни в чем нельзя надевать повязки на глаза, отступаться от себя, насиловать и подавлять свою натуру. Иначе плодятся ложь, самообман, фарисейство и лицемерие, которые следует ненавидеть, презирать и изводить всеми способами.

Духовное и творческое созвучие, объединявшее Б. Брехта и его ближайших сотрудников, среди которых важнейшую роль играла Маргарет Штеффин, ни-

как не означало, разумеется, всегдашнего совпадения или одинаковости позиций.

Истинным двигателем, можно сказать, локомотивом всяческих новшеств, конечно, был Брехт. Он воспринимал мир глубже, сложнее, без флера расхожих представлений, смело ломая каноны устоявшихся взглядов. Он был пролагателем путей, создателем форм творческого сотрудничества, инициатором новых отношений и норм поведения.

Провозгласить и определить моральные новшества, как известно, подчас легче, чем утвердить их на практике. В особенности же в той чувствительной сфере, где более всего вступают в действие путы повседневных обстоятельств, тина быта. А женщинам, например, особенно любящим, пусть самым что ни на есть единомышленницам, с иными принципами проще согласиться на словах, чем примириться.

Четкость и ясность нравственного кодекса искателя истины, выдвинутого и проводимого Брехтом, сама по себе, разумеется, еще никак не избавляла от конфликтов и трений в близком кругу людей. Чувства часто сильней любой логики.

Это создавало понятные сложности в частной биографии Брехта. Тем более, что в отстаивании внутренней свободы он бывал столь же неумолим, крут и последователен, как и в соблюдении прочих принципов.

Тут позволю себе одно отступление. Реальное место сотрудницы писателя в его творческой работе, особенно после того, как получили известность новые материалы, открытые в Москве, год от года становится ясней. Это поощряет биографические разыскания. Все более тщательно исследуются отношения Брехта и Маргарет Штеффин. В публикациях на немецком языке сообщается о новых фактах, дополняющих историю этого литературного сотрудничества и этой любви.

Недавно разгадан «неприметный пароль», существовавший у Брехта и М. Штеффин.

Об этом рассказывает статья Герты Рамтхун — старейшего сотрудника берлинского Архива Брехта, помещенная в двухмесячном информационном журнале «Нотате» (1986, № 4, июль), который издается научным Центром Брехта в ГДР.

«Первый сонет» — так назвал Брехт стихотворение о «неприметном пароле» любящих. Взаимном напоми-

нании об их чувстве, «простом слове», которое при желании можно свободно употреблять среди толчеи жизни, в самых людных местах, не привлекая внимания окружающих. Это стихотворение, обращенное к М. Штеффин, написано в начале 30-х годов, на самой заре их отношений.

Озаглавив сонет по первой строке, на русский язык его перевел Борис Слуцкий. Стихотворение помещено в однотомнике Б. Брехта, изданном в серии «Библиотека всемирной литературы». Вот оно:

Когда распались мы на Ты и Я,
Расставив наши ложа Здесь и Там,
Пришлось избрать простое слово нам,
Что значило: касаюсь я тебя.

Казалось: что́ я словом сделать мог?
Прикосновение незаменимо,
Но все-таки «оиа» не так ранима,
Хранима, словно отдана в залог.

Отобрана, но все-таки и снова,
Сохранена, чужой не становясь,
И остается не со мной — моей.

Когда одни среди чужих людей
Употребляли вскользь мы это слово,
Мы знали — нерушима наша связь.

«Всю жизнь Брехт обходил молчанием,— пишет Г. Рамтхун,— каково же то «простое слово», о котором идет речь в «Первом сонете». Для себя лично я его давно выяснила. Но так как моя разгадка до сих пор покоилась на предположениях, оглашать ее я опасалась. Работая ныне над большим изданием Брехта, я благодаря случайности установила нечто такое, что меня крайне поразило и сделало предположения уверенностью...»

Далее Герта Рамтхун приводит доказательства, что «простое слово» — это хорошо знакомое Брехту по его родной Баварии южно-немецкое выражение «Grüß Gott!». Широко распространенное в тех краях, обиходное, с народным оттенком, приветствие при встрече, означающее «здравствуйте!», буквально же: «бог приветствует тебя!», то есть «мир тебе!», «благополучия тебе!» и т. п. При письме Брехт для краткости обозначал его двумя буквами «г» — «GG».

Двенадцать раз пишет Брехт эти слова на листках календаря, который вручает Маргарет Штеффин,

уезжавшей в начале февраля 1933 года при содействии его и Эйслера для продолжения лечения от туберкулеза на швейцарский курорт Агра. Там Штеффин провела двенадцать недель. Заветное приветствие вписано Брехтом в листки календаря за каждый четверг — с 16 февраля по 4 мая.

Именно на этом курорте, где она, по несчастью, оказалась в черный для своей страны час — в момент фашистского переворота в Германии, Грета так мучилась и терзалась от ощущения вынужденного бездействия, от сознания своей бесполезности. Судя по переписке с Брехтом,— оттого-де, мол, что в кровавые дни фашистской резни вынужденно отсиживается среди беспечной буржуазной публики — в «омерзительном окружении бездельников и рантье». Писатель успокаивал и утешал ее изо всех сил, как только мог.

У Брехта есть шутливый сонет, который назван пространно: «Когда в понедельник седьмого октября 1935 года классик покидал Данию, плакала вся страна». Брехт ехал тогда в Соединенные Штаты ставить свою пьесу «Мать» в нью-йоркском рабочем театре «Юнион».

В этом-то стихотворении, врученном позже М. Штеффин, Г. Рамтхун и обнаружила нежданно-негаданно, пожалуй, самое красноречивое подтверждение своей догадки.

Итак, новатор-драматург направлялся в Америку, ехал впервые утверждать там свои принципы нового эпического театра... Но надо ли заново открывать Америку — ту часть света, где теперь больше помнят о «колумбовом яйце», чем о самом мореплавателе Колумбе, ее открывшем? — примерно так иронизирует сонет.

Необычно пространное название не раз озадачивало научную сотрудницу. Теперь, обратившись к рукописи (в архиве обычно работали по фотокопиям), она установила, что столь длинное название, расположенное столбиком в три строки, сделано неспроста. Первые буквы в каждой строке сонета, включая и лесенку заглавия, выделены Брехтом на машинке красной лентой.

Сонет, как оказывается,— акростих, в начальных буквах которого зашифрована столбиком прощальная фраза с заветным паролем: «Ade Grüß Gott Bidi».

Фраза состоит из французского слова «адью» (прощай), выражения «Grüß Gott» и подписи «Биди» (уменьшительное имя Брехта). Отплывая на пароходе, Брехт слал на берег прощальный привет любви!

Но и это еще не все. Два крошечных «GG», начертанных карандашом («Grüß Cott!»), скрыты в нижнем уголке листа первоначального рукописного варианта пьесы «Жизнь Галилея» — «Земля вертится», который Брехт, как полагает автор, адресовал своей сотруднице, чтобы узнать ее мнение. Читая, Грета ненароком должна была натолкнуться и на выражение чувств автора.

Впрочем, чувства чувствами, а работа работой. Последующее обсуждение, надо полагать, было продуктивным. Недаром Брехт затем записал новый сюжетный ход (с карнавальным шествием) для этой сцены пьесы, идею, впоследствии реализованную.

«Разгадка существовавшего у этих двух людей только им понятного выражения,— заключает статью Г. Рамтхун,— наверняка не имеет большого значения для исследований Брехта. Но поэтическая форма, в которой они общались друг с другом, говорит нам нечто не только о личных отношениях между Брехтом и Штеффин; взаимный смысл того, что скрыто в «неприметном слове», отводит Маргарет Штеффин особое место в творческом кругу Брехта» *.

Однако вернемся к тем дням в Дании, когда это чувство подверглось суровым испытаниям.

Вольные и в то же время жесткие принципы, на которых строил свои личные отношения Брехт, не раз чувствительно затрагивали и героиню нынешнего повествования.

Только незадолго перед тем ее захватили новые переживания, чуть не приведшие к безоглядному бегству из Дании, к последней, по-видимому, отчаянной попытке вырваться из лап чужой воли, сбросить добровольное иго и завершившиеся в конце концов примирительным подысканием отдельно стоящего домика на краю деревушки Сковсбостранд, где писалась и перепечатывалась пьеса «Жизнь Галилея»...

---

* Herta Ramthun. Die Entdeckung des „unauffäligen Worts". „Notate", 1986, № 4, S. 12—13.

* * *

Если говорить совсем вкратце, дело было так. Однажды датчане, уступая давлению нацистских властей, разрешили снять со своего корабля при проходе через Кильский канал, пролегавший по территории Германии, двух немецких эмигрантов. Арестованные жили в Дании и имели там давным-давно оформленное политическое убежище.

Такой наглости притязаний и готовности на уступки прежде не бывало! Симптом был тревожным.

Этот случай и послужил прологом к истории, начавшейся с того, что какое-то время спустя к ее фамилии прибавилась датская приставка «Юуль». Она стала фру Штеффин-Юуль. Принуждена была совершить этот трюк — фиктивно вышла замуж за тридцатилетнего журналиста из копенгагенской коммунистической газеты Юуля.

Конечно, при других обстоятельствах происшествию стоило бы лишь усмехнуться и жить дальше. Но это событие почему-то не выходило из памяти, стояло перед глазами. Хотя что там такого, подумаешь! Короткий водевиль, да и только... Церемония в игрушечной городской ратуше Сведенборга из красного кирпича. По очереди — за разнаряженной притихшей парочкой молодых датчан, прибывших в плотном кольце соплеменников поставить брачные подписи перед венчанием в кирке.

Тесная приемная с двумя рядами старинных дубовых стульев, сдержанный гомон общего ожидания.

(В те несколько минут вдруг забрало любопытство и даже будто царапнуло что-то внутри. Почти заставила себя отвести глаза. У невесты бледное прыщеватое личико, она белокурая, тоненькая, как былинка, и совсем молодая, не больше семнадцати. А он постарше, лет двадцати пяти, с крупным, сильным лицом, широкоплечий, этакий здоровила, богатырь, увалень. Матрос или рыбак. Сокрушит ее, сомнет, сломает. Что между ними общего? И что сейчас чувствуют они, бледненькая и этот житель морей? Она, кажется, испугана, а что происходит в нем? Случайные, посторонние, чужие. Но нет, переглянулись и разом — словно перебросился мостик. Одно только выражение глаз, движение лиц — и все другое. Он вовсе не гора мускулов, не примерный самец, а что-то вроде обыкновенного деревенского ухажера, до-

верчивый, надежный. А у бледненькой девочки глаза голубые, пьяные и чуть сумасшедшие. Это счастье. Главное, что объединяет...)

Юуля, своего жениха для паспорта, она увидела в лицо только несколько часов назад.

Он кажется почти квадратным, хотя и роста среднего, кареглазый, спокойный. Стоит, прислонившись к стене, в кожаной, шоферского покроя куртке, ладно облегающей его коренастое тело, из одного бокового кармана высовывается толстый растрепанный блокнот, в карманы брюк тоже что-то понапихано. Без крайности предпочитает отмалчиваться, только поглядывает улыбчиво и выжидающе.

Они и поговорили-то всего, когда сидели в полдень в соседнем с пристанью ресторанчике, напоминавшем кораблик, качающийся по зеленому водному простору Зунда. Там устроен был небольшой обед, знакомились, осваивались.

Присутствовали, кроме них, Брехт, гостивший заездом режиссер из Парижа и двое копенгагенцев — свидетели со стороны Юуля.

Разговор больше вертелся вокруг злополучного происшествия на Кильском канале.

Ситуация была следующая.

Немецкие эмигранты, те, что у всех на виду да еще с международным именем и весом, вроде Брехта, пока что вне досягаемости. Но датские власти изо всех сил стремятся задобрить опасного соседа — Германию. И судя по многим признакам, принялись, как они это именуют, «разгружать страну от радикальных элементов» масштабом помельче. От рядовой политической эмиграции, в особенности из числа бывших и нынешних активистов КПГ.

Может, даже и на кильскую уступку решились не без умысла и цели — чтобы изменить атмосферу, пугнуть кое-кого! Каждый день жди новых поворотов. Вот почему приходится ловчить, изыскивая способы, чтобы прочней окопаться и легализоваться в стране.

— Наше правительство трясется, как барбос, как мелкий цуцик перед волком,— произнес Юуль с обычной своей невозмутимой улыбкой.— А когда так поджимают хвост перед нацистскими бандитами, тут дело не только ваше, но и наше!.. Мы не женимся, а обороняемся, не правда ли, коллега Штеффин?

— Верно замечено! — со смехом отозвалась Грета.

В вольном порыве она взглянула Юулю прямо в глаза. И вдруг смутилась. Ей показалось, что в самой их глубине она увидела что-то новое — тревожный огонек интереса.

«А что, если он надеется?..»

Ведь она совсем его не знает. Ничего ровным счетом! Как сложилась и устроена его личная жизнь? Кто он такой? Вдруг эта формальность повлечет за собой совсем ненужные ей отношения?..

Неспроста же она сомневалась и колебалась вначале. Есть все-таки что-то ненатуральное, соблазняющее в таком способе объединения двух людей, мужчины и женщины. Пускай один жертвует другому только свое отвлеченное право личного выбора с фамилией вдобавок. И пусть действует при этом с самыми святыми и бескорыстными намерениями. Он же тоже не бестелесный, тоже человек...

А все это он, Брехт, Биди. С его дерзким размахом и пренебрежением бесцеремонным ко всякого рода внешним формам. Это он сказал первым: «Надо обратиться в партию, пусть она найдет нам мужа...» Копенгагенская коммунистическая ячейка назвала добровольца, желавшего помочь немецким товарищам-эмигрантам. Так возник Юуль.

Конечно, во всем этом нет ничего особенного. Просто один из способов получения датского гражданства. А при ее разъездах и обязанностях связного даже рабочая необходимость, разумная мера предосторожности: Кильский канал, пересекающий территорию Германии у подошвы Ютландского полуострова, от их портового Сведенборга — ближайшая и основная судоходная магистраль в разные концы Европы.

Но и самое простое, оказывается, кому-то не просто. А для нее вдобавок был и более чувствительный барьер.

Решившись на вынужденную церемонию, да еще в присутствии своего кумира, она шла почти на экзекуцию.

Все-таки это было мучительно и даже обидно отчасти, как ирония, насмешка, даже надругательство, пожалуй. Невольные, конечно,— обстоятельств, судьбы, рока, чего угодно, но все же болезненные тем не менее.

Со всей остротой открылось ей это тогда, когда в ресторане нечаянно заглянула в глаза Юуля.

С той секунды ощутила в себе некую незнакомую ей до того ватную скованность, тягостное томление. Чувство несвободы. И сообразила устало, что пройдет это не скоро.

...Затем настал их черед.

Парадный чиновник, приветливый, радушный, в черном смокинге и крахмальной рубашке, на фоне развернутого королевского знамени.

Поочередные росписи в огромной толстенной книге, переплетенной столь же вековечной рифленой кожей, видимо, рассчитанной на прадедов и правнуков сразу.

Букеты цветов. Бокалы с шампанским. Тосты...

За фиктивные браки буква закона грозит крупными штрафами, высылкой из страны и даже тюремной решеткой. Поэтому надо блюсти форму.

(Но Биди мог бы, конечно, и придержать свою мефистофельскую ухмылку. Чокается за счастье, а смотрит себе на нос всезнающими колкими глазами и губы кривит язвительно тонкие.)

За все венчальное торжество только и глянула пару раз на Юуля. Было неловко.

А за уличным поворотом, уже на спуске к пристани, все вдруг заторопились — и свадьба вразброс.

Прощальные слова. Рукопожатия. Может быть, особенно крепкие и дружеские, не без чувства освобождения.

Ощущая переход к себе, прежней, даже расцеловала на радостях улыбчиво окаменелого Юуля. Заприметить успела, впрочем, горячие азартные рыжинки, испытующе скакнувшие в карих глазах журналиста. На какое-то мгновение лицо его стало помятым.

Она нравилась этому парню. Теперь не было сомнений. Скверная получалась неожиданность.

Затем компания пополам — каждый к себе, в привычную колею. Юуль со свидетелями — в свой Копенгаген, она, Брехт и парижский режиссер (все пятеро мужчины, она одна женщина!) — домой, к прерванным литературным делам и заботам.

Мужчины сразу поскучнели, посолиднели. Чего дальше стараться! Занавес опущен. Театралы. Спектакль, с воображаемой белой фатой на чьей-то голове, с притворными обетами. И все, ничего больше. Главный режиссер-постановщик — Брехт.

Зато Грета теперь — почти датская гражданка. Может сколько угодно курсировать через тот же Киль-

ский канал, не рискуя, что пересадочным пунктом путешествия ненароком станет фашистский концлагерь.

Так бы оно и вышло, наверное. Все зарубцевалось, сгладилось, улетучилось. Если бы не два обстоятельства.

Во-первых, все-таки не могла забыть Грета этого обряда поругания.

Она вообще, пожалуй, излишне восприимчива была ко всяким знакам, приметам, прорицаниям, словам, обетам. Даже и для женщины с повышенной душевной чувствительностью, такой, что зовется художественной натурой.

Сверх того, может быть, корни уходили еще в воспитание, в домашнюю среду. В стройный мир прочных и уютных представлений матушки Ханнхен, да и родных по отцовской линии. То есть в не столь уж давнюю деревню.

Вот почему при всех своих строго передовых мировоззренческих принципах она как бы вполусерьез, но тем не менее стойко держалась подчас даже таких представлений и верований, которые и вовсе принять можно было разве за суеверную фантастику *.

И тут иногда бессилен оказывался даже острейший скальпель логики Брехта. Ни подтрунивания, ни разубеждения, ни рассудочные самоуговоры не достигали цели.

Химеры возникали от богатства эмоций. Такой она была по натуре своей, страстной, импульсивной, с развитой интуицией, с сильной способностью к любви, с цельным нравственным чувством, разве, может, чуть старозаветной окраски.

---

* Характерный пример. В одном из декабрьских писем 1935 года к Б. Брехту, сетуя на новую вспышку туберкулеза, сопровождаемую еще несколькими острыми заболеваниями сразу, М. Штеффин писала: «Когда мне было 17, цыганка предсказала мне, что я должна умереть в 33. Теперь это уже не столь долго. Но я не хочу медленно отмирать. И больше не хочу также, чтобы меня щадили и жалели из-за хворей и чтобы я превращалась кто знает во что» (4 декабря 1935 г.).

Об этом настойчиво повторявшемся М. Штеффин предельном рубеже собственной жизни — 33 года, к сожалению, оказавшемся точным,— имеются и другие свидетельства.

В подробностях то же самое примерно сообщала Р. Берлау исследователю из ГДР Г. Бунге в одной из бесед цикла, записанного им на магнитную пленку. (Отрывки из рассказов Р. Берлау, с которой довелось встречаться также и автору этих строк, см. в гл. «Чкаловская, 53».)

Словом, именно при ее представлениях, душевном складе и обстоятельствах, в которые была поставлена она, фиктивный брак ни за что нельзя было отнести к разряду легких маскарадных проделок.

Напротив, событие это вызывало круговорот слепых и колючих переживаний. Она многим поступилась, пожертвовала ради этого человека, от многого отреклась. Но все-таки полностью отречься от себя — не получалось.

Не могла она простить устроителю этой затеи (вынужденной и неизбежной, чтобы обеспечить дальнейшее нормальное сотрудничество? — о, да! бесспорно! — только перелицовки фамилии, формальности пустяшной? — возможно! — чрезвычайно своевременной, правильной и благоразумной? — о, конечно!), но все-таки душой не могла извинить и простить многого.

Бумажный брак, желать того или нет, как бы подводил черту под долгой неопределенностью прежних их отношений. Окончательно и навсегда словно бы отнимал надежду.

А ведь в первые годы у них было всякое...

Теперь все вытеснили, сгладили, в несбыточной дали оставили новые увлечения, новые страсти этого человека...

Во-вторых, случилось так, что у Греты обострился вскоре туберкулезный процесс. И она очутилась на больничной койке.

Это была уже до мелочей знакомая обшарпанная копенгагенская муниципалка. Та самая, в близком соседстве с коптящими трубами газового завода, где два или три года назад, в канун рождества, на ее глазах день ото дня медленно угасал ребенок. И захваченная беспомощным и жалостливым чувством, она пыталась обратиться сразу в подругу, няньку и мамку малолетнего Карла. (Те впечатления использованы были впоследствии при доработке пьесы «Ангел-хранитель».)

Теперь она сама, пожалуй, нуждалась в терпеливой сиделке.

Тут и принялся ее навещать Юуль.

Он был в числе немногих близких, кто постоянно жил в Копенгагене. Да, «из близких», потому что объединяло их теперь что-то, если и не большее, то совсем другое, чем связывает обычно товарищей и приятелей, просто знакомых женщину и мужчину.

В нем словно бы проклюнулось и выступило наружу что-то свойское, не видимое посторонним, одной ей принадлежащее. Он вдруг стал родственником. Это было удивительно и неожиданно, но это было так.

Да и вел себя он подобающе. Домовито раскладывал по полкам тумбочки принесенные с собой свертки, коробки, кульки, пакетики — яблоки, мандарины, шоколад, конфеты. (Впрочем, всегда не укладывалось, всегда он припасал слишком много!)

Сидя в белом халате, против ее изголовья, разговор подбирал не спеша и с тем чувством понимания, что было интересно. Наблюдал Грету добрыми карими глазами, улыбаясь задумчиво.

С ним словно бы входили и поселялись в палате покой, тишина, умиротворение.

При первых же признаках усталости или нетерпения исчезал. Чтобы в положенный срок снова возникнуть, почти до самых глаз в обнимку со свертками и пакетиками очередных продуктовых приношений.

Это был великодушный, добрый и щедрый человек. И к ней питал, теперь уже ясно было, не заурядную симпатию, хотя владел собой и впрямую своих чувств старался больше не обнаруживать. Но служил ей, как только мог и умел, наперегонки, изо всех сил и любыми средствами *.

---

* Подробности об этом фиктивном муже М. Штеффин и историю их отношений сохранили некоторые очевидцы событий, а кроме того, его фамилия фигурирует в ее переписке с Б. Брехтом.

Вот красноречивый эпизод.

К концу 1939 года М. Штеффин навещает Данию из Швеции, куда к тому времени перебазировалась вместе с близким окружением Брехта. У нее есть литературные дела, возможно, связанные с переводом четвертого тома «Воспоминаний» Мартина Андерсена-Нексе, а может быть, с текстовыми неясностями и уточнениями по уже готовым предыдущим частям. Перевод осуществляется совместно с Б. Брехтом. Не исключено, что есть и целый ряд других дел и поручений, литературных и театральных.

Как бы там ни было, она встречается и скорей всего даже живет в семье «датского Горького».

Одновременно требуется подлечиться у прежде пользовавших ее врачей в Копенгагене. Тем более что предстоит операция аппендицита.

В начале декабря Грета — в больнице.

Декабрь. Суровая зима начавшейся второй мировой войны. Голодная, трудная. Как и другие беженцы, семья Брехта и сам писатель испытывают многие материальные невзгоды, тяготы и лишения.

Для нее, привыкшей служить другому, это было так необычно, так ново.

Не буду дальше развивать этот сюжет. Скажу лишь, что Грета запуталась... Да и вообще коллизия получилась неожиданная и достаточно драматическая, годная, если хотите, даже и для романа. Судите сами.

Вначале, конечно, никто и не помышлял ни о чем подобном. Каждый действовал лишь сообразно с обстоятельствами и с самыми благими намерениями, одинаково убежденный, что устраивает все, как лучше. А что получилось?

Молодой копенгагенский журналист принял на себя деликатную миссию международной солидарности по поручению местной партийной ячейки. А ведь всего человек! Влюбился в свою подопечную — в эту готовую на всякие жертвы во имя другого (вплоть до зарока на семейную жизнь!) женщину. И что было делать ему?

А Грета?.. Если снова вернуться к исходным событиям... Она не могла ответить на чувство одного и не могла, укротив натуру, так просто пойти на попятную, оправдать другого. Слишком раняще, чувствительно и сильно было напоминание! Все в ней взбунтовалось.

Как же должна была поступить она? Уехать куда глаза глядят? Бросить все, поломать, бежать? По-

---

В этот момент на выручку почти всем сразу, будто опередивший сроки рождественский Санта-Клаус, и является Юуль.

Он не только регулярно навещает в больнице снова всерьез занедужившую Грету, но и шлет из более сытой Дании продуктовые посылки в полуголодную Швецию.

6 декабря 1939 года Б. Брехт извещал М. Штеффин: «Я писал, когда ты находилась в семье Нексе... Ты получила?.. Когда закончится медицинское обследование? Мне особенно нравится, что они тщательно обследуют, а не только оперируют просто.

Я рад, что малыш (дочь Брехта — Барбара? — *Ю. О.*) получил шоколад. Может быть, Юуль сумеет время от времени в каких-то количествах посылать его... Организуй во всяком случае рождественские посылки с салом и, возможно, с медом! Может быть, во время рождества таможенная пошлина с них не будет взиматься!»

С момента, когда Юуль передал Грете свою фамилию, и до декабря 1939 года времени прошло много. И если и прежде не было особенных оснований обманываться надеждами, то теперь отношения тем более определились окончательно и бесповоротно. И все же... По одному этому примеру видно, что так действовать мог лишь человек, движимый высоким и благородным чувством.

пытаться начать новую жизнь? В другом городе, в другой стране? Навсегда поселиться в Советском Союзе?..

Она еще и сама не знала.

Ясно было лишь, что это боль, что так невыносимо. Добровольное мучительство надо пресечь, скинуть...

Грета подняла мятеж.

Однако же и выхода ведь не было. Уж кто-кто, а она знала. К одному влеклись и на одном сплетались все помыслы и чувства. Тут были ее долг, призвание, любовь, прошлое и будущее. Тут была ее судьба.

И минул известный срок, потребовалось внутреннее напряжение с обеих сторон и, быть может, особое сочетание страстного чувства, ума и такта, тончайшее знание женского сердца, присущие Брехту, чтобы возобладало главное.

Одним словом, несмотря на попытку сменить место жительства и квартиру, Грете не удалось бежать от своего жребия. И она была не только разыскана или призвана, но и по доброй воле заново очутилась в Сковсбостранде. В том самом отдельном домике на краю рыбацкой деревушки, где писалась, доделывалась и в копиях на машинке и стеклографе размножалась первая редакция пьесы «Жизнь Галилея».

Таковы некоторые биографические частности, характеризующие предшествующие отношения сотрудников.

Эти, может быть, и вовсе не значительные для истории литературы детали и мелкие подробности, однако же, не стоит упускать из виду.

Тем более что при огромной масштабности и многообразии проблем, выдвинутых писателем в «Жизни Галилея», и исторической специфике самого жанра, как уже доводилось замечать, речь идет об одном из самых автобиографических и даже в известной мере исповедальных произведений в драматургии Брехта.

...Можно представить себе, с каким острым любопытством, со спрятанным в глазах пугливым и въедливым вопросом, почти как на чужого, и будто ненароком бросала взгляды Штеффин на этого человека, когда он, только возникнув, при мутном свете

неохотно начинающегося дня, молча прихлебывал кофе из чашки, внутренне собираясь к работе. Или, занятый диктовкой, вышагивал по беспечно чистеньким половичкам наемной рыбацкой хижины, вдруг замолкал и бродил понуро взад-вперед, сосредоточенный, обдумывая дальнейшие ходы и развитие пьесы.

Вот тогда и случалось мгновение — отвлечься, сравнить с тем, что накануне перечитала, слышала, давно знала,— и вдруг даже испугаться. Полно, с ней ли это происходит? Этот ли человек на ее глазах создает такое? Это же необыкновенные, великие страницы, ей ясно. Но как совмещается и уживается в нем столь разное?!

Он до последней морщинки на лице, до мешковатого сгиба спины, до отдающего хрипотцой раската высокого, как бы утомленного голоса знакомый и всегда иной, новый — господин Брехт, Берт, товарищ Брехт, ее Биди... Кто же он такой?

И она тогда быстрым взглядом выхватывала отдельные черты его облика и, будто уворованные, укрыв их в себе, внутренне осматривала, испытывала, пытаясь заново сложить и составить их в целостный образ. Как много в нем всего! Но четко обозначаются, живут и преобладают, пожалуй, два начала.

Худое лицо аскета, глубоко посаженные, всегда неожиданные глаза, под проволочными очками, в них тайна, целый мир в них, и сухощавые страстные ноздри, белые, безмускульно помахивающие руки и короткие толстые ноги, твердо ступающие по земле, губы узкие, язвительные и в то же время алые, влажные, аппетитные. Это был великий подвижник, неукротимый правдолюбец и мастеровой.

Внешне тип астенический. Такие любят лакомить тело, а тощими остаются, как фараоновы коровы. Никакие яства не идут им впрок. Все сжигает, очевидно, высокая подвижность и напряженная жизнь духа.

По изначальной натуре в нем много было от южанина, от баварца. Такие еще с молодости — заводилы компаний, пивники, женолюбы, бренчальщики на гитаре. И при внешности вроде бы самой никудышной — кажется, чучело горбоносое! — постоянный предмет общих девичьих интересов и воздыханий. Причем с ходом лет пристрастия молодости не развеиваются, разве, преобразуясь, меняют формы.

(Даже по нынешним временам Грета знала за ним, например, такую причуду. Изредка, когда хотел полностью расслабиться, он устраивал себе ночное пиршество в одиночестве. Перед тем как отойти ко сну, затворялся в комнате. На столе стояло несколько бутылок баварского пива и тарелка с ломтиками сыра иногда десяти и больше сортов, которые удавалось раздобыть в местных лавчонках. Осенью 38-го то и другое в Дании еще было доступно.

Он сидел долго за полночь, отхлебывал пиво, закусывал сыром. Слушал радиопередачу: известия, новости, потом просто тишину. Так он отдыхал, приходил в себя, лакомился, наслаждался, раздумывал, выламываясь из текучки повседневных событий.)

Да, пристрастия молодости не развеиваются... Вот, например, и главное действующее лицо нынешней пьесы — Галилей, фигура, многими признаками внутреннего заряда близкая автору, тоже явно не избежала их отсвета. Он не просто южанин, весьма схожего по темпераменту склада,— итальянец, флорентиец. Этот неутомимый подвижник и пытливый искатель истины — вместе с тем любитель вкусно поесть, насладиться жизнью. Чревоугодник, гусеед, патриот собственного желудка. И что самое главное — убежденный поборник примерно таких же взглядов и представлений на физическую природу человека, как автор. Этого, можно сказать, брехтовского варианта эпикуризма.

Конечно, в них много и разного. Персонаж далеко не во всем автопортрет драматурга. И все-таки даже забавно становится, как в великом ученом флорентийце XVII века проглядывает подчас натура небезызвестного баварца, шваба, который, подыскивая очередной поворот слова и мысли для дальнейшего оживления своего литературного собрата, озабоченно прохаживается сейчас по комнате...

А он вышагивает и вымеривает ногами мысленный диалог с историческим Галилеем, вызываемым из небытия силой воображения. И одновременно с той живой окружающей действительностью, которая все более угрожающими вестями напоминает о себе с каждым прибывающим сюда с материка паромом и судном...

* * *

...Еще в начале их сотрудничества Грете довелось слышать шутливое замечание Брехта, что для написания пьесы надо лишь найти счастливый желудь, из которого прорастает потом все дерево.

Такой многозначительный образ, почти символ, в котором сопрягаются и преломляются так или иначе основные художественные идеи произведения, он действительно нередко стремился отыскать и прежде и впоследствии.

Подобные ключевые формулы нетрудно распознать в публицистической драматургии Брехта. В «Трехгрошовой опере» и «Карьере Артуро Уи» — это образные конструкции «треста нищих» и гангстерского треста «Цветная капуста»; в «Мамаше Кураж» — знаменитый фургон маркитантки Анны Фрилинг, который тянется и скачет по всем проселкам и колдобинам Тридцатилетней войны; в «Добром человеке из Сезуана» — художественный прием раздвоения души одного человека на два начала, доброе и злое и т. д.

«Земля вертится» — так предложил первоначально назвать Брехт пьесу «Жизнь Галилея». Это и была та образная формула, которая, как оказывается, одинаково вмещала в себя и отголоски страстей былых столетий и жгучий драматизм сегодняшнего дня.

Всякая истина враждебна фальши, ненавистна ей. И уже поэтому имеет будоражащее, революционизирующее воздействие, в особенности — в странах деспотически-реакционных и фашистских режимов. Таково было одно из заветных убеждений Брехта.

«...Достаточно произнести «дважды два — четыре», чтобы вызвать недовольство и недоверие правительств в этих странах», — писал он в одной из статей.

«Земля вертится» — не правда ли? — какая элементарная, почти банальная истина в наши дни. Дважды два — четыре...

Но если попытаться показать, какая у нее кровавая история, как тянет от нее едкой гарью костров инквизиции? Если всесторонне попытаться раскрыть ее освежающее, будоражащее воздействие на умы современников, показать, как пересмотр естественнонаучных представлений на строение Вселенной приводил к изменению социальных воззрений людей, как отказ от геоцентрической системы мышления сбрасы-

вал путы с человеческого сознания, открывал простор для множественности взглядов и точек зрения... Одним словом, если хорошенько обрисовать, каким буйным и необузданным революционером была в прошлом эта стершаяся, обряженная в школьную униформу истина, эта привычная ныне пропись, тогда...

Это одинаково отвечать будет и большой правде истории, и глубоким потребностям сегодняшнего дня.

И особенно точно рассчитанным ударом, конечно, придется туда и там, где все так называемое мнимопризрачное шевеление мозгов и коловращение казенных фраз, призванное заместить собой духовную жизнь общества, заранее определено и заштемпелевано лозунгом — «Айн фольк, айн райх, айн фюрер» *.

Все одно-единственное, и ничего не может быть два. Общество — пирамида, с всеведающим вождем племени и отцом отечества во главе. Фюрер думает за всех — и за народ, и за государство. И все заведомо занаряжено, определено, спущено сверху.

Даже самая невинная истина, из любой области научных знаний, не согласующаяся с общим ходом вещей, не вяжущаяся с тотальными установками, может выглядеть тут наподобие опасного лазутчика и диверсанта, казаться бомбой, миной замедленного действия. И отношение к ней в таком случае тотчас проясняет человеческие характеры, нешуточным образом влияет на людские судьбы.

В своей совокупности это и будет отвечать художественному замыслу пьесы, выясняющей нравственное содержание и нравственное значение истины в жизни человека и общества.

И на самом деле, каким же емким оказался сгусток образной идеи — «Земля вертится»...

...Герой пьесы — Галилей живет и действует в мрачные времена.

Италия разодрана на лоскутья монархий, герцогств, городов-государств. И в каждом из них, как светило в центре мирозданья, благоденствует и задает круговращенье событиям более или менее амбициозный властитель.

---

* Важнейший лозунг германского национал-социализма: «Один народ, одно государство, один вождь».

Всей жизни, кажется, предназначено вертеться по его установлениям, как карусели вокруг оси. Однако у здешнего ярмарочного балагана, всегда, впрочем, достаточно грязного и уродливо-трагического, как бы он ни именовался — феодальной Флоренцией или даже торгово-купеческой Венецией, есть общий и безжалостный присмотрщик со стороны.

И есть еще один престол, покрупнее, и есть главное светило, с которым должны соизмерять свои орбиты и движенья все остальные. Это — католический Рим, папа, святая инквизиция.

Во всем, что касается принципов духовной жизни, основных устоев бытия, веры, истины и морали, им принадлежит непререкаемый авторитет и последнее слово. Сама наука является лишь частью теологии.

Меньше чем за десять лет до того, как Галилей пришел к необходимости углубиться в главные свои научные исследования, лишь за утверждение гипотезы подобных взглядов демократическая Венеция выдала Риму Джордано Бруно, сожженного после долгих судебных процедур на костре инквизиции.

У мирозданья должен быть один центр — неподвижная Земля, так же как у католической Италии может быть только один Рим и один папа на престоле. Иначе — всеобщий беспорядок в умах, утрата контроля над событиями, вольномыслие, кавардак, анархия, бунт.

Вот по каким, вовсе не божеским, а вполне прозаическим мотивам столь жестоко мстит инквизиция даже за одну догадку о вращающейся Земле и заурядности ее перемещений во Вселенной.

Но что же делать, если ты — ученый, математик, физик и астроном, от природы наделенный стреляющим глазом на факт, трепещущей интуицией и тревожно выматывающим воображением, особым нюхом на истину?

Сам процесс обнаружения, окольного приближения, преодоления уловок, петляний и, наконец, захвата нового знания приносит тебе полноту переживаний, дает неизъяснимое наслаждение, почти телесное, нет, пожалуй, горячительней и слаще, чем то.

Таковы твоя доля, твоя роль, твоя судьба на земле. Ты кем-то назначен и рожден для погони за истиной, как гончая собака для охоты. И что же делать, если без повседневного выпытывания тайн при-

роды ты — пустышка, презренный и ненужный даже сам себе, как трухлявый пень, как старый тюфяк соломы, как огородное чучело?

Но это еще не все. Вдобавок и сверх того ты хочешь, чтобы добытая истина приносила реальную пользу.

Только проточная вода не плесневеет. Истина черпается из жизни и должна снова идти в жизнь, такой тут круговорот. То, что называется талантом ученого, добывает новые сведения, меняющие людские представления. И у тебя к тому же собственный взгляд насчет предназначения таланта. Ты, к великому сожалению, гуманист. Совесть не может позволить, чтобы вчерашние заблуждения по-прежнему именовались истиной. Особенно когда подле и вокруг слоняются невежество, нищета, бродят чума и голод.

Преступление допускать, чтобы при всем этом обретенное знание оставалось без пользы и применения, как старый хлам в чулане.

Ты сам, простолюдин и труженик, чувствуешь особое сродство и общность с теми, кто согнут вечным трудом за кусок хлеба, кто задавлен притеснениями власть имущих, унижен нуждой и лишениями. В то время как Италией правят раздувшиеся, как жирные клопы, титулованные карлики и ничтожные тупицы.

Ты жаждешь, чтобы результаты твоих усилий сделали мир, окружающую жизнь хотя бы чуточку разумней, обеспеченней, веселей. Чтобы и самому забитому крестьянину они помогли со временем оторвать взгляд от земли, из-под ног, и свободно оглянуться вокруг, задуматься, хоть на миг почувствовать себя человеком.

Вот по каким причинам ты верен добровольной присяге ученого. Она была сформулирована случайно, но подобна Гиппократовой клятве: «...кто не знает истины, только глуп. Но кто ее знает и называет ложью, тот преступник».

Но ведь это только внутренний принцип, не больше. Он безусловно годился и был хорош, пока ты делал частные открытия и изобретения, не затрагивающие существующего миропорядка. Пока ты не опровергал основ сложившихся понятий, пока всерьез не противоречил интересам сильных, тех, у кого власть в руках. Одним словом, пока ты сам был в относительной безопасности.

А теперь надо же случиться беде — всю жизнь она расколола надвое.

Подвернулись факты, пришлось сделать неумолимые выводы, выпало совершить великое открытие, за которые жгут на кострах. Что же делать теперь?

Ты не можешь солгать, но ведь и хочешь жить. Ты — не призрак и не абстрактный медиум истины, а просто человек, из костей и плоти. Ты боишься мучений, пыток, избегаешь страданий. Падок на всякие радости бытия. Да ведь и то сказать — второй жизни не будет, никто ее в награду не даст.

Как ты ценишь каждый миг, всякое дрожание жизни! Лучше всяких олухов и баловней судьбы, полагающих, что они живут, если умеют отправлять естественные потребности, знаешь, что такое на самом деле — зеленый лист, луч солнца, вкусный обед, что такое женщина. Даже враги говорят о тебе, что ты человек плоти, что ты даже мыслишь «сластолюбиво» и не можешь «отвергнуть ни старое вино, ни новую мысль».

Да и сам ты в близком кругу охотно бурчишь: «Я ценю утехи плоти. Я не терплю трусливых душонок, которые называют их слабостями. Я говорю: наслаждаться тоже надо уметь».

Угораздило же тебя родиться и жить в проклятые, темные времена! Когда сама наука — лишь кроткая овечка матери-церкви. И на торжище истины дружной толпой толкутся, все запрудив собой, опасные святоши, ученые попугаи, цитатные шулеры, зоркие инквизиторы, невинные дуроломы и бездарные иуды.

Это и есть официальная наука, допущенная и одобренная свыше, с сытой и безмятежной физиономией, переменчивая, блудливо поводящая глазами, отрыгивающая и икающая сквозь острый оскал, переваривающая жирный кусок с господского стола.

Развитие для нее остановилось в лучшем случае на Аристотеле.

Никакие, даже самые доказанные факты, казалось бы, неопровержимые настолько, что можно выколоть глаз, ничего не значат для нее, в миг обращаются в пустоту, если нет подходящей цитаты из Священного писания.

Были, правда, тягостные и смехотворные моменты и даже целые периоды, когда ты еще надеялся...

Один — в самом начале. Только был изобретен телескоп.

Ты созвал тогда в свою мастерскую весь научный синклит и просвещенный мир Флоренции. Труба была

наведена на только что открытые спутники Юпитера, загодя и, как тебе казалось, с неотразимым хитроумием (ты ведь тоже малый не промах, тоже навострился поневоле!) названные тобой в честь великого герцога Флоренции — «Звезды Медичи».

Удалось тебе залучить на это научное сборище и самого несовершеннолетнего великого герцога. В окуляре телескопа продолжали обычное вращение открытые спутники.

Казалось, стоит только взглянуть, один-единственный раз посмотреть собственными глазами — и нельзя будет больше отрицать бесспорный факт. Вековой мрак развеется, заблуждения падут, истина победит, новое учение восторжествует. И кто знает, так даже вспыхнет первая зарница новых времен, отсюда начнется их счет...

Ты взывал: «Господа, со всем смирением прошу вас: доверьтесь собственным глазам... Истина — дитя времени, а не авторитета. Наше невежество бесконечно. Уменьшим же его хоть на крошку!»

И что же? У трубы телескопа, нацеленного на неотразимый факт, тебя пытались втянуть в дебри философского диспута, запутать в схоластических прениях на тему о том, может ли в принципе существовать в природе такое, что ты намереваешься показать. И надо ли смотреть на то, чего по самому существу быть не может.

Сыпались цитаты из Аристотеля, выкладки из Библии, звучали многоумные рассуждения и предостережения. «Ваше высочество, дамы и господа, я могу только вопрошать себя, к чему все это поведет?» — усердствовал один из философов. «Полагал бы, что мы, ученые, не должны спрашивать, куда может повести истина»,— вразумлял ты. «Господин Галилей, истина может завести куда угодно!» — был яростный ответ.

И ни один из присутствующих в итоге, ни один-единственный, не пожелал взглянуть собственными глазами на то, чего не надлежало видеть.

Неудобный или излишний для сильных мира сего факт — все равно не факт, если даже ты раскрасишь его, как пасхальное яичко, или подобострастно окрестишь «Звездами Медичи». Любой сахар не заставит сглотнуть пилюлю истины.

Зато впоследствии не было недостатка в самой разнузданной брани в твой адрес. Из среды тех же самых

людей, которые предпочитают лучше остаться слепыми, чем узреть то, чего не положено видеть.

Они высказывались, не стесняясь в выражениях:

«...Этот господин Галилей перемещает человечество из центра Вселенной куда-то на край. Следовательно, он, совершенно очевидно, враг человеческого рода», «Вы пытаетесь унизить Землю, хотя вы на ней живете и все от нее получаете. Вы гадите в свое гнездо» и т. д.

Ты не искал и не ждал для себя наград и лавровых венков, которыми охотно чтят ученых попугаев и инквизиторов от богословия. Свою разницу с ними хорошо знаешь.

Потому так долго и бывал доволен кружкой молока и краюхой черного хлеба на завтрак, сохраняя бодрую надежду на лучшие времена. Никогда не гнался за легкими доходами, если те сами не лезли в руки. Перебивался частными уроками, разве что кляня великовозрастных шалопаев и бездельников, расхищающих твое бесценное, оплаченное их родителями время.

Однако — вот крайняя точка и вот предел.

Теперь уже совершенно ясно, что никакого замирания и благополучного сожительства истины и лжи быть не может. Изобретения вроде бы отвлеченного ума, как оказывается, дело не только сугубо практическое, житейское, но вдобавок, может статься, и кровавое.

Истина пахнет не только трудом и потом одинокого старателя, ее добывшего. Она клубится, как туман на болоте. Дыханиями, испарениями, ароматами и смрадом людского множества, теснящегося вокруг хлеба духовного. Случается, что отдает от нее и тошнотворным запахом жареного человеческого мяса.

Конечно, истина в конце концов пробьется. Уже потому хотя бы, что люди привыкли ходить по земле ногами, а не на головах. Однако и тут, наверное, прежде был должен отыскаться смельчак, который вызвался доказать, что такой способ передвижения удобней.

Само собой ничего не образуется. Кто-то должен быть первым.

Вся беда и несчастье, весь расклад судьбы и насмешка самой природы состоят в том, что этим первым на сей раз придется быть тебе.

Пропало, кончилось приятное, разумное существование, которое, право, никому не мешало! Вот эту крупную разлохмаченную голову, поражающую иногда самого неожиданными новостями и откровениями, вот

это мускулистое, полное соков тело сорокалетнего мужчины, так любящее игру жизненных сил, страсть и негу, саму участь свою надо теперь поставить на карту ради некой отвлеченной и бесплотной идеи.

Будь же проклят тот день и час, когда тебе посчастливилось совершить великое открытие!

Теперь придется выползти из своего тихого кабинета, оторваться от своих астрономических труб, чтобы за порогом уединенной научной обители целиком погрузиться в мирские борения, в жестокую и решающую схватку.

Как тебе не хочется этого. Но тебя подталкивают, принуждают, загоняют в угол. Ничего не остается, как сопротивляться, огрызаться, делать ответные ходы, хотя бы из самообороны.

Из кабинетного ученого ты делаешься борцом. Видит бог, ты этого не хотел. Но тебя вынудили, навязали эту несвойственную роль. И теперь приходится. Другого выбора нет.

Однако борьба, сражения — это из лексикона вояк или политиков, за спиной которых стоят армии, послушные команды, телохранители, штабы, руководящие центры, дозоры, тайные явки и т. д.

Ты же — всего лишь ученый-флорентиец, одинокий искатель истины, не имеющий даже охотничьего самострела.

Что есть у тебя? Собственная голова на плечах, мастерская, несколько талантливых и смекалистых помощников, готовых за твои идеи в огонь и воду, не оправдавшая надежд безмозглая красотка-дочь на выданье, с тщательно выбранным тобой когда-то именем Вирджиния, да сварливая, преданная и добрая кухарка Сарти, которая, как не без оснований полагают, служит тебе и еще кое для чего.

Все это — твой удел, твой прикол, твоя пристань — лишь малый островок в людском океане, клокочущем и шумливо накатывающемся со всех сторон в постоянном пенном прибое.

Только то не водяное движение, а нескончаемые толпы, лица, то мелькающие и зримые, то сливающиеся в одно мутно-белое множество. Разные — сочувствующие, насмешливо-равнодушные, ободряющие, подзуживающие, злобно-скалящиеся, нагоняющие ужас, фанатичные, непримиримо враждебные.

И все подкатываются, наступают, дознаются. Зри-

тели, друзья, враги, любопытные. Все ждут — как ты поступишь?

Вопрос поставлен неотразимо в лоб: отрекаешься ли ты от явных фактов, непререкаемых следствий и выводов, от четких и неопровержимых научных построений, которые слывут и значатся богопротивной ересью? От крупнейшего открытия, которого быть не должно, которое не угодно? Или же продолжаешь упорствовать и бесноваться?

Отмежевываешься ли ты от показаний собственных органов чувств, от логики, от рассудка? И даешь ли клятвенное слово — отныне видеть то, что положено видеть, рассуждать так, как предписано, и делать такие выводы, которые заведомо благословлены и одобрены свыше?

Всего-то и надо: публично назвать белое черным, истину ложью. И тогда ты уже не еретик, не исчадье ада, не глаз соблазняющий, который надлежит безжалостно вырвать и бросить в сторону. А достопочтенный гражданин, полезный член общества, богонравный и благонравный, на которого со всех сторон сыплются довольство, блага и уважение.

Тебя могут пытать, мучить, разрывать тело железными клещами, а потом то стонущее и жалкое кровавое месиво, в какое превратишься, в довершение спалят на костре, скрыв в огне заодно и следы собственных преступлений. А могут оставить в покое, сытости и довольстве. И даже разрешать научные исследования, впрочем, в определенных рамках и пределах, в каких «наука является законной и весьма любимой дочерью церкви».

Так выбирай же!.. Как поступить?

Ты вообще мало веришь в решающую силу героизма одиночек, действующих на свой страх и риск, не понятых и не поддержанных массой. Эффектно, но весьма глупо. В этом, пожалуй, главный смысл многозначного афоризма, который вырвется у тебя впоследствии: «Несчастна та страна, которая нуждается в героях».

Однако что ни говори, данный случай совсем особого рода. Свой долг и назначение на земле должен выполнить каждый. На этом ты всегда стоял, из этого исходил, этого держался. Существует такое, без чего человек не может больше оставаться честным челове-

ком, а ученому нельзя больше числиться в рядах ученых.

Это — все равно, как если бросить посреди дороги беспомощного больного, лишить поддержки собственную мать или морить голодом ребенка.

Если ты утаишь свое открытие, не будешь настаивать на нем, быть может, человечество еще сотни лет проживет во мраке неведения. Тут именно такой особый казус. Все зависит только от одного человека, и ни от кого больше. Даже сторонники и приверженцы могут возникнуть и объявиться только после того, как ты громко возгласишь, где истина. Так что на массу, публику, народ, ни на кого на свете, невозможно кивнуть, свалить или сослаться.

Только — ты! Такая доля выпала тебе — быть первым. Не напрашивался, напротив, всячески юлил, изворачивался, уклонялся. И вот тебе — на!

Как же осуществить эту роль? Как исполнить свой долг и вместе с тем сохраниться, вывернуться, уцелеть? Да притом еще не просто остаться в живых, но и еще вкусить те радости бытия, какие отпущены на твою долю, подобно тому как в боях и походах умеют сберечь голову да еще радоваться нехитрому солдатскому быту старые служаки-ветераны?

Как, оставаясь верным своим убеждениям, жить, работать и в том случае, если «темные времена» продлятся еще неопределенно долго, если их, что называется, на твой век хватит?

Как сохранить себя и сберечь, донести в мир добытую истину? Как перейти вдвоем с ней, в обнимку, по тоненькой дощечке, перекинутой через пропасть?

И вот тут дело не разовое, не частного случая, но принципа. Момент философский и задача под стать ему тоже в известной мере философская.

В ситуации противоестественной, когда все рушится, валится и почва уходит из-под ног, надо отыскать, если и не классическую гармонию (вообще возможную ли в такое время?), то наилучший в подобных условиях «модус упругости» — образа мысли, поведения и действий личности.

Это и будет линия жизни, подчиненная каждодневному отысканию, распространению и утверждению истины. Своего рода нравственная программа честного ее поборника, кому выпало жить в «темные времена».

Какова же должна быть эта программа?

* * *

Если попытаться выделить то, наиболее притягательное и заслуживающее подражания, что содержится в образе мыслей, поступках и линии поведения драматургического Галилея — о чем по преимуществу и с намеренной однозначностью шла речь до сих пор,— то это и будет, пожалуй, с точки зрения нравственной позитивной программы, первостепенное и главное, что утверждал своим произведением Брехт.

Уже в конце пьесы один из учеников Галилея, пораженный новым научным подвигом, совершенным полуслепым стариком среди тягот и одиночества долголетнего домашнего заточения (обоснование двух новых отраслей знания!), воскликнет в самозабвении: «Да и в нравственности вы на столетие опередили нас...»

Так мы заново возвращаемся к проблемам «этики действия», теоретические тезисы которой отчасти обозревались выше.

Разумеется, как нервную энергию и соки в жизнедеятельном организме, дух этих убеждений можно обнаружить так или иначе в любой «клеточке» художественного целого, которое представляет собой творчество Брехта той поры.

Если перед нами художник, то о системе его этических воззрений можно судить лишь по всей совокупности его произведений. Это означает, что и в данном случае также надо принять во внимание и другие пьесы, стихи, романы, рассказы, философско-публицистические трактаты и статьи, создававшиеся этим писателем и мыслителем и отмеченные родственным кругом идей, непримиримым антифашизмом и идеалами социалистического освобождения человечества.

Попросту говоря, общий контекст терять из виду никогда негоже.

Всю многогранность содержания, присущую «этике действия», тем более надо учесть, уясняя определенные особенности в трактовке «отречения Галилея», которыми была отмечена первоначальная, «датская» редакция пьесы.

В произведениях, созданных к тому времени, Брехт глубоко обследовал разные вариации и формы этического «третьего пути» в сфере общественной деятельности и поведения человека. Он разносторонне показал заведомую иллюзорность и безнадежность этого предприятия — всякого рода компромиссных попыток при-

мирения, сочетания, скрещивания и прочих способов выведения и изготовления нравственных помесей и гибридов из лжи и правды.

Достаточно вспомнить такие пьесы, как «Страх и отчаяние в Третьей империи», «Винтовки Тересы Каррар» или программный трактат «Пять трудностей при писании правды».

В известном стихотворении «Примкнувшим» (1935 г.), одном из поэтических откликов на эту актуальнейшую тему, он писал:

Чтобы не лишиться куска хлеба
В эпоху растущего гнета,
Иные решили, не говоря больше
Правды о преступлениях власти,
Совершенных, чтобы сохранить угнетение,
Точно так же не распространять
Вранье власть имущих, иными словами,
Ничего не разоблачать, однако
Ничего и не приукрашивать.
Поступающий таким образом
На первый взгляд действительно решил
Не терять лица, даже в эпоху растущего гнета,
Но на самом деле
Он только решил
Не терять куска хлеба...

(Перевод Б. Слуцкого)

Духом изничтожения, истребления и выковыривания лжи из всех ее щелей и укрытий дышит и пьеса «Жизнь Галилея», начиная с «датской» ее редакции.

Однако истина всегда конкретна, в том числе и в философии отстаивания ее самой, полагал Брехт. Нельзя упускать из виду особенностей исторического момента. Победит тот, кто переживет. Одолеет та армия, которая в трудных условиях временного отступления сохранит наибольшее количество боеспособных штыков.

К обходным маневрам — лукавому царедворству, увиливанию от кредиторов, заискиванию перед власть имущими, а подчас и к дерзкому надувательству высокопоставленных профанов — не раз вынужден прибегать и герой пьесы великий ученый Галилей — для того, чтобы сыскать средства на продолжение научных исследований, отстоять добытую истину от толп ненавистников и шире рассеять по жизни семена новых воззрений.

Всякое притворство ему не по нутру, как горчайшее из лекарств. Но пойди откопай другую возможность — скорей околеешь. И он с веселым вызовом глотает эти

пилюли судьбы. В слишком дикие и противоестественные обстоятельства поставило его время!

Хитрость как средство борьбы за распространение истины в таких условиях тоже нельзя скидывать со счета...

Именно Галилею принадлежит нравственный постулат, который повторяет затем его ученик Андреа: «Когда имеешь дело с препятствиями, то кратчайшим расстоянием между двумя точками может оказаться кривая».

Особенно сильно был развит этот мотив в «датской» редакции. Даже само вынужденное отречение героя подавалось тут как ловкая обманная хитрость.

Известно историческое предание о том, будто отрекшийся Галилей, выходя из судилища инквизиции, воскликнул: «А все-таки она вертится!..» Это давало право на различные художественно-смысловые прочтения самого «отречения».

Вынужденный отказ ученого от своих взглядов мог быть и тактическим ходом. Так подавалось это событие в «датской» редакции пьесы. С помощью тогдашнего финала драматург стремился найти смысловой переход от случая исключительного к общему этическому принципу, отвечавшему характеру исторического момента.

Объяснения такой трактовки кульминационного события пьесы приводились в научно-критической литературе.

«В первой редакции,— отмечал известный советский исследователь И. Фрадкин,— Галилей является носителем положительного примера. Изображая его, Брехт имел в виду сложную и подчас хитроумную тактику, к которой приходится прибегать борцам-подпольщикам (в частности, антифашистам в Третьей империи) для того, чтобы донести слово правды до народа: приходится маскироваться, таиться, показной лояльностью и законопослушанием вводить власти предержащие в заблуждение. Эта подразумеваемая, подспудная параллель проливала совсем иной свет на поведение Галилея; его отречение было не позорной капитуляцией, а лишь искусным маневром. Усыпив бдительность инквизиции, Галилей тайно продолжал свои научные исследования в прежнем направлении» (см. в кн.: Бертольт Брехт. Стихотворения. Рассказы. Пьесы. М., «Худож. лит.», 1972, с. 804).

Среди героев мировой литературы, которых выделял Брехт, были два, пожалуй, особенно им любимых — Дон Кихот и бравый солдат Швейк.

Фигурально говоря, в «датской» редакции драматург отдает явное предпочтение Швейку перед Дон Кихотом. Применительно к данному случаю в тогдашней исторической ситуации первый кажется ему в целом и более жизнеспособным, и полезным для практики происходящей борьбы. Хотя лишь в той мере и в тех пределах, разумеется, в каких в придуривающемся и кривляющемся Швейке сидит и проявляет себя все тот же неукротимый и пламенный Дон-Кихот, борец за идею.

В специальной главе «Исторический Галилей и жизнь и работа Брехта» да и в других местах книги обсуждает некоторые проблемы автобиографизма пьесы Эрнст Шумахер.

Он справедливо указывает, что к личности Галилея писатель относился «совсем по-иному, чем к другим историческим героям, которых вывел в своей драматургии, к таким, скажем, как к Эдуарду Второму английскому, великому Цезарю, полководцу Лукуллу, но также и к героям Парижской Коммуны, и Эйнштейну. В историческом образе Галилея больше содержалось той субъективности, которая пленяла или объединяла с ним Брехта, чем в других названных исторических личностях» (Ernst Schumacher. «Bertolt Brechts «Leben des Galilei» und andere Stücke». Henschelverlag. Berlin, 1965, S. 347.)

Исследователь перечисляет и раскрывает подробно черты переклички в духовном, нравственном и интеллектуальном облике, роднящие автора и персонажа. Их много. Помимо воинствующего антидеспотизма и плебейского демократизма, о чем уже шла речь, это смелость и самобытность мышления, отсутствие веры в авторитеты, которые якобы представляют собой «истины в последней инстанции», цельный философский интеллектуализм оригинального склада, ощущение особой предназначенности и миссии в сфере своей деятельности на пороге новой эпохи и т. д. Вплоть даже до созвучий задач чисто профессиональных: подобно тому, как «Галилей должен был ниспровергнуть скалу Аристотеля, чтобы достигнуть источников науки, Брехт видит свою задачу в том, чтобы ликвидировать аристотелевскую теорию драмы и заменить ее новой, покоящейся

на материалистической диалектике, и соответствующей драматургией и театром...». (Ernst Schumacher. «Bertolt Brechts «Leben des Galilei» und andere Stücke», S. 348).

Касается автор книги и черт психологического сходства натур, близости отдельных эпизодов житейских биографий и личных судеб, а также совпадений некоторых правил жизненного поведения драматурга и персонажа. В том числе известного тактического лукавства, так или иначе присущего им обоим.

«Когда Брехт создавал таким образом драматургический портрет Галилея,— пишет исследователь,— то он избирал черты исторической личности, с которыми родственны были его собственные. К этим чертам спокойно присовокупить можно также хитрость и лукавство, которые, как изложено в главе «Восстановление правды», Брехт считал не излишним оружием в эпоху угнетения и какое он, живя в «мрачные времена», должен был применять и пользоваться им еще более умело и в широких размерах, чем исторический Галилей» (Там же, S. 349—350).

Такие дополнительные уточнения автобиографических свойств пьесы открывает обращение к научной литературе.

«Датская» редакция «Жизни Галилея» отличается от того текста, который знаком ныне читательской и зрительской аудитории во всем мире.

За канонический печатный текст на немецком и русском языках принята вторая редакция, созданная Брехтом в 1945—1946 годах во время совместной работы с актером Чарлзом Лафтоном, готовившимся исполнить роль Галилея на американской сцене.

Таким образом, пьеса, написанная на порыве, в три недели, своей полной завершенности ждала еще долгие годы.

По многим признакам можно сказать, что это было любимое произведение писателя. Хотя сам Брехт, возможно, и поморщился бы тут — он не выносил сентиментальных характеристик в творчестве.

Во всяком случае это была такая пьеса («такое детище»!), над которой автор не переставал раздумывать, печатно и устно комментировать и истолковывать ее, а подчас искать и дальнейших текстовых совершенствований от момента ее создания и до последних дней собственной жизни (режиссерские купюры и частные уточ-

нения делались Брехтом при репетициях пьесы в театре «Берлинер ансамбль» в 1955—1956 годах),

Если сопоставлять исходный вариант с окончательным, то общий итог можно было бы определить так.

Дальнейшая работа над «Жизнью Галилея» выразилась даже не в столь больших количественных переделках текста, сколько в иной расстановке ряда смысловых и оценочных акцентов, в перемене некоторых решающих трактовок.

В целом словно бы еще строже выверены были мерила этического идеала («весы истории»!), еще более повышен счет нравственной ответственности, которую налагает человечество, эпоха и сам автор на выдающуюся личность за ход свершающихся вокруг событий.

В главном персонаже отчетливей проявлены были не только полюс притяжения, но и полюс отталкивания. Он стал фигурой более сложной и противоречивой.

Принципиально иное осмысление получило кульминационное событие — отречение Галилея...

Но для этого должно было пройти время. Человечество должно было увидеть зарю долгожданной победы над мраком фашистского варварства. И почти одновременно — многокилометровые дымные «грибы» атомных взрывов над Хиросимой и Нагасаки. Пережить торжество освобождения и первые приступы нового отчаяния...

Многое должно было случиться и произойти в мире. И, вероятно, в чем-то должен был перемениться также сам автор...

Исследователи и комментаторы пьесы Б. Брехта подробно перечисляют, в чем именно состояли позже конкретные переделки сцен, реплик и сюжетного развития произведения.

Удивление, однако, вызывает другое. Насколько все-таки относительно небольшая (если иметь в виду чисто количественные объемы захваченного изменениями текста) работа потребовалась автору, чтобы добиться желаемого эффекта. А ведь творческие задачи были достаточно кардинальными!

Поразительно, насколько устойчивой по своему существу оказалась «датская» редакция.

А ведь она писалась за семь лет до первого атомного взрыва! То есть при совсем иной ситуации в мире, с потребностями отклика на перемены в которой (после

пришествия «атомной эры») только и склонны связывать иные исследователи переделки пьесы, предпринятые драматургом.

Конечно, трудно вообразимые последствия атомных бомбардировок с новой остротой поставили проблему совести и ответственности ученого перед человечеством. И событие это многое прояснило заново.

Оно позволило автору с иной исторической высоты взглянуть и на само отречение Галилея. Показало, по формулировке Брехта, что «преступление Галилея можно рассматривать как «первородный грех» современных естественных наук».

И все же... Связывать многообразные внутренние потребности в переработке произведения лишь с нравственными проблемами людей науки, пусть даже приковавшими к себе всеобщее внимание, означало бы сузить и обеднить мотивы истинных творческих побуждений драматурга.

Нравственно-художественное богатство высокого творения искусства это невольно низводило бы, употребляя современное выражение,— на посредственный уровень литературных поделок «научпопа», равняло бы его назначение с нехитрым музыкальным устройством с одной звучащей струной, то бишь с единственной проблемой — «совести ученого в атомный век».

Любые научные открытия, каковы бы ни были их значение и последствия, Брехт с самого начала рассматривал лишь как признак и элемент общего состояния мира. И художественную свою задачу видел не в воссоздании «атомной эпохи», а в изображении такой «новой эры», во всей игре ее смыслов, многообразии красок и оттенков, такого по принципу нового общего состояния мира, когда спасительные или самоубийственные для человечества поступки и решения все более начинали зависеть от совести и поведения одиночек.

Раньше этого быть не могло или, вернее, совершалось на совсем ином уровне губительности последствий. А теперь все более назревало в действительности, буквально во всех ее сферах, проступало и сказывалось в самых разнообразных общественных явлениях. В экономике — с ее неслыханной монополизацией и управленческой концентрацией в немногих руках, в политике и государственной жизни, с всесильными бесноватыми «фюрерами» во главе целых народов, обманутых и при-

веденных к покорности с помощью тотального государственного механизма и пропагандистской машины насилия, лжи и страха, в науке — с ее небывалыми адскими открытиями, совершаемыми «отцами» атомных и водородных бомб, и т. д. Вот откуда вырастало и на чем коренилось новое «состояние мира», современная философская дилемма «быть или не быть» для всей людской массы, нынешнего и будущего поколений, всего земного сообщества.

Самоновейшие научные открытия были при этом лишь потенциальным орудием и средством исполнения приговора истории.

Речь шла не только о совести ученых, а обо всех нас, о каждом. О всех классах, социальных слоях и группах расколотого и борющегося мира, о всех людях вместе и о каждом в отдельности.

И о тех политиках и общественных деятелях, «да» или «нет» которых обретало теперь совсем иной смысл и значение.

Кардинал Барберини, ставший папой Урбаном VIII, одним запретом учения Галилея на долгие десятилетия погрузил человечество во тьму неведения. Но что теперь могли понаделать и натворить нынешние всесильные властители и самодержцы, имеющие под рукой иные «кнопки» управления судьбами и будущим человечества?!

И речь, конечно же, шла о народных массах, о людях труда, об ответственности каждого простого человека, которому требуется осознать новое «состояние мира», сориентироваться в нем и наметить систему активных действий и противоборства силам разрушения и зла.

Вот почему нравственно-художественная наполненность пьесы «Жизнь Галилея» гораздо масштабней, насыщенней и без преувеличений в шекспировском смысле эпохальней и общечеловечней любых узко публицистических проблем «энтээровской» этики.

Той же причиной определяется и уже отмечавшаяся устойчивость основного идейно-художественного каркаса первоначальной «датской» редакции пьесы.

Совсем иными вроде бы уже были исторические обстоятельства, и в ряде важных моментов совсем другую направленность стремился придать произведению драматург, а изменений, вписываний и переделок текста потребовалось не столь уж много.

Объясняя этот кажущийся парадокс, Брехт отмечал в статье под характерным названием «Неприкрашенная картина новой эры»:

«Когда я в Дании в годы изгнания писал пьесу «Жизнь Галилея», мне помогали при реконструкции птолемеевской системы мироздания ассистенты Нильса Бора, работавшего над проблемой расщепления ядра. В мои намерения входило, между прочим, дать неприкрашенную картину новой эры — затея нелегкая, ибо все кругом были убеждены, что наше время ничуть на новую эру не похоже. Ничего не изменилось в этом отношении, когда спустя несколько лет я совместно с Чарлзом Лафтоном приступил к американской редакции этой пьесы. «Атомный век» дебютировал в Хиросиме в самый разгар нашей работы. И в тот же миг биография основателя новой физики зазвучала по-иному. Адская сила Большой Бомбы осветила конфликт Галилея с властями новым, ярким светом. Нам пришлось внести лишь немного изменений, причем ни одного в композицию пьесы. Уже в оригинале церковь была показана как светская власть, чья идеология в основе своей может быть заменена другой. С самого начала ключом к титанической фигуре Галилея служило его стремление к науке, связанной с народом. В течение столетий народ по всей Европе, сохранив легенду о Галилее, оказывал ему честь не верить в его отречение...» (Статья «Неприкрашенная картина новой эры» писалась как предисловие к изданию ныне известного текста пьесы «Жизнь Галилея».)

Но если «датская» редакция оказалась столь благодатной основой для возникновения окончательного варианта пьесы, то это, помимо всего прочего, конечно, еще и потому, что в свое время энергия и силы на осуществление глобального замысла расходовались без оглядки.

Только машинописных и стеклографических списков первоначальной редакции пьесы, отличавшихся друг от друга словесными поправками и добавлениями, было несколько.

Маргарет Штеффин не просто перебеливала с помощью нехитрой подручной техники (пишущей машинки и стеклографа) и размножала версию текста, законченного, как помним, 23 ноября 1938 года. Находив-

шийся поблизости автор (или же оба они вместе?) продолжали над пьесой смысловую и стилистическую работу.

Интересный материал на этот счет содержат письма М. Штеффин Вальтеру Беньямину.

Вальтер Беньямин — литературный критик и эссеист, ровесник по возрасту и друг Брехта. Одна из фигур, определявших духовную среду и творческую атмосферу ближайшего окружения писателя еще со времен Веймарской республики. В эмигрантские годы скитаний он не раз навещал и подолгу гостил у Брехта в его датском уединении, в том самом, уже не раз упоминавшемся и в стихах воспетом «доме под соломенной крышей».

Уже в середине декабря 1938 года Вальтер Беньямин, хорошо осведомленный в творческих делах Брехта, запрашивал у М. Штеффин копию только что завершенного сочинения. Ему не терпелось прочитать, высказать суждение, может быть, где-то поместить отзыв, во всяком случае начать пропагандировать, двигать пьесу в жизнь.

В ответном письме Грета просит о снисхождении. Вальтер Беньямин — свой человек, пусть он войдет в положение и немножко погодит. Хотя она уже однажды переписывала пьесу, все имевшиеся экземпляры, за исключением разве единственного — «рабочего», отосланы в театры, разошлись.

Особых надежд на постановку, правда, нет, но все-таки попробовать не мешает.

Усаживаться же сейчас снова за машинку — не с руки. Уйма всяких иных дел, да к тому же, признаться, прихварывает она, чувствует себя неважно.

Однако не такой человек Грета, чтобы из-за нее простаивало дело. Двадцать раз изгложет совесть.

И вскоре вслед за первой отсылается новая почтовая депеша. М. Штеффин извещает, что выход найден. Она переписала пьесу на восковые матрицы. Теперь надо лишь раздобыть копировальный аппарат, и тогда экземпляры получит не один Вальтер Беньямин (спасибо ему за настойчивость!), а всякий желающий из близких друзей, все, кому необходимо.

Но вот что любопытно. Время, отделяющее первое письмо от второго, как легко догадаться, потрачено было не только на то, чтобы раздобыть и напечатать «восковки».

Брехт и его сотрудница внимательно следили за происходящими в мире событиями. А одно из них даже и в это несущееся к пропасти время было сенсационным, выламывающимся из ряда вон.

В один из декабрьских дней радио оповестило, что германские ученые Отто Ган и Фриц Штрассман осуществили давнюю мечту физиков — добились расщепления ядра урана.

Нетрудно было смекнуть, какие это таило в себе последствия! Тем более это было ясно Брехту, посвященному через ассистентов в направленность работ Нильса Бора.

Теперь речь шла не просто об очередной загадке природы, раскрытой человеческим разумом, все равно где — в неохватных просторах Вселенной или в бесконечно малом микромире. И не просто о возрастающей ответственности «впередсмотрящего» науки перед теми, кто доверил ему важную для остального человеческого сообщества роль.

Теперь все это возводилось в степень и обращалось в новое качество. Если от гения, совести и мужества Галилея зависело прежде открыть глаза людям или задержать на неопределенное время их развитие, то есть облагодетельствовать человечество или нанести ему духовный урон, то теперь от одиноких научных невидимок, колдующих в тиши засекреченных лабораторий, зависеть начинало, по крайней мере в перспективе, само существование человеческого рода, счастливое плавание или полный крах планеты Земля.

Прозорливость подлинных и высоких удач искусства и «такт действительности», свойственный настоящему художнику, состоят в том, что наперед как бы угадывается то, чего не существовало и не могло быть в то время, когда задумывалось и создавалось произведение.

В центр пьесы «Жизнь Галилея» поставлена была фигура ученого. Но Брехт, как уже сказано, писал свою пьесу не только об ученых.

Он писал о следопыте истины, живущем в «темные времена». О впередсмотрящем, который, если и не управляет скользящим во мраке кораблем, то может, по крайней мере, от многого остеречь и уберечь команду. О мужественном искусстве говорить людям правду, когда большинство одурманено сладкоречивой демагогией и фальшивыми зазывами новоявленных сирен, а

самого правдолюбца того и гляди выбросят за борт.

Исторический оптимизм, свойственный кисти Брехта, лишь придавал дополнительные тона гротесковой заостренности и причудливой игре красок, с какими драматург уже написал по существу в этой пьесе одним из первых в мировом искусстве и о «безумном мире» фальсифицированных идей современного сверхиндустриального общества, где трудно прорастать истине, о фашизме и о «корабле дураков» (вспомним, например, последующие знаменитые фильмы Стэнли Крамера «Безумный, безумный, безумный мир» и «Корабль дураков»).

Но почему же в центре пьесы — именно ученый? А не художник, не судья, не горбун? Или вообще — человек такого призвания или образа жизни, для которого служение истине вытекает из требований профессионального долга и так или иначе определено уже его ролью в обществе?

Вариантов тут, наверное, неисчислимое множество. Но автором почему-то избран именно данный исторический сюжет, с великим ученым-физиком в центре действия.

Осмелюсь сказать, что уже в таком выборе и заключался «такт действительности», глубокое ощущение подспудных реальностей и определяющих сил эпохи, свойственное Брехту.

В пылу схватки с мертвящей обезличкой и тотальной ложью фашистской диктатуры писатель не упускал из виду многообразные процессы, совершающиеся в действительности, того, что множилось, двигалось, наставало. Он всегда испытывал особое любопытство к людям, вроде своего великого соотечественника — физика Эйнштейна, на плечи которых историей скоро суждено было возложить груз особой нравственной ответственности перед человечеством. И это ведь Брехт, а не кто иной избрал себе консультантами по небесной механике и астрономии ассистентов Нильса Бора и живо интересовался проблемами атомной физики. Драматург как бы провидел и слышал поступь новой эры, отмеченной среди прочего явлениями научно-технической революции.

Вот почему столь мгновенной была реакция Брехта на радиосообщение о расщеплении ядра урана, казалось бы, куда как далекое от его исторической пьесы

из жизни астронома-итальянца XVII века. Он тут же кинулся вносить изменения в уже готовое произведение.

И Вальтер Беньямин, когда пришел наконец долгожданный пакет с пьесой, получил в результате уже не совсем тот текст, который мог бы получить прежде.

Вот что говорит по этому поводу Эрнст Шумахер в своей книге:

«Упомянутые М. Штеффин восковые матрицы содержали улучшенную редакцию первого варианта «Галилея».

Если тот, как это явствует из приводившихся сообщений, был озаглавлен «Земля вертится», то стеклографическая редакция уже называлась «Жизнь Галилея».

К исправлениям относится также (единственное) место, которое имеет косвенное отношение к обсуждавшемуся в декабре 1938 года и последующие месяцы в Дании расщеплению ядра урана, произведенному профессором Отто Ганом и Фрицем Штрассманом. Из приводимых М. Штеффин и Брехтом хронологических данных о замысле и окончании новой пьесы ясно вытекает, что первая редакция «Галилея» не могла быть написана и не была написана в связи с идеей о расщеплении ядра урана и вытекавших из него последствий».

Существо доработки «показывает, однако, как Брехт сразу же стремится придать пьесе на основе нового открытия дополнительную историческую глубину». (Ernst Schumacher. «Bertolt Brechts «Leben des Galilei» und andere Stücke», S. 16—17.)

Таков был идейно-художественный заряд «Жизни Галилея».

Этой пьесе еще долгие годы не суждено было увидеть света. Во всяком случае до войны она не печаталась, если не считать ограниченного количества стеклографических копий, сделанных М. Штеффин.

Тем интересней тогдашняя первая реакция на пьесу в Советском Союзе, куда полукустарного изготовления копии, очевидно, попали.

Об этом сообщает Бернгард Райх в своей мемуарно-исследовательской книге:

«В начале 1941 года издательство «Искусство»,— рассказывает он,— поручило перевод моей рукописи «Теория драматургии» Марку Гельфанду, человеку тонкому, живого и острого ума. Он провел несколько лет на дипломатической службе (в Риме и Женеве) и знал

в совершенстве немецкий язык. Мы систематически встречались для работы над переводом, а однажды Марк признался, что ему попалась в руки гениальная пьеса «Жизнь Галилея» некоего Брехта, которая и поглотила его без остатка. Отложив все дела и перевод книги, он пишет статью о «Галилее»...

Вскоре статья Гельфанда о «Галилее» появилась в газете «Советское искусство». Она занимала целый «подвал». Это был первый отклик в советской печати на великолепную пьесу Брехта (Бернгард Райх. «Вена — Берлин — Москва — Берлин», с. 315).

Этические воззрения писателя не только пронизывают его общественную и частную биографию или определяют законы, по которым живут, мыслят, действуют и погибают герои его художественных созданий.

Есть сфера духовной деятельности художника, пролагающего самобытные пути в искусстве, которая в огромной степени складывается под непосредственным воздействием этики. Это — его литературно-эстетические взгляды.

Эстетика всегда так или иначе часть этики. И тут тоже есть своя «драма идей», свои развивающиеся «сюжеты».

Не все линии отношений героев повествования были бы прослежены и что-то утратилось бы в полноте биографических портретов, если не заглянуть и в эту «лабораторию» обширной и многовидной творческой мастерской Б. Брехта, где шла напряженная, непрекращавшаяся работа...

ЭСТЕТИКА ПРАВДЫ

Странное, должно быть, впечатление производит минувшая эпоха, если смотреть на нее только извне, без учета внутренней логики происходившего, исключительно лишь глазами пришедших вослед поколений. Многое тогда покажется чудным!

1938-й был последним относительно мирным годом. До начала второй мировой войны (1 сентября 1939 г.) оставались считанные месяцы. И никогда, пожалуй, в разных странах и противоположных борющихся лагерях так часто не поминали «разум» и весь спектр относящихся к нему понятий, как в это время.

Под лозунгами защиты культуры от фашистского варварства прошли известные международные конгрессы писателей (1936—1939 годов). Для двух из них Брехт подготовил речи, на одном выступил лично.

На самой кромке сползающего к войне мира, в то же самое время, в московских журналах «Дас Ворт» («Слово») и «Интернационале литератур», издававшихся на немецком языке, завязалась долгая жаркая дискуссия о жизненной правде в искусстве, о художественной истине, о реализме в литературе. Брехт с небывалой заинтересованностью следил за нею. Написал в ее ходе и под ее впечатлением большое число статей, эссе и заметок.

Это-то уж вроде бы зачем? Объясняя кажущуюся несуразицу — обилие и остроту эстетических споров в такой момент,— один из участников литературного процесса тех лет высказался как-то в том духе, что спор об эстетических основах революционного искусства «был и спором об идеологическом оружии в борьбе против фашизма и войны». И это действительно так.

«На первый взгляд может вообще показаться странным тот накал теоретических споров о реализме, какой шел в немецкой эмиграции в 1936—1938 годах,— пи-

шет Е. Книпович.— Казалось бы, что фашистская экспансия в Восточной и Средней Европе, национально-революционная война испанского народа — вся тревожная и грозная атмосфера предвоенной Европы как будто бы не могла располагать к решению вопросов литературной теории.

Но в действительности дело обстояло не так просто.

Спор об эстетических основах современного революционного искусства, спор о сущности революционного метода был и спором об идеологическом оружии против фашизма и войны» *.

Не однажды в истории наиболее мрачные, застойные или даже угрожающие времена оказывались и полосами наиболее интенсивной работы человеческой мысли. Создавались новые системы взглядов и представлений, выверялись прежние, шли напряженные поиски путей. Всесторонне оттачивалось оружие разума.

Именно в те годы, когда задумывалась и создавалась «Жизнь Галилея» — произведение о нравственном содержании и нравственном значении истины в жизни человека и общества,— пожалуй, вершины достигли острые и напряженные споры о весьма схожем и близком круге вопросов применительно к истине художественной. Среди всего прочего это была и та самая дискуссия о реализме 1936—1938 годов...

Конечно, для всякого истинного художника сами по себе литературные дискуссии — лишь дополнительный раздражитель, только внешний повод, зацепка для активизации теоретической работы мысли, для выплеска того, что давно уже наблюдалось, итожилось, зрело.

Тем большие основания для начала такого внутреннего диалога с собственным опытом художника, для многосторонних выводов обобщающей мысли были во второй половине 30-х годов у Брехта. Он ведь и вообще находился в лучшей своей писательской поре.

Оттого и особенно интересны его статьи, эссе и заметки по коренным проблемам литературной теории, в том числе и возникшие как прямой отклик на бурливо-вихрящее и долгое течение дискуссии на страницах московских журналов.

В своих теоретических обобщениях Брехт исходил из потребностей жизни и из собственной практики круп-

---

* См. в кн.: Бертольт Брехт. О литературе. М., Худож. лит. 1977, с. 13.

ного художника-новатора, одного из тех мастеров, благодаря которым в немалой степени преобразились черты реализма XX века.

Во второй половине 30-х годов Брехт переживал высокий творческий взлет, в ту пору задумывались и создавались его шедевры — «Жизнь Галилея», «Мамаша Кураж», «Добрый человек из Сезуана»...

Все это и обеспечивало теоретическим взглядам Брехта, выраженным во многих статьях, широту и диалектичность истолкования существа проблем, подлинную долговечность.

Теперь из этих статей составляются книги для самого широкого круга читателей. Вроде сборника «Бертольт Брехт. О реализме», напечатанного в серии «Всеобщая библиотека» в ГДР в 1968 году. И теоретическим этим работам отводятся крупные разделы в фундаментальных советских изданиях. Типа — хрестоматии «Бертольт Брехт. О литературе», выпущенной в 1977 году издательством «Художественная литература» в серии «Памятники мировой эстетической и критической мысли».

Тем более поэтому нельзя забывать исторические обстоятельства и скидывать со счета первоначальные мотивы, «адреса» и пусть даже внешние иногда поводы, вызывавшие к жизни эти произведения.

В кратком послесловии к вышедшему в ГДР сборнику «Бертольт Брехт. О реализме» его составитель, редактор и комментатор Вернер Гехт делает такое попутное разъяснение: «Важные статьи к дебатам о реализме конца тридцатых годов представлены в главах «О реализме и формализме» и «О реалистическом стиле». Поводом для интенсивных занятий этими вопросами была дискуссия о реализме в немецком эмигрантском журнале «Дас Ворт». Выраженные в ее ходе, в особенности Георгом Лукачем, воззрения побудили Брехта к написанию многочисленных критических заметок и эссе. Он не ограничился, однако, полемикой: Брехт сформулировал благодаря этому собственную позицию». (См.: «Bertolt Brecht. Über Realismus», Universal Bibliothek, Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig, 1968, S. 280.)

Многие из литературно-теоретических статей Брехта тогда не публиковались. Не исключено, что часть из них он даже не предназначал для печати, не посылал в журнал.

Объяснялось это прежде всего расстановкой сил в тогдашней немецкой эмигрантской среде в Москве, где непререкаемым авторитетом пользовались теоретические воззрения оппонентов Брехта (в первую очередь Г. Лукача, а также И. Бехера), нередко отличавшиеся узким и нетерпимым догматизмом. Именно в этой среде новаторские искания Брехта объявлялись формализмом, уходящим корнями в тлетворную буржуазную культуру. А самого автора призывали сделать наконец выбор «между реакционной формой и революционным содержанием».

Не остававшийся в долгу Брехт в устных отповедях и письмах друзьям именовал своих противников «московской кликой». Брехт возмущался «тупоумием», которое в дискуссионных статьях проповедует Г. Лукач. «Дебаты о реализме заблокируют творчество, если так пойдет дальше»,— восклицал Брехт.

Это и определяло соображения литературной тактики, своеобразную редакторскую политику Брехта в отношении к печатной дискуссии в журнале, на обложке которого красовалось его имя.

Существенней, однако, другое. Важно, что статьи были созданы, что такие взгляды высказаны, изложены и повседневно действовали в реальной общественно-творческой практике писателя.

Заметим еще раз: печатное обсуждение происходило в Москве. И сами дебаты о реализме, хотя и велись на страницах эмигрантского журнала «Дас Ворт», не были отгорожены непроницаемой перегородкой от окружающей литературно-художественной жизни Советской страны. А как раз напротив. При общности основных целей и задач, стоявших перед новыми революционными литературами, испытывали на себе влияние аналогичных идейно-эстетических обсуждений и литературно-теоретических споров в СССР.

Вот почему для публикаций в журнале «Дас Ворт» нередко характерны постановка на своеобразном материале и дальнейшее развитие общего круга вопросов «большой дискуссии» о реализме (о вульгарном социологизме и формализме; о сущности литературного метода и социалистическом реализме; о народности; о классическом наследстве и новаторстве; о натурализме и экспрессионизме и т. д.) — обсуждений, не прекращавшихся так или иначе в советской литературе на протяжении 30-х годов.

Так в самой практике жизни возникало еще одно идейно-творческое и биографическое пересечение, которое отнесут впоследствии к области взаимодействий и взаимовлияний различных национальных культур.

Это международное пересечение и интернациональное взаимодействие двух революционных литератур и искусств — немецкого и советского — быть может, особенно любопытно в данном случае еще и тем, что многие силовые линии сходились на такой масштабной и перспективной фигуре немецкой литературы и театра, каким был Б. Брехт.

Чтобы откликаться столь активно на двухлетнюю московскую литературную дискуссию из чужестранного и заморского далека, писатель должен был уже во многое войти, подробно вникнуть и со многим освоиться в СССР.

Так оно и было. Брехт к тому времени обрел уже достаточные идейно-творческие опоры в советской художественной культуре, включая сюда и разнообразные узы личного товарищества с деятелями советской литературы, театра, кино, художественного перевода, издательского дела, журналистики и т. д.

Как это постепенно устанавливалось, взаимно влеклось и распознавалось, нарастало и множилось в текучем движении повседневности, мы уже отчасти видели...

Бесспорно, дополнительным немаловажным событием явилось принятие на себя Б. Брехтом обязанностей соредактора московского журнала «Дас Ворт», выходившего с июля 1936 по март 1939 года.

Журналу этому суждено было стать литературным органом антифашистского «народного фронта» на немецком языке. Не удивительно поэтому, что в качестве предмета исследования он уже не раз вызывал внимание и в нашей стране, и за рубежом.

Новые и обильные фактические данные о предыстории, основании, практической деятельности журнала «Дас Ворт» содержатся в коллективной монографии об антифашистской немецкой литературно-художественной эмиграции в СССР — «Немецкая эмиграция в СССР» (авторы — Клаус Ярматц, Симона Барк, Петер Дицель),— опубликованной в ГДР в 1979 году.

В выдвижении самой идеи такого журнала, его

организации и поисках кандидатур возможных редакторов-издателей с советской стороны, как вытекает из фактического материала книги, основную роль играли А. А. Фадеев, М. Е. Кольцов и А. М. Горький.

«В Москве, кроме Фадеева, это были прежде всего Кольцов и Горький, которые тщательно подготовили план подобного журнала,— отмечает автор интересующей нас главы С. Барк.— Их объединенные старания привели к тому, что стало возможным обеспечить организационные и технические предпосылки для журнала: 19 февраля 1936 года Наркомпрос РСФСР принял решение об издании литературно-критического журнала на немецком языке, который должен был выходить в издательстве «Жургаз» и объединить всех немецких писателей-эмигрантов. Решение рекомендовало выпускать журнал «как орган немецкой секции Союза советских писателей». («Exil in der UdSSR», Verlag Philipp Reclam jun.·Leipzig, 1979, S. 195.)

Далеко не простым и затяжным делом оказался выбор соредакторов, или издателей журнала, как они официально именовались.

Перебирались разные кандидатуры, тянулась переписка, приходили отказы от зарубежных мастеров немецкой литературы... Томас Манн... Генрих Манн... Конечно, сплотить всю прогрессивную литературную эмиграцию вокруг одного журнала — идея прекрасная, назревшая. Единый литературный фронт писателей-антифашистов необходим! Но заниматься журналистикой художнику, да еще находясь за тридевять земель от редакции,— немыслимо. Таков был ответ некоторых.

В конце концов пожертвовать частью писательского времени ради хлопотного и ответственного общего дела решились трое — Л. Фейхтвангер, В. Бредель и, как сказано уже, Б. Брехт (фигурирующее в книге документальное подтверждение об окончательном согласии последнего — 1 апреля 1936 года: письмо Марии Остен Лиону Фейхтвангеру).

Вполне возможно, что при определении третьего издателя свою роль могло сыграть и то обстоятельство, что, помимо М. Кольцова и А. Фадеева, знавших Б. Брехта, имя это немало говорило и М. Горькому.

Горький мог слышать о нем еще с осени 1931 года, когда Б. Брехт в сотрудничестве с немецким литератором Гюнтером Вайзенборном, режиссером Златаном Дудовым и композитором Гансом Эйслером написал

свободное драматургическое переложение «Мать — жизнь революционерки Пелагеи Власовой из Твери (по роману Максима Горького)». Постановки пьесы из-за реакции буржуазной публики и полицейских преследований стали достаточно громкой сенсацией последующих месяцев и вызвали немало газетного шума.

Автору романа являлись разные случаи получать сведения о дальнейших судьбах этой пьесы и немецкого интерпретатора ее первоисточника.

Так, в берлинском Архиве хранится письмо Б. Брехта А. М. Горькому, датированное 18 декабря 1935 года. Оно представляет собой подробный отчет драматурга романисту о постановке и финансовых сборах от спектаклей на пьесе «Мать» в нью-йоркском рабочем театре «Юнион».

Есть и другие свидетельства к общей теме: Б. Брехт и роман М. Горького «Мать», раскрывающие разные стадии идейно-творческих взаимоотношений немецкого и советского писателей. Пьеса Б. Брехта была авторизована А. М. Горьким.

«В своем письме, присланном в 1957 году музею Горького,— отмечает советский театровед С. Варгафтик,— Ганс Эйслер рассказывал: они с Брехтом просили Горького резрешить инсценировку и получили согласие. В 1935 году Эйслер, будучи в Москве, посетил Горького и услышал дружеские, ободряющие слова о пьесе Брехта и своей музыке к ней. О том, что пьеса была авторизирована Горьким, упоминали позже Брехт и Вайгель.

Вайзенборн вспоминал об этой совместной работе (относящейся к осени 1931 года.— *Ю. О.*): «Мы писали пьесу, разыгрывая ее. Мы импровизировали целые сцены. Расхаживая по комнате, Брехт как бы играл роль матери, я отвечал ему как Павел. Потом мы менялись ролями. Каждая реплика подвергалась обсуждению и тут же записывалась. Чтобы правильно понять произведение Горького, мы читали Ленина и Плеханова. Я смело могу утверждать, что Горький сделал меня социалистом. Абсолютно уверен в том, что и Брехту работа над пьесой по мотивам Горького помогла стать марксистом»*.

---

* Варгафтик Е. Елена Вайгель. Л., Искусство, 1976, с. 75—76. Автор книги ссылается, в частности, на разыскания горьковеда Л. М. Юрьевой.

Не исключено поэтому, что на какой-то стадии слово в поддержку Брехта мог сказать А. М. Горький.

Однако первоначальная инициатива выбора кандидатуры исходила, скорей всего, от М. Е. Кольцова и его окружения по Иностранной комиссии Союза писателей, включая сюда нештатного заместителя председателя С. М. Третьякова и М. Остен, деятельно занимавшуюся организационной подготовкой будущего журнала и впоследствии входившей в его редакцию.

«Михаил Кольцов,— пишет исследователь журнала «Дас Ворт» С. Барк,— который по своей работе в Иностранной комиссии был наилучшим образом осведомлен в проблемах немецкой литературы и отлично владел немецким языком, высказывался уже на Первом съезде Союза советских писателей в 1934 году — как и Сергей Третьяков — за дифференцированную и широкую политику объединения «перед лицом международной ситуации, которая требует мобилизации всех сил против фашизма». Он был убежден в важности значения литературного журнала для сплочения всех антифашистских сил. Как руководитель крупнейшего журнального издательства Советского Союза «Жургаз», которое насчитывало более 500 сотрудников и чья известная типография «Искра революции» была специализирована в изданиях на иностранных языках, он внес решающий вклад в судьбу журнала готовностью своего издательского предприятия — от типографии до организации зарубежного сбыта». («Exil in der UdSSR», S. 195—196.)

М. Е. Кольцов и Б. Брехт были хорошо осведомлены друг о друге. И деловые отношения между ними поддерживались даже с легким оттенком приятельства. Во всяком случае житейский образ Кольцова ярко запечатлелся в памяти Брехта, и уже в дневниковых записях 1942 года он упоминает о «кольцовском типе» журналиста — ловкого, начиненного разнообразными сведениями, рассказчика скабрезных анекдотов...

В практической повседневности отношения осуществлялись двумя способами.

Один — через Маргарет Штеффин, «полпреда» в Москве, которая к тому же, помимо официальных возможностей и визитов в литературно-издательские кабинеты, имела доступ и в дом М. Е. Кольцова через свою подругу Марию Остен.

Второй — так или иначе подготовляемый и перепле-

тавшийся с первым — личные встречи и собственноручная переписка.

Некоторые, мало известные до того сведения об отношениях между М. Е. Кольцовым и Б. Брехтом собраны в фундаментальной иллюстрированной биографии писателя, изданной в ГДР в 1978 году (авторы — Эрнст и Рената Шумахер).

По основному вопросу — организационного единства действий немецких и советских литераторов в борьбе против фашизма — они были более чем единомышленники.

Уже в начальный период после гитлеровского переворота в Германии, отмечается в книге, Брехт через Международное объединение революционно-пролетарских писателей (МОРП) выступил с инициативой проведения авторитетной конференции писателей-эмигрантов, которая «окончательно установила бы цели и методы будущей работы». При этом Брехт считал необходимым, чтобы в ней приняли участие «действительно авторитетные друзья из Советского Союза (он называл... Кольцова...). Действенным такое писательское новообразование может ощущать себя только в союзе с советскими писателями. На этой генеральной линии, отвечающей реальному положению, он твердо настаивал». (Schumacher. «Leben Brechts in Wort und Bild», Henschelverlag, Berlin, 1978, S. 118.)

Важное значение для обмена мнениями между двумя писателями, в том числе и для определения характера будущего журнала, имела поездка Б. Брехта в Советский Союз весной 1935 года.

Поездка в целом произвела на Брехта большое впечатление. В интервью московской газете «Дойче Центральцайтунг» от 23 мая 1935 года он подвел итоги в следующих словах: «Эта страна являет собой надежду и гордость трудящихся и передовой интеллигенции во всем мире. Творчество многих писателей... в том числе и мое собственное, было бы немыслимо без столь яркого и благородного примера Советского Союза».

По возвращении домой, в письме, датированном июнем 1935 года, «...он писал Михаилу Кольцову: «моя советская поездка была сильно освежающей в любом отношении, я замечаю это в работе». С Кольцовым,— добавляют биографы, — Брехт уже в предварительном порядке обсуждал издание журнала «Дас Ворт». (Schumacher. «Leben Brechts in Wort und Bild», S. 130.)

Одним словом, как бы там ни было, с весны 1936 года Брехт оказался во главе вновь организованного московского журнала «Дас Ворт». И это означало, разумеется, новую стадию отношений со всей здешней действительностью.

Раздвигались и углублялись возможности повседневных идейно-творческих соприкосновений и взаимодействий с художественной культурой Советской страны. Из восприимчивого наблюдателя и отзывчивого свидетеля событий или объекта литературных переводов и зрелищных постановок Брехт так или иначе обращался теперь в участника происходившего здесь литературно-художественного развития...

Кирпичи кладут каменщики, но не забудем и о тех, кто подносил глину.

Как раз в те самые недели и дни, когда в Москве окончательно оттачивался проект новообразованного журнала, Грета вновь жила в СССР.

Сохранившаяся переписка не позволяет судить о степени ее причастности ко всему течению переговоров и решению Б. Брехта принять на себя обязанности соредактора. Впрямую касаются этого лишь несколько строк из письма М. Штеффин Б. Брехту от 24 марта 1936 года. Но они содержат, по существу, явный итог и краткое резюме уже состоявшегося обмена мнениями.

В перечне делового отчета Б. Брехту — **«Ленфильм»**, **«Волгафильм»**, **«Мария»**, **«Третьяков»** и т.д., где каждое подчеркнутое слово обозначает так или иначе особую тему и сферу отношений, в пункте **«Мария»** сообщается:

«Итак, в этом случае Мария называет тебя в составе редакции нового журнала, который, к сожалению, будет именоваться «Дас Ворт» («к сожалению» — с моей точки зрения)».

Какие предварительные условия, возможно, принятые теперь, выдвигал Брехт или же какие другие ныне преодоленные препятствия для обоюдного согласия остались позади — неизвестно.

Находившийся вдалеке Б. Брехт мог поручить своей поверенной М. Штеффин уточнить те или иные результаты обсуждений, завязанных с ним (только ли одним М. Е. Кольцовым?) во время пребывания в Москве еще весной 1935 года. Но почему в качестве лица, наделенного функциями посредника на ведение столь серьез-

ных и решающих переговоров с московской стороны, названа в письме Мария Остен — тут дело было не только в ее личной близости к М. Е. Кольцову.

Ситуация проясняется из обильного фактического материала уже поминавшейся главы («Дас Ворт» — литературный журнал «народного фронта»), представленной в монографии «Немецкая эмиграция в СССР».

Для подготовки будущего журнала в Москве была создана специальная организационная комиссия из пяти активных немецких писателей-антифашистов, каждый из членов которой был наделен широкими полномочиями.

В комиссию входили Иоганнес Бехер, Вилли Бредель, Виланд Герцфельде, Мария Остен и Фриц Эрпенбекк.

Одной из самых сложных задач являлось собирание реальных живых сил немецкой антифашистской литературы, будущих авторов и сотрудников, изгнанных с родины и разбросанных теперь по всем странам и континентам мира — от Скандинавии, Франции, Голландии, Чехословакии, Швейцарии до Соединенных Штатов и Латинской Америки...

В таких обстоятельствах свое значение обретала и степень личной близости организаторов к тем или иным крупным мастерам немецкой литературной эмиграции, сотрудничество которых предполагалось в журнале. Осуществлявшему широкий выпуск прогрессивной художественной литературы через издательство «Малик» Виланду Герцфельде и Марии Остен поручены были и прямые переговоры с возможными соиздателями журнала, кандидатуры которых, как уже сказано, менялись и подобраны были не сразу.

О роли Марии Остен читаем:

«Мария Остен... была для журнала «Дас Ворт» активной фигурой в различных областях — как автор и сотрудница редакции. О ее интенсивной деятельности во время подготовки к основанию журнала речь уже шла. Так, например, в апреле она послала Фейхтвангеру первоначальный проспект распределения материала по номерам. Летом 1936 года она ездила к Фейхтвангеру во Францию...» («Exil in der UdSSR», S. 200.)

Так что ответ, устно переданный Бертольту Брехту через М. Штеффин в конце марта 1936 года, лишь новый пример все той же организаторской активности Марии Остен.

Если же принять во внимание имеющиеся в переписке М. Штеффин с Б. Брехтом тех месяцев упоминания о ее деловых визитах к М. Е. Кольцову (например, в связи с приглашением в СССР немецкого художника Георга Гросса) или непринужденных встречах в домашней обстановке, то вырисовываться начинает и ее собственная возможная роль в данном случае, отнюдь не бесстрастного вестового.

История почти трехлетнего сотрудничества Б. Брехта в качестве автора и соиздателя московского журнала «Дас Ворт» передана в монографии «Немецкая эмиграция в СССР».

Если ограничиться лишь простым перечнем проделанного им в сложной обстановке второй половины 30-х годов, то и тогда это покажется вкладом не только в немецкую литературу, но и в интернациональные взаимосвязи передовых художественных культур.

В Москве были приняты и реализованы некоторые важные редакционные нововведения, предложенные Б. Брехтом и Л. Фейхтвангером (в результате их двукратных встреч и совместных обсуждений).

По их инициативе в Париже с учетом здешней особо накаленной политической атмосферы заработала «промежуточная редакция» журнала (в 1938 году ее возглавляли М. Остен и В. Бредель). Объем каждого московского номера был увеличен на три печатных листа.

Брехт, взявший на себя по распределению обязанностей курирование отделов поэзии и драматургии, много сделал для выявления талантливых имен поэтов-интернационалистов, пишущих на немецком языке.

На страницах московского журнала были опубликованы такие произведения самого писателя, как большой поэтический цикл «Немецкие сатиры», пополнявший также в течение двух лет антифашистский репертуар Московского радио, и пьеса «Страх и отчаяние в Третьей империи» (№ 3 и 7 за 1938 г. и № 3 за 1939 г.)...

Здесь же появились, кстати сказать, и некоторые произведения и переводы М. Штеффин (например, публиковавшийся в № 1, 3 и 4 за 1938 год ее перевод с норвежского пьесы Нурдаля Грига «Поражение», от которой впоследствии отталкивался Брехт при работе над собственной пьесой «Дни Коммуны», стихотворный отрывок из пьесы «Ангел-хранитель», 1936, № 12 и др.).


DAS WORT

LITERARISCHE MONATSSCHRIFT

Redaktion:

Bertolt Brecht, Lion Feuchtwanger, Willi Bredel

Heft 3 März 1937

JOURGAZ-VERLAG MOSKAU

Обложка журнала «Дас Ворт» с автографом М. Штеффин.

Так что в письмах Брехта своему безотказному секретарю, делопроизводителю и порученцу вовсе не зря, как видим, с некоторых пор все чаще замелькали приписки, несколько однотипно начинавшиеся: «Кстати, «Дас Ворт»...»

Однако вернемся к весне 1936-го, когда Грета полгода жила в СССР.

21 марта она отметила свой день рождения. Обычное поздравление из Дании почему-то опоздало — Брехт позвонил лишь 23-го.

На следующий день она писала ему:

«...21 марта у меня был одинокий день рождения. Мне теперь уже 28 лет... Дорогой Биди, полгода — это невероятно долгий срок. И это прекрасно и так странно, когда твой голос столь близко, а ты так далеко.

Теперь попытаюсь по очереди, но, может статься, через пень-колоду все рассказать.

Вчера все хотели с тобой говорить, стояли у телефона, и я нервничала. Надеюсь, сегодня выйдет лучше.

«Ленфильм». Люди там ценят тебя очень. Они хотят с тобой сделать или «Швейка», или фильм о Хорсте-Весселе (псевдогерой нацистской пропаганды. — *Ю. О.*)... Вообще они очень точно знают твою работу, многое из твоего читали и хотят использовать тебя только для фильмов с нерусскими сюжетами. Но ведь это и было бы самым лучшим? Предел желаний для них — сделать с тобой серию фильмов. Пискатор... говорит, что ты безусловно должен согласиться, если все обещанное и обсуждавшееся окажется реальным».

И дальше в письме М. Штеффин идет перечень организационно-материальных условий, предлагаемых сценаристу сотрудниками студии «Ленфильм». А письмо в целом представляет собой тот самый деловой отчет Брехту, где в пункте «Мария» и содержится многозначительное поминание о том, что «...Мария называет тебя в составе редакции нового журнала «Дас Ворт».

В том же письме от 24 марта 1936 года, описывая ленинградских киношников, Маргарет Штеффин приводит любопытный штрих. Оказывается, кое-кто из них имел случай лично наблюдать Брехта в СССР.

Причем им понравилось, «что ты вел себя как товарищ по отношению ко всему, что видел перед собой, и как ты держался среди людей».

Эти свежие впечатления мог дать лишь приезд писателя весной 1935 года.

Выше уже отмечалось, каким импульсом для дальнейшего взаимодействия с культурой Советской страны явилась эта поездка.

Но стать таковой, добавим теперь, она могла лишь потому, что внутренне была хорошо подготовлена. Не только идейно, духовно, но и, так сказать, информативно, самой осведомленностью в предмете. Степень знания культурно-художественной жизни страны, реальной обстановки и людей были уже таковы, что условия для более тесного делового сотрудничества созрели.

Характерно, что биографические источники о Б. Брехте, появившиеся в ГДР в последние годы, теперь уже не упускают из виду роль его «полпреда» в СССР — Маргарет Штеффин.

Вот что говорится в связи с поездкой Б. Брехта в СССР весной 1935 года в новой фундаментальной иллюстрированной биографии писателя:

«В Москву Брехт поехал по случаю V декады революционного искусства в апреле 1935 года, основными устроителями которой были Международное объединение рабочих театров и Международное объединение революционных писателей. Во главе театрального объединения стоял Эрвин Пискатор; в писательском объединении секретарем немецкой секции был Иоганнес Р. Бехер. В августе 1934 года Брехт должен был входить в состав немецкой делегации, которая участвовала в заседаниях Первого Всесоюзного съезда советских писателей, однако болезнь помешала ему. О ходе и результатах работы съезда он был хорошо информирован из московской газеты «Дойче Центральцайтунг», журнала «Интернационале литератур» и через Грету Штеффин, которая осенью 1934 года была в Москве». (Schumacher. «Leben Brechts in Wort und Bild», S. 128.)

Каждый приезд Маргарет Штеффин в СССР становился лишь новым отрезком дороги, встающей из-за поворотов. Лишь частью той же ее непрекращающейся деятельности, которая все больше обращалась в смысл здешних пребываний. Хотя поначалу и она сама, и окружающие имели вроде бы одно намерение — поправку ее здоровья.

Причем по некоторым признакам нынешнее полугодие 1936 года сулило стать, пожалуй, даже наиболее успешным. Во всяком случае результаты были налицо.

Особенно неплохо обстояло дело с новой печатной продукцией Б. Брехта в СССР.

Как раз в те самые месяцы выходили оба сразу немецкое и русское издания крупной работы — «Трехгрошового романа» (в переводе В. Стенича), отдельной книжкой — пьеса «Круглоголовые и остроголовые». Московское Издательство иностранных рабочих в СССР одновременно с пражским издательством «Малик» готовило том драматургии Брехта, в столичной периодике печаталась пьеса «Горации и Куриации» и стихи.

Развивались отношения с театрами. Именно с зимы 1936 года в московском театре Н. Охлопкова, ленин-

градском «Мюзик-зале» и харьковском театре заинтересовались пьесой «Круглоголовые и остроголовые» и уже начинали разучивать роли...

Самыми разнообразными творческими предложениями забрасывали представителя Б. Брехта, как мы уже отчасти видели, студия «Ленфильм», режиссер Э. Пискатор, собиравшийся основать киностудию на Волге, редакции Радиокомитета...

Одним словом, дел было много и всяких.

Грета любила изучать иностранные языки. А отчего, ее бы спросили? В них видна душа народов. Самое первое, что надо постичь. Взаимопонимание того лучшего, что есть в каждом народе, сплочение на этой основе разноплеменных людей труда против общего врага — порабощения, духовный интернационал культур передового человечества — это и есть одно из начал революции.

Приехав в Советский Союз в 1932 году, она сразу же накупила полчемодана словарей: революцию она хотела воспринимать из первых уст. Немцы и русские должны быть рядом, их культура, искусство, как и лучшие люди обоих народов, должны сражаться плечом к плечу.

Примерно так она рассуждала, так писала в собственных сочинениях, включая даже пьесу для детей — «Ангел-хранитель». В письмах Б. Брехту идеи эти облекались в прозу деловой повседневности. И изредка лишь прорывалось...

Например, имея в виду ту же студию «Ленфильм», она восклицала в письме: «Вообще-то ленинградцы любят тебя очень. Я целиком за то, чтобы ты с ними работал. Они во всем, насколько можно, пойдут тебе навстречу» (22 февраля 1936 г.).

«Получил ли ты «ДЦЦ» с твоим стихотворением о Ленине? Это прекрасно выглядит, не правда ли?» (24 февраля 1936 г.).

Общая линия успеха ободряет. И письма Маргарет Штеффин тех месяцев прямо-таки излучают деловую энергию. За поворотами иных событий только поспевай следить.

Конечно, все было бы идиллически просто, если бы реальная жизнь, да еще на том конкретном этапе нашей отечественной истории в середине 30-х годов, не была так сложна.

Но и в те полосы, когда на горизонте вроде бы сияло

солнце, под ногами не всегда и не все было гладко. Идти было нелегко.

Препятствия возникали самые неожиданные, и сюрпризы выскакивали бесконечные. Даже если взять и то везучее в целом полугодие.

Подлинные ее солдатские качества, наверное, и проявлялись в том, что носа она не вешала, если только что налаженное вдруг ломалось, ползло, рушилось, а достигнутое оказывалось недостигнутым. И прежние цели отодвигались, как миражи. Всего снова надо было добиваться трудами, пядь за пядью.

Подручными средствами, насколько позволяли скромные ее возможности, с помощью советских друзей, вместе с ними, нередко лишь поздним числом оповещая Брехта, она крепила, строила, добивалась. На маленьком своем участке трудилась ради того, что пошло на пользу обеим литературам, обеим художественным культурам.

Вот факты только из одного письма от 24 февраля 1936 года.

Как нередко, речь в письме идет о многих предметах сразу. Достижений и неполадок по состоянию на данный момент «фифти-фифти», наполовину. Она сообщает:

«Трехгрошовый роман» скоро выходит по-немецки и по-русски.

«Издание пьес, которое делает Виланд (Герцфельде — владелец прогрессивного издательства «Малик» в Праге.— *Ю. О.*) одновременно с Издательством ин[остранных] раб[очих] на прошлой неделе пошло в печать...

«Круглоголовые» у Охлопкова. Стенич десять дней назад передал перевод...».

Однако имеются и огорчительные новости. По каким-то перестраховочным соображениям задерживается фильм о Швейке. «О причине мне ничего не известно, сегодня я написала Третьякову, пусть он проинформирует тебя об этом».

При авторских подготовках, пересылках или издательских прохождениях в Москве и Праге рукописного то́ма драматургии возникла путаница с экземплярами пьесы «Мероприятие». Так что неровен час — обнаружится, что в пражском готовом наборе этой пьесы не будет. «Сегодня я в третий раз написала Виланду... и просила его тотчас ответить тебе или мне».

Постановка «Круглоголовых» в московском театре, оказывается, как-то увязана с другими репертуарными планами и режиссерскими намерениями Н. Охлопкова, в частности, с его мечтой воплотить на сцене шекспировского «Отелло». Так что, судя по некоторым верным сведениям, недавно полученным ею, «Круглоголовых» в этом театре отложат в долгий ящик. Во всяком случае практически работать с пьесой в настоящий момент никто не собирается. «Я напишу также Охлопкову, если от Третьякова и Стенича, которым написала, не получу ответа».

Одним словом, идет живая жизнь, со своими противоречиями, страстями, со всеми ее непредсказуемостями. И такой «связной», такой «стрелочник», находящийся на скрещении двух культур, необходим. На своем посту стоит он не зря...

Итак, в СССР у нее есть прочные «опорные пункты», есть давние выверенные адреса, есть старые и новые все ширящиеся дружеские и деловые маршруты...

Только в Москве это — М. Е. Кольцов и Мария Остен, С. М. Третьяков, Бернгард Райх и Ася Лацис, Эрвин Пискатор и Международное объединение рабочих театров, Союз писателей СССР, его немецкая секция, М. Я. Аплетин, Иоганнес Бехер (союзник неполный), журнал «Интернациональная литература», издательство «Фегаар» и Гослитиздат, газета «Дойче Центральцайтунг»...

В Ленинграде таких «опорных баз» пока гораздо меньше. Это — В. О. Стенич, студия «Ленфильм»...

Но последнее время дороги все чаще приводят ее в город на Неве.

Немало способствовала этому их прошлогодняя поездка в Ленинград. Она вызвала широкий общественный интерес к Б. Брехту, да и подкрепила существующие и завязала новые личные отношения в здешней литературно-художественной среде.

Было это в конце мая 1935 года, когда уже завершилась декада революционного искусства в Москве.

С ленинградскими писателями, устроителями встречи, Брехт сразу почувствовал себя просто, по-свойски.

С ним разговаривали на хорошем, может быть, разве чуть отточенном немецком языке люди, знавшие толк в немецких делах, осведомленные в немецкой литературе, ценившие многие его собственные работы. Да

и смотревшиеся, пожалуй, чуть больше европейцами, чем он сам, похожий, скорее, на питерского мастерового.

В остальном это были подходящие коллеги. Романист Константин Федин, один из руководителей ленинградских писателей. Валентин Стенич, переводчик, знакомый со слов Греты. Из земляков-эмигрантов был немецкий писатель Теодор Пливье.

В разговоре Федин помянул о том, как перед мировой войной, поехав учиться в Германию, был застигнут там ее неожиданным началом и на целых четыре года застрял в качестве гражданского пленного в маленьком саксонском городишке Циттау («Почти как вы сейчас в Дании!» — пошутил он). Потом — о частых своих поездках в Германию — в 1928, 1931 и 1932 годах — чуть не вплотную до самого прихода Гитлера к власти.

— Значит, мы одновременно сбежали оттуда? — с веселой иронией взглянул Брехт.

— Но мы еще туда вернемся! — отозвался Федин.— И тогда поговорим где-нибудь на Александерплатц, в Берлине... И посмотрим ваши пьесы, в вашем театре!

— Угу! — согласился Брехт.

(Так оно почти в действительности и вышло. Во всяком случае, встречаясь впоследствии еще не раз — и в Москве, и в Берлине, и на даче в Букове, и на спектаклях театра «Берлинер ансамбль», и однажды даже, в 1954 году, в Брюсселе, по дороге к стриженому королевскому парку, писатели вспоминали это первое знакомство в городе на Неве.)

Ленинградцы позаботились, чтобы были не только официальные встречи. Сверх того, они приняли Брехта еще и по-домашнему.

— Рабочих впечатлений, да и ударных инструментов вообще будет много... И надо под конец что-нибудь контрастное. Этакое чисто петербургское хлебосольство! — сказал Федин, когда они еще загодя, в своем кругу прикидывали, как лучше принять гостей.— Пускай хоть и домашний ужин при свечах. Чтобы помягчеть душой, помечтать, воспарить... Это тоже требуется... Материально Союз писателей войдет в долю. Нужен только устроитель, с фантазией...

— Я его переводчик. Мне вроде бы и бог велел? — нерешительно поднял два пальца Стенич.

— Валяйте, Валентин Осипович! И пусть все будет, как в старом Петербурге. «Серебряный век» русской

поэзии. Блок... «Незнакомка»... Хотите, даже лакеев обеспечим, в черных фраках и белых перчатках? — пошутил Федин.

Так и состоялся тот памятный ужин в трехкомнатной квартире Стеничей, в писательском доме, на канале Грибоедова, о котором подробно рассказывала вдова В. О. Стенича — Л. Д. Большинцова.

Вечер раздумчивый, сближающий, веселый, хотя, конечно, не было никаких лакеев, а потчевала гостей и подавала сама хозяйка.

В те времена эта быстрая, черноглазая, хрупкая с виду женщина, умевшая, однако, держать в руках даже неукротимого Стенича, сразу обращала на себя общее внимание. Она свободно говорила по-французски и по-немецки. В литературно-художественных кругах Ленинграда ее хорошо знали. («Как же! Любочка Большинцова! — воскликнул Ираклий Луарсабович Андроников, первый из довоенных ленинградцев, к кому я обратился с просьбой рассказать о переводчике В. О. Стениче.— Мы, тогдашние питерцы, только так ее и звали: «Любочка»! Она здравствует и, конечно, знает все лучше всех...»)

— Да, лакеев, конечно, не было,— вспоминает Л. Д. Большинцова.— Но свечи в застолье поначалу, кажется, были... Во всяком случае много было обычной Валечкиной фантазии, озорной выдумки, тонких перемен общих состояний и настроений — он умел задавать тона́ в компании, как хороший осветитель сцены... Было все — от приглушенного интима до громкого хохота. Каждый что-то изображал, представлял, рассказывал: Брехт, Федин, другие...

Там я вблизи впервые и увидела Грету Штеффин. Она наигрывала на гитаре и речитативом исполняла «Колыбельные песни» Брехта.

Знаете эти стихи? Там их несколько, в этом цикле. Поет их неизвестная мать, простая женщина, работница, наблюдающая спящего сына, вспоминающая свою жизнь и старающаяся угадать возможные повороты будущей судьбы ребенка.

Это раздумья, воспоминания и напутствия, все сразу. Перед ней невольно развертываются итоги прожитых лет. Она раздумывает над тем, как трудно родить и взрастить человека и как легко его укокошить или обратить в бессловесную скотину. И она пытается вдохнуть в сына опыт собственной жизни, скопившиеся

гнев и энергию сопротивления, наставляет вслух, остерегает, призывает.

От стиха к стиху ребенок как бы мысленно взрослеет в глазах матери. И соответственно от песни к песне нарастают тревога и горечь слов и страсть напутствий поющей. Меняется даже сама ритмика; по существу, это маленькая стихотворная пьеса с одним действующим лицом.

Я с тех пор еще знаю эти стихи по-немецки, люблю их. И, возможно, дрожащие блики полутьмы от тускло горящих застольных свечей действительно в данном случае были уместны, когда Штеффин под гитару нараспев выговаривала:

Когда я тебя рожала, твои братья выли,
Они просили супу, а где было взять суп?
Когда я тебя рожала, за свет платить было нечем,
Мир, в который пришел ты, на освещенье был скуп.
. . . .

Дитя мое, Блюхер и Мольтке
Не побеждали так.
Перед битвою за пеленки,
Ватерлоо — просто пустяк.
. . . .

И когда я ночью лежу в бессоннице частой,
С тревогой вслушиваясь в дыханье твое,
Они, должно быть, планируют войны с твоим участием.
Но я хочу, чтобы ты не попался на их вранье.

Примерно так рассказывала Л. Д. Большинцова.

Но еще до этого уютного домашнего вечера, устроенного затем, на прощание с Ленинградом, у Брехта было немало публичных встреч и официальных выступлений, обращенных к общественности и сегодняшней жизни города.

Был литературный вечер Берта Брехта в переполненном зале Ленинградского Дома писателей, на улице Воинова. Был банкет в старинном зеркальном зале здания, с видом на вспучившуюся многоводную Неву. В зеркалах отражались черный концертный рояль, красные ковры и небольшая компания людей, разместившихся за долгим общим столом. Но зато это был, что называется, цвет творческой интеллигенции города — писатели, режиссеры и актеры театра, композиторы, деятели кино...

На импровизированном литературном отчете Брехт с большим успехом читал стихи. На сцену вышла и Маргарет Штеффин с гитарой и той самой «пьесой

одного актера» — «Колыбельными песнями», которые, верно, ее просили повторить на домашней встрече у Стеничей.

Вот как зафиксированы тогдашние события в подробной биографии писателя, изданной в ГДР:

«На обратном пути (из Москвы.— *Ю. О.*) был организован «вечер Берта Брехта» в Ленинградском Доме советских писателей. На нем Брехт встречался с Константином Фединым и Теодором Пливье. Пролетарские «Колыбельные песни» были исполнены Штеффин. «Красная газета» (22 мая 1935 г., согласно приведенной в книге сноске.— *Ю. О.*) сообщала:

«Берт Брехт, простой по своему существу, и можно было бы сказать, почти робкий, читал из своих произведений, из своей всемирно известной «Трехгрошовой оперы», читал «Балладу о пожаре рейхстага», «Песню Маляра Гитлера»... И эти одухотворенные поэтические произведения обнаруживали большого мастера, возможно, величайшего антифашистского поэта Европы». (Schumacher. «Leben Brechts in Wort und Bild», S. 130.)

— ...Грета бывала в Ленинграде и позже... В «Европейской» гостинице останавливалась, а как-то раз даже на нашей квартире,— продолжает свой рассказ Л. Д. Большинцова. — Это, кажется, в начале тридцать шестого... Да, тогда, помню, выходил «Трехгрошовый роман». Получилось так. Она ехала откуда-то издалека. Была договоренность, что мы обеспечим для нее номер в гостинице. Но телеграмма почему-то опоздала на полтора дня. Расположились у нас. Комнат было достаточно на каждого — она так и осталась. Отношения у нас были, скорее, деловые, чем дружеские. Обстановка в доме свободная, артистическая. И мы особенно не вникали, кто чем занимается, кроме разве общих литературных дел. Грета иногда на целые дни исчезала. Да, надо сказать, она была и скрытная, четкая. Никогда не говорила: «Я пошла туда-то...» А только: «До свидания! Буду во столько-то...» Впрочем, я знала, что в Ленинграде у нее была близкая приятельница, с которой они подружились еще в Крыму, несколько лет назад. Не то партийный работник, не то юрист, словом, из какого-то совсем другого мира, чем наш. Звали ее Александра Александровна. Фамилии не помню...

Так рассказывала Л. Д. Большинцова, давно разлучившаяся с Ленинградом и послевоенные десятилетия постоянно жившая в Москве.

Тысячу раз убеждался — нет более неистощимого драматурга и изобретателя «сюжетов», чем сама жизнь.

Через некоторое время после выхода первого издания этой книги Александра Александровна отыскалась сама собой.

Письмо из Ленинграда поступило через «Литературную газету». Вот оно:

«Уважаемый тов. Ю. Оклянский!

Прочитав в № 19 «Литературной газеты» от 9 мая 1979 года рецензию «Новое о Брехте» (доктора филологических наук Ильи Фрадкина), благодарю Вас за восстановление памяти и роли М. Штеффин в жизни Б. Брехта.

В мае — июне 1932 г. я познакомилась с Гретой в Крыму, Мисхоре, санатории «Красное знамя» (Дюльбер). Она приехала с группой немецких коммунистов, в числе их были два члена ЦК КПГ — Карл Феркельман и Вальтер Дуддинс. Эти люди были поглощены одной идеей и горели огнем борьбы за коммунизм. Грете было лет 24 — 25, она всегда стенографировала выступления своих товарищей на митингах, беседах и пр., которые ее друзья проводили среди отдыхающих и местного населения.

Году в 1933 — 1934 (ошибка памяти — весной 1935 года, как мы знаем.— *Ю. О.*) она уже с Б. Брехтом приезжала в Ленинград, их принимал в клубе писателей (ныне им. Маяковского) К. Федин.

Здесь они встречались с переводчиком В. Стеничем, в Москве бывали у М. Кольцова. Бывала она и в моей семье. Мы регулярно переписывались все годы, которые она жила в Дании,— это продолжалось по XII— 1937 г. В тот трудный год говорили о Грете дурно, но я никогда не верила. Она была стройная, светлая блондинка, преданная Брехту и общим задачам борьбы за мир, борьбы с фашизмом. Она страдала открытой формой туберкулеза, но любила жизнь, и Брехта, и Советский Союз.

Групповую фотографию 1932 г. (из санатория) и материалы о других лицах я в шестидесятых годах послала в ГДР ЦК Компартии и получила ответ, что они переданы в Музей Маркса — Энгельса. Это друзья моей юности, из-за которых я в свое время страдала.

С уважением А. Карягина (Карягина Александра Александровна)».

Теперь уже все меньше остается шансов получить отклик от неизвестных ранее участников тех давних событий. Время делает свое безжалостное дело.

Тем более интересна такая весть из Ленинграда, с которым вообще, если сравнивать с Москвой и по архивным материалам судя, меньше были общественно-литературные связи Б. Брехта 30-х годов.

В последующих письмах А. А. Карягина сообщала:

«...очень рада, что Вы написали, хотя я и не сомневалась, что это будет.

Могу Вам помочь — у меня есть фотография М. Штеффин... На все интересующие вопросы я отвечу... Моя девичья фамилия — Раковщик (род. 7/XI 1907 г.). Я — юрист, адвокат.

В письмах она звала меня Саша, мужа — Коля, дочь — Инга. В доме у нас (по этому адресу) бывала неоднократно. Могу назвать людей, которые ее знали, если живы, то в Москве.

Чтобы Вам написать, мне нужно вернуться в ту жизнь. Это трудно,— я соберусь и все сделаю. Не задержу...»

«...Боюсь, то, что я сообщу,— писала в дальнейшем А. Карягина,— вступит в противоречие с образом, который у Вас сложился о Грете, а отчасти, возможно, и официальной версии о Брехте. Она обрисована плоской, как на старой иконе, а это не так.

Нужно вернуться к 20—30-м годам. Тогда был иной накал, казалось, что вот-вот будет мировая революция и мир на земле, что фашизм — это не страшно. Взгляды на мораль и личные отношения были чище, но свободнее. Влияние А. Коллонтай, ее статей и подобных воззрений сказывалось на молодежи. Фактические браки закон признавал.

Вот на фоне этой мешанины я и встретилась с Гретой.

Кроме того интернациональные связи поощрялись и были проще, ближе и искреннее, чем это стало уже несколько лет спустя.

Я с мужем училась в ЛГУ, на юридическом. В 1929 поженились, в 1930 родилась дочь. Он был прокурор, а с 1939 г. военный, по день гибели в действующей армии в 1942 г. При обкоме ВКП(б) была лечкомиссия. Вот в мае 1932 г. он приобрел мне путевку в Крым, в санаторий «Красное знамя» — это Мисхор. «Дюльбер» — это старое турецкое название здания.

Я попала в комнату с Галиной Тимофеевной Грибановой. Это — сестра писателя Грибанова Бориса Тимофеевича (серия «Жизнь замечательных людей» — «Фолкнер», «Хемингуэй» и др.). Она живет в Москве...

Через какой-то срок в санаторий прибыла группа немцев, и к нам поселили Грету. Она тогда ничего примечательного не составляла. Девушка двадцати четырех — двадцати пяти лет. Молодая! Приехала она с Карлом Феркельманом как его подруга. Он — из руководящих партработников Берлина, член ЦК КПГ. Хотя ее быстро из нашей комнаты переселили, мы продолжали дружить. Грета тогда еще только осваивала русский язык, а наши с Галей познания в немецком равнялись университетскому курсу. Грета была очень живая, веселая... Мы дружили с немцами, за ними был ореол работников Коминтерна, да и они очень радовались отдыху и знакомству с обыкновенными советскими людьми. Грета учила нас песням Буша, мы пели «Красный Ведингг» и др. В курзале, для всех санаториев, Карл Феркельман и Вальтер Дуддинс делали доклады о Германии, о борьбе их компартии с фашизмом. Переводил наш отдыхающий, Вышинский Петр Емельянович, он жил в Москве... Научный работник, но молодой...

Грета все стенографировала для Феркельмана, чтобы он мог пользоваться материалом. Я дружила с Вальтером Дуддинсом. Не помню — как, но путевку мне продлили, и мы в Москву вернулись вместе. Вскоре Грета потеряла связь с Карлом: то ли его послали в другое место, то ли арестовали, и он погиб в фашистской тюрьме. Она очень тяжело переживала утрату Карла, и, пожалуй, я одна знала эту часть ее жизни.

Вальтер Дуддинс перешел на нелегальное положение, и обмен письмами у нас шел через Грету, так что это было еще одной из основ нашей переписки.

С того времени и по XII.1937 г. Грета мне писала не реже одного раза в неделю, мы с мужем со словарем читали о всей партработе и о ее жизни.

Весной 1935 года она приехала с Брехтом, он жил в гостинице, она у меня. Она опять была очень оживленной, говорила только о Брехте. Познакомила с ним: он был сдержан при посторонних, с ней держался официально.

Она говорила, что очень любит Марию Остен, что у них одна судьба, но Брехт — другой человек, чем

Кольцов. Она мирилась с должностью секретаря, но очень страдала и от меня этого не скрывала.

В клубе писателей по ул. Воинова, а это рядом с моим домом, К. Федин принимал Брехта. Присутствовала вся литературная молодежь — Б. Лихарев, О. Берггольц, Г. Гор и др. Мы в одно время учились в ЛГУ.

Грета со всеми знакомилась, поясняла нам творчество Брехта, которое в ту пору не очень было доходчиво.

В это время она бывала у В. Стенича...

В 1964 и 1967 гг. я искала в Копенгагене ее могилу, так как понимала, что с ее здоровьем войну она не перенесла...

Письма из Дании были все такие же объемные и дружеские, и печатала она на такой бумаге, о которой Вы писали.

В 1935 г. через секретарей Г. Димитрова я узнала, что В. Дуддинс в 1934 году арестован германскими фашистами и осужден к 3 годам за участие в Гамбургском вооруженном восстании. Там он и погиб где-то.

Так как у меня был отчет о работе Тюрингской парторганизации, составленный Дуддинсом,— 27.III — 1961 г., я послала его в Берлин, а 14.IV — 1961 г. получила от проф. доктора наук Бруно Кайзера из Института марксизма-ленинизма при ЦК партии ответ. Сейчас я пошлю им фото, чтобы они увековечили своих товарищей; Вам тоже пришлю...

Кроме фотографий, о Грете у меня ничего не осталось. Все ее письма я уничтожила в XII — 1937 года, что тогда творилось — Вы знаете. Из ее подарков сохранилось только три учебника английского языка Палмера (изд. Токио), да и то дарственные надписи стерла...

Ну, что Вам написать о Грете? Была молодость. Помню, в Крыму ночью забрались в розарий («Чаир» он назывался) и воровали цветы. Она звала меня Blumenbesprizornik, то есть «Цветочный беспризорник». Это — после того, как она смотрела фильм «Путевка в жизнь» — о беспризорниках.

Она была необычным человеком. Ведь почти ничего нельзя! Веселая, любила солнце (ей нельзя), море (ей нельзя) и т. д. А она... Всегда без денег, а свою одежду раздаривала, как сувениры. Была строга и сентиментальна. Моей маленькой дочери привезла платье, беретик и сказала, что это не от нее...

Я вижу ее, светлую, с легкими пушистыми волосами, в синем сарафане, всегда с улыбкой, всегда с желанием кому-либо и чем-либо помочь».

Естественно, обратился я и по московскому адресу, который сообщила в том же письме А. А. Карягина.

Галина Тимофеевна Грибанова добавила несколько красочных подробностей, которые схватывает глаз человека ее профессии.

Художник-декоратор, к весне 1932 года она только окончила Грузинскую Академию художеств. И по путевке, которую добыл выпускнице отец — старый большевик, прибыла в крымский санаторий «Красное знамя». А тут и закрутилось-завертелось все так, как описывала А. А. Карягина. И на этюды выходить, как первоначально думала, времени почти не оставалось.

Впрочем, с Гретой она была знакома только в тот памятный крымский месяц. Больше же никогда не встречалась и не переписывалась, а за дальнейшими событиями наблюдала, выслушивая при встречах непременные и горячие рассказы Саши Карягиной, дружба семьями с которой повелась еще с тех пор. У нее же самой вышла другая линия в жизни.

Чем интересны истории этих давних знакомств былых лет? Они показывают, что Маргарет Штеффин была принята не только в литературно-художественной среде, пусть и достаточно широкой. У нее велись тесные, иногда многолетние отношения также и с людьми других трудовых занятий, профессиональных и общественных уровней, повседневных интересов — от дальневосточного рыбака и крымских колхозников до ленинградских юристов и грузинских интеллигентов.

Причем отношения эти не прерывались и тогда, когда Маргарет Штеффин уезжала из Советского Союза (вспомним А. А. Карягину, если благодарная память даже и преувеличивает что-то: «еженедельная переписка», год за годом!).

Самые разнообразные личные и деловые адреса в СССР, как свидетельствуют и другие источники, с дальнего расстояния обращались в разряд первостепенных и неотложных.

Для знаний Советской страны, ее личных, а вместе и Брехта все это было важно.

Из деятелей художественной культуры разных стран, тяготевших к Советскому Союзу и вынужден-

ных подолгу жить в отрыве от здешней действительности, такой счастливой возможностью постоянного личного посредничества, какое обеспечивала Брехту М. Штеффин, наверное, редко кто располагал...

Вернемся, однако, к литературной дискуссии 1936—1938 годов на страницах московского журнала «Дас Ворт», к нравственному кодексу поборника истины автора «Жизни Галилея» и к захватившим тогда духовную атмосферу предвоенной Европы чуть ли не всеобщим апелляциям к разуму...

Фашизм был замешан на лжи. Ложь во имя якобы благодатных принципов и высших спасительных целей, которые почему-либо не способно в настоящий момент или на данном этапе постичь слабое по природе человеческое большинство, официально выдвигалась германскими нацистами в качестве важнейшего средства и способа руководства народными массами.

С присущей ему и, надо сказать, беспрецедентной в политической истории откровенностью Гитлер писал в «Майн кампф»: «При помощи умелого и длительного применения пропаганды можно представить народу даже небо адом и, наоборот, самую убогую жизнь представить как рай». Известен афоризм Геббельса, что тысячу раз повторенная ложь становится правдой.

И даже такой вроде бы «солидный делец» крупного капитала, как Шахт, изображавший из себя человека экономики и госаппарата, а не политики, на международном процессе главных немецких военных преступников в Нюрнберге «...показал, что он также принял нацистскую точку зрения, что всякая удачная выдумка — правда. Когда ему во время перекрестного допроса был предъявлен длинный список нарушенных клятв и лживых заявлений, он в свое оправдание заявил следующее:

«Я считаю, что можно добиться значительно больших успехов в руководстве людьми, не говоря им правды, чем говоря им правду».

Такова была философия национал-социалистов»*.

Нравственный кодекс поборника истины вдохновлял художественные создания Бертольта Брехта. Конкретная социально-историческая истина реальной дей-

* Нюрнбергский процесс. Сборник материалов, т. 2. М., Государственное изд-во юрид. лит., 1951, с. 123.

ствительности и была высшим судьей в системе его художественно-теоретических воззрений.

Правда, безоглядная, неделимая, правда, в точном и жестком значении этого слова, была избрана в качестве решающего критерия для последующих оценок и суждений о свойствах людей, социальных доктрин, существующих правил миропорядка и возможностей дальнейшего развития человеческих отношений.

Приходится ли говорить, что такая этическая система и такое творчество немецкого художника и мыслителя были прямым ответом на потребности эпохи.

Высокий взлет художественной и литературно-теоретической активности автора «Жизни Галилея» и «Мамаши Кураж» относится ко второй половине 30-х годов, к близкому кануну второй мировой войны, когда передовая литература и общественная мысль воззванием к гуманистическим ценностям, к разуму человечества пытались отвратить и задержать грозное развитие событий, мобилизовать волю народов; когда всесторонне оттачивалось идеологическое оружие в борьбе против фашизма и войны.

Необычайный прилив творческой энергии, ощущение незаменимости собственной миссии и дальнейшее быстрое выдвижение в первые ряды мировой литературы в такой период Бертольта Брехта, «певца разума» уже по самому характеру своего дарования, наверное, нельзя считать случайностью.

С другой стороны, понятиями «разума» по-своему жонглировал Гитлер.

Вот что говорит по этому поводу Эрнст Шумахер в уже неоднократно цитированной монографии: «Национал-социализм был абсолютно иррациональным мировоззрением, «мифом XX столетия», но для претворения в жизнь программы немецкого империализма его вожди должны были проявлять и развивать также «логические» черты. Они должны были выступать с внешне «разумными» требованиями; и на деле часть их действий состояла в том, что они превращались в защитников социальных и национальных лозунгов, которые имели смысл, хотя, превозносимые нацистами, были не чем иным, как средством обмана масс и маскировки империалистических планов. Провокационный смысл развития событий заключался в том, что казалось, будто эта политика ведет от победы к победе

и тем самым уличает во лжи прогрессивный гуманизм рода человеческого». (Ernst Schumacher. «Bertolt Brechts «Leben des Galilei» und andere Stücke», S. 86.)

Брехт был одним из тех мастеров немецкой литературной эмиграции, кто наиболее зорко и трезво видел лицо политического противника.

Глубоко понимал он и ползучую изворотливость и демагогическую цепкость, свойственные природе фашизма. И многократно выносил им соответствующие аттестации.

Такова, например, его «Речь по вопросу о том, почему столь большая часть немецкого народа поддерживает политику Гитлера», написанная после 1936 года и характерная уже названием. Или же возникшая в тот же самый период — «Речь о силе сопротивления разума».

В последней из них Брехт давал такую отточенную формулу:

Фашистские правительства «для обеспечения своего господства отнимают у масс столько же разума, сколько нужно для устранения их господства». (Ernst Schumacher. «Bertolt Brechts «Leben des Galilei» und andere Stücke», S. 89—90.)

Конечно, на исходе 30-х годов еще не были до конца ясны градации и масштабы, в каких фашизм использует в своих целях не только демагогическую логику, но и ориентируется на разжигание самых низменных и своекорыстных побуждений обывателя, манипулирует самыми темными страстями и инстинктами масс.

Взгляды Б. Брехта в дальнейшем развивались и углублялись. Но перспективы разрешения социально-исторического конфликта, по общему духу, не могли претерпеть изменения.

«Наружу выходит ровно столько истины, сколько мы выводим. Победа разума может быть только победой разумных» — этой мыслью одухотворена уже «датская» редакция «Жизни Галилея» Брехта.

Как всегда, самое сложное этот человек умел сделать простым. Это было определено его натурой, в которой как бы заложены были две возможности художнического зрения. Постигая суть вещей, вышелушивая их скрытый смысл изощренным разумом интеллектуала, он умел вдруг совершить неожиданный поворот и оценить их глазами человека с улицы. И потому мысль, которая под иным пером напраши-

вается в трактаты, оказывалась у него элементарно-будничной и отточенной, как острие иглы.

«У высоких господ разговор о еде считается низменным,— писал он в одном из стихотворений,— это потому, что они уже поели... Если люди из низов не будут думать о низменном, они никогда не возвысятся».

Он не просто понимал что-то со стороны, он умел чувствовать отвлеченную истину кожей плебея. Откуда в нем было это — загадка. Это был дар, редкий, неповторимый, в котором нуждалось и который вызвало к жизни время.

Всем творчеством Брехт по косточкам разбирал и обнажал абсолютную и всестороннюю «неразумность» фашизма, то есть враждебность его интересам простого труженика и наследию поколений его предков, лучшему из того, что составляет культуру человечества.

Стоило применить вроде бы «наивный» взгляд простого мыслящего труженика, человека из народа,— и государственный механизм, основанный на тотальной лжи, представал во всей своей вселенской нелепости.

Именно такой взгляд давал Брехту возможность показать абсолютную противоестественность фашистских режимов, их полную несовместимость с природой человека и самой сущностью того, что представляет собой человеческая общность, сложившаяся на Земле.

В стихотворении, под ироническим названием «Трудности правления», он писал:

Министры твердят неустанно народу,
Что править очень трудно. Без них, министров,
Пшеница росла бы корнями вверх, а не вниз.
Если бы не мудрость канцлера,
Из шахт не добыли бы ни кусочка угля. Без министра
пропаганды
Ни одна женщина не могла бы забеременеть. Без военного
министра
Не бывать бы войне. И разве солнце всходило бы поутру
Без разрешения фюрера?
Вряд ли. А если б всходило,
То не там, где надо.

Это был глубоко естественный для Брехта ход мысли. Как и столь глобальный размах критики.

Стихотворение «Трудности правления» написано за год до пьесы «Жизнь Галилея». И сама по себе приведенная цитата — лишь еще один штрих к тому, на-

сколько переход к вселенскому обсуждению «судеб истины» в пьесе отвечал внутренним устремлениям писателя.

Вместе с тем Брехт не чурался никакой «злобы дня», потребы или изнанки будней, никаких текущих мелочей, которые позволили бы нанести еще укол фашизму, еще одну оплеуху рейху.

Исследовательская проницательность, сатирический дар Брехта были необходимы эпохе.

В тот исторический момент нужна была такая уничтожающая кувалда, такой дробящий молот, который бы вдребезги разносил опутавшую Германию и ее трудовой народ губительную социально-политическую систему лжи.

Но давайте задумаемся о другом.

История литературы знает писателей и поэтов-трибунов, широко популярных в свое время, творческое наследие которых деликатно сравнивают ныне с осколками разорвавшегося снаряда.

Искусство Брехта — поэта, драматурга, прозаика, черпавшего вдохновение в гуще политической борьбы, обеспечивало себе долговечность, притягательность для новых поколений. В чем тут секрет?

Реализм Брехта был в высшей степени мыслящим реализмом.

«Сахар наших химиков узнать нелегко», — коротко определял он в дневниковой заметке 1940 года сущность реалистического освоения действительности писателем, как понимал ее.

При такой установке творческой мысли, нацеленной на вытяжку из действительности характерного, заведомо отвергался гипноз сиюминутного, не могло быть и речи о том, чтобы художник становился копиистом фактов, пусть самых злободневнейших, актуальнейших и наиважнейших.

Как уже говорилось, диалектику писатель сознательно положил в основу своего миропонимания. Она была для него источником исторического оптимизма в полосы, казалось бы, самых мрачных обложных туч на горизонте.

Она же была и лишним заслоном, оберегавшим от иллюзий и прекраснодушных утопий.

Писатель открытых общественных пристрастий, он решительно выступал против того, чтобы объявлять «типичным просто желаемое. Это похоже на то,— иро-

низировал однажды Брехт,— как если бы кто-то заказал свой портрет и сказал художнику: но, не правда ли, вот эта бородавка и торчащие уши для меня не типичны. Подлинный смысл слова «типичное»... таков: исторически значимое».

Свои неустанные творческие искания Брехт подчинял цели, которая может показаться несколько неожиданной для такого агитационно-политического писателя, как он. Но мы-то уже знаем, что это было для него вполне естественным!

«Искусство должно быть средством воспитания,— отмечал Брехт,— но цель его — удовольствие». «В искусстве люди наслаждаются жизнью»,— подчеркивал он. А поясняя свое понимание формирования литературного вкуса у читателя (уже в условиях ГДР), писал: «Создать выставки и курсы для формирования вкуса, то есть для наслаждения жизнью».

«Все виды искусств служат величайшему из искусств — искусству жить на земле» — в такой крылатой форме выразил он свою убежденность.

Иными словами, реалистом Брехт был вплоть до конечных выводов: о характере и сущности читательского восприятия произведений литературы.

Однако судите сами: какая вроде бы несовместимость — «воспитание» и «удовольствие», «орудие борьбы» и «наслаждение жизнью»?!. Но это были лишь разные черты живого организма искусства, разные стороны теоретического осмысления никак не разделимой собственной практики, всего лишь разные грани натуры одного человека.

Признаюсь, есть особый соблазн в том, чтобы набросать обобщенные черты к портрету художника, основываясь на той сфере его духовной деятельности, которую составляют его ключевые наблюдения и выводы о деле своей жизни — литературе — и направлениях собственных усилий в ней.

Из теоретических абстракций постепенно и заново материализуется тогда силуэт живой личности — мыслителя, художника, гражданина, человека. Подобно тому (не забуду этого читательского впечатления детских лет), как в заключительной сцене известного фантастического романа Герберта Уэллса публика с жутковатым удивлением взирает, как на белом снегу медленно «проявляется» сначала силуэт, затем фигура, потом остренький нос и очки Человека-Невидимки,

пока не образуется весь он, до латунных гвоздиков на стоптанных подошвах ботинок.

Разработанная Брехтом «этика действия», увековеченная им во многих художественных созданиях, непосредственно и широко выражается и аргументируется в сфере литературно-теоретической.

Настолько, что, например, трактат «Пять трудностей при писании правды» можно назвать не только четким ее выражением, но и своего рода литературно-теоретическим аналогом к пьесе «Жизнь Галилея», в особенности же, конечно, к «датской» ее редакции.

«Пять трудностей при писании правды» — литературный манифест Брехта середины 30-х годов.

Некоторая парадоксальность манеры изложения — трудностей только пять! — лишь публицистически заостряет глубокую серьезность, теоретическую основательность и некую итоговую значимость этого программного выступления писателя.

По жанру статья относится к той редко встречающейся у других, но чрезвычайно органичной для Брехта форме, которую можно, пожалуй, назвать теоретическим памфлетом. Присущий этому автору дар сатирической гиперболы, сокрушительного сарказма, меткого афоризма мобилизован в данном случае на формулирование теоретических взглядов по важнейшим проблемам отражения жизни в литературе и ее участия в общественно-политической борьбе.

Статья в окончательной редакции напечатана весной 1935 года и, как всегда у Брехта, исходит из конкретных обстоятельств подневольного положения литератора, вынужденного работать в чуждой и враждебной ему атмосфере, порожденной фашистским режимом или духовной монополией буржуазного государства. Что же должен делать в этой ситуации литератор, желающий остаться честным, стремящийся принести своим пером реальную пользу?

Ему предстоит преодолеть, как уже сказано, пять трудностей. Любопытно, что на первое место Брехт ставит трудность, прямого отношения к литературной теории, казалось бы (только — казалось!), не имеющую. Необходимо прежде всего мужество для писания правды.

«Конечно, это очень трудно — не склониться перед сильным, и очень выгодно — обманывать слабых, —

пишет Брехт.— Не угодить имущему значит отречься от имущества. Отказаться от платы за сделанную работу значит при известных условиях отказаться от работы, и пренебречь славой у сильных часто значит вообще лишиться славы. Для этого требуется мужество. Времена наибольшего подавления — это большей частью и времена, когда много говорится о больших и высоких вещах. Требуется мужество, чтобы в такие времена, под оглушительные крики о том, что главное — готовность к жертвам, говорить о столь низких и ничтожных вещах, как пища и жилье для трудящихся».

«Требуется также мужество, чтобы сказать правду о самих себе, о себе — побежденных,— продолжает Брехт. — Многие преследуемые теряют способность признавать свои ошибки. Преследование кажется им величайшей несправедливостью. Преследователи, раз они преследуют — люди злые, а они, преследуемые, преследуются за свою доброту. Но эта доброта побита, побеждена и парализована, и, следовательно, это была слабая доброта, плохая, непрочная, ненадежная доброта: ведь нельзя же считать, что доброте присуща слабость, как дождю мокрота. Сказать, что добрые побеждены не потому, что они добры, а потому, что они слабы,— для этого требуется мужество».

Сила этических принципов в полной мере дает о себе знать и тогда, когда Брехт вслед за тем обращается к очередной — теперь уже эстетической трудности *поисков* правды.

Конечно, фашистским режимам ненавистна всякая правда. Они не ждут для себя ничего хорошего от того, что писатель начинает допрашивать действительность. Как скажет Брехт в другой раз, «достаточно произнести «дважды два — четыре», чтобы вызвать недовольство и недоверие правительств в этих странах». Но задача, полагает писатель, состоит не просто в том, чтобы сказать: «Стул это стул» или «Никто ничего не может поделать с тем, что дождь падает сверху вниз», задача — достичь такого изображения, «чтобы, опираясь на него, люди знали, как действовать».

Собственное искусство Брехта, погруженное в гущу политической борьбы, давало могучие образцы активного и незамедлительного воздействия на современность. Этим стремлением последовательно проникнуты его художественные открытия и новации на протяже-

нии почти всего творческого пути (и знаменитые принципы агитационно-площадного «эпического театра», и стихи без рифм и регулярного ритма и т. д.). Но «прорваться к слушателю и повести его за собой!» — это было, в представлении Брехта, не только одним из художественных побуждений, так сказать, эстетических заданий повседневной работы. В равной степени это было для него требованием этическим и, выражаясь нынешним языком, также «поведенческим».

Органическим единством этих, казалось бы, довольно разных и, в построениях иных теоретиков, не пересекающихся и не сочетаемых сфер литературной деятельности одинаково отмечены все выделяемые в статье трудности при писании правды.

«Тот, кто ныне хочет бороться с ложью и невежеством и писать правду,— формулирует Брехт,— должен преодолеть по меньшей мере пять трудностей. Он должен обладать **мужеством**, чтобы писать правду, хотя ее повсюду подавляют; **умом**, чтобы распознавать ее, хотя ее повсюду скрывают; **умением** пользоваться ею как оружием; **способностью** выбирать тех, в чьих руках она будет действенной; **хитростью**, чтобы распространять ее среди них. Эти трудности велики для пишущих под властью фашизма, но они существуют и для тех, кто изгнан или бежал, и даже для тех, кто пишет в странах буржуазной свободы».

Этика — эстетика — действие...— таковы нерасторжимые звенья литературных взглядов Бертольта Брехта, художника революции, страстного антифашиста, одного из выдающихся мастеров и теоретиков реалистического искусства XX века.

Мир интеллектуальных и творческих интересов Брехта, представленный в его размышлениях о литературе и искусстве, чрезвычайно разнообразен. Пожалуй, нет такой эстетической проблемы, такой области литературной деятельности или такой профессиональной тонкости работы писателя, которую бы он не пытался осмыслить. Вот уж кто знал в этом толк и умел оценить достижения других мастеров в сфере художественной формы! Так что тем возникало неисчислимое множество.

Но в этой изобильной пестроте живых интересов и увлечений хорошо высвечиваются контуры главного предмета, постоянно видна, если так можно выразиться, излюбленная мысль, которой он непрестанно каса-

ется вновь и вновь, как бы выверяя и развивая ее и практикой собственных творческих занятий, и разносторонне исследуя и утверждая в своих теоретических работах.

Мысль эта, как альпеншток для идущего вверх альпиниста и как путеводная нить всей литературной судьбы писателя,— о правде художественного отражения жизни, о сущности реализма в литературе, о его изменениях и превращениях под влиянием новых потребностей века.

Вопрос о жизненной правде в искусстве обретает особую остроту на крутых поворотах истории. Не однажды возникали различные общественно-литературные причины, которые активизировали теоретическую мысль Брехта и определяли появление ключевых его работ о реализме.

Так было и во второй половине 30-х годов, когда в ходе и под воздействием развернувшейся в Москве дискуссии о реализме Брехт сформулировал важнейшие положения, читающиеся иногда так, как будто они высказаны сегодня.

Характерны уже названия его статей, эссе и заметок тех лет — «Народность и реализм», «Широта и многообразие реалистического стиля», «Замечания по поводу одной формалистической теории реализма», «О лозунге «Социалистический реализм» и др.

Красной нитью через теоретические суждения Брехта, связанные с тогдашней дискуссией, проходит мысль, что «реализм — это не просто вопрос формы». «Реалистический,— стремится он предложить даже собственную дефиницию,— значит: вскрывающий социальный комплекс причинности (разоблачающий господствующие взгляды как взгляды господствующих), пишущий с позиций класса, который обладает широчайшими возможностями преодолеть самые серьезные препятствия, стоящие на пути человеческого общества (подчеркивается момент развития),— конкретный и в то же время дающий возможность обобщать».

Ни манера жизнеподобного изображения действительности, ни путь гротесков и гипербол сами по себе еще не даруют произведению реалистических качеств. Реализм неисчерпаем, подвижен и видоизменчив, как сама действительность.

«Опасно связывать великое понятие «реализм»,— подчеркивал Брехт,— с несколькими именами, сколь

бы знамениты они ни были, провозглашать несколько формальных приемов... творческим методом... Ответа на вопрос, какими должны быть литературные формы, следует ждать от действительности, а не от эстетики, даже если это эстетика реализма».

Всякое предпочтение оболочки существу предмета в любой сфере человеческой деятельности — формализм, настаивал Брехт.

Характерно, что в своих литературных «Замечаниях по поводу формализма» с присущим для него ощущением искусства именно как части жизни Брехт тут же не упускает случая указать наиболее крайний и отталкивающий образец формализма, какой породила на свет современная действительность.

«Фашизм — великий формалист,— пишет Брехт...— Он ведет плановое хозяйство, но его планирование не устраняет анархический способ производства, а стабилизирует его. Он лихорадочно производит, но производит средства уничтожения... Он реабилитирует честь немецкого народа, превращая этот народ в две группы: осквернителей и оскверненных. Он обещает сделать их властелинами мира, а делает их рабами небольшой клики... Величайшее значение режим придает своему народному характеру. Беспрерывно и неизменно он обращается к народу и от имени народа. Он все причисляет к народу, кроме того, что он к нему не причисляет, что, будь это причислено, и есть народ».

К высотам литературной теории Брехт поднимается (а можно было бы также сказать: «спускается»), постоянно вглядываясь в доступный глазу ландшафт реальной истории и современности, трепетным эстетическим чувством ощущая за собой бескрайние пики, кряжи и рельефы мирового искусства, располагая огромными запасами собственного художественного опыта.

Это и дает живое наполнение многим его исходным литературно-теоретическим понятиям, таким, как народность истинная и мнимая, действительный реализм и его формалистические подобия и т. д.

Например, натурализм, в его представлении,— такой же формализм, как и обездушенная, бессмысленная игра техническими приемами. «Натурализм похож на реализм, как софистика на диалектику»,— считал Брехт.

Реализм — там, где воплощена сущность явления. Внешняя же фиксация предметов тотчас отражается

на художественной форме. Ведет к ее несамостоятельности, к невольному заимствованию и комбинированию ее готовыми элементами, бродячими мотивами, «ходами» и построениями, что и означает по существу своему примитивный формализм.

Равным образом канонизация любой манеры изображения или литературной традиции, даже совершаемая под флагом реализма, на деле оборачивается формализмом, пусть в иных случаях невольным и неосознанным.

Единство этики — эстетики — действия отличало литературно-теоретические воззрения Брехта. Работе в русле реализма, считал он, способствует открытое отстаивание позиции общественных сил, чьи стремления отвечают объективному движению истории. Таковыми были для него рабочий класс, трудовой народ. «В борьбе против возрастающего варварства,— писал Брехт,— есть только один союзник: народ, так сильно страдающий от него. Лишь от народа можно чего-то ждать. И потому обращение к народу напрашивается само собой... Так лозунги народность и реализм естественно объединяются».

Эстетика Брехта черпала энергию в социалистическом идеале преобразования общества. Вот отчего пристальным бывал взгляд Брехта, обращенный к революционной России, где впервые в мире осуществлялся грандиозный эксперимент социальных переустройств.

Сам Брехт отмечал духовное влияние, оказанное на него новой советской литературой, и в первую очередь Горьким.

«Высокая художественная и политическая ценность Горького в русской и мировой литературе,— писал он,— не подлежит сомнению и вряд ли нуждается в особых доказательствах... Я сам инсценировал его роман «Мать» и могу служить, таким образом, одним из примеров его воздействия... Путь, запечатленный в «Матери», даже если бы о нем было рассказано менее искусно, все равно оказал бы огромное воздействие на всех тех, кого это касается».

Заметка «Влияние Горького на литературу», откуда взяты эти слова, написана около 1936 года. То есть почти в одно время с первыми откликами Брехта на дискуссию в московской литературной печати, с последующей интенсивной чередой его итоговых теорети-

ских обобщений, где, кстати, не раз поминается и имя Маяковского, которого он аттестует как «самого крупного разрушителя форм».

Вот почему многоразличные связи с советской литературой и созвучия внутренних путей идейно-художественного развития никак нельзя упускать из виду, говоря о Брехте — теоретике литературы *.

8 сентября 1934 года С. Третьяков пишет письмо Брехту, продиктованное впечатлениями от Первого съезда советских писателей, закончившегося несколько дней тому назад.

«Съезд имел большое значение и дал исключительно большой и свежий материал для литературного прогноза,— сообщает С. Третьяков...— Именно сейчас было бы так важно обработать теоретически многие вопросы. Сейчас у нас наступил поворотный момент...» **.

Но ведь и для Брехта вскоре настала страдная пора снимать плоды с древа теоретического познания, создания всего того, что он напишет в ходе дебатов о реализме.

В статьях и заметках тех лет писатель размышляет о сущности и особенностях творческого метода социалистической литературы.

Новое направление потому и воспринимает, на его взгляд, лучшие традиции прошлого, что к нему при-

---

* Разумеется, во многом иная сфера — взгляды Б. Брехта в других видах искусства и в особенности, конечно, его теория театра. Хотя отношения тут к общеэстетическим воззрениям в целом, наверное, как у двух рукавов одной реки, в каждом случае все-таки — свое течение событий, свой бег времени. Для читателя, которого заинтересовала бы эта сторона мыслительной работы Б. Брехта, имеющиеся тут пересечения и взаимодействия с русской и советской художественной культурой (театр, кино), назову соответствующие разделы в талантливых книгах Б. Зингермана «Жан Вилар и другие» (М., ВТО, 1964) и «Очерки истории драмы XX века» (М., Наука, 1979), а также обильную фактическим материалом монографию Тамары Суриной «Станиславский и Брехт» (М., Искусство, 1975).

** Письмо входит в число тринадцати написанных по-немецки писем С. М. Третьякова Б. Брехту (1933—1937 гг.), они впервые опубликованы в книге исследователя из ГДР Фрица Мирау «Изобретение и поправка. Эстетика оперативности Третьякова», выпущенной издательством Академии наук в Берлине в 1976 году. См.: Fritz Mierau. „Erfindung und Korrektur. Tretjakows Ästhetik der Operativität", Akademie—Verlag, 1976, S. 263.

ложима общая мысль — о творческой и плодоносной, как жизнь, природе реализма...

«Воодушевленный не перестает видеть действительность, трезвый не утрачивает вдохновения» — так определял Б. Брехт при этом соотношение субъективного и объективного начал в принципах подхода к отображению жизни. Идейно-эстетическая активность художника сулит успех лишь при верном постижении объективной реальности.

О каких бы краеугольных понятиях эстетики ни заходила речь — о классовости, народности искусства, о типическом и т. п.,— первейшее из мерил для Брехта одно: правда жизни.

Причем это были отнюдь не только общетеоретические декларации — свет такого понимания отчетливо различим в истолкованиях самых заповедных моментов творческого процесса писателя. Достаточно вернуться к трактату «Пять трудностей при писании правды».

Так, например, «способность выбирать тех, в чьих руках правда будет действенной» (в обозначении Брехта, еще одна трудность при писании правды)— не просто акт идеологический, сознательная установка «говорить правду тем, для кого эти порядки наисквернейшие», но и открытое восприятие точки зрения угнетенных. Это, употребляя категории современной теории творчества,— *ориентация на читателя уже в самом процессе создания произведения*. Ибо, замечает Брехт, «познание правды — процесс общий и для пишущих и для читающих... Для пишущих важно найти нужный тон правды»...

Точность в выборе адресата искусства, умение достичь близости с ним — вернейший из залогов, чтобы слово обратилось в поступок, чтобы вчерашние книги становились сегодняшними делами...

Этими общеэстетическими взглядами и определялась, конечно, практика Брехта — литературного критика и организатора литературного процесса (в частности, в пору, когда он был одним из соредакторов московского журнала «Дас Ворт» или после войны участвовал в строительстве культуры новой Германии, и т. д.).

Тем более следует упомянуть о таком важном условии контактов Брехта — литературного мыслителя с широкой читательской аудиторией нашей страны, как

издания его теоретического наследия в СССР в переводах на русский язык.

Если статьям и выступлениям Брехта — новатора театра — были отведены две книги в пятитомном Собрании сочинений, вышедшем в первой половине 60-х годов в издательстве «Искусство», то работы писателя по литературе и другим видам искусства (кроме театра) до сих пор были известны советскому читателю лишь в сравнительно небольшой своей части, да к тому же отрывочно и бессистемно.

Объемистый том «Бертольт Брехт. О литературе» (составление, переводы и примечания Е. Кацевой), упоминавшийся выше, во многом устранил этот пробел. Впервые столь широко и полно передает он на русском языке мир эстетических и литературных взглядов писателя, его литературно-критических и художественных оценок, авторские свидетельства о важных чертах «лаборатории» Брехта — поэта, прозаика, драматурга...

Основным арсеналом при формировании сборника явились литературно-теоретические выпуски последнего немецкого двадцатитомника Б. Брехта, а также его интереснейшие «Рабочие дневники», впервые напечатанные на родине писателя лишь в 1974 году.

Таким образом, новый широкий круг первоисточников и документальных материалов Б. Брехта был донесен до советского читателя с учетом последних публикаций и текстологических разысканий на языке оригинала.

Интерес к этому художнику и мыслителю в нашей стране идет вглубь, становится сосредоточенней и основательней, после того как утолен был первый пыл массовых открытий и внимания, которым сопровождалось триумфальное шествие искусства Брехта по театральным сценам и книжным прилавкам в середине 50-х и начале 60-х годов. Одно из подтверждений тому — названный тематический сборник.

К сравнительно небольшому числу переводившихся ранее статей и выступлений писателя и к общей картине литературно-теоретического мира Брехта, воссозданной в работах многих советских исследователей его творчества, прибавился ныне широкий круг новых авторских произведений и текстов.

Фундаментальный том Б. Брехта в серии «Памятники мировой эстетической и критической мысли» явился заметным литературным событием последних лет.

...От событий литературной жизни, свершающихся вокруг нас, вернемся теперь к тем уже подернутым дымкой и все больше уходящим вдаль временам, когда каждая из этих теоретических статей составляла предмет горячей злободневности.

Несправедливым было бы оставить без внимания при этом и скромную роль нашей героини.

Конечно, участие ее в итоговых оформлениях того, что составляло стройную систему этических, эстетических и литературно-теоретических взглядов писателя, было подсобным.

Ведь этические и эстетические принципы, можно сказать,— это сама натура художника, его плоть и кровь. Только выраженные в формулах, сфотографированные словесно.

В этом смысле теоретические жанры не менее интимны, чем поэтическая лирика. А слагать совместно с кем-либо лирику избегал, как мы помним, даже Брехт, при всех его склонностях к коллективному сотрудничеству.

Так что на разработке Брехтом принципов реализма во второй половине 30-х годов участие Маргарет Штеффин едва ли сказалось особенно приметным образом. Однако же то не была и роль безмолвного статиста.

Конечно, она, как и всегда, во многом практически содействовала, обеспечивала, обставляла, помогала, продвигала. Но и не только.

Часто и тут тоже была доверенным читателем, спорщиком, советчиком, «второй стороной» напряженного внутреннего диалога художника. А тем самым и прямым побудителем к дальнейшим теоретическим разработкам.

Разнообразные следы тому имеются в архивных материалах. Недаром среди ее бумаг, обнаруженных в Москве, находится, например, машинописная копия теоретической заметки, которой писатель должен был придавать особое значение. Она озаглавлена «О лозунге «Революционный реализм» и от известного ныне варианта отличается только редакцией названия, которое учитывает широко распространившийся после Первого съезда советских писателей новый термин.

«О лозунге «Социалистический реализм» — так было изменено название.

Это тот самый теоретический набросок, где говорится, что фашистские режимы не ждут для себя ни-

чего хорошего, если писатель начинает допрашивать действительность, что «достаточно произнести «дважды два — четыре», чтобы вызвать недоверие и недовольство правительств в этих странах» и т. д. Вплоть до крылатых слов: «Воодушевленный не перестает видеть действительность, трезвый не утрачивает вдохновения».

Одно из писем М. Штеффин содержит подробный разбор некоторых моментов драматургической теории Брехта.

Да и сам писатель оставил прямые свидетельства о причастности М. Штеффин к ходу своих литературно-теоретических разработок конца 30-х годов.

«Письма о реализме» я как раз тебе посылаю,— откликается он, отвечая, по-видимому, настойчиво подталкивающему его к этим занятиям адресату.— Ты мучительница, дорогая Грета» (28 декабря 1936 г.).

Уже приходилось говорить, что «эстетика правды» в немалой степени была иным преломлением и выражением «этики действий». То есть тех норм поведения, которые писатель утверждал своим творчеством и которые в ряде моментов с особой автобиографической отчетливостью воплотил в пьесе «Жизнь Галилея».

Это были также и те нравственные правила, по которым он строил отношения с окружающим миром, по которым стремился жить. Распространялось это прежде всего, конечно, на среду близких людей, с кем он повседневно общался, с кем работал.

О повседневной этике коллективного сотрудничества, присущей Брехту, Лион Фейхтвангер писал:

«Он много работал коллективно; он находил, что «надо продвигаться широким фронтом». Где бы он ни был, вокруг него собиралось множество последователей, которые безоговорочно верили в него... Брехт отнимал много жизни, он был властен и горд и требовал от своих друзей терпеливого сотрудничества. Но он был лишен всякого высокомерия и бахвальства и щедро воздавал с полнотой сам. Он давал больше, чем требовал. Слово «солидарность» благодаря ему обрело новый смысл».

Безусловно, одним из самых драматических испытаний этой этики, когда-либо выпадавших на долю Брехта, были события последних месяцев перед нападением фашистской Германии на СССР.

МОСКВА—ЗНАКОМАЯ ПРИСТАНЬ

Это было в двадцатых числах мая 1941 года. Ближе к вечеру. Маленькая кочевая группа Брехта наслаждалась покоем в затененных шелковыми шторами номерах интуристовской гостиницы «Метрополь».

По верхнему фронтону поставленного с архитектурным замахом серого здания гостиницы нарядной цветной майоликой была навеки запечатлена надпись первых лет Советской власти: «Только диктатура пролетариата освободит человечество от гнета капитала (В. И. Ленин)».

Внизу простерлась одна из самых старых и красивых площадей Москвы. С многоколонным зданием Большого театра по одну руку и зубчатой белокаменной стеной Китай-города — по другую. В обеих половинах площади, разделенной поточной магистралью, зеленели обсаженные с четырех сторон и уютные в самих себе скверики. Скамейки одного из них еще пустовали, дожидаясь вечерних парочек. На другом пятачке, золотясь на солнце, бил фонтан и в песочницах, под присмотром нянюшек и мам, доигрывали свои игры малыши.

Там где-то резвилась и быстро освоившаяся в Москве десятилетняя дочь Брехта Барбара.

В размеренном уличном потоке советской столицы ничто не напоминало о том, что где-то, неудержимо вовлекая все новые народы, уже почти два года идет война, творится разбой.

Москва, вот с этими древними стенами Китай-города, играющими малышами в притеатральном садике, звездами на башнях Кремля, отказывалась верить в очевидности мировой бойни.

В этом таилась гипнотизирующая мощь. В самом деле, не был ли он, Брехт, попросту пуганой вороной?

Это и немудрено, когда концлагерь и смерть в облике твоих же соотечественников гонятся по пятам. И за два года меняешь четвертую страну. Страх неизвестности рождается даже у детей. Барбара и та ловит взрослые разговоры, стараясь по обрывкам доступных понятий угадать свой завтрашний день.

Это заметили даже встретившие их в Москве Аплетин и сотрудница Иностранной комиссии Герасимова.

После сутолоки Ленинградского вокзала в вестибюле гостиницы «Метрополь» Лидия Ивановна Герасимова, молодая, черноглазая женщина, похожая на недавнюю выпускницу института иностранных языков, попросила паспорта для прописки.

Барбара, успевшая устроиться на кожаном диване, вдруг подобралась и навострилась. В словах «паспорта», «формальности», «прописка» ребенку почудилось недоброе. Это не раз предвещало полицейские приказы о выезде из страны. Как видно, надо было вставать с мягкого дивана и снова куда-то тащиться. Девочка заплакала.

Хозяева переглянулись и мгновенно отреагировали.

Выручил припасенный Аплетиным подарок — детская книжка о челюскинцах на льдине. Барбара принялась рассматривать картинки о мохнатых зимовщиках, кострах и палатках на голубой льдине, о белом медвежонке, тюленьих лежбищах, северном сиянии. И забыла о полициях и войнах...

Да, сегодня, в последней декаде мая, был один из хороших дней. И кто знает, быть может, даже вершинный час пребывания в Москве.

Все свои были рядом. Ободренные тем, что вырвались наконец из Финляндии, довольные приемом в советской столице. И Грета, хотя и температурившая после хлопот и волнений переезда, лежала в соседнем номере. Думали, что это простуда. И все еще образуется.

Вольготно было стоять в одиночестве у распахнутого окна своего «люкса». Теплый майский ветерок, залетая в комнату, колыхал шелковые шторы. Давно уже не знакомое чувство безопасности и покоя рождалось оттого, что, беззаботно покуривая, созерцаешь сверху самый центр Москвы, ощущая и вбирая в себя уверенный ритм столицы могучего государства. Единственно-

го в мире государства, с которым, что ни говори, тебя связывает главное — единство веры и общность судьбы.

Где-то внизу сейчас под зданием гостиницы, вот под этой площадью с играющими детишками, под Большим театром, в тоннелях, избороздивших фундамент города, в это мгновение мчатся поезда московского метро. Кажется, можно ощутить вибрацию и шум пролетающих составов. Но ничего нет. Не слышно.

Там, под зримой уличной явью, своя жизнь. Метрополитен, подземный город, нарядные станции, полированные мраморные полы, расписные мозаичные потолки и полный воздуха величавый простор, ставший бытом для миллионов обитателей бывшей лапотной России. Светлые подземные дворцы, где все равны и где никто не бросит окурка на пол.

Это метро несколько лет назад, в день своего открытия, доставило ему подлинную радость. Вместе с Сергеем Третьяковым, наголо бритым трогательным сорокалетним верзилой, в проволочных очках, похожим одновременно и на школьного учителя и на ребенка, они устроили тогда часы ликования. Заражая восторженным настроением друг друга, катались, как мальчишки, меняя поезда и направления. Выходили на каждой станции. Расспрашивали строителей, инженеров, случайных встречных. Третьяков, попеременно наклоняясь к собеседникам, с высоты своего роста переводил. Детские глаза поэта простодушно сияли, как будто ему подарили долгожданную игрушку...

Тут Брехт замечает, что стоять у окна уже не так покойно, блаженство предвечернего созерцания нарушено болезненным воспоминанием. Вновь возникает давнее гложущее недоумение: как же так получилось с Третьяковым? «Японский шпион»?! Он-то, этот поэт, этот школьный учитель?! Какая мрачная нелепость! Ошибка? Конечно!

Но если бы с ним одним, а то со многими. Это всего тревожней. Вот только те, кого Брехт знает лично: в ком из них он мог бы усомниться? Это люди, конечно, разных масштабов, но, как на подбор, работники революции. В чем другом, а тут безупречные. И вдруг...

В газетах шумно заклеймен как предатель и шпион Михаил Кольцов, расстрелян Бела Кун, единственный политический деятель, который принимал Брехта в СССР. Арестована ставшая театроведом похожая на розовогубую мулатку латышка Ася Лацис. Как в воду

канула немецкая актриса Карола Неер, которая по поручению своего мужа якобы поддерживала связи с зарубежной троцкистской агентурой. Лишился своего театра, а затем разделил общую участь режиссер Мейерхольд...

Грета давно уже не получает ответов на свои письма от знакомых на Кавказе и в Ленинграде.

Какая-то летучая хворь, умопомрачение, шквал трагических недоразумений! Только вот — недоразумений ли? Не искривление ли в курсе государственного корабля? Народы ведь тоже могут ошибаться, как написал он в стихотворении «Непогрешим ли народ?».

Настораживает и другое. Пакт о ненападении Советского Союза с Германией в нынешней международной обстановке можно понять. Но государственный нейтралитет не означает идейного замирения с фашизмом. А почему прекращен журнал «Дас Ворт»? Да полиняли и другие раньше боевые печатные органы. В Москве нет больше ни антифашистского клуба имени Тельмана, ни немецкой школы имени Либкнехта. Почему?

Когда он спрашивает об этом знакомых-москвичей, те отвечают уклончиво, прячут глаза. Вообще люди избегают разговоров на острые темы. Нет прежней откровенности, былой распахнутости души, как тогда... Весной 1935 года, при открытии московского метро.

Тогда все жили одним чувством, одной радостью. Она светилась в глазах и у хозяев-строителей, и у подвижного разноликого населения этого подземного города-храма. На его мраморных улицах они с Третьяковым будто заново пережили детство.

Прогуливались по станциям, наслаждаясь потоками приглушенного света, исходившего из скрытых светильников. Поднимались и съезжали вниз на лестницах-эскалаторах. Опять осматривали, любовались, трогали, ощущая под рукой ребристую поверхность мраморных и гранитных колонн, округлые контуры поставленных в ниши бронзовых скульптур красноармейцев и шахтеров. Вбегали в вагон. Ждали, когда с шумом захлопнутся пневматические двери, ощущали толчок, радостно отдаваясь стремительному ускорению набирающего ход поезда.

Он написал тогда об этом большое стихотворение, которое с присущей ему прямотой назвал — «Москов-

ский рабочий класс принимает великий Метрополитен 27 апреля 1935 года».

Там были полные молодого задора строки:

...Восемьдесят тысяч рабочих
Строили это метро, многие после рабочего дня,
Ночи напролет...
Москвичи видели, как юноши и девушки,
Смеясь, вылезали из штолен, гордо являя миру
Покрытые глиной, пропитанные потом
Рабочие куртки.
Все трудности —
Подземные реки, давление высоких домов,
Плывуны,— все это они победили. Они не жалели сил...
...И это чудесное сооружение
Увидело то, чего не видал вовеки
Ни один из его предшественников во всех городах мира:
Владельцев, которые были сами строителями.
Где же это видано было на свете, чтобы плоды труда
Достались тем, кто трудился? Где доселе бывало, чтобы рабочих
Не выгоняли из зданий,
Ими сооруженных?
Увидев, как они едут в вагонах,
Созданных их руками, мы поняли:
Вот это и есть то великое зрелище, которое некогда наши учители
Прозревали в дали времен.

Он не был большим любителем экскурсий, а пожить в СССР подольше, как бы того хотелось, все не хватало времени. Надо было возвращаться назад. Призывал четкий рабочий распорядок, рутина принятых на себя обязательств, которая все заставляет откладывать на потом и не дает осуществиться многим лучшим намерениям...

Да, не так часто удавалось ему бывать в этой стране, как бы того хотелось. Но для всей его жизни, для исходных толчков чувства и мысли за письменным столом, для ощущения главных опор бытия и преемственности бегущих дней ему необходимо было знать, что эта страна существует.

Это почти так же, как с матерью. Бродя по свету, в дальних краях, мы не всегда вспоминаем о ней, голова занята собственной суетой. Мы не часто проведываем ее, редко пишем. Не всегда даем себе труд задуматься, как она сейчас, что с нею, может быть, постарела, захворала, страдает от одиночества. Все это нам невдомек. Но попробуй случиться что-нибудь непоправимое — ого, как заболит сердце. Как изменятся сразу все жизненные измерения и чувства. Мать в нас

самих, в каждой клеточке существа. Каждый — только частица своей матери.

Нет, никогда он не относил себя к безмысленным чадам, которые целиком вверяются родительской воле. Да и зрелый ум не дает ослеплять себя идеализациям, подмечая в знакомых чертах далеко не только одни возвышенные побуждения и помыслы. Все это так. Но от этого не теряется главное чувство — глубокой духовной связи с этой страной. Восхищения перед ее нечеловеческим упорством, фанатической верой, перед заветным желанием разом выпрыгнуть из вековой отсталости. Сделать одинаково счастливыми и равными уже сегодня или завтра почти двести миллионов разноплеменных и разноязыких людей.

Великий эксперимент России, начатый в 1917 году, «дал миру надежду» (так писал он в другом стихотворении, «Великий Октябрь»), породил во всех странах неисчислимых приверженцев. И одним из таких духовных сыновей Октября был и остается он, Бертольт Брехт.

Вот почему ему всегда было важно в любых формах и видах, любыми средствами поддерживать связи с этой страной...

К этим или подобным раздумьям Брехта, где преобладали тона то счастливо миновавшей опасности, то скрытой тревоги, в первые дни пребывания в Москве неизбежно должны были примешиваться свежие воспоминания о только что пережитых тяготах. Не будь их, подобный вечер настал бы значительно раньше.

Но даже трудно сказать, что отняло больше сил на пути сюда — преграды, создаваемые в недрах изобретательных дипломатических канцелярий, или собственная неуступчивость и вызванные ею нравственные испытания. Напряжения из-за незримой, изо дня в день, верности самому себе, обыденной стойкости в принципах труда и человеческих отношений, вопреки мятежу обстоятельств, несмотря ни на что. Во всяком случае последнее стоило не меньше!

В дневнике Брехт так описывает драматическую ситуацию, сложившуюся в Хельсинки с зимы 1940/41 года:

«В декабре 40 года нас уведомили из Стокгольма, что для меня, Хелли и детей выданы мексиканские

въездные визы. Грета визы не получила. Телеграммы и прошения не имели последствий. Из США сообщили нам, что мы должны ехать, так как новое мексиканское правительство в любой день может аннулировать визы... Положение в Финляндии быстро становилось угрожающим... В стране множились немецкие моторизованные дивизии, Хельсинки были наводнены немецкими «туристами», напряжение между Германией и СССР возрастало...» (13.7.41).

А вот декабрьская запись, сделанная в тот самый момент, когда для другого на его месте, возможно, обозначилось бы начало размежевания судеб:

«У Греты высокая температура; так как в последнее время она много потеряла в весе, это вызывает озабоченность. Операция аппендицита весной могла активизировать туберкулез... Для нас прибыли визы из Мексики, которые ее не включают» (4.12.40).

Какой был выбор? Мексиканские визы, более досягаемые для немецких антифашистов, чем визы США,— экстренное средство выбраться из прифронтовой зоны — и без того потребовали немалых хлопот. Заполучить визы в США было куда сложнее. Но если уж иммиграционные власти заштатной Мексики чинили препятствия туберкулезнице, то пройти врачебный контроль на постоянный въезд в США, при тысяче и одной препоне, у М. Штеффин не было никаких шансов. Что оставалось делать?

Не надо обладать большим воображением, чтобы представить всю немую давящую опасность момента. Сколько продлится нынешнее состояние Греты? Сможет ли она вообще выдержать заокеанское путешествие? Неизвестно. Удастся ли в конце концов выпросить у мексиканцев въезд для нее? Или новое правительство Мексики с учетом международной ситуации начнет отбирать у европейских беженцев и выданные уже визы? Тогда все одинаково и равно очутятся у разбитого корыта! Начать ли все-таки хлопотать об американских визах? Но сколько еще продержится на весу мнимая безопасность в Финляндии, состояние, будто находишься на медленно погружающемся ко дну судне. Неделю, месяц, три? Во все пробоины и течи здешнего корабля устремляется зримая опасность — прибывают и прибывают в Хельсинки свои же соотечественники, с эсэсовской и вермахтовской формой в чемоданах и ранцах.

Он был официально лишен немецкого гражданства,

а книги его под гиканье и клики остервенелых юнцов брошены рукой палача в общее пожарище. В списке «сжигаемых» он значился, кажется, под номером десять. Среди изгнанных литераторов он был, таким образом, врагом рейха и политическим преступником первой десятки. Хелли, Елена Вайгель, была актрисой такой же политической репутации, к тому же еврейкой... Нет, подозрительные субъекты, как видно, неспроста возникали иногда и вились под окнами их дома.

На милость земляков не приходилось рассчитывать. В Финляндии не произойдет даже того, что случилось во Франции в 1940 году с Лионом Фейхтвангером или Эрнстом Бушем. Здесь не будет неоккупированной территории и лагерей для интернированных лиц, откуда все-таки остается кое-какая надежда вырваться. (Выбрался же в конце концов Фейхтвангер!) Здесь разговор будет короткий! Когда они ворвутся только: средь бела дня? под утро? в полночь?.. И что ожидает всю семью? Рассылка по разным концлагерям, со скорым, быть может, возвращением в оцинкованных гробах, с обязательным приложением денежных счетов, на руки брату-профессору, в отчие края... Или фарс суда за государственную измену, долгие годы каторжной тюрьмы... Или добровольный уход, когда сам пожелаешь добить измученное тело... * Одно хуже другого.

Всего этого можно избежать, если немедля воспользоваться мексиканскими визами. Но как быть с Гретой?

Опасность напоминала о себе даже намеренной волокитой четких обычно финских канцелярий.

«...Вы поймете, конечно,— писал Брехт 20 ноября 1940 года М. Я. Аплетину, принимавшему участие в его выездных хлопотах,— как мы ждем Вашего ответа и как много для нас от этого зависит. Я не могу здесь больше оставаться. На наши прошения о пребывании здесь мы давно уже не получаем ответа... И я чувствую себя все неувереннее».

Не было недостатка в советах друзей, призывавших (кого? Брехта!) внять голосу рассудка и благоразумия.

---

* После оккупации Франции такая участь в разное время постигла некоторых близких друзей Брехта. Эрнст Буш, выданный вишистскими властями гестапо, был осужден в Берлине к семи годам каторги. Литературный критик Вальтер Беньямин, задержанный при переходе испанской границы, отравился.

Вот одно из таких писем, копия которого подшита в той же папке, что и письмо к Аплетину. Оно датировано 13 января 1941 года, пришло из США и подписано по-английски: «Ваш Уэтчик». Подпись явно шутливая, означающая английский перевод фамилии Фейхтвангера (по-русски аналогичная перелицовка была бы что-нибудь вроде: «Мокрощеков»). За принадлежность письма Лиону Фейхтвангеру говорит и упоминание о возможности воспользоваться московским текущим счетом автора (что Брехт, как увидим, затем и сделал).

Впрочем, в данном случае автор письма обращался от лица всех американских друзей:

«Дорогой Брехт,
мы здесь, целая маленькая армия, стараемся помочь Вам.

Давайте подведем итог, как обстоит дело на сегодняшний день. Мексиканские визы у Вас есть, мексиканская виза для Греты Штеффин только вопрос времени...

Американская въездная виза также вполне достижима для Вас, но я, в самом деле, абсолютно не вижу никакого смысла в том, что Вы продолжаете сидеть и выжидать ее в Финляндии. Вы определенно получите ее много легче, если сперва уж будете в Мексике, чем в Гельсингфорсе.

Остается вопрос о средствах на дорогу. Деньги на проезд от Владивостока до Сан-Франциско или в Мексику — будут обеспечены; вопрос только в том, как Вы доберетесь до Владивостока. Сможете ли Вы для этого использовать Ваш или мой московский текущий счет, это Вам удобней выяснить из Гельсингфорса, чем нам отсюда. Судя по тому, что мне говорят тут, это вполне возможно.

Мы все вздохнули бы с облегчением, когда узнали бы, что Вы уже отбыли из Финляндии и находитесь на пароходе, которым можете добраться досюда. Пожалуйста, не медлите. Если вы сперва будете в Мексике, Вам будет почти так же хорошо, как здесь...»

12 марта 1941 года «Уэтчик» — Л. Фейхтвангер направляет Брехту очередное письмо, копия которого (опять-таки, по-видимому, в качестве формального основания, открывающего счет автора в Гослитиздате) подшита в той же папке. Он пишет снова об общих хлопотах здешних друзей и мерах по вызволению Брехта из угрожаемой зоны. Кончается письмо словами:

«Мои дела идут неплохо. Главное мое беспокойство и забота — это Вы».

Что же делает в этой ситуации Брехт?

Продолжим прерванную дневниковую запись:

«Итак, я хлопотал об американских визах, а для Греты — о гостевой визе, так как она не смогла бы преодолеть медицинский осмотр для получения въездной визы... Наши американские въездные визы мы получили 2 мая 1941 года, и финские друзья все сильнее настаивали на нашем отъезде... Наконец, 12 мая под видом секретарши Хеллы (финской писательницы Хеллы Вуолийоки.— *Ю. О.*) Грета получила американскую гостевую визу. Мы выехали 13-го и были 15-го в Ленинграде...»

Итак, возможная эвакуация из Финляндии, если вести счет с 4 декабря 1940 года, затянулась более чем на пять месяцев! И даже в первую половину мая 1941 года, когда предгрозовая атмосфера сгустилась до предела и метроном радио и прессы отмерял только сроки новой катастрофы — нападения Германии на СССР, уже после получения, наконец, и долгожданных виз,— что делает Брехт? Он откладывает отъезд еще на десять дней! И лишь когда писательница Хелла Вуолийоки (через два года, в 43-м, за просоветские взгляды и поступки ее осудят к пожизненному тюремному заключению), используя свое финское гражданство, окольными путями, изобретая для Греты якобы деловой визит в США в роли своей представительницы, добивается для нее гостевой визы — только тогда все закручивается с молниеносной быстротой. 12-го получена гостевая виза — 13-го они выезжают!..

Таков был счет дружбы, по которому платил Брехт.

Всей жизнью и творчеством Брехт утверждал высокую прозорливость рассудка. Можно сказать, что разум был глазами его души. Вот почему он так ценил здравый смысл и умел этим едким реактивом испытывать и отделять истину от фальши.

Опрометчивое безрассудство он считал непозволительной роскошью и в своей частной жизни. Известно немало примеров, когда он проявлял жесткую расчетливость или подчеркнуто уклонялся от риска. Он даже бравировал этой своей библейской осмотрительностью, намеренной непригодностью на роль героя и мученика.

Но где же был этот хваленый здравый смысл теперь?

Можно представить, какие укоры вычитывал он для себя в лицах близких, пусть даже согласных с его решением, какую ответственность за их судьбы на себя брал... А разве нельзя было как-нибудь устроить все, укрыть и спрятать где-нибудь не такую уж приметную Грету, а самим, пока не поздно, воспользоваться мексиканским гостеприимством? Но нет, он уперся: безнадежно больной товарищ значил больше всех доводов рассудка!

Выходит, не зря когда-то говорил он Грете, что его любимый герой — Дон-Кихот!

В пору испытаний остается главное, что объединяет людей, прочее тускнеет и стирается, как внешняя позолота. К зиме 1940/41 года Грета была уже изболевшееся, ссохшееся тело, в котором неизвестно какими скрепами держался неукротимый дух. Часто она становилась беспомощна, как ребенок. И Брехт со сноровкой санитара первой мировой войны трогательно с ней возился — выводил на прогулки, радовался, когда в полуголодной Финляндии удавалось раздобыть для нее апельсин. По той же закалке санитара он был небрезглив и не боялся заразиться туберкулезом.

В наступавшие полосы улучшения они тотчас принимались за работу. И подопечная становилась наставницей, а сиделка обращался в поэта, или драматурга, или прозаика, смотря по обстоятельствам. И оба вырастали в литературных борцов. Они были товарищами в высоком смысле слова.

Единство убеждений, идеалов, пристрастий, вкусов, одним словом, духовное созвучие, в котором тон задавал то один, то другой, а образцом нравственного подвижничества нередко бывала Грета,— вот что обеспечивало взаимную притягательность и вековечность этих отношений. Когда давно уже потускнели первые очарования, все встало на свое место, ушла молодость и растрачены были даже остатки здоровья.

Брехт ценил фанатическую преданность своего солдата, но сама эта преданность была для него источником уверенности и повседневной духовной опорой.

Вот почему на болезнь Греты он смотрел как на рану, полученную в борьбе. Эту мысль, как помним, он высказывает в письме к фрау Иоганне Штеффин — матери Греты: «...ее болезнь была обусловлена политическими обстоятельствами... Она со своим спокойным понятливым характером так храбро и бескорыстно по-

жертвовала собой, как будто участвовала в уличных боях».

Эта характеристика отнюдь не была напыщенной фразой или случайным средством утешения (как, впрочем, вообще немного случайного бывало у этого человека!). Скорее можно сказать другое — в кратких словах он стремился выразить главное из того, чему был ближайшим свидетелем в течение почти десяти лет. Это была выстраданная формула, которая невольно оттачивалась с годами.

Своего рода история этой убежденности просматривается даже в поэтических произведениях Брехта.

Среди стихов, созданных в Дании, есть триптих под общим названием «Обращение». Прототип главного героя * проступает в нем столь же прозрачно, как и в некоторых стихах цикла «Песни солдата революции».

Идею триптиха можно почувствовать уже по первой его части, названной «Обращение к больному коммунисту»: «Мы слышали, что ты заболел туберкулезом. Мы призываем тебя: усматривай в этом не отметину рока, а выпад угнетателей, которые тебя, скверно одетого, в сырой лачуге, обрекали на голод. От этого ты заболел...» Туберкулез и угнетатели, утверждает поэт,— союзники, а победа над ними одинаково будет «победой человечности над подонками».

Эта мысль углубляется и конкретизируется во второй части триптиха, названной «Ответ больного коммуниста своим товарищам», а также в третьей части — «Обращении к врачам и больничному персоналу».

Заболевший ясно видит виновников своего увечья, знает, что несправедливости, загнавшие его на больничную койку, не кончаются и здесь — они и в порядках медицинского обслуживания, и в обманной деятельности больничных касс, и т. д. Угнетение преследует простого человека до гробовой доски! Поэтому больной коммунист не хочет отделять усилий по своему исцелению от борьбы товарищей. Нет, он не замкнется

* В литературоведческой книге «Брехт. Комментарий к лирике», изданной в ФРГ, исследователь Эдгар Марш пишет: «Стихи под общим названием «Обращение»... характерны следующим: они примыкают к «Песням солдата революции» (1937) и, вероятно, возникли вместе с ними. Лицо, о котором идет речь, судя по всему, Маргарет Штеффин, сотрудница Брехта, которая, будучи тяжело больной, умерла в Москве...» („Brecht. Kommentar zum lyrischen Werk" von Edgar Marsch, Winker-Verlag, München, 1974, S 269).

в собственной скорлупе, как улитка, он останется в строю даже на больничной койке и клянется продолжать борьбу, пока не угаснет мысль, пока движется рука, до последнего вздоха... Пусть товарищи во всем, как прежде, рассчитывают на него!

Если бы даже и не было подтверждающих литературоведческих комментариев — и так ясно: с кого писался портрет, кто вел себя точно так в течение многих лет на глазах Брехта...

Духовную стойкость соратницы, превозмогшей тяжкий физический недуг, ее скромное подвижничество в обстоятельствах, когда под ногами колеблется земля, затейливо воспевает двадцать первый сонет.

В этом стихотворении снова возникают знакомые персонажи — сторожевые слоники...

Уже говорилось, что Брехт на свой лад переосмысливал традиционную символику «каминных» слоников. Так было не только в творчестве, но и в жизни. Он был поэтом, к тому же саркастического склада, и умел населять жизнь фантазиями, химерами, веселыми небылицами, придуманными персонажами, изобретенными заповедями и другими атрибутами вымышленного мира, которые для него самого и близкого окружения часто существовали почти как реальные. Стражи-слоники — явления того же порядка, как «Биди», «Мук», «неприметный пароль», «не говори по-китайски» и т. д.

Мир вымышленных представлений у Брехта вырастал как бы на продолжении реальности, входил, вплетался в нее, помогал в ней лучше устроиться, прочнее и радостней жить. В фантастической форме он ёмко вбирал и впитывал действительные черты и признаки. Наверное, поэтому он так легко становился взаправдашним в глазах окружающих.

У Брехта есть шутливый рассказик-притча «Любимое животное» (из цикла «Рассказы о господине Койнере»). Там как бы воедино собраны черты, которыми он причудливо наделял слоновьи фигурки-талисманы из дерева и кости и которые щедро раздавал персонажам — слоникам в своих сонетах:

«...Слон соединяет в себе хитрость и силу. Это не та жалкая хитрость, достаточная лишь для того, чтобы избежать преследования или украдкой раздобыть какую-нибудь пищу. Нет, это хитрость, которая опирается на силу, необходимую для большого дела. Слон прокладывает большой след. Однако он добродушен и по-

нимает шутку. Он добрый друг и достойный враг. Он велик и грузен, но очень подвижен. Тело его огромно, а хобот способен поднимать самые мелкие съедобные предметы, например, орехи. У него удачно устроены уши, он слышит только то, что хочет. Он живет до глубокой старости. Он очень общителен, и не только по отношению к слонам. Везде его любят и боятся. В его облике есть что-то забавное, что привлекает к нему сердца. У него грубая кожа, о которую ломаются ножи, но зато нежная душа. Он может быть грустным, может быть гневным. Он охотно танцует. Умирать он уходит в чащу. Он любит детей и других мелких зверушек. Он весь серый и бросается в глаза только своей массивностью. Он не съедобен. Он умеет хорошо трудиться. Он любит выпить и тогда становится веселым. Кое-что он делает и для искусства — поставляет слоновую кость».

Как это бывает у Брехта, сквозь характеристику вроде бы сторонней натуры, описание животного, слона, неожиданно вдруг проглядывает психологический портрет человека, пожалуй, даже идеального человека! Кого бы хотел видеть таким автор? Собратьев по искусству? Самого себя? Во всяком случае, как будто бы озорная слоновья символика у Брехта несет в себе немалое и разнообразное содержание...

Если слоники из девятнадцатого сонета — разъяренные мстители, фурии, карающие за малейшее попрание ритуалов верности, то слоники из двадцать первого сонета — это величественная свита, почетный караул, сопровождающий триумфальный выход своей повелительницы.

Парадное шествие устроено по важному случаю — героиня только что одержала победу в поединке со смертельным недугом. Пусть все теперь видят это: ведь человеческий дух преодолел не только немощи тела, он остался верен себе и в исполнении высоких обязательств перед другими. Пусть же трубит почетная стража, выражая уважение своей храброй повелительнице! А «самое маленькое и беленькое из животных», как сказано в оригинале (не поэтический ли двойник «маленького (совсем маленького)» ньюйоркца из слоновой кости, который, судя по письму Брехта, был раздобыт в конце 1935 года?), этот слоненок пусть знаками уважения благодарит героиню за то, что та спасла нам «человека и борца».

Вот сам сонет:

Моллюска в руки взял. Едва его отведал,
Вдруг ночью страх меня, как обруч, охватил:
Как борешься, когда в тебе так мало сил?
Тотчас решил послать мечту тебе по следу.

Вот та мечта: ты выйдешь на простор,
Тебя окружат наши стражи,
Трубя, почтенье каждый слон окажет,
За то, что билась ты, ведя со смертью спор.

Благословен будь тот, кто груз свой до конца
Несет, когда земля колеблется и стонет!
Победа из побед на грозном небосклоне!

Пускай благодарит малютка — белый слоник
За то, что ты умом, что мужества достоин,
Спасла нам человека и борца.

(Перевод Н. Лиховой)

Наконец, есть стихотворение, в котором развернуто сформулирован брехтовский кодекс духовного соратничества, того высшего выражения этики солидарности, о какой говорил Фейхтвангер. Стихотворение написано в 1939 году, выдержку тоже стоит привести здесь:

И вот война, и путь наш все труднее,
И ты идешь со мной одной дорогой,
Широкой, узкой, в гору и пологой,
И тот ведет, кто в этот час сильнее.
Гонимы оба и к одной стремимся цели.
Так знай, что эта цель в самом пути.
И если силы у другого ослабели,
И спутник даст ему упасть, спеша дойти,
Она навек исчезнет без возврата...

(Перевод А. Исаевой)

С обобщающей проницательностью искусства здесь предречено уже и напророчено все, что целиком относится к разыгравшейся вскоре истории. И Брехт поступил так, как чувствовал, как мыслил, как писал.

Иначе поступить он не мог!

Вернемся, однако, к двадцатым числам мая, к первым дням пребывания в Москве.

Вероятно, тихих вечерних часов больше не выдавалось. Много было суматохи, возбуждения, визитов и встреч.

Почти сразу после приезда их навестил Бернгард Райх. Переселенческая компания ожидала его, собравшись в одном из апартаментов. В своей книге Б. Райх так описывает увиденное: «В назначенный час я постучался в номер гостиницы «Метрополь». Типичный «люкс» — высокая, вместительная, помпезная комната. Повсюду разбросаны какие-то сундуки, узлы, чемоданы разных размеров и фасонов. В качалке спокойно покачивается мальчик с серьезным взглядом. Это Штефф — сын Брехта. В углу уютно устроилась маленькая дочь Барбара. Хелли в этот момент что-то вынула из чемоданчика и накрыла какой-то скатертью стол. У окна я увидел Маргарет Штеффин, смотревшую в упор своими лихорадочно блестевшими глазами. Брехт сидел у стола и дымил...» («Вена — Берлин — Москва — Берлин», с. 315—316).

23 мая Брехта видели в московском клубе писателей на творческом вечере, посвященном пятидесятилетию Иоганнеса Бехера. Он скромно отсидел в зале, где собралась почти вся здешняя немецкая эмиграция. Не произносил публичных приветствий, а только подошел к Бехеру и пожал ему руку.

1 июня 1941 года в «Литературной газете» была помещена информация об этом литературном событии:

«Творческий вечер Иоганнеса Р. Бехера открыл в Московском клубе писателей К. Федин...

Затем слово для доклада взяла Т. Мотылева. Отказавшись от традиционного обзора всего творчества поэта, Т. Мотылева остановилась на отдельных, наиболее характерных особенностях поэзии Бехера.

О кровной связи Бехера с народом говорил Н. Асеев... С теплыми приветственными речами выступили также Г. Лукач и Т. Пливье.

Весьма интересным было выступление самого Р. Бехера, читавшего свои стихи о Ленине и Сталине...»

В другой день Брехту показывали Всесоюзную сельскохозяйственную выставку, со знаменитой скульптурой колхозницы и рабочего из нержавеющей стали...

Среди мемуарных свидетельств, которые дают дополнительное представление о тогдашних московских днях Б. Брехта, пожалуй, наиболее детальные принадлежат Гуго Гупперту.

Г. Гупперт — австрийский писатель-антифашист, с конца 20-х годов, почти три десятилетия, жил в СССР. Весьма плодовитый поэт, очеркист, прозаик, эссеист,

он в то же время в качестве переводчика художественной литературы немало сделал для взаимного сближения советской и германоязычных культур. Его перу принадлежат стихотворное переложение на немецкий язык национального грузинского эпоса «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели, переводы произведений Н. Тихонова, К. Симонова и других авторов. Но особенную известность принесли ему переводы поэзии Маяковского.

О многом из этого Г. Гупперт уже в наши дни вспоминает в неоконченной автобиографической трилогии, опубликованной в ГДР. (См. Hugo Huppert. «Wanduhr mit Vordergrund. Stationen eines Lebens», Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale), 1977.)

Из третьего тома мемуаров — «Шах двойнику» («Schach dem Doppelgänger») известны отрывки.

Некоторые страницы как раз переносят нас к событиям в Москве в мае — июне 1941 года.

С половины 30-х годов и в течение ряда лет Г. Гупперт вел отдел культуры в газете «Дойче Центральцайтунг», был заместителем редактора немецкого издания журнала «Интернационале литератур». Любитель Уитмена, Верхарна, горячий энтузиаст поэзии Маяковского, он был склонен к эксперименту и поиску новых путей и в собственном стихотворном творчестве. А все это, вместе взятое, определяло так или иначе и сами места возможных встреч, и нередкое совпадение эстетических позиций с «брехтовским полпредом» да и с самим писателем, когда он приезжал в Москву. Впрочем, были и другие основания для сближения. Разносторонне одаренный, подвижный, быстрый, переимчивый, 39-летний Гуго Гупперт имел широкие связи в немецкой эмигрантской среде.

К моменту, когда происходят описываемые события, в напряженной обстановке крутых общественных поворотов и зигзагов личных судеб, автор мемуаров состоял доцентом в одном из московских институтов.

«Брехт,— вспоминает Г. Гупперт,— участвовал в торжестве по случаю 50-летия со дня рождения Иоганнеса Р. Бехера в писательском клубе * (где я единственный раз в жизни наблюдал друг подле друга, за одним праздничным столом, мюнхенца Бехера и маг-

* Ныне ЦДЛ — Центральный Дом литераторов им. А. А. Фадеева.

дебуржца Вайнерта с аугсбуржцем Брехтом — в том роскошно облицованном деревянными панелями зале, который когда-то прежде, в начале века, по легендарным слухам, служил местом заседаний большой московской масонской ложи). Все-таки то было многозначительное совместное пребывание трех столь непохожих соратников и немецких поэтов, чисто случайно возникшая встреча, некий календарный азарт. Удачно вышло, что Брехт как раз находился в настроении, склонном к контактам.

В нашей литературной эмигрантской группе существовало тогда к Брехту весьма различное отношение. Как известно, Георг Лукач вместе с Андором Габором и Юлиусом Гаем по теоретической проблематике «описывать или изображать» решительно выступали против Брехта... Брехт в своих частных отповедях не церемонился, он едко называл Лукача «старым викарием», характеризовал Габора как «отыгрывающую машину викария» и говорил в одном из писем (думаю, к Бехеру) о «драматургическом насморке» Гая — все это были формулы, которые тогда имели у нас хождение, многократно вызывали усмешки и часто устно цитировались с согласием или нейтрально.

Поэтому транзитный гость Берт Брехт не был склонен к всеохватным братаниям. Со мной он совершал поездки вдоль и поперек по Москве, просто так, без цели, зажатый внутренним нервным беспокойством. К редким достопримечательностям не проявлял особого интереса: «Я здесь не турист, не был им никогда и без того знаю этот город, а утомлен достаточно, как всякий беженец». В другой комнате отеля «Метрополь» (и это было фатальное бремя и путы всей этой несчастливой поездки) вповалку лежала Грета Штеффин, страдающая, сжигаемая лихорадкой...

Как-то, в первой половине дня, Брехт предложил мне совершить пешую прогулку по центру Москвы, «просто чтобы перейти на другие мысли», как он выразился. Не спеша, толкуя о политике, прошагали мы почти до Манежной площади, потом поднялись вверх по протяженной улице Горького до бульварного кольца...

У начала Тверского бульвара, неподалеку от места прежнего расположения памятника Пушкину, мы зашли в зал старейшей московской кинохроники». Это было время советско-германского пакта о ненападении.

Демонстрировалось немецкое хроникальное обозрение. Война с Францией. Жалкие толпы оборванных и заросших бородами французских пленных. Их конвоируют бравые немецкие ребята. Ряды заводских токарных станков в Германии. За ними радостно улыбающиеся и весело вертящие, будто кульки в магазине, корпуса для снарядов и бомб немецкие женщины...

Брехт просидел весь сеанс понурив голову, молча. «Когда мы вышли, — заканчивает мемуарист,— то по поспешности, с которой он возвращался домой, я догадался, что среди гнетущих опасений он безмолвно страдал за свою годами испытанную, верную помощницу Маргарет Штеффин...»

Вот среди таких каждодневных переживаний, хлопот, тягот, приемов, визитов и вынужденных экскурсий и состоялся у Брехта памятный разговор в Союзе писателей. Это было своего рода объяснение с Аплетиным, на которое обычно сдержанный и замкнутый Брехт, может быть, даже рассчитанно решился незадолго до отъезда из Советского Союза.

Он устранял всякие неясности из своей позиции: почему переезжает в Соединенные Штаты, а не остается в СССР.

В общей форме причины, конечно, и без того были известны Аплетину. Знал он и прочность этого намерения: недаром же Брехт полгода добивался американских виз... Но слишком многое принималось в расчет при определении такого решения, чтобы избежать разговора...

Предстоит воссоздать важную смысловую сцену, где многое зависело от международной, политической, литературной ситуации тех месяцев...

Чтобы ближе перенестись в реальные обстоятельства, в которых принимал решения Брехт, приведу обобщающую характеристику исследователя, выступающего одновременно и в качестве мемуариста.

«Часто спрашивают, почему он не остался в Советском Союзе,— пишет Кэте Рюлике-Вайлер, работавшая с Брехтом в последние годы его жизни.— Ответ так же сложен, как и тогдашняя ситуация: Брехт в течение ряда лет отклонял предложение перебраться в Соединенные Штаты, так как из Скандинавии, поблизости от Германии, имел связь с эмигрировавшими писателями во многих странах Европы. Он ис-

пользовал свою визу, когда вынужден был бежать от гитлеровской армии, а широкий круг прежних сотрудников и друзей в США — Гауптман и Фейхтвангер, Эйслер, Вайль, Кортнер, Гомолка, братья Герцфельде, Пискатор, Бертольд Фиртель и другие, казалось, снова гарантировал ему коллективную работу.

Советский Союз имел в это время с Германией пакт о ненападении»...

Кроме того, Рюлике-Вайлер указывает другие личные и литературные причины, которые определили выбор Брехта:

«Теоретические позиции немецких писателей-эмигрантов — под руководством Георга Лукача — в существенных пунктах не отвечали его собственным. К тому же получалось так, что... Брехт (в СССР.— *Ю. О.*) был недостаточно известен. Луначарский, который мог бы ему помочь, давно умер, но и Третьякова и Бела Куна, которые прежде отстаивали его работы, больше не было в живых» *.

Не устраивала Брехта и административная команда, которая со второй половины 30-х годов становилась стилем руководства художественной культурой, литературой и искусством. Брехт же, как он однажды выразился, «привык сам определять, сколько сахара класть в кофе».

Причин, как видим, много, самых разнообразных — личных, общественных, международных, политических, литературных. Не все они даже при обоюдном желании могли открыто обсуждаться Аплетиным и Брехтом в то время. И однако состоявшийся разговор был настолько откровенным и раскованным, насколько мог быть с человеком, которому симпатизировал Брехт.

Происходило это в скромном рабочем кабинете Аплетина на Кузнецком мосту, где располагалась тогда Иностранная комиссия.

Теперь уже неизвестно, кто начал разговор. У Аплетина был свой интерес к этой деликатной теме. Сверху с самого начала было рекомендовано: целиком положиться на желание писателя, ни на чем не настаивать. При общей сложной политической ситуации не брать на себя невыполнимых обязательств, вы-

* Käthe Rülicke-Weiler. „Brecht in der UdSSR", „Neue Deutsche Literatur", 1968, № 2, S. 17—18.

яснять намерения и планы. Друзья нужны СССР и в Америке *.

— ...Существующие особые отношения с Германией, будь я в Москве, сами понимаете, связали бы мне руки,— сказал Брехт.— О чем же я буду писать?

Он намекал на заключенный в августе 1939 года пакт о ненападении с Германией.

— Да... Но жизнь идет и по-разному поворачивается,— уклончиво заметил Аплетин.

— Вы — другое дело...— примирительно возразил Брехт.— У вас гибкая интеллектуальная политика. Ваш государственный корабль ищет проходов в минных полях мировой бойни... Семь футов вам под киль! А у нас, немцев, с Маляром особые счеты. У нас с ним может быть только война и никакого ненападения... Если я не буду писать против Гитлера, тогда мне просто не о чем писать. Я и моя семья умрем с голоду...

— Ничего, первое время прокормим,— улыбнулся Аплетин.

— Нет уж,— серьезно произнес Брехт.— В США подобралась хорошая компания изгнанников. Там почти все друзья и давние сотрудники... Фейхтвангер, Эйслер, братья Герцфельде, много других. Затеем коллективную работу в театре, на киностудиях...

Аплетин снял очки и стал их протирать.

— Ну что ж... Хотел еще раз дверь подергать, вдруг передумаете! А нет — так в добрый путь... Езжайте...

Брехт перехватил его выражение.

— Я был однажды в Штатах, в тридцать пятом году,— сказал он.— Ставил пьесу «Мать»... Газеты там лгут с той же легкостью, с какой кокетки назначают свидания. Если про меня будут писать, что я выступил с каким-нибудь заявлением против Советского

---

* Об этой стороне проблемы, как она стояла в майские дни 1941 года, в вышедшей в ГДР капитальной иллюстрированной биографии Брехта говорится: «Брехт обсуждал также с секретарем Союза писателей Александром Фадеевым и опекавшим его Аплетиным линию антифашистской борьбы в США, если — что вообще допускалось — в обозримом будущем дело дойдет до войны между Германией и Советским Союзом. Он передал «Интернациональной литературе» для опубликования на такой случай сцены из «Страха и отчаяния» [в Третьей империи], которые и были напечатаны, когда война разразилась» (Schumacher. „Leben Brechts in Wort und Bild", S. 159).

Союза, не верьте, дорогой друг Аплетин. Все может быть, но этого никогда не будет!..

Этот разговор с Брехтом Аплетин потом не раз передавал сотрудникам Иностранной комиссии, особенно подчеркивая последние слова писателя: «...этого никогда не будет!»

Вспоминал он их и в смутные первые годы после войны. Вокруг Брехта возникало тогда много сенсаций и всяческих домыслов.

В ноябре 1947 года писатель с семьей прилетел из США и обосновался на жительство в Швейцарии... Почему? Он принял австрийское гражданство... Зачем?

Буржуазные газеты писали, что Брехт — перебежчик, что он уже объявил или вот-вот открыто объявит о своем разрыве с коммунизмом.

Но в ответ на такие сообщения Аплетин только отрицательно покачивал головой, а иногда говорил: «...этого никогда не будет!» У него не было информации, точных данных. Но он знал Брехта.

В 1948 году писатель поселился в демократическом Берлине. «У меня такие убеждения не потому, что я здесь, я здесь потому, что у меня такие убеждения»,— писал он о ГДР.

До возвращения на родину Брехт располагал лишь отрывочными сведениями о литературной жизни в Москве. Но по разным признакам видел, как относилась к нему Иностранная комиссия Союза писателей, которую в его глазах многие годы как бы олицетворял М. Я. Аплетин. Все это, очевидно, и побудило Брехта в 1955 году в торжественную минуту публично назвать Аплетина своим «ментором», что по-немецки одинаково значит — наставник и воспитатель...

Впрочем, это случилось значительно позже. А тогда Брехт вышел из помещения в мягкий простор майского вечера, довольный состоявшимся разговором.

Идя по Кузнецкому мосту, он не знал еще, что надвигаются новые испытания...

ЧКАЛОВСКАЯ, 53

...Этот дом стоит на горе, при крутом спуске к Яузе, как бы отсеченный от современной Москвы высокими коваными воротами и потом сбегающим по линии ворот до самой реки долгим забором, из старинных чугунных пик, которые окончательно утверждают независимость уединившегося внутри парка и строений барской усадьбы.

Сквозь чугунные просветы даже мгновенному взору из летящего мимо троллейбуса видна простершаяся по взгорью роща из дубов и лип, с посыпными прогулочными дорожками, врытыми в землю скамеечками и белокаменными беседками-ротондами... Да и сам двухэтажный желто-белый дом, с лепным бордюром из львиных морд по верху фасада и крупной цифрой «1814», выбитой на железных воротах, останавливает на себе даже рассеянный взгляд пассажира.

Островок старинной Москвы уцелел на отрезке Садового кольца, самой оживленной столичной магистрали, всего в двух троллейбусных остановках от Курского вокзала. Не мудрено, что, как и другие, я много раз проезжал или проходил мимо. И при взгляде на эти сбегающие по горе вековые деревья и загадочный особняк наверху в сознании, наверное, не однажды мелькал вопрос: «Что там?» Я помнил и забывал этот дом.

Он вдруг отчетливо представился мне в 1976 году в Берлине, когда я прочитал в архиве на телеграмме Брехта московский адрес: «Центральный институт туберкулеза, Чкалова, 53».

Лучше мы, что ли, видим издалека? Во всяком случае чувствуем острее, это верно. Не пришлось даже долго ворошить память. Если где и мог располагать-

ся такой институт в этом районе Садового кольца, то, значит, вон где — в том самом доме!

И, вернувшись в Москву, полный, что называется, заочных сведений и картин, я вскоре направился туда. Смутное видение оказалось явью! Самое удивительное, что даже нумерация дома осталась прежней. За истекшие почти четыре десятилетия столько раз перевешивались повсюду номерные скворечники на зданиях — не говоря уже о военных и прочих убылях, сносились целые кварталы, переименовывались улицы, раздвигалось вширь само Садовое кольцо, а этот дом как был, так и остался: Чкалова, 53!

С понятным трепетом протиснулся я в раздвинутые створки чугунных ворот. Вошел во двор и осмотрелся.

Справа от меня было витое парадное крыльцо, с лежащими у перил и стерегущими вход медными фигурами львов и диковинных грифонов. Слева — несколько подсобных желто-белых зданий — раньше, видимо, домашняя церковь, людские, конюшни, переделанные для нынешнего пользования в корпуса. Впереди, у самых ног, с откоса простирался вид на тот самый парк и реку.

Странно, но в этот солнечный октябрьский полдень на дворе почему-то не было ни души, если не считать копошившегося в отдалении у санитарной машины шофера. На меня повеяло особенным умиротворяющим покоем. Войдя сквозь ворота, я словно бы шагнул в иной мир, в иной век.

Пропала современная Москва, и даже темная лента Яузы, видневшаяся сквозь вершины уже обнажившихся деревьев, тянулась сюда, кажется, прямо из дедедовских времен. Вон, очевидно, пушкинский дуб! Огромный, в пять обхватов, рассохшуюся его толщину сдерживают железные обручи, ствол почернел и обуглился, может, от молнии, может, от возраста, и в его изжившихся выжженных недрах бог весть как пьют соки молодые ветви... Между грубой броней дубов и липами стайками мелькают не сразу приметные березки. Петляющие по склонам дорожки, с вросшими в землю скамеечками, латунные фигурки на постаментах, собратья крылечных грифонов, белокаменные беседки, разрушенный чайный домик... Вот здесь стоял, бродил и созерцал эти виды в мае 1941 года Брехт, а может быть, перед отъездом он сидел на од-

ной из этих скамеечек даже вместе с Гретой... если, конечно, она к тому времени была в состоянии передвигаться... Вот до чего оторвался от реальности!

Что же это, однако, за безлюдное медицинское учреждение? Неужели новое чудо — и все сохранилось без изменений?

И тут в глаза бросилась вывеска: «Московский городской врачебно-физкультурный диспансер № 1».

Уже без прежнего пыла я отворил дверь и вошел.

На входе, отложив костыли, сидел и на равных беседовал с девушкой парень лет двадцати, оба в одинаковых шерстяных олимпийках. По небольшому вестибюлю, с ведущей наверх мраморной лестницей, разместилось на стульях и в креслах еще пять-шесть ребят и девушек, в больничных пижамах или тоже в олимпийках,— тут признавали, видимо, только два эти типа одежды. Играли в шахматы, шутили, смеялись; какой-то забинтованный молодец разговаривал по висевшему в углу телефону-автомату. Это была среда цветущего беззаботного равенства. Больные были сплошь кровь с молоком! И если бы не костыли и повязки, свидетельствовавшие о частных неполадках, обстановку можно было бы принять, например, за спортивную базу после тренировочных занятий.

Было смешно и нелепо спрашивать у этих молодых людей о какой-то Грете, приходившейся им бабушкой, и бестактно напоминать о существовавшем тут некогда противотуберкулезном центре, сборном пункте этой страшной болезни. И поэтому, чтобы освоиться, я принялся рассматривать вывешенную тут же стенгазету.

Судя по всему, это был свежий номер. Но открывала его заметка, показавшаяся мне несменяемой, вклеенной как бы на вечные времена. Зато она имела, пожалуй, отношение к цели моего визита. И, не обращая больше внимания на физкультурников, я списал ее в блокнот:

«Из истории дома № 53 по улице Чкалова

...После пожара 1812 года богатый купец-чаеторговец Усачев скупил участки на высоком берегу Яузы, принадлежащие Бабкину, Невежину и Найденову. По его заказу известный архитектор Д. Жилярди (зод-

чий Московского университета) построил городскую усадьбу со службами и парковыми павильонами в стиле «русский ампир».

С 1880 года до Великого Октября усадьба принадлежала Н. Найденову и известна как Дом Найденова. После национализации в усадьбе был организован санаторий «Высокие горы».

С 1964 года в доме № 53 по ул. Чкалова разместился Московский городской врачебно-физкультурный диспансер № 1, который обслуживает и лечит ведущих спортсменов столицы и ветеранов советского спорта...

Товарищи! Будьте бережны к памятникам старины и искусства, которые являются достоянием народа».

Итак, до 1964 года здесь еще находился санаторий «Высокие горы»! Он был, как видно, лечебной базой Центрального института туберкулеза. Вот откуда двойственность обозначений местонахождения М. Штеффин в телеграммах и дневниках Брехта: то Центральный институт туберкулеза, то санаторий «Высокие горы», оба по адресу Чкалова, 53... В данном случае это одно и то же — вот этот дом...

Хорошо. Но куда подевалась туберкулезная лечебница после 1964 года? Ее персонал, архивы? У кого осведомляться об этом в спортивной здравнице?

Я уже начал свертывать авторучку, как вдруг глаз выхватил из соседних стенгазетных столбцов то, что было, пожалуй, прямым советом, как поступать дальше.

Со всех ног бежать к той, кому посвящена заметка!

Во всяком случае так мне показалось. Это была небольшая статья под фотографией, называвшаяся «Наши ветераны. Рахиль Савельевна Шатхан». Из заметки следовало, что в нынешнем октябре 1976 года коллектив физкультурного диспансера провожает на пенсию врача-фтизиатра, отдавшего пятьдесят пять лет медицине. Человек это поистине необыкновенный: «Работала в госпиталях еще в гражданскую войну...— читал я.— Знала Коллонтай, Людмилу Сталь... Член КПСС с 1931 года... В годы войны сменила стетоскоп на скальпель хирурга. По двое суток не отходила от операционного стола... Имеет восемь правительственных наград...»

Но суть для меня была заключена в одной половине фразы: «...с 1932 года — главный врач санатория «Высокие горы».

Если уж Рахиль Савельевна так прочно осела здесь, то вполне могло быть, что она работала главврачом и в мае 1941 года. Сменить «стетоскоп на скальпель» — это похоже — она могла отсюда. Тогда, если она и не помнит истории с сотрудницей Брехта в самый канун войны (такая памятливость для главврача, конечно, маловероятна), то во всяком случае обрисует обстановку, сориентирует, назовет имена. Одним словом, мне нужен ветеран!

...И вот спустя какое-то время мы вполголоса переговаривались в комнате с крашеными белыми стенами и видом на Яузу, где провела последние дни Грета. Со мной была та самая «очень внимательная и любящая Грету» (как сказано в письме М. Я. Аплетина от 3 июня 1941 г.) женщина-врач, которая делала тогда все, чтобы отстоять ее жизнь...

Расскажу по порядку.

Рахиль Савельевна Шатхан оказалась полной, кряжистой женщиной, с румяными щеками и белыми, как екатерининский парик, волосами. На ее лице умом и волей светятся два разноцветных, по-стариковски слезящихся глаза — зеленый и темно-синий. Годы согнули ее, она ступает грузно и, когда идет по коридору, похожа с расстояния на катящийся монолит.

Все ее знают в физкультурном диспансере. И все от врача до нянечки стараются первыми поздороваться. В самом деле, это необычное явление, чтобы человек до восьмидесяти лет работал с такой памятливостью и сноровкой и чтобы его, при довольно крутом и властном нраве, так безраздельно почитали. Она и на пенсию перешла только что, 27 октября, точно в день своего восьмидесятилетия. И то потому, как сказали мне в диспансере, что сама сочла, что на девятом десятке работать вроде бы неприлично. Такая эта Рахиль Савельевна!

Вначале, когда мы устроились в пустом административном кабинете, беседа протекала так:

Да, она работала в мае 1941 года главврачом санатория «Высокие горы», который был одновременно терапевтической клиникой Центрального института туберкулеза, сказала Рахиль Савельевна. «А почему вас интересует именно это время?» — «Конечно, много воды утекло,— осторожно заметил я,— тем более что у главврача масса всяких дел и забот, но, может быть, у вас все-таки сохранился в памяти случай, ко-

торый произошел тогда с одной немкой... Она была иностранка, по фамилии Штеффин. Может, вам еще что-нибудь подскажет и то, что она была сотрудница немецкого писателя Брехта?.. Маргарет Штеффин...» — «Это был не случай,— серьезно заметила Шатхан.— Она умерла...» — «Так вы помните!» — удивленно воскликнул я. «Конечно,— невозмутимо отвечала Рахиль Савельевна.— Я была ее лечащим врачом...» — «Не может быть!!!» Это была уже чистая фантастика. «Чего не может быть? — не поняла Рахиль Савельевна.— Позвонила директор нашего Центрального института Лебедева Зинаида Александровна. (Она жива, заведует кафедрой туберкулеза в университете Патриса Лумумбы). Говорит, нужен врач, знающий немецкий язык. Так что привезут больную, ведите ее сами, Рахиль Савельевна! Я по-немецки говорю с гимназии... Впрочем, оказалось, отчасти перестарались. Это Брехт не владел русским, а Марго (так ее у нас называли) даже очень хорошо говорила по-русски...» — «Марго? — повторил я.— Так вы, может, даже помните и Брехта?» — «Хорошо помню,— с прежней свидетельской бесстрастностью произнесла Рахиль Савельевна.— Привез ее он. Я еще спросила: «Это ваша секретарша?» — «Она мне гораздо дороже, она помогает мне работать!» — ответил. Потом несколько раз приходил до отъезда во Владивосток. Этот город — точно! Я ему еще сказала: «Завидую, что вы едете через мою родину». Ведь я коренная сибирячка, иркутянка...»

Все эти подробности — насчет сотрудницы-секретарши, знаний русского языка, Владивостока и т. д.— значили в данном случае не меньше, чем иной письменный документ или пароль. Они могли быть известны узкому кругу посвященных, а уж никак не врачу-фтизиатру, не представлявшему за пять минут до того, о чем пойдет речь.

«Ну и память у вас, Рахиль Савельевна! — только и нашелся что сказать я.— Ну и ну!.. В таком случае вы же сокровище! Надо же, как повезло!» — «Спасибо,— по-своему истолковала она: комплимент как будто показался ей сомнительным.— Мою память испытывал еще академик Отто Юльевич Шмидт (он тут у нас лечился), полярник, выдумщик, все любил проверять. «Вы, Рахиль Савельевна,— однажды сказал,— пожалуй, мнемонисту из цирка не уступите!..»

Когда мы таким образом взаимно освоились, Рахиль Савельевна начала подробный рассказ. Вот первая его часть — о себе:

— Вообще-то память у меня не на все одинаковая. Есть вещи, которые забыла, будто их и не было. Я только все помню, что касается туберкулеза. И скажу вам — почему: у меня с ним давние личные счеты. Мой муж был чахоточный. В 1920 году, после Томского университета, когда была мобилизована в пятую Дальневосточную армию, работала зауряд-врачом. А потом поменяла специальность ради него, стала фтизиатром, чтобы ему помочь. Вы слышали такую фамилию — Котов Григорий Николаевич? Активный участник революции в Сормове, большевик с 1903 года. Это — мой муж. Какой был красавец! Даже царская охранка сыскной лист при перечислении особых примет однажды заключила словами: «...а в общем красавец парень». Можете на него посмотреть — есть такая картина художника Василия Васильевича Журавлева «В Пермской тюрьме». Там в камере Дзержинский, Артем, Котов... Видно какой! Он был старше на десять лет и многому меня научил. Имел два класса приходской школы, а по уровню был выше на четыре головы, несмотря на все мое образование. Изучил французский, потом английский... У нас было с ним две дочери, сейчас одна врач, другая авиаконструктор...

В общем, что я ни делала, умер мой Григорий Николаевич от туберкулеза в 1929 году. И я вместе с ним в лучшие свои годы пережила все этапы этой страшной болезни, перемучилась изнутри и возненавидела ее навсегда. За каждого туберкулезного заново страдаю, будто сама переношу эти утонченные пытки.

Туберкулез — не болезнь глаза, где можно врачевать, мало что зная о человеке. Тут надо почти все знать — об образе жизни, о семейном положении, этот недуг отражается на всем, включая темперамент, трудоспособность... Да знаете ли вы, что такое туберкулез? Кто такой туберкулезный больной?

Это ж человек-факел, который сгорает на ветру, в страшных муках. Конечно, бациллы берут любого, а палочки Коха грызут легкие без разбора. Это знает каждый. И все-таки многие болезни имеют свою социальную базу. От чего чаще болеют туберкулезом? От лишений, невзгод, бесчеловечных условий жизни,

варварского быта, труда на износ. И чей это удел в первую очередь? Кому, помните, еще Некрасов писал, судьба заведомо сулила жизнь нелегкую — «чахотку и Сибирь»? Больше, чем всякая другая, это была болезнь передовой интеллигенции, подвижников, революционеров! Сами Некрасовы, Добролюбовы, Чеховы от нее страдали! Туберкулез — это губитель лучших людей — вот почему я его особенно ненавижу! И радуюсь, когда и где побеждаем...

Туберкулез требует борьбы иногда на десятилетия. Помню, как не мог примириться со своим жребием Николай Николаевич Асеев, известный поэт, тогда еще молодой, впервые оказавшись в лечебнице. «Долго ли это будет продолжаться?» — спросил он соседа по палате, медика по профессии. «Если все пойдет хорошо, так очень долго,— заверил тот.— А если поплохому, то гораздо меньше». Это была горькая шутка. И вспоминаю слова старого Асеева в праздник медицинских работников: «Мне за семьдесят... Это ваша заслуга!» Дело не в трогательной корзине цветов, которую привезли от него, и даже не в этих словах. А в том, что высокий ум, гордый человек жил, творил, а мог сгореть враз, как сосновая стружка...

А они ведь изменчивы, пролазливы, коварны, эти дьявольские палочки! Они в воздухе и под землей. На 50—70 сантиметров заражают поверхностный слой почвы. Солнца они не только не боятся, но любят его, как люди, и размножаются на нем со сказочной быстротой. Когда лежала Марго, одолевать туберкулез было особенно трудно. Противоядие нашли только в 1943 году, когда началась «эра стрептомицина». Помню, как первый раз наблюдала его действие. У нас лежал атташе в Турции. У него был туберкулез языка, весь язык — сплошная рана, а после пяти граммов стрептомицина все пропало, как корова слизнула... А теперь уже антибиотики не всегда дают результаты, ищи новые средства!..

Человек — не патефонная пластинка, он запоминает то, что пережил, прочувствовал. Чувство — основа памяти. Ненужные, лишние впечатления мы сбрасываем, как дерево осеннюю листву,— не так?

У нас был тяжелый санаторий. Почти каждый месяц кто-нибудь умирал. А я сутки-двое после этого ходила не своя: не могу привыкнуть к смертям! И ведь до чего еще палач, эта болезнь: за самую ма-

лость до конца настает внезапное облегчение, человек начинает мечтать, строить радужные планы. И в этот момент на виду услад жизни ему и кладет на горло лапу и душит эта костлявая. Такой злой садизм даже в конце! Называется это — туберкулезная эйфория. А мы уже знаем: размечтался — значит, конец.

Помню, как в санатории умирал студент-латыш Гонта. Хороший такой мальчик, стал уже весь прозрачный. Вдруг говорит: «Как я доволен, что до болезни успел сдать все экзамены на своем курсе, Рахиль Савельевна! Теперь вместе со всеми ребятами начну...» Я его поддержала, хотя прекрасно сознавала, что жить ему оставалось, может, час-полтора.

Боль оставляет больше следов, чем радость. Не завидуйте поэтому, что я помню. Я ведь жила здесь, при санатории, в одном из тех деревянных флигелей,— сначала с дочерьми дали комнатку с печным отоплением, потом там же трехкомнатную квартиру... Рассказывать, сами понимаете, могу сколько — только так ведь мы никогда не кончим!

У памяти человеческой, наверно, тоже есть своя культура и гигиена. Я иногда говорю молодым знакомым: не упрощайте своей доли, не зарывайте голову в песок, как страусы, не прячьтесь от переживаний, и вы тоже все будете помнить. Секрет небольшой! Жалко только, что мне восемьдесят лет, а не пятьдесят...

Так что я вам все расскажу подробно и палату покажу, где умирала Марго. Это на втором этаже, двадцать третья палата, с окном в сад... Пойдемте!..

...Прежде чем перенестись в те дни, когда в доме по Чкаловской, 53 догорала короткая мученическая жизнь, необходимо сказать еще о двух людях, находившихся рядом или поблизости от Греты. Они будут активно участвовать в предстоящих событиях.

С одним из них и прежние пути не раз сводили Грету.

Лицо это Мария Остен, подруга, а подчас и деловая опора М. Штеффин в середине 30-х годов.

Это имя, пожалуй, чаще других возникает в московских отчетах М. Штеффин Брехту.

«Здесь Мария и Кольцов меня, действительно, очень мило приняли,— сообщает она, скажем, в од-

ном из писем начала 1936 года.— Я была только с Марией, по большей части не видела людей, Асю и Райха также мало...»

Однако на тех же страницах содержится отчет, из которого явствует другое — Мария Остен была не из тех людей, которые сидят дома.

Во всяком случае неугомонная Штеффин в компании с нею и одна во многих местах успела перебывать, многих перевидать, о том переговорить, это сделать... Она передает запрос приехавшего в Москву прогрессивного издателя Виланда Герцфельде насчет рисунков немецкого художника Г. Гросса («Виланд спрашивает, что с Гроссом (рисунки), пусть он, наконец, ответит»); она уже погрузилась в переговоры о совместном выпуске книги Брехта, предпринимаемом одновременно издательством Герцфельде и московским издательством «Фегаар» («Ты получил от Виланда деньги? Каков ваш договор?.. Из-за этого я не могу с «Фегаар» как следует вести переговоры...»); она уже хлопочет, по поручению Брехта, об устройстве выставки графики Георга Гросса в СССР («Кольцов, который занимается иностранными приглашениями, говорит: «Ну да, теперь мы можем Гросса пригласить...» Во всяком случае это медленно начинает двигаться...»); полностью разведана уже обстановка вокруг новой идеи Пискатора — организовать студию «Волга-фильм»: собрать лучшие силы артистов, литераторов, художников из числа немецкой эмиграции, создать «маленький Веймар» на Волге («...Удастся ли это, еще вопрос. Ты должен подождать с согласием... Мария, которая много знает, по секрету предостерегает. Она говорит, что волжанам идея Пискатора не нравится...») и т. д.

Одним словом, Маргарет Штеффин, как всегда, в заботах и хлопотах по близким ее сердцу делам...

Они с Марией — разные люди, та любит блеск, пых, фейерверк. Грета, напротив, тяготится вниманием, предпочитает держаться в тени — лишь бы двигалось дело. Первые роли легко уступает Марии. Но это и обеспечивает их приятельство, почти дружбу. Благо в главном, в вере и убеждениях, Мария такая же энтузиастка, как Грета...

Среди материалов, хранящихся ныне в берлинском Архиве Брехта, есть две вырезки из советской газеты «Красноармеец» второй половины 30-х годов. Прямо

по газетному полю (поверх заметки «Эрнст Буш — певец свободы» и под напечатанным тут же «Открытым письмом в редакции газет «Красноармеец» и «ДЦЦ») мелким почерком Мария Остен пишет Грете Штеффин.

Бисерная скоропись немецких слов чернилами, похожими на черную тушь... Писать на газете пером неудобно, но Мария, очевидно, как всегда, торопится. Ей некогда возиться с отдельным листком. На газете лаконичней, наглядней и сразу все ясно. Хотя записка, быть может, чуть-чуть смахивает на резолюцию.

Первая газетная заметка рассказывает об Эрнсте Буше, соратнике Эйслера и Брехта.

В ноябре 1935 года Буш впервые приехал в Советский Союз, а затем до зимы 1937 года (когда присоединился к испанским Интербригадам) выступал с творческими отчетами во многих местах страны. В данном случае он пел в Н-ской части военного округа.

Заметка написана хорошей журналистской рукой, причем близкого знакомого Буша. На трех коротких узких колоночках военной окружной газеты создан портрет мастера революционной песни, густо насыщенный подробностями его биографии, в том числе периода фашистского переворота в Германии. Скорее всего, заметка принадлежит М. Остен, сопровождавшей Э. Буша в гастрольной поездке по Поволжью, да и вообще коротко дружившей с ним. Подписана заметка явным псевдонимом — К. Саратовский.

«Открытое письмо» также обращено к Эрнсту Бушу, в нем прежде всего благодарность за незабываемый апрельский вечер в клубе, когда звучали его песни. «А разве можно спокойно слушать пламенные слова из «Единого фронта» и «Песни безработных»?!» — восклицают авторы.

Они просят Э. Буша передать «благодарность поэту Эриху Вайнерту и Иоганнесу Бехеру за то, что они написали хорошие слова для песен...» Они ждут, что появится «специальная песня о нашей части, а... композитор Ганс Эйслер создаст для этой песни музыку».

Под «Открытым письмом» — факсимиле подписей группы красноармейцев немецкой национальности на родном языке.

Это «Открытое письмо», видимо, и побудило отзывчивую и общественно активную Марию Остен немедленно обратиться к Грете Штеффин. Неплохая

ЭРНСТ БУШ — ПЕВЕЦ СВОБОДЫ



ЭРНСТ БУШ

Вырезка из окружной газеты «Красноармеец» с запиской Марии Остен на имя Маргарет Штеффин. Вторая половина 30-х годов.

идея! Особенно, если иметь в виду не только отдельную воинскую часть, а Красную Армию вообще! Хорошо бы, если бы песню о ней создали немецкие авторы! Пусть Грета переведет газетный призыв Брехту и Эйслеру. Может, идея их вдохновит? Надо, чтобы в предстоящей битве с германским фашизмом родину Октября защищали интернационалисты всех наций, в том числе немцы. Не так ли?

Попутно чертой под словами «Иоганнес Бехер» М. Остен отмечает вкравшуюся в текст путаницу имен. И отдельно выносит примечание: «Почему Бехер? Ведь «Песня солидарности» и «Песня единого фронта» все же Брехта».

«Дорогая Штеффин,— быстро писала она на газетных полях,— прочитай это товарищам. Пусть Брехт не ругается, недоразумение будет исправлено. Он мог бы уже начать писать песню для Красной Армии, а Эйслер может спокойно, в старой хорошей манере сочинять музыку.

С коммунистическим приветом всем.

Что с «Левым маршем» Маяковского? Пусть Эйслер пришлет мне музыку «Песни о штурмовике» и т. д.

Дорогая Грета! Летала на три дня на Волгу. Везде поют «Песню единого фронта». Сердечно. Мария».

Одной из первых М. Остен поехала в борющуюся Испанию. В качестве корреспондента все той же московской газеты «ДЦЦ» («Дойче Центральцайтунг») была на фронтах. Среди героев «Испанского дневника» Михаила Кольцова есть и Мария.

В горящей Барселоне она помогала Эрнсту Бушу переписывать на пластинки его песни Интернациональных бригад.

...Осенью 1975 года я был у Эрнста Буша, в его ладно обустроенном коттедже под черепичной крышей, на одной из зеленых уютных окраин Берлина.

Можно было бы написать — «здесь на покое живет прославленный семидесятипятилетний певец», но эта фраза никак не подходит к Бушу. Ни к его серому, в черную крапинку пиджаку спортивного покроя из грубой шерсти, ни к упругой, пружинистой походке этого невысокого плотного крепыша, ни к веселому прищуру его светлых глаз из-под рыжих бровей, ни вообще ко всему его облику и настрою жизни. (Буш продолжал работать над многолетним замыслом — «Песенной хроникой XX века» на грампластинках.

Уже переведено со старых записей, систематизировано, обновлено, повторно напето более двух десятков альбомов, где пластинки сопровождаются пояснительными текстами и фотографиями,— они выпускаются в ГДР под маркой «Аврора». Эрнст Буш был весь в заботах о своем детище — этом небывалом, кажется, по масштабам издании грамзаписей... Для того, кто не однажды умирал — а фактически так было в фашистском застенке военных лет или когда он лежал с перебитым железной балкой лицом после бомбежки,— для этого уникального человека жизнь не остановила свой бег. И хозяевами коттеджа наряду с ним являлись моложавая брюнетка Ирена, супруга и деятельная помощница Буша, и их одиннадцатилетний сын-школьник Ули...)

Впрочем, возраст, конечно, меняет человека, сужая круг его жизни. В белесых заспанных сумерках начинающегося дня, когда я вошел в просторный кабинет, Буш без света коротал время поодаль. Он сидел у стены, энергично избоченившись и словно готовый к прыжку. Я не сразу даже отыскал его глазами. На какое-то мгновение он показался мне одиноким беркутом, восседающим на скале...

Когда поворот беседы привел нас к Марии Остен, немногословный Буш снял с полки объемистую папку.

Это первый выпуск «Авроры»— альбом грампластинок «Песни Интернациональных бригад. Испания. 1936—1939». В современной упаковке частью те же самые грамзаписи, которые издавались некогда в борющейся Барселоне.

В альбоме — фотография: рядом с Михаилом Кольцовым — легкая статная женщина, ладно облаченная в военную гимнастерку, с короткими, вольно спадающими волосами и неуловимо остановившейся мыслью на лице. Мария Остен.

Под фотографией — авторское посвящение: «Этим выпуском старых и новых записей испанских песен я хочу почтить моих погибших друзей Марию Остен и Михаила Кольцова. Только с их помощью возможно было тогда, в 1937—1938 годах, в Барселоне издать «Песни Интернациональных бригад» на пластинках. Эрнст Буш».

— Вот смотрите сюда!— показывал Буш. Он достает из ящика и кладет рядом потускневшую и исца-

рапанную пластинку барселонского производства.— А теперь прочтите здесь!..

На блекло-голубой наклейке, ниже перечня содержания,— фабричное примечание: «Дефекты записи — посторонние шумы и удары — объясняются тем, что работа велась во время очередной бомбардировки Барселоны».

— Думаю, ее изобретение,— говорил Буш.— У нас был маленький вокальный ансамбль, записывающая техника никудышная, а они нам совсем уж работать не давали! Только настроимся — налет, бомбежка... Опять испорчены записи, никакой чистоты звучания. А Мария умела соображать под огнем, даже и роман свой «Картофельный шнапс» в гостинице с окнами, заткнутыми рваными матрасами, писала... Помню, долго возилась с пробными записями, в бомбоубежище не спускалась. Может, и предложила — оставить этот шумовой аккомпанемент к песням, сделав наклейку... Стремительная, отважная была женщина!.. В Москве знаете о ней кто вам может рассказать? — заключил Буш.— Григорий Шнеерсон, давний мой друг, музыковед, композитор. Он издал книгу, там приводит и мои письма о ней, и письма Марии к нему...

Монография Г. М. Шнеерсона «Эрнст Буш и его время», выпущенная издательством «Советский композитор» в 1971 году,— большая, насыщенная фактами книга. Эрудиция исследователя дополняется в ней живыми рассказами активного участника и очевидца событий — такой мемуарный дух роднит ее, пожалуй, с книгой Б. Райха «Вена — Берлин — Москва — Берлин». (К тому же здесь есть еще и внешнее совпадение: в 30-е годы, подобно Б. Райху, хотя и на другом поприще, Г. М. Шнеерсон работал в системе Международного объединения рабочих театров, того самого МОРТ, который возглавлял Э. Пискатор, так что круг «действующих лиц» в обеих книгах во многом общий; среду Эйслера — Брехта автор знал не понаслышке, с Э. Бушем дружил и переписывался с 1935 года; примерно с того же времени знал и М. Остен, а встречался и поддерживал отношения с нею до самых последних дней перед войной.)

Скажу лишь, что встреча и беседа с Григорием Михайловичем была во всех отношениях ценной. Помимо новых сведений, она еще раз дала возможность,

что называется, изнутри увидеть неповторимый переплет культур, подлинный духовный интернационал той поры.

Всем, что знал о М. Остен, не исключая кануна войны, поделился также художник-карикатурист Бор. Ефимов, брат М. Е. Кольцова. Устным рассказом в ряде моментов Борис Ефимович дополнил свои широко известные мемуары.

В печатных воспоминаниях о Кольцове, обращаясь к самому началу 30-х годов, Бор. Ефимов пишет:

«...Физически он чувствовал себя в тот период неважно, часто мучился приступами головной боли. Выглядел плохо, ходил бледный, с воспаленными от недосыпания глазами. С болью в сердце смотрел я на него, до предела утомленного и озабоченного. К тому же я хорошо знал, что к нервной нагрузке его работы прибавляются и личные трудности: в жизнь брата вошел близкий человек — Мария Грёссгенер, немецкая писательница-коммунистка, принявшая впоследствии литературный псевдоним «Мария Остен». Завязался сложный и болезненный семейный узел. Не к чему сейчас тревожить и обсуждать трудные взаимоотношения людей, которых давно уже нет на свете, но мне хочется сказать одно. Я не могу согласиться с не очень лестной характеристикой, которую дал Марии Остен в романе «По ком звонит колокол» Эрнест Хемингуэй. Мария не была искательницей альковных приключений. Это был честный и искренний человек, по-настоящему преданный Кольцову. Она доказала это тем, что впоследствии не отреклась от него в беде. Желая выручить друга, она приехала из Парижа в Москву, мужественно и наивно думая опровергнуть возведенную на Кольцова клевету. Не будучи официальной женой Кольцова, она добровольно приняла на себя это опасное тогда звание. Этот благородный поступок привел только к тому, что Мария Остен разделила трагическую участь Кольцова и была потом, как и он, посмертно реабилитирована.

Можно ли это забыть?» («Михаил Кольцов, каким он был. Воспоминания». М., Сов. писатель, 1965, с. 48—49).

Как близкий М. Е. Кольцову человек Мария Остен вместе с другими «подозрительными лицами» немецкой национальности подверглась так называемому превентивному аресту в ночь на 23 июня 1941 года, через сут-

ки после нападения фашистской Германии на Советский Союз.

Последним из близких друзей в Москве, кто ее видел, был Бернгард Райх. Поводом для встречи послужила пьеса «Жизнь Галилея». Было так.

Во время бесед с Брехтом в гостинице «Метрополь» в мае 1941 года Райх рассказал о восторженном разборе критиком и переводчиком Марком Гельфандом этой пьесы, не так давно помещенном на своих страницах газетой «Советское искусство», и поинтересовался: не найдется ли свободного экземпляра пьесы? Оказалось, что такой экземпляр Брехт уже отдал для прочтения Марии Остен. «Я попрошу Марию,— обещал Брехт,— чтобы она передала тебе «Галилея».

Затем долго пришлось ловить подходящий момент: Райх ездил в командировку на Волгу, в Энгельс, потом не удавалось застать на месте Марию. «20 июня,— рассказывает Райх,— мы наконец встретились. Она попросила зайти к ней завтра за «Галилеем» в гостиницу «Балчуг» (где давно уже постоянно проживала.— *Ю. О.*). Следующий день был очень суматошный, и мне не удалось побывать у нее, а 22 июня началась война. Лишь 23-го я забежал в гостиницу. Там мне сказали, что Остен здесь больше нет. Я ушел...» (Бернгард Райх. «Вена — Берлин — Москва — Берлин», с. 317, 318).

На этом сведения о Марии теряются: ее приемный сын пятилетний Юзик рос в детском доме, саму ее больше уже не видели.

А за год или два до этого Мария Остен, узнав о судьбе Кольцова, приехала в Москву, готовая на жертву, чтобы собой, как живым факелом, озарить истину. Но вместо всего этого — если даже не касаться главного результата, а брать лишь одно ее собственное житейское устройство, — очутилась в обстановке бессмысленного прозябания, похожей на ночное ненастье под открытым небом.

Виной тому во многом был Губерт...

Это был унизительный и жестокий нравственный удар, причем с той стороны, с которой она меньше всего была защищена. Она рассчитывала поселиться в своей трехкомнатной квартире, возле Самотеки, где под присмотром знакомых оставался и, как она думала, с нетерпением ждал ее хорошо обеспеченный приемный сын Губерт, оставались обстановка, убранство, вещи,

которым, впрочем, она никогда не придавала значения.

Правда, два с половиной года, которые она отсутствовала, рискуя жизнью в Испании, а затем работала в выездной редакции, дописывала роман в Париже,— немалый срок для подростка, ставшего юношей, успевшего тут же обзавестись женой. Конечно, много всякого должно было произойти с ним. Но откуда такие превращения?

Нельзя сказать, чтобы Губерт и раньше вызывал у нее ту же материнскую нежность, как черноглазый, полный жизни Хосе, маленький испанец, которого она подобрала три года назад на пожарище в осажденном Мадриде. Родители его погибли, крошечный малыш каким-то чудом уцелел в руинах. Он стал вторым приемным сыном Марии.

Теперь пятилетний Хосе, Юзик, как она его звала, весело дергая ее за руку, пытался прыгать через ступеньку, когда они поднимались по лестнице к дверям московской квартиры.

С Губертом — там было другое. Не беспричинная радость от одного присутствия, пыхтения, блеска глаз, телесного запаха, дрожащего ощущения общности с этим маленьким человеком, когда уже слово «мама» — счастье. Там была скорее дань понятиям о правильности поведения, поступок, которого ждали окружающие. Нечаянная логическая концовка эффектной литературной истории.

Просто так получилось. Почти одновременно с появлением ее книги «Губерт в стране чудес» Саар по плебисциту отошел к фашистской Германии. Не отсылать же было героя громкой эпопеи в самое пекло? И Мария взяла Губерта к себе.

Она старалась быть справедливой, заботилась о своем приемном первенце. Не виновата ли она перед мальчиком, что почти на три года оставила его одного? Покидала школьника, а встретила уже мужчину. Но ведь не одна же она уезжала так в Испанию? Были родители, которые покидали малых детей, а отправлялись оба — отец и мать. Тут надо было решать, что важнее: в Испании фашизм должен был поломать зубы. Иначе война захватит всех...

Детей отдавали в интернаты, квартиры бронировали, а старших подростков нередко оставляли под надзором родственников и знакомых. Одним словом, она не сделала чего-то чересчур необычного. А ведь он был

такой тихий, основательный, серьезный, этот веснушчатый восьмиклассник, с кимовским значком на груди, этот коренастый светлоголовый Губерт. Письма от него приходили хотя и не часто, но всегда успокоительные, разумные, с перечнями общественных дел, учебных успехов, распорядка дня, с приветами от знакомых.

Дверь открыл Губерт. И Мария почти сразу почувствовала неладное, уже по одному тому, как он уклонился от поцелуя и тряс ручонку маленькому Хосе, не сделав, однако, движения к чемодану или чтобы помочь ей снять плащ, не зовя их в комнаты.

Наступило неловкое молчание. Губерт смотрел мимо. Лицо у него было отчужденное, казавшееся особенно переменившимся и незнакомым при тусклой освещенности коридора.

— Мария, я хочу вам сказать одну вещь,— произнес он надтреснуто и сипло. Это было необычно: он всегда называл ее «Мария», но обращался на «ты».— Вы должны меня понять... Будет лучше, если вы остановитесь в другом месте...

— Как?!— не поняла она.

— Луиза!..— позвал он и без того уже выглянувшую из комнат пышнотелую юную женщину в ситцевом сарафане.— Познакомьтесь... Это — моя жена. А это — Мария!..

— Луиза... Очень рада!— заученно присела супруга. Книксен, сарафан и характерный говор — от этого дохнуло саратовской деревней. «Полнотелая, но цепкая местная немочка!» — решила Мария.

— Я... мы с Луизой ценим все, что для меня делалось,— говорил Губерт.— Но прошлые чувства иногда мешают... Помните, вы сами объясняли...

— Что-то у нас не то!— прервала Мария. Детский заслон на пороге собственной квартиры вдруг стал ее забавлять.— Дайте раздеться, пройдемте в комнаты и там поговорим...

— Нет, «не пройдемте»!— вдохнул воздуха Губерт, и лицо его стало решительным, а рыжевато-белая челка взвихрилась, как, бывало, перед дракой с мальчишками.— Я думал, как поступить... И скажу об этом здесь... Для комсомольца общественный интерес — выше личного, вы знаете?.. Пятнать свое имя не буду! У нас семья, вот с Луизой!— он притянул и слегка обнял за плечи жену.

— Не обижайтесь, пожалуйста!— попросила из-под

его руки супруга.— Губерту не просто говорить... Лично вас он уважает... Но мы ведь только начинаем жить...

— Сын за отца не отвечает,— продолжал Губерт,— а я тем более не хочу...

— Но неужели ты хоть на минуту веришь в этот кошмар о Михаиле?! — вырвалось у нее.

— А вы думаете, что все кругом заблуждаются?! Один никогда не может быть умнее и правее всех. Зря ничего не делается...

Мария вдруг обмякла: похожие слова она уже слышала. Губерт не виноват, что так думает. Противоядие одно — знать, верить, как она. Но что можно внушить в коридоре? Раз уж не вложено раньше...

— Всегда лучше ясность!— мальчишеский голос набирал звонкости.— Будет правильней, если вы найдете себе другую площадь...

— То есть как «другую площадь»?!— очнулась Мария.

— Так! Срок брони истек. Почти год назад,— объяснял Губерт. — Квартиру пришлось переоформлять на меня, а вас выписали...

— Но пока идут хлопоты о восстановлении, мы с Юзиком, наверное, можем здесь пожить?— осведомилась Мария. Она все еще не хотела понимать, что происходит.

— Без прописки сейчас очень строго! А согласиться даже на временную в нынешних обстоятельствах, объясняю, мы с Луизой никак не можем! — он выжидающе моргал белесыми веками.

— И куда же позволите мне с ребенком в Москве?! — язвительно спросила Мария.—Прямо сейчас уходить? Или чуть погодить?! И куда?!

— Не волнуйтесь, Мария!— успокоил Губерт.— Конечно, вам предоставят площадь... И часть вещей можете взять... А пока есть всякие возможности. Гостиница, друзей влиятельных много...

— Но ты... кто же ты такой?!— задохнулась Мария, все было ясно.— Я... мы... мы все для тебя старались, а ты... ты гаже ехидны! Ты...

— Напрасно оскорбляете! — понуро произнес Губерт.— По-моему, вы тоже делали это не совсем бескорыстно. Малышом возили меня с собой, как попугая, приписывали все, что хотели. Мне тоже за это пускай хоть что-то причитается...

— У-уф!— только вырвалось у Марии.

— Но больше нет дурачков!— глядя ей прямо в глаза, говорил Губерт.— Советские законы на моей стороне. Если хотите, подавайте в суд! Но зря — я уже консультировался!..

В таком состоянии пришла она тогда к Григорию Михайловичу Шнеерсону. И музыковед, в первый и последний раз в жизни, участвовал в качестве свидетеля на суде по конфликтному коммунальному делу. Но Губерт действительно хорошо проконсультировался: буква закона была на его стороне...

История с Губертом сильно подействовала на Марию. Пробила трещину и заставила усомниться в одном из неколебимых до сих пор постулатов всей ее жизненной психологии и действий, принципе, который расширительно можно было бы, пожалуй, обозначить так: дайте мне рычаг, и я переверну весь мир!

В представлении прежней Марии не было почти ничего такого, что она остановилась бы пустить в ход ради цели, которую считала общественно значимой, важной, высокой, которой горела в данный момент. Праздники и будни, горе и радость, похороны и именины, взрослый и ребенок — все, так сказать, равным образом годилось в дело, обращалось в рычаги; вопрос возникал лишь о способах использования; тут действительно почти все средства были хороши. И это был тот азарт самоупоенной кипучей энергии, того непрерывного нарядного действия во имя высоких идеалов, когда весь мир уже поневоле только театральная сцена, если и не с единственным, то во всяком случае с одним главным актером — самим собой.

И вдруг эти представления треснули. Оказалось, что есть запреты, табу. Человек — не средство, он сам себе цель, и притом чаще всего цель совсем не та, о которой ты думаешь, когда используешь этого человека в качестве рычага. Это касается любого человека—женщины, мужчины, старого, молодого, но особенно же, конечно, касается ребенка, тут месть жизни может стать особенно изощренной. Так оно и обернулось для Марии.

Это был суровый, жестокий, но и живительный урок...

Они поселились в дешевой гостинице, на пропитание уходили остатки привезенных из Парижа вещей.

Но, любуясь своим прытким неугомонным Хосе, который мгновенно освоил коридорные лабиринты

гостиницы, пропахшие борщом и постным маслом, жил в них, как в сказочном царстве, и сравнивая его с тем тихим, серьезным мальчуганом, каким она вводила в свой дом Губерта, Мария задумывалась опять: почему даже под влиянием всех последних переживаний и ударов судьбы у нее никогда не шевельнулось недоброе чувство к Юзику? Ни тени сомнения, подозрительности, досады, а напротив, она еще больше к нему привязалась, и Юзик отвечал ей той безотчетной взаимностью, на которую способно маленькое существо? Почему? Не просто же только потому, что он мал? Нет, было другое, что с самого начала отличало отношения с приемными сыновьями. И как же называется оно, это другое?

Черные глаза малыша, обращенные к ней, светились полнотой жизни, неотрывной и естественной частью которой была и она, Мария, его мать, самое родное и близкое существо. Когда он безмятежно и сразу тяжелея засыпал у нее на руках, или, коварно утихая, разделывался в углу с очередной игрушкой, или с гиканьем уносился по лабиринтам гостиничных коридоров — все равно, с нею или без нее, он был весь ее, без остатка, целиком, какой есть, такой вот, маленький. крикун, симпатюля, мазилка, родной, сын ее.

Они были одно целое в этом мире, самое необходимое, они любили друг друга — это, наверное, и есть то самое слово.

А как было с Губертом? Этот выбор сделало не естественное движение души, не сердце, а логика парадной затеи. Из самых высоких намерений и лучших побуждений, которыми она горела, был начат маленький журналистский маскарад, а затем на каком-то витке литературная игра кинула ей на руки живого ребенка, всамделишного сына, а ему выбросила взаправдашнюю, настоящую мать.

Конечно, Губерт, должен был ее уважать, она вела себя безукоризненно, поступила великодушно, широко. Но и он, своим сердечком оказавшегося на чужбине подростка, куцым своим разумением, должен же был как-то ощущать и понимать постороннюю обусловленность такого поступка, навязанность выбора, нарочитость ролей, так сказать, местоположение относительно сердца тех нравственных щедрот, той казны, откуда ему платили.

Конечно, с ним разочлись сполна, не бросили, как

выжатый лимон, ни в чем не ущемили и не показывали виду, и все-таки он был приживалой, нравственным бременем, витринным экспонатом, средством, а не целью. Так почему же и он, в своих маленьких планах и честолюбивых расчетах, не имел права рассматривать приемную мать как способ собственного житейского устройства, как средство для своих целей, как рычаг в своей маленькой жизненной карьере?

А от таких понятий уже чисто арифметическое расстояние до всего остального — и до рыбьей чешуи крикливых фраз, и до крысиной жестокости по отношению к ней, Марии, своей приемной матери, трижды матери, давшей ему кров, новую родину и имя в обществе... С самого начала у них не было чего-то такого, что было и есть у нее к Юзику,— не в этом ли главная причина и кого тут винить?

В книге русского классика Льва Толстого ее остановила однажды простая краткая формула: «где нет любви, там нет истины». Как это верно было сказано!

Тогда и рождаются разные виды лжи, из которых худшая — лукавая эксплуатация, потребительское извлечение выгод, обращение человека в средство.

Мария едва ли могла знать «Сонет № 1» — почти стихотворный манифест Брехта, где он развивал понимание нравственной солидарности строителей нового мира, всем существом противился взгляду на товарища, на единомышленника как на средство:

...Так знай, что эта цель в самом пути.
И если силы у другого ослабели,
И спутник даст ему упасть, спеша дойти,
Она навек исчезнет без возврата...

По существу, это было новым преломлением этической идеи, которую и раньше утверждал гуманизм: без любви нет высшей цели, нет истины!

Не так уж много известно о жизни Марии крайней предвоенной поры...

Она не разлучалась с Юзиком, мальчик был завсегдатаем и в журнале, и на киностудии, где она устроилась; при непоседливости натуры он как-то быстро со всеми сошелся; в разговорах, к удивлению друзей, Мария почти не осуждала Губерта, а даже находила ему оправдания.

Однажды она пришла к Борису Ефимовичу Ефи-

мову, тоже пережившему немало трудностей из-за брата.

«Бор-р-ья!» — обратилась она на раскатистом своем русском выговоре. «Она решила принять советское гражданство. Для этого нужны были две рекомендации,— рассказывает Борис Ефимович.— Я написал свою, а вторую... вторую дал Шнеерсон. Нет, она не разуверилась, не отреклась от идеалов! Но, конечно, многое пересмотрела...»

Одним словом, у изголовья М. Штеффин последних дней ее жизни дежурила далеко уже не прежняя Мария, искрометный вершитель дел и судеб, но смягченная, помудревшая женщина, отзывчивая к чужой боли и беде, сама предложившая себя на роль сиделки...

Другим человеком, находившимся поблизости в те дни, была Лидия Ивановна Герасимова. Еще не так давно эту седую черноглазую женщину, с моложавым приветливым лицом, наделенную как бы особой грацией скромности и такта, ежедневно можно было застать в помещениях Иностранной комиссии Союза писателей СССР. Долгие годы она работала консультантом по литературе ГДР. Теперь она на пенсии.

«Товарищ Лидия», как ее называет Брехт в одном из писем к Аплетину, в довоенное время значилась референтом по Германии. У Аплетина имелась единственная штатная сотрудница, ведавшая этим участком. Переводы поступавшей на немецком языке почты, обозрение современной немецкой литературы, встречи и попечение приезжающих в страну немецких писателей,— все это было ее делом, все шло через нее.

Естественно, что Лидия Ивановна была одной из первых, к кому я обратился по «делу» М. Штеффин. Сколько ни было пережито и перевидано всякого за последующие десятилетия, Лидия Ивановна не забыла этой истории и передала подробности с той своеобразной окраской восприятий очевидца, для которого личное участие в событиях, по собственному слову, было ее «обычной работой»...

Несмотря на сравнительную молодость, к маю 1941 года Лидия Ивановна была уже не новичком в Иностранной комиссии: она работала там с 1935 года. Но какой же легкой и счастливой она была тогда! В солнечный день 19 мая они с Аплетиным встречали при-

бывающую на жесткой «Стреле» из Ленинграда маленькую немецкую группу во главе с Брехтом. День этот был понедельник. Но тогда еще не было известно ничего — ни о скорой больнице и смерти, ни о том, что меньше чем через полгода немцы будут душить блокадой Ленинград и окажутся на подступах к Москве, а она, Лидия, уйдет на фронт, где страдания и смерть станут бытом,— ничего не было известно, ничего!..

Телеграмма о прибытии Брехта в Москву была передана из Ленинграда в субботу, 17 мая, во второй половине дня, на имя Аплетина с тем, чтобы можно было заблаговременно подготовить встречу и размещение приезжающих.

Подписал телеграмму Величкин — сотрудник Иностранной комиссии, ведавший организацией приема иностранцев. Этот пожилой полный кареглазый человек с мальчишеским лицом встретил Брехта на границе...

Вот его телеграмма:

КУЗНЕЦКИЙ МОСТ 12 ИНОСТРАННОЙ КОМИССИИ МОСКВА СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ АПЛЕТИНУ
БРЕХТ ЕГО ЖЕНА ДВОЕ ДЕТЕЙ СЕКРЕТАРЬ И ДАТСКАЯ ПИСАТЕЛЬНИЦА ЛУНД ВЫЕЗЖАЮТ ВОСЕМНАДЦАТОГО ВОСКРЕСЕНЬЕ СТРЕЛОЙ ЖЕСТКАЯ ТЧК НОМЕР ВАГОНА ТЕЛЕГРАММОЙ ВОСТРЕБОВАНИЕ ВОКЗАЛЕ ИМЯ АПЛЕТИНА БРЕХТ НЕ ИМЕЕТ ДЕНЕГ ПЕРЕВОД ВЫБОРГА ОТОСЛАН ОБРАТНО МОСКВУ =ВЕЛИЧКИН=

Так это начиналось. Течение последующих дней в общих чертах обозначено выше. Вплоть до 29 мая, которое переносит место действия в дом на Чкаловской, 53...

Настает пора завершающих эпизодов.

Пусть расскажут о них сами документы, чередующиеся с отрывками из свидетельств очевидцев.

Итак...

Из дневника Брехта

«...Грета, которая еще на границе замаялась из-за рукописей — она единственная говорила по-русски,— в Москве совсем слегла. Скудный рацион в Финляндии (почти без мяса, мало жиров, без овощей, без фруктов), возбуждения и тревоги, в особенности же опасение, что она могла быть виной тому, что мы все не успеем выбраться, и еще эта поездка — полностью исчерпали ее силы... Она попала в клинику».

Заявление в издательство:

«Тов. Чагину

Гослитиздат

Москва.

Дорогой тов. Чагин, услышав о том, что по дороге в Америку я буду проезжать через Советский Союз, Лион Фейхтвангер известил меня о том, что я могу снять с его гонорарного счета (в сов. рублях) столько, сколько мне будет необходимо. Деньги мне нужны на дорогу и для моей сотрудницы Маргарет Штеффин — Юуль, которая серьезно больна и, очевидно, вынуждена будет остаться здесь и потом поехать вслед за нами. Я был бы очень благодарен, если бы Вы могли выдать мне с текущего счета Фейхтвангера 18 000 рублей.

(Бертольт Брехт)».

Из автобиографических заметок Брехта 1941 года:

«29.V.41 (четверг)

Утром я собираю ее вещи, Хелли помогает.

Она ищет ее маленькое кольцо, не находит его. Но надеется разыскать.

Я знаю, что перевозка опасна для ее жизни.

В обед я еду вместе с ней на старой больничной машине в санаторий «Высокие горы» в Москве. Много раз она вынуждена принимать кислород, выглядит очень усталой и изменившейся и говорит часто: «Пиши мне».

Но еще нет уверенности, получим ли мы проездные билеты.

Я покупаю кольцо и навещаю ее в 5 часов вечера. Она очень спокойна, и, как обычно, я ухожу почти веселый.

Я ей сказал, что еду, билеты получил. Она улыбается и говорит мне глубоким голосом: «Это хорошо».

Из рассказа Р. С. Шатхан:

— ...Вы видите, какие у нас потолки? Три с половиной метра, некоторые расписаны акварелью почти стопятидесятилетней давности, а свежей, как будто ее наносили сегодня. Про букет красных роз на потолке двадцатой палаты заезжий французский архитектор сказал: «Даже пахнут!» Но помещения все большие, прежние владельцы не любили тесниться. Одноместных палат только две, по обе стороны коридора. Одна выхо-

дит на шоссе, другая — в парк. Вот в эту палату № 23 ее и поместили. Видите: резной белый потолочный карниз, с изображением лепных арф, два окна, оба в рощу и через нее на Яузу... Нет, палаты эти не для привилегированных больных, скорее, для тяжелых. На ночь при них всегда была сестра или нянечка — дежурный пост.

Здесь стояла кровать, как видите, так, что, лежа на правом боку, можно смотреть в оба окна, тумбочка в изголовье, а поодаль — стол. Он, по-моему, на следующий же день был занят книгами, рукописями, бумагами. Обычно мы возражаем (все-таки лишняя пыль), но тут позволили: палата просторная, да и она настаивала...

Что вам сказать про нее? Санитары перенесли ее из нашей машины на носилках, поскольку все-таки второй этаж, а она была в тяжелом состоянии. Внешне обычная туберкулезница — остренькая блондиночка, щеки запали, влажные скулы, ее лихорадило, мальчиковая стрижка, волосенки слиплись от пота. Но потом рассмотрела ее лучше. Она тронула меня каким-то редким сочетанием противоречивых качеств в одной натуре. Истощенная, судорожно нервическая, вместе с тем обладала детской доверчивостью, к врачу во всяком случае расположилась, как ребенок. Когда у нее бывало кровохарканье, а оно начиналось часто, смотрела на меня умоляюще, потом долго еще не давала уходить и держала замком за руку, знаете, как делают дети. А в то же время необыкновенная воля. Мгновенно могла перебороть настроение, воспрянуть, преобразиться. Она с трудом поднималась с кровати, но всегда пыталась это сделать сама, без посторонней помощи. А был короткий момент, когда ее чуть отпустило, глядишь, уже зашуршала бумагами...

Из стихотворений, посвященных сотруднице М. Ш.

Уже все было ясно, и неумолимая смерть,
Пожимая плечами, показала мне пять истерзанных лоскутков
легких.
Зная, что невозможно прожить лишь с одним шестым
лоскутом,

Я наспех собрал пятьсот поручений:
И самые срочные, и на завтра, и на будущий год,
И еще на семь лет;
Задал множество жгучих вопросов, на которые
Только она может ответить.

Такою — работающей, необходимой —
Ей легче было умирать.

Из позднейших воспоминаний Брехта в дневнике:

«16.3.42. Часто я вижу Грету с ее вещами, которые она каждый раз снова упаковывает в чемоданы. Шелковый платок с портретом, написанным Касом (художником Каспаром Неером, другом юности Брехта.— *Ю. О.*); деревянные и из слоновой кости слоники из различных городов, в которых я бывал; китайский халат; рукописи; фотография Ленина; словари. Она понимала красивые вещи, как и понимала языковые красоты. Когда в Москве я вез ее из госпиталя в клинику, она лежала с кислородной подушкой, но очень волновалась — взял ли я ее коричневое финское пальто с капюшоном, и успокоилась лишь тогда, когда я его ей показал. В этом пальто, узнал я позже, она спрятала скопленные в течение нескольких лет 15 английских фунтов, контрабандой провезенные через границы: это должно было обеспечить ей свободу. Я любил ее очень, узнав об этом».

Из стихотворений, посвященных сотруднице М. Ш.

РУИНЫ

Вот еще деревенская шкатулка для черновиков,
Вот баварские ножички, конторка, грифельная доска,
Вот маска, приемничек, воинский сундучок,
Вот ответы, но нет вопрошающего...

1941

Из рассказа Рут Берлау (Лунд):

— ...Мне уже в Ленинграде открылось, каково ей приходится, когда довелось провести ночь с Гретой Штеффин в одной гостиничной комнате. Она спала, но кашляла при этом столь фантастически, что я накрыла ее еще и своим одеялом. Но она кашляла и кашляла... В московской больнице все было чудным образом улажено. Да и вообще все было предусмотрено, так что она могла бы двигаться дальше, как только выздоровеет...

Грета Штеффин была хорошо настроена. Она была подлинной коммунисткой и не показала своих переживаний. Она была крупной личностью и позволила Брехту уехать радостным.

Из воспоминаний Гуго Гупперта:

«Семья Брехта временно проживала («Мы не временно проживали, мы разбивали бивак, становились лагерем»,— говорила Елена Вайгель) на третьем этаже отеля; это был двойной «люкс»; когда Грете стало все хуже и хуже, для нее была отведена особая комната на четвертом этаже, и я подолгу просиживал у изголовья больной, накладывал холодные компрессы, подавал воду с лимоном, вслух прочитывал ей газеты.

Однажды Грета с высокой похвалой отозвалась о моей «маяковиане»*. «Это я вам непременно хотела сказать, прежде чем протяну ноги»,— прибавила она с горькой усмешкой...

Наконец, врачи настояли на том, чтобы перевезти Грету в московский легочный санаторий. Там я тоже навещал больную...»

Из рассказа Р. С. Шатхан:

— Кровохарканье бывает оттого, что каверны расположены вблизи сосудов. Боли человек не ощущает, потому что в легких нет нервных окончаний, но задыхается, как будто в мире иссяк весь воздух, нет его больше, и все! Ее же положение было совсем худо. Нас консультировал профессор Александр Ефимович Рабухин. Я ему сразу же показала Грету. Вошел в палату — рослый, крупный, несущий уверенность, а тут и он приутих. Ей, конечно, виду не показал, даже перемолвился с ней по-немецки да по-французски. (Он хорошо знает языки.) Но привычки Александра Ефимовича известны, а мне сказал потом: дело совсем дрянь! Из шести долей легких едва работает одна, ну, и добавил специальные подробности...

Что это значит? Попробуйте вдохнуть на одну шестую самого малого вдоха, только губами, без живота и грудной клетки, и посидеть так с минуту, у вас потемнеет в глазах. Но это и есть обычное состояние, в котором находилась тогда Марго.

Вы говорите, что еще за полтора месяца до этого она работала с Брехтом над пьесой и потом больше всех бегала и возилась с багажом на таможне? На нее это

* То есть о циклах поэтических переводов В. В. Маяковского на немецкий язык, работу над которыми Г. Гупперт не прекращал с той поры, как в 1928—1930 гг. происходили его личные встречи с советским писателем.

похоже, хотя и трудно представить с точки зрения физических возможностей. Я смотрела «Карьеру Артуро Уи», когда в Москве гастролировали ленинградцы, очень сильная антифашистская сатира! Пусть, когда они писали, состояние у нее было в два-три раза лучше, но все равно ведь легкие не отрастают. Вероятно, она держалась волей. Знаете ли, это такой же подвиг, как у альпиниста или космонавта! Только разреженное пространство, в котором она заставляла себя работать, незаметно для окружающих... Поразительная женщина!

Помню оба разговора с Брехтом. В первый раз, когда привез ее, он был рассеян, но и возбужден. Как видно, поглощен необычной ситуацией. Ему очень не хотелось оставлять здесь Марго. При последней встрече я повторила, что ее состояние очень тяжелое и трудно рассчитывать на жизнь. Он ответил: «А все-таки я надеюсь...» Он жил надеждой...

Из дневника Брехта:

«...Когда мы после ожесточенной борьбы добыли наконец наши билеты на шведский корабль, я попытался обменять их на судно, отходящее позднее, но мне было сказано, что это невозможно. Однако мне обещали, что обязательно будет обеспечен билет на корабль для Греты, если ее состояние улучшится. Так как путь для нее теперь был открыт (виза и билет обеспечены), она стала относительно спокойна и принялась усердно отдыхать, чтобы выдержать длинную дорогу. Я оставил ей рукописи и все прочее. Серьезность своего положения она чувствовала, но я все свалил на сердце, и она поверила. 30 мая мы выезжаем во Владивосток...»

Из рассказа Рут Берлау (Лунд):

— ...Она давно уже предчувствовала, как у нее обстоят дела. Не совсем обычным было вот что: хотя она была партийка, кто-то ей давно предсказал, нагадал по ладони, что она умрет, когда достигнет тридцати трех лет. И ей было как раз 33. Она слегка верила в это, как вообще верят в такое. Случалось, что она произносила как бы не всерьез: «Когда мне будет 33, я умру». Как и я, если случится разбить зерка-

ло, говорю: «Теперь будет семь лет несчастья». Она даже и рассказ написала, в котором изображает, как ее героиня в подробностях наблюдает смерть туберкулезного больного — через дырку в стене. Проблемы смерти ее очень волновали, но она ни при каких обстоятельствах не готовилась умирать.

Из автобиографических заметок Брехта 1941 года:

«30.5.41. (пятница)

В обед в 12 часов я в санатории с маленьким слоником, которому она очень рада.

Я принес ей подушку. Она говорит: «Я приеду за вами, только две вещи могут меня задержать: болезнь и война». Она опять спокойна и улыбается без напряжения, когда я ухожу.

Она говорит: «Ты сказал мне такие вещи, что я стала совсем спокойна». В пять часов я уезжаю во Владивосток.

В течение всего июня не идет больше никакой другой корабль. Вступление Америки в войну предстоит. До Вл[адивостока] нет также и авиасообщения...»

Первое письмо, врученное на вокзале:

«Дорогой товарищ Аплетин,

Я прошу Вас передать товарищам из Союза писателей мою сердечную благодарность за теплое гостеприимство. Дни в Москве были необычайно ценными для меня.

Я вынужден оставить здесь тяжело больной своего многолетнего помощника и друга Маргарет Штеффин. Только Ваше теплое и сердечное обещание заботиться о ней и в том случае, если она выздоровеет, организовать ее дальнейшую поездку придает мне мужество, чтобы самому продолжить путь. Товарищ Штеффин незаменима в моей работе.

И теперь позвольте еще поблагодарить Вас лично, дорогой товарищ Аплетин. За прием в Москве, за день на выставке, за заботу о билетах на пароход, за радушие к моей заболевшей сотруднице Штеффин.

С сердечным дружеским приветом

Москва, 30.V.41

Ваш Бертольт Брехт».

Второе письмо, врученное на вокзале:

«Дорогой товарищ Аплетин,

в нижеследующем несколько просьб, касающихся моей сотрудницы Маргарет Штеффин.

Несмотря на опасения врачей, я надеюсь, что она настолько оправится от своей тяжелой болезни, что сможет поехать вслед за нами в Америку. Я буду Вам очень благодарен, если Вы организуете эту поездку, в случае, если ей суждено состояться. Я передаю Вам все дорожные документы Штеффин (американскую визу), деньги, которые ей понадобятся, и ее багаж. Если тов. Штеффин умрет, то прошу Вас о следующем:

1) Документы и свидетельство о смерти направить мне.

2) Принадлежащие ей рукописи (опечатанные и неопечатанные), фотографии и письма прошу Вас сохранить.

3) Деньги, которые я занял для нее, переслать мне.

4) Вынуть из ее вещей маленькие фигурки слонов, а также дорожные шахматы и сохранить для меня. Все остальное может взять и раздать тов. Мария Остен.

5) Оставшуюся в наличии сумму, из тех денег, которые я оставил для Штеффин, положить на текущий счет Лиона Фейхтвангера.

6) Мария Остен обещала сделать простую гипсовую маску с лица Штеффин, если она умрет. Пожалуйста, прошу ее сохранить.

Я знаю, что затрудняю Вас этим, если все это будет необходимо, чему я все еще не верю. Но я знаю Ваше дружеское отношение и знаю, что Вы понимаете трудности нашего положения.

Сердечно Ваш

Бертольт Брехт».

Москва, 30.V.41.

Телеграмма, отправленная с дороги:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ИНСТИТУТ ЧКАЛОВСКАЯ 53 МОСКВА МАРГАРЕТ ШТЕФФИН
ДОРОГАЯ ГРЕТА ЗПТ КУШАЕШЬ ЛИ ТЫ ДОВОЛЬНО И СПИШЬ ХОРОШО ВОПР ЗНАК ДОБРОЕ УТРО ВОСКЛ ЗНАК = БИДИ =

Из рассказа Л. И. Герасимовой:

— Извините меня, если сообщу не так много. Работа в Союзе писателей не совсем обычная. Наплыв дел и

лиц очень высок. Поток литературной и окололитературной жизни (когда это профессия, а события мельтешат и несутся каждый день) с годами создает из памяти калейдоскоп. Подробности видны, а многое, может, нужное сейчас исчезло...

Стоит перед глазами сцена в вестибюле гостиницы «Метрополь», когда Аплетин подал Барбаре книжку «Челюскинцы на льдине». До чего же надо было задергать, загнать этих людей, немецких беженцев, если уж ребенок плачет от одного упоминания слов «паспорта» и «формальности»!

Там же, в вестибюле, и сейчас представляю среди развала вещей — чемоданов, узлов, саквояжей — Штеффин: маленькая блондинка, худенькая, сидит, засунув руки в рукава. Кутается в коричневое пальто. Как больной мальчик... Но это потому, может быть, запало, что мне пришлось с ней иметь дело, вплоть до последнего печального дня...

Брехт даже среди немцев отличался сдержанностью. Но хорошо помню, как не хотел уезжать, оставлять больного товарища. Добивался переоформления билетов, но ничего не вышло! Аплетин убеждал его, мы действительно старались, как могли. Больница и медицинские силы обеспечены были лучшие, это он сам убедился. Мы обещали навещать, следить за лечением. Вплоть до того, что гарантировали каждый день телеграммы на поезд...

Из дневника Брехта:

«...Сибирскому экспрессу нужно десять дней, чтобы добраться от Москвы до Владивостока. Каждый день мы обмениваемся телеграммами. 1-го 6.: «31 мая ночью чувствую себя средне. 1-го днем чувствую себя плохо. Привет. Грета и Мария». Мария — это Мария Грёссгенер...»

Из позднейших воспоминаний Брехта в дневнике:

«6.5.42. ...Я вспоминаю ее имущество. Битком набитый чемодан нищей, с ломаным гребешком, нештопаными чулками, остатками бумаги, огрызками карандашей, протертая обувь, выцветшие фотографии забытых экскурсий. Она не решалась что-либо выбросить».

«8.5.42. ...Какой голод был (в Финляндии.— *Ю. О.*)

уже год назад! Пока я мог добыть для Греты апельсин или яйцо — я приносил их, как будто от этого апельсина или этого яйца зависела ее жизнь».

Из рассказа Л. И. Герасимовой:

— ...Я навещала больницу, это где-то почти в центре Москвы. Там делали все, чтобы спасти ее жизнь. Была хорошая врач. Много хлопотала вокруг подруга, писательница, Мария Остен... Конечно, я ее тоже знала, а маленького испанца Юзика даже брала однажды домой... Надо было, значит, высвободить Марию. Каждый старался, как мог... Приезжали мы с Аплетиным в клинику и тогда, когда все было кончено, с печальной миссией — организовывать похороны и прочее... Мне кажется, это был крематорий... Помню еще, что осенью 1941 года с Аплетиным и завхозом нашим Татьяной Георгиевной Прибыловой мы обсуждали, где хранить сундук и ящики с бумагами, книгами, письмами, оставшимися после М. Штеффин. В Инкомиссии было только пять комнат. Но переправкой и передачей всего этого занимался уже мой преемник Владимир Иванович Стеженский. Он был в комиссии, созданной после войны, по разборке, сортировке и передаче архивов... А мне что еще сказать? Случай со Штеффин был, конечно, чрезвычайный... Но в декабре 1941 года я ушла в армию, пробыла там до 1949 года. На прежнее место в Инкомиссию вернулась только в 1967 году... Словом, война многое заслонила... А для меня это была обычная работа. Уж не взыщите...

Письмо, отправленное из Москвы:

«Москва, 3 июня 1941 г.

Дорогой друг,

в соответствии с нашей договоренностью мы ежедневно посылаем Вам телеграммы о здоровье Греты Штеффин. Все ли доставлены?

Персонал в клинике и женщина-врач очень внимательны и любят Грету. Каждый день мы подробно говорим с врачом, и каждый день кто-нибудь навещает Грету. Будьте спокойны — здесь делается все необходимое, и мы не забываем о ней ни на минуту. В эти дни наступило маленькое улучшение. И предпринимается все необходимое, чтобы добиться дальнейшего улучшения.

Как вы доехали? Все ли здоровы?

Сердечные приветы вам всем. Желаю вам приятного путешествия.

Ваш

(М. Аплетин)...»

Из рассказа Р. С. Шатхан:

— Знаете, я вам кратко скажу: ничего нет дороже жизни... Это старо, конечно, и банально, быть может, но ничего другого человечество не придумало и не придумает. И больная, уходящая жизнь даже еще бóльшее чудо и ценность, чем здоровая, пока та кажется беспредельной. Это как догорающий костер во тьме, после которого наступит мрак, без просвета... Во что можно оценить последние отблески? И кто тот ценитель?

Мне отвратительны всякие новаторы-реформаторы в этой сфере, с их трезвой рассудительностью, пока дело не касается их самих. Врач, конечно, человек науки. Но у него должна быть религия — вера в чудо жизни. Раз надел белый халат — он жрец, хранитель огня и должен бороться за него изо всех сил, до последней возможности, с верой, что победит... А всякие высокоумные теории о бесполезности «чадящей головни» пусть сочиняют лягушки, которые, между прочим, доквакались уже однажды до улучшений людской породы и неполноценности рас...

Ну, это так... Первое для Марго было — поддержать всеми средствами, не дать утечь силам, замедлить сгорание, если уж нельзя сделать ничего другого. Обеспечить жизнь хотя бы на том пределе, на каком она в состоянии жить, а там вдруг да организм и молодость дадут компенсацию — никто не знает всех загадок и тайн человеческой природы. Чудеса жизни безграничны. Иной, по всем посторонним расчетам, давно должен был умереть, а он живет. А ведь Марго примерно с такими же остатками легких была довольно долго и даже активно работала — разве это не чудо!

Коварство туберкулеза состоит в том, что человек сгорает, а пополнений энергии не приемлет, есть не хочется, отвращение к пище. В результате дальнейшая быстрая потеря веса, полное истощение. Даже кости, кажется, становятся легкими, как у птицы. Вес, еда, калории в данном случае — вопрос жизни, каждоднев-

ной борьбы с болезнью. Поэтому-то Брехт и спрашивал в телеграммах, достаточно ли она ест.

Но она ела. Без уговоров, как другие, — откусывала по крошке, медленно жевала, сглатывала, как хину, но ела. Тут у нее были тренаж и воля.

К вечеру огонь усиливается. Повышается температура, лихорадит, учащаются кровохарканья. Тут нужно двойное внимание, обычного набора кровеостанавливающих или внутривенных вливаний недостаточно. Важно унять кашель, помочь изнуренному организму и человеку совладать с ситуацией, которая всегда грозит быть последней...

Кажется, есть такое понятие — плавучести судна, терпящего аварию. Так вот с Марго — это был особый случай непотопляемости. Она, молодец, много раз выходила победительницей, справлялась с отчаянием и бессилием. Правда, поддержка была — профессор Александр Ефимович Рабухин постоянно наведывался, а это по туберкулезу фигура первой величины. (Он до сих пор, в свои 78 лет, учит врачей, а недавно на международном симпозиуме читал доклад на французском языке.)

Мне было больно за Марго еще и потому, что, как там ни говори, угасала она на чужбине. Хотя и крепилась, но состояние у нее было тревожное, что ее оставили, уехали... Это психология, тут человек не властен. Быть может, и ко мне поэтому особенно привязалась, говорила: «Я только вам верю, что буду жить...»

Очень ей не хотелось умирать. А умерла спокойно, крепко держала за руку, позвала: «Доктор, доктор!..» И все.

Сколько лет прошло, а не забылось. Почему — не знаю...

Телеграмма, переданная через дорожную службу:

УЛАН УДЭ НАЧАЛЬНИКУ ВОКЗАЛА ПЕРЕДАТЬ НАЧАЛЬНИКУ ВЛАДИВОСТОКСКОГО ПОЕЗДА НОМЕР ДВА ВЫШЕДШЕГО МОСКВЫ ТРИДЦАТОГО ДЛЯ ИНТУРИСТА БРЕХТА
ГЛУБОКОЙ СКОРБЬЮ СООБЩАЕМ ЧТО ГРЕТА СКОНЧАЛАСЬ ЧЕТВЕРТОГО ИЮНЯ ДЕВЯТЬ УТРА ТЧК ВОСЕМЬ УТРА ОНА ПОЛУЧИЛА И ПРОЧИТАЛА ВАШУ ТЕЛЕГРАММУ БЫЛА СПОКОЙНА ТЧК ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЕЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ВАМ ВАШЕЙ СЕМЬЕ ПОСТИГШЕЙ ТЯЖЕЛОЙ УТРАТЕ ТЧК СДЕЛАЕМ МАСКУ ТЧК КРЕПКО ЖМЕМ РУКУ = ФАДЕЕВ АПЛЕТИН =

Ответная телеграмма:

МОСКВА КУЗНЕЦКИЙ 12 ИНКОМ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ АПЛЕТИНУ И ФАДЕЕВУ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВАШЕ ТОВАРИЩЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ГРЕТЕ И МНЕ Я ПРОШУ СДЕЛАТЬ ДВЕ ПОСМЕРТНЫЕ МАСКИ И НЕСКОЛЬКО ФОТОСНИМКОВ И ТЕЛО ПРЕДАТЬ КРЕМАЦИИ = БРЕХТ =

Из дневника Брехта:

«...4.6.41 утром в 9 часов она умирает. В 8 часов она еще получила мою телеграмму и стала очень спокойна после нее. Я это узнаю в 10 часов вечера на другой стороне озера Байкал. Наш маленький монгольский переводчик переводит мне телеграмму».

Телеграмма, поданная во Владивосток до востребования:

ВЛАДИВОСТОК ИНТУРИСТ ТРАНЗИТНИКУ БРЕХТУ
ГРЕТА СМЕРТЬ НЕ ОЖИДАЛА ДУМАЛА ТОЛЬКО О ЖИЗНИ ПРОСИЛА КНИГИ ВСПОМИНАЛА ВАС ЕДИНСТВЕННОЕ ЖЕЛАНИЕ СКОРЕЕ ВЫЗДОРОВЕТЬ ПОЕХАТЬ ВСЛЕД ЗА ВАМИ ТЧК ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ СПОКОЙНА ЗАВТРАКАЛА ХОРОШО ЧИТАЛА ВАШУ ТЕЛЕГРАММУ ПРОСИЛА ШАМПАНСКОЕ СКОРО ПОЧУВСТВОВАЛА ПЛОХО ДУМАЛА ОБЫЧНЫЙ ПРИСТУП ЖДАЛА ОБЛЕГЧЕНИЯ ПРИСУТСТВОВАЛ ВРАЧ ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ ПОВТОРИЛА ТРИ РАЗА СЛОВО ДОКТОР УМЕРЛА СПОКОЙНО КАК БУДТО УСНУЛА ТЧК ВСКРЫТИЕ ПОКАЗАЛО ПОСЛЕДНЮЮ СТАДИЮ ОБОИХ ЛЕГКИХ ОГРОМНЫЕ КАВЕРНЫ СЕРДЦЕ ПЕЧЕНЬ СИЛЬНО УВЕЛИЧЕНЫ МАСКА ДЛЯ ВАС СДЕЛАНА СООБЩИТЕ ПОЛУЧЕНИЕ АВИАПИСЬМОМ СЕРДЕЧНЫЙ ПРИВЕТ = МАРИЯ =

Из подборки стихов «После смерти моей сотрудницы М. Ш.»:

I

На девятый год бегства от Гитлера,
Изнуренная скитаниями,
Холодом и голодом зимней Финляндии,
Ожиданием визы на другой континент,
Умерла товарищ Штеффин
В красном городе Москве.

II

Мой генерал пал
Мой солдат пал
Мой ученик ушел
Мой учитель ушел
Моего опекуна нет
Нет моего питомца.

Из воспоминаний Гуго Гупперта:

«...Едва могу постичь, как это смертельно больная придавала исключительное значение и настаивала на том, чтобы Брехт немедля продолжал путь без нее и перестал заботиться о ней. Иначе она не находила покоя. А вскоре затем Грета Штеффин успокоилась навсегда: тихо и скромно, как жила, действовала и посвящала свой талант великому...

В глубоком оцепенении, потрясенные, несли мы, друзья, на кладбище доброго товарища. И казалось взаправду, будто большая душа Маргарет, в своем благородном самоотречении вызвавшись на сей раз заместить нас всех, уходила во тьму, так просто и без эффекта, как будто для прелестной, стройной женщины, лишь переступившей порог тридцатилетия, было самым естественным угаснуть без жалобы, в полном развитии высокого художественного интеллекта, незаурядного дарования и необыкновенной внутренней способности к любви.

...После похорон Мария Остен плакала безудержно, как ребенок. И я несколько дней был неразговорчив. Грета была сама доброта. Жаль, что ее имя не обозначено ни в одном литературном словаре. Мне она оставила, подобно прощальному дару, свои суждения энтузиастки о моих работах. Я все еще храню их в памяти как залог ее чуткости и моего поклонения».

Из рассказа Рут Берлау (Лунд):

— Между тем мы ехали сибирским экспрессом во Владивосток... Ежедневно приходили телеграммы о состоянии Греты Штеффин. И телеграмма о ее смерти тоже поспела в обычный срок. Тот, кто все эти дни отсылал телеграммы, был очень чуток. Понимал, о чем он сообщает. Брехт боялся, что Грета Штеффин в трудную минуту начнет звать его. Но она не спросила о нем, а только о враче. Коммунистка! Последнее, что она сказала, было: «Доктор! Доктор!»

Четыре дня Брехт не улыбался. Я предложила ему свое купе (у меня было отдельное, в то время как он ехал вместе с Вайгель, Штефом и Барбарой)... Впервые он улыбнулся снова, когда мы вышли из поезда на волю. Тут стояли русские парнишки и продавали ландыши. Это были любимые цветы Греты...

Из стихотворений, посвященных сотруднице М. Ш.:

С тех пор как ты умерла, маленькая, строгая,
Я брожу, ничего не видя, не зная покоя,
В недоумении натыкаясь на серый мир,
Без дела, словно уволенный.

Запрещен мне
Вход в мастерскую,
Как всем посторонним.

Улицы и бульвары я вижу
В столь непривычном дневном освещенье,
Что едва узнаю их.

Домой
Не могу вернуться: мне стыдно,
Что я уволен
И в горе.

1941 г.

Пометки, сделанные рукой Аплетина на письме Брехта от 30.5.41.:

«3) Деньги, которые я занял для нее, переслать мне»,— *«Пересланы и получены Брехтом во Владивостоке 9.VI.41»*.

«4) ...Все остальное может взять и раздать т. Мария Остен» — фраза жирно подчеркнута чернилами.

«5) Оставшуюся сумму, из тех денег, которые, я оставил для Штеффин, положить на счет Лиона Фейхтвангера».— *«Взято 2 тыс. на похороны»*.

«6) Мария Остен обещала сделать простую маску с лица Штеффин...» — *«Сделано 2 маски»*.

Телеграмма, переданная из Владивостока в 09.45 утра 9.6.41, с пометками на ней рукой Аплетина:

МОСКВА ВОКС ГЕОРГИЕВСКАЯ 17 АПЛЕТИНУ
БАНК ДАЕТ ДОЛЛАРОВ НО НЕ ХОЧЕТ ДАВАТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫВОЗ ЗА ГРАНИЦУ ПРИВЕТ = БРЕХТ =

Надпись чернилами от верхнего угла телеграммы, сделанная рукой М. Я. Аплетина, состоявшего одновременно в руководстве Всесоюзного общества культурной связи с заграницей — ВОКС: *«Телеграмма была передана т. Детиновым по телефону ок. 12 час. Приняты меры, Внешторг дал молнию, подтверждающую разрешение на вывоз валюты, с уведомлением. Подтверждено выполнение в 12 ч. дня. М. Аплетин. 9.VI.41 г.»*

Письмо, отправленное из Владивостока:

«Дорогой товарищ Аплетин,

Я надеюсь, у Вас было не чересчур много хлопот с пересылкой долларов Греты. Ошибку явно совершил местный банк, который не понял московской телеграммы. Теперь я получил 940 долларов и разрешение на вывоз. И за это снова спасибо!

Могу ли я еще раз — в последний раз — написать по поводу Гретиного дела? Я понял Вашу телеграмму так, что Вы хотите послать рукописи, фотографии и маску мне по адресу: Вильгельму Дитерле, 3351... Голливуд, Калифорния, и в качестве отправителя будет указан санаторий (т. е. санаторий «Высокие горы».— *Ю. О.*) Это очень хорошо. Если можно, мне приятно было бы также получить на этот адрес несколько мелочей из вещей Греты, которые я хотел бы иметь на память. Это фигурки маленьких слоников и другие фигурки и дорожные шахматы из Гретиного чемодана. Есть там и несколько частных фотографий, которые она, по-моему, взяла с собой в клинику. Может быть, Лидия вместе с Марией разыщут эти вещи. Марии я написал, что сделать со всем остальным.

Потеря Греты — тяжелый удар для меня, но если уж я должен был ее оставить, то не мог бы это сделать нигде, кроме как в Вашей великой стране. Я никогда не забуду товарищества и радушия, которые я — и она со своей стороны — узнали тут.

А теперь еще раз сердечное спасибо за все, дорогой товарищ Аплетин. Передайте, пожалуйста, привет товарищ Лидии, которая тоже так много сделала для нас, и примите крепкое рукопожатие.

От Вашего Бертольта Брехта

Владивосток, 11.6.41...»

Из автобиографических заметок Б. Брехта 1942 года:

«Почти год я чувствую себя подавленным смертью моей сотрудницы и товарища Штеффин. В самом деле до сих пор я уклонялся от того, чтобы осознать это до конца. Я не так боюсь боли, как стесняюсь ее. Но в первую очередь в таких случаях у меня нет достаточного количества мыслей на этот счет.

Конечно, я знаю, что эту утрату мне не забыть,

можно только скрывать ее от себя. Порой, когда ее образ возникал передо мной, я даже выпивал глоток виски. Так как я пью редко, уже глоток сильно действует на меня. Полагаю, что такие средства так же пригодны, как другие, которые считаются более респектабельными. Они, конечно, внешние, но я не вижу никакого внутреннего решения проблемы. Смерть не хороша ни для чего.

Не все в этом мире направлено к лучшему. Никакая неисследованная мудрость не извлекается отсюда. Утешения быть не может».

Из дневника Брехта:

«30.6.42. Я ничего не делал и не буду делать, чтобы «преодолеть» потерю Греты. Покориться происшедшему — что в этом хорошего? Ведь много концов у этой веревки, которые еще надо использовать. Гитлер ее замучил и голод. Гитлер еще жив, и голод властвует над миром. При моей попытке ее спасти я был избит, и сделать ей легче я не сумел. Получившиеся дела следует забыть, но неполучившиеся — нет».

Из стихотворений, посвященных сотруднице М. Ш.

В память хрупкой моей наставницы,
Ее глаз, пылавших синим гневным огнем,
Ее поношенной накидки, с большим
Капюшоном, с широким подолом, я переназвал
Созвездие Ориона в созвездие Штеффин.

Глядя теперь в небо и грустно покачивая головой,
Я временами слышу слабеющий кашель.

ДВЕ РЕЧИ. ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Опять был месяц май. После четырнадцатилетнего перерыва Брехт снова направлялся в Москву... Это была в полном смысле триумфальная поездка. Не только потому, что он ехал получать присужденную ему международную Ленинскую премию мира, но и потому, что на сей раз литературное признание, можно сказать, летело далеко впереди него.

Ротационные машины миллионы раз повторяли имя — Брехт. Новое поколение советских переводчиков по примеру своих предшественников 30-х годов и вместе с ветеранами вчитывалось в тексты его произведений, стараясь передать на русском языке содержательность и красоты оригинала. В издательствах комплектовались, редактировались, сдавались в набор и уже печатались новые его книги. Брехтовская драматургия готовилась широко ступить на театральные подмостки...

1955 год означал новый рубеж. Настала пора массового открытия искусства Брехта для читателя и зрителя...

О решении Комитета по международным Ленинским премиям Брехт узнал в ноябре 1954 года. Редко видели его в таком приподнятом настроении духа, как в то утро во дворе театра «Берлинер ансамбль», когда газеты разнесли эту весть. В кратком интервью местным корреспондентам Брехт сказал, что Ленинская премия мира представляется ему, пожалуй, наиболее почетной наградой из всех существующих ныне, что, как он надеется, она облегчит его работу для дела мира.

Театр «Берлинер ансамбль», созданный за несколько лет до того в ГДР, много значил для Брехта. Он впервые в жизни получил театр, где был всем сразу —

драматургом, постановщиком, теоретиком, распорядителем сценической площадки, где реализовывались и развивались его давние новаторские идеи. В те месяцы Брехт был целиком поглощен репетициями. Время московского визита было отнесено на май.

Имелось к тому же чисто психологическое затруднение. С годами Брехт все хуже переносил шумные торжества, приемы, его отпугивало многолюдье новых незнакомых лиц, заданность церемониалов, даже тягостная обязанность — носить галстук.

Можно рассматривать это, если угодно, как маленькую странность, но такую, которая была лишь иным выражением постоянной рабочей сосредоточенности его мысли. Он внутренне противился любым формам рассеивания творческой энергии.

Друзья, сопровождавшие Брехта, это знали и были приятно удивлены, что на сей раз обернулось не так, как обычно.

Вот что произошло на подлете к Москве и на аэродроме, как рассказывает о том находившаяся в этой поездке Кэте Рюлике-Вайлер:

«...Примерно за десять минут перед Москвой он забеспокоился и стал ходить по самолету туда и обратно. Веселое состояние духа обратилось в страх перед чужими людьми, перед новым городом, который, должно быть, очень изменился, перед празднествами и приемами. Когда самолет пошел на посадку, Брехт был настроен почти что панически. Он первым сбежал по трапу. Около двадцати человек прибыли его встречать: писатели, театральные деятели, репортеры, представители посольства ГДР. Брехт и Елена Вайгель с преподнесенными и зажатыми в руках букетами цветов, восклицания, голоса, смех... — и я не верила своим глазам: в сопровождении столь многих людей он, довольный, спешил через летное поле, подхваченный под руки, слева и справа, смеясь, о чем-то рассказывая, чувствуя себя совершенно естественно и явно как дома.

По дороге к гостинице «Советская» Брехт объяснил, что произошло. Когда он нерешительно сбегал по трапу, он увидел вдруг стоящего у самого спуска товарища Аплетина из Союза писателей, который улыбался ему навстречу точно так же, как четырнадцать лет назад, во время последней встречи в Москве, когда Брехт, спасаясь от фашистов, прибыл из Финляндии.

Рядом с ним стояли Охлопков и Федин, тоже известные по прежней поре. И едва Брехт увидел располагающие лица друзей, он осознал, что снова для него все преодолимо. Он был очень растроган и благодарен за такой способ встречи...» *

Вручение почетной награды должно было состояться на третий день по приезде, и каждый день был уплотнен до предела. «...Брехт принял официальное признание его творчества и его деятельности, так сказать, «на высшем уровне» серьезно и спокойно,— рассказывает Б. Райх.— Он не разыгрывал из себя скромнягу, не заслуживающего «высокой награды», но и не стал вести себя как заносчивый рыцарь высокого ордена. Он сохранял сосредоточенность мастерового, изделия которого одобряют...

В Москве Брехт, разумеется, попал в цейтнот. Он должен был присутствовать на многих официальных встречах, организованных в его честь, посмотреть спектакли московских театров и вести переговоры об издании его произведений. Однако он не жалел ни времени, ни энергии для того, чтобы сделать что-то важное для своих друзей. Он побеспокоился, чтобы могила его сотрудницы Греты Штеффин содержалась в порядке...» («Вена — Берлин — Москва — Берлин», с. 328; 329—330).

В торжественный день вручения премии Брехт произнес две речи.

Одна из них хорошо известна. Она перепечатывается ныне во многих изданиях сочинений Брехта. Он тщательно к ней готовился, писал, шлифовал, оттачивал каждое слово.

Сознавая значимость момента, 57-летний Брехт давал в ней сжатую схему движения истории двадцатого столетия, как предстает она глазам почти ровесника века, свидетеля двух мировых войн, революционного взрыва и многих последствий Великого Октября. Он говорил о переплетах уроков истории и опыта рядового ее участника, о том, как сложилась и на чем держится его позиция непримиримого врага капиталистической эксплуатации, приверженца принципов социалистического коллективизма, сторонника дружбы с Советским Союзом и активного борца за мир.

---

* **Цит. здесь и дальше:** Käthe Rülicke-Weller. „Brecht in der UdSSR", „Neue Deutsche Literatur", 1968, № 2, S. 22.

Это было сжатое «кредо» гражданина, общественного деятеля, писателя, которое Брехт, стоя у микрофона, огласил с листков бумаги в Кремле.

Другая речь ни по каким своим качествам, конечно, не идет в сравнение с первой.

Она была лишь случайно застенографирована на застольной салфетке. И смысл некоторых ее выражений для большинства присутствующих остался неясным.

Однако между обеими речами, по существу, есть глубокая внутренняя связь, которую, мне кажется, легко ощутит всякий, прочитавший книгу.

Поэтому передадим слово для заключительного свидетельства той же К. Рюлике-Вайлер:

«Во время роскошного банкета, который вечером после вручения премии был дан в зале гостиницы почти для ста человек — по большей части писателей и деятелей театра,— Брехт, наряду с другими, также держал небольшую речь, которую я по ходу дела застенографировала на салфетке: «День был для меня серьезным, теперь кончается он весело. Я не в первый раз в вашем городе. Я был рад видеть в аэропорту моего старого друга Аплетина, моего наставника 1941 года и раньше и впоследствии. Я благодарю вас сегодня всех, и я пью за вашу великую новую литературу, за любовь вашего народа к литературе, за дружбу и совместную работу».

Эта для присутствующих, быть может, в чем-то бессвязная речь, значение которой едва ли кто-либо мог оценить, содержала глубоко прочувствованную благодарность Брехта «за великое радушие».

Мы можем сказать теперь, что речь эта имела смысл даже более глубокий, чем могло показаться самому осведомленному слушателю со стороны.

СОДЕРЖАНИЕ

